ПРОМЕТЕЙ

10



ПРОМЕТЕЙ 10

От редакции 5

Биографии. Статьи. Портреты

Т. Г. Цявловская. «Храни меня, мой талисман...» 12

К. Шилов. Московский адрес 93

А. А. Формозов. Пушкин и Ходаковский 108

Сусанна Энгель. Рассказ о Троекурове 114

В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон. Из пушкинских маргиналий. (Пометы на книге Вяземского о Фонвизине) 122

М. И. Гиллельсон. Пушкин и «Записки» Е. Р. Дашковой 140

С. М. Соловьев. Пушкин-колорист 153

Поиски. Находки. Гипотезы

М. Меликьян. Невежда 160

Т. Г. Цявловская. Записка к В. Ф. Вяземской 168

Л. В. Крестова. «Она одна бы разумела...» 175

К. И. Тюнькин. «Нет, не черкешенка она...» 184

В. С. Лаврентьев. Портрет Мицкевича 190

И. Трофимов. «Полководец» 194

Н. Натанов. Законами, но не кровью 209

В. И. Порудоминский. «Я полюбил Пушкина еще больше...» 214

001
П81



Литературное наследие

Анна Ахматова. Пушкин и Невское взморье (Предисловие, подготовка текста и примечания Э. Г. Герштейн) 226

Иван Новиков. За чтением Пушкина (Публикация Марины Новиковой-Принц) 234

Письма. Документы

Т. П. Мазур, Н. Н. Малов. Новые материалы о Пушкине 245

Т. Г. Цявловская. Неизвестные письма к Пушкину — от Е. М. Хитрово 249

Н. Б. Востокова. Пушкин по архиву Бобринских 269

Дневники. Воспоминания

Воспоминания Павла Воиновича Нащокина, написанные в форме письма к А. С. Пушкину (Публикация Н. Я. Эйдельмана) 283

Из воспоминаний о Пушкине в Кишиневе (Публикация Т. Г. Цявловской) 301

А $\frac{70302-195}{078(02)-74}$ 359—73

Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей»
Том десятый

Издательство
ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“
Москва
1974

Научный редактор и составитель Т. Г. Цявловская
Художник Ю. Нолев-Соболев

Исторические очерки

Н. Эйдельман. «По смерти Петра I...» 310

М. Максимов. По страницам дневников и писем А. И. Тургенева (Пушкин и А. И. Тургенев) 363

Забытые страницы

К. П. Богаевская. Из забытых книг 422

Смесь

Л. А. Черейский. Забытые знакомые Пушкина 426

К. П. Богаевская. Н. С. Лесков о Пушкине 432

М. С. Альтман. Пушкинские эпитеты 434

С. Гейченко. Поклонник Пушкина 437

С. А. Коплан-Шахматова. О знакомстве Пушкина с А. Н. Струговщиковым . . . 442

А. В. Волков-Нахшин. Ошибка или плагиат? 445

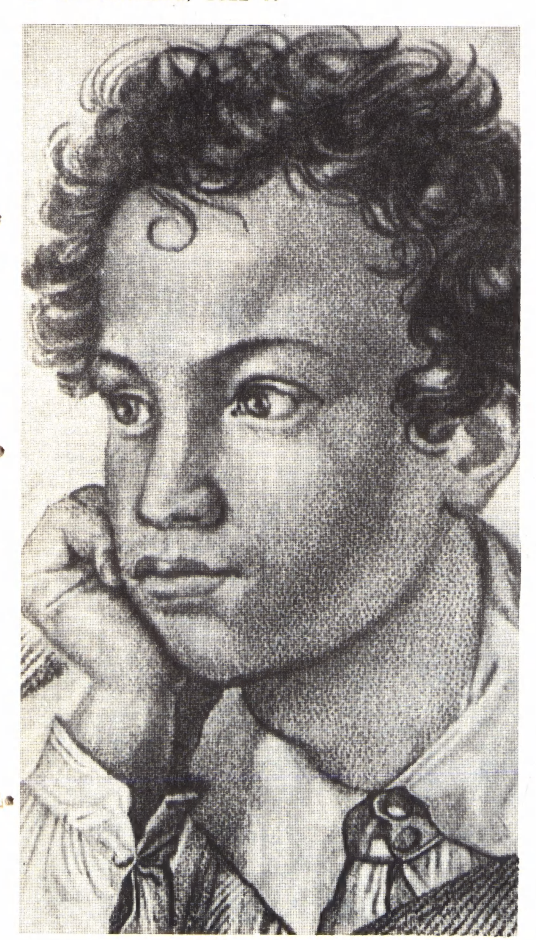


От редакции

Это предисловие открывает очередной том альманаха «Прометей», целиком посвященный Александру Сергеевичу Пушкину.

Кажется, что нового можно еще сказать о самом знаменитом, самом любимом, самом изученном нашем поэте — о том, чей день рождения отмечается как народный праздник поэзии, о том, в честь которого поставлены памятники и названы города, кому посвящено множество книг, статей (и только за последние годы — десятки специальных научных книг и сборников!),

А. С. Пушкин. Гравюра Е. И. Гейтмана, 1822 г.



Пушкин-лицеист. Позднейший портрет. Акварель.



о том человеке, о котором еще в прошлом веке сказано и не раз повторено:

«Пушкин — это наше все!»

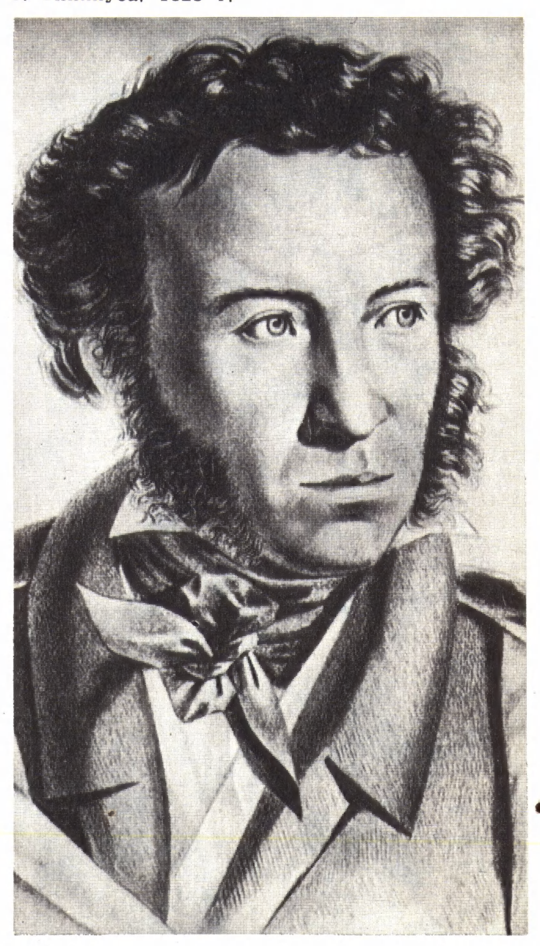
Но самый известный писатель остался одним из самых таинственных. И только теперь, когда мы так много знаем о Пушкине, мы примерно представляем контуры того, чего не знаем о нем: только по названиям или случайным упоминаниям мы судим о **нескольких сотнях** не дошедших до нас произведений и писем Пушкина; примерно половина пушкинских эпиграмм не разыскана, не знаем мы и полного текста VIII главы «Евгения Онегина», из которой напечатаны только фрагменты — в виде «Путешествия Онегина», зашифрованный отрывок X главы «Онегина» так и не имеет продолжения, судьба «Автобиографических записок» и «Дневников» поэта — область загадок и дискуссий, важные обстоятельства в истории гибели Пушкина пока покрыты мраком...

Это лишь немногие из многих возможных примеров... Притом ведь и в самых из-

А. С. Пушкин. Рисунок Ж. Вивьена. 1827 г.



А. С. Пушкин. Литография Г. Гиппиуса. 1828 г.



вестных пушкинских строках мы непрерывно открываем новое. Многообразный процесс открытия Пушкина никогда не закончится...

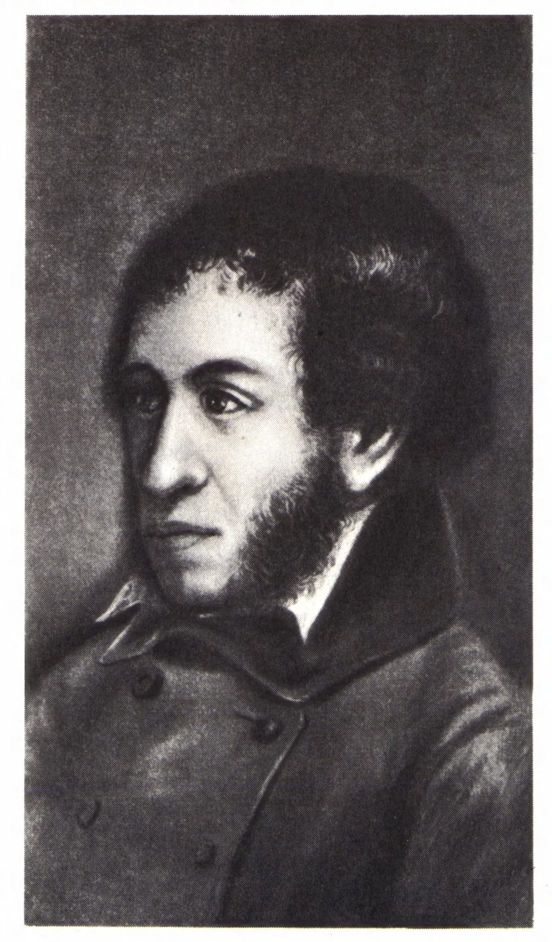
Когда книга эта была задумана, составитель и редакция обратились к людям, занимавшимся изучением жизни и творчества Пушкина, и многие принесли свои работы. Мало того — некоторые исследователи, узнав о подготовке тома, «обязались» совершить важные открытия специально для нового издания, вследствие чего были сделаны примечательные находки и даже обнаружены некоторые неизвестные прежде пушкинские тексты.

Конечно, далеко не все события и периоды пушкинской биографии представлены в «Прометее» с одинаковой полнотой — ведь главным в его содержании являются новые факты, находки, мысли о Пушкине, и поэтому больше всего должны были отразиться те проблемы и периоды, которые особенно интенсивно изучаются в настоящее время. Так, сравнительно мало в томе

А. С. Пушкин. Акварель П. Ф. Соколова, 1830 г.



А. С. Пушкин. 1836 (?) г.



о лицейской и петербургской юности поэта; зато начало 1820-х годов представлено много богаче: тут и важные для биографии Пушкина и психологии его творчества исследования Т. Г. Цявловской о Е. К. Воронцовой в жизни Пушкина, и работа Н. Я. Эйдельмана «По смерти Петра I...», посвященная одному из самых загадочных пушкинских сочинений — так называемым «Заметкам по русской истории XVIII века». Несколько материалов, надо думать, обогатят сложную, во многом еще неясную тему о Пушкине и декабристах: тут и найденное Т. Г. Цявловской пушкинское письмо к В. Ф. Вяземской, очевидно, отправленное через посредство И. И. Пущина, и многозначительные строки, вписанные Пушкиным осенью 1826 года, после возвращения из ссылки, в альбом женщине, до сих пор неизвестной в биографии поэта.

Наиболее широко представлено в пушкинском томе последнее десятилетие жизни и творчества поэта. Читатель познако-

А. С. Пушкин. Этюд с натуры В. А. Тропинина. 1827 г. Масло.



А. С. Пушкин. Портрет работы О. А. Кипренского.



мится в этой связи с несколькими новыми текстами Пушкина, что, конечно, является гордостью и украшением нашего альманаха: новый автограф стихотворения «Полководец», недавно открытый И. Т. Трофимовым, и почерк поэта, замеченный М. И. Гиллельсоном и В. Э. Вацуро на полях старых рукописей, а К. В. Шиловым — на листке бумаги в одном из саратовских архивных фондов...

Еще и еще — материалы самых зрелых последних пушкинских лет... Тайне одного из пушкинских замыслов посвящена посмертно публикуемая статья А. А. Ахматовой «Невское взморье»; важные детали биографии поэта, извлеченные из дневников и писем А. И. Тургенева, соседствуют с публикацией мемуаров П. В. Нащокина, прежде известных меньше чем наполовину. Напечатаны в «Прометее» новые документы, касающиеся преддуэльных дней и гибели поэта, — прежде всего неизвестные письма к Пушкину Е. М. Хитрово и важные сведения из архива Бобринских.

А. С. Пушкин. Гравюра Н. И. Уткина с портрета Кипренского, 1827 г.



А. С. Пушкин. Портрет работы В. А. Тропинина.



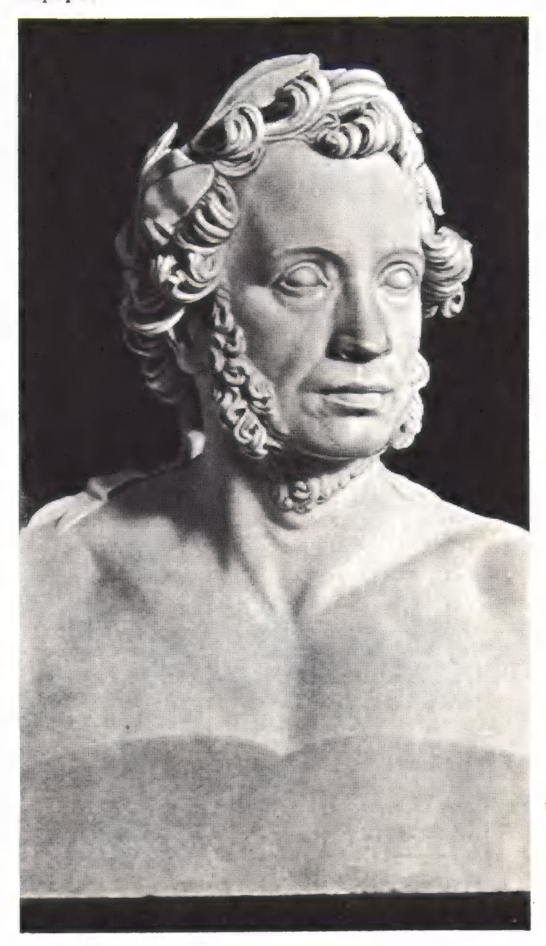
Таков краткий, разумеется, самый общий обзор того нового, что дает пушкинский «Прометей». Однако характерной особенностью издания является не только публикация прежде неизвестных материалов.

Более полувека ведутся споры о том, как следует писать о Пушкине. Не раз раздавались сетования на большой, хотя, видимо, неизбежный разрыв между строгой научной литературой, доступной в полном объеме лишь узкому кругу специалистов и ценителей, и научно-популярными работами, предназначенными для массового читателя. Разрыв этот был тем более досадным, что культура и потребности читателей непрерывно росли, а научные новости (пушкинские, да и всякие другие) поступали к ним с неизбежным запозданием и неизбежными потерями от перевода «ученых достижений» на язык общедоступный. Правда, специалисты-пушкинисты иногда выступали и как популяризаторы своей науки, но все

А. С. Пушкин. Рисунок и гравюра на стали Райта, 1837 г.



А. С. Пушкин. Скульптурный портрет.



это носило случайный, эпизодический характер. Пушкинский том «Прометея» в этом смысле является своего рода экспериментом: это издание предназначено для широкого читателя, его тираж сравнительно со специальной литературой очень велик, и в то же время, как уже отмечалось, это новое, серьезное научное издание. На него несомненно будут ссылаться ученые, и его, надеемся, прочтут сотни тысяч «неспециалистов».

Этот синтез научного и художественно-популярного начала в пушкинском «Прометее» потребовал немалых усилий от составителя и редакции. Естественно, не все результаты этих усилий нас полностью удовлетворяют, однако мы надеемся все же, что этот том будет новым подарком всем тем, кому, употребляя счастливый образ А. Блока, дорого «веселое имя — Пушкин».

Посмертная маска
А. С. Пушкина.



Кабинет Пушкина.



Т. Г. Цявловская

«Храни меня, мой талисман...»



1. ОДЕССА

Воронцова — жена начальника Пушкина по Одессе, имя которого не забудется благодаря эпиграмме:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец (II, 317).

Она бессмертна по-иному: Пушкин любил ее. Полька по отцу, графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова (рожденная графиня Браницкая) была русской по матери (мать ее рожденная Энгельгардт, племянница Потемкина).

Облик Воронцовой воскрешает ее портрет кисти английского художника Лауренса — лучшее из множества ее изображений.

А «свычаи и обычаи» ее возрождаются литературными портретами.

«Ей было уже за тридцать лет, — вспоминает чиновник Вигель, сотрудник Воронцова, — а она имела все право казаться еще самою молоденькою. <...> Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностию. В ней не было того, что называют красотою; но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуи» [1].

И это слова человека, к женщинам равнодушного. Какое же впечатление должна была производить Воронцова на Пушкина!

Вторит Вигелю и писатель Соллогуб, знавший Воронцову, когда ей было уже около шестидесяти: «Небольшого роста, тучная, с чертами несколько крупными и неправильными, княгиня [2] Елисавета Ксаверьевна была тем не менее одной из привлекательнейших женщин своего времени. Все ее существо было проникнуто такою мягкою, очаровательною, женственною грацией, такою приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин, герой 1812 года Раевский и многие, многие другие, без памяти влюблялись в княгиню Воронцову» [3].

Замуж вышла она поздно — двадцати семи лет, в 1819 году.

Пушкин увидел ее впервые осенью 1823 года, к которому и относится воспоминание Вигеля. Пушкин жил в Одессе уже два месяца, числясь на службе в канцелярии графа Воронцова, недавно назначенного генерал-губернатором Новороссийского края.

6 сентября приехала и Елизавета Ксаверьевна. Вскоре состоялось знакомство с нею Пушкина.

Следами первых впечатлений от встреч являются его рисунки на полях черновой рукописи главы первой «Евгения Онегина». Потребность постигнуть лицо Воронцовой отвлекает поэта от работы. Осторожно, нащупывая линию, выводит он ее профиль. И тут же перечеркивает его — она не похожа. Он повторяет рисунок рядом, увереннее. Не сразу находит он линию переноси-

цы. Затем вписывает глаз, пририсовывает голову, локоны, чепец с лентой под подбородком, длинную шею [4].

И еще раз рисует Пушкин ее голову (на обороте страницы — среди множества разных портретов).

Вскоре Воронцова перестает показываться в обществе (23 октября она родила сына).

Еще летом увидел Пушкин в Одессе обращавшую на себя всеобщее внимание красавицу Амалию Ризнич.

«...Она была дочь одного венского банкира, по фамилии Рипп, полунемка и полуитальянка, с примесью, быть может, и еврейского в крови. <...> Г-жа Ризнич была молода, высока ростом, стройна и необыкновенно красива. Особенно привлекательны были ее пламенные очи, шея удивительной формы и белизны, и черная коса, более двух аршин длиною. Только ступни у нее были слишком велики. Потому, чтобы скрыть недостаток ног, она всегда носила длинное платье, которое тянулось по земле. Она ходила в мужской шляпе и одевалась в наряд полу-амазонки. Все это придавало ей оригинальность и увлекало молодые и немолодые головы и сердца» [5].

Не мог Пушкин не зарисовать этой эффектной красавицы.

Опираясь на приведенное описание ее внешности и на стих Пушкина «Мадам Ризнич с римским носом», исследователь находит среди рисунков поэта ее портреты, которые идут по рукописям его со времени переезда в Одессу, с конца июля до начала августа 1823 года [6].

Задолго до увлечения Воронцовой в жизнь Пушкина вошла Амалия Ризнич.

Мечтая о близости этой женщины, пишет поэт стихотворение «Ночь» (26 октября 1823 года):

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви; текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю...
твоя... твоя!.. (II, 289).

Но вскоре он уже счастлив:

Когда любовию и счастьем утомленный,
Я на тебя гляжу коленопреклоненный,
И ты главу мою обнимешь и нежна <?>
Целуешь поцелуем,
Зачем тогда мрачит —
И в наслажденьи мы тоскуем (II, 934).

Стихотворение должно было строиться (насколько можно судить по нескольким, хотя и разрабатывавшимся, но оставленным стихам) на тонком психологическом наблюдении поэта — ощущении тоски, сопутствующей наслаждению. Но после нескольких вариантов начала, написанного в первых числах ноября 1823 года, оно было оставлено надолго.

11 ноября Пушкин пишет новое стихотворение:

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор:
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?...
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полу-одета,
Зачем его должна ты принимать?...
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю
(II, 300—301).

Эта маленькая драматическая новелла в стихах впервые раскрывает ревность, которую вызывала в Пушкине Ризнич.

К ней же, вероятно, обращено и написанное, может быть [7], тогда же стихотворение:



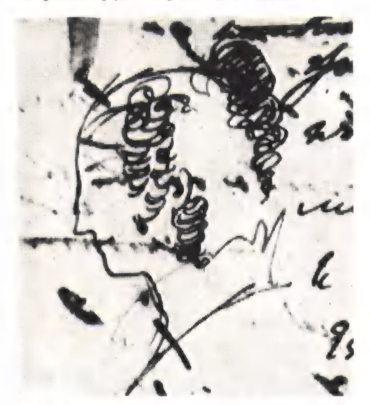
Е. К. Воронцова.
Скульптура Фуаятье, 1821 г.



Е. К. Воронцова.
Скульптура Фуаятье, 1821 г.



Е. К. Воронцова.
Скульптура Фуаятье, 1821 г.



Е. К. Воронцова.
Рисунок А. С. Пушкина.



Е. К. Воронцова.
Рисунок А. С. Пушкина.



Е. К. Воронцова. Акварель Тельтцера.



Одесса (около 1823 г.). Дом барона Рено и герцога Ришелье. Литография.

Как наше сердце своенравно!
томимый вновь,
Я умолял тебя недавно
Обманывать мою любовь,
Участьем, нежностью притворной
Одушевлять свой дивный взгляд,
Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой томный взор;
Твой вид задумчивый и важный,
Твой сладострастный разговор
И то, что дозволяешь нежно,
И то, что запрещаешь мне,
Все впечатлелось неизбежно
В моей сердечной глубине (II, 304).

К ней же обращены прощальные строки:

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено, — я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану <вновь>,
Тебя тоской преследовать не буду,
Про<шедшее> быть может позабуду —
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна.
И многими любима будешь ты (II, 309) [8].

В первые дни ноября, только что закончив главу первую «Онегина», поэт пишет вторую, пишет «с упоеньем», «что уж давно со мной не было», признается он в черновике письма к Вяземскому (XIII, 382).

И тут перед ним возникает облик Воронцовой. Он рисует ее полуфигуру — в открытом платье, с локонами надо лбом и у ушей [9].

Позднее, вероятно уже после обновленных впечатлений, когда она вернулась к общению с людьми, Пушкин набрасывает ее новые изображения [10]. Вот голова ее. Еле намечена улыбка. Рядом — профиль, неудавшийся, он зачеркнут. Ниже — поясной портрет — она в чепце, в шали, накинутой на плечи. Лицо строгое [11].

Не ее ли профиль, опять неудавшийся и тут же перечеркнутый, находится на листе, на котором Пушкин нарисовал четыре портрета одной и той же прекрасной женщины [12]?

Постоянно бывает Пушкин в доме у Воронцовых, среди ее гостей (она и муж ее принимают гостей каждый у себя), ежедневно обедает у них — «в столовой к обеду сходились вместе» [13].

Впечатления от Воронцовой по-прежнему отлагаются в рисунках Пушкина. Она угадывается в женской фигуре, изображенной со спины [14].



Е. К. Воронцова. Рисунок А. С. Пушкина.

На одном из листов тетради мы видим целую россыпь ее портретов [15]. Лицо, голова, профили, плечи с ожерельем на шее... Образ ее преследует его. Он хочет удержать ее черты в сознании, на бумаге. В иных профилях ему удается передать обаяние ее женственности.

Здесь ритм работы нарушается. Заключительные строфы главы второй — это уже не единый поток, а разрозненные четверостишия [16]. Искусство отступило перед мечтаниями, поэзия — перед графикой.

Тут же среди черновиков романа рождается стих:

Приметы верные любви.

Поэт преобразует его в двустишие:

Я узнаю сии приметы,
Сии предвестия любви (VI, 300).

Иной предположит, что, быть может, оно имеет отношение к дальнейшему развитию «Онегина» [17]. В ранней стадии романа автор думал, что Евгений влюбится в Татьяну с первой встречи. В черновых рукописях главы третьей есть такая строфа:



Одесса в начале XIX века. Современная гравюра по рисунку с натуры Кленце.

В постеле лежа — наш Евгений
Глазами Байрона читал,
Но дань вечерних размышлений
В уме Татьяне посвящал —
Проснулся он денницы ране,
И мысль была все о Татьяне.
Вот новое, подумал он —
Неужто я в нее влюблен?
Ей-богу это было б славно,
Себя уж то-то б одолжил.
Посмотрим — и тотчас решил
Соседей навещать исправно,
Как можно чаще, всякой день,
Ведь им досуг, а нам не лень
(VI, 307—308) [18].

Не говоря уже о том, что маловероятно, чтобы поэт так заблаговременно, так изолированно сложил бы эти два стиха для размышлений Онегина, — похожа ли на краткие, точно бы вырванные из живой речи, иронические реплики Евгения раздумчивая интонация этого двустишия?

По интонации оно близко лирике Пушкина, и становится ясным — это личное ощущение поэта, набросок к лирическому стихотворению. Оно и влилось впоследствии — в несколько измененном виде — в стихотворение «Признание»:

Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей (III, 28) [19].

А если так, то можно ли сомневаться, что это первое выражение новой влюбленности связано с той женщиной, портреты которой так настойчиво рисуются вслед за двустишием [20].

Здесь же, с краю листа, — профиль Воронцова, отлично поддерживаемый воспоминанием о нем современника: «В нем, воспитанном в Англии чуть не до 20-летнего возраста, была «вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил» [21], так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах своих, так же горд, холоден и властителен, «in foro interno» [22], как любой из сыновей аристократической Британии. <...> И наружность его поражала своим истинно барским изяществом. <...> Есть известный его портрет (весьма искусно воспроизведенный гравюрою), писанный знаменитым английским живописцем чуть ли еще не до 1820 года; граф Воронцов сохранял с ним сходство до поздних лет. <...> Высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный, тонкие, длинные губы с этою вечно игравшею на них ласково-коварною улыбкою...» [23]

В чеканном рисунке Пушкина мы видим эти «словно отточенные резцом» черты, эти «тонкие, длинные губы».

Зимой 1823/24 года Одесса жила полной светской жизнью. 12 декабря у Воронцо-



Рисунки Пушкина:
портрет Амалии
Ризнич. Наездник.

вых — большой бал, 25 декабря — большой обед, 31 декабря — маскарад, 6 января — маскарад у Ланжеронов. 13 января — публичный благотворительный маскарад в театре, устроенный Воронцовой и Ольгой Нарышкиной. 12 февраля — второй маскарад у Воронцовых. Пушкин бывает, вероятно, на всех этих вечерах.

25 января Воронцов уезжает в Кишинев. Вернулся он через две недели, 9 февраля [24].

Приступая к главе третьей «Онегина», Пушкин записывает сбоку от I строфы несколько заметок:

8 fevr. La nuit
1824
—
joué avec Sch. et Sin.
— perdu
soupé chez C.E.V. [25]

Пустых бытовых мелочей Пушкин не записывал. Он заносил в свои тетради события, имеющие значение для его душевной жизни, — записка от Марии Раевской, письмо от Наталии Гончаровой — первое после ожидавшегося им разрыва, даты «дней счастливых», смерть няни; отмечал он и даты общественных событий: смерть Наполеона, смерть Байрона, казнь декабристов, коронацию.

Ужин у Воронцовой 8 февраля знаменовал какой-то этап отношений Пушкина с нею.

О карточной игре Пушкин записал, вероятнее всего, для того, чтобы запомнить весь вечер — по мелочам, — подобно тому как в записи 1822 года заметка «1 июля день счастливый» предварялась строкой: «После обеда во сне видел Кхбкр» [26].

Тогда же, 8 или 9 февраля, среди черно-

виков V строфы главы третьей появляются рисунки, среди которых два изображения Воронцова: профиль и погрудный портрет графа в генеральском мундире. Пушкина тревожит какая-то мысль о нем... Не удовлетворенный сходством, он легонько перечеркивает обе неудавшиеся линии профиля [27].

На другой день после второго маскарада у Воронцовых приехал в Одессу кишиневский приятель Пушкина Липранди, нередко туда наезжавший, на этот раз вместе с другим кишиневским другом Пушкина, Н. С. Алексеевым. «В час мы нашли Пушкина еще в кровати, — вспоминал Липранди, — с поджатыми по обыкновению ногами и что-то пишущим. Он был очень не в духе от бывшего маскарада; рассказал некоторые эпизоды и в особенности был раздражен на (тогда коллежского асессора) барона Брунова (ныне нашего посла в Лондоне) и на улыбку довольствия графа» [28]. Следует рассказ о подхалимской выходке Брунова по отношению к Воронцову.

Много причин было для мрачного настроения Пушкина — и тон Воронцова с ним, и, кажется, разрыв с Ризнич, и неясное отношение к нему Елизаветы Ксаверьевны.

Не просты были возможности для общений с нею: супруга наместника края всегда была на виду. Встречи с глазу на глаз были возможны урывками. Правда, муж нередко отлучался из Одессы — ради поездок по краю, но из Киева вернулся Александр Раевский [29] (12 февраля). Влюбленный в Елизавету Ксаверьевну, он свободно входил в ее дом в качестве родственника — он приходился Воронцовой троюродным племянником.

О том, чтó это был за человек, лучше всего говорит его отец, генерал Н. Н. Раевский, благороднейшая, достойнейшая личность. Вот что пишет он старшей дочери своей Екатерине в 1820 году: «С Александром живу в мире, но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку [30] и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал Аттилу [31]. От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это. Делай и ты так, Катенька; он тебя любит настолько, насколько способен любить. Говорю тебе это для того, чтобы тебе не пришлось страдать от ошибки, тягостной для женского сердца. Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов» [32].

У Пушкина были с Александром Раевским давние отношения, зародившиеся, быть может, еще в Петербурге и укрепившиеся во время пребывания (с семейством Раевских) на Северном Кавказе, а затем в Каменке, в Киеве и, наконец, в Одессе.

Впечатлительный и восприимчивый поэт совершенно подпал под влияние этого скептика. Язвительный Раевский в самом прямом смысле подавил волю Пушкина.

Вот как рассказывает об этом хорошо знававший и Пушкина и Раевского адъютант Николая Раевского и приятель Льва Пушкина:

«В Одессе в одно время с ним (Пушкиным. — *Т. Ц.*) жил Александр Раевский, старший брат Николая. Он был тогда настоящим «демоном» Пушкина, который изобразил его в известном стихотворении очень верно. Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании:

Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал.
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел,
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел!

Я испытал это обаяние на самом себе. Впоследствии, в более зрелых летах, робость и почти страх к нему ослабели во мне, и я чувствовал себя с ним уже как

равный с равным. Пушкин в Одессе хаживал к нему обыкновенно по вечерам, имея позволение тушить свечи, чтоб разговаривать с ним свободнее впотьмах. <...> Пушкин сам вспоминал со смехом некоторые случаи подчиненности своему демону, до того уже комические, что мне даже казалось, что он пересаливает свои россказни. Но потом я проверил их у самого Раевского, который повторил мне буквально то же» [33].

Что «Демон» восходит к образу Раевского, свидетельствуют хором современники, знавшие его.

Сам же Пушкин тяготился молвой о связи его стихотворения с именем Александра Раевского. Наконец, намек на то, что в стихотворении изображен реальный человек, появился в печати: «Демон Пушкина не есть существо воображаемое: автор хотел представить развратителя, искушающего неопытную юность чувственностью и лжемудрствованием» [34].

Тут уже Пушкин решил было даже выступить с опровержением этого суждения и написал заметку, объясняющую идею «Демона». Заметка эта была написана якобы третьим лицом. Впрочем, она осталась в рукописи поэта:

«[Думаю, что критик ошибся.] Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, более нравственную.

В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существенности рождают в нем сомнения, чувство [мучительное], но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гёте называет вечного врага человечества **духом отрицающим**. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух **отрицания или сомнения** и в сжатой картине начертал [отличительные признаки и] печальное влияние [оного] на нравственность нашего века?» (XI, 30).

Однако едва ли все же это произведение, которому Пушкин придавал исключительное значение [35], создавалось вне воздействия тягостной дружбы человека, все отрицавшего. Не забудем и того, что заметка эта была написана в Михайловском в 1825 году (в феврале — марте), когда поэт уже не сохранял никаких иллюзий относительно нравственного облика Раевского.



Е. К. Воронцова. Три портрета. Рисунки А. С. Пушкина.

В Одессе же Раевский был одним из самых близких Пушкину людей. Вот как рассказывает о нем Ф. Ф. Вигель:



Е. К. Воронцова (ее портрет в правом верхнем углу). Рисунок А. С. Пушкина.



Е. К. Воронцова. Рисунок А. С. Пушкина.

«В нем не было честолюбия, но из смешения чрезмерного самолюбия, лени, хитрости и зависти составлен был его характер. Не подобные ли чувства святое Писание приписывает возмутившимся ангелам? Я напрасно усиливаюсь здесь изобразить его: гораздо лучше меня сделал сие Пушкин в немногих стихах под названием «Мой демон». Но подробности о нем могут более объяснить действия его, о коих приходится мне говорить. <...> В Молдавии, в самой нежной молодости, говорят, успевал он понапрасну опозоривать безвинных женщин; известных по своему дурному поведению не удостоивал он своего внимания: как кошка, любил он марать только все чистое, все возвышенное, и то, что французы делали из тщеславия, делал он из одной злости. Я не буду входить в тайну связей его с графиней Воронцовой [36]; но, судя по вышесказанному, могу поручиться, что он действовал более на ее ум, чем на сердце и на чувства.

Он поселился в Одессе и почти в доме господствующей в ней четы. <...> Козни его, увы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина не трудно было привлечь миловидной Воронцовой [37], которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже об них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспа-



Вторая глава «Евгения Онегина». Шесть портретов Е. К. Воронцовой. Слева — портрет М. С. Воронцова.

лять их в других; и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его» [38].

«Несмотря на скромность Пушкина, нельзя было графу не заметить его чувств. Он не унизился до ревности, но ему казалось обидно, что ссыльный канцелярский чиновник дерзает подымать глаза на ту, которая носит его имя. И боже мой! Поэтическая страсть всегда бывает так не опасна для предметов, ее возбуждающих; она скорее дело воображения и производит неловкость, робость, которые уничтожают возможность успеха.

Как все люди с практическим умом, граф весьма невысоко ценил поэзию; гениальность самого Байрона ему казалась ничтожной, а русский стихотворец в глазах его стоял едва ли выше лапландского. А этот водворился в гостиной жены его и всегда встречал его сухими поклонами, на которые, впрочем, он никогда не отвечал. Негодование возрастало, да и Пушкин, видя явное к себе презрение начальника, жестоко тем обижался и, подстрекаемый Раевским, в уединенной с ним беседе часто позволял себе эпиграммы. Не знаю как, но, кажется, через Франка все они доводимы были до графа» [39].

«Еще зимой, чутьем слышал я опасность для Пушкина, — вспоминает Вигель, — не позволял себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского — с неверным другом Яго. Он только что засмеялся» [40].

Как развивались отношения Пушкина с Воронцовой — неизвестно. Не раз случалось, что встречи прекращались. Так, вероятно, 12 марта [41] выехал Пушкин в Кишинев — повидаться с Инзовым, который огорчался тем, что Пушкин перешел от него к Воронцову.

Возвратился Пушкин в Одессу спустя три недели [42]. Графини Воронцовой в городе он не застал. Она еще дней за десять уехала в Белую Церковь к матери. Вернулась числа 18—19 апреля [43].

В первых числах мая покидала Одессу Амалия Ризнич. Она давно уже тяжело болела изнурительной лихорадкой, усилившейся после родов. К весне ей стало еще хуже. Врачи посылали ее в Швейцарию, а на зиму — в Италию [44].

Прощание Пушкина с нею отозвалось в одном из самых совершенных созданий его лирики. Произошло это шесть лет спустя, во время трехмесячного пребывания в Болдине. Окруженный карантинами, отрезанный от мира, готовясь к браку, поэт «отрывал» себя от когда-то дорогих ему женщин.

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой,
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где под скалами дремлют воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой... (III, 257) [45].

Это о Ризнич, вспоминая ее в Михайловском, писал поэт в «Путешествии Онегина»:

Там хладнокровного купца
Блистает резвая подруга (VI, 464).

(Муж ее, Иван Ризнич, был негоциантом, сербом, жившим в Одессе.)

И в «Путешествии...» — ее живой, пленительный портрет:

А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке, с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
В просонках фора закричит,
Зевнет — и снова захрапит (VI, 205).



М. С. Воронцов. Портрет работы Т. Лауренса.

На полях черновика этой строфы набросан изящнейший рисунок — молодая женщина в длинном платье, с откинутой головой, подымается в карету. Мы догадываемся, что это зарисовка по памяти Амалии Ризнич, отъезжающей из театра [46]. Рисунок, как всегда, предшествует связанному с ним тексту: на следующей странице — строфа, описывающая разъезд после оперы.

Называя ее имя, поэт откровенно пишет:

Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног Амалии прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

Впрочем, тут же, в беловой рукописи, имя ее тщательно зачеркивается и заменяется обобщенным:

У ног любовницы прекрасной...
(VI, 57 и 578).

А затем создаются пронзительные по неистовой силе чувства и художественного выражения строфы:

Да, да, ведь ревности припадка
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет.
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж конечно без боязни
Взойдет на пламенный костер,
Иль шею склонит под топор.

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень! (VI, 611).

Эти строфы из главы шестой — лирическое отступление после эпизода о ревности Ленского — написаны в Михайловском, по-видимому, в ноябре 1826 года. Печатать их Пушкин не стал, но на пропуск указал цифрами, обозначающими строфы: XV, XVI.

«Через несколько дней по приезде моем в Одессу, — вспоминает Вигель, прибывший из Кишинева в ночь на 16 мая 1824 года [47], — встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть

для него унизительнее; сим ударом надеялся граф Воронцов поразить его гордыню [48]. Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отмене приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе [49]. Он побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в приязненных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце», а через полминуты прибавил «также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок» [50].

Дикая реакция Воронцова на попытку Вигеля заступиться за Пушкина, так же как и самое решение послать Пушкина в эту унизительную поездку, были вызваны, конечно, обострившимися отношениями Пушкина с Воронцовым, ревностью последнего. И доброхоты могли донести что-нибудь своему начальнику, и от него самого, быть может, не укрылось что-то новое во взаимоотношениях жены его и Пушкина.

Получив 22 мая предписание выехать на места распространения саранчи, Пушкин пишет письмо начальнику канцелярии Воронцова Казначееву:

«П<очтеннейший> А<лександр> И<ванович>. Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, в праве ли <я> отозваться на предписание е<го> с<иятельства>. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно на счет моего положения.

7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня <не> потеряны [51]. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей [52], обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь за 2000 в. от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях. Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением графа Воронцова, так же как и вашим, как и мнением всякого честного человека.

Повторяю здесь то, что уже известно графу Михаилу Семеновичу: если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме его сиятельства; но, чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной.

Знаю, что довольно этого письма, чтоб меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов; но чувствую, что, переменив мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь.

Еще одно слово: Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство которого угодно доктора» (XIII, 92—94).

Письмо это — в сущности, высказанные вслух мысли о себе. Обращаясь через Казначеева к Воронцову, Пушкин не делает никаких категорических выводов. Он кончает такими неделовыми словами: «Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая, верно, не продлится...» (XIII, 94).

Однако письма этого он, очевидно, не послал (в беловом виде оно неизвестно). Да и в следующем письме Казначееву, написанном несколько позднее, Пушкин говорит о тех же вопросах почти что то же, только на французском языке.

Во время писания черновика письма, 22 мая, Пушкин на том же листе рисует. Здесь и фигура Меркурия работы итальянского скульптора Джованни да Болонья, и голова Павла I, и знакомая мечта — Воронцова, ее профиль, портрет по грудь (профиль в нем зачеркнут — он не удался), ножки в бальных туфельках, вся фигура в рост. И на обороте листа — в тот же день или в один из следующих — на полях строф XXX и XXXII главы третьей «Онегина» и «Разговора книгопродавца с поэтом» — вновь возникают профиль Воронцовой и ножки в бальных туфлях [53].

«На саранчу» Пушкин все же поехал — по совету «его любезного друга» Александ-

ра Раевского, который, как утверждает Вигель (со слов Франка, ближайшего Воронцову человека), и Воронцову внушил идею послать Пушкина в эту командировку [54]. Поручено ему было объехать Херсонский, Александрийский и Елизаветградский уезды [55]. Получив 23 мая 400 р. ассигнациями «на прогоны» [56] (на почтовых лошадей), Пушкин отправился в путь. В Херсоне он побывал [57]. О дальнейшем путешествии точных данных нет.

Вернулся 28 мая. На следующий день М. Ф. Орлов пишет жене в Киев: «Пушкин был послан на саранчу. Он воевал с нею и после весьма трудной кампании вчера вернулся, отступив пред несметным неприятелем» [58].

По преданию [59], написал язвительный отчет в стихах:

Саранча
Летела, летела
И села;
Сидела, сидела,
Все съела,
И вновь улетела.

Остроумный экспромт Пушкин мог сказать в канцелярии, но едва ли позволил бы он себе написать такой бесцеремонный отчет [60].

Вот как рассказывает об этих событиях Вигель: «По совету сего любезного друга (Раевского. — *Т. Ц.*) Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время под диктовкой того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу (aux travaux forcés), но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просит об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику графу Нессельроде» [61]. Вот эту-то переписку с Воронцовым Пушкин и назвал «полемической». Прошение об отставке Пушкин подал в начале июля на высочайшее имя, мотивируя просьбу слабостью здоровья [62]

Между тем отношения Пушкина с Елизаветой Ксаверьевной развивались. Она увлеклась вспыхнувшим в поэте страстным чувством.

Пушкин говорил о своих ночных с нею свиданиях Вере Федоровне Вяземской [63], поверенной в его сердечных делах (с 7 июня 1824 года она жила в Одессе, куда привезла к морю своих больных детей).

Свидания в доме были затруднительны. Влюбленные ищут уединения в другом месте.

Под пером поэта зарождаются стихи:

Есть у́ моря под ветхою скалой
Уединенная пещера.
Она полна прохладной темнотой (II, 992).

Тут же насыщается пейзаж лирическим чувством:

Под скалой
Пещера дикая таится,
Обитель неги, в летний зной
Она прохладной темнотой
[Полна] (II, 993).

Через три страницы той же рабочей тетради Пушкин возвращается к этой теме:

Пещера дикая видна.
Она полна прохлады влажной.
В ней плещут волны — и всегда
Не умолкает гул протяжный (II, 993).

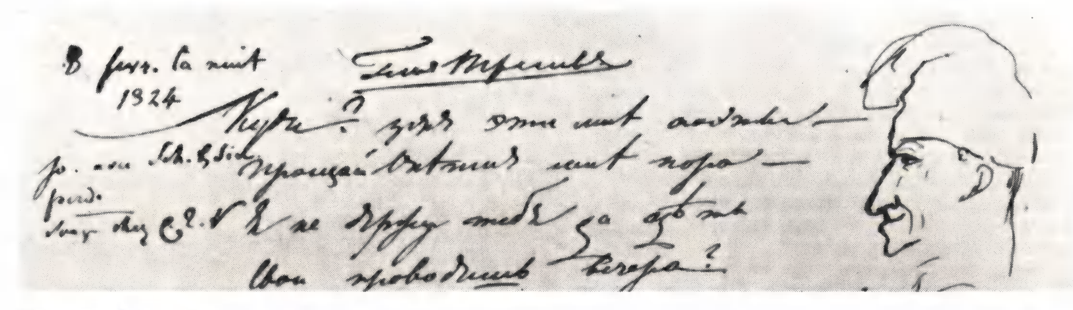
Наконец отливается четверостишие, живописующее дорогое поэту прибежище:

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжный (II, 472).

Наброски эти, написанные в конце мая — начале июня, являются первыми стихами после двустишия «Я узнаю сии приметы Сии предвестия любви...», которые можно уверенно отнести к Воронцовой.

На следующем листе тетради поэт дважды рисует женскую руку, играющую на рояле. Нам, кажется, знакомы эти длинные, изогнутые пальцы — не их ли видели мы на портретах Воронцовой [64]? Пушкин слушал, очевидно, ее игру [65]. На обороте листа с этими рисунками находится черновик второго письма Казначееву, написанного после подачи прошения об отставке.

В эти же дни [66] распространилась эпи-



Запись об ужине у Воронцова — на полях рукописи третьей главы «Евгения Онегина». Справа — портрет Вольтера.

грамма Пушкина на Воронцова «Полу-милорд, полу-купец...».

Могла она дойти и до Елизаветы Ксаверьевны. Именно этим и можно объяснить внезапное отчуждение ее от Пушкина.

«После известной его эпиграммы на ее мужа (в которой потом сам он раскаивался) конечно обращались с ним очень сухо. Перед каждым обедом, к которому собиралось по нескольку человек, княгиня-хозяйка обходила гостей и говорила каждому что-нибудь любезное. Однажды она прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом: «Что нынче дают в театре?» Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положа руку на сердце (что он делывал, особливо когда отпускал остроты), с улыбкою сказал: «La sposa fedele», contessa!» [67]. Та отвернулась и воскликнула: «Quelle impertinence!» [68]

«La sposa fedele» — «Верная супруга» — опера-буфф композитора Джованни Пачини (1796—1867), поставленная впервые в 1819 году в Венеции и в Милане [69]. По-видимому, ставилась она и в итальянской опере в Одессе в 1824 году [70].

Из негодующего восклицания Воронцовой ясно, что она отнесла иронию Пушкина на свой счет. Вспышка Воронцовой не связывалась с сюжетом оперы (там изображается супруга действительно верная) [71]. Ее оскорбил намек Пушкина, а в нем прорвалась его ревность к Раевскому.

Спустя несколько дней, 14 июня, Воронцова уезжала в большом обществе из Одессы в Крым. Гости — человек около тридцати — ехали пожить у Воронцовых в Гурзуфе. Плыли морем на их яхте.

Еще зимою зазывал Пушкин в Одессу Вяземского, имея в виду эту поездку: «Что, если б ты заехал к нам на Юг нынче весною? Мы бы провели лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного народа, женщин и мужчин. Приезжай, ей-богу веселее здесь, чем у вас на Севере» (XIII, 83).

Но если в декабре Пушкин мог рассчитывать быть гостем Воронцовых, то сейчас об этом и речи не могло быть.

Отъезд любимой женщины он сопроводил стихами:

Кораблю

Морей [красавец] окриленный!
Тебя зову — плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.
Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай,
Волны [незапным] колыханьем
Ее груди не утомляй (II, 315).

Среди зачеркнутых вариантов были выразительные заклинания:

Храни, храни залог бесценный...

*

О, возврати залог бесценный...

Первоначально предполагалось еще одно четверостишие, к которому намечались наброски:

И в пристани

*

Пускай она   услышит
Привет

*

Привет
Услышит в пристани она

*

Пускай услышит
Об милых счастливую весть...
(II, 829—830).

Это о больных детях Воронцовой, гостящих у бабушки в имении Александрия под Белой Церковью.

Вернулась Елизавета Ксаверьевна из Гурзуфа в Одессу 24 июля[72]. Вместо предполагавшихся двух месяцев она провела в Крыму полтора, оставив гостей с мужем. Она должна ехать к детям в Александрию.

Одновременно, 24 июля, Воронцов отправляет из Симферополя градоначальнику Одессы графу Гурьеву предписание: объявить Пушкину о высочайшем повелении исключить его из списка чиновников Коллегии иностранных дел и отправить немедленно на жительство в Псковскую губернию. «Если Пушкин даст подписку, что отправится прямо к своему назначению, не останавливаясь нигде на пути к Пскову, то дозволить ему ехать одному. В противном случае отправить его с надежным чиновником»[73].

«Мы продолжаем ничего не знать о судьбе Пушкина, — пишет Вяземская мужу 27 июля. — Даже графиня, она знает, как и ты, что он должен покинуть Одессу. Ее муж сказал просто, что для Пушкина ничего нельзя сделать в Одессе, но мы не знаем, чем это кончится»[74].

29-го Пушкина вызывает градоначальник. Он объявляет ему об отставке и о том, что его высылают в псковскую деревню к матери. Пушкину дают подписаться под следующим обязательством:

«Нижеподписавшийся сим обязывается по данному от г-на Одесского градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде на пути по своему произволу; а по прибытии в Псков явиться к г-ну гражданскому губернатору. Одесса. 29 июля 1824».

И вторую бумажку подписывает Пушкин:

«По маршруту от Одессы до Пскова исчислено верст 1621. На сей путь прогонных на три лошади триста восемьдесят девять руб. четыре коп.

получил коллежский секретарь
Александр Пушкин»[75].

В тот же день Гурьев рапортовал Воронцову:

«Вследствие повеления вашего с<иятельст>ва о коллежском секретаре Пушкине, имею честь донести:

высочайшая государя императора воля о нем мною лично ему объявлена. Он дал подносимую при сем подписку и завтрашний день отправляется отсюда в город Псков по данному от меня маршруту через Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. На прогоны к месту назначения по числу верст 1621 на три лошади выдано ему денег 389 рублей 4 коп.

Об отъезде отсюда Пушкина я вместе с сим извещаю г-на псковского гражданского губернатора.

Генерал-майор граф Гурьев.

Маршрут сей до Киева не касается»[76].

Смысл последней строки, собственноручной приписки Гурьева видели в том, что «Пушкин был знаком с многими поляками из Киевской губернии»[77]. К этому должно прибавить, что Киев был местом средоточия офицеров, помещиков и других деятелей, находящихся под надзором. Так или иначе, Гурьев постарался обрадовать Воронцова своей догадливой распорядительностью.

Подавая в отставку, Пушкин рассчитывал остаться в Одессе и вести там независимый образ жизни. Иначе не объяснить того, почему он был так ошеломлен приказом о немедленном выезде в Псковскую губернию. Вяземская вспоминала, что, «когда была решена его высылка из Одессы, он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека»[78].

И Пушкин и Вяземская старались себе объяснить, чем была вызвана столь крутая мера в ответ на прошение Пушкина об отставке.

Вначале Вера Федоровна осуждала действия Пушкина, которые, по ее мнению, привели его к тому, что он решил подать в отставку. «Ничего хорошего не могу сказать тебе о племяннике Василия Львовича, — писала она мужу 13 июня. — Это совершенно сумасшедшая голова, с которою никто не может совладать. Он натворил новых проказ («nouvelles farces»), из-за которых подал в отставку. Вся вина — с его стороны. Мне известно из хорошего источника, что отставки он не получит»[79].

«Новые проказы» — это, быть может, то же, о чем говорил И. И. Пущин со слов Пушкина, «некоторые смелые его бумаги по службе»[80], «полемическая переписка» с Воронцовым, пересказанная Вигелем. Но скорее под «новыми проказами» следует понимать эпиграмму на Воронцова «Полу-милорд, полу-купец...»; вот как пишет далее Вяземская: «Я делаю все, что могу, чтобы успокоить его, браню его от твоего имени, уверяя его, что, разумеется, ты пер-



А. Н. Раевский.
Неизвестный художник.
1821 г. Масло.

вый признал бы его виноватым, так как только ветреник мог так набедокурить. Он захотел выставить в смешном виде важную для него особу и сделал это; это стало известно, и, как и следовало ожидать, на него не могли больше смотреть благосклонно».

Однако, пообщавшись с Пушкиным, Вяземская поражается его умом и огорчается горячностью и противоречивостью в его мыслях и настроениях: «Какая голова и какой сумбур в этой бедной голове!» — пишет она мужу через десять дней [81].

Возможность грозящей Пушкину высылки проскальзывает впервые в письме Веры Федоровны к мужу от 18 июля: «Хороша я буду, если Пушкин покинет Одессу: у меня здесь, кроме него, нет никого ни для общества, ни для того, чтобы утешать меня, ни для разговоров, прогулок, спектаклей и пр.» [82].

Мысли о возможности отъезда Пушкина из Одессы могли возникнуть под впечатлением письма Вяземского (от 10 июля): «...каламбур сообщи Пушкину, если он еще у вас!» Далее Вяземский рассуждает: «Эх, он шалун! Мне страх на него досадно. да и не на его одного! Мне кажется, по тому, что пишут мне из Петербурга, что это дело криво там представлено. Грешно тем, которые не уважают дарования даже и в безумном! Дарование все священно, хотя оно и в мутном сосуде! Сообщи и это Пушкину: тут есть ему и мадригал и эпиграмма» [83].

Но на другой день (19 июля) Вяземская и Пушкин уже встревожены: «Почему ты так темно говоришь нам о деле Пушкина? Отсутствие графа Воронцова служит причиной, что мы ничего не знаем. Как могло это дело плохо обернуться? Он виноват только в ребячестве («enfantillages») и в том, что не без оснований обиделся на то, что его послали ловить саранчу, и то он не ослушался. Он съездил туда, а вернувшись, подал в отставку, потому что его самолюбие было затронуто. Вот и все. Когда же наконец государи будут действительно знать, что у них происходит...» [84].

Тут уж Вяземская, по-прежнему признавая неуместность ребячества Пушкина, стоит за него горой. Ее слова явно отражают пушкинское состояние, его освещение событий.

Впоследствии, уже с холодной головой, Пушкин объяснял разными причинами свою высылку. «Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню, — писал много позднее Пущин, вспоминая разговор с ним в Михайловском 11 января 1825 года, — он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова **из ревности:** думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии» [85].

Но это потом. А теперь над ним висит высылка...

Пушкин задумывает бежать из России.

С раздражением, не улегшимся через четыре месяца после отъезда В. Ф. Вяземской из Одессы, пишет М. С. Воронцов А. Я. Булгакову в Москву: «...Что касается княгини Вяземской, то скажу Вам (но между нами), что наша страна еще недостаточно цивилизована, чтобы оценить ее блестящий и острый ум, которым мы до сих пор еще ошеломлены. И затем, мы считаем, так сказать, неприличным ее затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и озорником («ce fou et polisson») Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков.



Одесса 1820-х годов.
Литография.

Вы гораздо достойнее нас наслаждаться ее обществом, и мы Вам предоставляем его с удовольствием. К счастью, здешние врачи нашли, что климат Одессы благоприятен только для ее детей. Я вполне того же мнения» [86].

О том, как задумывалось бегство, и о том, что в этом замысле участвовала и графиня Воронцова, выясняется из письма А. Я. Булгакова к брату, написанного год спустя, 12 июня 1825 года, со слов самого Воронцова: «Воронцов желал, чтобы сношения с Вяземскою прекратились у графини: он очень сердит на них обеих, особливо на княгиню, за Пушкина, шалуна-поэта, да и поделом. Вяземская хотела поддержать его бегство из Одессы, искала для него денег и способы отправить его морем. Это ли не безрассудство!» [87].

Как известно, плана этого Пушкин не осуществил. Вот как пишет он сам об этом в стихотворении «К морю»:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!

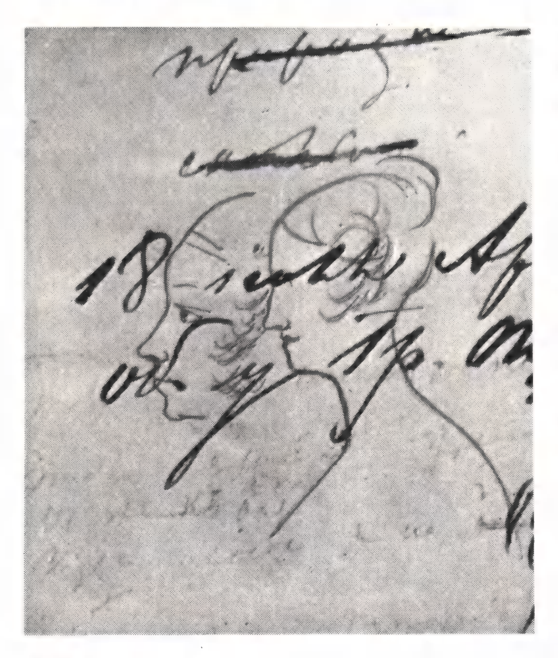
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя;
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я... (II, 332).

Последние дни в Одессе были для Пушкина очень значительны. Он сделал памятные заметки о них в календаре — в маленьком французском альманахе для дам на 1824 год [88]. Книжечка эта была, по всей вероятности, подарком Воронцовой [89]. И записи Пушкина, почти без исключения, были связаны с нею [90]. Они сделаны на нескольких листках календаря.

На майском листке Пушкин записывает: «26 voyage, vin de hongrie» (то есть путешествие, венгерское вино).

26 мая — это день рождения Пушкина. Он провел его в вынужденной поездке, на борьбе с саранчой. Пил вино, может быть, в одиночестве...

На июльском листке — заметки о последних днях в Одессе.



Е. К. Воронцова.

Записана дата — 28-е, и только.

29-е. В этот день Пушкин был у градоначальника, который объявил ему о высочайшем повелении исключить Пушкина со службы и отправить его в Псковскую губернию, где и будет он состоять под наблюдением местного начальства. Дав подписку о немедленном выезде, он кинулся к Воронцовой, от нее, потрясенный, — к Вяземской.

Записана дата — 30-е.

Возле дат 29-го и 30-го поставлены черточки. Эти условные пометы обозначают, вероятнее всего, интимные свиданья [91].

Под датой 30 июля записано: «30 — turco in Italia». Этой записью отмечено посещение театра — оперы Россини «Турок в Италии» [92].

Едва ли провел бы Пушкин последний вечер в Одессе в театре, если бы там не было Воронцовой. Но решился ли бы он присутствовать в ложе супруги генерал-губернатора, получив накануне приказ о высылке и обязавшись «без замедления отправиться к месту назначения»? Впрочем, вспомним:

А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
И слава богу от вельмож
Уехал в тень лесов тригорских (VI, 492 и 505).

Последняя запись на июльском листке календаря: «31 départ» (то есть — 31 отъезд).

В каком состоянии уезжал Пушкин, мы узнаем из большого письма Веры Федоровны Вяземской к мужу. Написано оно 1 августа [93].

«Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что последние недели мы были с ним совсем как брат с сестрой. Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности [94] из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни, как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании мы потолкуем об этом менее туманно, есть основания прекратить этот разговор. Молчи, хотя это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны [95]. Он умоляет тебя не писать ему, дело в том, что один человек оказался скомпрометированным из-за того, что наш друг написал на чужом письме, обращенном к нему, его адрес, и хотя он с этим человеком совершенно не был знаком, последнего допрашивали о его отношениях с нашим другом. Я уверена, что ты не покинешь его в несчастии, но пиши и изъясняйся в своих письмах так, как если бы ты был его худшим недругом; ты всегда считал себя слишком бесхитростным, чтобы это делать, но принеси эту жертву дружбе, потому что единственная радость, которая останется бедному Пушкину, похороненному в глуши возле уездного города Порхова [96] в Псковской губернии, это получать изредка известия, чтобы не умереть окончательно нравственной смертью. Полюбопытствуй, хорошо ли приняли его родители; упрекать его в чем-либо было бы бессмысленно; в чем, впрочем, можно было бы упрекнуть его, раз он не знает за собой иной вины, как то, что он подал в отставку? Я обещала изредка писать ему. Я проповедую ему покорность судьбе, а сама не могу с ней примириться, он сказал мне, поки-



Слева — Амалия Ризнич,
справа —
Е. К. Воронцова.
Рисунки А. С. Пушкина.

дая меня, что я была единственной женщиной, с которой он расстается с такою грустью, притом что никогда не был в меня влюблен. Это обрадовало меня, потому что я тоже испытываю к нему дружбу, тем более нежную, что он несчастен, а это особенно на меня действует; хотелось бы, чтобы это подействовало так же и на его мать.

Дети [97] здоровы, особенно Николенька. <...> Но решительно я думаю, что надо их оставить в Одессе, потому что путешествие очень бы их растревожило. Я увижу по твоим письмам, на что я должна решиться, во всяком случае, графиня Воронцова берет на себя моих детей, я найму несколько комнат против нее, чтобы она могла ходить туда в те же часы, что и доктор, она говорит, что будет приходить туда два раза в день и будет вникать во все мелочи; она слишком хорошая мать, чтобы не заботиться о чужих детях, раз они ей поручены, и мне не о чем беспокоиться. Она опять уехала вчера вечером к своей матери и детям. Нарышкины [98] тоже, они едут за границу. Мы были неразлучны в течение восьми дней. Теперь ты чувствуешь мое одиночество. Ни одна живая душа не заглянет ко мне. <...> У нас сложились совсем простые отношения с графиней Воронцовой, и я постараюсь, чтобы это и дальше шло так же, потому что она очаровательна. Вот что ты можешь сказать Булгакову [99]. Что же до графа [100], то я его почти не знаю, но знаю, что его любят все в городе — и русские и иностранцы, вид у него очень порядочный, таким образом, я уже предрасположена к нему, время сделает остальное, если мы поселимся на некоторое время в Одессе; его жена предсказывает, что я его очень полюблю, и я охотно этому верю.

У меня сплин, не знаю, что такое, но эта высылка, преследования неизвестно с чьей стороны, с чего и почему, переполняют меня смутной тревогой и черными мыслями до такой степени, что я не нахожу себе места. Да хранит нас бог, и да избавит он нас от несчастий этой жизни, к которой ты, кажется, получил отвращение, судя по двум твоим последним письмам. <...> Если к 17 сентября [101] ты не

Е. К. Воронцова. Портрет работы Хейтера. Масло.





Портрет неизвестной женщины. Рисунок А. С. Пушкина.

приедешь, я поручаю детей графине Воронцовой и еду в Москву 18-го, чтобы ты мог поехать заменить меня в Одессу до зимы. <...>

Пушкин не застрелился [102] и никогда не застрелится, разве что с тоски этой зимой в деревне. Я списала касающийся его отрывок и послала его с Владимиром [103], который застал его садящимся в коляску. Я дала ему взаймы 600 рублей, которые должны мне быть возмещены здесь кем-то, кто ему должен [104], но я не верю в эту уплату, кроме того, я истратила 100 рублей на покупку ему разных вещей в дорогу. <...>

Объясни мне, почему я чувствительнее к страданиям других, чем к своим. Когда дело касается нас, у меня больше энергии; когда же случается беда с другими, я скорее поддаюсь унынию; мне кажется, что несчастные — мое достояние, что они принадлежат мне по праву и что их сердце, зная, как мое сочувствует их горестям, должно ощущать облегчение.

Я думаю, что наша разлука действует на мои нервы столько же, как и на мои чувства, и что я становлюсь лучше вдали от вас, дорогие друзья, потому что моя душа более расположена к восприятию горестных впечатлений. <...>».

Замечательное письмо! Написанное сразу после отъезда Пушкина в новую ссылку, еще утром («Мадам Данжевиль должна прийти сегодня утром», — пишет в этом письме Вяземская), оно полно непосредственными впечатлениями горячо сочувствующего Пушкину друга. Мы словно присутствуем при прощании Пушкина. Он в о т ч а я н и и — «из-за некоего чувства, которое разрослось в нем в последние дни, как это бывает...». Вяземская исправляет: «в особенности из-за некоего чувства» — не в одной любви дело... Она смягчает: «Хотя все это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны».

Имени женщины не названо, но все эти оговорки и настойчивые требования Вяземской, чтобы муж не писал ей на эту тему, выдают ее с головой: «есть причины, чтобы оставить этот разговор», — нужно хранить тайну, потому что героиня романа занимает в городе какое-то чрезвычайное положение.

А письма к Вяземской не могут не перлюстрироваться — ежедневные общения ее с Пушкиным, конечно, замечены, а то, что за ним следят, не подлежит ни малейшему сомнению. Мы знаем слова Воронцова: «По всему, что я узнаю на его <Пушкина> счет и через Гурьева, и через Казначеева, и через полицию, он теперь очень благоразумен и сдержан...» [105]; известные строки Пушкина об атеизме были извлечены из перехваченного письма его [106]; те-



перь же читаем мы красноречивое сообщение, что человека, адрес которому был надписан Пушкиным, допрашивали о нем.

Есть и еще одно обстоятельство, которое окончательно раскрывает имя женщины, которую любил Пушкин: Вяземская сообщает, что «вчера вечером», то есть 31 июля, уехала Воронцова. А это то самое число, возле которого Пушкин отметил в календарике: «départ». Дату отъезда любимой женщины отметил поэт, он должен запомнить эту дату, а не день своего отъезда... Он-то уехал на другое утро, «только что», — пишет Вера Федоровна утром 1 августа.

То, что дата отъезда из Одессы 31 июля означает отъезд не Пушкина, а Воронцовой, убеждает в правильности гипотезы о связи заметок в «Альманахе для дам» именно с нею.

Письмо Вяземской окончательно укрепляет гипотезу о близости Пушкина и Воронцовой.

Исправляет оно бесповоротно и дату отъезда Пушкина из Одессы в Михайловскую ссылку. Выехал он не 30 июля, как считалось с 1861 года, на основании сообщения в «Полярной звезде» Герцена [107], не 31 июля, как было принято с 1941 года [108], а 1 августа на основании письма Вяземской [109] и осмысления заметки поэта в календарике (31 départ).

Теперь понятно и то, почему так смело нарушил Пушкин подписанное им 29 июля обязательство «без замедления отправиться из Одессы», — он хотел оттянуть расставание с уезжавшей Воронцовой.

Новое письмо Вяземской еще раз показывает нам редчайшее благородство Пушкина: уезжая в глухую деревню в ссылку, он умоляет (через Веру Федоровну) своего любимого корреспондента, умного и острого Вяземского, не писать ему... Пушкин боится, что переписка с ним скомпрометирует его друга.

Обращает на себя внимание и беспокойство — «хорошо ли его примут родители», как отнесется мать к несчастью сына. Эти чувства исходят, конечно же, от Пушкина. Он прожил с родителями три года — со времени окончания лицея — до ссылки. Нелегкий опыт чувствуется в этой тревоге возвращающегося в семью поэта...

2. МИХАЙЛОВСКОЕ

Более полутора тысяч верст пути надо было преодолеть Пушкину на лошадях. Ехал он девять дней.

Наконец добрался до Михайловского.

На августовском листочке «Дамского альманаха» 1824 года появляется запись: «9 arrivé à M — » (девятого приехал в М<ихайловское>).

«И был печален мой приезд...» — вспоминает поэт (VI, 492). Здесь ждали его тяготы другого рода.

«Милый, прибегаю к тебе, — пишет Пушкин Жуковскому. — Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моею ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров [110], назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé... [111] (Жуковский, думай о моем положении и суди.) Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить... Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз спаси меня. 31 окт.

А. П.» (XIII, 116).

Приходится укрываться у соседей — в Тригорском, где Пушкин проводит иногда по нескольку дней. Там отношения к нему самые дружественные, самые сердечные.

Первые месяцы в деревне живет он воспоминаниями, ожиданием писем из Одессы.

Чувство к женщине, от которой поэт насильственно отторгнут, преображается в его искусстве.

Первое стихотворение, связанное с Воронцовой, написанное в Михайловском

(или, может быть, там только переписанное[112]), — это «К морю», — ранняя редакция, еще без строф о Наполеоне, о Байроне, — лирическое прощание со «свободной стихией» — с значительным признанием:

Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

Быть может, тогда же, сразу после разлуки, еще до получения писем от Воронцовой, написано одно беспросветное по настроению стихотворение[113]. Беспросветно оно не только тем, что поэт оторван от любимой («прощай, надежда, спи, желанье»), но и тем, что он видит себя окруженным различными бедствиями, обступающими его со всех сторон.

Создавалось стихотворение в ту пору, когда гонимого поэта стали искушать мечты о спасительном бегстве из России. И вместе с тем мудрый Пушкин представлял себе тягчайшее испытание — одиночество, которое ждет человека, покинувшего отечество («в уединеньи чуждых стран»). Мучение это — в одном кругу с преследованием правительством («гоненье»), с духовной расплатой за что-то содеянное («раскаянье»), с внезапными перипетиями судьбы («волненье»). Постоянно ждет Пушкин грозящие ему кары, более катастрофические, чем «гоненье» («Когда подымет океан /Вокруг меня валы ревучи, / Когда грозою грянут тучи...»). Ждет он от судьбы и испытания бездействием («лоно скучного покоя», «праздного покоя» — по первоначальному варианту). Пушкин хорошо знал эту пытку деятельному человеку. Был перед ним и осознанный пример Наполеона — «Мучением покоя / В морях казненного по манию царей» (II, 312). Предвидит поэт и напряженное ощущение неминуемой смерти, подстерегающей человека на каждом шагу на войне («в тревоге пламенного боя»). Невыносим, наконец, и вынужденный разрыв с любимой («Священный сладостный обман, / Души волшебное светило... / Оно сокрылось, изменило...»)...

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи —
Храни меня, мой талисман.

В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман (II, 396).

Не об измене женщины речь в строфе «Священный сладостный обман...». В черновике было намечено продолжение, показывающее, что поэт имел в виду отошедшее счастье, поворот судьбы:

Как сон, как утренний туман
Любви сокрылось сновиденье...

«Талисманом» называл Пушкин свой перстень с вырезанными на камне таинственными письменами[114]. Это был подарок Воронцовой. «Талисманом» запечатывал Пушкин свои письма. Не расставался с заветным перстнем он и впоследствии. Много позднее, уже в 1835 году, он нарисовал свои пальцы с этим кольцом на одном из них.

До конца дней не снимал он перстня с руки. И на дуэль отправился он с «талисманом»... Снять кольцо с мертвой руки Пушкина пришлось Жуковскому[115].

Сестра Пушкина рассказывала, что, когда приходило ему письмо с такой же печатью, как на его перстне, он запирался в своей комнате, никуда не выходил, никого не принимал.

Через две недели после приезда в деревню Пушкин возвращается к давно оставленному стихотворению. Это вольный перевод из Парни («Les déguisements de Vénus» — «Превращения Венеры» — XXVII стихотворение цикла). Три года назад, в 1821 году, написав одиннадцать стихов, Пушкин оставил его недоконченным. Теперь, в Михайловском, он вернулся к нему. Почему?

Всякое произведение великого поэта волнует не только волшебством своего текста, но и тайной своего зарождения. Почему влечет Пушкина, перенесенного силою обстоятельств с юга в деревню, к теме царицы ада? Его занимает не столько передача текста Парни на русском языке, сколько то, что он вкладывает своего, чем он обогащает стихотворение французского



Запись А. С. Пушкина в «Almanach des Dames» о собственном дне рождения.

поэта. Пушкин привносит в текст оригинала описание Элизия и образ сладострастной Прозерпины. Варианты этих — своих — мотивов в черновике особенно обильны. Заканчивает поэт стихотворение, переписывает и ставит дату: 26 августа 1824.

Вот как сложилось стихотворение окончательно:

Прозерпина

Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат,
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из аида бога мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним.
Пред богинею колена
Робко юноша склонил.
И богиням льстит измена:
Прозерпине смертный мил.
Ада гордая царица
Взором юношу зовет,
Обняла — и колесница
Уж к аиду их несет:
Мчатся, облаком одеты;
Видят вечные луга,
Элизей и томной Леты
Усыпленные брега.
Там бессмертье, там забвенье.
Там утехам нет конца.
Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,



Запись А. С. Пушкина
в «Almanach des Dames»
о последних днях в Одессе,
1824 г.

Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет...
Но бегут любви часы;
Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро мчат его назад.
И Кереры дочь уходит,
И счастливца за собой
Из Элизия выводит
Потаенною тропой;
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой (II, 320).

5 сентября Пушкин получает письмо. «U. l. d. [EW.]» [116] (Une lettre de Elise Worontsoff — письмо от Элизы Воронцовой), — записывает он в черновой тетради и зачеркивает монограмму.

Это, вероятно, первое ее письмо, событие в его жизни.

Письма возбуждали чувство, но тоски не утоляли...

Он рассматривает ее портрет, подарки:

Пускай увенчанный любовью красоты
В заветном золоте хранит ее черты
И письма тайные, награды долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки
Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,

Святой залог любви, утеха грусти нежной —
Не лечит ран любви безумной, безнадежной
(II, 366) [117].

В октябре создается большое стихотворение — «Клеопатра» [118]. Пишется оно вдохновенно, стремительно; почерк летящий; рука еле поспевает за рождающимися стихами. Никаких отвлечений. Никаких рисунков. Зачеркивания, замены — все молниеносно. Поэт переполнен мыслями, образами, звуками.

Это осень, «Михайловская осень» 1824 года, плодоносная исключительно.

Заканчивает Пушкин «Клеопатру» в течение месяца.

Мне представляется, что образ Клеопатры — это развитие образа Прозерпины. Если там «ада гордая царица» отдается робкому юноше («Прозерпине смертный мил») —

Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет...

то здесь в клятве царицы те же мотивы, но выраженные еще сильней.

И снова гордый глас возвысила царица:
«Теперь забыты мной венец и багряница!
Простой наемницей на ложе восхожу;
Неслыханно тебе, Киприда, я служу,
И новый дар тебе ночей моих награда.
О боги грозные, внемлите ж, боги ада,
Подземных ужасов печальные цари!
Примите мой обет: до сладостной зари
Властителей моих последние желанья
И дивной негою и тайнами лобзанья,
Всей чашею любви послушно упою...

Обет Клеопатры заканчивается клятвой:

Когда же сквозь завес во храмину мою
Блеснет Авроры луч — клянусь моей порфирой,
Главы их упадут под утренней секирой!»
(III, 686).

Творческий мир великого поэта так сложен, богат, таинствен, что попытка проникновения в истоки замысла произведения, его толкование чаще всего кажутся произвольными, обедненными.

И тем не менее меня искушает интуитивная догадка, что образ Клеопатры, как и Прозерпины, в поэзии Пушкина — это преображение в искусстве образа той женщины, которая владела чувствами и помыслами поэта последние месяцы.

Властителей моих последние желанья
И дивной негою и тайнами лобзанья,
Всей чашею любви послушно упою... —

это преломленный образ Воронцовой, поразивший поэта контрастом между ее царственной внешностью и сокровенной сущностью [119].

Конечно, Воронцова — Клеопатра не в том смысле, что она может послать любовника на смерть. Но литературный образ имеет свою власть над художником, и образ Клеопатры был бы неполон, если бы она не посылала своих любовников на казнь.

Во время писания «Клеопатры», в те же дни — между 2 и 8 октября, — Пушкин лишь однажды отрывается от работы и создает маленькое лирическое стихотворение.

Поэт озаглавливает его: «Ребенку», но заглавие заменяет.

Младенцу

Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
[Ты] взором, [мирною <?> душой],
[Небесный] ангел утешенья.

Да будут ясны дни твои,
Как [милый] взор <твой> <?> ныне ясен.
[Меж] [лу<чших> <?>] жребиев земли
Да [б<удет>] жребий твой прекрасен
(II, 351).

Почему прерывается вдохновенная работа над «Клеопатрой» этим стихотворением? Жизнь со всей ее неумолимой силой вторгалась в искусство...

Раздумывая над смыслом этих строк во время писания романа «Пушкин в Михайловском», покойный Иван Алексеевич Новиков предположил, что стихи эти, вероятно, обращены к внебрачному ребенку поэта. Догадку свою решил он проверить, обратившись к рукописи стихотворения, надеясь найти в черновых вариантах (они еще не были опубликованы) подтверждение своей мысли.

Не имея опыта в чтении черновиков

Il faut bien commencer ma lettre par ce qui m'occupe le plus dans le moment c'est l'exil et le départ de Pouchkine que je viens de reconduire jusqu'au haut de notre énorme montagne, que j'ai embrassé tendrement et que j'ai pleuré comme une bête, car c'est le pied sur le quel nous avons été depuis quelques semaines. J'ai été seule confidente de ses chagrins, et de la faiblesse où il était désespéré de quitter Odessa, surtout à cause d'un sentiment qui lui a pris que plus de force les derniers jours comme de raison. Ne parle point de cela, à mon entrevue avec toi plus clairement, et il y a des raisons pour passer ~~cela~~ pourtant sous silence; malgré que ce soit très rassurant et très suppliée de ne ~~point~~ lui écrire, il y a eu quelques uns de commérages, parce qu'il avait fait l'adresse d'une lettre à un homme qu'il ne connaissait point et qui s'intéressait sur les relations avec toutes nous. Ne le l'abandonnons pas dans son malheur je suis bien, mais écris et ~~recommande~~ tes lettres comme à ton plus grand ennemi, je le sentais toujours trop innocent pour le faire, fait à sacrifier à l'amitié car le seul bonheur qui attend ce pauvre Pouchkine intérieur dans une terre près de l'уездной regardez ce n'est l'amour que de les côtés. —

Письмо В. Ф. Вяземской от 1 августа 1824 г. к мужу.



Одесский театр.

Пушкина, известных своей трудностью, он просил меня пойти с ним в рукописный отдел Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина, где тогда хранились рукописи Пушкина.

Вот что мы прочитали в автографе:

Я не скажу тебе зачем
*

Я не скажу тебе причины
*

Дитя, я не скажу тебе
Причины
*

Ты равнодушно обо мне
Дитя со временем услышишь
*

И равнодушно обо мне
Молву со временем услышит

*

клевета
Черты мои тебе опишет

Здесь поэт находит начало стихотворения (он отмечает его, отчеркнув его от предыдущих строк):

Прощай о милое дитя
Я не скажу тебе причины

Прощай прелестное дитя
живи, шутя
*

Моей таинственной любви
Я не скажу тебе причины.

*

Прощай дитя моей любви
Я не скажу тебе причины

*

И клевета ей образ <мой> <?>

*

И клевета неверный <?> ей
Быть может <образ мой> опишет
< >
Она со временем услышит
*

И клевета черты мои
Неверно ей опишет
*

И клевета неверно ей
Быть может, образ мой опишет,
О том, кто
Она со временем услышит

*

И клевета неверно ей
Чертами <?> опишет,
Быть может о судьбе моей
Она со временем услышит

И вот — новое начало:

Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья,
Ты ангел мирною <?> душой.
*
Ты ангел утешенья
*
Ты чистый ангел утешенья
*
Ты тихой <?> ангел утешенья
*
[Ты] взором, [мирною <?> душой]
[Небесный] ангел утешенья
*
Прими желания мои,
Не знай бо<лезней> <?> (II, 883—885).

Слова прощанья, боязнь клеветы, которая может исказить истинные черты поэта, отбрасываются. Сохраняются только два четверостишия, выражающие устранение себя из жизни ребенка и пожелание ему ясных дней. Большего не надо: слова обращены к младенцу.

Стихотворение осталось в черновике, многие слова зачеркнуты и не заменены, другие читаются предположительно. И тем не менее пушкинистам удалось прочесть два четверостишия [120].

Казалось бы, стих «Прощай, дитя, моей любви» не оставляет сомнения в правильности догадки И. А. Новикова [121].

Однако могут быть и возражения. В черновой рукописи Пушкина почти совсем не соблюдена пунктуация. Поэтому не исключена возможность соотнесения слов «моей любви» в начальном стихе со следующим:

Прощай, дитя, моей любви
Я не скажу тебе причины [122].

Впрочем, это не меняет общего толкования стихотворения.

Укрепился в своей догадке И. А. Новиков, когда увидел в алупкинском дворце портрет одной из дочерей Воронцовых. Девочка резко отличалась внешностью от остальных членов семьи. Среди блондинов — родителей и других детей — она единственная была темноволоса.

Родословные разыскания говорят о том, что эта дочь Воронцовой, Софья, родилась 3 апреля 1825 года [123]. Стихи Пушкина, написанные между 2 и 8 октября 1824 года, могли возникнуть после письма возлюбленной, в котором она извещала его о том, что готовится стать матерью.

Это гипотеза.

Но гипотеза крепнет, когда ее поддерживают факты иной категории.

Приведу отрывок из дневника «Вокруг Пушкина», который мы с Мстиславом Александровичем Цявловским вели на протяжении многих лет и который я продолжаю и после его кончины:

«23 сентября 1952 г. 11 ч. 15 м. вечера.

Только что ушла от меня правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Шепелева. <...>.

Разговорились о Пушкине. Ее все больше увлекает чтение его, и хочется знать, кому посвящены те или иные стихи.

Вдруг — в беседе — она говорит, что у Пушкина был ребенок от Воронцовой.

Я, спокойно: «Да, был, это бесспорно.

Почтовая тройка.



Михайловское, липовая аллея («аллея Керн»).

Е. К. Воронцова. Гравюра Тернера с портрета работы Д. Доу.

С. М. Воронцова. Неизвестный художник. Масло.



Вы это знаете от Ивана Алексеевича Новикова? Из его романа? [124]

— Нет, от тети Анны [125].

— Да что вы?!.. Что же она вам сказала? Давно?

— Во время войны. Она уже спокойнее, равнодушнее относилась к понятию «schocking»...

— Мудрее стала?

— Да, может быть. Она сказала мне об этом факте.

Я: Это очень значительно, то, что вы говорите. Ведь если это семейный рассказ, значит, он идет от Натальи Николаевны, а ей мог сказать, конечно, только Пушкин. Значит, он счел нужным признаться ей в этом.

Она: Да, очевидно. Тетя Анна рассказала мне это со слов своего отца [126], который вообще был очень замкнут и сдержан, но почему-то с Анной Александровной он был ближе, чем с другими детьми. Он говорил ей, что, когда он уже был взрослым, офицером, уже женатым [127], он приходил каждую субботу (именно, помню, по субботам) к своей матери, и она рассказывала ему об отце, об их жизни. Вероятно, тут Наталья Николаевна и рассказала сыну об этом.

Я: Это замечательно! Это подтверждает окончательно гипотезу пушкинистов. Догадался И. А. Новиков, прочтя свежим взглядом стихи «Младенцу», потом увидел портрет смуглой дочери Воронцовой — и все понял. Делал доклад [128]. Написал об этом в своем романе [129]. Мстислав Александрович был совершенно с ним согласен, ввел этот эпизод в свою статью о Пушкине и Воронцовой [130]. Потом были у него и еще догадки о других материалах; позднее и я осмыслила происхождение некоторых стихов. Я все это должна дописать.

— Только не надо об этом сейчас печатать и говорить! Пока жива тетя Юлия [131], — не надо. Надо щадить старых людей.

— А она знает?

— Не знаю. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Вам говорю первой. Я-то держусь других взглядов. Во-первых, я считаю, что жизнь Пушкина не надо утаивать, и не вижу ничего дурного в том, что у него мог быть внебрачный ребенок».

Так вот какой характер отношений был между Пушкиным и Натальей Николаевной! Он пришел к браку с сердцем, облегченным полной исповедью.

Вероятно, уговорились они делиться



Запись А. С. Пушкина в «Almanach des Dames» о приезде в Михайловское, 1824 г.

друг с другом всеми своими увлечениями и прошедшими и будущими. Отсюда — постоянная тема ревности, то серьезной, то шутливой, в переписке Пушкина с женой [132].

И еще одно подтверждение достоверности этой гипотезы И. А. Новикова.

В «Мемуарах кн. М. С. Воронцова за 1819—1833 годы» [133], составленных им для сестры его леди Пемброк [134], есть упоминания о рождении всех его детей. Отсутствует только запись о рождении Софьи [135].

Быть может, это умолчание случайно и не вызвано оскорбленным чувством мужа? В главе о 1832 годе Воронцов называет Софью среди своих детей [136]. А может быть, это позднейшее «признание» своего отцовства вызвано осиротевшим чувством отца: из шести детей его к тому времени уцелело только двое [137].

18 октября, дней через десять после написания стихотворения «Младенцу», Пушкин создает одно из самых драмати-





Тригорское, большой верхний пруд.

ческих своих стихотворений — «Коварность».

Здесь вновь появляется слово «клевета», оставшееся в черновике «Младенца». Там, предвидя, что его ребенку будут рисовать образ отца искаженно, Пушкин мог иметь в виду и Воронцова, и Раевского.

В «Коварности» же речь о другой клевете, уже сыгравшей свою роль. Неясно, что имеет тут в виду Пушкин. Мы лишены возможности читать эти строки в черновике — этом кладезе драгоценностей, так часто помогающем понять намеки, выраженные в беловике более общо (утрачен фрагмент черновой рукописи стихов 13—24, всей обличительной части монолога поэта).

Пушкин обвиняет своего «друга» в том, что он употреблял «святую власть» «дружбы» на «злобное гоненье», «затейливо язвил» «пугливое воображенье» поэта, находил «гордую забаву» «в его тоске, рыданьях, униженье», был «невидимым эхом» «презренной клеветы» о «своем друге», иначе говоря — поддерживал ее, «накинул ему «цепь» и «сонного предал врагу со смехом»... Впрочем, поэт ничего не утверждает. Он еще оставляет и своему «другу», и самому себе надежду, что все это ошибка...

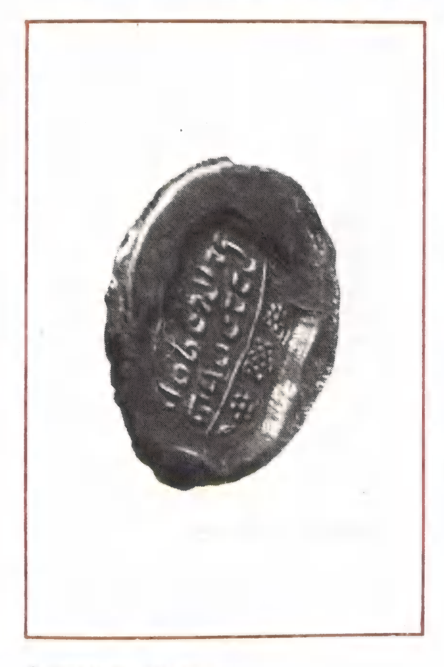
Оканчивается стихотворение убийственно:

Ты осужден последним приговором.

После завершения стихотворения поэт уже с полным сознанием своей правоты озаглавливает его.

Коварность

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою, —
Не говори: «Он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкой сон»...
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?



Отпечаток камня, вправленного в перстень («талисман») А. С. Пушкина.



Перстень («талисман»). Рисунок А. С. Пушкина.

Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье,
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором, —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором
(II, 336).

Стихотворением этим ответил Пушкин на «ласкательное» письмо к себе Александра Раевского, который, утверждая свою дружбу к нему, требует от Пушкина письма [138].

Начинается письмо Раевского деланно-непринужденным тоном невинности:

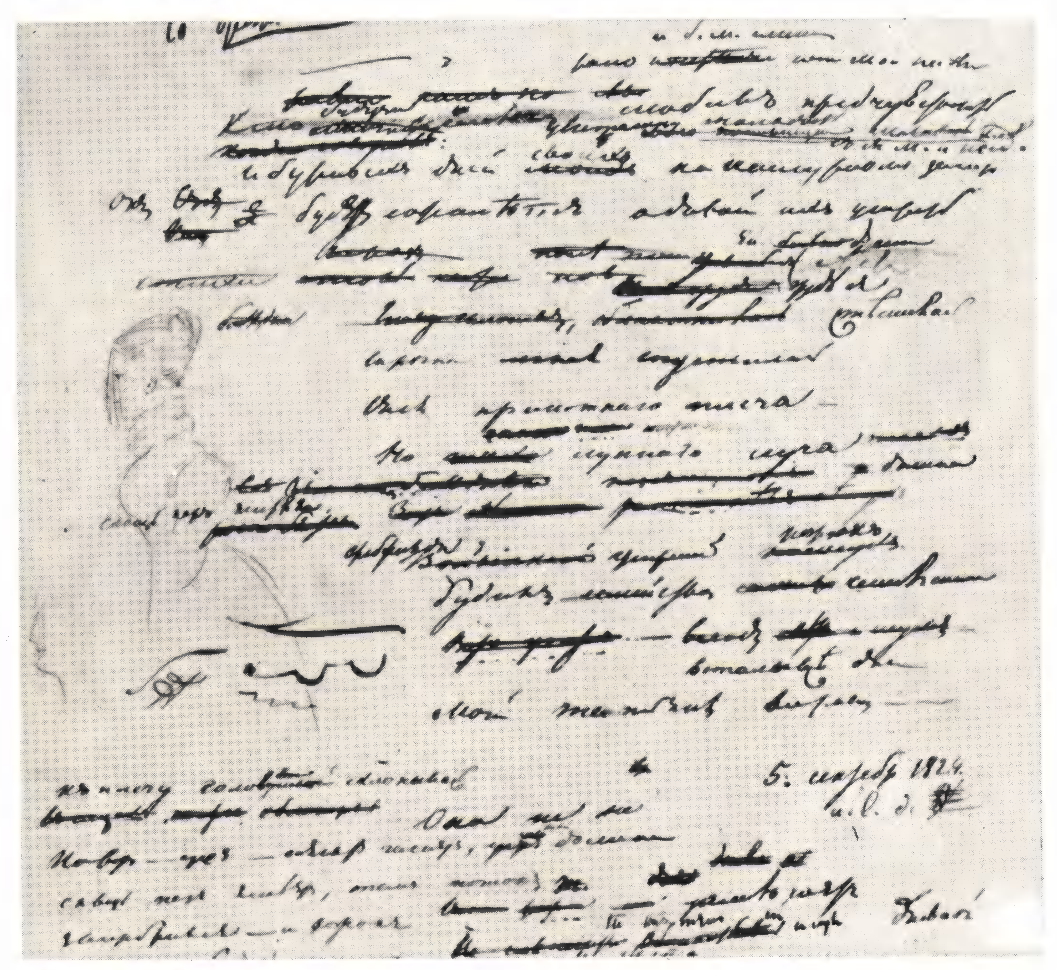
«Вы совершили большую оплошность, мой друг, не дав мне своего адреса и воображая, что я не сумею разыскать вас в глуши Псковской губернии; вы избавили бы меня от лишней траты времени на розыски и раньше получили бы мое письмо» (XIII, 105 и 529 — перевод).

Раевский будто бы уверен, что Пушкину нужно его письмо.

«Вы пишете, что боитесь скомпрометировать меня перепиской с вами».

Мы не знаем, кому писал об этом Пушкин. Брату Раевского Николаю? Вяземской? Как мы видели, Пушкин отказывался — ради того, чтобы уберечь друга от подозрений, — от переписки с Вяземским. То же было на первых порах и с Александром Раевским (поэт еще не понимал тогда, что же такое этот «друг»).

«Такое опасение ребячливо во многих отношениях, а к тому же бывают обстоятельства, когда не приходится считаться с подобными соображениями. Да и что может быть компрометирующего в нашей переписке? Я никогда не вел с вами разговоров о политике; вы знаете, что я не слишком высокого мнения о политике по-



Запись А. С. Пушкина (5 сентября 1824. и l. d. [EW]) в черновой рукописи третьей главы «Евгения Онегина».

этов, а если и есть нечто, в чем я могу вас упрекнуть, так это лишь в недостаточном уважении к религии — хорошенько запомните это, ибо не впервые я об этом вам говорю» (XIII, 106 и 529).

Письмо, написанное явно в расчете на перлюстрацию, демонстрирует благонадежность его автора. Охраняя собственную репутацию, Раевский предает Пушкина.

Наконец обретает Раевский якобы сердечный, дружеский тон. Пышные комплиментарные словеса, к которым интимные друзья не прибегают даже в письмах, рассчитаны на усыпление настороженности Пушкина. Плохой расчет! Поэта не мог обмануть этот ходульный тон.

«Я испытываю настоящую потребность писать вам. Нельзя безнаказанно прожить вместе столько времени; даже оставляя в стороне множество причин, которые заставляют меня питать к вам истинную дружбу, одной привычки было бы достаточно, чтобы создать между нами истинную прочную привязанность. Теперь, когда мы



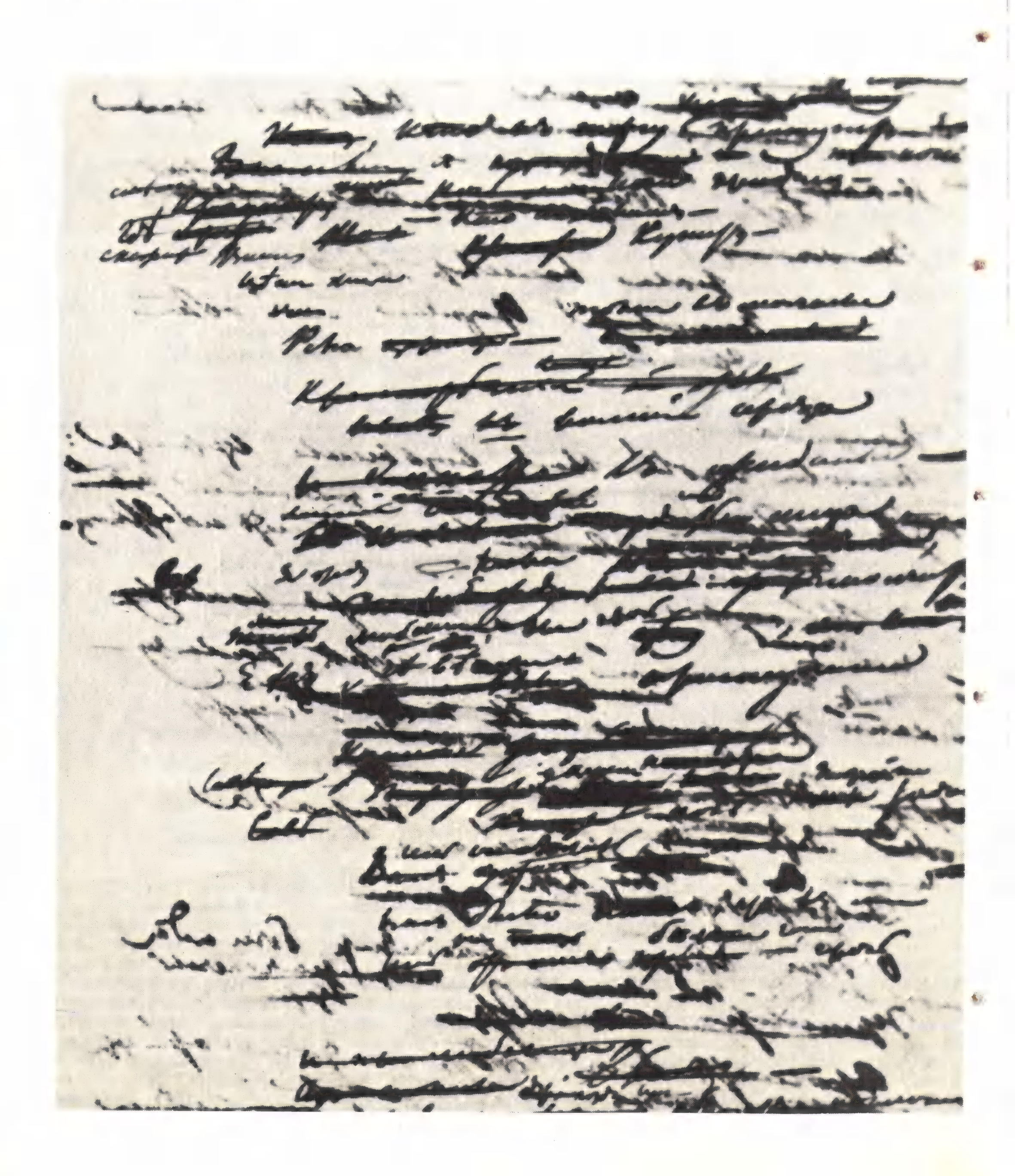
Тригорское, «танцевальный зал» в парке.

так далеко друг от друга, я не стану сдерживаться в выражении чувств, которые питаю к вам; знайте же, что, не говоря о вашем прекрасном и большом таланте, я с давних пор проникся к вам братской дружбой, и никакие обстоятельства не заставят меня отказаться от нее».

Фальшь, сочиненный тон «великодушного» человека, который якобы протягивает руку другу, попавшему в беду, слишком явны.

Еще несколько строк из письма Раевского, посвященных Воронцовой. Они с Пушкиным называли ее, очевидно, между собой Татьяной. Почему? В образах одесской любви Пушкина и любимой его героини общего нет ничего. Не потому ли, что она была женою генерала, а Пушкин уже предвидел судьбу своей Татьяны?.. [139] «Откладываю до другого письма удовольствие рассказать вам о происшествиях и черточках из жизни наших прекрасных соотечественниц, а сейчас расскажу вам о Татьяне. Она приняла живейшее участие

Черновая рукопись
«Клеопатры».



в вашем несчастии; она поручила мне сказать вам об этом, я пишу вам с ее согласия. Ее нежная и добрая душа видит лишь несправедливость, жертвою которой вы стали; она выразила мне это со всей чувствительностью и прелестью, свойственными характеру Татьяны. Даже ее прелестная дочка вспоминает о вас, она часто говорит со мной о сумасбродном г-не Пушкине и о тросточке с собачьей головкой, которую вы подарили ей. Я все время поджидаю маленький портрет с двумя первыми стихами, которые вы для нее написали»[140] (XIII, 106 и 530 — перевод).

«Весело» ли было Пушкину получить от соперника известия о том, как отнеслась к несчастию, случившемуся с ним, дорогая ему женщина?..

«Ради бога, дорогой друг, — продолжает Раевский, — не предавайтесь отчаянию, берегитесь, чтобы оно не ослабило вашего прекрасного дарования, заботьтесь о себе, будьте терпеливы: ваше положение изменится к лучшему. Поймут несправедливость той суровой меры, которую применили к вам. Ваш долг перед самим собой, перед другими, даже перед вашей родиной — не падать духом; не забывайте, что вы — украшение нашей зарождающейся литературы и что временные невзгоды, жертвою которых вы оказались, не могут повредить вашей литературной славе. Я знаю, что ваша первая ссылка пошла на пользу вашему характеру; что вы теперь уже не такой взбалмошный, опрометчивый. Продолжайте в том же роде, затем питайте уважение к религии, — и я не сомневаюсь, что в самом непродолжительном времени вас выпустят из проклятой вашей деревни.

Прощайте. Ваш друг А. Раевский.
21 августа 1824.

Александрия близ Белой Церкви[141].

Мой адрес по-прежнему — Киев» (XIII, 105—107 и 529—531 — перевод).

На это письмо, может быть окончательно раскрывшее Пушкину нравственный облик его вчерашнего друга, поэт ответил стихотворением «Коварность»[142].

Позднейший приезд в Михайловское воскресил переживания и чувства, владевшие им этой осенью.

Пушкин приехал в Михайловское в 1835 году. Он пишет «Вновь я посетил...». Черновики этого стихотворения содержат многое, затем поэтом выброшенное, и среди них выразительные характеристики своих переживаний.

Черновой вариант начала:

Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Два года бурной младости моей
В спокойствии невольном и отрадном.
Вот <?> десять лет ушло с тех пор! — и много
Переменило время для меня...
И сам во многом я переменился —
Покорный общему закону жизни.
А кажется вчера еще бродил
Я в этих рощах и сидел недвижен
На том холме — на озеро взирая
[И поминал полуденное море —].

И другой отрывок:

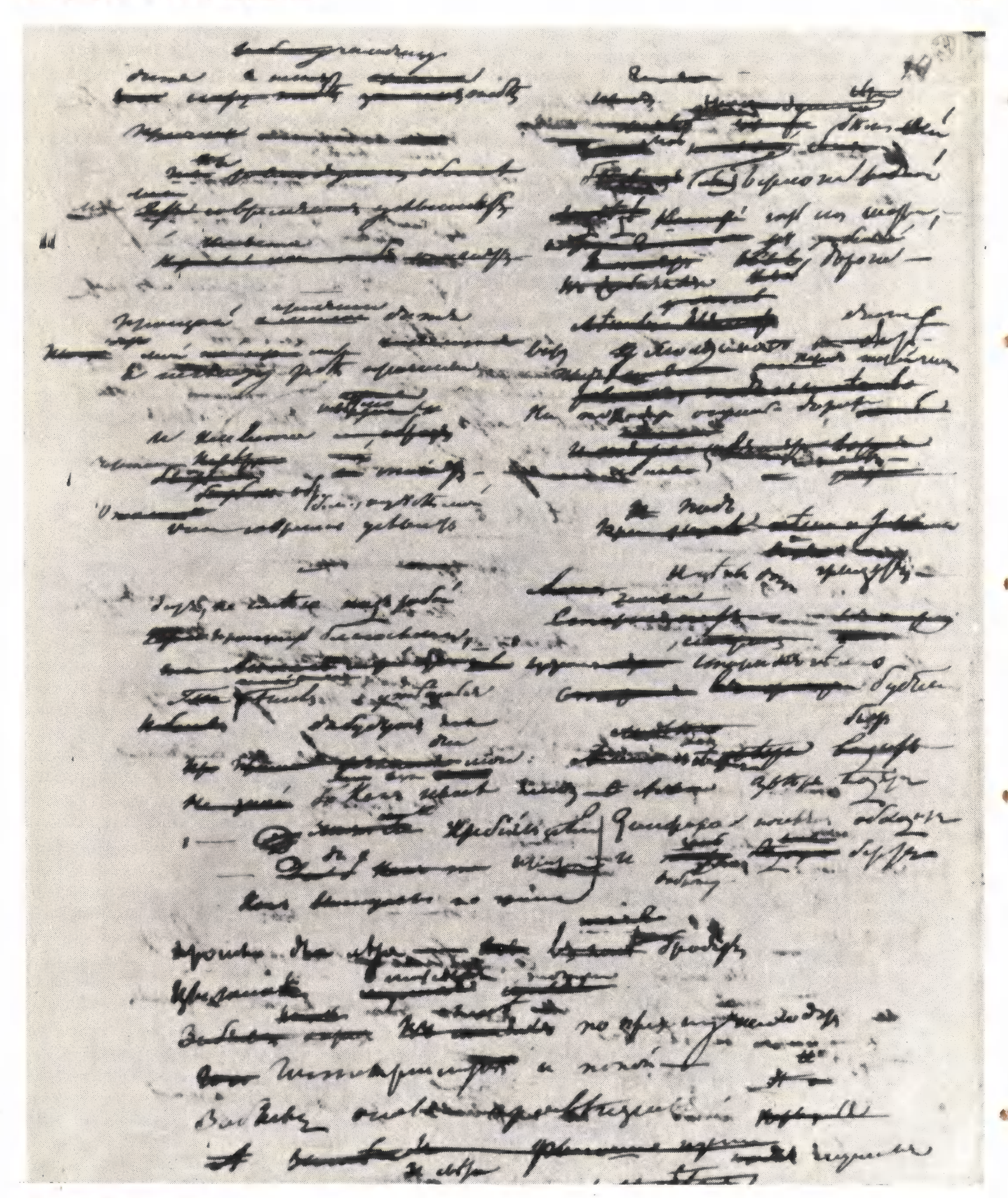
Здесь, погруженный в
Я размышлял о юности моей
*
Я размышлял о бурных заблужденьях
*
Я размышлял о грустных испытаньях
Ниспосланных мне промыслом —
*
Я размышлял о юности [моей]
Потерянной средь грустных заблуждений.
*
Я размышлял о грустных заблужденьях,
Об испытаньях юности моей.

Далее развивается новая мысль:

О клевете насмешливой
*
О клевете язвительной <?
*
О клевете, мне сердце уязвившей
*
О клевете, о строгой света
*
О строгом заслуженном осужденьи
О [мнимой] дружбе, сердце уязвившей
Мне горькою и ветреной обидой.

Поэт думал закончить стихотворение отброшенным затем фрагментом:

В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я — когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был —
Веселым юношей, беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни; — годы
Промчалися — и вы во мне прияли
Усталого пришельца — я еще
Был молод — но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.



Черновая рукопись
стихотворения «Младенцу».



С. М. Воронцова.
Неизвестный художник.
Масло.

[Я зрел врага в бесстрастном <?> судии,
Изменника, в товарище пожавшем
Мне руку на пиру, — всяк предо мной
Казался мне изменник или враг —]
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная <?> младость —
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грезы мести бледной.
[Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-[утешитель], —
Спасла меня; и я воскрес душой (III, 996—999).

Клевета, мнимая дружба и подозрительность к товарищам, ненависть, мечты о мести — вот те впечатления и чувства, которые терзали Пушкина в Михайловском в 1824 году и которые так ясно определяет он в 1835-м.

Как же должно было утешить потрясенного изгнанника письмо от Дельвига, полученное в начале октября! И сообщением об общественном мнении, которое на его, Пушкина, стороне, и безграничной верой в гений поэта и в его человеческую правоту, и добрым тоном настоящего друга, милого Дельвига, и — как следствие — возрождением веры в дружбу...

«Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т. е. делай, что хочешь, но не сердися на меры людей, и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Ежели б ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания. Продав второе издание твоих сочинений, пришлю тебе и денег, и, ежели хочешь, новых книг. Объяви только волю каких и много ли...» (письмо от 28 сентября 1824 г.; XIII, 110).

После написания стихотворения «Коварность» проходит дней десять. Пушкин пишет в черновом письме к В. Ф. Вяземской: «Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства; но слава богу, небо у нас сивое, а луна точная репка...» (последние слова, начиная со слов «но слава богу», написаны во французском письме по-русски; XIII, 114 и 532).

Как это постоянно у Пушкина бывает, мысль, высказанная в письме, развиваясь, требует поэтического воплощения. Создается стихотворение, начальные стихи которого — антитеза пейзажа здесь и там — являются претворением в поэзии чувств и образов, выраженных в письме.

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
. . . .
. . . .
. . . .
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;
. . . .
Но если . . . . (II, 348).

Мы точно слышим прерывающееся дыхание поэта при воспоминании о любимой, при сопутствующем ему сомнении в ней...

Разъедающее душу неверие не дает досказать подступившую догадку. Слова иссякают. Паузы — небывалые в поэзии — нарастают.

Мысль о Раевском не оставляет Пушкина. И не напрасно. Он услышит еще о нем в 1828 году, вспомнит его и перед последней дуэлью.

Но идет еще 1824 год.

Пушкин должен уничтожить письмо Воронцовой — «она велела»... Вероятно, то, где она говорит ему об его будущем отцовстве.

В конце декабря или в начале января 1825 года появляется

Сожженное письмо

Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым
Виясь теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит...
О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...
(II, 373).

Отметим и один оброненный поэтом набросок об отсылаемом письме.

Так <нрзб.> слезами
Пылая капает сургуч (II, 473) [143].

Образ этот не получил развития.

А затем у нас на глазах происходит один неожиданный, казалось бы, непонятный творческий ход Пушкина.

В начале октября закончил он поэму «Цыганы», закончил совершенно, переписал, написал эпилог. Было это 10 октября. И вот спустя три месяца, в январе 1825 года, поэт возвращается к законченной вещи. Он пишет так называемый монолог Алеко над колыбелью новорожденного сына.

Текст этот построен на контрасте отношения к младенцу, рожденному в цыганском шатре, и другому, рожденному в «блистающих палатах». Этот последний мотив еле слышится, он звучит как обертон, но он-то и важен поэту.

Монолог написан в духе всей поэмы, выражающей глубокое разочарование в просвещении, к которому пришел Пушкин во время тяжелого мировоззренческого кризиса в 1823—1824 годах.

Если в стихах, писавшихся непосредственно после известия о будущем отцовстве, драма Пушкина состояла в том, что он не смеет благословить свое дитя, и в том, что его образ в глазах ребенка извратят, оклевещут, — то вскоре Пушкин перестал думать о себе. Он увидел грядущую судьбу своего незаконного ребенка. Она проступает как доминанта:

Бледна, слаба Земфира дремлет —
Алеко с радостью в очах
Младенца держит на руках
И крику жизни жадно внемлет.
«Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоцененный дар свободы!..
Останься посреди степей.
Безмолвны здесь предрассужденья
И нет их раннего гоненья
Над дикой люлькою твоей.
Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.
Под сенью мирного забвенья
Пускай цыгана бедный внук
Лишен и неги просвещенья
И пышной суеты наук —
Зато беспечен, здрав и волен,
Тщеславных угрызений чужд,
Он будет жизнию доволен,
Не зная вечно-новых нужд.
Нет, не преклонит он [колен]
Пред идолом какой-то чести,
Не будет вымышлять измен,
Трепеща тайно жаждой мести —
Не испытает м<альчик> мой
Сколь [жестоки пени],
Сколь черств и горек хлеб чужой —
Сколь тяжко <медленной> [ногой]
Всходить на чуждые ступени.
От общества быть может я
Отъемлю ныне гражданина —
Что нужды — я спасаю сына —
И я б желал, чтоб мать <моя>
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка,
Или в расселине утеса.
О сколько б едких угрызений,
Тревог, разуверений
Тогда б я в жизни не узнал,
О сколько... (IV, 444—447).

Поэт много работал над этим монологом, но в конце концов оставил его и в поэму не ввел.

В первоначальной редакции отрывка тайная мысль поэта была обнаженнее:



Тригорское, скамья Онегина.

Твое рожденье средь степей
Не встретил крик предрассужденья,
И не страшусь его презренья
Над бедной люлькою твоей (IV, 447).

Не очевидно ли, что это преображенные в искусстве собственные переживания?

Можно думать, что Пушкин предвидел, что его ребенок будет смугл, будет нести в себе африканские черты. Это не сможет не поразить окружающих. Им станет ясно, что ребенок — незаконный. А по условиям того времени это неминуемо повлечет за собой пренебрежительное отношение. Все эти мысли читаем мы в первоначальных вариантах этих стихов.

Обращение Алеко к младенцу, рожденному от свободного союза с цыганкой, начиналось так:

В твое рожденье над тобой
Не крик предрассужденья жадный

*

Не крик предрассужденья хладный

*

Не встретил смех предрассужденья
(IV, 447).

В последней редакции монолога Алеко есть еще набросок нескольких стихов, которые в текст не вошли:

Коварный шепот клеветы,
Любви тщеславные мечты
И дружбы пени (IV, 446).

Здесь нельзя не узнать характеристики Александра Раевского.

Его выдают слова «коварный», «может быть», «клевета», «дружбы пени». В стихе о пенях дружбы угадываем мы пушкинскую характеристику письма к нему Раевского, уже вызвавшего ответ — стихотворение «Коварность».

Здесь появляется еще не названная нигде черта — «любви тщеславные мечты». Вот как понимал Пушкин любовь Раевского к графине Воронцовой — она порождена тщеславием...

Дальнейшие строки:

Ни покровительством —
Ни клеветой (IV, 446).

Здесь речь уже о Воронцове. Вспомним письмо Пушкина к Казначееву, человеку порядочному. Пушкин написал ему в Одессе в начале июня 1824 года, когда Казначеев, по-видимому, урезонивал Пушкина в связи с прошением его об отставке после истории с саранчой:

«Мне очень досадно, что отставка моя так огорчила вас, и сожаление, которое вы мне по этому поводу высказываете, искренне меня трогает. Что касается опасения вашего относительно последствий, которые эта отставка может иметь, то оно не кажется мне основательным. О чем мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться. О жаловании? Поскольку мои литературные занятия [дают мне больше денег], вполне естественно [пожертвовать им моими служебными обязанностями и т. д.] Вы говорите мне о покровительстве и дружбе. Это две вещи несовместные. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство: по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство, а я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унизиться перед ним. На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости.

Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной.

Единственное, чего я жажду, это — независимости (indépendance), простите мне это слово ради вещи; с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это, — самый трудный шаг сделан. Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку. Не могу понять ужаса своих друзей (не очень-то знаю, — кто они — эти мои друзья).

Несомненно, граф Воронцов, человек неглупый, сумеет обвинить меня в глазах света: победа очень лестная, которою я позволю ему полностью насладиться, ибо я столь же мало забочусь о мнении света, как о брани и о восторгах наших журналов» (XIII, 95—96 — французский текст, 528 — перевод; разрядка моя — *Т. Ц.*).



Е. К. Воронцова.
Миниатюра работы Милле.

В письме этом теснятся горькие мысли и чувства, многие из которых обрели потом и поэтическое выражение.

Так, мысль о том, что «ничто так не бесчестит, как покровительство», узнаем мы в словах монолога Алеко над колыбелью сына:

Что бросил я? измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Иль покровительства позор (IV, 451—452),

и в приведенных вариантах его — «Ни покровительством... Ни клеветой...» (IV, 446).

Стих «Толпы безумное гоненье» — поэтическая трансформация мысли Пушкина в письме о том, что он мало заботится о мнении света.

Утверждение — «покровительство и дружба — две вещи несовместные» — наконец, потеря веры в дружбу, столь высоко ценимую Пушкиным с лицейских времен — «Не очень-то я знаю, — кто они —

эти мои друзья», — все это выразилось афористически спустя полгода в стихотворении, исполненном горечи:

Дружба

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор (II, 460).

Приведенные сопоставления подтверждают гипотезу о том, что монолог Алеко создан под влиянием мысли о предстоящем рождении у Воронцовой ребенка от Пушкина. Только неотвязными думами о грядущем событии можем мы себе объяснить такое запоздалое добавление к законченной поэме, добавление, вызванное не органическим требованием искусства, добавление, так и не нашедшее места в поэме.

В январе 1825 года пишет Пушкин стихи на французском языке.

Почему по-французски?

По обычаю, распространенному в ту эпоху в дворянских семействах, Пушкин сочинял в раннем детстве французские стихи; в лицее писал он французские стихотворения, большинство которых для француженки Марии Смит, урожденной Шарон-Лароз. Написал он на французском языке позднее, в 1821 году, две беспощадные эпиграммы — на француженку Аглаю Давыдову, урожденную герцогиню де Грамон. И вот в 1825 году вновь пишет он стихи на французском языке — в последний раз.

Это поэтические, необыкновенно тонкие стихи об увядшей розе. Они предназначались для польки, но женщины французской культуры, во всяком случае — французской речи, — Воронцовой.

Здесь приведу лишь мнение поэта С. П. Боброва (в ответ на мою догадку): «Конечно, это ей: Элизей, Элизий, — это же звуки ее имени — Элиза» (вспомним и «Прозерпину»).

Quand au front du convive, au beau sein de Délie
La rose éblouissante <?> a terminé sa vie
Soudain [se détachant] de sa tige natale
Comme un léger soupir sa douce âme s'exhale,
Aux rives [Elysées] ses mânes parfumés
Vont charmer du Léthé les bords inanimés (II, 376).

Перевод:

Когда на челе пирующего, на прекрасной груди Делии
Ослепительная <?> роза кончила жизнь свою
Внезапно [отрываясь] от родного стебля,
Как легкий вздох ее нежная душа испаряется,
У берегов [Элизийских] благоуханные тени ее
Зачаруют безжизненные берега Леты (II, 1206).

Стихотворения Пушкин не закончил и написал — тут же, на этом же листе — стихи на русском языке на ту же тему. Он опустил лишь мотив первого стиха — античный образ пирующего в венке и вневременной образ женщины с розой на груди.

Здесь только увядающая роза, и даже розы.

Лишь розы увядают,
Амврозией дыша,
[В Э<лизий>] улетает
Их легкая душа.
И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут (II, 377).

Здесь отзвуки рифмы из черновика «Прозерпины»:

Льются Леты струи <сонны> <?>
Немы рощи <благовонны> <?> (II, 833).

Образ здесь еще тоньше: благовонны не рощи, а тени роз (в значении загробные тени).

Это образ из французского текста:

ses mânes parfumés.

Четырехстопный хорей «Прозерпины» переплавил поэт в трехстопный ямб — «Лишь розы увядают...» — и достиг этим еще большей легкости в выражении образа.

Сперва написал он:

В Элизий отлетает.

Звук показался чуткому слуху поэта тяжелым для выражения души розы, и появилась замена благозвучным:

В Элизий улетает
Их легкая душа.

Быть может, в это же время, в какие-то светлые дни, живая натура Пушкина победила надлом, и поэт пишет стихотворение, овеянное мягким воспоминанием. Мы узнаем в нем уже знакомый пейзаж «пещеры дикой», «приюта любви».

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.

Его таинственная сила
<   >
Слова святые начертила
На нем безвестная рука (II, 475).

«Ангел утешенья»... Этот образ мы знаем по стихам «Младенцу». Там назван этими нежными словами младенец, здесь — она.

И вот — новое выражение страдания. Пушкин воспользовался старым черновиком стихотворения 1823 года «Когда любовию и счастьем утомленный...».

При новом обращении к этому тексту тема круто повернута. Здесь — страданье! Страданье воинствующее. Поэт боится, что теряет любимую, он жаждет возродить ее чувство, память о себе.

Желание славы

Когда любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя;
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальному упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне.
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья (II, 392—393).

И наконец, быть может, еще одно стихотворение 1825 года связывается с Воронцовой. Под текстом — в автографе — помета: «Тригорское 23. 1825». Месяц не проставлен.

«Все в жертву памяти твоей...» Но не к умершей ли женщине обращены слова «в жертву памяти твоей»? — Пушкин применял эти образы и к живым, но далеким:

Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

За каждым стихом мы угадываем живые черты действительности, поэт отказывается от всего ради нее. Но он чувствует, что ей это не нужно... И все свои безграничные жертвы приносит он не ей, а ее памяти...

Это одно из самых сильных любовных стихотворений Пушкина по напряженному чувству, по порыву (ни одного глагола):

Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья (II, 433) [144].

3. Отголоски

Время идет. Приходят новые увлечения. Но образ Воронцовой, воспоминания о ней порой воскресают в нем с пронзительной силой.

Так, мы видим вдруг ее монограмму в рукописи стихотворения

«Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора...»
(III, 36).

Перед стихами читаем мы такую помету: «23 Nov<embre>[145] С<ело> Козаково EW». Это 1826 год. Пушкин свободен от ссылки, он уже вернулся из Москвы, куда ездил по вызову нового императора, провел две недели опять в Михайловском и вновь едет в Москву. Село Козаково — на пути из Михайловского в Псков[146]. И вот тут Пушкин пишет несколько стихотворений на одном большом листе («Ольга, крестница Киприды...», «Зимняя дорога», «Каков я прежде был...», «Как счастлив я, когда могу покинуть...», «В еврейской хижине лампада...»).

Стихи «Как счастлив я, когда могу покинуть...» — это монолог князя из раннего, несохранившегося текста драмы «Русалка»; драма писалась в 1829 — 1832 годах, а вот эта редакция монолога князя — еще в ноябре 1826 года (это единственный фрагмент, который сохранился от первоначального текста).

Какое отношение имеет Воронцова к этому тексту? Быть может, просто совпадение, возникло воспоминание о ней — и поэт записывает над стихами ее монограмму? А может быть, что-то тайно связывает образ любимой князем русалки с образом Элизы?

Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды;
Дыханья нет из уст ее, но сколь
Пронзительно сих влажных уст
Прохладное лобзанье без дыханья,
Томительно и сладко: в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде...
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается, тогда
Мгновенный хлад, как ужас пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая.
И в этот миг я рад оставить жизнь,
Хочу стонать и пить ее лобзанье.
А речь ее... (III, 36—37).

Это сближение даже не гипотеза, а робкий вопрос, — не так ли? — попытка понять, почему записана ее монограмма над текстом стихотворения.

Издавна связывали с Воронцовой стихотворение «Ангел» (датируется оно 1827 годом, с января по 20 июля).

Решительно утверждать соотнесение образов стихотворения «Ангел» с Воронцовой и Раевским данных нет, но, как мы видели, Воронцова была названа в стихах Пушкина «ангел-утешитель», а Раевского отождествляли современники с образом демона в стихотворении «Демон» (1823 г.).

В 1826 году Пушкин узнает, что среди арестованных декабристов находится и Александр Раевский. И с невероятной щедростью души он пишет Дельвигу тревожные строки: «Милый барон! вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай бог, чтобы было понапрасну. Мне сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для



него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня. Прощай, мой милый друг.
П.» (XIII, 256).

Эта великодушная тревога освободила поэта от ненависти к А. Раевскому. И вполне допустимо видеть в стихотворении «Ангел» образы Воронцовой и Раевского[147].

Ангел

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал

И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, он рек, тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал» (III, 59).

В последних стихах точно бы заключено развитие образа Демона. Утверждению демонического начала:

И ничего по всей природе
Благословить он не хотел —

противопоставляется новое чувство — Демон, ощутивший любовь, очеловечен:

Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал...

Послав вместе с другими стихотворениями «Ангела» 20 июля 1827 года на рассмотрение Бенкендорфу (на царскую цензуру), Пушкин уехал в Михайловское. Здесь почувствовал он себя в привычной рабочей обстановке. Он стал писать.

31 июля 1827 года Пушкин начал повесть о своем предке Ибрагиме Ганнибале, названную редакторами после смерти писателя «Арап Петра Великого».

В первой главе рассказывается, в частности, и о связи негра со встреченной в Париже графиней и о рождении у нее черного младенца.

Темы черного младенца от белой женщины нет ни в немецкой биографии Абрама Ганнибала, которой располагал Пушкин, ни в преданиях, которые он о нем слышал и внес в его биографию (в «Начале автобиографии» Пушкина). Там есть другое.

«В семейственной жизни, — читаем мы в «Начале автобиографии» Пушкина, — прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре...» (XII, 313).

О дальнейших семейных событиях жизни прадеда Пушкин писал: «Вторая жена его, Христина Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола».

Возникает догадка, что рассказ о рождении черного младенца у белой графини в повести навеян переживаниями самого поэта.

В повести этой в наше время никогда не видели автобиографических мотивов Пушкина. Только когда несколько лет тому назад я рассказывала Анне Андреевне Ахматовой и Сергею Михайловичу Бонди первый очерк настоящей работы и сказала, что фрагмент прозы «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе...» (о нем речь впереди) связан с рождением у Воронцовой дочери от Пушкина, — Анна Андреевна с живостью сказала: «Так же как и «Арап Петра Великого». Она имела в виду тот же эпизод — рождение темнокожего младенца.

Внимательное прочтение первых глав «Арапа Петра Великого» показывает, что



в нем заключено неизмеримо больше аналогий с личными переживаниями Пушкина.

«Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar» (VIII, 4).

«Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17 лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном

приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество» (VIII, 4). Здесь угадываются черты графини Воронцовой.

«Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами» (VIII, 4).

Далее в рукописи следовал абзац, зачеркнутый Пушкиным карандашом:

«Графиню почитают, сказал он Ибрагиму, женщиной умной и холодной, имеющей любовников от нечего делать. Это мнение несправедливо. Она проста, имеет пылкие чувства, и любовь главное дело ее жизни. В обществе она рассеянна и ленива; это придает какую-то заманчивость ее словам. Ее странные вопросы, загадочные ответы вольно принимать за эпиграмматические выходки или за глупости; мы, т. е. близкие ее приятели, из дружбы, прославили ее оригинальность и остроту. Впрочем, она женщина самая добрая, самая милая. Познакомьтесь с нею короче, вы ее полюбите и удостоверитесь, что ограниченность ее ума почти незаметна от избытка простодушия и чувствительности» (VIII, 502).

Как напоминают эти слова Мервиля мнение о Воронцовой Александра Раевского: «Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер — самый очаровательный, какой я знаю». Так писал о Воронцовой Александр Раевский сестре своей в 1822 году [148]. Подобное же мог он говорить и Пушкину в Одессе.

Читаем далее: «Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием» (VIII, 4—5).

Вот эти последние слова останавливают наше внимание: «Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием». Так неожиданно перебивают эти слова развиваемую тему (при чем тут ничтожество?..), что создается впечатление, что речь идет не о негре среди белых, а о поэте среди обыкновенных людей. Кажется, что автор забылся и проговорился, выдал свои настоящие мысли и чувства. Перечтем этот абзац и подслушаем наряду со словом «негр» другое слово — «поэт», звучащее здесь обертоном. Тогда последняя фраза будет совершенно естественно вытекать из предыдущего.

«Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами» (VIII, 5). Опять вспоминаются слова Пушкина о себе: «черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан» (XIV, 110).

«Разговор его был прост и важен...» (VIII, 5).

Сравним эту характеристику разговора героя повести с тем, какое впечатление производил разговор самого Пушкина.

Вот как, например, записывает в дневнике графиня Фикельмон свои первые впечатления от Пушкина: «Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом — без притязаний, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в цвете лица и что-то дикое во взгляде» [149].

Здесь то же противопоставление некрасивой внешности и привлекательной, непринужденной беседы, характерное для героя повести «Арап Петра Великого».

Можно усомниться, задать вопрос: мог ли Пушкин видеть себя со стороны, объективно описывать себя, — «разговор его был прост и важен» [150]. Конечно, мог! Автор более пятидесяти автопортретов (в графике); человек, знающий себя, как никто; поэт, внимательно рассматривающий в поэзии все тончайшие оттенки своего душевного состояния («Мне грустно и легко, печаль моя светла»), — почему же не может он оценить со стороны своего разговора?

«...он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок

и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости» (VIII, 5).

Вот эта простота, доброжелательность — главное в характере Воронцовой. Мы принуждены опять сопоставить эту последнюю фразу о героине повести со словами А. Раевского из его письма к Пушкину:

«Она приняла живейшее участие в вашем несчастии. <...> Ее нежная и добрая душа видит лишь несправедливость, жертвою которой вы стали; она выразила мне это со всей чувствительностью и прелестью, свойственными характеру Татьяны» (XIII, 530 — перевод).

Мервиль в «Арапе Петра Великого» — лицо эпизодическое — ярко охарактеризован в немногих словах. Помимо уже приведенных мест, о нем сказано только: «Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима» (VIII, 5).

Вот это сопоставление двух, казалось бы, взаимно исключающих проявлений — намеки на собственную близость с графиней, а затем поздравление Ибрагима с его успехом у нее, — передают свойства цинической в чувствах натуры Александра Раевского. Это те же черты, которые проявились в его отношениях к Пушкину: ухаживая за Воронцовой, Раевский вкрался в дружбу Пушкина, заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его (рассказ Вигеля), а затем предал. Вспомним и стихотворение «Коварность».

А вот черновые строки из «Вновь я посетил...», из завершающих стихов, не включенных в окончательный текст:

Я помышлял <...>
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной —
И горькие кипели в сердце чувства (III, 1004).

И еще один отзыв о Раевском из воспоминаний Вигеля: «Раз на танцевальном вечере у графа случилось мне сидеть между Раевским и графом Александром Потоцким, братом *** <в рукописи: Ольги; то-есть — Нарышкиной> и по доброте своей выродком из Потоцких. Он сказал мне на ухо: «Позвольте мне вас предостеречь, вы так откровенно и приязненно разговариваете с вашим соседом, может быть, не зная, что это самый опасный и ядовитый человек». Я поблагодарил его и сказал потихоньку, что с такими людьми всегда говорю осторожно»[151].

Пушкин обогащает образ Ибрагима собственными чертами.

Вот что читаем мы о чувствах Ибрагима, расставшегося с графиней:

«Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек» (VIII, 10).

Вслед за этим в рукописи следовало:

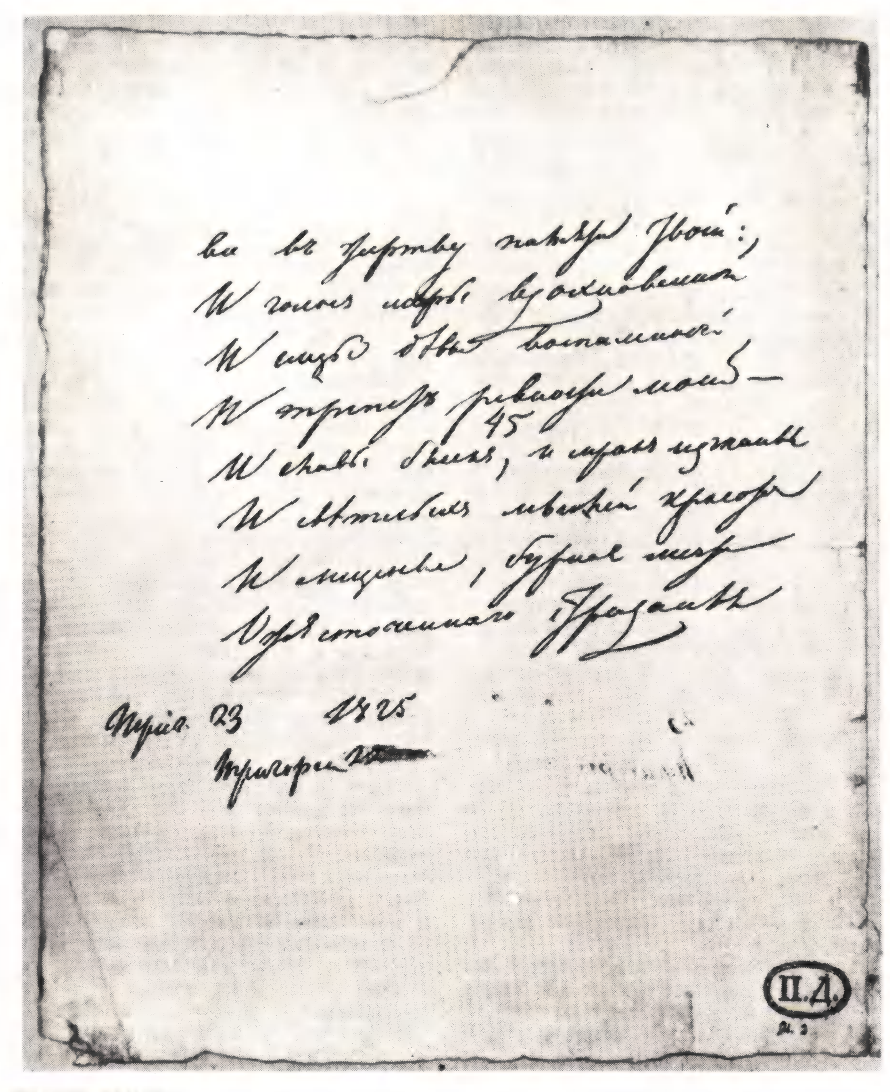
«Целый день он думал о гр.<афине> D., следовал сердцем за нею, казалось, был свидетелем каждого ее движения, каждой ее мысли; в часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней, входил в ее комнату, садился подле нее, разговаривал с нею, и мечтание постепенно становилось так сильно, так ощутительно, что он совершенно забывался» (VIII, 506).

Строки эти перечеркнуты.

Этим реальным ощущением того, что было только в мечтах или было, но отошло, отличался сам Пушкин. «Пушкин говаривал, что, как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собою, сажает ее в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ей плечи целует у нее руку и пр.»[152].

Нельзя не обратить внимания на следующие слова в приведенном абзаце из повести: «В часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней...» Вот это острое воспоминанье о времени свиданья не то же ли это присущее Пушкину обостренное чувство времени, которое отразилось в стихах:

Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна... (II, 348).



ве въ жертву памяти твоей;
И голосъ лиры вдохновенной
И слезы девы воспаленной
И трепетъ ревности моей —
45
И славы блескъ, и мракъ изгнанья
И светлыхъ мыслей красота
И мщенье, бурная мечта
Ожесточеннаго страданья

Генв. 23 1825
Тригорское

П.Д.

«Все в жертву памяти твоей...» Автограф.

В следующем отрывке из III главы читаешь словно не об Ибрагиме, а о Пушкине.

«Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно не знал скуки. <...> Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы

и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу» (VIII, 13—14).

Вспоминается:

Не правда ль: ты одна... ты плачешь...
я спокоен;
. . . .
Но если . . . .
(II, 348).

Прочтем еще письмо графини D., которое привез Ибрагиму из Парижа Корсаков.

«Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом» (VIII, 14).

Обстоятельства отъезда Пушкина были иные. Но тон! — угадывается ее тон, Воронцовой, особенно в последних строках: «Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь» (мы еще вернемся к этому).

Еще маленькое сопоставление. Ибрагим пишет прощальное письмо Леоноре, покидая Париж: «...Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию...» (VIII, 91). Не мысль — образ в стихах.

Когда любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя... (II,
392).

Приведу фрагмент из «Арапа Петра Великого» — разговор о графине между Ибрагимом и Корсаковым:

«Ну, что графиня D.»? — «Графиня? Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце» (VIII, 15).

И еще одно место в повести. Ибрагим размышляет о женитьбе на молодой Ржевской: «От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверенностию и снисхождением» (VIII, 27). Чувства эти словно предвещают письмо самого Пушкина к матери его невесты: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, — но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, — я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца» (XIV, 76 и перевод — 404). (Письмо написано 5 апреля 1830 года.)[153]

Психологическая основа повести — душевный опыт самого Пушкина.

Напомню и прямые свидетельства двух близких Пушкину современников его, которые совпадают с моей мыслью.

«Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки. Нигде он так не выразился, как в описании Чарского (см. «Египетские ночи»)». Это пишет брат поэта[154].

И другое:

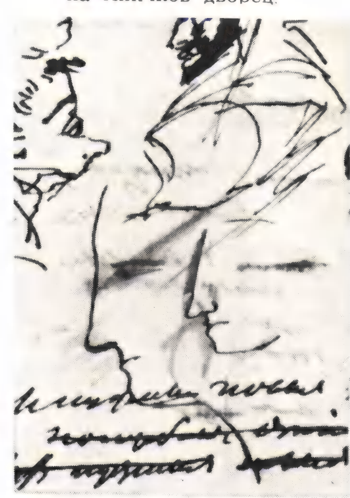
«На днях Жуковский читал нам роман Пушкина, восхитительный: «Ибрагим, царский Арап». Этот негр так обворожителен, что ничуть не удивляешься страсти, внушенной им к себе даме двора регента; многие черты характера и даже его наружности скалькированы с самого Пушкина». Таково впечатление С. Н. Карамзиной[155], близко знавшей Пушкина в течение всей его жизни — с 1816 года по 1837-й.

Первое произведение после «Арапа Петра Великого», которое связано с Воронцовой, это стихотворение «Талисман». В ав-

Е. К. Воронцова. Литография Принцгофера, 1852 г. С портрета работы Блааса.



Е. К. Воронцова. Рисунок А. С. Пушкина.



Невский проспект в Петербурге, вид на Аничков дворец.

тографе дата Пушкина: «6 ноябр. ночью». Как установлено, это 1827 год.

Стихотворение является как бы антитезой к стихотворению 1824—1825 годов «Храни меня, мой талисман...», полемикой с ним. Если там поэт взывал к талисману о спасении его в бурю, в грозу, в эмиграции, в сраженье, если он заклинал тогда талисман о забвении любви, надежды, желания, то здесь душевно поэт предстает совершенно иным.

Талисман

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.

И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцалуют не любя —
Милый друг! от преступленья,

Монограмма над текстом стихотворения «Как счастлив я...».

От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!» (III, 83—84).

Чем вызван такой ликующий дифирамб любовной силе талисмана в ноябре 1827 года?

Оказывается, в это время в Петербурге (где тогда жил Пушкин) появилась Воронцова.

Об этом узнаем мы из автобиографии М. С. Воронцова, который пишет, что они с женой «поздней осенью 1827 года» приехали из Англии в Петербург [156]. Пушкин знал уже, конечно, в это время об ее приезде [157].

Увидел ли он ее? Да, но несколько позднее. Воронцовы провели в Петербурге и весь декабрь, и январь 1828 года [158].

Записная книжка, которой служил «Almanach des Dames» 1824 года, заброшенная Пушкиным тогда же, понадобилась ему вновь в 1827 году. Зачем бы надо было вдруг вернуться к ней?.. На декабрьском листке к напечатанному названию месяца — Décembre — Пушкин приписал: 1827. И записал шесть дат и при них аббревиатуры — на французском языке:

12. pr. bil.
13 Jouk.
14 Semenov —
15. Corb.
16 Mag. Ang.
18 2 lett.

Приведу комментарий к этим записям, сделанный в свое время Д. П. Якубовичем:

«Записная книжка, служившая Пушкину для нескольких одесских записей, в глуши Михайловского, среди жизни, лишенной событий, сразу же оказалась отложенной в сторону, ненужной.

Пушкин воспользовался ею вновь только через три года. В декабре 1827 года он вписал на декабрьский листок 1824 года более поздним, уверенным и черным карандашом новый заголовок: «1827».

Пушкин возвратился в Петербург и был в хлопотах по делу об «Андрее Шенье». Начало декабря 1827 года — также период почти полного отсутствия биографических фактов. Достаточно указать, что ни одна биографическая канва жизни Пушкина вовсе не знает ни одного из отмеченных Пушкиным чисел. К сожалению, именно поэтому и публикуемые карандашные записи, охватывающие подряд пять дней декабря (12—16), почти не поддаются комментарию. Их возможно условно расшифровать как запись о повседневных делах:

12. pr.<emier> bil.<let>.
13 Jouk.<offsky>.
14 Semenov —

Слово «Semenov» (вряд ли здесь обозначена фамилия артисток) может относиться к цензору В. Н. Семенову.

15. Corb. <?>.

Как гипотезу, объясняющую это неясное для меня слово (если только это не просто: corbeille — подношенье), предлагаю чтение «Corbeau». В 1826 году вышло в свет собрание «Chants populaires», в котором появилась баллада «Les Deux corbeaux», переведенная Пушкиным. Не в это ли время уже заинтересовался ею Пушкин? Напомню, что в позднейшем письме он назвал свой перевод просто «Вороном» [159]. Точная датировка начала работы Пушкина над «Двумя воронами» остается невыясненной, и стихотворение датируется 1828 годом по положению в тетради № 2371 (л. 99 об.).





16 Mag.<asin> Ang.<lais>.

Скорее всего здесь имеется в виду посещение магазина Никольс и Плинке, в котором Пушкин и позже делал различные хозяйственные покупки и отдавал в починку вещи домашнего обихода [160].

18 2 lett.<res> [161].

Последняя запись вся сделана чернилами, несколько расплывшимися и ввиду этого несколько деформировавшими почерк (Б. Л. Модзалевский читал: «2 lott.»).

Никаких писем Пушкина и к Пушкину за 12 и 18 декабря 1827 года до нас не дошло» [162].

М. А. Цявловский, знавший, что в декабре 1827 года Воронцова была в Петербурге, понял, что эти записи, так же как и записи в той же книжечке в 1824 году, связаны с нею. (Как мы видели, найденный впоследствии документ — письмо Вяземской к мужу из Одессы, написанное 1 августа 1824 года, — подтвердил эту гипотезу; он указал на то, что записью «31 départ» Пушкин отметил отъезд 31 июля Воронцовой (сам же он уехал 1 августа).

Мстислав Александрович и разъяснил эти тексты соответственно этим соображениям:

12 — pr. bill. — первая записка.

Речь идет о Воронцовой.

Пушкин делал пометы о датах получения важных для него писем от женщин. О своих письмах к женщинам он не записывал. Тут могло быть иначе. Может быть, именно его первая записка в Петербурге должна была быть особенно важной — она положила начало новому периоду отношений.

13 — Jouk —

по-видимому, какая-то встреча с Воронцовой, связанная с Жуковским.

14 — Semenov —

может быть, Семеновская улица? Во всяком случае, судя по условной черточке вслед за словом «Semenov», речь идет об интимном свидании.

15 — Corb. — corbeille —

подношение или корзина цветов.

16 — Mag. Ang. —

тут, конечно, речь не о починке вещей. В Magasin Anglais был и ресторан, и кафе, и отдельные кабинеты, и выход на другую улицу.

18 — 2 lett —

второе письмо или два письма.

Как видим, все эти сугубо личные пометы дают лишь какой-то намек на тайные свидания Пушкина с Воронцовой в декабре 1827 года.

Были ли явные встречи в обществе? В письмах Елизаветы Ксаверьевны этого времени из Петербурга А. М. Горчакову в Италию (они подружились во время заграничного путешествия Воронцовых 1827 года) нет ни слова о лицейском его приятеле [163].

Не забывает Воронцовой Пушкин и дальше. И среди записей имени и инициалов девушки, о браке с которой поэт мечтает осенью 1828 года («Olenine», «Annette Pouchkine», «Annette», «AP»), мы встречаем и «заветный вензель» — «EW» [164].

Памятью о Воронцовой навеяны рисунки ее головы в 1829 году и записи ее имени в так называемом «Дон-Жуанском списке» Пушкина. По требованию своих приятельниц, сестер Ушаковых, Пушкин вписал однажды в альбом младшей два списка женщин, которых он любил и которыми он увлекался [165]. В первом списке оказалось имя: Элиза [166]. Оно помещено между име-





нами Амалия и Евпраксея. Имеются в виду Ризнич и Вульф. Хронология соответствует действительной.

Среди множества портретов, которые рисует Пушкин Ушаковым, нельзя не узнать и портретов Воронцовой. Рисует он ее и в альбоме, и на отдельном большом листе. По значительности и прелести последнего портрета это одно из лучших произведений графики поэта.

В том же .1829 году Пушкин сватался к Наталье Николаевне Гончаровой. Он получил полуотказ (ей не было семнадцати лет) и тогда же уехал на Кавказ. Он хотел повидаться со своим любимым другом Николаем Раевским, с братом своим и сосланными декабристами.

Приехав на Северный Кавказ, он раскрыл одну из взятых с собою тетрадей и стал рисовать... Под его рукой возникает женская головка. Большие глаза с поволокой, вздернутый носик. Это не Гончарова, а Мария Николаевна Волконская. Воспоминание девятилетней давности о пребывании на Минеральных Водах с семьей генерала Раевского. Но воспоминание связано с последним впечатлением от нее — перед ее отъездом в Сибирь, на каторгу. Серьезное, скорбное лицо.

И рядом портретик другой женщины — незабываемой, столь же глубоко любимой... Воронцова.

Обратимся к Болдину. 1830 год. Поэт творит с таким подъемом, что люди второе столетие изумляются этому неиссякаемому потоку вдохновенья. Пушкин живет здесь с сентября по ноябрь. Он отрезан от мира — холерный карантин не дает ему возможности выехать в Москву, где, к его ужасу, осталась его невеста. И вот в мрачном настроении, в ужасающую погоду, в безвыходном состоянии поэт творит... Он заканчивает «Евгения Онегина», пишет «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», около тридцати лирических стихотворений (по собственному подсчету Пушкина).



Среди лирических стихотворений — маленький набросок об увядшей розе.

Цветок любви! тому мгновенье

Так он начал и изменил:

Тому [одно, одно] мгновенье
Она цвела, свежа, пышна —
И вот уж вянет — и
[опалена].
Иль жар твоей груди
Младую розу опалил (III, 1060 и 465).

Образ этот искушает поэта и не дается ему. Он оставляет набросок недописанным.

Осенью 1830 года, готовясь к браку и отрываясь от своего прошлого, поэт писал прощальные стихи когда-то любимым женщинам. Два стихотворения обращены к умершим: «Заклинание» («О если правда, что в ночи...») и «Для берегов отчизны дальной...» (одно из них — неизвестной, второе — Амалии Ризнич). А с одной девушкой, на которой Пушкин в свое время собирался жениться, он простился иначе. Ушакова предстала в Болдинскую осень поэту-художнику и отозвалась в большом портрете, нарисованном Пушкиным и проникнутом нежным чувством [167].

К Воронцовой обращены стихи:

Прощание

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут меняясь наши лета,
Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его (III, 233) [168].

В автографе дата — «5 окт. 1830. Болд.<ино>».

Это «Прощание» удивительно по острому воспоминанию о близости любимой, по насыщенности мыслями, чувствами, по драматическому развитию, по поэтическому выражению.

Очень выразительны в этом смысле замены вариантов, сделанные поэтом в беловом автографе.

Стихи «Уж ты для своего поэта / Могильным сумраком одета» имели вариант: «для страстного поэта», но Пушкин вернулся к первому варианту — «для своего поэта»: конечно же, он ее поэт, сколько раз он воспевал ее!

В последнем двустишии проходит воспоминание о встрече на маленькой станции с Кюхельбекером, которого жандармы везли куда-то (в Динабургскую крепость, как мы знаем).

Это воспоминание вызвано мыслью о безнадежности прощанья, в вариантах были слова:

Как друг, навек обнявший друга
Пред заточением его (III, 843).

Однако прощание с Воронцовой оказалось не окончательным. Вскоре, в конце того же октября или в самые первые дни ноября, Пушкин возвращается к преследующей его теме увядшей розы. Вот как пишет он на этот раз, работая над «Каменным гостем»:

Не розу цветущую
Росой освеженную
Я ныне пою
Не розу Феосскую
Вином окропленную
В весельи пиров
Венчавшую некогда
Главу победителя
В блаж<енстве> <?> любви
Но розу блаженную
Но розу увядшую
На груди <твоей> <?>

(III, 868; факсимиле — VII, 312/313).



«Венчавшую некогда главу победителя» — это возвращение к образу французских стихов 1825 года — «Quand au front du convive...» («Когда на челе сотрапезника...»).

Когда Пушкин вернулся из Болдина в Москву, он читал, вероятно, своему ближайшему другу Павлу Воиновичу Нащокину написанные в деревне произведения. Вскоре на стихи «В последний раз твой образ милый...» была написана музыка. Композитором был человек, о котором заботились и Нащокин и Пушкин, — Андрей Петрович Есаулов, талантливейший музыкант, спившийся, полубезумный человек с тяжкой судьбой. По-видимому, Пушкин сам вручил ему рукопись своего нового стихотворения для того, чтобы Есаулов написал романс. Поэт ли надумал это? Или композитор? Вернее всего, о создании Есауловым музыки на стихи Пушкина позаботился добрейший Нащокин.

Вот что писал он Пушкину летом 1831 года: «Романс твой так хорош, что способу нет — переправлен, обдуман — чудо» (XIV, 179). Пушкин просит прислать ему этот романс, «исправленный во втором издании» (XIV, 181), и, не дождавшись, пишет вновь: «Что ж не присылаешь ты Есауловского романса, исправленного во втором издании? Мы бы его в моду пустили между фрейленами» (XIV, 204).

Так это удивительное по глубине и интимности стихотворение, завершающее сюиту произведений Пушкина, связанных с Воронцовой, вошло в сознание общества вместе с музыкой [169].

Летом 1832 года Воронцова возвращалась из Англии в Одессу. По дороге она провела вновь недели две в Петербурге [170]. Ехала она с мужем и оставшимися в живых детьми: девятилетним Семеном и семилетней Софьей. Встретился ли с Воронцовой Пушкин в это время? Несомненно (об этом скажу далее). Увидел ли он дочь? Неизвестно. Случайно узнаем мы из одного позднейшего письма, 1849 года, Н. Н. Пушкиной ко второму мужу, что она познако-

милась с графиней Воронцовой в 1832 году: «Она не могла опомниться; никогда, сказала она, я бы не узнала Вас, потому что, даю Вам слово, Вы и на четверть не были так красивы, как теперь. Я бы затруднилась дать Вам сейчас более 25 лет. Вы показались мне тогда такой тщедушной, такой бледной, такой маленькой, но ведь Вы удивительно выросли». Вот уже второй раз этим летом мне говорят это», — прибавляет Наталья Николаевна [171].

Встреча Пушкина с Воронцовой в 1832 году состоялась, по-видимому, на людях, на каком-то вечере, в присутствии жены Пушкина, вероятно, и мужа Воронцовой.

Казалось бы, все? Но нет, в начале января 1833 года поэт возвращается к своему недоработанному в 1830 году стихотворению об увядшей розе. Вот как зазвучало оно в окончательном виде:

Отрывок

Не розу Пафосскую,
Росой оживленную,
Я ныне пою;
Не розу Феосскую,
Вином окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персях увядшую
[Элизы] моей... (III, 258).

Поэт воспевает не символ любви, не символ лирической поэзии, но одну-единственную розу —

...розу счастливую,
На персях увядшую
[Элизы] моей.

Здесь впервые написал Пушкин в стихах имя своей возлюбленной, звуки которого он воспроизводил в «Прозерпине» («Элизей»), и в стихах «Quand au front du convive...» («Aux rives Elysées»), и в стихах «Лишь розы увядают...» («В Элизий улетает их легкая душа»). Назвал имя и зачеркнул.

В «Отрывке» «Не розу Пафосскую...» завершились многократные порывы воспеть «утеху грусти нежной» — «дар возлюбленной» — когда-то отданную поэту розу.

В печать он этих стихов не отдал.

В собраниях сочинений Пушкина печатается один текст, который еще не нашел достойного объяснения. Это прозаический фрагмент в несколько строк:

«Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: воображал беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное доверчивое ожидание мужа.

Наконец час родов наступает. Муж присутствует при муках милой преступницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу — и остается неподвижен...» (VIII, 414).

Датируют этот фрагмент теперь временем «около 1833 г.» (VIII, 1060).

Первый публикатор этого фрагмента, Н. В. Измайлов, высказал предположение, что он должен относиться к эпизоду жизни А. П. Ганнибала. Исследователь напоминал запись приятеля Пушкина, А. Н. Вульфа, занесенную им в дневник 16 сентября 1827 года, в то время, когда Пушкин писал «Арапа Петра Великого»: «Главная завязка этого романа будет — как Пушкин говорит — неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь».

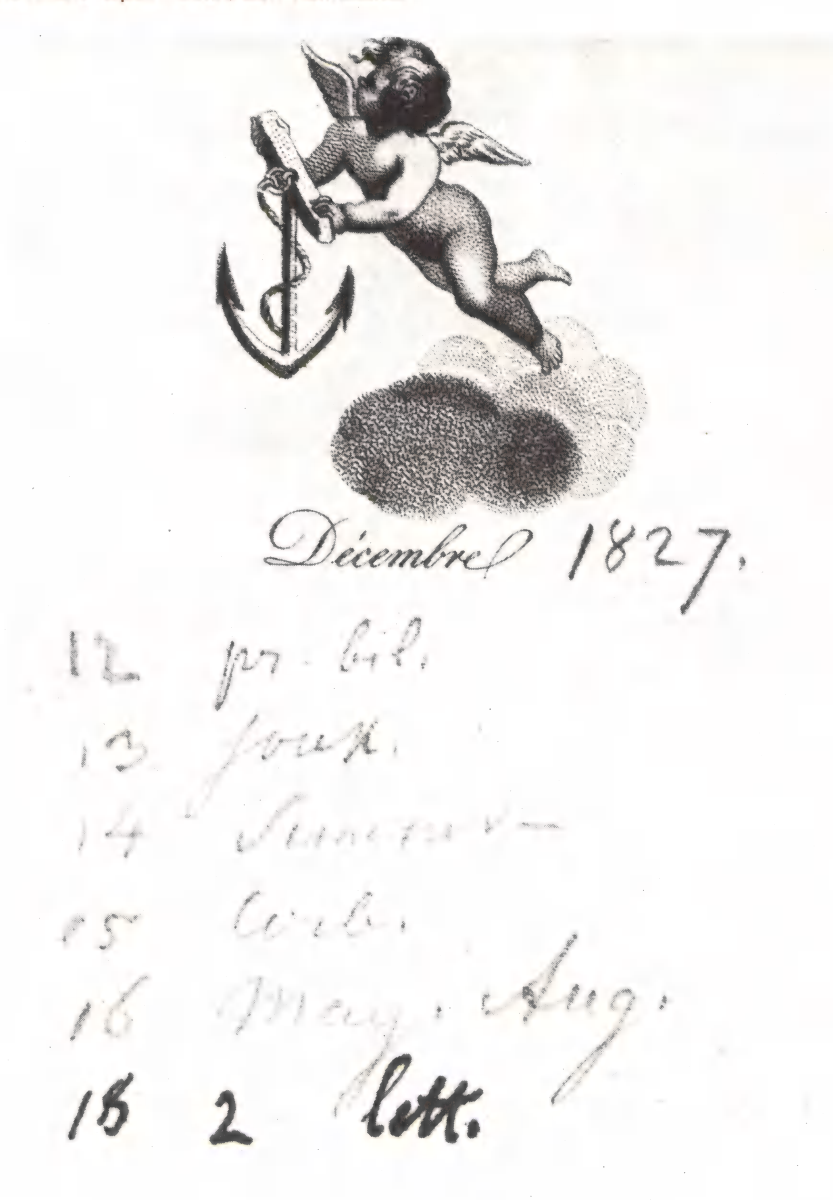
Однако, говорит Измайлов, «отрывок носит чисто личный, лирический оттенок размышления, а не повествования», тогда как «роман о царском арапе ведется строго эпически»; это заставляет исследователя отвести возможность приурочения отрывка к «Арапу Петра Великого». Он допускает, что отрывок относится к «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» [172] (или, как теперь ее называют: «Начало автобиографии» Пушкина 1830-х годов).

Гипотеза эта не была принята исследователями Пушкина, и отрывок помещается в томах «Художественной прозы», однако без каких бы то ни было комментариев.

Во фрагменте нет решительно никаких данных, чтобы судить о том, «какого цвета» был муж «милой преступницы» и «какого цвета» был новорожденный младенец.

Это и навело меня в свое время на мысль, что этот фрагмент неизвестного происхождения может быть связанным с рождением у Воронцовой смуглого младенца. Но думаю, что я ошибалась.

Едва ли бы стал Пушкин прямо писать на эту тему, обрабатывать текст отрывка, подыскивая лучшую форму (в черновике много вариантов) изложения. А в иносказательной форме это волновавшее его событие было уже описано поэтом в первой главе «Арапа Петра Великого».



Записи о декабре 1827 г.
в «Almanach des Dames»

Ю. Г. Оксман высказал предположение, что отрывок «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе...» предназначался Пушкиным, вероятно, для предисловия к «Арапу Петра Великого». Исследователь связывает его с рождением у жены Ибрагима Ганнибала белого ребенка [173]. Гипотеза эта не была поддержана в дальнейших работах. Вопрос о фрагменте остается открытым.

В начале 1834 года неожиданно получает Пушкин письмо (в подлиннике оно на французском языке):

«Милостивый государь,

Александр Сергеевич,

Право, не знаю, должна ли я писать Вам и будет ли мое письмо встречено приветливой улыбкой, или же тем скучающим взглядом, каким с первых же слов начинают искать в конце страницы имя навязчивого автора. Я опасаюсь этого проявления чувства любопытства и безразличия, весьма, конечно, понятного, но для меня, признаюсь, мучительного по той простой причине, что никто не может отнестись к себе беспристрастно. Но все равно; меня побуждает не личный интерес: благодеяние, о котором я прошу, предназначено для других, и потому я чувствую в себе смелость обеспокоить Вас; не сомневаюсь, что и Вы уже готовы выслушать меня. Крайняя нищета, угнетающая наш край и самый город, в котором Вы жили и который благодаря Вашему имени войдет в историю, дала случай проявиться в полной мере милосердию его обитателей. Образовалось общество, поставившее себе задачей осуществление благородной цели, ради которой были принесены щедрые пожертвования. Бог благословил общественное усердие, много слез было осушено, многим беднякам была оказана помощь; но надо продолжить это дело, и для того, чтобы увеличить средства для оказания помощи, общество беспрерывно возбуждает любопытство и использует развлечения. Между прочим, было сделано одно литературное предложение; кажется, оно осуществимо, судя по той горячности, с какою его стали развивать и поддерживать. Мысль об альманахе в пользу бедных удостоилась одобрения лиц, влиятельных собственной помощью или помощью своих друзей. Из программы этого альманаха, которую я беру на себя смелость Вам послать, Вы увидите, как он будет составлен. Теперь, когда столько лиц обращаются к нашим литературным светилам с призывом обогатить наш «Подарок бедным», могу ли я не напомнить Вам о наших прежних дружеских отношениях, воспоминание о которых Вы, может быть, еще сохранили, и не попросить Вас в память этого о поддержке и покровительстве, которые мог бы оказать Ваш выдающийся талант нашей «Подбирательнице колосьев». Будьте же добры не слишком досадовать на меня, и, если мне необходимо выступать в защиту своего дела, прошу Вас, в оправдание моей назойливости и возврата к прошлому, принять во внимание, что воспоминания — это богатство старости, и что Ваша старинная знакомая придает большую цену этому богатству.

Примите мои самые усердные приветствия.

Е. Вибельман <?>

Одесса, 26 декабря 1833.

Я должна в скором времени выехать в Киев, потому прошу Вас (если Вы удостоите меня ответом) адресовать Ваше письмо и милостыню, которую Вы пожертвуете одесским беднякам, госпоже Зонтаг (Анне Петровне) через Вашего издателя Смирдина, который состоит с нею в переписке.

Пользуюсь случаем сообщить Вам, что мои поиски рукописи [174] графа Ивана Потоцкого оказались безуспешными. Вы, конечно, понимаете, что я обратилась к первоисточнику. У его родных нет ее; возможно, что, так как граф Иван Потоцкий окончил жизнь одиноким, в деревне, рукописи его были по небрежности утеряны» (XV, 101—102 и 320—321 — перевод).

Е. Вибельман — кажется, так, сохраняя обе первые буквы своего имени и фамилии, подписала письмо Пушкину Воронцова. Может быть, так подписывалась она в тех письмах, которые она писала ему в 1824 году из Одессы в Михайловское?

Дата под этим поздним письмом: 26 декабря. Год — 1833 — добавлен Пушкиным [175]. Эта помета заключает их переписку, как «Une lettre de L. V.». — 5 сентября 1824 года — начинала ее. То было первое ее письмо, а это — девять лет спустя — последнее...

То, что это письмо написано Е. К. Воронцовой, установлено окончательно сравнительно недавно [176]. К ряду бесспорных доказательств, начиная с почерка письма, приводимых исследовательницей, можно было бы присоединить еще одно: мысль, что «город, в котором Вы жили и который благодаря Вашему имени войдет в историю», является, в сущности, первым



Рисунки А. С. Пушкина.
Внизу, направо —
Е. К. Воронцова.

Автограф стихотворений А. С. Пушкина «Не розу Пафосскую...» и «Бог веселый винограда...».

~~[illegible]~~, —

— Lorsque tant de personnes appellent maintenant l'attention de nos faibles ressources littéraires pour rendre plus riche le Подарокъ бѣднымъ, comment aurais-je pu, ne pas revendiquer le souvenir que vous avez peut-être conservé encore de nos anciens rapports d'amitié et ne pas ~~[illegible]~~ demander au nom de ce souvenir, l'appui et la Protection que donnera à notre Glaneuse votre puissant talent; — Veuillez donc ne pas m'en vouloir trop et si j'ai besoin de plaider ma cause, dites vous que vous en faire pour excuser mon importunité et mon retour au passé, que la mémoire est la richesse de la vieillesse et que votre ancienne connaissance attache un grand prix à sa richesse.

Agréez Monsieur mes compliments les plus empressés

Odessa le 26 Décembre 1833.

[illegible]

Письмо Е. К. Воронцовой к А. С. Пушкину.

выражением мысли Воронцовой, высказанной, когда поэта не стало. «Статья, сегодня помещенная в «Journal d'Odessa» по случаю смерти Пушкина, — писал 12 февраля 1837 секретарь Воронцова М. П. Щербинин редактору «Одесского вестника» А. Г. Тройницкому, — принята была всеми, а в особенности графинею Воронцовою с восхищением. Так как, вероятно, она же, т. е. статья сия, будет помещена и в «Одесском вестнике», то я спешу повергнуть пред вами мысль, родившуюся у графини Елисаветы Ксавериевны, т. е., что большая часть стихотворений Пушкина созданы были в Одессе, во время его здесь пребывания. Мысль сия достойна быть обработанною. Впрочем, бог знает, что скажут в Петербурге» [177].

Сквозь сдержанный тон письма Воронцовой пробиваются искренние, чисто женские интонации, не лишенные робости и вкрадчивости, — ими письмо начинается и ими оно заканчивается.

Ответ Воронцовой о поисках рукописи Потоцкого и дает основание для утверждения, что она встретилась с Пушкиным незадолго до письма (они не переписывались, а она исполняет его просьбу). Очевидно, во время случайной встречи летом 1832 года спрашивал ее Пушкин о рукописи романа Ивана Потоцкого [178].

Это позднее письмо Воронцовой к Пушкину — единственное, ставшее нам известным. Другие не уцелели. Он сжег их, очевидно, ради сохранения тайны их любви.

Сожгла и Воронцова на склоне лет письма Пушкина [179].

В 1956 году в Польше, в фонде Потоцких, в Краковском архиве, было обнаружено письмо Пушкина к графине Е. К. Воронцовой — единственное, сохранившееся до наших дней. Это был ответ на только что приведенный текст письма «Вибельман».

«Милостивая государыня.

Елизавета Ксаверьевна, — писал поэт, — вот несколько сцен из трагедии, которую я имел намерение написать. Я хотел бы положить к вашим ногам что-либо менее несовершенное; к несчастью, я уже распорядился всеми моими рукописями и предпочитаю лучше не угодить публике, чем ослушаться ваших приказаний.

Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?

Честь имею быть с глубочайшим почтением, милостивая государыня, вашим нижайшим и покорнейшим слугой

Александр Пушкин

5 марта 1834.
Петербург» [180].

Если фразу «я предпочитаю лучше не угодить публике, чем ослушаться ваших приказаний» можно еще толковать как светский оборот, как несколько преувеличенное выражение чувств, особенно характерное для стиля французского письма, то следующая фраза не допускает различных толкований. Здесь прорывается искреннее чувство: «Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?»

Добавим, что, по единодушному предположению исследователей Пушкина, под «несколькими сценами из трагедии», которую поэт «имел намерение написать», следует разуметь «Русалку». (Рукопись эта в архивах Воронцовых и Потоцких не обнаружена, а в альманахе «Подарок бедным», который вскоре вышел в Одессе, сцены Пушкина не напечатаны, они опоздали.)

Через месяц после этого письма Пушкина к Елизавете Ксаверьевне поэт слушал рассказы о Воронцовых от чиновника Бологовского, приехавшего из Одессы. Кратко занес он об этом в дневник: «Он (т. е. Б<олоховской>. — *Т. Ц.*) очень зло отзывается об одесской жизни, о гр. Вор<онцове>, о его соблазнительной связи с О. Н<арышкиной> etc. etc. Хвалит очень графиню В<оронцову>» (XII, 325).

Эти слова — последнее, что Пушкин записал о женщине, которую он когда-то так горячо любил.

Остается еще один эпизод, имеющий прямое отношение к рассказанному выше.

В 1828 году, 1 сентября Пушкин писал Вяземскому. В письме находятся и такие строки: «Перед княгиней Верой не смею поднять очей [181]; однако ж вопрошаю, что думает она о происшествиях в Одессе (Раев<ский> и гр<афиня> В<оронцова>)» (XIV, 27).

Пушкин имел в виду нашумевшую историю, дошедшую и до него. Александр Раевский, неизменно бывший другом дома Воронцовых, был неожиданно выслан из Одессы. Он был клеветнически обвинен в разговорах против правительства. На самом деле, как писал генерал Раевский (отец) Николаю I, «несчастная страсть моего сына к графине Воронцовой вовлекла его в поступки неблагоразумные, и он непростительно виноват перед графинею. Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, по всей справедливости, что мог он сделать образом благородным <...>. Граф Воронцов богат, военный генерал-губернатор, может деньгами и другими награждениями найти кого донесть и присягнуть в чем угодно графу Воронцову» [182].

Посылая копию своего письма к царю, дочери своей Екатерине Орловой Н. Н. Раевский дал такой текст: «Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, на средства он не разборчив, что уже **доказал прежде** (подчеркнуто в рукописи. — *Т. Ц.*) и может по богатству подкупить доносчика». К словам «уже доказал прежде» старик Раевский сделал примечание: «Т. е. Пушкина история» [183].

Из писем современника узнаем мы «о поступке глупом молодого Раевского с графинею, о том, что «Воронцов убит известною тебе историею графини», что «счастие его семейственное потеряно» [184].

Комментарий пушкиниста старшего поколения П. И. Бартенева: «А. Н. Раевский (Пушкинский Демон) с хлыстом в руках остановил на улице карету графини Е. К. Воронцовой, которая с приморской дачи ехала к императрице, и наговорил ей дерзостей. Его выслали в Полтаву» [185].

Поясняя этот рассказ Бартенева и назвав его «современной сплетней», пушки-

нист следующего поколения, М. О. Гершензон, рассказал следующее: «В семье сохранилось предание, что он (Раевский. — *Т. Ц.*) крикнул ей (Воронцовой. — *Т. Ц.*): «Soignez bien nos enfants» или «ma fille» [186].

Так или иначе, но до Пушкина этот рассказ дошел, и он должен был увидеть, что его отцовство оказалось сомнительным [187].

Кто был отцом Софьи Воронцовой — для нас значения не имеет. Нам важна психология Пушкина. Как мы видели, он считал девочку своей дочерью [188]. Поэтому выходка Раевского, мнения о которой Пушкин спрашивает Вяземскую, должна была оскорбить его и за Воронцову, и за самого себя.

Забыть этого Пушкин не мог. И когда восемь лет спустя он оказался жертвой грязной интриги, затеянной вокруг его имени авторами анонимного пасквиля, он вспомнил одесскую историю. Об этом пишет Пушкину Жуковский в одном из писем в середине ноября 1836 года:

«Вчера, к вечеру после бала заехал я к Вяземскому. Вот что à peu près [189] ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать, и тому подобное» (XVI, 186 и 395).

«Громкие подвиги Раевского», являвшиеся, по мнению Пушкина, верхом общественного вызова, должны были померкнуть рядом с мщением оскорбителю, задуманным Пушкиным.

«Воронцова до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинения. Когда зрение совсем ей изменило, она приказывала читать их себе вслух, и притом сподряд, так что когда кончались все томы, чтение возобновлялось с первого тома. Она сама была одарена тонким художественным чувством и не могла забыть очарований пушкинской беседы. С ним соединялись для нее воспоминания молодости» [190].



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Произведения и письма А. С. Пушкина цитируются по Полному собранию сочинений (тт. I—XVI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937—1949; т. XVII, Справочный, 1959). Все ссылки на это издание в тексте после цитаты в скобках — том, страница.

«Из записей П. И. Бартенева» — М. А. Цявловский. Из записей П. И. Бартенева (О Пушкине и гр. Е. К. Воронцовой). «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», т. XXVIII, вып. 3, 1969, стр. 267—276.

«Летопись» — М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1951.

«Рассказы о Пушкине» — «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851 — 1860 годах». Вступительная статья и примечания М. Цявловского. М., 1925.

«Рукою Пушкина» — «Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.—Л., «Academia», 1935.

ВМП — Всесоюзный музей Пушкина (г. Пушкин).

ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

ГМП — Государственный музей Пушкина (Москва).

ПД — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЦГАгМ — Центральный государственный архив г. Москвы.

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Ч. VI. М., 1892, стр. 84—85.

2 Воронцова носила титул княгини с 1845 года, когда муж ее был пожалован в князья.

3 Граф В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.—Л., «Academia», 1931, стр. 438.

4 Эти рисунки сделаны не позднее 14 октября, на полях строф XXIII—XXIV главы первой «Евгения Онегина» — на лл. 11 и 12 тетради № 2369 Ленинской библиотеки (ныне № 834 Пуш-

кинского дома). Последняя дата определяется тем, что на л. 16 написан черновой текст письма к Вяземскому от 14 октября.

[5] К. Зеленецкий, Г-жа Ризнич и Пушкин (1856). В сб. «Отзывы о Пушкине с юга России». Собрал В. А. Яковлев. Одесса, 1887, стр. 138—139.

[6] Абрам Эфрос, Рисунки поэта. М.—Л., «Academia», 1933, стр. 125, 244—246 и др.

[7] Оно датировано в Академическом издании: «предположительно 13 июня — декабрем 1823 года» (II, 1134).

[8] Написано в январе — начале февраля (до 8) 1824 года (II, 1135).

[9] Рисунок на полях строфы XVI главы второй «Евгения Онегина» на л. 29 об. той же тетради — № 834 (бывш. 2369), датируется 1—3 ноября 1823 года.

[10] Воронцову в рисунках Пушкина узнавал еще П. В. Анненков. Лишенный возможности назвать ее (она была еще жива в то время), он писал: «...предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслию и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни» (П. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, стр. 245).

[11] Изображения эти находятся на полях строф XXIII — XXIV главы второй «Евгения Онегина», на л. 35 той же тетради — № 834. Строфы эти не поддаются более точной датировке, чем временем между 4 ноября и 8 декабря 1823 года.

[12] Л. 36 об. той же тетради — № 834. Датируется так же.

[13] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 124.

[14] Л. 37 той же тетради — № 834. Датируется так же. См.: Абрам Эфрос, Указ. соч., стр. 280.

[15] Л. 42 той же тетради — № 834. Текст и рисунки здесь датируются временем между 8 и 31 декабря 1823 года.

[16] Весь лист — в масштабе подлинника воспроизведен в Академическом издании Сочинений Пушкина т. VI, 1937, стр. 300/301.

[17] Двустишие это напечатано в Академическом издании среди черновиков «Евгения Онегина», под строфой X главы второй (VI, 300). Глава закончена 8 декабря 1823 года ночью (помета на л. 41 об. — VI, 299). Этот лист — 42 — заполнялся непосредственно вслед за л. 41 об.

[18] Тетрадь № 834, л. 50 — строфа V главы третьей. Начата она через два месяца после окончания главы второй, 8 февраля 1824 года.

[19] Стихотворение «Признание» написано в Михайловском, в 1824—1826 годах. Обращено оно к А. И. Осиповой.

[20] Если Пушкин ощущает в декабре 1823 года только «предвестия любви» к Воронцовой, то начался его роман с нею не в ноябре (как было высказано предположительно в «Летописи», стр. 413), а позднее. Надо теперь отказаться и от мысли, что черновые стихи «Когда желанием и негой утомленный...», написанные в ноябре 1823 года, обращены к Воронцовой. То, что они вошли — в измененном виде — в стихотворение «Желание славы», посвященное, бесспорно, ей, оказывается, не имеет значения. Отрывками из недописанных стихотворений Пушкин постоянно пользовался впоследствии для других произведений, не связанных с первыми замыслами и их вдохновительницами.
И стихотворение «Все кончено, меж нами связи нет...», написанное в январе — начале февраля 1824 года, считать обращенным к Воронцовой более не приходится.

[21] Цитата из «Горя от ума».
[22] «Перед внутренним форумом» (латин.), то есть среди своих служащих.

[23] Б. М. Маркевич, Из прожитых дней. Полн. собр. соч. М., 1912, т. XI, стр. 396—398.

[24] См. приложение к «Journal d'Odessa», 1824, № 11 от 28 января и № 17 от 13 февраля. (Эти приложения имеются только в Одесской публичной библиотеке.) Впрочем, полагаться на точность сведений о приездах и отъездах, сообщаемых в этой газете, не приходится. Например, тут (в № 59 от 2 июня 1824 года) сообщается о приезде между 29 мая и 1 июня «коллежского секретаря Пушкина», тогда как известно из письма М. Ф. Орлова от 29 мая, что Пушкин приехал накануне.

[25] «Рукою Пушкина», стр. 300.

[26] То есть Кюхельбекера. — «Рукою Пушкина», стр. 295.

[27] Тетрадь № 834, л. 49 об.

[28] Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. «Русский архив», 1866, № 10, стб. 1472.
[29] Это об его влюбленности в Воронцову говорил Соллогуб.

[30] Маленький черкес, приемыш А. Н. Раевского.

[31] Собака А. Н. Раевского.

[32] М. О. Гершензон, История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 45.

[33] М. В. Юзефович, Памяти Пушкина. «Русский архив», 1880, III (2), стр. 439—440.

[34] Ж. К. (псевдоним Н. И. Греча) в статье «Письма на Кавказ» («Сын отечества», 1825, № 3). Текст, на который отвечал Пушкин, указан Б. В. Томашевским (Пушкин, Полн. собр. соч., в десяти томах. Изд-во АН СССР, т. VII. М.—Л., 1951, стр. 662).

[35] Напомню реакцию Пушкина на напечатание стихотворения «Мой демон» (так

было названо стихотворение при первой публикации) в «Мнемозине», 1824, ч. III. Издателем сборника был Кюхельбекер совместно с В. Ф. Одоевским. «Не стыдно ли Кюхле напечатать ошибочно моего демона! Моего демона! после этого он и Верую напечатает ошибочно. Не давать ему за то ни Моря, ни капли стихов от меня» (Письмо Л. С. Пушкину от 4 декабря 1824 года — XIII, 126).

[36] Фамилия Воронцовой, замененная в печати тремя звездочками, восстанавливается нами по рукописи (автографу) «Записок» Вигеля. ЦГАЛИ, ф. 104 (Ф. Ф. Вигеля), оп. 1, ед. хр. 8, л. 17.

[37] То же.

[38] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 169—171.

[39] Два абзаца — «Несмотря на скромность...» и «Как все люди...» — печатаются впервые по рукописи (автографу) «Записок» Вигеля. ЦГАЛИ, ф. 104 (Ф. Ф. Вигеля), оп. 1, ед. хр. 8, лл. 17 об. — 18.

[40] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 171.

[41] См. «Летопись», стр. 447.

[42] По-видимому, 1 апреля.

[43] 22 апреля 1824 года Воронцов писал из Одессы Н. М. Лонгинову: «Маленькая наша очень крепко было заболела дней 6 тому назад в нашем отсутствии. Жена моя, которая тихонько с Нарышкиными ехала другой дорогой и ничего не знала, приехала на другой день и когда все шло как можно лучше...» (ПД, 23.633.CL XXII, б. 15, л. 38).

[44] А. А. Сиверс, Семья Ризнич (Новые материалы). «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII. Л., 1927, стр. 85—104.

[45] Приведенный здесь текст стихотворения несколько отличается от текста Академического издания. См. об этом статью Н. К. Гудзия «К вопросу о пушкинских текстах (О посмертном издании сочинений Пушкина)» в сб. «Проблемы современной филологии». М., изд-во «Наука», 1965, стр. 384—385.

[46] См.: Т. Цявловская, Рисунки Пушкина. М., «Искусство», 1970, стр. 25—27.

[47] Дата из «Записок» Вигеля, ч. VI, стр. 168.

[48] Фраза «Сим ударом» по «гордыню», замененная в печатном тексте многоточием, печатается по рукописи «Записок» (автограф) — ЦГАЛИ, ф. 104, оп. 1, ед. хр. 8, л. 18.

Вот текст предписания Воронцова от 22 мая: «Состоящему в штате моем коллегии иностранных дел г. коллежскому секретарю Пушкину. Поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский и, по прибытии в города Херсон, Елисаветград и Александрию, явиться в тамошние общие уездные присутствия и потребовать от них сведений: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные для этого уездными присутствиями. О всем, что по сему вами найдено будет, рекомендую донести мне» (К. Зеленецкий, Заметка о Пушкине. «Библиографические записки», 1858, № 5, стб. 138).

[49] Сюда в тексте «Записок» Вигеля сделано авторское примечание: «Рассказал он мне: «Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим?» — «Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами», — отвечал я. «Так на что же они годятся?» — сказал он».

[50] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 171—172.

[51] В рукописи: «Вовсе для меня потеряны». По совершенно убедительному предположению С. М. Бонди, здесь допущена описка: Пушкин пропустил отрицание. Фраза должна была быть: «Эти 7 лет <...> вовсе для меня не потеряны». Пушкин имел, очевидно, в виду свое творчество, свои напечатанные произведения. Иначе как же объяснялись бы следующие слова: «Жалобы с моей стороны были бы не у места»?

Подобного рода описки встречаются у Пушкина очень часто. См.: С. Бонди, Черновики Пушкина. М., 1971.

[52] Имеется в виду 700 рублей ассигнациями в год. См. «Рукою Пушкина», стр. 830—833.

[53] См. Абрам Эфрос, Указ. соч., стр. 197 и 292—294.

[54] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 172.

[55] См. «Летопись», стр. 469.

[56] Там же, стр. 470.

[57] Этому свидетельство бумага исправляющего должность херсонского гражданского губернатора, вице-губернатора Фиренеля от 8 января 1825 года на имя Воронцова об отсылке в его канцелярию 430 р., выданных на прогоны чиновникам Чернявскому, Пушкину и Писаренко. См., «Летопись», стр. 552.

[58] «Летопись», стр. 471—473.

[59] К. Зеленецкий, Заметки о Пушкине. «Библиографические записки», 1858, № 5, стб. 137.

[60] В прежнее время эти строки включались в Собрания сочинений Пушкина, но в наше время они в Сочинения Пушкина не включаются; не введены они и в «Летопись» — эпизод с отчетом маловероятен.

[61] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 172.

[62] См. «Рукою Пушкина», стр. 836—837.

[63] «Из записей П. И. Бартенева», стр. 267.

[64] Руки Воронцовой видели мы только на двух ее портретах — английского живописца Хейтера и на литографии Принцгофера, 1852 года.

[65] О том, что Воронцова была музыкантшей, говорит ее изображение у органа, а также и сообщение Марии Раевской брату Николаю о том, что она переда-

ла — очевидно, по его поручению — графине оперу «Моисей» Россини. (См. письмо М. Н. Раевской к Н. Н. Раевскому по возвращении из Одессы 21 декабря 1823 года. — «Неизданные письма М. Н. Волконской». «Труды Гос. исторического музея», вып. II. М., 1926, стр. 13—15; в публикации «ce 21 X — bre ошибочно переведено: «21 окт.». Год проставлен неверный: «1824?».

[66] В конце мая — начале июня.

[67] «Верная супруга, графиня» (итал.).

[68] «Какая наглость!» (франц.). П. И. Бартенев, К биографии Пушкина. Из черновых его рукописей, хранящихся в Московском публичном музее. «Русский архив», 1884, № 5, стр. 188.

[69] Конечно, Пушкин имел в виду не одноименную старую оперу Пьетро Гульельми, поставленную в Неаполе в 1772 году и в Вене в 1776 году.

[70] Разыскания не увенчались успехом.

[71] В Москве либретто этой оперы не оказалось. В Ленинграде отыскалась партитура этой оперы в двух действиях со вписанным под нотами текстом либретто на итальянском языке. Находится она в Нотной библиотеке театра имени Кирова. Шифр: 11 р. 118. Инв. 3308. Приношу благодарность Т. Е. Киселевой и Н. Н. Загорному за эти поиски. Глубоко признательна я покойному И. А. Лихачеву за чтение трудночитаемого итальянского текста, вписанного старинным почерком, при этом не слишком грамотно, в партитуру.

[72] «Графиня Воронцова и Ольга Нарышкина приехали два дня назад», — пишет В. Ф. Вяземская мужу в письме, начатом 25 июля («Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2. Спб., 1913, стр. 135. В подлиннике — по-французски). Уточнение даты приезда — в письме от 26 июля М. И. Лекса из Одессы к И. П. Липранди: «Третьего дня графиня возвратилась морем в Одессу и на сих днях едет в Белую Церковь» (Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ф. 435 — И. П. Липранди). Сообщено Н. Я. Эйдельманом

[73] «Летопись», стр. 495—496.

[74] «Летопись», стр. 498. В подлиннике — на французском языке.

[75] «Рукою Пушкина», стр. 837—838.

[76] «Летопись», стр. 499.

[77] См.: «Полярная звезда». Журнал А. И. Герцена и Н. П. Огарева в восьми книгах. 1855—1869. Вольная русская типография. Лондон — Женева. Факсимильное издание. Книга первая. М., «Наука», 1968, стр. 123; Книга девятая. Комментарии и указатели к I—VIII книгам. М., изд-во «Наука», 1968, стр. 130.

[78] П. И. Бартенев, Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских (записано в разное время с позволения обоих). «Русский архив», 1888, № 7, стр. 306.

[79] «Летопись», стр. 479.

[80] И. И. Пущин, Записки о Пушкине и письма. Редакция и биографический очерк С. Я. Штрайха. М.—Л., 1927, стр. 84.

[81] «Летопись», стр. 482.

[82] Там же, стр. 494.

[83] Там же, стр. 488.

[84] Там же, стр. 494.

[85] И. И. Пущин, Указ. соч., стр. 84.

[86] А. Л. Вейнберг, Граф М. С. Воронцов о Пушкине. «Московский пушкинист», II, 1930, стр. 56 (в подлиннике — по-французски).

[87] Две последние фразы в подлиннике — по-французски. «Летопись», стр. 611.

[88] Б. Л. Модзалевский, Библиотека А. С. Пушкина. «Пушкин и его современники», вып. IX—X. Спб., 1910, стр. 138—139. Б. Л. Модзалевский не узнал почерка Пушкина.

[89] Д. П. Якубович, установивший, что записи сделаны Пушкиным, писал: «Трудно предположить, что Пушкин сам купил для себя «Альманах, посвященный дамам». Естественнее, что изящный иностранный календарик на текущий год, остававшийся незаполненным до конца мая 1824 года, был подарен Пушкину незадолго перед этим какой-либо из дам его одесского окружения, например Е. К. Воронцовой, всегда имевшей под рукою свежие новинки заграницы» (Д. П. Якубович, Неизвестные автобиографические записи Пушкина. — «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. 6, М. — Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 32. Там же воспроизведены эти записи и факсимиле).

[90] Это понял М. А. Цявловский, подготовляя к печати публикацию «Из записей П. И. Бартенева (О Пушкине и гр. Е. К. Воронцовой)». «Известия Академии наук СССР, серия литературы и языка», т. XXVIII, вып. 3, 1969, стр. 267—276. Правильность этой догадки подтвердилась впоследствии текстом нижеприведенного письма В. Ф. Вяземской к мужу от 1 августа 1824 года, которое я обнаружила в 1957 году, через десять лет после смерти М. А. Цявловского.

[91] Предположение М. А. Цявловского.

[92] Д. П. Якубович, Указ. соч., стр. 33—34.

[93] ЦГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 3275, лл. 200—203 об. Письмо это отбилось от основного массива писем В. Ф. Вяземской к мужу из Одессы за 1824 год и не попало в публикацию этих писем, сделанную В. И. Саитовым в «Остафьевском архиве князей Вяземских», т. V, вып. 2. СПб., 1913. Текст письма в подлиннике — на французском языке (приводим его с сокращениями). Перевод принадлежит И. А. Лихачеву.

[94] Слова «в особенности» вписаны.

[95] Слова «да и серьезно лишь с его стороны» приписаны.

[96] Слова «уездного города Порхова» написаны по-русски.

[97] Дети, привезенные В. Ф. Вяземской в Одессу, — шестилетний Николай (30.IV.1818—9.I.1825) и двухлетняя Надежда (15.I.1822—28.XI.1840).

[98] Лев Александрович Нарышкин (1785—1846) — двоюродный брат М. С. Воронцова, и жена его Ольга Станиславовна, урожденная графиня Потоцкая (1802—1861), красавица, близкая приятельница Е. К. Воронцовой.

[99] Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863), приятель Вяземского. Состоял при главнокомандующем в Москве Ф. В. Ростопчине и его преемнике до 1832 года для дипломатической переписки по секретной части. С 1832 года московский почтдиректор.

[100] М. С. Воронцов.

[101] Именины Веры Федоровны.

[102] Вяземская имеет в виду следующие строки в письме мужа от 21 июля: «Из Петербурга пишут и уверяют, что ваш одесский Пушкин застрелился. Я так уверен в пустоте этого слуха, что он меня нимало не беспокоит» («Летопись», стр. 495).

[103] Вероятно, слуга Вяземских.

[104] Эти 600 рублей — карточный долг Пушкину Автонома Петровича Савелова, чиновника одесской таможни. Вяземская от него денег не получила. Долг Вере Федоровне тяготил Пушкина. Он отослал его Вяземской с Пущиным в январе 1825 года.

[105] Из письма М. С. Воронцова к П. Д. Киселеву от 6 марта 1824 года. «Летопись», стр. 445.

[106] См. «Летопись», стр. 462—463.

[107] В публикации «Отрывок из письма А. Пушкина, перехваченного на почте» — «Полярная звезда на 1861». Книга шестая. Лондон — Женева, 1861, стр. 123.

[108] Д. П. Якубович, Указ. соч., стр. 33.

[109] Сообщено мною в статье «Неясные места биографии Пушкина». Сб. «Пушкин. Исследования и материалы», т. IV. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 33.

[110] Пещуров Алексей Никитич (1779—1849) — опочецкий предводитель дворянства.

[111] С этим чудовищем, выродком (франц.).

[112] Беловой текст первой редакции стихотворения «К морю» переписан во «вторую масонскую тетрадь» (ПД, № 835), которой Пушкин стал пользоваться в Михайловском в самом начале прибытия туда.

[113] Датировано стихотворение «Храни меня, мой талисман...» в Академическом издании очень широко: «предположительно августом 1824 — первой половиной 1825 года» (II, 1161).

[114] Много позднее эксперты прочли этот текст, оказавшийся еврейской надписью о принадлежности перстня какому-то раввину: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память» (А. С. Пушкин. Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV, Спб., 1910, стр. XXIV—XXV, комментарий Н. О. Лернера).

[115] О «Талисмане» Пушкина см.: «Из записей П. И. Бартенева», стр. 267—268.

[116] См. «Рукою Пушкина», стр. 301—302. Эти инициалы расшифровывались по-разному. См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева», стр. 272.

[117] Стихотворение «Пускай увенчанный любовью красоты...», датировано в Академическом издании «предположительно сентябрем — декабрем 1824 года» (II, 1151).

[118] В 1828 году Пушкин значительно переработал стихотворение и прибавил к нему еще один фрагмент. Печатается в Сочинениях Пушкина эта вторая редакция, и помещается она среди стихотворений 1828 года (III, 130). Вот почему первой редакции читатель не знает, как не знает он и того, что стихотворение написано в 1824 году.

В 1835 году Пушкин ввел стихи в повесть «Мы проводили вечер на даче...» (VIII, 422—423), а затем, оставив этот замысел, перенес их в повесть «Египетские ночи», где они должны были стать стихами импровизатора (VIII, 274-276).

[119] К тому, что пушкинская Прозерпина — это выраженный в поэзии образ Воронцовой, уже приходил М. О. Гершензон. См. об этом в статье М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева...», стр. 269 и 271.

[120] Рукопись эта воспроизведена в Академическом издании, т. II, стр. 350/351.

[121] До него Н. О. Лернер (известный пушкинист старшего поколения) считал это стихотворение обращенным к четырехлетней дочери Воронцовой. А некоторые современные авторы связывают стихотворение «Младенцу» с ребенком дворовой девушки Пушкиных Ольги Калашниковой, над которым будто бы Пушкин не смеет произносить благословения. Они оставляют в стороне то, что родила она через два года после написания стихотворения.

[122] Так читает эти строки Б. П. Городецкий в книге «Лирика Пушкина». М. — Л., 1962, стр. 290.

[123] См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева...», стр. 276.

[124] Во время писания романа «Пушкин в изгнании» И. А. Новиков сделал несколько биографических открытий, которые сообщил предварительно на одном из заседаний Пушкинской комиссии Академии наук (13 марта 1935 г.), а затем уже ввел в роман. Среди них — о стихотворении «Младенцу».

125 Анна Александровна Пушкина (1866—1949), внучка поэта.

126 Александр Александрович Пушкин (1833—1914), старший сын поэта.

127 Женился А. А. Пушкин 18.I.1858 г., Наталья Николаевна умерла 26.XI.1863 г. Рассказала она сыну семейную тайну в эти последние годы своей жизни.

128 В докладе «Пушкин в селе Михайловском в 1824—1826 годах», прочитанном в Пушкинской комиссии Академии наук СССР 13 марта 1935 года, И. А. Новиков высказал предположение, что Пушкин в своем незавершенном стихотворении «Младенцу» разумел своего ребенка от Воронцовой. (См. указанную статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева», стр. 276.)

129 Роман И. А. Новикова «Пушкин в Михайловском». М., 1936, стр. 111—114; его же роман «Пушкин в изгнании». М. — Л., 1947, стр. 450—452; изд. 1953 г., стр. 515—517.

130 См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева».

131 Вдова внука поэта Григория Александровича Пушкина — Юлия Николаевна Пушкина (1873—1967).

132 Соображения С. М. Бонди.

133 В подлинном тексте «Воспоминания» написаны на французском языке. Опубликованы они —«Mémoires du prince M. Woronzow. 1819—1833» в издании «Архив князя Воронцова». Книга XXXVII. М., 1891, стр. 63—102. Ниже записи Воронцова даются в переводе.

134 См. там же, во Введении П. И. Бартенева (стр. XI ненумерованная).

135 В главе «1820» сказано: «В начале этого года Лиза родила дочь, которую мы потеряли через несколько дней после ее рождения» (стр. 70).
В главе «1821»: «В Лондоне родилась наша дочь Александрина» (стр. 71).
В главе «1822»: «...Лиза тем временем родила сына, который был назван Александром и которого мы имели несчастье потерять год спустя» (стр. 72).
В главе «1823»: «23 октября моя жена родила нашего дорогого Семена» (стр. 73).
В главе «1826»: «В Петербурге я получил известие о рождении сына, который был назван Михаилом и которого, к несчастью, мы потеряли позднее, в Англии» (стр. 78).

136 В главе «1832»: «Мы провели начало 1832 года в Лондоне с поездками в Брайтон, где мы поместили на время нашего сына Семена в школу, а наша дочь Софья была помещена тоже временно к госпоже Перси, также в Брайтоне» (стр. 96—97).

137 Четвертой умерла девятилетняя дочь. В главе «1830»: «Тем временем мы были под угрозой большого семейного горя: наша старшая дочь Александрина, рожденная под Вашим покровительством в Лондоне в 1821 году, тяжело болела некоторое время золотухой. Все средства были перепробованы, и было решено, что мать свезет ее в Вену» (стр. 88—89). «В половине сентября <...> я отправился соединиться с моей женой. Я узнал дорогой о несчастии, которое уже поразило нас, то есть о смерти нашей дорогой и чудесной дочери» (стр. 95).

138 Об этом письме А. Н. Раевского к Пушкину и о разных интерпретациях его в Пушкиниане см. в статье «Из записей П. И. Бартенева», стр. 269.

139 Догадка С. М. Бонди.

140 Этот рисунок Пушкина, а также стихи, обращенные к четырехлетней дочери Воронцовой Александрине, до нас не дошли.

141 Александрия — имение матери Воронцовой, где Елизавета Ксаверьевна жила, как мы знаем, с начала августа 1824 года.

142 См. статью «Из записей П. И. Бартенева», стр. 269.

143 В сознании читателей старшего поколения эти строки вошли в искаженном виде:
Так на п[оследние] страницы Пылая капает сургуч.
Так напечатано в издании: А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. Ред. вступ. статьи и комментарии Валерия Брюсова. Т. I. ч. I, 1919, стр. 258.

144 И. А. Новиков доказывал, что «Все в жертву памяти твоей...» обращено к А. П. Керн.

145 23 ноября (франц.).

146 Разыскания Б. В. Томашевского. Я не обнаружила этого села ни на старых, ни на новых картах.

147 Против этого традиционного толкования протестовал В. В. Вересаев («Спутники Пушкина», т. I, 1937, стр. 314). Автор «Летописи жизни и творчества Пушкина» М. А. Цявловский внес «Ангела» в список стихотворений, вызванных Воронцовой.

148 М. О. Гершензон, История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 50.

149 Н. В. Измайлов, Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон. «Временник Пушкинской комиссии. 1962». М. — Л., 1963, стр. 33. Исправление французского текста по фотокопии рукописи — «quelques ombres dans son teint» (вместо «son oeil») и — соответственно и перевода — «некоторую черноту в цвете лица» (вместо «в глазах») принадлежит Н. А. Раевскому — в его печатающейся книге «Когда портреты заговорили» (Алма-Ата, 1974).

150 «Важен» следует здесь понимать в значении: серьезен, исполненный глубокого содержания.

151 Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 188.

152 <П. И. Бартенев>. «Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских. (Записано в разное время, с позволения обоих.) «Русский архив», 1888, № 7, стр. 312.

153 На сходство этих последних текстов обратил внимание Ю. Г. Оксман в

комментариях к «Арапу Петра Великого». См. А. С. Пушкин, Собр. соч. в шести томах. М.—Л., «Academia», т. IV, 1936, стр. 716—717.

154 Л. С. Пушкин, Биографическое известие об А. С. Пушкине до 26-го года. В кн.: Л. Майков, Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. Спб., 1899, стр. 11.

155 Письмо С. Н. Карамзиной от 25 апреля 1837 года к брату Андрею. В кн.: «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов». М. — Л., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 202.

156 «Архив князя Воронцова», книга XXXVII. М., 1891, стр. 81.

157 Об этом было известно уже и в Москве. П. А. Вяземский писал оттуда 2 ноября 1827 года жене в село Мещерское: «Воронцов с женою в Петербурге. И Александр Пушкин там. То-то, я думаю, разыгрывает комедию» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I — ед. хр. 3267, л. 178).

158 См. в той же автобиографии М. С. Воронцова, стр. 81.

159 Здесь примечание Д. П. Якубовича. Ср. также сб. «Рукою Пушкина», стр. 321.

160 Здесь примечание Д. П. Якубовича: «Литературный архив», т. I, 1938, стр. 53—57.

161 Здесь примечание Д. П. Якубовича: «Можно расшифровать и так: 2 <me> lett <re> (второе письмо). Ср. запись 12 декабря.

162 Д. П. Якубович, Неизвестные автобиографические записи Пушкина. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». Т. 6. М. — Л., 1941, стр. 34—35.

163 ЦГАОР, фонд 828 (кн. А. М. Горчакова).

164 Тетрадь Пушкина № 2371 (ныне — ПД, № 838), л. 48. В книге «Рукою Пушкина», стр. 317, где дана транскрипция этих интимных записей поэта, инициалы Воронцовой по ошибке пропущены.

165 См. «Рукою Пушкина», стр. 629—637.

166 Там же, стр. 629.

167 См. Т. Цявловская, Рисунки Пушкина. М., 1970, стр. 155 и 159 (прим. 32).

168 Умозаключение, что это стихотворение является посвящением Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, было сделано Б. В. Томашевским. Догадка автора была основана на сопоставлении двух списков стихотворений Пушкина, намечавшихся поэтом к печати. Один из списков был начат в апреле 1830 года и окончательно завершен в начале сентября 1831 года. Другой переписан с предыдущего тогда же, в начале сентября 1831 года. «При переписке некоторые названия менялись, — пишет Б. В. Томашевский. — Так, в частности, вместо «к E. W.» читаем «В последний раз». Очевидно, стихотворение это, печатаемое под произвольным названием «Расставание», посвящалось Елизавете Воронцовой». Выше Б. В. Томашевский объяснял: «E и W вплетены в одну монограмму. Эту монограмму мы нашли еще в рукописи Пушкина 1826 года. С нее же начинается подпись французского письма Пушкину из Одессы от 26 декабря 1833 года, и, очевидно, буквы эти обозначают инициалы Елизаветы Воронцовой» (Б. Томашевский, Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925, стр. 115—117).

М. А. Цявловский, комментируя эти списки стихотворений, выражал большие сомнения относительно правильности гипотезы Томашевского («Рукою Пушкина», стр. 261). Когда вышла эта книжка Томашевского, да и долгое время спустя, очень мало еще было известно о взаимоотношениях Пушкина и Воронцовой, поэтому этот факт, вытекавший из сухого логического построения, не казался убедительным.

169 В виде романса стихотворение было издано тогда же. Как поэтическое произведение Пушкин стихотворения не издал. Дважды вносил он его в список стихов, намеченных к помещению в III часть «Стихотворений Александра Пушкина», вышедшую в 1832 году, но в книге «Прощания» не было.

170 Предположительно с 4 по 17 августа. См. названную «Автобиографию» Воронцова, стр. 96—97 и письмо Е. К. Воронцовой к А. М. Горчакову от 10 августа 1832 года (ЦГАОР, ф. 828, кн. А. М. Горчакова), из которого выясняется, что она покидает Петербург не 10/22 августа, как вспоминает Воронцов в своей «Автобиографии», а числа 17/29.

171 См. М. Д. Беляев, Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников. Л., 1930, стр. 68.

172 Сб. «Неизданный Пушкин». Пб., 1922, стр. 152—154.

173 Пушкин, Полн. собр. соч. в шести томах. Под ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Т. IV, М. — Л., «Academia», 1936, стр. 711.

174 Сноска в письме: «О трех повешенных».

175 Этого до сих пор не замечали.

176 См. Е. Б. Чернова, К истории переписки Пушкина и Е. К. Воронцовой. В книге: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». Т. 2. М.—Л., 1936, стр. 336—339.

177 «Русский архив», 1894, № 4, стр. 573.

178 Роман этот — «Рукопись, найденная в Сарагосе» — издан в СССР («Наука», 1968; «Художественная литература», 1971).

179 «Русский архив», 1912, № 5, 159.

180 Академическое издание. Справочный том. Изд-во АН СССР, 1959, стр. 71—72.

181 Пушкин еще в апреле обещал Вяземской ответить вскоре и подробно на ее письмо.

182 См. «Столкновение отставного камергера Раевского с князем М. С. Воронцовым». «Русская старина», 1885, ноябрь, стр. 403.

183 М. О. Гершензон, Пушкин и гр. Е. К. Воронцова — в его книге «Образы прошлого». М., 1912, стр. 49.

В. Ф. Вяземская утверждала, что Воронцова была близка и с Пушкиным (в Одессе) и с Раевским (в Белой Церкви). (См. М. А. Цявловский. Из записей П. И. Бартенева, стр. 267.)

184 «Из писем А. Я. Булгакова к его брату». «Русский архив», 1901, № 10, стр. 185 и 207.

185 Там же, стр. 185.

186 «Берегите наших детей» или «нашу дочь» (франц.). М. О. Гершензон, Пушкин и гр. Е. К. Воронцова, стр. 46.

187 Раевский был по матери греческого происхождения (см. А. С. Пушкин. Письма. Под ред. и с прим. Модзалевского, т. II. М. — Л., 1928, стр. 367). Отсюда — южные черты его внешности (так же, как и у сестры его Марии Волконской), которые, ему могло казаться, передались дочери Воронцовой Софье.

Таким образом, всем четверым участникам этой сложной ситуации было ясно, что Софья — внебрачная дочь Воронцовой.

188 К 1828 году у Воронцовых уже умерло двое детей. В живых было четверо: дочь Александра, родившаяся в 1821 году (до знакомства Воронцовой с Раевским), она умерла в 1830 году, сын Семен (родился в 1823 году), дочь Софья (родилась в 1825 году) и сын Михаил (родился в 1826 году). Таким образом, если Раевский сказал Воронцовой о своей дочери, то он говорил о Софье, которую, как мы видели, Пушкин считал своей дочерью.

189 Приблизительно (франц.).

190 <П. И. Бартенев>. «А. С. Пушкин», вып. II. М., 1855, стр. 98.

К. Шилов

Московский адрес



На сероватом узком листке, вклеенном среди четырехсот листков разного формата в тяжелый черный том, Пушкиным написана всего одна строчка:

«НА АРБАТЕ ДОМ ХИТРОВОЙ.

А. П.»

Мгновенно зажигаются в памяти пушкинские слова в статье о Вольтере: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства» (XII, 75).

Ниже автографа аннотация на французском языке:

«Рука поэта Пушкина. Адрес, набросанный им самим в нашем большом доме на Вздвиженке, однажды вечером, в большой зале, во время моего отъезда в Саратов. Пушкин был тогда женихом» [1].

Ровный, «вежливый» почерк записи принадлежит саратовцу Адриану Михайловичу Устинову (1802 — после 1882).

Никогда раньше имя Пушкина не было связано с московской улицей Воздвиженкой. Когда же посетил Пушкин воздвиженский дом? При каких обстоятельствах мог он оставить хозяевам свой адрес? Последняя строчка приписки переносит нас к зиме 1830/1831 года...

I



В декабре 1830 года Пушкин вновь встречается с Москвой, столь милой ему издавна своей первопрестольной патриархальностью, так изумительно им изученной и воспетой. Поэт делает последние приготовления к важнейшему дню своей жизни — свадьбе. Нуждаясь в средствах, просит он у царя разрешения издать «Бориса Годунова». Окончательно выясняет материальные отношения с прижимистыми родственниками невесты.

Живший до сих пор и в Петербурге и в Москве в гостиницах, Пушкин впервые ищет себе квартиру. В начале февраля 1831 года он снимает на Арбате второй этаж дома Настасьи Хитровой. Ощущая близость неспокойного семейного счастья, поэт раздумывает о том, какими путями пойдет его творчество... Лучшим другом этой поры стал для мужающего в невзгодах поэта «любезный Павел Воинович» — Нащокин... И тем не менее не к нему, а к далекому Кривцову, живущему где-то на границе Тамбовщины и Саратовской губернии, было обращено в эти дни одно из самых удивительных пушкинских откровений.

«Посылаю тебе, милый друг, любимое мое сочинение. Ты некогда баловал первые мои опыты — будь благосклонен и к произведениям более зрелым», — так пишет Пушкин 10 февраля 1831 года Кривцову, которого знал лишь по петербургской юности, потерявшему ногу в одном из сражений на полях Европы, атеисту и философу, «Анаксагору», изъездившему свет.

«Что ты делаешь в своем уединении? Нынешней осенью был я недалеко от тебя. Мне брюхом хотелось с тобою увидеться и поболтать о старине — карантины мне помешали. Таким образом, бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги, а я женат. Женат — или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в поль-



Пашков дом. Рисунок Г. де ла Барта.

зу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes [2]. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди, и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностию.

У меня сегодня spleen [3] — прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать моей тоски; тебе и своей довольно. Пиши мне на Арбат в дом Хитровой. На днях получил я чрез Вяземского твое письмо, писанное в 1824. Благодарю, но не отвечаю» (XIV, 150—151).

Написанное на последнем рубеже пушкинского жениховства письмо Кривцову сближается с другой, более ранней исповедью поэта — в набросках повести, имеющей автобиографический характер — «Участь моя решена. Я женюсь...». И все же письмо Кривцову всегда поражало биографов поэта. Характерно недоумение одного из них: «Зачем Пушкин написал это письмо? И кому? Скептику Кривцову, с которым он встречался в юности и с которым позднее изредка переписывался... Поэт написал это письмо для самого себя, стараясь как-то оправдать в своих глазах свое решение. Он как будто попал в сети, как доверчивая птица» [4].

«...Письма его вообще очень мало знакомят



Дом Устиновых на Воздвиженке в Москве.

нас с интимными его переживаниями... Либо уж очень тяжело было Пушкину, либо отношения его с Кривцовым были действительно дружеские» [5], — вторит другой автор (подтверждая, кстати, неполное наше знание связей Пушкина и Кривцова). Загадка пушкинской исповеди проясняется с неожиданной очевидностью историей записи Пушкиным своего адреса в устиновском доме на Воздвиженке.

II

До сих пор фамилия Устиновых была знакома лермонтоведам, да и то разве самым дотошным. В январе 1830 года в саратовском доме Устиновых на свадьбе своего дяди А. А. Столыпина и М. А. Устиновой среди боевых генералов 1812 года (присутствовал и Денис Давыдов) был, по преданию, юный Лермонтов. Долгое время в устиновской семье хранились и некоторые рукописи Лермонтова [6].

Устиновы вышли в дворяне из винных откупщиков и домовладельцев. Отмечая историческую достоверность и типичность этой социальной эволюции, язвительный, всегда без промаха бивший словесно Вигель, приятель Пушкина, так характеризовал одного подобного «выдвиженца»: «Он принадлежал к тем купеческим родам, которые, чрезвычайно разбогатев, так охотно и легко переходят у нас в дворянское состояние. Некоторые из них, поднявшись в чинах, посредством блестящих супружеств — беспрепятственно приписываются к знатным, как, например, некогда Демидовы, а в настоящее время Мальцовы, Гончаровы, Устиновы...» [7]

Отцовские связи, родство с титулованной знатью помогли служебной карьере детей Устиновых, особенно Адриана и Михаила Михайловичей [8]. В 1818 году они окончили Московский университет. Адриан определился в Коллегию иностранных дел, а старший, Михаил, вступил юнкером в Кавалергардский полк. Позднее Адриан Михайлович служит чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе Д. В. Голицыне. В 1828 году он оставляет столицу и превращается в помещика-хозяина, поселившись в богатом имении Бекове (ныне Пензенской области). Михаил Михайлович, уволившись по болезни от службы, начинает свою дипломатическую карьеру.

Дошедшие до нас бековские семейные бумаги оказались переплетенными в 42 тисненых кожаных тома. Собирал документы, нумеровал их, писал аннотации и оглавления к томам сам А. М. Устинов.

Письма многих лет, шершавые от присыпанного песка, проколотые в холерных карантинах, передают не только теплоту и благородство отношений, изысканный вкус и передовые политические симпатии членов семейства, но и все тревожные контрасты времени. Братья Устиновы были незаурядными музыкантами и славились как виолончелисты. В их переписке упоминаются музыканты-любители братья Виельгорские, салон Зинаиды Волконской, знаменитый скрипач Роде; здесь же встречаются письма не менее знаменитого пианиста Рейнгардта, композитора Геништы... [9]

Многие талантливые люди, не нашедшие себе места при дворе Николая, уединялись в провинциальной глуши, в «обители... трудов и чистых нег». Таков был и бековский помещик А. М. Устинов, по воспоминанию современника, «человек милый, приветливый, образованный», который «интересовался всеми вопросами дня, и философскими и политическими. Journal des Débats не выходил у него из рук <...>. Он дожил до глубокой старости и 80 лет от роду с жаром спорил о новейших литературных произведениях, о религиозных мнениях Милля...» [10].

В переписке Адриана Михайловича с братом упоминаются многие люди, в разное время знавшие Пушкина. Здесь имена начальников, гонителей поэта и его приятелей, таких как Я. И. Сабуров, А. Д. Улыбышев, В. П. Зубков, В. П. Пальчиков, В. Т. Кек.

В середине 20-х годов в петербургском доме Устиновых на Фонтанке жили родители Пушкина — Сергей Львович и Надежда Осиповна [11]. У них вернувшийся из ссылки поэт встречался с Дельвигом и его женой, с А. С. Норовым, с А. П. Керн [12].

Много писем адресовано жене Устинова — Анне Карловне, урожденной Шиц, и ее незамужним сестрам Елизавете и Екатерине. Переписка соединяет трех сестер с С. Ф. Пушкиной, в которую поэт был влюблен и к которой сватался, с другом поэта княгиней Вяземской, временами жившей в Саратовской губернии [13]. В 1829 году Устиновы знакомятся с генеральшей В. Я. Солдан (Сольдейн), в доме которой на Пречистенке

Адрес, записанный А. С. Пушкиным.

Пушкин бывал на балах в 1831 году. Хозяйка слыла «обходительной и образованной женщиной, интересовавшейся литературой...»[14]. Она «играла видную роль в высшем музыкальном обществе...» [15]. Солдан была хорошей знакомой семьи Гончаровых.

Но, пожалуй, ни с кем бековцы не переписываются так долго и так часто, как с проживающим в 50-ти верстах от них семейством Николая Ивановича Кривцова.

III

Сначала царский баловень, потом неудавшийся администратор, натура эксцентричная и талантливая, Кривцов, бесспорно, «повинен» в передаче немалой доли своего вольнодумства юноше Пушкину. Влияние было настолько сильным, что Пушкин посвятил Кривцову два дружеских стихотворения («Не пугай нас, милый друг....» — 1817 г., «Когда сожмешь ты снова руку...» — 1818 г.), вспоминал его, присылал ему «свои вновь появляющиеся сочинения» [16].

Встречавшийся с Гёте и Гумбольдтом, Наполеоном и Талейраном, Кривцов после служебных неудач уединяется в Тамбовской губернии. Местность его заточения «представляла в то время замечательное собрание умных и образованных людей...» [17]. Но лишь с редкими из них вступает Кривцов в тесные сношения.

Среди тех, для кого он делает исключение, — хозяин Бекова Адриан Устинов. Обычно не жаловавшийся на судьбу, Кривцов, надломленный бездеятельностью, пишет в письмах к Устинову о снедающей его тоске («...Мое царство больше не в этом мире...») [18].

Устинов нередко посещал Любичи — имение Кривцовых [19]. Дружили домами... В поздние годы А. М. Устинов сходится и с братом Н. И. Кривцова — Сергеем Ивановичем, декабристом, вернувшимся из ссылки. По просьбе жены Н. И. Кривцова Устинов удовлетворяет «причуду» ее «несчастного брата», декабриста Ф. Ф. Вадковского, отправляя в Сибирь посылки (серебряные распятия) [20]... Переписка семей длилась и после смерти Кривцова в 1843 году. А. М. Устинов, постоянно находясь в курсе всех дел и забот своих соседей, пишет отцу в Саратов, что «Кривцов в прежних откровенных разговорах объяснял», что не хочет удаляться от имения, желая покоя, отстранения от сует, но многое о нем отцу «объясняет секретно» («Благоволите оставить про себя...») [21].

Под строкой пушкинского адреса проступает карандашная запись, которая сейчас не поддается прочтению. Она была стерта А. М. Устиновым не ранее 1880 года (на корешке тома стоят цифры 1819—1880), когда Адриан Михайлович вклеил листок с автографом в переплетенные документы, поставил на нем номер 127-й, а вместо былой карандашной записи написал полный комментарий. В оглавлении под № 126 Устиновым записано: Signature du Capit. J. Rohs, под № 127 — idem du poète Pouchkine [22]. Кроме того, в середине книги чернилами написано еще одно оглавление следующих далее бумаг: в верхнем углу справа — карандашные вставки: Sign. de J. Rohs. Ecrit. de Pouchkine. Автографы англичанина капитана (1824 г.) и Пушкина (1831 г.) на листках одинаковой бумаги и одного формата.

Приехавшие по делу давней семейной тяжбы 15 января 1831 года в Москву, супруги Устиновы остановились в своем доме. Москвичам и сейчас хорошо знакомо большое желтое здание Музея архитектуры по улице Калинина, которое после существенных изменений интерьера все же дает представление о былом своем блеске. Дом известен более как талызинский, по имени хозяев, продавших его в 1801 году Устиновым [23]. Классический фасад, богатое убранство многочисленных комнат и галерей, анфилада гостиных, великолепные росписи стен и плафонов делают это здание архи-

А. С. Пушкин. Автопортрет. 1832 г.





А. С. Пушкин в кругу современников. Рисунок. 1832 г.

тектурным памятником пушкинской эпохи. Окна в окна смотрит он на особняк «богача младого» Д. Н. Шереметева, к которому обращено пушкинское стихотворение «На выздоровление Лукулла». Устиновский дом горел при Наполеоне. Был отстроен вновь. Существует гипотеза, будто в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» он описан как дом Пьера Безухова. Здесь останавливались друзья и родственники Устиновых, жил любимый дядя Лермонтова Афанасий Столыпин. Частенько бывал здесь, впоследствии приезжая по делам в Москву, и Н. И. Кривцов. Так, 16 декабря 1836 года Устинов в письме к отцу, жившему в Саратове, рассказывает:

«Теперь все братья Устиновы в Москве и дом опять порядком наполнился. Кривцов также сюда на несколько дней приехал и почти каждый день у меня...» [24].

Имевший любопытную историю в советское время, связанный с именем В. И. Ленина, дом на бывшей Воздвиженке входит теперь и в топографию пушкинских мест столицы [25].

Когда же Пушкин посетил Устиновых? Чтобы датировать автограф, надо датировать отъезд хозяев дома из Москвы до 18 февраля 1831 года (18 февраля состоялось венчание поэта, а в приписке под автографом он назван женихом). Точность же и умственная ясность не изменяли Устинову и в старости. Изучавшему семейную хронику бековцев это очевидно.

Нам неизвестно доподлинно, какого числа вселился Пушкин в дом Хитровой. Но еще 31 января в письме к Плетневу он не указал своего арбатского адреса. Дать его он мог только в феврале.

В день свадьбы поэта «Московские ведо-



Н. Н. Пушкина. Акварель работы А. П. Брюллова, 1832 г.

мости» в сведениях о приезжающих в Москву и выезжающих из нее сообщали:

«С 12 по 16 февраля выехали из Москвы . . . . : в Саратов кол<лежский> сов<етник> Устинов» [26].

Газета выходила по средам и субботам. Предшествующий № 13 вышел в субботу 14 февраля. Кажется, саратовцы могли выехать между 14 и 16 числами, может быть, 15 февраля, когда в доме Нащокина Пушкин слушал цыганку Таню и плакал, почувствовав в грустном напеве старинной песни предвещание горя.

Несколько иную дату отъезда мы находим в письмах Устинова к отцу. (В этих «отчетных документах» к суровому родителю незачем было упоминать о «стихотворце» Пушкине.) В письме от 21 января Устинов пишет еще неопределенно:

«Я полагаю недели через две или три, или, лучше сказать, около 10-го февраля непременно отправиться в Беково» [27]. 25 января Устинов подтверждает свое намерение:

«Располагаем выехать из Москвы 10 февраля». И, наконец, в последнем сохранившемся московском письме (от 4 февраля):

«Мое намерение, если успею, выехать 10-го или 12-го числа...»

Запечатлевается настойчивость стремления выехать именно 10-го числа. (Как это видно из «Московских ведомостей», выехали не ранее четверга, 12-го.) Впрочем, полицейские данные часто запаздывают. Во всяком случае, старик Устинов после одного из недошедших до нас писем сына уже уверен, что тот покидает Москву 10 февраля, перестает писать ему в столицу и 9 февраля пишет сразу в Беково, объясняя при этом:

«Видев из письма твоего... что отправишься ты из Москвы 10 февраля... располагая время, признаю, что письмо сие поступит в Беково прежде приезду вашего...» [28]

Все свидетельствует о серьезности первоначального решения отправиться в путь 10-го числа. Видимо, об этом знал и Пушкин. Вернее всего, Устиновы встречали его вечером 10 февраля. Во втором этаже здания размещались гостиные комнаты и «большой зал». Здесь-то и оставил Пушкин свой адрес А. М. Устинову...

Но для Устиновых ли он оставлен? Приход в гости к саратовцам без конкретного повода и любезная запись Пушкиным своего адреса для них немыслимы без более ранних отношений... Фамилия Устиновых не возникала до сих пор в Пушкиниане. Вероятно, Устинов не воспользовался адресом поэта не только потому, что отношения не были тесны и Пушкины вскоре переехали в Петербург, но единственно по той причине, что адрес предназначался другому человеку. Кому же?

Вполне естественна догадка: Кривцов! Именно 10 февраля — назначенным днем отъезда Устиновых в свои края — пометил Пушкин свое послание Кривцову. Именно это письмо было первым, где Пушкин указал свой арбатский адрес.

Приходит мысль, что визиту Пушкина в устиновский дом предшествовала какая-то встреча с его хозяевами. В еще полупустой после холерных вспышек, медленно оживающей Москве А. М. Устинов, занятый хлопотами, перипетиями судебного разбирательства, мог встретить поэта, пожалуй, лишь случайно. Вероятно, еще в юные годы сестры Шиц знали (в чем мы убедимся впо-

Письмо А. С. Пушкина к Н. И. Кривцову от 10 февраля 1831 г.

я жилъ иначе какъ обыкновенно живутъ. Щастья мнѣ не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes. Мнѣ за 30 лѣтъ. Въ тридцать лѣтъ люди обыкновенно женятся — я поступаю какъ люди — и вѣроятно не буду въ томъ раскаеваться. Къ тому-жъ я женюсь безъ упоенія, безъ ребяческаго очарованія. Будущность является мнѣ не въ розахъ, но въ строгой наготѣ своей. Горести не удивятъ меня: онѣ входятъ въ мои домашніе расчеты — всякая радость будетъ мнѣ неожиданностію.

У меня сегодня spleen — прерываю письмо мое, чтобъ тебѣ не передать моей тоски; тебѣ и своей довольно. Пиши мнѣ на Арбатъ въ домъ Хитровой. Наталья [illegible]

2 [illegible]

[illegible] 1824

Благодарю за отмѣтки.

10 февр. 1831

Вторая страница письма Н. И. Кривцову.



Дом Устиновых
на Воздвиженке в Москве.

следствии) сестер Гончаровых. Зная об их общей дружбе с Солдан, с другими светскими дамами, мы можем предположить, что Пушкин, бывающий ежедневно в доме невесты, мог встретить там приехавших саратовцев.

В разговоре упомянут Кривцов. Пушкин оживленно выспрашивает подробности о нем. Устинов мог рассказать о самых последних любичских новостях. 21 января он писал отцу:

«Выехавши из Бекова 11-го числа поутру в 12-м часу, прибыли сюда (т. е. в Москву.— *К. Ш.*) благополучно 15-го числа после обеда, *пробыв день у Кривцова* (подчеркнуто мной. — *К. Ш.*) и часов 6 в Кирсанове для получения подорожной...» [29]

Пушкин давно намеревался встретиться с Кривцовым или написать ему. Быть может, и Устинов сообщил о подобном желании давнего пушкинского друга... Одна беда: адрес Пушкина в Любичах неизвестен. Поэт, еще не успевший найти квартиру, осведомляется о том, когда Устинов рассчитывает покинуть город, решив занести ему свой будущий адрес для Кривцова.

Конечно, Пушкин еще в Болдине знал, что Кривцов где-то «недалеко» («хотел приехать, но помешали карантины...»). Конечно, за несколько дней до написания письма Пушкин прочел переданное ему Вяземским запоздавшее письмо Кривцова (от 1824 года! Вот как были уже разобщены эти люди...). Но встреча с Устиновым могла быть той случайностью, которая вдруг обратила Пушкина к любичскому приятелю, оживила стремление «увидеться и поболтать о старине». А главное — она дала возможность попытаться возобновить связь. Теперь мы понимаем яснее, почему такой свежей осведомленностью

дышат грустные слова Пушкина в письме Кривцову: «...Бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем... У меня сегодня spleen — прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать моей тоски; тебе и своей довольно...»

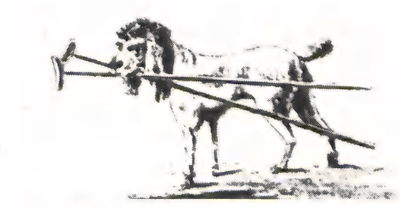
Пушкину хотелось услышать мнение друга, который «некогда баловал первые его опыты», о только что вышедшем «Борисе Годунове». Вместе с письмом Кривцов получил и экземпляр трагедии. («Посылаю тебе, милый друг, любимое мое сочинение...» — начинает Пушкин письмо.) Изучение подлинника, хранящегося в Пушкинском доме, показало, что письмо Кривцову от 10 февраля 1831 года послано не почтой. (Письмо не имеет адреса. На его страницах нет отпечатков почтового штемпеля.) Это и понятно. Поэту неожиданно представилась верная возможность послать письмо с уезжавшими в сторону Кривцова людьми. Не всякое письмо можно было доверить почте. Кроме Устиновых, других подходящих путников не было.

Это рождает новую догадку. Изданная неслыханным по тем временам тиражом трагедия Пушкина имела поначалу шумный успех и раскуплена была мгновенно. Немедленно должна была разойтись и сотня специальных экземпляров, какую, по предположению исследователей, напечатали для автора и его друзей [30]. Доходило до того, что у Пушкина выхватывали из рук уже обещанные им книги. 13 января 1831 года Пушкин просит издателя Плетнева: «Пришли мне, мой милый, экземпляров 20 «Бориса» для московских прощелыг, не то разорюсь, покупая его у Ширяева...» (XIV, 143). Устиновы же, имея прекрасную библиотеку, следили за всеми литературными новинками. Побывав после Москвы в Саратове (с 20 февраля по 28 марта), они вернулись в Беково, откуда А. К. Устинова 17 апреля пишет свекру:

«Я вас попрошу, дражайший батюшка, сделать мне милость и спросить у Дмитрия Андреевича Еремеева (саратовского друга семьи. — *К. Ш.*) мою книгу. У него Борис Годунов. Он мне давно обещал ее возвратить, но видно позабыл, а я бы не желала, чтобы эта книга пропала и попрошу вас при первой оказии мне ее отправить...» [31]

Легко предположить, что книжечка, посланная Кривцову, и книжечка, привезенная Устиновым из Москвы, были из тех «экземпляров 20-ти», какие прислал издатель автору трагедии. Понятна и боязнь Устиновой затерять драгоценный экземпляр, на котором, возможно, была дарственная надпись поэта.





Н. И. Кривцов. Акварель работы неизвестного художника.

Возникает недоумение: с готовым ли уже письмом пришел Пушкин на Воздвиженку? Вряд ли это было так... Письмо Кривцову — явно экспромтного характера. Не написал ли его поэт в том же воздвиженском доме?

Подтверждением этому выступает новое любопытное обстоятельство. Бумага письма Кривцову — белая, тронутая прожелтью, без водяных знаков, шероховатая, средней отделки и большого почтового формата — оказалась не той, какой обычно пользовался в то время поэт. Анализ показал, что бумага близка гончаровской [32], но отличается от нее большим размером и золотым обрезом.

Из 25 писем, написанных Пушкиным до отъезда в мае из Москвы, еще три письма

Зарайскъ Ст. Сов. Толбухинъ; въ Тифлисъ Чин. 6го класса Андреевъ; въ Ряжскъ Полк. Каракитенъ; въ Данковъ Полк. Грагожевскій; въ Оренбургъ Полк. Давыдовъ; въ Пенау от. Полк. Князь Енгалычевъ; въ Саратовъ Кол. Сов. Устиновъ; въ Ростовъ от. Подполк. Кобыляцкій; въ Чернъ от. МайоръПолзановъ; въ Осташковъ отст. Майоръ Сутерминъ; въ Мядынь от. Майоръ Чемичевъ; во Владимiръ Кол. Асс. Бабкинъ; въ Тифлисъ Кол. Асс. Иконниковъ; въ Арзамазъ от. Кол. Асс. Князь Мансыревъ; въ Тулу от. Кол. Асс. Хрущовъ; Оберъ-Офицеровъ 75.

Выехавшие из Москвы
с 12 по 16 февраля
(«Московские ведомости»,
1831 г., № 14, стр. 606).

писаны им на чужой бумаге (19.I — Вяземскому, 24.II — Плетневу, 8.V — Е. Хитрово)[33].

Встречается и бумага, близкая к фактуре бумаги письма Кривцову. Но точно такой сотрудникам Пушкинского дома найти не удалось. Б. В. Томашевский, затрудняясь в определении бумаги письма Кривцову, указал два наиболее вероятных номера ее (и оба — под вопросом)[34].

Воскресим предполагаемый ход всех событий. Проезжающему через Любичи Устинову Кривцов говорит о том, что в Москве должен находиться Пушкин, с которым они долго не виделись и не переписывались; по слухам, у него что-то не ладится с женитьбой... От Устинова или от Пушкина исходила инициатива, но Пушкин обещает Устинову сообщить для Кривцова свой адрес.

Для этого поэту предстояло навестить Устиновых в их московском доме. Так объясняется теперь известная в печати запись карандашом адреса. «Сдвиженка собст<венный> д<ом>», сделанная на обороте черновой записи Бенкендорфу об издании газеты[35].

Вечером 10 февраля поэт и направляется с Арбата на соседнюю Воздвиженку. У него появилась мысль послать Кривцову экземпляр наконец-то вышедшей в свет своей трагедии. Пушкину уже достаточно понятен облик хозяев дома на Воздвиженке — молодой женщины и ее мужа. Двумя годами позже вдова горячо оплаканного Пушкиным Дельвига — С. М. Дельвиг, вышедшая за брата поэта Баратынского — Сергея Абрамовича и поселившаяся в его тамбовском имении, характеризуя круг своих соседей-помещиков, напишет: «...Два или три семейства, приезжающих собственно к нам, т. е. к Сергею и ко мне, доставляют нам иногда приятные дни; это люди приличные, и мы не очень стесняемся принимать их... Эти наши знакомые — семейство Устиновых, муж и жена, прекрасные люди, хотя и ограниченные; Кривцов и его жена, — он человек весьма умный, светский и вполне замечательный...»[36] Судя по этой выразительной характеристике, на добросовестность и усердие четы Устиновых Пушкин мог вполне положиться.

Пушкин симпатизирует Устинову как выходцу из той среды, которую современник назвал «новым просвещенным элементом, внесенным в русскую помещичью жизнь»[37]. Рождению этой новизны немало способствовал своими хозяйственными порядками Кривцов. «Созданный им быт, — свидетельствует Чичерин, — сделался образцом для всего края»[38]. Пушкину было приятно чувствовать в Устинове человека «кривцовского направления»...

Мимолетная симпатия могла подкрепиться воспоминаниями об общих приятелях, сходством настроений и взглядов. Письма Устинова в это время полны ярких картин тяжелой жизни народа в неурожай и холеру. (Устинов до конца сохранил весь жар былой оппозиционности. Стариком он с увлечением вписывал в альбомы злободневные политические эпиграммы. Вольтеровские афоризмы и блестки старофранцузских «максим» переходили в неодобрение реформ 60-х годов.) Было о чем поговорить саратовскому помещику-либералу с автором «Бориса Годунова».

К тому же искренняя неприязнь к светской жизни, трезвые рассуждения истого семьянина, спокойно-светлый ум Устинова могли привлечь поэта, вступающего на стезю «отца семейства». Не могло не обладать для него притягательной силой и знакомство Устинова с невестой... Неловко переслать через Устиновых свое известное произведение, при этом обойдя их... И Пушкин на всякий случай захватывает с собой второй экземпляр трагедии...

В доме на Воздвиженке, попросив перо и чернила, на четвертушке устиновской бумаги поэт стремительно набрасывает свой адрес. И тут же понимает: есть прекрасная возможность написать и несколько строк для друга! Попросив еще почтовой бумаги, он пишет письмо, запечатывает его и вкладывает в кривцовский экземпляр «Годунова». По-

Ma chère Anna Karlovna le porteur
de ce billet est l'homme en question
le разнощик Николай, et je vous
envoye avec lui les bouquets que Natalie
Pouchkine m'a priée de vous faire tenir,
elle vous envoye tous ce qu'elle a, pour
que vous choisissiez ce qui vous convient
Le carton contient 21 bouquets. — Toute

Письмо Е. Ф. Евреиновой
к А. К. Устиновой.

скольку в письме еще раз указывается адрес на Арбате («Пиши мне на Арбат в дом Хитровой...»), запись на отдельном листочке уже не нужна. Устиновы оставляют листок у себя на память о незабываемом вечере...

На пороге нового жизненного этапа Пушкин хочет как бы соразмерить свое давнее и сегодняшнее. Получить некое безответное благословение или одобрение. Восстановить меру прежнего молчаливого взаимопонимания [39].

IV

В пользу того, что первая встреча, очевидно, произошла благодаря знакомству жены Устинова и ее сестер с Гончаровыми, говорит и одна из сохранившихся записок к А. К. Устиновой, написанная ее подругой Екатериной Евреиновой:

«Дорогая Анна Карловна, податель записки — это тот человек, о котором мы говорили, *разнощик Николай* (подчеркнутое написано по-русски. — *К. Ш.*), и я посылаю вам с ним букеты, которые Натали Пушкина просила меня вам передать. Она посылает вам все, что у нее есть. Выберите, что вам подходит. В картонке 21 букет. Все семейство Пушкиных вас целует и приглашает вас приходить к ним почаще, так же, как и вашего мужа а *Алина Григорьевна* предлагает провести вечер у вас на этих днях.

Это будет в следующий четверг. Мы придем вместе. Обнимаю вас от всего сердца, мой дорогой друг, так же, как и ваших милых

сестер. Простите мои каракули. Очень спешу. Любезный Николай ждет.

Вся ваша Катерина Евреинова.

Пятница» [40].

Незначительная тема записочки, тон эфемерно-легкой озабоченности — все это так характерно для обстановки, угнетавшей Пушкина...

Букеты — видимо, матерчатое украшение на бальное платье. Алина Григорьевна — лицо неустановленное. Сама же Екатерина Федоровна Евреинова, урожденная Пушкина, — сестра уже упоминавшейся Софьи Федоровны и Анны Федоровны Пушкиных. (Обе вышли замуж за московских знакомцев великого поэта; первая — за В. А. Панина, вторая — за В. П. Зубкова.).

Из записки ясно, что А. М. Устинов с женой навещают в Петербурге супругов Пушкиных.

Можно догадаться, что «все семейство Пушкиных» — это женщины. В таком случае встречи имели место не раньше октября 1834 года, когда в доме поэта поселились две другие сестры Гончаровы — Александра и Екатерина. Когда же в 30-х годах Устиновы могли посетить Петербург, остается, к сожалению, неизвестным.

Итак, налицо короткое знакомство семей, быть может, вытекающее из встречи на Воздвиженке. Или чувство некоторой благодарности, так связывающей нас порой с людьми, встреченными случайно и ставшими свидетелями дорогого и большого для нас мгновения, или то реальное обстоятельство, что светские отношения часто навязывались поэту знакомствами его жены — таковы, кажется, причины этих возобновившихся встреч.

В январе — феврале 1837 года приходят в Беково письма из Петербурга и Москвы со страшным для России известием... Но сообщения брата А. М. Устинова — Михаила Михайловича, русского советника в Константинополе, а позже — вице-директора Азиатского департамента, а также друга Устиновых московского врача Мандилени представляют лишь приблизительный пересказ, хронологически неточное изложение трагических событий [41].

Перед нами всего лишь одна строчка Пушкина, которая помогла раскрыть историю написания письма, ставшего «последним памятником отношений» [42] Пушкина и Кривцова.

И снова вспоминается пушкинское высказывание:

«Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая... эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов». (XII, 75).



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Государственный архив Саратовской области (ГАСО), ф. 661 (Устиновых), оп. 1, ед. хр. 5, л. 127. Подлинник на французском языке. Переводы здесь и ниже сделаны Л. И. Долгиной. Далее называем только номера единиц хранения и листов.

2 Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах (франц.). Цитата из романа Шатобриана «René».

3 Тоска (англ.).

4 Г. Чулков, Жизнь Пушкина. М., Гослитиздат, 1938, стр. 233.

5 В. Вересаев, Спутники Пушкина. т. I, М., «Советский писатель», 1937, стр. 189.

6 И. Л. Андроников, Лермонтов. Исследования и находки. М., ГИХЛ, 1964, стр. 528, 535.

7 «Записки Ф. Ф. Вигеля». М., 1892, ч. V, стр. 171.

8 В. Руммель и В. Голубцов, Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. 1. СПб, 1886, стр. 326, 415, 417, 516; «Сборник биографий кавалергардов. 1801—1826». Составлен под редакцией С. Панчулидзева. СПб. 1906, стр. 351, 339; ГАСО — ед. хр. 1 (послужной список А. М. Устинова).

9 Письма М. Рейнгардта — ед. хр. 5, л. 101 и т. д.; письма И. Геништы — ед. хр. 28.

10 Б. Н. Чичерин, Из моих воспоминаний. По поводу дневника Н. И. Кривцова. «Русский архив», 1890, № 4, стр. 513—514.

11 Ныне Фонтанка. № 185 (угол ул. Дзержинского). Первое упомин. см.: А. Яцевич, Пушкинский Петербург. Л., 1935, стр. 55.

[12] См.: А. П. Керн, Воспоминания. Вступ. статья, ред. и прим. Ю. Н. Верховского. Л., «Academia», 1929, стр. 264—265.

[13] Письма к Устиновым С. Ф. Пушкиной — ед. хр. 5, 6; В. Ф. Вяземской — ед. хр. 25, лл. 183—192.

[14] Воспоминания А. Д. Галахова. «Русский вестник», 1877, № 2, стр. 92. (Цит. по комм. Л. Б. Модзалевского к «Письмам Пушкина», т. III, 1935, стр. 454—455).

[15] <В. В. Ленц> Приключения лифляндца в Петербурге. «Русский архив». 1878, № 1, стр. 466—467; Письма В. Я. Солдан к Устиновым—ед. хр. 25, лл. 300—334.

[16] Б. Н. Чичерин. Указ. соч., стр. 517.

[17] Там же, стр. 507.

[18] Письма Н. И. Кривцова и его родственников к Устиновым — ед. хр. 25, лл. 231—299; ед. хр. 39.

[19] Б. Н. Чичерин, Указ. соч., стр. 513.

[20] Письмо Е. Ф. Кривцовой к А. М. Устинову от 12 ноября 1836 года, перев. с франц. — ед. хр. 39.

[21] Ед. хр. 4, письма А. М. Устинова к отцу.

[22] Подпись капитана Д. Роса, автограф поэта Пушкина (франц.).

[23] Ед. хр. 38 («Бумаги по дому московскому от 1801 до 1810 г.»).

[24] Ед. хр. 4.

[25] В 1920-х годах в этом здании работал ЦК РКП(б), позже здесь находились Наркомат юстиции, общежитие студентов красной профессуры и т. д.

[26] «Московские ведомости», 1831, № 14, стр. 606.

[27] Здесь и далее—ед. хр. 4.

[28] Ед. хр. 13 — письма Устинова («Lettres de mon pere», т. II).

[29] Ед. хр. 4 (подлин. на русск. языке).

[30] Н. П. Смирнов-Сокольский, Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., изд. Всесоюзн. книжн. палаты, 1962, стр. 258, 261.

[31] Ед. хр. 4.

[32] Родовое калужское имение Гончаровых «Полотняный завод» издавна славилось своей бумажной фабрикой. Гончаровская бумага считалась лучшей в России, а под парусами из гончаровского полотна, ходили многие суда английского флота.

[33] См.: Описание бумаги письма Пушкина в т. III «Писем Пушкина» под ред. Л. Б. Модзалевского, «Academia», 1935.

[34] См.: Описание бумаги пушкинских автографов Б. В. Томашевского и Л. Б. Модзалевского не издано; единственный экземпляр хранится в отделе рукописей ПД.

[35] См.: «Рукою Пушкина», стр. 336. В комментарии указано: «Датируется 1832 г. Чей-то московский адрес: «Сдвиженка» (в просторечии) — «Воздвиженка». Обоснования датировки неясны. Комментатор исходил в своей датировке, по-видимому, из того, что беловой текст этой записки Пушкина о газете (черновой текст которой написан между 19 июля и 10 августа 1830 г.) датируется около 27 мая 1832 года (XV, 205). При последующем обращении к подлиннику (ПД, № 1640) никаких данных в пользу датирования 1832 годом не обнаружено.

[36] Письмо С. М. Баратынской к А. Н. Карелиной от 13 ноября 1833 г. в кн.: Л. Б. Модзалевский, Пушкин. М., 1929, стр. 268.

[37] «Русский архив». 1890, № 4, стр. 506.

[38] Там же.

[39] Ответ Кривцова, конечно, мог попросту остаться нам неизвестным. Зная, как высоко ценил Кривцов Пушкина с первого мгновения их знакомства, нельзя категорически отрицать, что ответное душевное движение все-таки было. Следы его разглядел Гершензон, подметив, что пять лет спустя Кривцов в одном из писем с грустью применит к себе французскую поговорку о «протоcренных дорогах» из письма Пушкина. Гершензон же приводит поразительные примеры отзвуков пушкинского письма и в поздних письмах Н. И. Кривцова к ссыльному брату Сергею: «Печальное преимущество нравственной зрелости, приобретенное летами: пояснив многое, многое поглощает безвозвратно. Впрочем, жалеть не о чем; всему свое время. ...Мечты прелестны, но и действительность имеет свою цену со всею своею угрюмостью: разочаровав, успокаивает...» — это лишь одно из подобных мест кривцовских писем. «Странное дело: в них много сходного с тем письмом Пушкина...» — заключает Гершензон. (М. О. Гершензон, Декабрист Кривцов и его братья. М., 1914, стр. 265, 266).

[40] Ед. хр. 25 (перев. с франц.).

[41] Ед. хр. 42 — письмо М. М. Устинова из Петербурга от 29 января 1837 года; ед. хр. 24 — письмо Мандилени из Москвы от 10 февраля 1837 года, оба подлинника на французском языке.

[42] В. П. Гаевский, Пушкин и Кривцов. «Вестник Европы», 1887, декабрь, стр. 462.



А. А. Формозов

Пушкин и Ходаковский

В пушкинской незаконченной поэме «Езерский» (1832—1833 гг.) мы находим строки:

...новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я слушать толки о родне,
Об отдаленной старине.

В авторском примечании к этой строфе поясняется, что Ходаковский — «известный изыскатель древностей». Потом «изыскатель» было заменено на «любитель» (V, 100, 418).

В 1836 году восемь строф из вступления к поэме об Езерском Пушкин напечатал под заголовком «Родословная моего героя (отрывок из сатирической поэмы)». Приведенное нами четверостишие вошло туда с некоторыми вариантами:

...новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.

Примечание немного расширено: Ходаковский — «известный любитель древности, умерший несколько лет тому назад» (III, 426).

Второй раз упоминает Пушкин Ходаковского в статье, писавшейся в конце 1836 года и названной редакторами «Песнь о полку Игореве»: «...ни Карамзин, ни Ермолаев, ни А. Х. Востоков, ни Ходаковский никогда не усумнились в подлинности «Песни о полку Игореве» (XII, 147).

Из письма А. А. Шишкова к С. Т. Аксакову известно, что по дороге из Петербурга в Москву в августе 1830 года Пушкин и П. А. Вяземский навестили в Твери декабриста Ф. Н. Глинку. В Тверской губернии жила вдова Ходаковского. Петербургские гости «умоляли Глинку упросить вдову... одной строкой уполномочить их на отнятие у Полевого» бумаг ее мужа. В свое время она сама передала их Н. А. Полевому; минуло пять лет, а рукописи все еще не были напечатаны. Этот архив, повторяет А. А. Шишков за Пушкиным и Вяземским, «золотой рудник», «сокровище»: Полевой прячет его умышленно, надеясь присвоить чужие открытия. «Повидайся нарочно с Пушкиным и стороной заговори об этом, ты увидишь, что он тебе скажет», — советует Шишков Аксакову [1].

«Ходаковский», или полностью «Зориан Доленга-Ходаковский», — псевдоним польского археолога, историка, этнографа и фольклориста Адама Чарноцкого (1784—1825). В 1810—1820-х годах он выступил сначала в польских, а затем в русских журналах с рядом статей, где развернул обширную программу изучения древнейшего прошлого славянских народов. Ходаковский критиковал историков за то, что они при характеристике ранних славян пользуются только летописями эпохи христианства, искаженно изображающими дохристианские языческие времена, и указывал на другие источники — археологические, фольклорные, топонимические, этнографические. Он призывал историков покинуть свои кабинеты, выйти в поле, «низойти под кровлю селянина», послушать его песни, узнать его поверья и обычаи. Особое внимание должно быть обращено на вещественные памятники старины — городища и курганы. Такая система взглядов была совершенно новой для начала XIX века.

Ходаковский мечтал объехать все славянские земли и, готовясь к этому, усиленно собирал фольклорные и топонимические материалы и (прибегая к современному термину) материалы для археологической карты. В Западной Украине он записал более тысячи песен. Тщательный анализ губернских и уездных планов лег в основу огромного географического словаря, составленного Ходаковским, где каждое название было комментировано с топонимической стороны. Больше всего интересовали Ходаковского городища, и он не только специально разыскивал на картах наименования типа «городище», «городня», «городок» и т. д., но и пополнял свой список подобных урочищ путем устных расспросов. Все эти начинания, подчас требовавшие колоссального труда, были только подготовкой для специальной археолого-этнографической экспедиции.

Попытки получить средства на такую экспедицию в Польше не увенчались успехом. Научные общества, к которым обратился Ходаковский, осудили его идеи, сведя их к крамольному прославлению язычества и нападкам на христианство. Тогда в 1819 году он направился в Петербург. Здесь на первых порах «проект ученого путешествия по России для объяснения древней славянской истории» был воспринят более благоприятно: в 1820 году Ходаковскому удалось совершить поездку в Новгородскую округу. Близ Старой Ладоги и Новгорода он раскопал несколько курганов. Однако уже в следующем году правительство прекратило финансовую поддержку предприятий Ходаковского, и его полевая работа оборвалась. Еще несколько лет Ходаковский прожил в Москве, на грани нищеты, не оставляя надежды на возобновление экспедиции. Наконец нужда заставила его взяться за управление имением одного из тверских помещиков. В 1825 году Ходаковский умер в Тверской губернии. Такова судьба этого, безусловно, незаурядного человека [2].

Сейчас имя Ходаковского заняло достаточно почетное место в истории русской археологии и фольклористики. Не то было в 1830-х годах. Биография его до появления в России оставалась загадочной. Результаты археологического путешествия не были обнародованы. (Издал их в конце концов в 1838—1844 годах М. П. Погодин, получив, не без участия Пушкина, архив покойного ученого от Н. А. Полевого.) Статьи Ходаковского 1819 и 1820 годов через 10—15 лет уже изрядно забылись.



Зориан Ходаковский. Рисунок Ф. К. Прека, 1818 г.

В итоге о нем судили главным образом по анекдотам, относящимся к тому периоду, когда исследователь, лишенный возможности продолжать экспедицию по России, без всяких средств пытался как-то перебиться в Москве, не прекращая собирать сведения о древностях.

Одержимость, подчеркнутый демократизм и бедность Ходаковского обеспечили ему репутацию полусумасшедшего маньяка. Вот как он обрисован в мемуарах Ксенофонта Полевого: «Всегдашний костюм его составляли серая куртка и серые шаровары, а на голове что-то вроде суконного колпака. В таком костюме являлся он всюду и обращал на себя внимание солдатскою откровенностью, близкою к грубости. Всех дам без различия с простолюдинками называл он «матушка», всех мужчин — «батюшко»... Он обращался с расспросами ко всякому, нарочно ходил на Болотный рынок... и умел выспрашивать у русских мужичков о городках». Там «принимали его то за вора, то за шпиона и таскали на съезжую». Не пренебрегал Ходаковский и посетителями дома Полевых. «Происходили в глазах наших истинно комические сцены... Входит в комнату человек вовсе ему незнакомый, и еще не успел этот человек сказать, зачем пришел, как Зориан начинает допрашивать его. Кое-как отделавшись от допросчика, тот спрашивает: «Что это — помешанный, что ли?» Другие принимали его за пьяного» [3].

Ксенофонт Полевой снисходительно закрепил за нищим чудаком право на «самую грубую и, что хуже, смешную обработку ученого предмета». Попадались, однако, и горячие поклонники польского энтузиаста, приписывавшие ему, подобно М. П. Погодину, создание целой «исторической системы» [4].

Какова же позиция Пушкина?

От него не ускользнул оттенок комизма в поведении Ходаковского, и это отразилось в «Сатирической поэме». Но в статье научного характера собеседник «московских бабушек» чуть ли не приравнен Пушкиным к Карамзину и Востокову. «Слово о полку Игореве» упомянуто в трех журнальных публикациях Ходаковского, но всюду, между прочим, в какой-нибудь одной фразе [5]. Очевидно, Пушкин читал какое-то из этих исследований.

Прибавим сюда и мнение об архиве Ходаковского, сообщенное Глинке. Таким образом, Пушкин оценил заслуги «известного любителя древности» очень высоко. Пожалуй, он даже преувеличивал их, заподозрив, что из архива слависта Николай Полевой черпает материалы и для «Истории русского народа», и для лингвистических заметок в «Московском телеграфе».

Пушкин лично знал многих археологов начала XIX века. В Петербурге он часто бывал в доме А. Н. Оленина, много сделавшего для изучения античных и древнерусских памятников [6], в Одессе познакомился с И. П. Бларамбергом [7], а, вероятно, и с И. А. Стемпковским (недаром тот однажды послал Пушкину привет через М. П. Погодина) [8]. Это два основоположника античной археологии Северного Причерноморья. В 1830-х годах дружеские отношения с русским поэтом стремились завязать египтолог И. А. Гульянов [9] и нумизмат А. Д. Чертков (XVI, 114, 116). Но в произведениях и письмах Пушкина о Бларамберге и Стемпковском нет ни слова, а об Оленине, Гульянове и Черткове сказано мимоходом, вне всякой связи с темами из древней и русской истории. На этом фоне особенное значение приобретает и шуточное сравнение самого себя с Ходаковским и ссылка на его авторитет при опровержении взгляда скептиков на «Слово о полку Игореве».

Встречался ли Пушкин с Ходаковским? М. А. Цявловский это решительно отрицает [10]. Ф. Я. Прийма не идет дальше робкого предположения, что поэт слышал об археологе уже в 1819—1820 годах [11]. Первое утверждение излишне категорично, второе — неоправданно осторожно.

Ходаковский приехал в Петербург 9 октября 1819 года [12]. Пушкина выслали оттуда на юг семь месяцев спустя — 6 мая 1820 года [13]. В Петербурге Ходаковский бывал у Карамзина, отметившего один из его визитов в письме к А. Н. Голицыну от 23 февраля 1820 года [14]. В те дни заходил к Карамзиным и Пушкин. По-настоящему сблизился Ходаковский с Ф. Н. Глинкой [15], с которым Пушкин тогда же советовался, как вести себя на допросе у Милорадовича [16]. В протоколах заседаний Вольного общества любителей российской словесности от 5 января и 23 февраля 1820 года имя Ходаковского стоит среди имен друзей Пушкина — А. А. Дельвига, В. К. Кюхельбекера, П. А. Плетнева [17].

Ни в коей мере не исключено, что автор «Родословной моего героя» видел Ходаковского в конце 1819 — начале 1820 года.

И уж во всяком случае в 1820 году он видел его труды. Дело в том, что «Проект ученого путешествия по России для объяснения древней славянской истории» печатался в тех же номерах «Сына отечества»

за 1820 год, где развертывалась полемика вокруг «Руслана и Людмилы». Введение к этому трактату опубликовано в № 33; здесь же объявлено о выпуске пушкинской поэмы. В 34—35-й книжках журнала непосредственно рядом с «Проектом» помещен разбор «Руслана и Людмилы» В... (А. Ф. Воейкова). В этих номерах как раз и упомянуто «Слово о полку Игореве». По соседству с заключительной частью «Проекта» в № 38 «Сына отечества» находится ответ Воейкову NN (В. П. Зыкова), эпилог и поправки к тексту поэмы, две эпиграммы на ее хулителей и послание к Пушкину Ф. Н. Глинки.

Пушкин держал в руках «некоторые номера Сына» (XIII, 21). В письме к Н. И. Гнедичу из Каменки от 4 декабря 1820 года он откликнулся и на извещение о выходе поэмы, и на похвалы и упреки Воейкова, и на эпиграмму И. А. Крылова из № 38 (см. XIII, 21). Оторванный от столицы молодой писатель жадно следил за ее литературной жизнью по периодике, и, хотя история еще не так волновала его, как в зрелые годы, смелый замысел археологической экспедиции по России вряд ли был оставлен им без внимания. Первые восемь томов карамзинской «Истории государства Российского» Пушкин с увлечением прочел совсем недавно (XII, 305). Более чем вероятно, что он составил определенное представление о Ходаковском уже за десять лет до хлопот об его архиве. В 1830—1836 годах, когда Пушкин сам погрузился в изучение прошлого, интерес к Ходаковскому закономерно усилился.

Почему же Пушкин явно предпочитал этого нелепого неудачника солидным и общепризнанным специалистам — Оленину, Бларамбергу, Черткову? Известно пристрастие поэта к «своеобычным», выделяющимся из безликой толпы людям вроде В. А. Дурова — брата «кавалерист-девицы». Яркой и колоритной фигурой был и Ходаковский. Но, безусловно, не только это нравилось в нем Пушкину.

Шишков пишет Аксакову о Ходаковском как о знатоке «древностей, таящихся в наречьях, поверьях и местностях словенских народов»[18]. Такая характеристика, несомненно, восходящая к Пушкину, помогает нам разобраться в том, что именно импонировало ему в деятельности Ходаковского. Это разыскания в области этнографии и фольклора, от которых сторонились другие археологи начала XIX века. Соприкосновение с миром народных сказок, песен, легенд в долгие месяцы Михайловской ссылки сыграло большую роль в творчестве Пушкина. Отсюда и любопытство к бумагам собирателя и толкователя наших «наречий и поверий». О богатстве фольклорных материалов в архиве Ходаковского Пушкин мог слышать и от М. А. Максимовича, использовавшего их позднее в своих сборниках украинских песен[19].

Не будем гадать, постиг ли Пушкин теорию «славянского городства». В черновиках «Бориса Годунова» упомянуто городище Воронич — средневековое укрепление около Тригорского и Михайловского (см. VII, 290; XIII, 188). Нет ли тут глухого отголоска рассуждения Ходаковского о городищах, напечатанного рядом с рецензией о «Руслане и Людмиле» в «Сыне отечества»? Увы, доказать это предположение нельзя. Пока что бесспорно одно — Пушкин хотел спасти от забвения результаты занятий Ходаковского «живой стариной».

Главный вклад Ходаковского в науку заключался, однако, не в фольклорных записях. В 1819 году Ходаковский спорил с Карамзиным по ряду серьезнейших вопросов на страницах «Вестника Европы»[20]. В 1820 году С. В. Руссов даже выпустил брошюру «Обозрение критики Ходаковского на «Историю государства Российского» Карамзина». В те же годы полемизировали с историографом и декабристы Никита Муравьев и М. Ф. Орлов. Защитник самодержавия, Карамзин сознательно ограничивал свой кругозор летописью и старался не углубляться в долетописный период, в эпоху первобытнообщинного строя. Декабристы считали эту эпоху республиканской в отличие от «монархии» Рюрика и укоряли Карамзина в намеренном замалчивании древнейшего прошлого славян. Политический подтекст этих обвинений едва завуалирован. Декабристы считали, что исконная форма правления на Руси — республика, а не монархия[21]. Проблема раннего славянства была центральной и для Ходаковского.

Декабристская критика «Истории государства Российского» не убедила Пушкина. По его словам, Орлов «пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, то есть требовал от историка не истории, а чего-то другого» (XI, 53). Возражение справедливое. Декабристы не объяснили, на каких источниках должна строиться история долетописного периода. Эти источники — археологические памятники, фольклор, топо-

нимические и этнографические данные — как раз и указал Ходаковский.

Возможно, что и это обстоятельство побудило Пушкина добиваться передачи Погодину архива, лежавшего без употребления у Полевого. «Сокровищем», «золотым рудником» Пушкин считал, как нам кажется, не только тетради с украинскими и русскими песнями, но и «историческую систему Ходаковского».

Другие археологи 1820—1830-х годов никаких систем не выдвигали. Названия книг и статей лишь отпугивали непосвященных: «Опыт о костюме и оружии гладиаторов», «О кнемидах у древних греков», «Заметки на примечание в сочинении под заглавием «Изображения на древних вазах» (Оленин), «Описание древних медалей Ольвии», «О положении трех скифских крепостей по Страбону» (Бларамберг), «Известия о древностях, найденных в Одессе в 1826 году», «Медали Митридата III», «Надпись царя Спартока» (Стемпковский), «Замечания о Дендерском зодиаке» (Гульянов), «Описание древнерусских монет» (Чертков). Цельная концепция истории славян до христианства, дополняющая Карамзина да еще основанная во многом на фольклоре, не могла не казаться Пушкину чем-то гораздо более важным. Скорее всего поэтому он прочел мимо трудов Оленина, Бларамберга, Черткова, но трижды вспоминал о Ходаковском, как вспоминал и об историках Карамзине, Татищеве, Шлецере, Болтине, Миллере.

Хотя русские фольклористы, археологи, литературоведы не раз писали о Ходаковском, мы не найдем его портрета ни в одном из русских изданий. Только благодаря указаниям польского историка Анджея Поппе и содействию сотрудника Академии наук УССР А. А. Ратича я получил фотокопию с портрета Ходаковского, которая здесь и публикуется. Этот рисунок пером хранится в отделе изобразительных материалов библиотеки Академии наук УССР во Львове. Туда он поступил из так называемого Оссолинеума — собрания книг, рукописей и монет, основанного И. М. Оссолинским. На листе серой бумаги размером 14,6 × 8,1 см черной тушью в центре листа в манере, характерной для начала XIX века, набросан профиль Ходаковского. В нижней части листа позднейшая надпись:

Zoryan Dotçga Chodakowski
rysowany z natury przez Xaweriego
Preka w Sieniawie w r-u 1818
dla Adama Klodzinskiego a przez
tego ofiarowany do zbioru
Gwalberta Pawlikowskiego —
Podobienstwo nie moze byc wieksze,

т. е. «Зориан Доленга-Ходаковский, нарисованный Ксаверием Преком в Синяве в 1818 г. для Адама Клодзинского, а тем подаренный в собрание Гвалберта Павликовского. Сходство не может быть больше».

Синява — имение князей Чарторыйских в воеводстве Жежовском на реке Сан, традиционное место встреч польской интеллигенции в 1812—1822 годах [22]. С 1 января и до конца июля 1818 года по приглашению Адама Чарторыйского — в ту пору попечителя виленского учебного округа, гостил в Синяве и Ходаковский [23]. Тогда же тут жили публицист и писатель Адам Клодзинский (1795—1858) и художник Франтишек Ксаверий Прек (1801—1863) [24]. Преку было всего 17 лет, и он учился в Синяве рисунку у придворного пейзажиста И. Рихтера. Тем не менее автор надписи подчеркивает, что портрет удался юному художнику. В 1818 году Ходаковский только начинал свое научное поприще, но исходные установки его «исторической системы» были уже сформулированы. Казалось, что ученого ждут большие открытия. Надо думать, что это и вызвало желание Клодзинского получить портрет создателя новой науки — «о славянстве до христианства». К Яну Гвалберту Павликовскому (1792—1852) рисунок перешел, вероятно, уже в 1820-х годах. Имена Клодзинского и Павликовского связаны с собиранием и публикацией материалов Оссолинеума. Неудивительно поэтому, что портрет в конце концов попал в эту коллекцию.

В польских изданиях портрет воспроизведен дважды, но оба раза без подписи под ним [25].



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо А. А. Шишкова к С. Т. Аксакову. Публикация М. А. Цявловского: «Летописи Государственного литературного музея», кн. I. М., 1936, стр. 482.

[2] Литературу о Ходаковском см. в статье: Л. И. Ровнякова, Русско-польский этнограф и фольклорист З. Доленга-Ходаковский и его архив. Сб. «Из истории русско-славянских литературных связей XIX века». М. — Л., 1963, стр. 90—94 и в книге: Julian Maslanka, Zorian Dolega Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskiej i wplyw na polskie pismiennictwo romantyczne. Wroclaw — Warszawa — Kraków, 1965, str. 143—149.

[3] Сб. «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов». Л., 1934, стр. 138—140.

[4] Одну из статей, опубликованных в «Русском историческом сборнике» (т. 1, кн. 3, 1838), М. П. Погодин назвал «Историческая система Ходаковского».

[5] Розыскания касательно русской истории. «Вестник Европы», 1819, № 20, часть CVII, стр. 298. Проект ученого путешествия по России для объяснения древней славянской истории: «Сын отечества», 1820, № XXXIV, стр. 5—6; № XXXVIII, стр. 197, 202. Опыт изъяснения слова князь, ksiadz. «Северный архив», 1824, № 11, стр. 246.

[6] Ф. Я. Прийма, Пушкин и кружок А. Н. Оленина. «Пушкин, исследования и материалы», II. М. — Л., 1958, стр. 229—246.

[7] См. письмо М. П. Розберга к Пушкину (XIV, 132).

[8] М. А. Цявловский, Пушкин по документам архива М. П. Погодина. «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 692.

[9] А. А. Формозов. Пушкин, Чаадаев и Гульянов. «Вопросы истории», 1966, № 8, стр. 212—214.

[10] Комментарий к письму А. А. Шишкова, стр. 481.

[11] Ф. Я. Прийма, Зориан Доленга-Ходаковский и его наблюдения над «Словом о полку Игореве». «Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР», т. VIII, 1951, стр. 74.

[12] В. А. Францев, Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX столетия. Прага, 1906, стр. 352.

[13] Летопись, стр. 217.

[14] В. А. Францев. Указ. соч., стр. CXVIII.

[15] Там же, стр. CXVII; Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб. 1892, т. 5, стр. 64.

[16] Ф. Н. Глинка, Удаление А. С. Пушкина из С.-Петербурга в 1820 г. «Русский архив», 1866, № 6, стр. 918.

[17] В. Г. Базанов, Ученая республика. М. — Л., 1964, стр. 369, 373.

[18] «Летописи Государственного литературного музея», кн. I, стр. 482.

[19] Ср.: Ф. Я. Прийма, Зориан Доленга-Ходаковский..., стр. 90.

[20] «Розыскания касательно русской истории». «Вестник Европы», 1819. № 20, стр. 277—302.

[21] М. В. Нечкина, Декабрист Михаил Орлов — критик «Истории» Карамзина. «Литературное наследство», т. 59, 1954, стр. 574, 575; Записка Никиты Муравьева «Мысли об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина», стр. 560, 561, 567.

[22] K. Chledowski, Dwór Czartoryskich w Sieniawie. «Z przeszlosci naszej i obcej». Lwów, 1935.

[23] Z. Chodakowski. O slowianszczyzne przed chrzescijanswem oraz inne pisma. Warszawa, 1967, str. 190—220.

[24] См. о нем: «Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler», Band 27, Lpz., 1933, стр. 375; F. K. Prek. Czasy i ludzie. Wroclaw. 1959. (H. Barycz. Wstep).

[25] A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie przyjaciol nauk, ks. III (5). Kraków — Warszawa, 1904, str. 15; S. Nosek, Pionierzy archeologji polskiej. «Z otchlani wieków». Poznan, 1935, z. 3—4, str. 57. Уже после сдачи в производство этой заметки портрет Ходаковского был издан в указанном выше сборнике трудов Ходаковского и в статье Л. В. Алексеева «Очерк истории белорусской дореволюционной археологии и исторического краеведения до 60 годов XIX века». «Советская археология», 1967, № 4, но снова без подписи.



Сусанна Энгель

Рассказ о Троекурове

В Тульской губернии, в местах исторических, близ Куликова поля, жил в своем поместье генерал Измайлов, крутой, «до бешенства вспыльчивый». Его нрав, богатство и разгульная жизнь привлекали внимание современников [1]. Это о нем написал Грибоедов в «Горе от ума»:

Не тот ли вы, к кому меня еще с пелен,
Для замыслов каких-то непонятных,
Дитёй возили на поклон?
Тот Нестор негодяев знатных,
Толпою окруженный слуг;
Усердствуя, они в часы вина и драки
И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг
На них он выменял борзые три собаки!!! [2]

Колоритная фигура Измайлова, конечно, хорошо была известна и Пушкину. Цель данного очерка — доказать, что генерал Измайлов послужил для Пушкина прототипом Кирилы Петровича Троекурова в «Дубровском».

Богатый рязанский и тульский помещик Лев Дмитриевич Измайлов (1764—1834) принадлежал к старинному дворянскому роду, вышедшему, по преданию, из Аравии. Мать его, Елизавета Ивановна, была дочерью генерал-аншефа графа Ивана Симоновича Гендрикова. Генерал-аншефа! Этот чин, между прочим, Пушкин присвоил Троекурову. Родная сестра Измайлова, княгиня Екатерина Дмитриевна Куракина, крестница императрицы Елизаветы Петровны, пользовалась большим влиянием при дворе. Пушкин, видимо, и это знал. Не потому ли в рукописи «Дубровского» было первоначально: «Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору» (VIII, 162).

По старинному дворянскому обычаю, семи лет записан был Измайлов в гвардейский полк — Семеновский. Юношей стал служить, участвовал в войнах, за храбрость награжден был орденами. Видимо, по причине буйного нрава его переводили часто из одного полка в другой.

В 1802 году Измайлов, находясь уже в отставке, не без помощи подкупа был избран рязанским губернским предводителем дворянства. Тут-то и дал он волю разнузданному своему нраву. Двенадцать лет пробыл он в этой должности.

Чиновники перед ним трепетали — он и одарит по-царски, и в порошок сотрет. Подарил исправнику тройку лошадей с экипажем и тут же заставил этого исправника лошадей отпрячь и под присвист арапника на себе отвезти экипаж в каретный сарай.

Ничего не стоило этому барину не угодившего ему чиновника высечь, посадить на хлеб и на воду в подвал.

Из-за гнева или просто ради потехи привязал блажной генерал одного мелкого дворянина к крылу ветряной мельницы, другого по его приказанию обмазали дегтем, вываляли в пуху и с барабанным боем водили по окрестным деревням. В поместье своем Измайлов постоянно держал диких зверей — волков, медведей. Ими он пугал гостей.

Люди гордые, умевшие за себя постоять, попадались редко, и генерал испытывал к ним невольное уважение. Однажды высеченный им чиновник, не простив оскорбления, позвал предводителя дворянства крестить своего первенца. А после свершения обряда распорядился... высечь крестного отца. Тот так был потрясен смелостью чиновника, что, вернувшись домой, отписал крестнику целую деревню.

Измайлов постоянно играл полюбившуюся ему роль старинного русского барина. Обожал он псовую охоту, кулачные бои, попойки с пением и плясками до утра, где провинившихся обносили чашей «лебедь» наподобие петровского «кубка большого орла». И в карты играл с размахом. Садился после попойки в вольтеровское кресло вздремнуть, затем выпивал холодного квасу, подымал с полу первую попавшуюся карту и на каждое очко ставил тысячу. В один вечер как-то проиграл 250 тысяч, а на следующий — полностью вернул проигрыш.

Для многих не лишена была обаяния фигура этого исто русского барина. Писатель И. И. Лажечников не без любования отметил в своих воспоминаниях «оригинальность» Измайлова, «осуществившего в себе тип феодального владельца средних веков».

Были у генерала Измайлова враги, среди них — рязанский помещик А. Д. Балашов, игравший видную роль в создании ополчения 1812 года. Измайлов послал в Москву к Балашову (тогда министру полиции) группу рязанских дворян. Балашов их выгнал: «Как смели без вызова явиться?» Отставной генерал отомстил через много лет, о чем мы в своем месте скажем. Рязанское ополчение Измайлов и без помощи Балашова сформировал — миллион затратил, стал во главе, храбро гнал Наполеона из России и участвовал в заграничном походе 1813 года, поражая немцев безумной роскошью и дикими забавами.

После войны дома показалось скучно.

Не зная, куда девать энергию, он вымещал злобу на спинах крепостных, будоражил воображение москвичей, когда с бесчисленной челядью и с гаремом из тридцати красивейших девушек въезжал в столицу. В Москве у Измайлова был свой дом, и приезды его всегда давали пищу молве. К ней примешивалось, конечно, удивление безнаказанностью этого барина. Он вышел сухим из воды даже после распоряжения Александра I от 23 мая 1802 года, данного тульскому гражданскому губернатору Иванову, «разведать справедливость слухов о распутной и всем порокам отверстой жизни... Л. Д. Измайлова».

В июне 1826 года «дворовые женки» подали наконец на Измайлова жалобу. И она попала в сенат [3].

Время стерло начисто текст этой жалобы, но содержание ее нетрудно представить: в ней говорилось о жизни гаремных узниц, за малейшую провинность ссылавшихся на поташный и кирпичный заводы, куда также отправляли потерявших красоту и здоровье.

Вскоре дворовые снова подали жалобу государю.

«Мы не осмеливаемся, — писали они, — донести здесь вашему величеству подробно о всех жестокостях господина нашего, от коих всегда и теперь не менее сорока человек находятся, после перетерпенного ими телесного наказания в тяжких земляных работах, и большая часть из них заклепаны в железные рогатки, препятствующие несчастным иметь покой и в самый полуночный час... Он... жениться дворовым людям не дозволяет, допуская девок до беспутства, и сам содержит в запертых замками комнатах девок до тридцати, нарушив девство

их силою; а сверх того забирает иногда крестьянских девок для растления. Четырех человек дворовых, служивших ему по тридцати лет, променял помещику Шебякину на четырех борзых собак...

Ныне господин наш, близ восьми уже лет, одержим в руках и ногах подагрою и сам по себе сойти с постели не может; днем и ночью носим мы его на руках своих, и во время таковых припадков ни на час покою нам нет — и ежели от переноса его с места на место или от поворачивания на простынях почувствует малейшее беспокойство... приказывает при себе плетьми сечь нещадно...» [4]

Генерал показывал исправнику дворовых в рогатках, на что оба они смеялись...

Над чем же они смеялись? Что представляет собой рогатка — ныне уже забытое слово?

Объясняем по словарю В. И. Даля:

«**Рогатка на свинью,** деревянный ошейник, с припущенными накрест концами, чтоб она не пролезала сквозь заборы.

Рогатка на преступника, железный ошейник, с долгими шпеньками наружу» [5].

Заковывая крепостных в рогатки, Измайлов нарушил царское предписание от 23 марта 1826 года, запрещавшее помещикам применять «железные вещи» для наказания крепостных («ножные железы», так называемые стулья, рогатки, цепи, коими приковывали провинившихся к стене).

Ослушание разгневало царя, и он после проверки справедливости жалобы дворовых повелел предать Измайлова суду [6].

Генерал был спокоен. Пронесло грозу при Александре — пронесет и при Николае: подкупленный и напуганный всесильным помещиком административный аппарат Тульской и Рязанской губерний действовал безотказно в пользу помещика.

Отставной коллежский регистратор Федоров, поверенный Измайлова, состоявший в штате его служащих в Хитровщине, сея страх и рознь между дворовыми, обвинил их в «скопе и заговоре против помещика». Измайлов попросил исправника немедленно произвести расследование и с виновными поступить по закону. Епифанский уездный предводитель дворянства при содействии земской полиции затребовал для усмирения бунтующих дворовых роту Ярославского пехотного полка.

Усердие проявили также и губернские власти: по просьбе Измайлова они прислали для расследования жалобы дворовых опытнейшего дельца — советника губернского правления Трофимова. Новый следователь дело повел чрезвычайно ловко. Поначалу он спрашивал у дворовых только об их «неудовольствиях». Этим добился полного их доверия и быстро выведал, что под прошением государю подписалось более ста человек, узнал, кем оно написано, кто зачинщики. А затем раскрыл карты: обвинив дворовых в возмущении против помещика, передал дело в губернский суд.

Ловкий чиновник и о рогатках нашелся что сказать: он отметил, что они покрыты ржавчиной, стало быть, давно лежат без употребления. И еще к тому же уменьшил вес рогаток.

Трофимова нисколько не смутило неожиданное появление в Хитровщине инкогнито, специально посланного царем на расследование жалобы дворовых жандармского полковника Шамина, обнаружившего в поместье рогатки и цепи, отнюдь не лежавшие без употребления. Шамин установил правоту дворовых, уехал в Петербург, и... ничего не изменилось. Рота Ярославского пехотного полка, вызванная на экзекуцию, сделала свое дело. Дворовых заковали в кандалы и отправили в Тулу, в смирительный дом. До суда.

В августе 1827 года до государя дошли сведения, что следователь Трофимов вызван самим Измайловым, который дал ему «взаймы» 15 тысяч рублей. Высочайшим повелением тульскому гражданскому губернатору Трейблуту и губернскому предводителю дворянства Мансурову предписано было произвести расследование.

Объективные следователи поняли, что дворовые правы. И все равно не изменилось ничего. Помещик остался на свободе, он был оправдан, а дворовые, писавшие государю, сечены кнутом и заключены в острог.

Царь проявил настойчивость и приказал для беспристрастного решения передать дело Измайлова в Рязанский губернский суд. Вмешательство царя не помогло. Рязанский суд генерала оправдал, а гражданский губернатор Карцов в угоду всесильному помещику посадил в тюрьму еще дополнительно множество дворовых [7].

Безнаказанность Измайлова вопреки даже царской воле, конечно, с жаром обсуждалась в Москве, иначе быть не могло. И вне сомнения, Пушкин, если не участвовал сам в этих разговорах, то слушал их.

Нетрудно установить и то, в каких домах мог Пушкин слышать речи об Измайлове, о прошениях его дворовых государю.

Это видно из донесения жандармского полковника Бибикова своему шефу Бенкендорфу (Пушкин, как известно, был под тайным надзором III отделения).

«Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно, — сообщил в ноябре 1826 года Бибиков, — дома, которые он наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды В[олконской], князя Вяземского [поэта], бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева» [8].

О такой сенсации, как приезд генерала Измайлова, вероятно, не могли умолчать ни в одном из перечисленных домов.

Конечно, об этом говорили в блестящем салоне Зинаиды Волконской, родственницы декабриста. В ее доме действия крепостника Измайлова, безусловно, вызывали глубокое возмущение.

У Зинаиды Александровны останавливалась в 1826 году проездом к мужу в Сибирь Мария Николаевна Волконская. В трогательных проводах ее участвовал Пушкин.

Какое может быть сомнение, что речь об Измайлове шла и в доме губернского прокурора С. П. Жихарева, описавшего в «Дневнике студента» потехи скандально знаменитого своего земляка [9].

Степан Петрович Жихарев (1788—1860) был старым знакомым поэта еще по литературному обществу «Арзамас», когда 17-летний Пушкин носил шутливое прозвище «Сверчок», а Жихарев — «Громобой».

Хорошо были известны проделки Измайлова и Ивану Ивановичу Дмитриеву (1760—1837), в начале века ревизовавшему Рязанскую губернию. Пушкин прислушивался к воспоминаниям Ивана Ивановича. Одно из них он использовал в «Истории Пугачева» (IX, 147—148). Суждения Дмитриева об Измайлове тоже могли быть поэту небезынтересны.

Общение с Жихаревым и Дмитриевым дало, видимо, Пушкину много живых красок для создания портрета Троекурова.

Сравним записи в «Дневнике студента» Жихарева с некоторыми строками из «Дубровского».

В «Дневнике студента» сказано, что Измайлову ничего не стоит «напоить мертвецки пьяными человек пятнадцать небогатых дворян-соседей, посадить их еле живых в большую лодку на колесах, привязав к обоим концам лодки по живому медведю, и в таком виде спустить лодку с горы в реку» [10]. «Лодкою» назывался экипаж песенниц и плясуний: крестьянских и дворовых девушек привозили на генеральские игрища обычно в «лодках».

В «Дубровском» говорится:

«Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю божию» (VIII, 188).

Конечно, в гостиных говорили о безнаказанности Измайлова. И. И. Дмитриев не преминул уж, видно, при этом припомнить случай, касавшийся его двоюродной сестры Е. П. Балашовой (урожденной Бекетовой). В 1818 году нагнал Измайлов на земли Балашова, заодно и других помещиков, сотни крепостных. За одну ночь вырубили они лучший строевой лес и сплавили его по реке в измайловские владения.

Я нашла в архиве дело об этом. Оно тянулось в сенате с 1820 до 1828 года. Балашов в эти годы был не кем-нибудь, а членом Государственного Совета и военным генерал-губернатором пяти губерний — Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской и Воронежской. И даже этот сановник против Измайлова оказался бессильным! [11]

Молодецкий набег генерала вызван был не стяжательством (этим он не отличался). Очевидно, это была запоздалая месть за то, что в 1812 году Балашов выгнал посланных Измайловым к нему по делам ополчения рязанских дворян. Отомстить Балашову ранее Лев Дмитриевич не только не решался, но и не мог: до 1818 года Балашов был с дипломатическим поручением за границей. Как он вернулся, так Измайлов и отомстил.

Есть в «Дубровском» эпизод, весьма схожий с этим: покровские мужики стали воровать у Андрея Гавриловича лес после ссоры с ним Кирилы Петровича Троекурова (VIII, 165).

В жизни Измайлова, страстного любителя псовой охоты, огромную роль играли его образцовые псарни. Более тысячи собак разных пород. Все в хороших домах, у каждой особое гнездо, набивавшееся повседневно свежей соломой. Он так любил собак, что ценил их выше людей (променял же четырех крепостных на борзых собак). К собакам были приставлены сотни крепостных и наемных псарей [12].

О псарне Троекурова Андрей Гаврилович Дубровский сказал: «...Вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». И дерзкий псарь Парамошка ответил: «...Иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю канурку. Ему было б и сытнее, и теплее» (VIII, 163).

Дерзость псаря стала причиной ссоры Дубровского с Троекуровым.

Удивительно схожи черты характера Измайлова и Троекурова. Те немногие лица, у кого хватило духу не поддаваться Измайлову и даже его припугнуть, делались его задушевными друзьями.

Сподвижник Суворова, бедный дворянин Голишев, никогда не пользовавшийся подачками Измайлова, на одной из пирушек в чем-то провинился. За это поднесли ему чашу «лебедь». Он отказался. Попытались влить ему в горло забористый напиток. Он вырвался и принялся душить Измайлова. Лев Дмитриевич попросил прощения, долго добивался дружбы этого Голишева, а добившись, очень ею дорожил [13].

Пушкин подчеркивает уважение Троекурова к людям, умеющим за себя постоять. Дефоржа (молодого Дубровского) Троекуров и за человека не считал, а когда он застрелил медведя, сказал:

«Каков молодец! Не струсил, ей-богу, не струсил. С той минуты он Дефоржа полюбил, и не думал уже его пробовать» (VIII, 189).

Много общего в ситуациях «Дубровского» и в жизни Измайлова.

У Измайлова (как и у Троекурова) была непокорная дочь Анна Львовна. И она вела переписку с любимым. «...Письма ее шли с ведома и с помощью какой-то нянюшки через четырнадцатилетнего мальчика» [14].

Посланцем Дубровского к Марии Кирилловне был тринадцатилетний мальчик (VIII, 215—216).

У Измайлова были прижитые с крепостными мальчишки и девчонки. Все эти побочные дети считались дворовыми. Исключение было только для сына Дмитрия, которому в 1827 году было 11 лет. Он содержался отдельно и воспитывался вместе с младшей дочерью Измайлова.

Этот сын Дмитрий был от няньки дочерей Измайлова Акулины Барановой. Она была женщина добрая, очень преданная. Дмитрий по духовному завещанию Измайлова получил пятьсот тысяч ассигнациями и дом в Москве [15].

О Троекурове мы читаем:

«...черноглазый мальчик, шалун лет 9-ти, напоминающий полуденные черты M-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, не смотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми» (VIII, 187).

И еще доказательство. Весьма существенное: даты приездов Измайлова в Москву и даты пребывания в Москве Пушкина совпадают.

В конце августа 1826 года Измайлов приехал в Москву на коронацию Николая I [16].

8 сентября, когда Измайлов еще находился в Москве либо только-только ее покинул, фельдъегерь доставил ссыльного Пушкина из Михайловского прямо в кабинет государя.

В декабре Измайлов на зимний сезон поселился в Москве.

20 декабря Пушкин, уехавший в октябре в Михайловское, вернулся в Москву.

Есть в «Дубровском» строки, наводящие на мысль, что Пушкин не только прислушивался к разговорам об Измайлове, но читал и самые материалы его судебного дела. Например, составленное губернским советником Трофимовым бесстыдно-фарисейское описание гарема:

Во флигеле живут «дворовые девушки, состоящие в услужении при дочерях и при воспитанницах Измайлова... все они в приличном одеянии и занимаются рукодельями, приличными их полу» [17].

В «Дубровском» о гареме Троекурова сказано:

«В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу» (VIII, 161).

Трофимов хочет скрыть существование гарема. Пушкин нарочито спокойным описанием как бы подчеркивает, что в доме Троекурова, как и в других подобных домах, господин, как ему угодно, может распоряжаться своими рабами.

Правда искусства, несравненная прелесть пушкинской прозы сгладили черты Измайлова. И это еще выразительней говорит о том, что много было на Руси таких «троекуровых-измайловых».

Как же мог поэт ознакомиться с документами судебного дела Измайлова и его дворовых? Содействие ему могли оказать и губернский прокурор С. П. Жихарев, и чиновник Опекунского совета Воспитательного дома Д. В. Короткий [18].

Однако вернее всего сенатор Михаил Александрович Салтыков, хороший знакомый поэта, помог ему в этом деле.

В 1828—1830 годах сенатор М. А. Салтыков (1767—1851) совместно с сенатором Н. И. Огаревым (1780—1852) ревизовали Рязанскую губернию. М. А. Салтыков, тесть лицейского друга Пушкина А. А. Дельвига, был, как и Жихарев, стар-

шим сотоварищем поэта по литературному обществу «Арзамас». Пушкин глубоко уважал Михаила Александровича за ум и образованность. Знал он также и Николая Ивановича Огарева, славившегося умом и честностью, высоко ценимого Н. М. Карамзиным. Жене Огарева, красавице и умнице Елизавете Сергеевне, Пушкин, Дмитриев и Вяземский посвящали стихи.

В 1828 году, в феврале, по высочайшему повелению над имениями Измайлова за злоупотребление крепостным правом была назначена опека.

В том же 1828 году было принято высочайшее решение по начатому в 1820 году делу «О самовольной порубке леса генерал-лейтенантом Измайловым»; как я упоминала выше, о деле этом, ярко рисующем безнаказанность Измайлова, мог поэту рассказать еще в 1826 году И. И. Дмитриев. Государь повелел за обман его величества (Измайлов утверждал, что вырубленный лес принадлежал ему) взыскать с Измайлова штраф и обязать оплатить в тройном размере за десять лет судебные издержки [19].

При таких обстоятельствах приступили к ревизии Рязанской губернии сенаторы Салтыков и Огарев. Материалы этой ревизии — «Дело о неправильных действиях Рязанского гражданского губернатора Карцова» в трех томах — я обнаружила в архиве сената [20].

Прежде всего сенаторы выпустили из тюрем и вернули с этапа направлявшихся в Сибирь закованных в кандалы дворовых, обвинявшихся в бунте против помещика.

Почтенные ревизоры привлекли к суду за лихоимство гражданского губернатора Карцова и чиновников, вымогавших у казенных поселян деньги. Однако у Карцова нашлись, видно, покровители. И он не только избежал возмездия, но высочайше предписано было заплатить Карцову жалованье за те два года, что он находился под судом, и объявить ему монаршее благоволение за снабжение рекрутов полушубками (ревизия установила, что полушубки были гнилыми).

Дело Измайлова и его дворовых было окончательно решено и опубликовано Вторым отделом 6 департамента сената 7 января 1831 года.

Сенат предписал:

«...Сделать строгий выговор тульском, гражданскому губернатору Хрулеву, не воспретившему земскому суду требовать в Хитровщину роту воинской команды и не приказавшему возвратить ее к своему месту...

Рязанскому гражданскому губернатору Карцову, который не только не согласился с неправильным решением уголовной палаты, но сверх присужденных ею подверг тому же наказанию и других людей, сделать строгий выговор» [21].

Когда было опубликовано постановление сената по делу Измайлова, Пушкин жил в Москве. В течение 1831 года он дважды встречался с Салтыковым — это известно по письмам поэта (XIV, 147 и 152).

Как же не быть у них при встречах разговорам об Измайлове! Может быть, Михаил Александрович показывал поэту и документы, и, быть может, они введены Пушкиным в сюжет «Дубровского».

Мнение о том, что прототипом Троекурова явился Л. Д. Измайлов, без всяких доказательств, в одной-двух фразах высказывалось в печати несколько раз в конце прошлого и в начале нашего века [22].

В «Русском биографическом словаре» в заметке об Измайлове говорится, что он послужил оригиналом для одного из героев повести Мельникова (Печерского) «Старые годы» [23]. Литературовед А. Яцимирский предположил в своей статье о «Дубровском», что образ Троекурова оказал некоторое влияние на тип старого князя Болконского в «Войне и мире», а также князя Хвалынского в «Пугачевцах» [24].

Затем появилась гипотеза о том, что в образе Троекурова Пушкин обобщил три фигуры, трех псковских помещиков: Д. Н. Философова — обладателя гарема, Строганова — владельца богатейшей псарни, А. А. Львова — чудака и оригинала [25].

И все же вряд ли можно согласиться с этим мнением: гаремы и псарни вовсе не были такой уж редкостью, чудачества тоже свойственны были многим. Следовало подметить главное — черты характера, сходство ситуаций, может быть, и биографий. Такого мнения, думаю, придерживался и покойный пушкинист Борис Львович Модзалевский. Когда статья эта была уже почти закончена, после работы в Ленинградском архиве, я обнаружила в отделе рукописей Института русской литературы в картотеке Б. Л. Модзалевского карточку. На ней написано: «Л. Д. Измайлов, рязанский помещик, выведен Пушкиным в «Дубровском» под именем Троекурова».

Вывод этот Борис Львович подкрепил ссылками на ряд (уже известных мне) ста-

тей об Измайлове, дающих материал к его характеристике.

Дважды под одним и тем же именем Кирила Петровича Троекурова встречаем мы у Пушкина образ старинного русского барина: в «Арапе Петра Великого» и в «Дубровском». Угасший еще в XVIII веке род князей Троекуровых занимал воображение Пушкина. От важного сановника петровского времени князя Ивана Борисовича Троекурова тянулись связи к предку поэта — стольнику Никите Борисовичу Пушкину. Когда Никита Пушкин был глубоким старцем, в 1708 году молодая жена его Акулина Григорьевна, урожденная Кологривова, написала подметное письмо на жену князя Ивана Борисовича, Настасью Троекурову, будто бы приверженную к старинной одежде и не признававшую новую моду [26].

Не потому ли в «Арапе Петра Великого» рязанский воевода Кирила Петрович Т. (VIII, 21) ведет у боярина Ржевского речь о старинных и новых модах? В дальнейшем фамилия «Т.» приводится полностью «Троекуров» (VIII, 25).

Через несколько лет в романе «Дубровский» Пушкин придал фамилию «Троекуров» другому русскому барину.

...И посейчас существует в Рязанской области, где жил когда-то помещик Измайлов, городок Троекуров, в старину принадлежавший князьям Троекуровым. Название этого городка вызывает размышления о романе Пушкина «Дубровский».



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Источники биографии Л. Д. Измайлова: И. И. Лажечников, Новобранец 1812 года. Сочинения, т. VII. СПб., 1858, стр. 284; «Русские эксцентрики и чудаки». (Без подписи.) Журн. «Искра», 1859, № 37, стр. 370; С. Шубинский, Русские чудаки и остряки. «Всемирный труд», 1868, № 12, стр. 21—25; «Из очерков недавней старины». (Без подписи.) «Русский архив», 1871, № 12, стб., 1254; А. Пупарев, Лев Измайлов. «Русская старина», 1872, декабрь, стр. 649—664; С. Словутинский, Генерал Измайлов и его дворня. «Древняя и новая Россия», 1876, № 9 — 12. Переиздано в 1937 году «Academia» (цитируем ниже по последнему изданию); И. М. Долгоруков, Капище моего сердца, изд. 2. М., 1890, стр. 126—127; М. Пыляев, Старое житье. СПб., 1892, стр. 38—40; Д. Оболенский, Наброски из прошлого. «Исторический вестник», 1893, № 11, стр. 371—374; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 24, 1894, стр. 853—854; А. Лобанов-Ростовский, Русская родословная книга, изд. 2, т. 1. 1895, стр. 225; «Русский биографический словарь», т. «Ибак-Ключарев». Спб., 1897, стр. 67—68; Д. Оболенский, Епифанская старина. «Русский архив», 1898, № 11, стр. 417; Н. Дубровин, Русская жизнь в начале 19 века. «Русская старина», 1899, январь, стр. 18—19; С. Шубинский, Самодур прошлого столетия. Ежемесячное литературное приложение к журналу «Нива». СПб., 1904, № 3, стр. 455—474.

[2] Редактор журнала «Русская старина» В. И. Семевский во введении к сообщению А. Пупарева «Лев Измайлов» на стр. 649 говорит, что автор «Горя от ума» направлял эти слова, «как рассказывают москвичи-старожилы, в генерал-лейтенанта Льва Измайлова». См. также в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, т. 24, стр. 853—854; в кн. А. С. Грибоедов, Сочинения в стихах. Л., 1951, стр. 283.

[3] «Частное дело генерал-лейтенанта Л. Д. Измайлова о дворовых женках». Июнь — декабрь 1826 года. Обнаружено мною в Ленинграде в ЦГИА СССР, ф. 1584, оп. 7, д. 767.

[4] С. Словутинский, Указ. соч., стр. 194—196.

[5] Толковый словарь великорусского языка Владимира Даля, изд. 3, т. III. СПб.-М., 1907, стб. 1693.

[6] О возмущении дворовых Измайлова и о расследовании этого возмущения имеются данные в названном сообщении А. Пупарева. Автор пользовался «Запиской» из дела Измайлова, составленной в 1828 году, и более подробно в указ. соч. Словутинского, стр. 144—177 и 211—238, опубликовавшего подлинные документы судебного дела Измайлова.

[21] С. Словутинский. Указ. соч., стр. 233.

[8] Б. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором. Л., 1925, стр. 61—62.

[9] «Дневник студента» С. П. Жихарева, издававшийся неоднократно, мы цитируем по последнему изданию: М. — Л. («Наука», 1955).

[10] С. Жихарев, Указ. соч., стр. 181

[11] ЦГИА СССР, ф. 1584, оп. 5, д. 1164. «О самовольной порубке леса генерал-лейтенантом Л. Д. Измайловым» (1820—1828).

[12] С. Словутинский. Указ. соч., стр. 84—86.

[13] Там же, стр. 29.

[14] Там же, стр. 160—161.

[15] Там же, стр. 102—103; А. Пупарев, Лев Измайлов, стр. 653.

[16] С. Словутинский. Указ. соч., стр. 166—167.

[17] Там же, стр. 204.

Степан Тимофеевич Словутинский (1821—1884), написавший наиболее обстоятельную работу о генерале Измайлове, опубликовавший подлинные документы Рязанского архива, даже не обмолвился о разительном сходстве Измайлова и Троекурова. Как земляк Измайлова Словутинский с детства много слышал об этом помещике-тиране. Он знал и беседовал с людьми, лично знакомыми с Измайловым, и использовал их рассказы. Он собирал об Измайлове материалы, будучи чиновником особых поручений при рязанском губернаторе (1855—1859) и будучи в 1861 году мировым посредником при освобождении крестьян. А ведь еще за пять лет до напечатания документального очерка «Генерал Измайлов и его дворня» в «Русском архиве» (1871, № 2, стб. 1254) в анонимной заметке «Из очерков недавней старины» сказано прямо: «Портрет Троекурова списан с натуры...» В сноске дается пояснение: «С рязанского помещика Измайлова».

Видимо, Словутинский не знал об этой заметке. В то же время первый рассказ свой «История моего деда» («Русский вестник», 1858, март, стр. 65—112) он начал словами: «История моего деда, отца моей матери, несколько похожа на повесть Пушкина «Дубровский». Все сходство основывалось лишь на том, что богатый помещик разорил бедного (такие случаи бывали повсеместно)».

[18] Д. В. Короткий предоставил Пушкину писарскую копию процесса богатого помещика подполковника Крюкова против небогатого поручика Муратова, решенного в 1832 году Козловским уездным судом Тамбовской губернии («Русская старина», 1887, сентябрь, стр. 545—551).

[19] См. прим. 11.

[20] ЦГИА СССР, ф. 1345, оп. 235, д. 64, три тома — 1828—1830.

[21] С. Словутинский. Указ. соч., стр. 234—238.

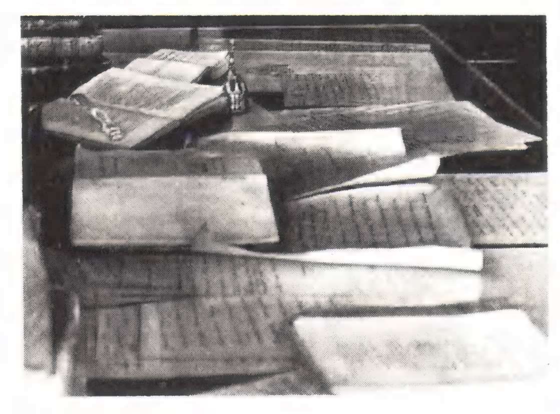
[22] С. Шубинский. Указ. соч. стр. 21—25; «Из очерков недавней старины». «Русский архив», 1871, № 2, стб. 1254; М. Пыляев. Указ. соч., стр. 38.

[23] «Русский биографический словарь», т. «Ибак-Ключарев», 1897, стр. 67—68.

[24] А. С. Пушкин, Сочинения. Изд. Брокгауза — Ефрона, т. IV, 1910, стр. 283.

[25] М. Столяров, (С. Ашевский), Псковская губерния и поэзия Пушкина. Сб. Псковского общества краеведения «Познай свой край». Псков, 1924, стр. 35—37.

[26] Б. Л. Модзалевский и М. В. Муравьев, Пушкины. Родословная роспись. Л., 1932, стр. 31; С. М. Соловьев, История России с древнейших времен. М., 1962, кн. 8, стр. 343—344.



В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон

Из пушкинских маргиналий

(Пометы на книге Вяземского о Фонвизине)

В коллекции Петербургского цензурного комитета нам посчастливилось обнаружить рукопись Вяземского с пометами Пушкина [1].

Как рукопись Вяземского попала в руки Пушкина? Почему Пушкин с такою тщательностью, с карандашом в руках читал эту рукопись, то соглашаясь, то споря с автором? Какие отношения были между Пушкиным и Вяземским? Какой теме посвящен труд Вяземского, привлекший пристальное внимание Пушкина? Почему рукопись Вяземского застряла в делах цензурного комитета? [2]

На все эти вопросы мы постараемся дать ответ в нашей статье и, разумеется, познакомим читателей с наиболее существенными записями Пушкина.

I

Первые шаги Пушкина на литературном поприще приводят его к знакомству с Петром Андреевичем Вяземским. 19 сентября 1815 года Жуковский писал Вяземскому: «Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет» [3].

Вещие слова Жуковского попали на благодатную почву. Полгода спустя, в конце марта 1816 года, Вяземский вместе с Карамзиным, Жуковским, А. И. Тургеневым, С. Л. и В. Л. Пушкиными посетил Царскосельский лицей и познакомился с Пушкиным. В то время Вяземскому было 23 года, а Пушкину лишь 16 — для молодых лет разница, казалось бы, значительная, но она не помешала быстрому сближению: Пушкин и Вяземский переходят на «ты» и становятся друзьями. В годы учения Пушкина в лицее их особенно сблизили встречи на квартире Карамзиных в Царском Селе, куда часто по вечерам хаживал Пушкин и где наездами из Москвы жил Вяземский. К этому времени относится сближение Пушкина с передовым литературным обществом «Арзамас»; вместе с Вяземским он ведет борьбу против литературных староверов и бездарных писателей. Злые эпиграммы Вяземского, направленные против «беседчиков», сторонников «старого покроя» в литературе, возбуждали полемический задор юного Пушкина.

Начавшаяся в годы лицея дружба Вяземского с Пушкиным продолжалась вплоть до гибели последнего. Ни длительная разлука (переезд Вяземского на службу в Варшаву, ссылка Пушкина на Юг, а затем в Михайловское), ни горячие споры по литературным вопросам не поколебали их дружеских отношений. В годы странствий между Пушкиным и Вяземским не прекращалась оживленная переписка. До нас дошло более 70 писем Пушкина к Вяземскому и около 50 писем Вяземского к Пушкину. Сохранилось не все: часть переписки пропала, а может быть, была уничтожена Пушкиным в

---

[1] Полное издание помет см.: Новонайденный автограф Пушкина. Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине». Подготовка текста, статья и комментарий В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона. М. — Л., «Наука», 1968.

[2] Рукопись находится в ЦГИА, ф. 777, оп. 25, № 1903. Все дальнейшие цитаты из книги Вяземского и пометы Пушкина приводятся по этой рукописи.

[3] «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 33.

тревожные дни, наступившие после разгрома восстания декабристов.

Пушкин ценил не только острые эпиграммы и лирические стихотворения Вяземского, но и его критические статьи. Среди наследия Вяземского-критика особое место занимает его труд о Фонвизине, явившийся, по сути дела, первой отечественной литературоведческой монографией. А отныне этот труд приобретает еще большее значение в наших глазах: ведь именно на рукописи книги Вяземского о Фонвизине обнаружены неизвестные пометы Пушкина. Ознакомимся же с историей этой книги, которая была задумана в начале 1820-х годов, написана в основном в 1830 году, а увидела свет в полном виде лишь в 1848 году.

Осенью 1821 года Вяземский сообщил И. И. Дмитриеву, что был бы рад написать «известие» о жизни и сочинениях Фонвизина. В августе 1823 года Вяземский обратился с открытым письмом к издателю журнала «Сын отечества» Н. И. Гречу, в котором сообщал, что готовится составить жизнеописание Фонвизина и просит читателей «о доставлении сведений, касательных жизни Д. И. Фон-Визина»[4]. С подобной же просьбой Вяземский обращался к своим друзьям и знакомым (А. А. Бестужеву, И. И. Дмитриеву, А. И. Тургеневу, А. Я. Булгакову и др.), либо лично общавшимся с Фонвизиным, либо имевшим материалы о нем.

Шли годы. Осенью 1829 года, когда осуществление нового и полного издания сочинений Фонвизина в ближайшем будущем стало реальным, Вяземский энергично принимается за работу над предисловием. В декабре 1829 года уже написаны первые разделы биографии сатирика. Вместе с «Разговором у княгини Халдиной» Фонвизина (в то время еще не опубликованным произведением) Вяземский передает Пушкину куски из своего труда для «Литературной газеты», печатного органа писателей пушкинского круга. В первых номерах «Литературной газеты», которая начала выходить в январе 1830 года, появились фрагменты из биографии Фонвизина. Пушкин принимал в этой публикации самое непосредственное участие: с отъездом в начале января в Москву А. А. Дельвига, издателя газеты, Пушкин временно остался ее фактическим редактором.

Наиболее плодотворно работал Вяземский над книгой о Фонвизине в конце 1830 года: застигнутый эпидемией холеры в Москве, Вяземский уехал с семьей в свое подмосковное имение Остафьево. На досуге Вяземский ревностно принялся за любимое детище. У него под руками была превосходная библиотека



Д. И. Фонвизин.

русских и иностранных книг и журналов. Отец Вяземского, просвещенный вельможа екатерининского царствования, собрал отменную библиотеку в пять тысяч томов. Сам Вяземский дополнил библиотеку отца еще семью тысячами томов. Конечно, добрая половина этих книг, по-видимому, была приобретена после 1830 года; Вяземский умер в глубокой старости, в 1878 году, и до конца своих дней жадно интересовался литературой. Однако и по самым скромным подсчетам во время работы над «Фонвизиным» в его распоряжении находилось не менее восьми тысяч книг.

Готовясь к исследованию творчества русского комедиографа, Вяземский прочел дра-

[4] «Сын отечества», 1823, № 37, стр. 165.

матические рассуждения Вольтера, Дидро, Лагарпа, Мармонтеля, Шлегеля, множество русских книг и журналов XVIII века, различные исторические труды. Изучил он и неопубликованные материалы о Фонвизине и его эпохе; в архиве Вяземского хранится большое количество собранных им рукописей: списки и даже автографы произведений Фонвизина, журнал его заграничного путешествия 1787—1788 годов, переписка Фонвизина с графом Петром Ивановичем Паниным, известным государственным деятелем того времени; письма к Фонвизину многочисленных адресатов (генерал-аншефа А. И. Бибикова, русских дипломатов Я. И. Булгакова, Г. О. Штакельберга, президента двух отечественных академий Е. Р. Дашковой и других лиц); справки разрядного архива из родословных росписей и грамоты Фонвизиных; разные деловые бумаги; выписка из воспоминаний И. И. Дмитриева о последнем вечере Фонвизина; вопросы Вяземского и ответы племянника сатирика И. А. Фонвизина, проливающие свет на семейную жизнь сатирика и уточняющие наши сведения о его заграничных путешествиях. Словом, Вяземский был отлично подготовлен для написания труда о Фонвизине, и понятно, что благодаря обилию рукописных и печатных источников небольшая статья быстро разрослась в увесистую монографию.

Пушкин был в курсе занятий Вяземского — 5 ноября 1830 года он писал ему из Болдина: «Радуюсь, что ты принялся за Ф. <он> Визина. Что ты ни скажешь о нем, или кстати о нем, все будет хорошо, потому что будет сказано. Об Истине (т. е. о точности применения истины) нечего тебе заботиться: пуля виноватого сыщет. Все твои литературные обозрения полны этих пуль-дур. Собери-ка свои статьи критические, посмотри, что за перестрелка подымется» (XIV, 122). Зная злободневность критических статей Вяземского, Пушкин не сомневался, что работа о Фонвизине, о русском XVIII веке будет не только историко-литературным исследованием, но и трудом, непосредственно связанным с литературной полемикой 1830-х годов.

Насилу прорвавшись сквозь карантины, Пушкин в первых числах декабря приехал в Москву и вскоре, 17 декабря, отправился в Остафьево, место, соединенное неразрывными узами с золотым веком русской литературы. При отце Вяземского там бывали многие писатели и поэты: Ю. А. Нелединский-Мелецкий, И. И. Дмитриев, Карамзин... Женившись в начале 1804 года на Екатерине Андреевне Колывановой (внебрачной дочери отца Вяземского и Е. К. Сиверс), Карамзин писал там «Историю государства Российского».

В Остафьеве возникли первые литературные знакомства Вяземского: при его жизни там неоднократно гостили Жуковский и Батюшков, Василий Львович Пушкин и Денис Давыдов, Пушкин и Кюхельбекер, Мицкевич и Александр Иванович Тургенев и многие другие писатели и общественные деятели.

Пушкин приехал в Остафьево после болдинских осенних месяцев, «беременных месяцев», как называл их Вяземский, и спешил прочесть гостеприимному хозяину строфы из десятой (недавно сожженной Пушкиным) главы «Евгения Онегина» и многое другое. В свою очередь, Вяземский только что кончил «Фонвизина», и ему не терпелось услышать мнение Пушкина о своем труде. Почти полвека спустя, в первой половине 1870-х годов, Вяземский в «Автобиографическом введении» к собранию своих сочинений писал об этом свидании:

«Уже при последних издыханиях холеры навестил меня в Остафьеве Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал меня с живым сочувствием приятеля и критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком горячо отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями. Этого чувства я не знаю. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, то есть лучшую награду за мой труд» [5].

Когда весной 1831 года Вяземский собирался ехать в столицу, Пушкин сообщал П. А. Плетневу: «Вяземский везет к вам Жизнь Ф. <он> Визина, книгу едва ли не самую замечательную с тех пор, как пишут у нас книги (все-таки исключая Карамзина)» (XIV, 161). Итак, свидетельство Вяземского о высокой оценке его труда Пушкиным не подлежит сомнению. Впрочем, до нас дошел еще один и тоже весьма положительный отзыв Пушкина об этом труде Вяземского; в 1833 году в примечаниях к пятой главе «Истории Пугачева» Пушкин писал:

«См. в Приложении письмо Бибикова к Фонвизину. Письмо сие, вместе с другими

[5] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1878, стр. LI.

драгоценными бумагами, доставлено было родственниками и наследниками Фонвизина князю Вяземскому, занимавшемуся биографией автора «Недоросля». Надеемся в непродолжительное время издать в свет сие замечательное по всем отношениям сочинение» (IX, 110). В черновике Пушкина перед последней фразой читаем: «Ныне оконченная рукопись находится в моих руках — для напечатания» (IX, 456).

Пушкин хотел быть издателем «Фонвизина»! Это лишний раз свидетельствует о том, что он придавал особое значение труду Вяземского.

II

На многих листах рукописи Вяземского мы встречаем лаконичную помету Пушкина: «Прекрасно». В частности, именно такая пушкинская помета стоит в конце четвертой главы «Фонвизина», где Вяземский говорит о непрерывном движении исторического процесса: «Все еще вчерашнее, все сегодняшнее, а еще более все завтрашнее». Этот тезис был нужен Вяземскому для обоснования избранного им жанра биографии, принципа подхода к теме и отбора материала. Высказав сожаление, что автобиографическая «Исповедь» Фонвизина осталась незавершенной, Вяземский продолжал свою мысль: «Житницы преданий наших пусты, и если надеяться на жатву для наших романов, исторических комедий, биографий лиц и общества, то разве на ту, которая зеленеет еще в глазах наших. Теперь никак не свяжешь настоящего с прошедшим, упований с преданиями; никак не сведешь концов с концами. <...> Признаюсь, большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы я за несколько томов записок, за несколько исторических летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история».

Эта авторская декларация была по мере сил и возможности осуществлена в «Фонвизине»; тщательно избегая беллетризации, отказываясь от вымыслов и догадок, Вяземский обильно включает в рукопись документальные материалы. Подобный подход к историко-биографической теме близок как многочисленным высказываниям, так и творческой практике Пушкина 1830-х годов. Как материал для истории своего времени он начинает писать автобиографические записки, для этой же цели ведет Пушкин дневник тридцатых годов и записывает со слов современников исторические анекдоты (анекдот понимался тогда широко: это мог быть отрывок остроумного разговора, красное словцо,



П. А. Вяземский. Рисунок А. С. Пушкина.

сказанное к случаю, или просто изустный исторический рассказ) — «Table-talk».

Около 1830 года под непосредственным влиянием политических событий — как в России, так и за ее пределами — у Пушкина намечается поворот к углубленному изучению истории. Отныне Пушкин рассматривает исторический процесс в его динамике, а современные события — как звено в цепи причинно-следственных отношений, звено, которое непосредственно возникает из предшествующей истории и в известной мере определяет последующее развитие, поэтому-то Пушкин и написал «прекрасно» против соответствующего рассуждения Вяземского в конце четвертой главы рукописи: точка зрения Вяземского на взаимопроникновение вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего совпала с размышлениями Пушкина.

Углубление представлений об историческом процессе способствовало новому подходу к осмыслению исторического документа, к расширению сферы исторических источников. Быт, нравы, характеры воспринимаются теперь как одна из существенных сторон исторического процесса, и как следствие подобного восприятия прошедшего анекдот становится в одном ряду с другими историческими источниками: только центр тяжести переносится с фактической на психологическую достоверность события. Рассказ, передающий непосредственные наблюдения над внешностью, привычками, поведением исторического лица, пересказ его слов, «живые цитаты» его речи, даже слухи о нем, отражающие восприятие его личности современниками, — все это оказывается достоянием истории, так как помогает воссоздать «весомо, зримо» его бытовой и психологический облик. Именно поэтому Пушкин помещает в «Литературной газете» предания полулегендарного характера. Предпочтение мемуарным жанрам очевидно также в пушкинском «Современнике»: основную часть своего журнала Пушкин заполнял не художественной прозой и стихами, а произведениями преимущественно мемуарными и хроникальными («Хроника русского» А. И. Тургенева, «Записки» Н. А. Дуровой, «Занятие Дрездена» Дениса Давыдова и т. д.).

Современная Пушкину и более ранняя русская историография охотно пользовалась устным преданием, но если прежде это было результатом недостаточной разработанности источниковедческих дисциплин, то теперь подобный подход стал осознанным принципом, возникшим из ощущения живого исторического процесса, из ощущения истории, творящейся на глазах писателя. «События, нравы и лица, коими пренебрегает история», становятся необходимым и неотъемлемым дополнением повествования о делах давно и недавно прошедших лет.

Теперь становится понятным, почему многие пометы Пушкина касаются различных мемуарных источников. Следя за его пометами, мы можем твердо сказать, что на протяжении всего чтения рукописи Вяземского Пушкин сохраняет неослабевающий интерес к ее документации, дополняя обильно привлеченные автором материалы обширным кругом новых источников: здесь и нравоописательные «Картины Парижа» Мерсье — произведение, откровенно ориентирующееся на хронику и документ, и наряду с ними Стерн, «сентиментальный путешественник», из произведений которого на первый план выступает их «фактографическая» основа.



Дом в Остафьеве, имении П. А. Вяземского.

На равных правах появляется семейное предание как один из ценнейших исторических источников. Две пометы Пушкина показывают, как внимательно он прислушивался к рассказам своих родных. Полемизируя с утверждением Вяземского, что комедии Фонвизина, поставленные на столичной сцене, не кололи глаза тем, кого они осмеивали, ибо в них действовали провинциальные персонажи, Пушкин написал на полях рукописи:

«Бабушка моя сказывала мне, что в представлении Недоросля в театре бывала давка — сыновья Простаковых и Скотининых, приехавшие на службу из степных деревень, присутствовали тут — и следств<енно> видели перед собою близких и знакомых свою семью».

Вторая «семейная» помета Пушкина сделана на заключительной главе «Фонвизина», там, где речь идет о последних днях сатирика:

«Отец мой, посетивший Ф. Визина перед его смертию, говорит, что он был занят своими картинами более, чем своими сочинениями — Ce qui est beaucoup dire»[6].

Свидетельство С. Л. Пушкина, что у Фонвизина была коллекция картин, документально подтверждается: в бумагах Вяземского сохранилась опись его коллекции, относящаяся к 1777 году. Позднее, в 1784—1785 годах Фонвизин совершил путешествие в Германию и Италию для приобретения картин.

[6] А это много значит (франц.).

Перед нами живая связь поколений: мы узнаем, что рассказы бабки и отца были одним из источников сведений Пушкина о Фонвизине, об его интересах, образе жизни. Кое-какие подробности о сатирике Пушкин узнавал и от других лиц: вспомним, что в январе 1831 года Пушкин по просьбе Вяземского навестил престарелого князя Н. Б. Юсупова и беседовал с ним о Фонвизине.

Семейное предание и свидетельства современников сочетались в размышлениях Пушкина с данными, почерпнутыми из печатной мемуарной литературы, которая большим потоком стекалась в его библиотеку. Среди мемуарных источников, приведенных в пометах Пушкина, есть и такие, которые особенно привлекают его внимание, — это в первую очередь записки Казановы — «бесстыдные записки», как охарактеризовал Пушкин их и другие им подобные в одной из заметок 1830 года. Томики этих записок сохранились в библиотеке Пушкина.

Записки Казановы — летопись бесчисленных любовных похождений, политических бесед, интриг, шарлатанства, арестов и побегов венецианского авантюриста XVIII столетия. Ареной его похождений служат почти все европейские государства. Время действия: 1740—1773 годы. Предприимчивый Казанова проникал всюду — во дворцы государей, в будуары куртизанок, он побывал за кулисами театров и в ученых кабинетах, в воровских притонах и тюремных камерах. Он знал Фридриха II и Людовика XV, Екатерину II и Суворова, маркизу де Помпадур и кардинала Берни. Он встречался с Вольтером, Руссо, Винкельманом и многими другими выдающимися деятелями XVIII века. Рассказы о встречах с ними калейдоскопически сменяются в его мемуарах повествованием о десятках его любовниц всех званий — от простолюдинок до знатных дам, об азартных играх, алхимии, гипнотических сеансах, опасностях и побегах.

Просвещенный авантюрист, сохранивший интерес к искусству (он был выходцем из артистической семьи), Казанова обладал несомненным литературным дарованием и тонкой наблюдательностью — в его записках мы находим острые, проницательные замечания о быте и нравах и даже размышления о политической жизни Европы.

Эту энциклопедию «закулисного» XVIII века Пушкин вспоминает, читая в рукописи Вяземского отрывок о Сен-Жермене и встречах его с Фонвизиным. Разговоры о Сен-Жермене, алхимике и авантюристе, велись между Пушкиным и Вяземским, по-видимому, и ранее. По всей вероятности, Вяземский рассказал Пушкину об одной из своих встреч с князем Н. Б. Юсуповым, лично знавшим Сен-Жермена. Во всяком случае, в своей записной книжке Вяземский отметил 25 июня 1830 года: «Старик Юсупов, встретившись с известным Сен-Жерменом, спрашивал его о тайне долголетия, если не вечноденствия. Всей тайны он ему не открыл, но сказал, что одно из важных средств есть воздержание от пития, не только хмельного, но и всякого»[7].

Говоря о знакомстве Фонвизина с Сен-Жерменом, Вяземский пишет: «Очень жаль, что из писем Фон-Визина утрачены те, в коих он подробно говорит о знакомстве своем с чудным Сен-Жерменом, сим Кащеем Бессмертным, которого жизнь по худой мере должно считать столетиями. Я знаю людей, которые читали эти письма: они были очень любопытны и, к сожалению, вероятно сгорели в Москве в 1812 году. Из слов его о нем в дошедших до нас письмах видно, что он судил и ценил его хорошо. Нет сомнения, что Сен-Жермен был шарлатан; но одним шарлатанством не мог бы он добиться известности, которою пользовался».

Пушкин подчеркнул слова «был шарлатан» и дописал на полях:

«и шпион. См. Casanova».

В записках Казановы нет прямого указания на шпионскую деятельность Сен-Жермена; правда, во второй главе 7-го тома он рассказывает, что Сен-Жермен едва не был арестован в Голландии по повелению французского короля за какие-то темные эпизоды своей деятельности.

«Записки» Казановы служили Пушкину источником разнообразных сведений о политической жизни XVIII века, и неудивительно, что они, по-видимому, отразились еще на одной его помете. Возражая Вяземскому, давшему несколько пренебрежительную характеристику кардинала Берни, якобы добившегося «некоторой знаменитости маленькими стишками и маленькими интригами», Пушкин написал на полях рукописи:

«Политическое чудо — союз Франции и Австрии есть дело Берни, и оно не маленькая интрига».

Франсуа-Иоахим Берни был заметной фигурой на политическом горизонте Европы второй половины XVIII столетия. Молодой аббат, очаровывавший современников изысканным светским обращением, известный в свое время галантный поэт, он не без труда

[7] П. А. Вяземский, Записные книжки. 1813—1848. М., Изд. АН СССР, 1963, стр. 171.

пробивал себе дорогу к последующей блестящей политической карьере. Покровительство маркизы де Помпадур, фаворитки Людовика XV, открыло ему путь ко двору и в Академию. С этого времени он получает возможность проявить свои незаурядные дипломатические способности. В 1755 году сорокалетний Берни на вершине своих успехов: он один из высших дипломатических чинов государства и один из ревностных вдохновителей политического союза Австрии и Франции. Два года спустя он дерзает выступить против планов маркизы де Помпадур, собираясь закончить Семилетнюю войну почетным миром. Франция дорого заплатила за то, что Людовик XV не прислушался к советам Берни и удалил его в почетную ссылку: по Парижскому миру 1763 года она отдала Англии почти все свои колонии в Северной Америке, Индии и Африке... Папа Климентий XIII возводит Берни в чин кардинала. В 1764-м — после смерти маркизы де Помпадур — Берни получает архиепископство в Альби, а с 1769 года занимает пост французского посланника в Риме. Во время революции он отказывается принять конституционную присягу, теряет пост и уже не возвращается на родину. Он умер в 1794 году.

О деятельности Берни Пушкин, конечно, знал из разных источников. Однако очень вероятно, что в характеристике союза Франции и Австрии как «политического чуда» вновь сказался внимательный читатель записок Казановы. В 1750-е годы, то есть в период заключения этого договора, Казанова довольно близко общался с Берни. Казанова посвящает этому союзу несколько примечательных строк в своих записках.

«В начале зимы, — рассказывает Казанова, — пришла поразительная новость о трактате дружбы, заключенном между домами Франции и Австрии, трактате, который полностью изменил политическое положение в Европе и которому европейские державы не могли поверить, настолько он казался невозможным. <...> Самые глубокомыслящие головы пришли в замешательство от того, что этот похожий на чудо трактат был задуман и осуществлен юным министром, который до этого времени был известен только своим остроумием. Он был замышлен в тайне в 1750 году между мадам де Помпадур, графом Кауницем, который получил титул князя, и г. аббатом Берни, которого узнали лишь в следующем году, когда король назначил его посланником в Венецию. Ко времени появления этого замечательного трактата дома Бурбонов и Габсбургов были врагами уже двести сорок лет; правда, трактат просуществовал не более сорока лет, но более длительный союз был невозможен между двумя столь отличными друг от друга дворами»[8].



Н. Б. Юсупов. Рисунок А. С. Пушкина.

Пушкин читал записки Казановы по-французски. Придирчивый читатель может усомниться, точно ли мы перевели интересующее нас выражение «похожий на чудо». Обратимся к французскому подлиннику — там стоит «merveilleux», то есть чудесный, дивный, удивительный. Формулировка Пушкина и слова Казановы о союзе Австрии и Франции столь близки между собою, что невольно возникает предположение о связи пушкинской пометы о Берни с чтением мемуаров Казановы.

Рассмотренные нами пометы о мемуарных источниках, по каким бы частным вопросам они ни возникали, вызваны настойчивым стремлением Пушкина еще более «насытить»

[8] Mémoires de Jacques Casanova de Saingalt..., t. IV. Bruxelles, 1833, pp. 332—338.

(а порой попутно и уточнить!) рукопись Вяземского ценными сведениями, остающимися, как правило, вне досягаемости традиционной истории. По сути дела, биография Фонвизина была в глазах Пушкина принципиально важным экспериментом, по-новому решавшим насущные проблемы жанра биографии. Ведь на обширном поле биографического повествования, пожалуй, легче всего решалась или могла быть решена задача воссоздания многообразия общественной жизни вплоть до ее мельчайших частных проявлений. Естественно, что проблема документированной биографии выдающегося деятеля культурной и политической жизни в тесной, неразрывной связи с формировавшей его общественной средой приобретает для Пушкина и Вяземского первостепенное значение. Между тем, написать такую биографию было непросто: Вяземский сетует на «скудость способов и средств применять жизнь действительную к жизни умственной», жалуется на исчезновение нужнейших биографических материалов:

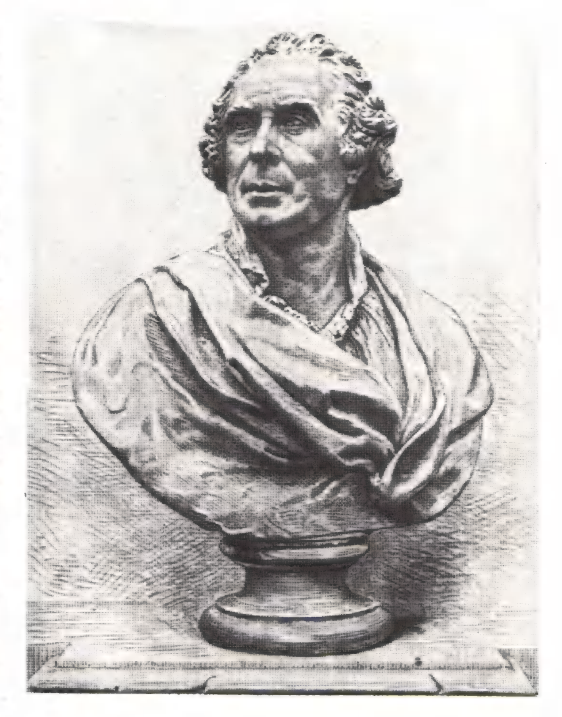
«Наша народная память незаботлива и неблагодарна. Поглощаясь суетами и сплетнями нынешнего дня, она не имеет в себе места для преданий вчерашнего». Против этих слов Пушкин написал на полях рукописи: «Прекрасно».

Небрежение автобиографическими, мемуарными записками вызывало горькие раздумья Пушкина. В 1829 году, включив в «Путешествие в Арзрум» свое воспоминание о Грибоедове, Пушкин писал:

«Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны» (VIII, 462).

Несколько ранее, в 1826 году, после смерти Карамзина, у его друзей и последователей возникает замысел написать биографию историографа, и Пушкин сразу же дает согласие участвовать в этом начинании. В 1830 году он настойчиво побуждает П. А. Плетнева заняться жизнеописанием Дельвига. В обоих случаях (и особенно в первом!) биография выдающегося человека мыслилась как историческое исследование о личности и о ее времени.

Заинтересованность жанром биографии несомненно побуждала Пушкина и Вяземского читать биографии, выходившие в Западной Европе. В этой связи ознакомимся еще с одной пушкинской пометой: она касается известного английского писателя, языковеда и критика Семюеля Джонсона, автора первого толкового словаря английского языка, десятитомной «Биографии английских поэтов» и других произведений.



Казанова.

Вяземский рассказывает анекдот о путешественнике, проезжавшем через немецкий город и заносившем в путевой дневник свои наблюдения. Увидев рыжую женщину, бившую ребенка, путешественник обобщил этот эпизод кратко и выразительно: «Здесь все женщины рыжи и злы». Пушкин раскрыл на полях рукописи имя путешественника «славного доктора Johnson» и вместо «немецкий» написал сверху «французский».

Хотя имя Джонсона обросло анекдотами, этот анекдот к нему отношения не имеет. Вяземский заметил ошибку Пушкина и не принял его поправку. Между тем, ошибка Пушкина очень показательна. Наиболее вероятный источник ее, как и других сведений Пушкина о Джонсоне, — знаменитая биография Босвела «Жизнь Семюеля Джонсона» (1791); в ней впервые был опубликован путевой дневник Джонсона во время его



Париж.

поездки по Франции. Беда лишь в том, что анекдота о рыжих и злых женщинах в нем нет. Пушкин запамятовал, но именно благодаря этой ошибке мы можем предполагать, что книга Босвела была у него в руках; и это вполне естественно: ведь биография Джонсона была хорошо известна в пушкинском кругу. В 1827 году Вяземский напечатал в «Московском телеграфе» отрывок из письма А. И. Тургенева, где пересказан отзыв его брата, декабриста Н. И. Тургенева, об английском биографе: «Знаете ли вы книгу Босвеля (Bosswell) о Джонсоне? Это весьма интересная книга и, конечно, лучшая из всех биографий. Босвел был несколько лет приятелем Джонсона и записывал все, что он говорил о различных предметах, так что книга представляет теперь, кроме множества весьма умных, замечательных рассуждений, разговоров, кроме полного изображения характера Джонсона, также и характер времени, в которое он жил» [9]. Именно такой «Босвелевской, живой биографией» должна была бы быть, по мнению Н. И. Тургенева, биография Карамзина.

Можно думать, что Вяземский не случайно обращает внимание на высказывание Н. И. Тургенева о книге Босвела в то время, когда им вынашивался замысел биографии Фонвизина. Скорее всего труд Босвела служил ему образцом: в конце 1820-х годов Вяземский настойчиво и старательно добывает от современников устные сведения о Фонвизине. Законно предположить, что Пушкин и Вяземский беседовали об этой книге в связи с общими проблемами историко-биографического жанра, и, в частности, по поводу «Фонвизина». Ведь биография Джонсона, написанная Босвелом, была наглядным доказательством возможности расширить рамки биографии как жанра, заменить традици-

[9] А. И. Тургенев, Хроника русского. Дневники. М. — Л., «Наука», 1964, стр. 23—24.

онное однолинейное изображение выпуклым, объемным жизнеописанием. Именно по этому пути пошел Вяземский в биографии Фонвизина, именно за это и ценил в первую очередь его книгу Пушкин.

III

Во всем ли Пушкин был согласен с Вяземским? Нет, не во всем. Многие пометы Пушкина, относящиеся к заграничному путешествию Фонвизина, остро полемичны, и, хотя в них идет речь о событиях второй половины XVIII века, тем не менее все они непосредственно соотносятся со спорами внутри пушкинского круга в начале 1830-х годов. События того времени (поражение декабристов на Сенатской площади, польское восстание 1830—1831 гг.) толкали передовую русскую мысль на осмысление кардинальных вопросов развития России. Это был трудный путь раздумий и ожесточенных дискуссий. Обострение внешнеполитических отношений, вызывавшее у Пушкина даже опасение новой интервенции западных держав, придало напряженный характер разгоравшимся спорам. Пушкин придерживался «русофильской» позиции в противовес Вяземскому и особенно А. И. Тургеневу, отстаивавшим «западническую» ориентацию. Вспоминая об этих спорах, Вяземский писал в «Автобиографическом введении», что Пушкин, «хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы, то есть допетровской России; я, напротив, вообще держался понятий международных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую» [10].

Споры эти развертывались на протяжении 1830—1832 годов, достигнув кульминации после выхода стихотворения «Клеветникам России». Отрицательный отзыв Вяземского и А. И. Тургенева об этих стихах хорошо известен. Свидетельства Вяземского и А. И. Тургенева, удостоверяющие самый факт разногласий и «русофильства» Пушкина, «громившего Запад», небезынтересно сопоставить с дневником Н. А. Муханова за 1832 год. 29 июня он записал, что во время посещения Вяземского встретился у него с Пушкиным и беседовал с последним о новейшей французской литературе: «Я спросил мнения его о Дюмоне, которого еще не читал. <...> Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор, в коем я, хотя не читал



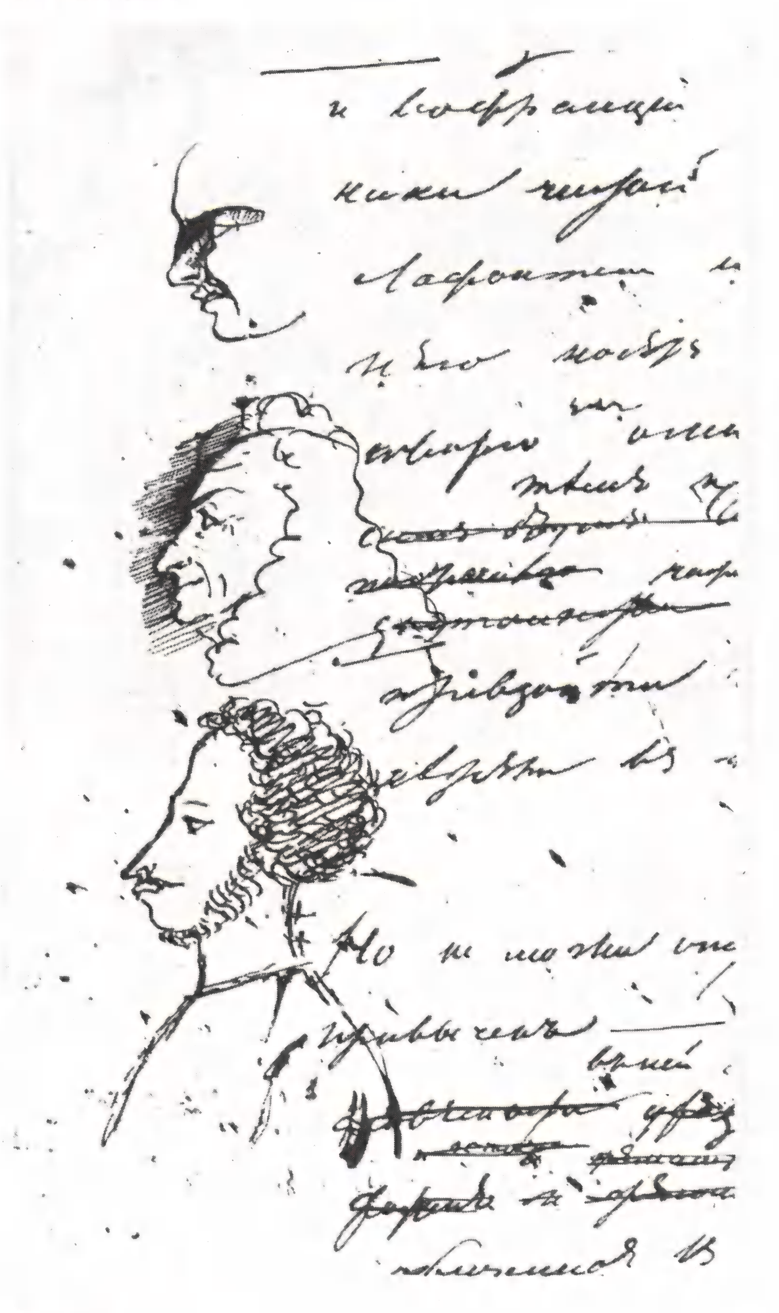
Э. Гиббон.

Дюмона, но совершенно мнения Пушкина по его доводам и справедливости заключений. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Вяземский говорил, что Дюмон старается похитить всю славу Мирабо. Пушкин утверждал, напротив, что он известен своим самоотвержением, коему дал пример переводом Бентама, что он выказывает Мирабо во внутренней его жизни и потому весьма интересен, что Jules Janin врет, что французы презрительны, что таланта истинного у них нет, что лучшие их таланты не французы, что Мирабо не француз, что Journal des Débats нельзя принимать за мнение всей Франции и что ее мнение даже неважно и проч. Спор усиливался» [11].

Швейцарский публицист Пьер-Этьен-Луи

[10] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1183, л. 58. Цитируем по рукописи, так как печатный текст искажен.

[11] Русский архив, 1897, кн. 1, стр. 654.



Рисунки А. С. Пушкина:
Вольтер и автопортрет.

Дюмон (1759—1829) в молодости жил в России (в 1782—1783 гг. был священнослужителем в Петербурге), затем уехал в Англию, а в начале Великой французской революции переехал в Париж, где сблизился и сотрудничал с Мирабо; в 1791 году снова уехал в Англию, где стал секретарем и переводчиком английского правоведа и моралиста Бентама. В январе 1832 года в Брюсселе посмертно были изданы воспоминания Дюмона о Мирабо; в книжных лавках Парижа они появились в двадцатых числах января и сразу же вызвали разгромную рецензию французского писателя, журналиста и критика Жюля Жанена. Три месяца спустя в той же газете появилась вторая рецензия Жюля Жанена на книгу Дюмона. Подчеркивая, что французу Мирабо не подобало набираться ума у женевца Дюмона, Жюль Жанен заявлял, что после появления мемуаров Дюмона стало понятным, почему некоторые речи Мирабо обладают недостатками; разгадка в том, что в них «сердце, душа, ум женевский, английский, русский секретарей Мирабо».

Спор о книге Дюмона указывал на расхождения между Пушкиным и Вяземским в польском вопросе и в оценке французских событий 1830—1831 годов. Полемическая запальчивость объясняется как острейшим восприятием этих событий, так и конкретным поводом спора — декларативным утверждением национальной исключительности в статьях Жанена. Отсюда брошенные Пушкиным в пылу спора фразы: «французы презрительны», «лучшие их таланты не французы» и т. д. Во всяком случае, глава «Фонвизина» о заграничных письмах сатирика содержит внутреннюю полемику, даже не слишком завуалированную. Защищая французов от нареканий Фонвизина, Вяземский собирался привести цитату из мемуаров английского историка Гиббона, благосклонно отзывавшегося о парижанах. «Сам ты Гиббон», — размашисто надписал Пушкин на полях рукописи. Эта помета Пушкина крепко запомнилась Вяземскому. Почти полвека спустя в авторских вставках к «Автобиографическому введению» (не попавших в печатный текст) Вяземский писал: «В одном месте, где противополагаю мнение Гиббона о Париже и мнение Ф<он>-Визина, написал он <Пушкин> на рукописи моей: Сам ты Гиббон. Разумеется в шутку и более в отношении к носу моему, нежели к моему перу. Известно, что Гиббон славился, между прочим, и *курносием* своим» [12].

Вяземский тоже был курносым, и весьма возможно, что эту шуточную ассоциацию также имел в виду Пушкин. Но не она была главной. Главное относилось не к носу, а к перу, к расхождению во мнениях.

Помета Пушкина о Гиббоне — лишь наиболее ясный случай. Между тем, расхождения по вопросам современной политики сквозят почти во всех пометах Пушкина к тексту этой главы. Критические замечания Фонвизина о нравах Западной Европы, его постоянный иронический рефрен «славны бубны за горами», его суждения о том, что во многих отношениях русская жизнь предпочтительнее западноевропейской, побуждают Вяземского обвинить сатирика в том, что его письма из-за границы «писаны будто с кафедры, во услышание и трепет грешников». Этим письмам Фонвизина Вяземский противопоставляет положительную оценку западноевропейской жизни в «Письмах русского путешественника» Карамзина, писанных, как он заявляет, «без педантства, без догматической важности».

В рукописи «Фонвизин» Вяземский упрекнул сатирика, находившего, «что Париж немножко почище свиного хлева». Отвечая Вяземскому, Пушкин написал на полях:

«Нечистота Парижа вошла в пословицу. Voyez Voltaire, Mercier, Sterne etc».

Пушкин имел в виду «Картины Парижа» Мерсье, «Вавилонскую принцессу» Вольтера, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» Стерна, в которых грязь парижских улиц описана достаточно колоритно.

Вяземский был вынужден признать справедливость замечания Пушкина и следующим образом исправил рукопись: «Понимаем брезгливость его <Фонвизина>, когда он находит, что Париж немножко почище свиного хлева, ибо нечистота Парижа, особенно тогдашнего, засвидетельствована большинством голосов». Однако, отступив в этом частном вопросе, где союзником Фонвизина, помимо французских и английских писателей, выступал Карамзин, также писавший в «Письмах русского путешественника» о нечистоте Парижа, Вяземский оставил без изменения свои последующие нападки на Фонвизина за его иронические замечания о мерзком столовом белье у французов и т. п.

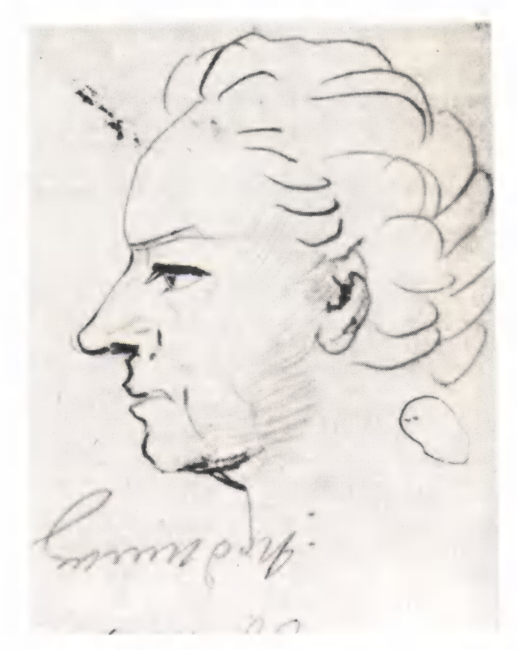
Итальянские впечатления Фонвизина также вызвали спор между Пушкиным и Вяземским. Смонтировав цитаты из писем Фонвизина к родным из Рима, Вяземский упрекал сатирика за его утверждения, «что честных людей во всей Италии, поистине сказать, так мало, что можно жить несколько

---

[12] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1183, л. 52 об.



Д'Аламбер. Гравюра Генрика с портрета работы Жюльена.



Д'Аламбер. Рисунок А. С. Пушкина.

лет и ни одного не встретить; что господа делят со своими холопьями деньги, которые сие последние получают от приезжих; что в знатнейших домах должно пройти несколько хлевов, чтобы добраться до гостиной; что в папских владениях застрелить человека или собаку все равно; что для человечества Рим есть земной ад!». Против этого абзаца Пушкин написал:

«Но если это правда?»

Подготовляя рукопись к печати, Вяземский вычеркнул несколько строчек и оставил это место в сокращенном виде: «...что честных людей во всей Италии, поистине сказать, так мало, что можно жить несколько лет и ни одного не встретить; что для человечества Рим есть земной ад!». На первый взгляд может показаться, что Вяземский согласился с пометой Пушкина: ведь он исключил из рукописи ряд обвинительных пунктов, взятых из писем Фонвизина. На самом деле, удалив менее значительные подробности, Вяземский усилил то впечатление недовольства, которое испытывал сатирик, наблюдая итальянскую жизнь.

Тенденциозный характер приведенной цитаты становится особенно ясным при сопоставлении ее с письмом Фонвизина:

«Теперь живем мы в папском владении, и нет дня, в который бы жена моя, выехав, не плакала от жалости, видя людей мучительно страждущих: без рук, без ног, слепые, в лютейших болезнях, нагие, босые и умирающие с голоду везде лежат у церквей под дождем и градом. Я не упоминаю уже о тех несчастных, которые встречаются кучами в болячках по всему лицу, без носов и с развращенными глазами от скверных болезней; словом, для человечества Рим есть земной ад. Тут можно видеть людей в адском мучении. Сколько тысяч таких, которые не знают, что такое рубашка. Летом ходят так, как хаживал праотец наш Адам, а зимою покрыты лохмотьем вместо кафтана и брюхо голое наружи. Вот как здесь щеголяют, между тем как папа и кардиналы живут в домах, каких нет у величайших государей»[13].

---

[13] Д. И. Фонвизин, Собр. соч., т. 2. М. — Л., Гослитиздат, 1959, стр. 537—538. Из письма от 7(18) декабря 1784 года.

Перед нами беспощадное изображение социальны противоречий Рима, от которого волосы становятся дыбом. Вяземский же отбросил основную мысль сатирика и из всего описания взял лишь одну строчку: «для человечества Рим есть земной ад!» Соединив ее со словами Фонвизина о том, что в Италии почти нет честных людей, Вяземский значительно отошел от оригинала, придав словам Фонвизина иной смысл. В этом приеме сказалась публицистическая закваска Вяземского, острота политических споров, в атмосфере которой писалась и исправлялась рукопись «Фонвизин».

Полемическая запальчивость Вяземского явственно проступает и в его изложении писем Фонвизина, посвященных возвращению Вольтера после многолетнего изгнания во французскую столицу. Вот что пишет Вяземский об этом событии: «Во время пребывания путешественника Фонвизина в Париже, приезжал Вольтер. Восторги, поклонения, апофеоз заживо, которыми приветствовала его благодарность сограждан, сие торжество, напоминающее народные празднества древней Греции, не возбудили никакого умиления в душе писателя. Крики упоенной публики в театре: vive Voltaire! кажутся ему неблагопристойными, и вместо того, чтобы в лице его участвовать в торжестве, приносящем честь всем авторским заслугам, он, как будто чуждый сим заслугам, дивится, что народ может гордиться своим писателем и приносить ему дань удивления и любви». Пушкин с горячностью заступился за Фонвизина, написав на полях рукописи:

«Описание Вольтерова торжества в Ф. В. превосходно и есть исторический документ. О Вольтере Ф. В. везде отзывается не только с уважением, но и с явной симпатией».

Кто же прав? Пушкин или Вяземский? Перечтем письма Фонвизина. 11 (22) марта 1778 года он писал родным: «Вчера Волтер был во Французской академии. Собрание было многочисленное. Члены Академии вышли ему навстречу. Он посажен был на директорское место и, минуя обыкновенное баллотирование, выбран единогласно в директоры на апрельскую четверть года. От Академии до театра, куда он поехал, народ провожал его с непрестанными восклицаниями. Представлена была новая трагедия: «Ирена, или Алексей Комнин». При входе в ложу публика аплодировала ему многократно с неописанным восторгом, а спустя несколько минут Бризар, как старший актер, вошел к нему в ложу с венком. который надел ему на голову. <...> Трагедия играна была гораздо с большим совершенством, нежели в первые представления. По окончании ее новое зрелище открылось. Занавес опять был поднят; все актеры и актрисы, окружа бюст Волтеров, увенчивали его лавровыми венками. Сие приношение публика сопровождала громким рукоплесканием, продолжавшимся близ четверти часа непрерывно. Наконец, представлявшая Ирену г-жа Вестрис, оборотясь к Волтеру, читала следующие стихи. <...> Для показания своего удовольствия публика велела повторить чтение сих стихов и аплодировала им с великим криком. Как же скоро Волтер, выходя из театра, стал садиться в свою карету, то народ закричал: «Des flambeaux, des flambeaux!»[14] По принесении факелов велели кучеру ехать шагом, и бесчисленное множество народа с факелами провожало его до самого дома, крича непрестанно: «Vive Voltaire!»[15].



М.-Ж. Кондорсе.

[14] Факелов! Факелов! (франц.).

[15] Д. И. Фонвизин, Собр. соч., т. 2, стр. 441—442. «Да здравствует Вольтер!» (франц.).

С явной симпатией писал Фонвизин и о встрече с Вольтером в апреле 1778 года: «Мы с женою предпочли видеть «Альзиру» и приехали в театр очень кстати. За нашею каретою ехал Волтер, сопровождаемый множеством народа. Вышед из кареты, жена моя остановилась со мною на крылечке посмотреть на славного человека. Мы увидели его почти на руках несомого двумя лакеями. Оглянувшись на жену мою, приметил он, что мы нарочно для него остановились, и для того имел аттенцию, к ней подойдя, сказать с видом удовольствия и почтения: «Madame! Je suis bien Votre serviteur trés humble»[16]. При сих словах сделал он такой жест, который показывал, будто он сам дивится своей славе. Сидел он в ложе madame Lebert, но публика не прежде его усмотрела, как между четвертым и пятым актом. Лишь только приметила она, что Волтер в ложе, то начала аплодировать и кричать, потеряв всю благопристойность: «Vive Voltaire!» Сей крик, от которого никто друг друга разуметь не мог, продолжался близ трех четвертей часа»[17].

Вот оно, то самое место, которое возбудило негодование Вяземского против Фонвизина. Следовало читать очень пристрастными глазами, чтоб из этого одного — может быть, и в самом деле не совсем удачного — выражения («потеряв всю благопристойность») сделать вывод о неприязни Фонвизина к Вольтеру. Из всего содержания писем Фонвизина напрашивается другой, противоположный вывод. Можно прямо сказать, что в споре об оценке Вольтера Фонвизиным прав Пушкин и не прав Вяземский. Ошибка Вяземского поучительна: его односторонняя интерпретация писем Фонвизина была, как это часто бывает, вызвана «осовремениванием» исторического материала, проецированием оценок и событий XVIII века на современные споры о России и Западной Европе, и данная тема лишь повод, но не первопричина спора. Однако, не являясь первопричиной, она, тем менее, представляет для нас первостепенный интерес: отнюдь не безразлично, на какой именно арене разыгралась острая схватка между Пушкиным и Вяземским.

Продолжением спора явилась их полемика о Даламбере и Кондорсе. Характеристика Даламбера, сделанная Фонвизиным, вызвала неудовольствие Вяземского: «Почтешь ли следующий отзыв отзывом литератора: «Из всех ученых более всех удивил меня Даламберт: я воображал лицо важное, почтенное, а нашел премерзкую фигуру и преподленькую физиогномию!» И хотя в словах Фонвизина явно чувствуется недоброжелательный подтекст (особенно если учесть всю совокупность высказываний сатирика о французских энциклопедистах), Пушкин написал на полях рукописи:

«Отзыв очень любопытный и вовсе не оскорбительный. — Даламб<ер> и Кондорсет имели подленькую наружность. Первый был известен своим буффонством».

Здесь вновь сказывается принципиальное расхождение между Пушкиным и Вяземским в оценке позиции Фонвизина. Как и в случае с Вольтером, Вяземский противопоставляет Фонвизина французским просветителям; Пушкин сопоставляет их, усматривая черты идейной и духовной близости. Слова «отзыв очень любопытный и вовсе не оскорбительный» свидетельствуют, что Пушкин толковал его примерно так: Фонвизин был исполнен уважения к ученым заслугам Даламбера («воображал лицо важное, почтенное») и в момент встречи был поражен контрастом между высотой его интеллектуальной деятельности и отсутствием достоинства в его внешнем облике и повседневном поведении. Это последнее для Пушкина — исторически засвидетельствованный факт, и самое удивление Фонвизина, с точки зрения Пушкина, скорее говорит о признании сатириком значительности трудов Даламбера, нежели о пренебрежении. Отзыв перестает быть «оскорбительным». Но помета Пушкина имела и другой подтекст, более глубокий.

В конце 1827 или в начале 1828 года Вяземский занес в записную книжку следующую заметку: «Даламберт: Фон-В<изин> оклеветал его. Искательства его и других энциклопедистов были не подлость[18], а политические домогательства: им нужен был союз дворов и вельмож, чтобы утвердить свое положение, тем более что во Франции они угрожаемы бывали правительством. Даламберту, верно, были нужны не деньги»[19].

Где Фонвизин, по мнению Вяземского, оклеветал Даламбера? Вяземский, по-видимому, имел в виду одно из писем Фонвизина к П. И. Панину, в котором содержались резкие нападки на французских энциклопедистов: «Корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самых философов нынешнего века. В рассуждении денег

---

[16] Сударыня! Я ваш покорнейший слуга (франц.).

[17] Д. И. Фонвизин, Собр. соч., т. 2, стр. 447—448.

[18] «Подлый» в языке XVIII века могло иметь оттенок значения «подчиненный», «заискивающий», «подхалимствующий».

[19] П. А. Вяземский, Записные книжки. 1813—1848, стр. 118.

не гнушаются и они человеческою слабостию. Д'Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие. Я докажу опытом справедливость моего примечания. Приехал в Париж брат г. Зорича, полковник Неранчич, человек, впрочем, честный, но совсем незнакомый с науками. Служил он весь век в гусарских полках, никогда не брал книг в руки и никогда карт из рук не выпускал. Лишь только проведали д'Аламберт, Мармонтель и прочие, что он брат г. Зорича, то не почли уже за нужное осведомляться о прочих его достоинствах, а явились у него в передней засвидетельствовать свое нижайшее почтение. Мое к ним душевное почтение совсем истребилось после такого подлого поступка. Расчет их ясно виден: они сею низостью ласкались через Неранчича достать подарки от нашего двора. Рука, от которой бы они их получили, удовольствовала б их тщеславие, а подарки корыстолюбие»[20]. Как известно, С. Г. Зорич был в 1777—1778 годах фаворитом Екатерины II.

Это письмо Фонвизина к П. И. Панину подразумевал Вяземский, когда стыдил сатирика: «Даламберта, Дидерота, Мармонтеля описывает он <Фонвизин> шарлатанами, обманывающими народ за деньги, таскающимися по передним вельмож для испрашивания милостыни...»

Пушкин подчеркнул слова «таскающимися по передним вельмож для испрашивания милости» и поставил на полях «NB». Можно не сомневаться, что подчеркнутое место служило опорным пунктом возражений Пушкина Вяземскому. Пушкин не прощал французским просветителям их человеческих слабостей и не пытался оправдать их соображениями высшего порядка. Этическая сторона поведения писателя была остро злободневна для Пушкина, тесно соприкасаясь с размышлениями о его собственном месте в обществе. Таким образом, полемика Пушкина с Вяземским о французских энциклопедистах была не отвлеченным спором о достоинствах и недостатках просветителей XVIII века, а животрепещущим обменом мнений, имеющим прямое отношение к тем жизненным превратностям, которые выпадали на долю Пушкина и Вяземского. Недаром свою статью о Вольтере Пушкин закончил в 1836 году следующей декларацией независимости писателя и ученого: «настоящее место писателя есть его ученый кабинет <...> независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (XII, 81).

Разбор помет Пушкина, содержащихся в главе о заграничных странствиях Фонвизина, выявляет несколько аспектов его полемики с Вяземским. На первом плане (хотя не непосредственно, а в подтексте!) — сравнительная оценка общественной жизни России и Западной Европы. Пушкин возражает против безоговорочного предпочтения последней, к чему склонен Вяземский. Второй аспект — этический, о жизненных правилах французских энциклопедистов и, в частности, об их взаимоотношениях с Екатериной II. На материале XVIII века Пушкин и Вяземский дискутируют о писательской этике, об отношении писателей к сильным мира сего, о социальной зависимости или свободе писателя. Оба эти аспекта непосредственно перекрещиваются с оценкой общественной позиции Фонвизина, более близкой Пушкину, нежели Вяземскому. Недаром в одном из писем Вяземского к П. И. Бартеневу утверждалось, что в спорах тех лет Пушкин «фонвизинствовал».

Во всех трех преломлениях спора историческая проблематика переплеталась с политическими и этическими вопросами, волновавшими Пушкина и Вяземского в 1830-е годы.

Два эпилога

Это не опечатка: именно два эпилога — один XIX, другой — XX века. Начнем с первого.

Переехав в начале 1832 года из Москвы в Петербург, Вяземский заканчивал «Фонвизина». Работал и давал читать свой труд Пушкину и другим литераторам. Знакомясь с рукописью, на первой странице которой можно прочесть более пространное, первоначальное название книги «Биографические, исторические и литературные сведения (очерки о Д. И. Фонвизине и времени его)», мы обнаруживаем на ее полях многочисленные пометы, сделанные различными почерками.

Вот замечания вечно спешившего Александра Ивановича Тургенева: он успел прочесть, по-видимому, только первую главу — во всяком случае, его пометы встречаются лишь на первых страницах рукописи.

Вот рука педантичного чиновника министерства просвещения и духовных дел Константина Степановича Сербиновича, литера-

[20] Д. И. Фонвизин, Собр. соч., т. 2, стр. 481.

тора, цензора, человека, умевшего в одно и то же время оказывать услуги Карамзину и вождю противоположного лагеря в русской словесности — А. С. Шишкову. Записи К. С. Сербиновича в основном стилистического характера. Живой слог Вяземского ярко индивидуален и порой не в ладах со строгими грамматическими требованиями: на эти отступления от правил указывают пометы К. С. Сербиновича. В некоторых его записях полемика с Пушкиным.

Имеются и пометы пока не установленных авторов.

Однако рассказ о всех этих записях завел бы нас слишком далеко. Ограничимся выяснением двух вопросов. Когда сделал Пушкин свои пометы? Как сложилась судьба рукописи Вяземского?

Для ответа на первый вопрос пришлось сопоставить текст рукописи с журнальной публикацией одной из ее глав, напечатанной в альманахе «Альциона на 1833 год». Удалось установить, что в тексте альманаха учтены исправления, имеющиеся на рукописи, и что для нас в данном случае особенно важно: одно из исправлений сделано по помете К. С. Сербиновича. Следовательно, пометы Сербиновича поддаются датировке: не позднее осени 1832 года, ведь цензурное разрешение альманаха «Альциона на 1833 год» было дано 18 октября 1832 года. Как уже говорилось, в нескольких случаях Сербинович полемизировал в своих пометах с Пушкиным, из этого можно заключить, что пометы Пушкина предшествовали пометам Сербиновича.

Итак, пометы Пушкина можно датировать не позднее осени 1832 года. Скорее всего их следует отнести к весне 1832 года, когда Вяземский, по свидетельству его писем к жене, исправлял «Фонвизина». Естественно предположить, что перед началом правки он дал рукопись на просмотр Пушкину и Сербиновичу. Вяземский охотно прибегал к «домашней» редактуре, частенько обращаясь к своим друзьям и знакомым. Кстати заметим, что дата на первой странице рукописи: 1832, в свою очередь, исключает более раннюю датировку помет Пушкина. Итак, весна 1832 года! Сведения о спорах Пушкина и Вяземского также подтверждают эту датировку: ведь именно к этому времени относится баталия их по поводу книги Дюмона, органически сливающаяся с пометами Пушкина на рукописи «Фонвизина».

Теперь расскажем о дальнейших злоключениях этой интересной рукописи. Во второй половине 1834 года она была представлена в Санкт-Петербургский цензурный комитет. Ей повезло: она попала к наиболее просвещенному цензору того времени — Петру Александровичу Корсакову, который сам был писателем и переводчиком. Рукопись «Фонвизина» благополучно миновала цензурное «чистилище»; 3 января 1835 года П. А. Корсаков поставил цензорский гриф; кроме одного места, которое могло вызвать бурю в духовной цензуре, все остальное было пропущено без всяких урезок. В это время Вяземский находился в Италии и получил рукопись обратно не ранее второй половины марта 1835 года, то есть по возвращении в Петербург. Между тем издать «Фонвизина» в этом году ему не удалось. В середине февраля 1836 года рукопись «Фонвизина» вновь была отдана в цензуру: истек годичный срок разрешения и было необходимо получить новое. На этот раз рукопись «Фонвизина» была получена из цензуры Пушкиным; он сообщал Вяземскому: «Поздравляю с благополучным возвращением из-под цензуры. Посылаю Ф.<он>Визина» (XVI, 127).

Злоключения рукописи «Фонвизина» на этом не кончились: имелось цензурное разрешение, но не удалось найти издателя. Вяземский стал публиковать отдельные главы «Фонвизина» в периодических изданиях. Восьмая глава книги, посвященная разбору комедий Фонвизина и Грибоедова, появилась в пятом томе «Современника», материалы для которого отбирал еще Пушкин в последние дни жизни. Пушкину не суждено было увидеть полное издание столь ценимой им книги Вяземского: оно появилось лишь одиннадцать лет спустя после гибели Пушкина.

Каким же образом сохранилась рукопись «Фонвизина»? Благодаря бесконечным мытарствам! Будь она издана сразу, она, может быть, кончила бы свой век в типографии, и до нас не дошли бы пометы Пушкина. Однако судьба ее сложилась иначе. Вот как рассказывает об этом Вяземский в «Автобиографическом введении»: «В отсутствия, иногда довольно продолжительные, директоров, я управлял департаментом внешней торговли; при нем издавалась «Коммерческая газета» и была типография. По старому ремеслу обращал я на них особенное внимание. Управляющий типографиею был человек, знающий свое дело и усердный к нему. Он часто просил меня дать ему что-нибудь моего на станки его. Я вспомнил о спящей царевне моей, то есть о рукописи, и отдал ее в типографию» [21].

Книга вышла в свет в начале 1848 года.

---

[21] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 1, стр. LI—LII.

А куда попала рукопись? Она осталась в цензуре. По существовавшим тогда правилам автор обязан был представлять в цензуру рукопись произведения. Приступив к печатанию книги, Вяземский нарушил это установление: он представил корректурные листы. Чтобы оправдать подобное отступление от буквы закона, он вместе с корректурой отослал в цензуру рукопись, которая за десять лет до этого была завизирована П. А. Корсаковым. Случай был необычный, и цензурный комитет счел возможным уважить просьбу Вяземского. Сличив рукопись «Фонвизина» с корректурными листами, цензор А. В. Никитенко подписал книгу к печати. Рукопись больше не нужна была автору — и цензор то ли забыл вернуть ее Вяземскому, то ли удержал у себя в качестве оправдательного документа. Она осталась в делах.

Здесь начинается второй эпилог.

Рукопись «Фонвизина», числящаяся среди других материалов богатой коллекции Петербургского цензурного комитета, в наших руках. Перед нами писарский почерк. кое-где исправления, сделанные рукой Вяземского. Всякий, кто занимался изучением литературы того времени, легко отличит его почерк среди десятка других: необычная вязь с наклоном влево, а не вправо, как обычно. Поля рукописи испещрены замечаниями. Среди разных почерков внезапно возникает знакомое начертание букв. Неужели Пушкин? Чем дальше мы бережно переворачиваем листы, тем более убеждаемся в правдоподобности нашей догадки. Наконец доходим до пометы «сам ты Гиббон». Кто же, кроме Пушкина, мог осмелиться написать такое Вяземскому? Эта помета рассеяла последние сомнения: да, многие записи сделаны Пушкиным!

Начинается кропотливая работа над рукописью, постепенно выявляем пушкинские записи и переписываем их в печатный экземпляр «Фонвизина». Туда же заносим пометы, принадлежащие другим лицам.

Просим Николая Васильевича Измайлова, одного из лучших знатоков пушкинских рукописей, пройти с нами в Центральный государственный исторический архив, где находится рукопись, чтобы удостоверить почерк Пушкина. Подаем Николаю Васильевичу рукопись «Фонвизина». Не торопясь, страницу за страницей просматривает он рукопись. Проходит час, другой. Наконец Николай Васильевич говорит: «Сомнений нет. Это почерк Пушкина. Поздравляю вас».

Мстислав Александрович Цявловский, виднейший пушкинист старшего поколения, столько сделавший для разыскания неизвестных рукописей поэта, при нахождении новых автографов говорил: «Прошу встать!» Стоя перед рукописью с пометами Пушкина, мы вспоминали эти слова, полные безграничного уважения к памяти поэта, к его литературному наследию.



М. И. Гиллельсон

Пушкин и «Записки» Е. Р. Дашковой

I. РУКОПИСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО

Незадолго до смерти Пушкина, в двадцатых числах декабря 1836 года, вышел в свет четвертый том «Современника». В нем было напечатано следующее извещение:

«От редакции

Спешим уведомить публику, что в начале будущего, 1837 года, выйдет в свет: Старина и новизна, исторический и литературный сборник, изданный к. Вяземским.

В сей книге будут помещены многие любопытные материалы, относящиеся до истории нашей, извлеченные из бумаг графа Ивана Захаровича Чернышева, подаренных издателю сыном его графом Григорьем Ивановичем. Между прочими статьями упомянем о письмах и рескриптах царевича Алексея Петровича, Екатерины II, графа Чернышева, об анекдоте о принце Бироне и проч. и проч., почерпнутых из других достоверных источников. Будут еще письма Екатерины II к вице-адмиралу принцу Нассау-Зигену, отрывок из собственноручных записок графа Растопчина, воспоминания о графе Каподистрии и некоторых современных ему происшествиях...» [1]

Замысел Вяземского не был осуществлен: сборник «Старина и новизна» не был напечатан. В бумагах Вяземского сохранилась программа этого сборника, из которой видно, что, помимо материалов, упомянутых в редакционном извещении, он готовил к печати грамоты великого князя Семиона Бекбулатовича, царей Иоанна, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, указы и письма Петра I, письма многих выдающихся русских деятелей XVIII века [2].

Все ли исторические документы, имевшиеся в распоряжении Вяземского, были включены им в программу сборника «Старина и новизна»? Нет, далеко не все. Вяземский владел и такими рукописями, о которых в те годы нельзя было печатно упоминать. У него хранились «Записки императрицы Екатерины II», «Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника сенатора И. В. Лопухина», дневник польского короля Станислава Августа и наконец «Записки княгини Е. Р. Дашковой». Для нас все эти записки — исторические источники, по которым мы изучаем эпоху Екатерины II. Во времена Пушкина эти мемуары были злободневны, правительство пыталось изъять из частного обращения ходившие по рукам списки этих воспоминаний. Не случайно два десятилетия спустя мемуары Екатерины II, И. В. Лопухина и Е. Р. Дашковой были напечатаны Герценом в изданиях Вольной русской типографии в Лондоне: раскрывая закулисную сторону государственной жизни России, эти воспоминания помогали Герцену вести борьбу с самодержавием.

В настоящей статье речь пойдет о «Записках» Е. Р. Дашковой, точнее — о рукописной копии этих записок, которая по сей день хранится в архиве Вяземского. Именно эту копию записок Е. Р. Дашковой читал Пушкин, из этой копии делал свои выписки о Радищеве и на этой копии, как нам удалось установить, сделал помету о Дидро и Дашковой.

II. ДАШКОВА И ДИДРО

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова была выдающейся русской женщиной XVIII века. Герцен, посвятивший ей одну из своих блестящих статей, писал: «В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесни московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью» [3].

Дашкова родилась в 1743 году в знаменитой семье Воронцовых, давшей России известных государственных деятелей. Ее отец Роман Илларионович Воронцов был сенатором и генерал-аншефом; ее дядя Михаил Илларионович, в доме которого она воспитывалась, играл видную роль в царствовании Елизаветы Петровны, занимая посты вице-канцлера, а затем канцлера. Он покровительствовал Ломоносову,

[1] «Современник», 1837, т. IV, стр. 299-300.

[2] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 948, лл. 11—17.

[3] А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XII. М., Изд. АН СССР, 1957, стр. 362.

88

de mon conducteur, que cette loge etoit destinée par
Mr le Duc pour les Dames etrangeres de distinction;
sans bouger ni repondre, elles jouoient les sourdes et mu-
ettes; je priai mon conducteur de ne plus s'inquietter,
que je ne me souciois pas du spectacle, et que je m'en
retournois chez moi. Lady Rider et Mlle Kamensky
resterent debout derriere ces femmes impertinentes, et
moi et Madame Hamilton nous quittames la place.
dans le vestibule nous trouvames d'autres desagrements,
et même du danger: Mrs les Gardes du Corps empechoient
a coups de Crosse de leurs fusils que la populace qui
vouloit à toute force entrer, parceque c'etoit un spec-
tacle Gratis, n'enfonça la porte de la salle. Ces Messi-
eurs par Zele ou par mauvaise plaisenterie, donnoient
des coups à ceux qui vouloient sortir, comme à ceux
qui vouloient entrer, et je reçus un coup, quoique
j'etois de la classe reinformable des premiers. Peut-
etre aurois-je été assomée avant d'arriver
dans la rue, si je ne m'etois qualifiée du titre de
la P. Dachkoff: tant il est vrai que la pretendue
politesse des François ne part pas du coeur. Le Gen-
darme ou Garde du Corps me fit alors la sotte
excuse qu'il n'avoit pas sçu ma qualité, je lui repon-
dis qu'il auroit du suffire pour ma sureté que je
fusse en cotillion et que je voulusse sortir et non
entrer; il craignoit que je ne me plaignisse au Duc

Diderot
et app...
l'equili...
que l'au...
auroit
par vi...

Помета А. С. Пушкина
на полях записок княгини
Дашковой.



Д. Дидро.

интересовался успехами отечественной науки. Братья Дашковой — Александр и Семен Романовичи Воронцовы — стяжали широкую известность на дипломатическом поприще. Любознательная Екатерина Романовна жадно читала книги, учила иностранные языки. Благодаря своему упорству и настойчивости она стала одной из образованнейших женщин своего времени: недаром в 1783 году Екатерина II назначила ее президентом Петербургской академии наук и Российской академии. 13 лет находилась Дашкова во главе двух академий, проявив незаурядный организаторский талант, способствуя расширению деятельности верховных «штабов» русской науки и словесности.

Дашкова предпринимала длительные поездки за границу, знакомилась с памятниками старины, изучала политические установления западноевропейских стран, встречалась с известными писателями, философами, учеными: Вольтером и Дидро, борцом за независимость Корсики Паоли, английским историком Робертсоном, шотландским математиком Фергюсоном, французским публицистом Рейналем, французским астрономом Лаландом и многими другими. Она много повидала на своем веку, ей было о чем вспомнить. Ее мемуары написаны по-французски, на языке, которым отменно владели русские аристократы XVIII века.

При чтении ее записок особое внимание привлекают страницы, в которых она рассказывает о своих встречах с Дидро. Они познакомились в ноябре 1770 года во французской столице. Вспоминая об этом времени, Дашкова писала: «В Париже я пробыла всего 17 дней и не хотела видеть никого, за исключением Дидро. <...> Обыкновенно я выходила из дому в 8 часов и до трех пополудни разъезжала по городу, затем останавливалась у подъезда Дидро; он садился в мою карету, я везла его к себе обедать, и наши беседы с ним длились иногда до двух, трех часов ночи. <...> Все 17 дней моего пребывания в Париже были для меня крайне приятными, так как я посвятила их осмотру достопримечательностей, а последние 10—12 дней провела всецело в обществе Дидро» [4].

По свидетельству Дидро, написавшего статью о своем знакомстве с Дашковой, он «провел с ней в это время четыре вечера, от пяти часов до полночи, имел честь обедать и ужинать, и был почти единственным французом, которого она принимала» [5]. Сведения Дидро более точные, чем запись Дашковой: он писал статью в 1770 году, по горячим следам своих встреч с русской путешественницей; Дашкова писала по памяти спустя три с половиной десятилетия. Впрочем, возможно, что дело не столько в провалах памяти, сколько в том, что Дашкова хотела изобразить свои отношения с Дидро более основательными, чем они были на самом деле; скорее всего это было преувеличение, искусная ретушь для потомства: ведь она не знала, что в бумагах Дидро лежит рукопись статьи, которая уличит ее.

Продолжая свою статью, Дидро писал: «Несмотря на погоду ноябрьскую, Дашкова каждое утро выезжала около девяти часов и никогда не возвращалась домой раньше вечера, к обеду. Все это время она отда-

[4] Е. Р. Дашкова, Записки. СПб., 1907, стр. 101—107.

[5] Цит. по русскому переводу в кн. Е. Р. Дашкова, Записки. Лондон, 1859, стр. 372.



Е. Р. Дашкова. Гравюра
работы А. Уоррена.

вала осмотру замечательных вещей, картин, статуй, зданий и мануфактур. Вечером я приходил к ней толковать о предметах, которых глаз ее не мог понять и с которыми она могла вполне ознакомиться только с помощию долгого опыта, — с законами, обычаями, правлением, финансами, политикой, образом жизни, искусствами, науками, литературой; все это я объяснял ей, насколько сам знал»[6]. По словам Дидро, Дашкова была англоманка: «Она искренно ненавидит деспотизм и все проявления тирании. Она коротко знакома с настоящим управлением и откровенно говорит о добрых качествах и недостатках представителей его. Метко и справедливо раскрывает выгоды и пороки новых учреждений»[7].

Однако, будучи сторонницей английского конституционного режима, Дашкова полагала, что Россия не доросла до подобного правления. Дидро писал со слов своей собеседницы: «Когда Екатерина задумала издать Свод законов, она спросила совета у Дашковой, которая заметила: «Вы никогда не увидите окончания его, и в другое время я сказала бы вам причину, но и попытка великое дело; самый проект составит эпоху»[8]. Мы не знаем, был ли подобный разговор между Екатериной II и Дашковой, не сочинен ли он задним числом, чтобы представить себя в пророческом ореоле перед французским философом; в данном случае нас интересует не историческая точность свидетельства Дашковой, а самый смысл ее прогноза, ее сомнение в возможности введения в России свода законов, который в какой-то степени ограничил бы произвол самодержавной власти.

Подобная же двойственность — расхождение между теоретическим признанием свободы в области социальных отношений и убеждением в несвоевременности ее осуществления в условиях России второй половины XVIII века — свойственна Дашковой и в вопросе о крепостном праве. Излагая содержание своих бесед с Дидро, она писала, что «однажды разговор коснулся рабства наших крестьян». Дашкова уверяла Дидро, что установила в своем «орловском имении такое управление, которое сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограбления и притеснения мелких чиновников». Дидро возразил ей: «Но вы не можете отрицать, княгиня, что, будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче».

«Если бы самодержец, — ответила я, — разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиками, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своею кровью подписалась бы под этой мерой». Итак, Дашкову больше волновал вопрос о независимости дворянского сословия по отношению к верховной власти, нежели величайшая социальная проблема России, проблема бесправия крестьян. Свою защиту крепостничества Дашкова аргументировала тезисом о том, что свободе должно предшествовать просвещение:

«Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления».

После того как Дидро ответил: «Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня еще не убедили», — Дашкова блеснула замысловатым сравнением, уподобив крепостного слепорожденному: «...мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон пропастью; лишенный зрения, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит незадачливый глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот — наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен: не спит, не ест и не поет больше; его пугает окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и отчаяния.

Дидро вскочил при этих словах со своего стула, будто подброшенный невидимой пружиной. Он заходил по комнате большими шагами и, сердито плюнув на землю, воскликнул: «Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых двадцать лет»[9].

---

[6] Там же, стр. 372—373.

[7] Там же, стр. 375—376.

[8] Там же, стр. 376.

[9] Е. Р. Дашкова, Записки. СПб., 1907 стр. 101—103.

Вряд ли можно сомневаться, что в своих воспоминаниях Дашкова оборвала разговор на том месте, где Дидро красноречиво и страстно атаковал ее аргументацию в защиту рабства. Ей хотелось запечатлеть их спор таким образом, как будто один из умнейших французских энциклопедистов капитулировал перед ее доводами. Будь это так, Дидро не был бы Дидро! Между тем в действительности Дидро остался непоколебимым защитником свободы — 3 апреля 1771 года он писал Дашковой: «У каждого века есть свой отличительный дух. Дух нашего времени — дух свободы. Первый поход против суеверия был жестокий и запальчивый. Когда же люди осмелились один раз пойти против религиозного рожна, самого ужасного и самого почтенного, остановить их невозможно. Если один раз они гордо взглянули в лицо небесного величества, вероятно скоро встанут и против земного. Веревка, стягивающая шею всего человечества, состоит из двух снурков, из которых нельзя разорвать одного без разрыва другого» [10].

Два с половиной года спустя Дидро приехал в Петербург. Однако в России им не удалось встретиться: Дидро жил в столице, Дашкова — в Москве. Два письма, посланных французским философом из Петербурга, свидетельствуют о том, что он продолжал считать ее в числе своих хороших знакомых. «Вы, конечно, помните, с какой свободой вы позволяли мне говорить в улице Гренвиль, — писал Дидро, — той же свободой я пользуюсь и в царском дворце; я могу все говорить, что ни попадет в голову; — умно, когда я считаю себя дураком, и глупо, когда мне кажется, что мудрым. Идеи, перенесенные из Парижа в Петербург, принимают совершенно другой цвет» [11]. Знаменательное признание! Как ни очаровала знаменитого философа русская императрица, хоть он и писал, что у нее душа Брута, а сердце Клеопатры, споры на берегах Невы, в преддверии огромной страны, стонущей под игом самовластия, невольно несли отпечаток истинного положения вещей. Жестокая правда разрушила иллюзии Дидро, ранее полагавшего, что Екатерина II будет действовать по его предначертаниям.

В 1780 году Дидро и Дашкова снова встретились в Париже: «С невыразимою радостью я увидела Дидро, поцеловавшего меня с той теплой сердечностью, которою отличались его отношения к друзьям. <...> Дидро, несмотря на слабое здоровье, посещал меня почти ежедневно» [12].

Такова история знакомства Дашковой с Дидро. В ее отзывах о французском философе каждый читатель ее записок может обнаружить трогательное почитание и глубочайшее уважение: «Я очень любила в Дидероте даже и запальчивость его, которая была в нем плодом смелого воззрения и чувства; откровенность его, искренняя любовь, которою любил он друзей своих, гений его, проницательный и глубокомысленный, участие и уважение, всегда им мне оказанные, привязали меня к нему на всю жизнь. Я оплакала смерть его и не перестану оплакивать ее до последнего дыхания жизни. Худо умели ценить эту необыкновенную голову: добродетель и правота руководствовали всеми его поступками и общее благо были исканием и страстью его постоянными. Если опрометчивостью своею впадал он иногда в заблуждение, то и тогда бывал искренен и сам себя обманывал» [13].

Как справедливо отметил Ю. Г. Оксман, споры Дашковой с Дидро на острые социальные и политические темы не прошли мимо сознания Пушкина, автора «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева». Ведь эти споры касались важнейших проблем русского общественного развития, и во времена Пушкина они были не менее актуальны, чем за три года до пугачевского восстания, когда в Париже французский философ и русская княгиня пылко опровергали друг друга.

Встречи Дашковой с Дидро, ее восторженные суждения о французском философе были по достоинству оценены в пушкинском кругу. Вяземский вспоминал о них, когда писал свою книгу о Фонвизине. Он даже приводил их в противовес резким отзывам Фонвизина, как «очистительное жертвоприношение памяти мужей, которые имели свои заблуждения и погрешности, но ознаменовали земное поприще свое заслугами просвещению и, следовательно, человечеству» [14].

Как мы вскоре увидим, Пушкин также с

---

[10] Е. Р. Дашкова, Записки. Лондон, 1859, стр. 363.

[11] Там же, стр. 365.

[12] Е. Р. Дашкова, Записки. СПб., 1907, стр. 136—137.

[13] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. V. СПб., 1880, стр. 86.

[14] Там же, стр. 86—87.

особым вниманием прочел страницы воспоминаний, излагавших беседы Дашковой с Дидро.

III. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СУДЬБА «ЗАПИСОК» ДАШКОВОЙ

Личная жизнь Дашковой сложилась неудачно. Она рано овдовела, похоронив страстно любимого мужа. Дети — сын и дочь — не оправдали ее надежд. Она дала первоклассное воспитание сыну, но не смогла осилить природу: сын не унаследовал ума рода Воронцовых. Зато он был изумительно красив: он был сыном своего отца. Как известно, мужская красота ценилась при дворе Екатерины II. Алексей Орлов, встретив Дашкову с сыном за границей, с циничной откровенностью предложил ей сделать молодого Дашкова очередным фаворитом императрицы. Княгиня с негодованием отвергла это предложение: не о такой карьере мечтала она для своего сына. Вскоре сын самовольно женился на дочери таможенного чиновника; властная Дашкова не признала неравного брака; она настояла, чтобы сын разъехался с женой. Только у его гроба она поняла, что ничего не достигла своей настойчивостью: не осталось даже внука утешать ее старость. С дочерью у Дашковой отношения были открыто враждебные. Одиноко и сиротливо шли годы.

Между тем судьба преподнесла ей нежданный подарок. В 1803 году к ней приехала погостить молоденькая мисс Вильмот, близкая родственница ее ирландских друзей. Дашкова всем сердцем привязалась к ней. Уступая ее просьбам, Дашкова написала свои воспоминания: «Слушая откровенный рассказ княгини о происшествиях ее юности, я иногда удивлялась, почему она не передает их потомству. Дашкова улыбалась, говоря, что ее часто просили об этом, но она никогда не могла победить отвращения к подобной работе. В первую осень моей жизни в ее доме я возобновила просьбу, убеждая присесть за мемуары, что, по моему мнению, могло занять и облегчить ее от домашнего горя. Я была уверена, что этот труд доставит ей самой источник нового отрадного развлечения, и дальше этого ничего не имела в виду. Наконец княгиня согласилась и, к крайнему моему изумлению, объявила, что она посвятит эти мемуары мне с тем, чтоб я впоследствии издала их в свет» [15].

Наивная мисс Вильмот удивлялась, почему Дашкова предназначала ей роль издательницы своих мемуаров. Дашкова лучше ее знала условия отечественной цензуры: записки, повествующие подробно о восшествии на престол Екатерины II, записки, в которых излагались ее споры с Дидро о крепостничестве и многое другое, не могли быть напечатаны даже в первые либеральные годы царствования Александра I.

По возвращении на родину мисс Вильмот хотела сразу же после смерти Дашковой (она скончалась в январе 1810 г.) издать ее записки. Однако русский посол в Лондоне С. Р. Воронцов, брат Дашковой, воспротивился этому. Лишь в 1840 году ей удалось напечатать английский перевод воспоминаний Дашковой. Это издание привлекло внимание Герцена. Со свойственным ему темпераментом он написал блестящий историко-психологический этюд «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» и опубликовал его в «Полярной звезде». По его инициативе М. Мейзенбуг перевела записки Дашковой с английского на немецкий язык. Это издание записок с предисловием Герцена о Дашковой появилось в 1857 году. Два года спустя при содействии Герцена в Лондоне появился русский перевод записок, которому также было предпослано предисловие Герцена. В России превосходные записки Дашковой (так их аттестовал Герцен) впервые были напечатаны в 1881 году: в XXI томе «Архива кн. Воронцова» П. И. Бартенев опубликовал французский текст записок. Наконец в 1907 году появилось отдельное русское издание. Для широкого русского читателя записки были под спудом целое столетие.

Однако записки Дашковой имели не только печатную, но и рукописную историю. Так уж повелось в царской России, что наиболее интересные произведения мемуарного и публицистического характера распространялись тайком, в списках. После смерти Дашковой один экземпляр записок, найденный в ее бумагах Ю. А. Нелединским-Мелецким, был им удержан у себя, а затем спустя несколько лет передан им племяннику покойной, князю М. С. Воронцову.

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий, поэт и вельможа, был давнишним другом отца Вяземского и знал с малолетства будущего поэта и критика. В 1812 году война забросила их обоих в Вологду.

[15] Е. Р. Дашкова, Записки. Лондон, 1859, стр. 405.



Е. Р. Дашкова в ссылке.
Гравюра работы А. Уоррена.

Шестидесятилетний поэт читал свои стихи молодому Вяземскому, охотно проводил время в его обществе. Они подружились. Ю. А. Нелединский-Мелецкий рассказал своему юному другу, что ему посчастливилось найти в бумагах Дашковой ее записки. Вяземский загорелся, он жаждет прочесть эту потаенную хронику екатерининского царствования, хочет посмотреть глазами Дашковой на Западную Европу. Маститый вельможа беспомощно разводит руками: рукопись осталась в Москве; кто знает, сохранится ли она в эти грозные годы.

К счастью, рукопись уцелела, и вскоре Ю. А. Нелединский-Мелецкий смог удовлетворить любопытство Вяземского. Залпом, с захватывающим интересом прочел Вяземский записки Дашковой и попросил разрешение снять копию. Согласие было получено, и Вяземский отдал рукопись писцу. Переписчик оказался не силен во французской грамоте: в копии многочисленные орфографические искажения, исправленные рукою Вяземского. Это было в середине 1810-х годов — бумага, на которой переписаны записки Дашковой, имеет четкий водяной знак: 1814. Именно эту копию записок читал Пушкин.

IV. ПУШКИН ЗА ЧТЕНИЕМ «ЗАПИСОК» ДАШКОВОЙ

В 1830-е годы Пушкин с необыкновенным усердием рылся в исторических источниках. Его работа историографа Петра I и Пугачева требовала тщательных разысканий документов; он добился допуска в секретные архивы, получил разрешение ознакомиться с бумагами Вольтера, хранившимися в Эрмитажной библиотеке в Петербурге. В эти годы его мысль неоднократно возвращалась к запретному имени Радищева. Именно к 1833—1836 годам, когда Пушкин работал над статьями о Радищеве, относится чтение им воспоминаний Дашковой. Сведения об авторе «Путешествия из Петербурга в Москву» были наперечет, и Пушкин старался вознаградить нехватку печатных материалов рукописными источниками. У П. П. Свиньина он одолжил записки секретаря Екатерины II А. В. Храповицкого, в которых были вкраплены ценные свидетельства о ходе следствия над крамольным писателем. Естественно, что «Записки» Дашковой, в которых также говорилось о Радищеве, привлекли внимание Пушкина — благо рукописная коллекция Вяземского всегда была к его услугам.

Прочитав «Записки» Дашковой, Пушкин выписал место о Радищеве, и не только выписал, но и вступил с Дашковой в замаскированную полемику. Речь идет о произведении Радищева «Житие Ф. В. Ушакова», его друга, умершего в молодости. Сравним, что писали Дашкова и Пушкин об этом некрологе.

Вспоминая о своем брате Александре Романовиче Воронцове, Дашкова писала: «Мой брат имел под своим началом коммерц-коллегию и таможни. Я встречала у него одного молодого человека, г. Радищева, который получил образование в Лейпциге и к которому брат был очень привязан. Однажды в Российской академии, в доказательство того, что у нас много писателей, не знающих родного языка, мне показали брошюру, которую написал и издал этот самый Радищев. Это было жизнеописание одного из его товарищей по учению в Лейпциге, некоего Ушакова, и похвальное слово ему. Я об этом в тот же вечер сказала брату, который начал с того, что послал к книгопродавцу за этой брошюрой. Я заметила ему, что его протеже страдает зудом писать, несмотря на то, что ни его стиль, ни его мысли не переварены как следует и что у него встречаются даже мысли или выражения, опасные по нашему времени. Несколько дней спустя мой брат сказал мне, что я слишком строго осудила маленькое произведение Радищева, что он прочитал его и что о нем можно было бы сказать, что оно лживо, ибо этот Ушаков никогда не сделал и не написал ничего замечательного, вот и все. Возможно, сказала я, что слишком много строгости в вынесенном мною суждении. Но, так как брат интересовался автором, я сочла своим долгом предупредить его о том, что, казалось мне, я усмотрела в этой глупой маленькой брошюре: что, когда человек существовал лишь для того, чтобы спать, пить и есть, он не мог бы найти панегиристов, разве что в лице некоторых, охваченных безумием печататься при жизни, и что этот писательский зуд может привести его протеже к тому, что он напишет в будущем что-нибудь еще более предосудительное» [16].

Сравним строгий приговор Дашковой с отзывом Пушкина о «Житии Ф. В. Ушакова». В запрещенной цензурой статье «Александр Радищев» (не дозволенная к

---

[16] Рукою Пушкина, стр. 591.

печати распоряжением министра народного просвещения С. С. Уварова, эта статья впервые была опубликована в 1857 году) Пушкин утверждал: «Радищев написал «Житие Ф. В. Ушакова». Из этого отрывка видно, что Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21-м году своего возраста от следствий невоздержанной жизни; но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений» (XII, 31).

Дашкова считала Ушакова ничтожеством, в то время как Пушкин в первую очередь обратил внимание на привлекательные черты его характера, на его стойкость перед лицом смерти. В отзыве Дашковой явственно проступает неприязненное отношение к личности Радищева, в то время как в статье Пушкина звучит восхищение нравственной непоколебимостью писателя, «политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостию» (XII, 32—33).

Однако интерес Пушкина к «Запискам» Дашковой не ограничивался страницами, посвященными Радищеву. Ведь Дашкова подробно описывала события, приведшие к воцарению Екатерины II, а во времена Пушкина эта тема была под запретом: цензура не допускала в печать воспоминаний и статей, излагавших историю дворцовых переворотов XVIII столетия. Между тем закулисная «подоплека» русского XVIII века, безусловно, привлекала внимание Пушкина. Для доказательства этого положения достаточно привести следующий пример. Сохранился узкий листок бумаги, на котором Пушкин конспективно изложил свой разговор с дочерью Е. Р. Дашковой:

«Разумовский, Никита Панин, заговорщики. Г<осподин> Дашков, посол в Константинополе. Влюблен в Екатерину. Петр III ревнует к Елизавете Воронцовой. (Г-жа Щербинина)» (XII, 204).

Госпожа Щербинина — это Анастасия Михайловна Щербинина, урожденная Дашкова. Она умерла 19 июля 1831 года. Известно, что 20 февраля 1831 года Пушкин был на бале в ее доме в Москве. По всей вероятности, приведенная выше запись сделана Пушкиным около этого времени. Как мы видим, А. М. Щербинина, знавшая со слов своей матери подробности заговора 1762 года, рассказывала Пушкину о событиях дворцового переворота.

Несколько лет спустя, читая «Записки» Дашковой, Пушкин мог возобновить в памяти свой разговор с А. М. Щербининой. В частности, Пушкин прочел в воспоминаниях Дашковой о том, как она вовлекла в заговор своего дядю графа Никиту Ивановича Панина, а также фельдмаршала графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Эти страницы ее записок имели особый, родословный интерес для поэта. В одной из заметок своих застольных разговоров, «Table-talk», Пушкин писал:

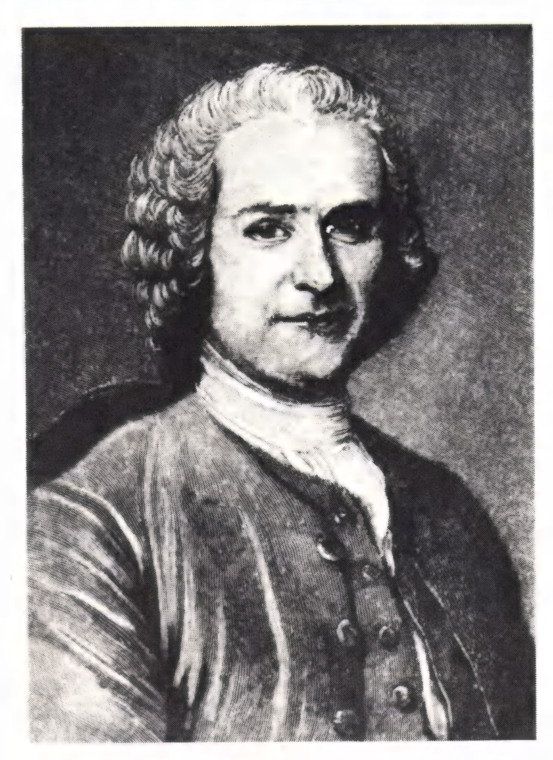
«Граф К. Разумовский был в заговоре 1762 г. Исполнение было ускорено изменою одного из сообщников. Екатерина уже бежала из Петергофа, а Разумовский еще ничего не знал. Он был дома. Вдруг слышит, к нему стучатся. «Кто там?» — «Орлов, отоприте». Алексей Орлов, которого до тех пор гр. Разумовский не видывал, вошел и объявил, что Екатерина в Измайловском полку, но что полк, взволнованный двумя офицерами (дедом моим Л. А. Пушкиным и не помню еще кем), не хочет ей присягать. Разумовский взял пистолеты, поехал в фуре, приготовленной для посуды, явился в полк и увлек его. Дед мой посажен в крепость, где и сидел два года» (XII, 162).

Об этом эпизоде Пушкин вспоминает также в «Моей родословной»:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин...
(III, 262).

Так скрестилась судьба деда Пушкина и княгини Дашковой. Впрочем, поэт знал, что и Дашкова, деятельно взявшая сторону Екатерины II, многие годы была не в чести. Даже назначив ее президентом двух академий, императрица выказывала ей порой свое неодобрение. 4 декабря 1833 года Пушкин занес в свой дневник:

«...вечером у Загряжской (Нат. Кир.). Разговор о Екатерине: Наталья Кирилловна была на галере вместе с Петром III во время революции. Только два раза видела она Екатерину сердитою, и оба раза на княгиню Дашкову. Екатерина звала ее в



Ж.-Ж. Руссо. Художник Делякур.

Эрмитаж. Кн. Дашкова спросила у придворных, как ходят они туда. Ей отвечали: через алтарь. Дашкова на другой день с десятилетним сыном прямо забралась в алтарь. Остановилась на минуту, — поговорила с сыном о святости того места — и прошла с ним в Эрмитаж. На другой день все ожидали государыню, в том числе и Дашкова. Вдруг дверь отворилась, и государыня влетела, и прямо к Дашковой. Все заметили по краске ее лица и по живости речи, что она была сердита. Фрейлины перепугались. Дашкова извинялась во вчерашнем проступке, говоря, что она не знала, чтобы женщине был запрещен вход в алтарь.

— Как вам не стыдно, — отвечала Екатерина. — Вы русская и не знаете своего закона; священник принужден на вас мне жаловаться... Наталья Кирилловна рассказала анекдот с большой живостию. Княгиня Кочубей заметила, что Дашкова вошла, вероятно, в алтарь в качестве президента Русской академии. Второго анекдота я не выслушал» (XII, 316).

Пушкин слышал этот рассказ из уст Загряжской, урожденной графини Разумовской, дочери того самого Кирилла Григорьевича Разумовского, решительность которого определила успех дворцового переворота 1762 года.

Однако вернемся к записи Пушкина о его разговоре с А. М. Щербининой. Как мы помним, Пушкин записал, что князь М. И. Дашков был влюблен в Екатерину II. Это свидетельство поможет нам уточнить отношение поэта к воспоминаниям Дашковой. Ведь порой незаметные и на первый взгляд маловажные сведения дают новое, неожиданное освещение всей картине, нарисованной тем или иным мемуаристом. Чтобы прокомментировать эту запись Пушкина, вспомним историю замужества Дашковой.

В 1759 году Е. Р. Воронцова 15-летней девушкой по любви вышла замуж за блестящего, молодого, богатого офицера Преображенского полка князя Михаила Ивановича Дашкова. Через два года супруги переехали из Москвы в Петербург. Сестра Дашковой Елизавета Романовна была открытой любовницей Петра III. Однако Дашкова вопреки желанию родных избрала собственную дорогу. Она сблизилась с Екатериной и вступила в ряды заговорщиков. Дашкова была смелая женщина, за себя она не боялась. Однако, страстно любя своего мужа, она не хотела подвергать его опасности. Страшась за его судьбу — заговор мог быть раскрыт, — Дашкова выхлопотала ему пост русского посла в Константинополе, куда он уехал в феврале 1762 года.

Впрочем, не исключено, что была еще одна немаловажная причина, по которой Дашкова решила удалить мужа из Петербурга: ревность! Хотя в своих «Записках» она не обмолвилась о влюбленности М. И. Дашкова в Екатерину II, косвенное подтверждение этому свидетельству содержится в ее письме к мистрис Гамильтон: «Я знаю только два предмета, которые были способны воспламенить мои бурные инстинкты, не чуждые моей природе: неверность мужа и грязные пятна светлой короны Екатерины II» [17].

[17] Е. Р. Дашкова, Записки. Лондон, 1859, стр. 359.

Для Пушкина рассказ А. М. Щербининой о влюбленности мужа Дашковой в Екатерину II мог иметь психологический интерес. В своих воспоминаниях Дашкова объясняет внезапное охлаждение к ней Екатерины II исключительно неприязненными отношениями, сложившимися между ней и Алексеем Орловым, фаворитом императрицы. Между тем увлечение М. И. Дашкова (можно думать, что Екатерина II не была слишком строга к красивому поклоннику) не могло не отразиться на характере отношений между императрицей и ее ближайшей наперсницей. Читая воспоминания Дашковой, Пушкин мог убедиться, с какой осторожностью и критицизмом следует относиться к мемуарным источникам, насколько устное предание способно углубить, психологически уточнить, сделать более рельефными, выпуклыми, более мотивированными и обоснованными печатные и рукописные материалы.

Итак, можно не сомневаться в том, что Пушкин читал «Записки» Дашковой не только с неослабевающим интересом, но и с явной настороженностью. Несправедливая оценка личности Радищева, сокрытие от потомства всей сложности своих отношений с Екатериной II, идеализация своих собственных побуждений и поступков — все это должно было вызывать раздумья, стремление досконально проверить сообщаемые ею факты, ее характеристики и оценки. Порой подобное строгое аналитическое чтение источника наталкивало даже на возражения. Именно спором с Дашковой является помета Пушкина на рукописи ее «Записок». Эта помета касается отношения Дашковой к Дидро.

Ранее мы познакомили читателей с отзывом Дашковой о Дидро. Не правда ли, трогательная идиллия? Независимая, широкообразованная русская аристократка превозносит до небес одного из столпов французского энциклопедизма, атеиста (или, как писал Пушкин, «афея»), вольнодумца Дидро. Читая ее прочувствованный панегирик, Пушкин должен был размышлять над тем, насколько просвещенные нравы Дашковой были ей органически присущи, насколько прочно укоренились в ее сознании принципы, сторонницей которых она с таким блеском выставляла себя в своих «Записках». Ведь в ее отзывах о Дидро могло быть двойное, даже тройное преломление действительных событий сквозь призму психологии и времени.

Безусловно, остроумный и проницательный Дидро, один из умнейших людей французского Просвещения, вызывал искреннее восхищение Дашковой. И вместе с тем в своем стремлении быть на равной ноге с Дидро сознательно или бессознательно Дашкова могла выказывать себя с определенной, наиболее выгодной стороны. Этому мог способствовать и сам Дидро: ведь ум собеседника порой магически действует на его партнера; естественно, что фейерверк мысли Дидро вызывал ответные импульсы в русской путешественнице, воспитанной на лучших образцах французской просветительской литературы. Легко себе представить, что во время их бесед она мыслила собраннее и острее, чем обычно. Недаром ее сравнение судьбы русского крепостного со слепорожденным, а самого Дидро — с незадачливым глазным врачом так взволновало философа и вызвало его бурный протест. Обаяние этих встреч, продолжительных разговоров с глазу на глаз, посвященных различным общественным и литературным вопросам, неизбежно отразилось на восторженной характеристике Дидро в ее воспоминаниях.

Пушкин продолжал читать ее «Записки», и вскоре ему удалось обнаружить неприметный на первый взгляд, но весьма примечательный эпизод, показывающий, что у Дашковой вслед за «взлетами» ее встреч с Дидро бывали «падения». Рассказывая о своем путешествии по Франции, Дашкова писала о посещении театра в Лионе:

«В первый же спектакль мы отправились в театр: леди Райдер, m-me Гамильтон, госпожа Каменская и я; но каково было наше удивление, когда в отведенной нам ложе я нашла четырех лионских дам, расположившихся в ней; на представление моего проводника, что ложа эта предназначена герцогом для знатных иностранных дам, они, будто глухонемые, не двигались с места и ничего не отвечали. Я попросила проводника более не беспокоиться, говоря, что спектакль не представляет для меня особенного интереса, и решила вернуться домой. Леди Райдер и госпожа Каменская остались стоять за этими наглыми женщинами, а мы с m-me Гамильтон вернулись к себе».

Дойдя до этого места, Пушкин подчеркнул слова «наглыми женщинами» («femmes impertinentes») и написал на полях: «Diderot, docteur et apôtre de l'égalitè, qui l'auteur admire, n'aurait pas dit cela» [18].

---

[18] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1196, л. 88. «Дидро, учитель и апостол равенства, которым автор восхищается, так бы не выразился» (франц.).

Создается впечатление, что предыдущие страницы воспоминаний, где излагались разговоры Дашковой с Дидро, особенно насторожили Пушкина. В беседах с Дидро сконцентрировалась идейная проблематика воспоминаний, и понятно, что именно они вызвали пристальное внимание Пушкина. Как только Дашкова незаметно для самой себя проговаривается, Пушкин хватает ее за руку: вы признаете Дидро необыкновенным человеком, так извольте уж до конца следовать его наставлениям — такова, по существу, мысль Пушкина, высказанная в его лаконичной помете на полях рукописи ее записок.

Дидро был одним из тех писателей и философов французского Просвещения, жизнь и деятельность которого остро интересовали Пушкина. В его библиотеке сохранилось издание сочинений Дидро, дополнительный том неизданных произведений его, четырехтомное издание, включающее обширную переписку Дидро с его возлюбленной Софи Воллан, скульптором Фальконетом, видным деятелем русского просвещения И. И. Бецким, воспоминания дочери Дидро и некоторые другие материалы. Просматривая эти томики, можно убедиться, что Пушкин внимательно читал произведения Дидро. Правда, его драмы («Побочный сын» и «Отец семейства») не понравились Пушкину: он осилил лишь первые акты, остальные страницы не разрезаны. Не полностью разрезаны и «Салоны».

Зато эпистолярное наследие философа, «Прогулка скептика», «Парадокс об актере», «Монахиня», «Племянник Рамо» полностью прочтены Пушкиным, равно как и многие мелкие прозаические произведения; среди них и мемуарная статья Дидро о Дашковой. На полях этой статьи мы встречаем карандашные отчеркивания. В свое время М. А. Цявловский высказал предположение, что они сделаны Пушкиным[19]. И хотя это являлось бы еще одним аргументом, доказывающим заинтересованность Пушкина личностью Дашковой, мы вынуждены высказать свое сомнение.

Новонайденная помета Пушкина органически включается в обширный круг размышлений поэта о соответствии или несоответствии жизненных принципов человеческим поступкам, о нравственной ценности и цельности личности. Все мы помним строки из первой главы «Евгения Онегина»:

Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ (VI, 15).

Как и в примере с Дашковой, Пушкин укорял Руссо в непоследовательности, в том, что провозвестник «вольности и прав» не при всех жизненных обстоятельствах был верен своей теоретической позиции.

На самом деле оскорбленный неблагодарностью Гримма, нанесшего ему множество обид, Руссо усмотрел в эпизоде с чисткой ногтей еще одно подтверждение пренебрежительного отношения к себе. И хотя все содержание «Исповеди» свидетельствовало о неоднократных проявлениях неприязни между плебеем Руссо и аристократом Гриммом, Пушкин не счел нужным вникать в существо их разногласий: он взял из контекста сложных отношений Руссо и Гримма отдельный штрих, по которому можно судить, насколько глубоко идея равенства проникла в сознание писателя, насколько она стала неотъемлемой частью его самого. Характерно, что этот «срыв» Пушкин ищет не в высокой сфере рассуждений, где человек, как правило, бывает начеку и старается не допустить противоречий, а в быту, в обыденной ситуации.

Десятилетие отделяет строки «Евгения Онегина» о Руссо и Гримме от пометы на рукописи «Записок» Дашковой. В обоих случаях Пушкин соотносит поведение человека и принципы, выдвинутые или исповедуемые им. В одном случае Пушкин уличает плебея Руссо (фон: аристократ Гримм), в другом — княгиню Дашкову (фон: разночинец Дидро). Однако было бы поспешным на этом основании делать вывод о направлении идейной эволюции Пушкина. Другие высказывания его (в частности, о своем шестисотлетнем дворянстве) говорят о том, что сословные традиции до конца жизни составляли существенный элемент его взглядов. В наших примерах речь идет не об идейных симпатиях и антипатиях Пушкина, а о его попытках вскрыть противоречия в психологии различных общественных групп.



[19] Рукою Пушкина, стр. 593.





С. М. Соловьев

Пушкин-колорист

Каковы цвета, краски в разных сочинениях Пушкина?

Наши наблюдения, может быть, позволят проникнуть в не исследованную доселе область психологии творчества.

Одной из отличительных особенностей творчества Пушкина является крайнее разнообразие жанров. К живописным приемам Пушкина трудно прикладывать какие-либо обобщенные заключения, как, например, к мало изменчивому в этом отношении творчеству Державина. Лирика, поэмы, сказки, драматические произведения «окрашены» по-разному: в каждом из жанров сильно различаются не только второстепенные, но и главные тона спектра.

Наиболее поразительным является спектр (под спектром литературного произведения подразумевается совокупность различных цветовых упоминаний, в это произведение входящих, в их процентном выражении) драматических произведений. Здесь только две краски: всеопределяющая черная, составляющая в спектре драмы 46,1 процента, и белая — 16,6 процента. Кроме них, синий и желтый дают еще несколько «пятен», занимая в спектре по 8,4 процента, в то время как упоминания других цветов совершенно единичны.

Полный отказ от красок в драматургии, приход к бескрасочному черно-белому восприятию, предельное самоограничение в изобразительности всего **внешнего** в трагедии показывают какое-то необыкновенно глубокое восчувствование живописи трагедийного. Разительным примером малой красочности драматических произведений Пушкина может служить «Борис Годунов». В драме всего три упоминания цвета: в перечне признаков внешности Отрепьева ука-

заны рыжие волосы и голубые глаза и в сцене, исключенной из издания 1831 года, **черный** монах. Если не считать совершенно протокольных признаков самозванца, в драме нет ни одной краски. Это поразительный пример безоговорочного изгнания цвета из трагедии! Из драматических произведений наибольшим цветовым числом (цветовое число — C (couleur) характеризует насыщенность красками текста литературного произведения и представляет собой отношение числа упоминания цветов к числу печатных листов — считая в листе 40 тысяч знаков) обладает «Каменный гость» — C = 20,7; затем идет «Русалка» — C = 14,6; в «Скупом рыцаре» C = 4,4; в «Сценах из рыцарских времен» C = 2,6. «Борис Годунов» обладает одним из наименьших цветовых чисел в русской литературе: C = 2,2.

Однако было бы ошибочным отсюда заключить, что бескрасочность характерна для драматических произведений вообще. Малая красочность «Бориса Годунова» сближает его с бескрасочным театром Шекспира и сильно отличает от высококолористичной драматургии позднего времени. Для примера укажем, что цветовое число «Гамлета» Шекспира равно 6,0, тогда как цветовое число для «Сестры Беатрисы» Метерлинка очень высоко и равно 43.

Пушкин принадлежит к числу тех редких писателей, которые сильно меняют свою колористику в зависимости от жанра или тех задач, которые решаются в художественном произведении. Среднее число тут ничего не объясняет. Напротив, у Достоевского цветовое число важнейших произведений ничтожно и колеблется около среднего цветового числа всех его произведений (C = 7,2). В то же время Пушкин свободно переходит от «бесцветного» «Бориса Годунова» (C = 2,2) до многоцветных сказок (C = 74,0).

Стилистика сказок отличается большим разнообразием.

В сказке «О царе Салтане» много золота. «Роспись» золотом великолепна, и его обилие восходит к лубочной утрировке, добродушной иронии, когда, подобно облитому ореху, «**весь сияя в злате,** царь Салтан сидит в палате». Здесь насыщенность золотом мастерски дается даже в единичном образе.

Это горение и сияние золота привлекают рассказчика вновь, когда он пишет: «Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой... И останутся на бреге тридцать три богатыря, в **чещуе златой** горя». Действительно, золото здесь горит и сияет!

Из золота выплавляются целые кареты, придворные выезжают навстречу царице и ее сыну в «колымагах золотых».

В других случаях обилие золотого тона усиливается многочисленными повторами одних и тех же картин: «Корабельщики... На знакомом острову чудо видят наяву: город новый **златоглавый.** Пристань с крепкою заставой».

А затем, как в волшебном фонаре, перед нами вновь и вновь появляется одна и та же картина, начинаются повторы этого же эпитета: «В море остров был крутой... Он лежал пустой равниной... А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с **златоглавыми** церквами, с теремами и садами». Ощущение свежести впечатления возникает каждый раз вновь даже при многократном повторе одних и тех же образов.

Сам рассказчик поражен неслыханным чудом, когда узнает, что на сказочном острове «белка песенки поет да орешки все грызет, а орешки не простые, все скорлупки **золотые**».

И с детским изумлением нам вновь и вновь, шесть раз рассказывают, как белка поет и сыплет золотые скорлупки.

Для главных сказочных цветов у Пушкина характерна их плотность, насыщенность, густота. В «Сказке о царе Салтане» действие развертывается на фоне моря, и отсюда обилие в ней синего цвета: «Князь у **синя** моря ходит, с **синя** моря глаз не сводит...», «Море **синее** кругом...», «В **синем** небе звезды блещут. В **синем** море волны хлещут...», «Снова князь у моря ходит. С **синя** моря глаз не сводит».

Это многократное повторение эпитетов создает у читателя впечатление такой насыщенности, такой плотности синевы, что пейзаж кажется ею пропитанным.

Условна и иконописна в сказке роспись белым: «Глядь поверх текучих вод, лебедь **белая** плывет...», «Лебедь **белая** молчит и, подумав, говорит».

Введение зеленого, изумрудного: «А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра чистый **изумруд**» — придает красочным тонам сказки ту же условность.

Но яркая раскраска сама по себе не удовлетворяет поэта, он хочет придать ей лаковость, придать блеск, когда он пишет: «В синем небе звезды **блещут...**», или: «И за белыми стенами **блещут** маковки церквей».

Совершенно в духе XVIII века поэт пи-

шет: «...Идут витязи рядами, и **блистая сединами,** дядька впереди идет и ко граду их ведет».

В этом **блеске** нет ничего общего с помпезным, праздничным блеском, который Пушкин так широко использовал в других произведениях, например, в «Арапе Петра Великого». В сказке блеск звезд, комет, святочных лун и праздничных украшений напоминает народную игрушку.

В «Сказке о рыбаке и рыбке» изложение плавнее, и медлительнее «Салтана», и более музыкальное, и, быть может, каждый эпитет становится более весомым. Эта сказка также о море, и не мудрено, что особенно плотен в ней тон синий: «Жил старик со своею старухой у самого **синего** моря...», «Ступай себе в **синее** море, гуляй там себе на просторе...», «По-нашему говорила рыбка, домой в море **синее** просилась...», «Не посмел я взять с нее выкуп; так пустил ее в **синее** море».

Здесь уже не традиционное, фольклорное **сине** море (аналогичны белы снеги), как в сказке о царе Салтане, а глубокое **синее** море.

Чистым тоном рисует поэт море мирное и недвижимое... Далее оно мутнеет, темнеет, чернеет и становится все более беспокойным: «Вот пошел он к синему морю, видит — море слегка разыгралось...», «Вот пошел он к синему морю (помутилось **синее** море)», «Пошел старик к синему морю (не спокойно **синее** море)», «Старичок отправился к морю (почернело **синее** море)», «Вот идет он к синему морю, видит, на море **черная** буря: так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так **воем** и воют».

Великолепно здесь напряжение, усиление звучания синего с постепенным все большим замутнением этого синего тона, переходящего в черный.

В этой сказке плотность синевы не меньшая, если не большая, чем в «Сказке о царе Салтане».

Здесь золотая рыбка сказочная, говорящая, всесильная и всемудрая рыбка, сияющая своим золотым царственным тоном.

Создавая предыдущие сказки, Пушкин словно все еще совершенствовался, пробовал разные приемы, разные стили. Наконец он создает самое совершенное произведение этого жанра — «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Лишь в ней проявилась подлинная музыкальность ритмов и звучаний.

Музыкальность всей сказки цельная и совершенная.

Обратимся к краскам. Если для «Сказки о царе Салтане» и «Сказки о рыбаке и рыбке» характерны синяя и золотая краски, то для «Сказки о мертвой царевне» — белая.

Царица после отъезда мужа: «смотрит в поле... С белой зори до ночи... Только видит... Снег валится на поля, вся **белешенька** земля».

Это самое начало сказки — и оно окрашено в белые тона.

А сама царица «высока, стройна, **бела»** и бесконечно тщеславна: всех ли она белее? Но и молодая царевна тоже **«белолица».** «И не диво, что **бела»,** — говорит о ней мачеха. — «Мать брюхатая сидела, да на снег лишь и глядела!»

Затем десятикратное повторение вопроса: «Я ли всех **белее**?» «Свет мой зеркальце! скажи да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и **белее**?» А ей зеркальце в ответ: «...Ты, царица, всех милее, всех румяней и белее». Повторы непрерывно поддерживают **белый** тон всей сказки.

На обширном белом фоне выделяется красный цвет — **румяный.** Сама царица, как это неоднократно упоминается, — «всех румяней». В тереме царевна видит «семь богатырей, семь **румяных** усачей». А богатыри говорят: «Коли парень ты **румяный**, братец будешь нам названый». И яблочко, что передала царевне старуха, «так свежо и так душисто, так **румяно**-золотисто». А съев кусок яблока, царевна «плод **румяный** уронила».

Сочетание белого и румяного в описании лиц и тела типично для народного творчества.

Замечательно по иконописной условности обращение к месяцу: «Месяц, месяц, мой дружок! Позолоченный рожок!»

Здесь месяц — позолоченный рожок — похож на чудесно раскрашенную игрушку или пряник.

В этой сказке нет золотого, нет драгоценных камней, нет блеска. Сказка стала напевной, музыкальной, цвета стали мягче, тише, и цвет белый вытеснил тон золотой.

Изобразительность этой сказки — великолепный пример условного письма, в котором звук и цвет пришли в гармоничное единство.

По сочетаниям тонов пушкинские сказки напоминают расписанный радостными, яркими и сильными красками лубок.

В последней из сказок — «О золотом петушке» — заметна потеря интереса к

картинности, блеску, красочности, узорчатости сказок. В «Золотом петушке» нет ни единой краски (кроме упоминания белой шапки мудреца), нет синего, нет золотого тона, сказка стала назидательной, восходя к сатире и оправдывая свою концовку: «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок!»

По своей насыщенности красками сказки Пушкина занимают одно из первых мест во всей русской литературе. Цветовое число сказок — 74. Превышают его лишь цветовое число «Вечеров накануне Ивана Купала» Гоголя (85), лирика Державина (98) и «Слово о полку Игореве» (106).

Вариантом условного письма, развитого в сказках, является живопись «Песен западных славян». В них преобладает тон белый, оставляющий около трети всех упоминаний красок.

Совершенно своеобразен белый фон зданий в этих песнях: «Было тихо. С высокого неба город **белый** луна озаряла» (видение короля). «Или вы уж не сербы-цыганы? Или вы не мужчины-старухи? Вы бросайте ваши **белые** дома. Уходите в Велийское ущелье» (воевода Милош).

Белое также и тело: «Сын твой болен опасною болезнью. Посмотри на **белую** его шею: видишь ты кровавую ранку? Это зуб вурдалака, поверь мне» (Марко Якубович). «Где осталось ее (Елицы) **белое** тело: церковь там над ней соорудилась» (сестра и братья). «Где осталось ее (Павлихи) **белое** тело, на том месте озеро провалило» (сестра и братья).

Вслед за главенствующим белым в ней обилен и тон черный — одна пятая часть всех упоминаний красок. «Распорол он мертвое тело (Елены). Что ж! — на месте милого дитяти он **черную** жабу находит. Взвыл Феодор: «Горе мне, убийце!» (Феодор и Елена). «Догадалась она, завопила: «Будь же богом проклят ты **черный**, коль убил ты отца родного!» «С той поры Георгий Петрович у людей прозывается **Черный**» (Песня о Георгии Черном).

Здесь черный цвет везде угрюмо-символичен, становится признаком несчастья, ужаса.

Спектр песен не схож со спектром сказок. В основном здесь контрасты преобладающих белого и черного цветов, причем белый в песнях оттенен особенно сильно.

В нашем представлении «Руслан и Людмила» светлое и радостное произведение, полное восточной орнаментальности и красочности. Однако при внимательном рассмотрении мы должны были выделить поэму из всех произведений Пушкина как наиболее насыщенную светотенью. Это не значит, однако, что поэма бедна красками; напротив, ее цветовое число высоко и равно 29,5. Вспомним, например, следующие строки:

Уж побледнел закат румяный
Над усыпленною землей,
Дымятся синие туманы
И всходит месяц золотой.

Вместе с тем эти рассыпанные цветовые штрихи не образуют единой и стройной красочной канвы произведения. В то же время светотеневые образы весьма характерны для «Руслана и Людмилы».

Три соперника Руслана сидят за свадебным столом «бледны и угрюмы», в то время как «**светел** радостный жених». Но пир кончился, «тень объемлет всю природу, уж близко к полночи глухой». «И вот невесту молодую ведут на брачную постель, огни погасли... и ночную лампаду зажигает Лель...», «Вдруг гром грянул, свет блеснул в тумане, лампада гаснет, дым бежит, кругом все смерклось...», «И кто-то в дымной глубине взвился **чернее мглы** туманной».

Руслан «трепеща... вопрошает **мрак немой**...», «...Людмилы нет во **тьме** густой, похищена безвестной силой».

Четыре витязя-соперника едут на розыски Людмилы. «Днепра стал **темен** брег отлогий; с востока льется ночи **тень; туманы** над Днепром глубоким».

Черномор похитил Людмилу, «взвился, как вихорь, к облакам сквозь тяжкий **дым** и **воздух мрачный**», и Людмила очнулась уже в замке Черномора. «Лежит несчастная девица среди подушек **пуховых**, под гордой сенью балдахина; завесы, **пышная** перина в кистях, узорах **дорогих**; повсюду ткани **парчевые...**»

Как мы видим, описание совершенно бескрасочно.

Однако Людмиле скучно — «и взор ее печально бродит в пространстве **пасмурной** дали»; она идет в сад, где сквозь зелень «мелькают **светлые** беседки». Людмиле грустен «неги **светлый** вид». Она хочет есть, и перед ней появляется «прибор из **яркого** кристалла». «Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царица ночи; находит **мгла** со всех сторон и тихо на холмах почила». Людмила ложится спать, но взор

ее темнеет, она «недвижно в **темноту** глядит... Всё мрачно, мертвое молчанье!» И вдруг «озарена мгновенным **блеском тьма ночная»**, и в опочивальню входит Черномор...

«Уж утро хладное **сияло** на **темени** полнощных гор», когда Наина навестила замок Черномора.

В то же время Руслан «однажды **темною** порою» встречает своего соперника Рогдая и борется с ним, «взрывая к небу **черный** прах». Руслан проехал «дремучий лес; пред ним открылся дол широкий при **блеске** утренних небес». Руслан едет «тропою **темной»** и видит: «вдали **чернеет** холм огромный». «Вдруг холм... луною **в тумане бледно озарясь, яснеет»**, и он видит голову. Голова кажется ему «громадной, грозной и туманной». «Но вот уж раннею зарей **сияет** тихий небосклон, все ясно... тяжелый пасмурный **туман** нагие холмы обвевает».

И далее пейзажи носят тот же характер. «Долина тихая дремала, в ночной одетая **туман.** Луна **во мгле** перебегала из тучи в тучу и курган мгновенным **блеском озаряла»**.

Колорит поэмы можно назвать в достаточной степени цельным. Казалось бы, что это первое крупное произведение Пушкина предопределяет сильное и плодотворное развитие светотени в его творчестве. Однако этого не случилось.

При создании своей первой поэмы Пушкин словно пленился романтической живописью Жуковского с ее таинственными туманами и полумраком, с ее ярко выраженной тенью и светом, создающими своеобразную атмосферу сказочной **магии.**

Белый и черный цвета занимают первые места в спектре произведений Пушкина по количеству упоминаний, причем белый несколько большее (20,2 процента), нежели черный (19,4).

Белый и вообще светлые тона явно предпочитаются. Все белое и светлое создает приподнятость, радостность: «В окно увидела Татьяна по утру **побелевший** двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все **бело** кругом».

Живописных оттенков в использовании **белого** мы у Пушкина не находим.

Еще в «Руслане и Людмиле» он писал: «вершины гор... стоят в **однообразной белизне»**, и это однообразие осталось для Пушкина основной особенностью белого тона.

Когда он изображает человеческое тело белым, он словно использует не реалистическое, а условное, почти фольклорное письмо, к которому он почувствовал вкус, создавая сказки и «Песни западных славян»: «**Белой** груди колебанье, снег затмившей белизной» («К Наталье», 1813 г.), «Грудь, **белую** как лебедь» («Нереида», 1820 г.).

В более поздних стихах и поэмах и в особенности в прозе белый цвет исчезает. В самом деле, в прозе Пушкина человеческое тело, лица, руки очень редко называются белыми. В то же время **белые** тела и лица у Пушкина довольно устойчиво ассоциируются с **набеленными** телами и лицами.

Белятся прежде всего старые женщины: «Старая женщина (Екимовна), **набеленная** и нарумяненная, убранная цветами и мишурою... вошла, припевая и подплясывая» («Арап Петра Великого»). Всегда набеленной представляется несколько карикатурная старая мисс Жаксон в «Барышне-крестьянке». Столь же шаржированным дан образ Лизы, набеленной и насурьмленной.

Теперь можно выявить те особенности, которые характеризуют изобразительность Пушкина: тон непосредственно белый во многих случаях заменяется его синонимами — светлым и особенно часто бледным.

Область использования эпитета «бледный» Пушкин расширил необычайно.

Например, в «Каменном госте» Пушкин пишет: «Смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные власы на мрамор **бледный** рассыплете...» Даже белый мрамор превращает Пушкин в бледный и тем самым вносит совершенно иной, свой тон в описание.

И везде, где это возможно, мало эмоциональный тон **белый** заменяется тоном **бледным.**

Особенно выразителен он при изображении человеческого тела.

Безразличная Пушкину Ольга Ларина дана в чуждых поэту румяно-красных тонах. У нее «румяная свежесть», она «красна лицом». В то же время «лунную бледность» Татьяны поэт отмечает неоднократно.

Итак, бледный для Пушкина — эмоциональное подобие **белого**, и то, что бледный является для Пушкина именно цветом, он пишет и сам: «И вспомнил он Татьяны милой и **бледный цвет** и вид унылый».

В этом он следует Жуковскому, который писал:

Мила для взора живость цвета,
  Знак юных дней,
Но **бледный цвет**, тоски примета
  Еще милей.
("Алина и Альсим")

Лунный свет у Пушкина никогда не бывает белым, редко бывает золотым или серебряным, но обычно бледным, а у Гоголя же и Толстого — белым и серебряным.

Для изображения мерцающего и блеклосияющего петербургского неба он создает новый цвет: **зелено-бледный** — тонкий, тончайший, а не трафаретный — бледно-зеленый, когда пишет: «Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес **зелено-бледный**. Скука, холод и гранит...» («Город пышный, город бедный...», 1828 г.).

В ранних стихотворениях Пушкин особенно отмечал именно «бледных дев», когда писал: «В Дориде нравятся и локоны златые, и **бледное** лицо, и очи голубые...» («Дорида», 1819 г.).

Иной и не мыслит он женскую красоту, женское обаяние: «Дубравы вновь оделись тьмою: пошла по облакам луна, и снова дева над водою сидит **прелестна** и **бледна**» («Русалка», 1819 г.).

И бледность — неизменный, почти обязательный признак тех, кем он восхищается, кому признается в любви: «...Вы улыбнетесь — мне отрада; вы отвернетесь — мне тоска: за день мучения — награда мне ваша **бледная** рука» («Признание», 1826 г.).

На использовании эпитета **бледный** мы остановились столь подробно потому, что в русской литературе наметились две линии в изображении человека и человеческого тела: романтическая — если можно так сказать, — когда человек изображается преимущественно **бледным**. Такого типа изобразительность характерна для Жуковского, Батюшкова, Пушкина, а вслед за ними для Тургенева и Гончарова.

Другие писатели изображают человека **белым.** К примеру, Лев Толстой, который с необычайным обилием отмечает повсюду именно белые лица, тела и руки. Избегают всего бледного, иронически относясь к нему, Достоевский, а в особенности писатели-демократы: Чернышевский, Помяловский, Слепцов, Николай Успенский, Решетников и другие. Эти писатели дали этому эпитету иной характер: бледность — признак несчастья, горя, нездоровья, душевных потрясений.

В отличие от обильной колористики сказок и «Песен западных славян» Пушкин в лирике зрелых лет смягчает краски. Более того, при чтении лирики и поэм Пушкина с первого взгляда поражает одна особенность: они кажутся почти лишенными цвета. При огромном количестве портретов, пейзажей, описаний Пушкин необычайно скуп на краски, с неохотой оперирует ими, и везде, где это оказывается возможным, красочный эпитет заменяет эпитетом иного плана.

Посмотрим, например, как он описывает богатую и многокрасочную природу Кавказа.

...Кавказ,
Где **пасмурный** Бешту, пустынник величавый
Аулов и полей, властитель пятиглавый
  Был новый для меня Парнас.
Забуду ли **кремнистые** вершины,
Гремучие ключи, **увядшие** равнины,
Пустыни **знойные**...
(«Кавказский пленник»)

Сверкающие и переливающиеся краски вершин гор ему видятся то пасмурными, то по-ломоносовски — в духе XVIII века — **кремнистыми.**

Однако не только в «Кавказском пленнике» — сравнительно ранней поэме Пушкина (1821 г.), но и в более поздних описаниях Кавказа мы встречаем совершенно ту же особенность. В двух стихотворениях 1829 года, посвященных Кавказу («Кавказ», «Монастырь на Казбеке»), мы находим лишь одно цветовое упоминание: «Зеленые сени». По-прежнему пишет он про «нагие» громады утесов, мох «тощий», кустарник «сухой».

И ползают овцы по **злачным** стремнинам,
И пастырь нисходит к **веселым** долинам,
Где мчится Арагва в **тенистых** брегах...
И лижет утесы **голодной** волной.
(«Кавказ», 1829 г.)

Смысловое содержание эпитетов для поэта несравненно важнее элементарной колористической описательности.

Если мы посмотрим на некоторые, изумительные по свежести пейзажи Пушкина, то мы и там заметим их бескрасочность:

...Под **отдаленным** сводом
Гуляет **вольная** луна;

На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она,
Заглянет в облако **любое**,
Его так **пышно** озарит.
И вот — уж перешла в другое;
И то не долго посетит.
(«Цыганы»)

Бесчисленные примеры тому мы встречаем и в ранней лирике.

Последним сияньем за рощей горя,
Вечерняя тихо потухла заря.
Темнеет долина **глухая.**
В тумане **пустынном** клубится река,
Ленивой грядою идут облака
И с ними луна **золотая**.
(«Сраженный рыцарь», 1815 г.)

Пейзаж воспринимается всюду не зрительно, а эмоционально.

Подчеркнуты слова, которыми Пушкин как бы вытесняет, подменяет цвет и красочность в описаниях. Вместо цветовых эпитетов Пушкин с необыкновенной изобретательностью находит бесконечное количество эпитетов, создающих определенное настроение.

В одних случаях цвет вытеснен чисто эмоциональным эпитетом: «Твоих **задумчивых** ночей» («Медный всадник»); «Брега **спокойных** вод» («Послание к Галичу»).

В других краски исключаются ради большой точности: «В прохладе яворов **густых»** («Бахчисарайский фонтан»); «В дубраве **глухой»** («Моему Аристарху»); «Небосклон... сиял **морозно»** («Домик в Коломне»).

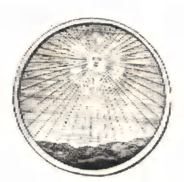
Бескрасочный пейзаж создается совершенно своеобразно, по-пушкински жизненно: «Рощи **томны»** («Послание к Юдину»); «При шуме вод **живых»** («Бахчисарайский фонтан»); «Чуть брезжит звезд **неверный** свет, Ходит... полумесяц **молодой»** («Гроб Анакреона»).

Подобных примеров можно было бы привести множество, однако ограничимся и этим.

Зрелой пушкинской лирике свойственна сдержанная субъективная колористика.

Пушкина мало интересует сочетание цветов, ему важна не видимая, а эмоциональная функция цвета. Многокрасочных картин и пейзажей он не создает.

Пушкин воспринимает цвета не зрительно, не как живописец, а как поэт.





М. Меликьян

Невежда

Читая поэтические произведения прошлого времени, современный человек нередко понимает их превратно.

Оттенки значений слов, когда-то яркие и выразительные, стираются, забываются, заменяются новыми. В частности, это ведет к неполному, а иногда и неверному пониманию текстов. Относится это и к поэзии Пушкина, кажущейся такой ясной и доступной.

Для толкования слов, употребленных Пушкиным, составлен четырехтомный словарь [1], в котором разъяснены многообразные значения и оттенки значений пушкинской речи. Однако иные толкования не всегда охватывают все богатство мысли, все значения, которые вкладывает поэт в то или другое слово.

Таким словом является, например, слово «невежда». В Словаре указывается, что оно употреблено Пушкиным 26 раз.

Вот как определено там его значение: «**Невежда.** Невежественный человек. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастию, не совершенный невежда, успел пустить ему кровь...» [2] Далее следуют другие примеры, в том числе и словосочетание: «невежда сердцем, душой», то есть наивный, неопытный, не знающий (не ведающий) жизни человек. «Он сердцем милый был невежда», — сказал поэт о Ленском (VI, 34).

Казалось бы, все ясно. Но когда мы начинаем рассматривать указанные в Словаре случаи употребления Пушкиным слова «невежда», эта ясность постепенно исчезает.

Пушкин пишет, например, о своей жизни на юге:

Все тот же я, как был и прежде,
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью...
Октавию в слепой надежде
Молебнов лести не пою.

«Из письма к Гнедичу». 1821 год (II, 170)

Если «невежда» значит просто «невежественный человек», то стихи непонятны совершенно. Почему Пушкин считает своей особенностью то, что он не ходит к невежественному человеку с поклоном — чтобы попросить о чем-то или выказать свое почтение? Чего ради мог бы он это делать? Может быть, этот невежда не только невежествен? Может быть, от него зависит что-то в судьбе поэта? Не является ли слово «невежда» полуусловным обозначением какого-то определенного типа людей? Какого? [3]

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, вспомним другие стихи:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд.
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд,
. . . .
. . . .
. . . .
Но он придворный . . . .

«Орлову». 1819 год (II, 85)

Поэт не надеется на Киселева, несмотря на его достоинства, он «враг коварства и невежд».

Итак, определение, данное в Словаре, не помогает нам понять слова «невежда» в некоторых произведениях Пушкина. Вероятнее всего, в этих случаях мы имеем дело не с оттенком значения, а с определенным способом употребления, совмещающим в



Князь Д. И. Лобанов-Ростовский.

себе свойства тропа (слова, употребленного в иносказательном смысле) и эвфемизма (слова, употребленного не для прямого, а прикрытого обозначения какого-нибудь предмета или явления, называть которое его настоящим именем в данной обстановке неудобно). А такие случаи и не отражены в Словаре.

Попробуем систематизировать употребление слова «невежда» в пушкинских текстах. Чаще всего оно встречается в распространенном, общепринятом значении. Вот несколько примеров:

Насмешник, лаврами повитый,
Денис, невежде бич и страх.
«Тень Фонвизина». 1815 год (I, 156)

Невежда глуп, зевая скажет Ум.
«На Каченовского». 1820 год (II, 153)

«...Его надобно поддержать, также и Шевырева, которого куда бы не худо посадить на опустевшую кафедру Мерзлякова, доброго пьяницы, но ужасного невежды».
Письмо Плетневу, 26 марта 1831 года (XIV, 158—159)

Все эти случаи не могут вызвать никаких недоумений.

А вот перед нами тексты другого рода:

И что ж? всегда смешным останется смешное;
Невежду пестует Невежество слепое.
Оно сокрыло их во мрачный свой приют;
Там прозу и стихи отважно все куют,
Там все враги Наук.
«К Жуковскому». 1816 год (I, 196)

В этом послании юный поэт декларирует свой взгляд на современных ему писателей. Невеждами называет он членов общества «Беседа любителей русского слова», людей отнюдь не невежественных, но принадлежащих к реакционному литературному лагерю, возглавляемому А. С. Шишковым.

«Невежды» в послании «К Жуковскому» — «враги наук», «дерзостные друзья Непросвещенья».

Как в литературных симпатиях и антипатиях, так и в употреблении слова «невежда» в этом послании Пушкин следует своим взглядам — взглядам группы прогрессивно настроенных писателей, объединившихся в литературное общество «Арзамас» (1815—1818 годы).

Слово «невежда» мы встречаем много раз в текстах особенно яростных арзамас-

цев. Еще в 1811 году, когда Пушкин был ребенком, дядя его Василий Львович писал о нападках членов общества «Беседа любителей русского слова»:

Поверь, слова невежд — пустой кимвала звук;
Они безумствуют — сияет свет наук.
«К Д. В. Дашкову»

То есть, как ни безумствуют они, загасить свет наук не могут.

Необходимо помнить, что понятия «невежество» и «просвещение» очень широки. В начале XIX века в языке культурной России слово «просвещение» часто употреблялось в значении «цивилизация, культура»[4], а слово «невежество» в противоположном значении: «отсутствие просвещения, некультурность, отсталость»[5]. И это было перенесено на слово «невежда».

А если невежда — враг передовой культуры, то естественно назвать невеждой такого высокообразованного человека, как, например, Шишков. Именно это делает в своей эпиграмме на Шишкова П. А. Вяземский:

Кто вождь у нас невеждам и педантам?
Кто весь иссох из зависти к талантам?
(1815 год)

Известно, что в начале XIX века шел интенсивный обмен мнениями между сторонниками и противниками «нового слога». Шишков же «перенес основу полемики на общественно-политическую почву»[6]. В поддержку своей языковой теории он привлекал и идеологические, и политические аргументы, прибегая, по словам В. В. Виноградова, «к злостным политическим намекам»[7]. Он обвинял своих противников в ненависти к вере и отечеству.

Вот образцы его рассуждений.

«Желание некоторых новых писателей сравнить книжный язык с разговорным, т. е. сделать его одинаким для всякого рода писаний, не похоже ли на желание тех новых мудрецов, которые помышляли все состояния людей сделать равными?»[8]

«Что значит разделение языка нашего на Словенский и Русский? <...> разумеется под сим язык духовных и светских книг. На что ж чуждаться нам первого из оных и стараться приводить его в забвение и презрение? для того ли, чтобы ум и сердце каждого отвлечь от нравоучительных и духовных книг, отвратить от слов, от языка, от разума оных, и привязать к одним светским писаниям, где столько расставлено сетей к помрачению ума и уловлению невинности, что совлеченная единожды с прямого пути, она непременно должна попасть в оные.

Какое намерение полагать можно в старании удалить нынешний язык наш от языка древнего, как не то, чтоб язык веры, став невразумительным, не мог никогда обуздывать языка страстей»[9].

«Сия ненависть к языку своему (а с ним понемногу, постепенно, и к сродству, и к обычаям, и к вере, и к отечеству) уже <...> сильно вкоренилась в нас...»[10]

Но если для Шишкова защита старых норм языка была связана с защитой старой идеологии, то вполне понятно, что для его противников борьба с «невеждами» в области литературы могла стать борьбой идеологической.

Прекрасной иллюстрацией этому является знаменитое послание П. А. Вяземского к М. Т. Каченовскому.

В стихотворении говорится, что завистники стремятся возвыситься, унижая достойных:

Внемлите, как теперь пугливые невежды
Поносят клеветой высоких душ надежды,
На светлом поприще гражданского ума
Для них лежит еще предубежденья тьма,
Враги того, что есть, и новых бед пророки
Успехам наших дней старинных лет пороки
Дерзают предпочесть в безумной слепоте
И правдой жертвовать обманчивой тщете.
В превратном их уме свобода — своевольство!
Глас откровенности — бесстыдное крамольство!
Свет знаний — пламенник кровавый мятежа!
«Послание к М. Т. Каченовскому».
1820 год

Обрушив на Каченовского свою «сатирическую палицу»[11], Вяземский раскрыл не просто отсталость его взглядов на литературу, но и его реакционность. Идеологический пафос его послания прекрасно почувствовала цензура, не пропустившая ряда строк, в частности, последних трех в цитируемом отрывке.

Общим для всех разобранных уже текстов — и Пушкина, и В. Л. Пушкина, и Вяземского — является то, что в них «невежды» — литературные и идеологические противники. И как видим, Пушкин здесь только продолжатель традиции.

Перейдем, наконец, к самому важному и как будто бы нигде не отмеченному смыс-

лу, который вкладывал Пушкин в слово «невежда». Мы встречаем его в стихах поэта в годы его наибольшей политической радикальности: с 1819 по 1825 год. Более точно: в 1819, 1821, 1824 и 1825 годах.

На два стихотворения мы уже указывали в начале статьи, правда, не делая никаких выводов. Вот еще одно — «Послание к кн. Горчакову» 1819 года.

Он говорит о «вялых бездушных
собраньях»,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где Бутурлин — невежд законодатель,
. . . .
Где глупостью единой все равны (II, 114).

Бутурлин — военный историк реакционных взглядов, крайне ограниченный человек. Законодателем невежд в этих стихах является, таким образом, человек не невежественный в прямом смысле слова, но ограниченный и реакционный.

А вот другой отрывок из того же послания:

...в кругу Лаис благочестивых
Затянутый невежда-генерал
Красавицам внимательным и сонным
С трудом острит французский мадригал,
Глядя на всех с нахальством
благосклонным (II, 114—115).

Видимо, положение этого генерала в высших кругах очень прочно, если он может позволить себе благосклонное нахальство.

И еще раз в том же стихотворении упоминает Пушкин о невеждах, когда хочет объяснить, чем ему дорог тесный круг друзей:

Не вижу я изношенных глупцов,
Святых невежд, почетных подлецов.
И мистика придворного кривлянья (II, 115).

Святые невежды — это духовные лица, представители религии, влияние которых при дворе Александра I все усиливалось. Их можно назвать невеждами и в прямом смысле, ведь невежество духовенства стало притчей во языцех [12].

Итак, в «Послании к кн. Горчакову» «невежды» — это люди, имеющие власть, близкие ко двору и реакционные по своим взглядам. В конце стихотворения поэт иронически называет их вельможами.

Теперь становится понятен казавшийся ранее загадочным стих «с поклоном не хожу к невежде». Поэт действительно может гордиться тем, что и в изгнании не заискивает перед имеющим власть обскурантом, от которого, быть может, зависит смягчение его участи.

Но вспомним еще раз строки, относящиеся к Киселеву:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего (II, 85).

Характеристика, как видим, достаточно противоречивая. Генерал Киселев — придворный, и нельзя верить его обещаньям. В то же время он враг невежд, то есть не реакционер. Следовательно, возможно быть придворным, но не невеждой.

Однако почему Пушкин пишет не просто «враг невежд», а «враг коварства и невежд»? О каком коварстве может идти речь?

Скорее всего коварство — это характеристика политики Александра I, которую поддерживали все реакционные силы. Поэтому закономерно сочетание «коварство и невежды», то есть определенная политическая линия и люди, участвующие в ее проведении в жизнь. Эта мысль подтверждается и тем, что 19-я строка первоначально выглядела так:

Он враг тиранов и невежд,

затем слишком откровенные слова поэт заменил:

Он враг притворства и невежд.

Это не удовлетворило поэта и в беловом автографе он более точно выразил свою мысль:

Он враг коварства и невежд.

Все это, в сущности, — обозначения Александра I. Вспомним позднейшую (1829 года) характеристику этого царя, данную Пушкиным:

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

Сочетание слов «тиранов и невежд» Пушкин употребил еще в одном стихотворении 1819 года:

Блажен, кто в отдаленной сени,
Вдали тиранов и невежд,
Дни делит меж трудов и лени,
Воспоминаний и надежд...
(II, 99)

Второй стих поэт изменил. В окончательном варианте он звучит так:

Вдали взыскательных невежд.

Едва ли это изменение сделано из соображений художественной целесообразности [13]. Вероятнее, что это просто автоцензурное исправление. Ведь поэт мог не сомневаться, что стих «Вдали тиранов и невежд» напечатан не будет. В пользу последнего предположения говорит и то, что в копии друга Пушкина П. П. Каверина, члена Союза благоденствия, и в других копиях мы встречаем именно этот первоначальный вариант (II, 577).

Попытаемся объяснить, почему слово «невежда» могло стать символом государственного политического деятеля, поддерживающего Александра I в конце 1810-х — начале 1820-х годов.

Общеизвестен резкий поворот Александра I от либеральных замыслов к откровенному ретроградству и мракобесию. И во внешней и во внутренней политике он стал душить все передовое. И при этом он опирался на религию.

Образованность и широта взглядов даже самых высоких деятелей государства стали считаться недостатком. Многие из них по тем или иным причинам удалялись из государственного аппарата, попадали в опалу. Такая участь, в частности, постигла А. И. Тургенева.

Желая выяснить положение свое и братьев и по возможности оправдаться, Тургенев готовился к объяснению с императором. В черновике его неотосланного письма Александру I есть любопытное для нас место. Упоминая о том, что он учился за границей, Тургенев пишет:

«...старался употребить в пользу сведения, приобретенные в чужих краях, тогда еще никто не думал упрекать европейской образованностию и щеголять выслуживаться невежеством» [14].

То есть «щеголять выслуживаться невежеством» стало делом обычным. А уж выслужившегося невежеством естественно назвать невеждой. Так невежество — в буквальном смысле слова — некоторой части высших чиновников дало возможность называть невеждами и политических реакционеров, имеющих власть.

Далее мы увидим, что в число «невежд» Пушкин включает ближайших сподвижников царя и самого императора Александра I как воплощение максимума власти и максимума реакционности.

Пожалуй, одним из самых трудных периодов в жизни молодого Пушкина был 1820 год, когда революционные стихи навлекли на него гнев царя, а бывший приятель поэта Ф. Толстой-Американец смертельно оскорбил его клеветой.

Пушкин в своих стихах не раз возвращается к этим событиям. И обычно в этих размышлениях или воспоминаниях присутствует слово «невежда»:

Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света...
«Чаадаеву». 1821 г. (II, 188)

Вспоминая трагические дни в Петербурге перед ссылкой, когда Ф. Толстой («философ», прославившийся развратом) пустил про него гнусную клевету, Пушкин объединяет в своем сознании клеветника и невежду.

Возможно, что невежда здесь конкретное лицо, так как далее подразумеваются определенные лица — Ф. Толстой и Каченовский, литературный недруг Пушкина. Разумеется, слова «торжественный суд» в этих стихах имеют значение не юридическое. Речь идет об осуждающем высказывании, сделанном публично [15]. Видимо, невежда «при звезде» любил со значительным видом выражать свое мнение и, в частности, принял участие в пересудах по поводу пушкинской истории.

В ссылке на юге Пушкин пишет первую свою романтическую поэму «Кавказский пленник». В ней он говорит о себе:

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы и мстительных невежд
(IV, 92).

Знакомое уже сочетание слов «клевета» и «невежда». «Мстительные невежды» — за что и как они мстили? Если поэт — жертва клеветы и мстительных невежд и если он постигнут гоненьем, значит, го-

неньем мстили ему именно невежды. Ведь быть жертвой клеветы — значит быть оклеветанным, а не изгнанным. Да к тому же изгнание Пушкина не зависело от Ф. Толстого. Оно зависело от царя и его приближенных. Поэтому так убедительна мысль С. М. Бонди о том, что «мстительные невежды» — это царь и Аракчеев[16].

Необходимо сказать, почему здесь имеется в виду не только царь, но и Аракчеев.

Официальным поводом к высылке Пушкина послужили ода «Вольность» и другие его «возмутительные» стихи[17]. Среди них было несколько метящих в самого императора. До нас дошли лишь лицейская эпиграмма «Двум Александрам Павловичам», ноэль 1818 года «Сказки» («Ура! в Россию скачет...») и стихотворение 1820 года «Ты и я». В других стихах поэт мечтал о свержении самовластья, освобождении крестьян, воспевал свободу, призывал к борьбе за нее. Всего этого было достаточно, чтобы у царя возникло желание отправить беспокойного поэта подальше от столицы.

Но свидетельства современников заставляют предполагать, что инициатором дела о ссылке Пушкина был Аракчеев, который втайне желал разделаться с поэтом за эпиграммы, направленные лично против него (например, «В столице он капрал...», «Всей России притеснитель...»)[18].

И вот еще одно стихотворение, написанное в ссылке, но не на юге, а в Михайловском: «Разговор книгопродавца с поэтом», 1824 год:

Что слава? шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца? (II, 326).

Конечно же, это не случайное совпадение. Это то же самое гонение и тот же низкий невежда! Только мысль дана более обобщенно. Думаю, что невежда в стихах Пушкина-изгнанника должен остановить на себе внимание исследователя психологии творчества.

Все случаи употребления слова «невежда», о которых мы здесь говорили, встречаются в тех стихах Пушкина, которые откровенно автобиографичны. Словом этим характеризуется определенный тип людей, современников Пушкина.

Однако есть еще одно стихотворение, в котором «невежды» — реакционеры, политические враги поэта. Но поэт этот — не Пушкин, это французский лирик XVIII века Андрей Шенье.

Известно, что Андрей Шенье был казнен за участие в заговоре, целью которого являлась реставрация монархии. Известно также, что неприятие якобинского периода французской революции было характерно для взглядов революционной дворянской молодежи России 20-х годов прошлого века. Поэтому можно понять, что Андрей Шенье для Пушкина — революционный поэт, воспевающий свободу. В минуту слабости он жалеет, что

...кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба, и корысть.

Невежды «буйные» потому, что это революция, и Марат, и Робеспьер, и споры, доходящие до драк, и кровавые казни на гильотине.

Когда к поэту возвращается самообладание, он говорит о них еще более ясно:

Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам,
Ты звал на них, ты славил Немезиду,
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду (II, 401).

Вот кто эти «буйные невежды». Это «совет правителей бесславных», это «самодержавные палачи», это «ареопаг остервенелый».

Конечно, это употребление слова «невежда» сходно с употреблением его в автобиографических стихотворениях, которые мы разбирали выше. И вполне объяснимо, почему это слово в таком значении попало в стихи о французском поэте XVIII века.

Ведь об автобиографичности «Андрея Шенье» исследователи Пушкина писали не раз. И заключается она в сближении переживаний Пушкина и его героя. Недаром первоначальный набросок «Андрея Шенье» представляет собой самостоятельное лирическое стихотворение. («Куда, куда завлек меня враждебный гений...» — II, 937).

Попробуем наконец сделать выводы.

Кроме людей, невежественных в обычном смысле слова, Пушкин называл невеждами литературных и политических ретроградов.

Невежда — литературный, идеологический противник — словоупотребление, характерное вообще для поэтов-арзамасцев.

Оно, видимо, было понятно довольно широкому кругу читателей.

Другое дело — невежда — противник политический. Это человек, с которым нельзя открыто бороться, нападки на которого никогда не будут пропущены цензурой. И в ответ он не будет доказывать свою правоту печатным словом, а может действовать административно. Это употребление слова «невежда» условное, со скрытым смыслом.

С другой стороны, если Пушкин в стихотворной части письма к Гнедичу, человеку передовых взглядов, другу многих декабристов, пишет:

«С поклоном не хожу к невежде», — и не комментирует этот стих, само собой разумеется, что адресат понимает, о ком идет речь.

Можно с уверенностью сказать, что слово «невежда» как обозначение политического реакционера, стоящего у власти, было принято в определенном кругу лиц, близких Пушкину.

Доказательством этому служат стихи другого поэта первой половины XIX века, Е. А. Баратынского [19], в которых слово «невежда» звучит столь же необъяснимо или столь же объяснимо, как и у Пушкина:

На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум,
Где для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы [20].

«О своенравная София».
Зима 1822/23 года

В таких стихах слово «невежда» имеет острую политическую направленность. Понятно, что люди, пользующиеся им, видимо, наиболее передовая часть дворянства. Возможно, именно этим объясняется то, что после 1825 года мы с этим словом в подобном значении не встречаемся. Быть может, после разгрома декабрьского восстания произносить его стало просто опасно.

Раскрыть имя одного из тех, кого поэт клеймит словом «невежда», неожиданным образом помогли черновые варианты послания «Чаадаеву» 1821 года.

Пушкин подчеркивает наиболее характерные черты для выражения сущности своего обидчика:

Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного в бесчестье и звезде.

Исправлено:

Холопа знатного в андреевской звезде.

Так сложился стих в черновом автографе. Перебеляя стихотворение, Пушкин заменил этот вариант другим:

Холопа знатного, грабителя в звезде
(II, 665).

И вот перед нами окончательная редакция:

Холопа знатного, невежды при звезде
(II, 188).

Думается, что не одно только стремление к совершенству заставляло поэта многократно переделывать окончание стиха. Поэт обуреваем противоречивыми чувствами. С одной стороны, он жаждет отомстить своему оскорбителю, выставив его на публичное осмеяние. С другой стороны, он не позволяет себе сделать это, очевидно, из-за цензуры [21].

В связи с этим интересно обратить внимание на следующее: в окончательном тексте чернового автографа упоминалась андреевская звезда, а в беловике слово «андреевская» отсутствует. В чем причина этой переработки? Возможно ли объяснить этот факт?

Андреевская звезда, или орден Андрея Первозванного был высшим орденом Российской империи. Им награждались по большей части члены императорской фамилии и иностранные государи. Редкие из русских были удостоены этой чести [22].

Поэтому андреевская звезда в стихах Пушкина могла стать для читателей-современников «путеводной». По ней нетрудно было догадаться, сколь важного оскорбителя называет поэт «знатным холопом».

В 1820 году в России было всего восемь кавалеров ордена Андрея Первозванного, не принадлежавших к царскому дому [23]. Четверо из них не жили в конце 1819 — начале 1820 года в столицах и поэтому, бесспорно, исключаются из числа предполагаемых оскорбителей поэта [24].

Еще двое — П. Х. Витгенштейн и П. Х. Обольянинов — по многочисленным свидетельствам современников, имели репутацию людей честных и благородных. Витгенштейн был человеком, доброжелательно относившимся к веяниям передовой общественной мысли [25].

Наконец, И. П. Кутайсов не мог похвастаться знатностью своего рода. В 1798 году он вышел в графы из царских брадобреев. Вряд ли Пушкин назвал бы его «знатным холопом».

Остается князь Д. И. Лобанов-Ростовский, министр юстиции, один из самых злобных и реакционных ретроградов [26].

Это был человек крайне беспринципный, взбалмошный, возможно, психически неуравновешенный. Он не уважал людей, любил их осуждать и даже издеваться над ними

Конечно, он мог подхватить злую сплетню, распространяемую о поэте, и громогласно поддержать ее в любом кругу.

Если это утверждение правильно, то остается добавить, что образ князя Лобанова-Ростовского, соответствует пониманию слова «невежда», которое раскрывается в этой статье: политический ретроград, облеченный властью.



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Словарь языка Пушкина (АН СССР, Институт языкознания), тт. 1—4. М., 1956—1961.

[2] Там же, т. 2, стр. 764.

[3] Нелишне отметить, что в приведенных стихах другим своим неизменным качеством поэт считает твердость по отношению к «Октавию» — царю. Он не льстит ему в надежде на милость.

[4] Словарь языка Пушкина, т. 3. М., 1959, стр. 836.

[5] Там же, т. 2, стр. 764.

[6] Ю. Н. Тынянов, Пушкин и его современники. М., 1968, стр. 26.

[7] В. В. Виноградов, Язык Пушкина. М., 1935, стр. 53.

[8] А. С. Шишков, Собрание сочинений и переводов. Кн. IV, Спб., 1818, стр. 74.

[9] Там же, стр. 93.

[10] А. С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. Спб., 1818, стр. 303.

[11] Письмо П. А. Вяземскому от 2 января 1822 года (XIII, 34).

[12] Чаадаев «...обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами» («Записки Дм. Ник. Свербеева (1799—1826)», т. II. М., 1899, стр. 237).

[13] В примечаниях к стихотворениям Пушкина читаем: «Уединение. Вольный перевод стихотворения французского поэта А. Арно «La solitude» («Одиночество»). Строка «Вдали взыскательных невежд» в рукописном тексте читалась: «Вдали тиранов и невежд». «Этих важнейших слов» у Арно нет (А. С. Пушкин, Собрание сочинений в десяти томах. М., Гос. изд. художественной литературы, т. 1, 1959, стр. 569).

[14] А. И. Тургенев, Хроника русского. Дневники (1825—1826). М. — Л., 1964, стр. 535.

[15] Словарь языка Пушкина, т. 4. М., 1961, стр. 548.

[16] См. в статье Т. Г. Цявловской «Неясные места биографии Пушкина». Пушкин. Исследования и материалы, т. 4. М. — Л., 1962, стр. 423.

[17] Возмутительные — призывающие к возмущению, к мятежу.

[18] См. об этом статью М. А. Цявловского «Политические эпиграммы». В кн.: М. А. Цявловский, Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 45—47.

[19] Чтобы рассмотреть все случаи употребления слова «невежда» у Жуковского и Баратынского, я воспользовалась материалами словников этих поэтов, составленных в Институте русского языка АН СССР, любезно предоставленными мне В. Д. Левиным.

[20] Другим, косвенным подтверждением является отрывок из письма П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 3 сентября 1820 года: «Будет другой век, когда протухлый наш век сгниет, вопли моего сердца, быть может, не заглушатся под усилиями невежества, и я отзовусь у добрых и счастливейших людей. Я мало означил шагов на пути своего незначительного бытия, но шаг-другой останется впечатленным» («Остафьевский архив князей Вяземских», т. II. Спб., 1899, стр. 58).

[21] Стих «Холопа знатного, невежды при звезде» цензурой пропущен не был.

[22] См. «Список кавалеров четырех российских орденов» за 1831 год. Спб., 1837, стр. 3—4.

[23] Кн. Станислав Понятовский; гр. С. Р. Воронцов; гр. Г. Г. Кушелев; гр. И. П. Кутайсов; П. Х. Обольянинов; гр. П. Х. Витгенштейн; кн. Д. И. Лобанов-Ростовский; бар. Ф. В. фон дер Остен-Сакен.

[24] Станислав Понятовский, С. Р. Воронцов, Г. Г. Кушелев, Ф. В. Остен-Сакен.

[25] О Витгенштейне см.: «Записки Сергея Григорьевича Волконского». Спб., 1901, стр. 252, 436; П. В. Долгоруков, Петербургские очерки. М., 1934, стр. 347; «Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 гг.», т. III, Пг., 1921, стр. 293; про Обольянинова см.: «Из записок М. А. Саблукова» — «Русский архив», 1869, № 11, стб. 1894—1895; И. М. Долгоруков, Капище моего сердца. М., 1890, стр. 246—247.

[26] О продажности, косности и глупости Лобанова-Ростовского см.: «Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 гг.», т. III. Пг., 1921, стр. 158, 249, 278; «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. 1, Спб., 1905, стр. 404; «Декабристы и их время». М. — Л., 1951, стр. 198; И. М. Долгоруков, Капище моего сердца. М., 1890, стр. 184.



Т. Г. Цявловская

Записка к В. Ф. Вяземской

Вера Федоровна Вяземская, жена писателя Петра Андреевича Вяземского, была близким другом Пушкина.

С этой доброй, веселой женщиной он сразу подружился, познакомившись с ней летом 1824 года. Она привезла своих больных детей на морские купания в Одессу, когда он находился там в ссылке.

Пушкин стал бывать у нее ежедневно, поверял ей свои сердечные невзгоды. Будучи в ссылке уже в Михайловском, в октябре того же года он ответил на ее письмо из Одессы признаньями о тяжелых отношениях с отцом, жалобами на скуку и на тоску по Одессе.

В дальнейшем дружба их еще более укрепилась.

Разбирая в архиве письма неустановленных лиц к Вяземским, я увидела знакомый почерк, отличающийся редкой красотой, артистизмом, благородством, — почерк Пушкина...

Это была записка на французском языке. Подписи не было. Текст ее в печати не был известен.

Divine Princesse, je vous salue de tout mon coeur. De tout mon coeur, Pr<incesse> divine, je vous salue. Princesse, je vous salue, divine de mon coeur etc [1].

(Божественная княгиня, кланяюсь вам от всего сердца. От всего сердца, к<нягиня> божественная, кланяюсь вам. Княгиня, кланяюсь вам, божество моего сердца, и т. д.)

Последние слова — divine de mon coeur не описка. Именно такой вариант естествен при этой игре в инверсию. Написав de t, Пушкин переделал t в m и закончил: mon coeur, заменив вариант, писавшийся по инерции: Princesse, je vous salue, divine, de tout mon coeur [2] — выражением, наполненным иным смыслом, — Princesse, je vous salue, divine de mon coeur [3], — Пушкин назвал Вяземскую божеством своего сердца. Это было естественно для amitié amoureuse, полудружбы, полувлюбленности, которыми одно время были окрашены отношения Пушкина с В. Ф. Вяземской.

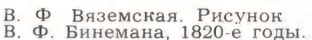
В тексте записки Пушкин перефразирует известные строки из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Журден просит своего учителя философии помочь ему составить записку, он хочет уронить ее у ног маркизы, в которую влюблен. «Так вот, что я хочу ей написать: «Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви», но только нельзя ли это же самое сказать полюбезнее, как-нибудь этак покрасивее выразиться?»

Учитель философии предлагает Журдену написать, что «пламя ее очей испепелило ему сердце», что он «день и ночь терпит из-за нее столь тяжкие...», но Журден обрывает его и повторяет сказанные им слова: «Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Учитель философии изощряется в перестановках слов Журдена: «От любви смерть мне сулят, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза». Или: «Прекрасные ваши глаза от любви мне сулят, прекрасная маркиза, смерть». Или: «Смерть ваши прекрасные глаза, прекрасная маркиза, от любви мне сулят». Или: «Сулят мне прекрасные глаза ваши, прекрасная маркиза, смерть».

На вопрос Журдена: «какой же из всех этих способов лучший?» — учитель философии отвечает: «Тот, который вы избрали сами. Прекрасная маркиза, ваши пре-




В. Ф Вяземская. Рисунок В. Ф. Бинемана, 1820-е годы.



В. Ф. Вяземская. Рисунок А. С. Пушкина, 1826 г.

красные глаза сулят мне смерть от любви» [4].

Шутливой стилизацией текста классической комедии Пушкин в легкой непринужденной форме выразил Вяземской свои добрые чувства.

Строки этой записки были набросаны на пакете, заменявшем в ту эпоху конверты. Письма посылались сложенными в таком роде, как сейчас в аптеке складывают пакетики с порошками. На главной средней части внешней поверхности, свободной от текста письма, писался адрес. Если же письмо было большое и лист исписывался весь, то делалась — по той же системе — обертка, пакет, в который заворачивалось письмо.

Выше французских строк пушкинской же рукой было написано: «Мужу». Слово это было зачеркнуто, и, видимо, перед отправкой, для того чтобы смягчить отсутствие письма Вере Федоровне (письмо посылалось Петру Андреевичу), Пушкин и набросал эти шутливые мадригальные строки.

Состоя в переписке с Вяземским, Пушкин его жене почти не писал. «Некогда мне

Divine Princesse, je vous salue de tout mon coeur. De tout mon coeur, Pr. divine, je vous salue. Princesse, je vous salue, divine de mon coeur &c.

Записка А. С. Пушкина к В. Ф. Вяземской.

писать княгине, — объяснял он как-то в письме Вяземскому из михайловской ссылки, — благодари ее за попечение, за укоризны, даже за советы, ибо все носит отпечаток ее дружбы, для меня драгоценной» [5].

Когда же была написана записка Пушкина В. Ф. Вяземской? Для определения времени ее написания текст не содержит никаких данных биографического характера.

Однако, судя по тону, записка могла быть написана в самые первые годы знакомства — в михайловский период или вскоре после возвращения из ссылки.

Приехав из деревни в Москву, Пушкин сразу появился в доме у Вяземских. «Пушкин, как метеор, промелькнул в моих глазах», — вспоминал на старости лет сын Вяземских, Павел Петрович. «Пушкин, Пушкин приехал», — раздалось по нашим детским, и все, дети, учителя, гувернантки — все бросилось в верхний этаж, в приемные комнаты взглянуть на героя дня. <...> Сильному впечатлению, произведенному приездом Пушкина, не говоря о магическом действии его стихов, появление которых всегда составляло событие в доме, несомненно, много содействовала дружба Пушкина с моею матушкой, в Одессе, где часть нашего семейства провела лето в 1824 году. И детские комнаты, и девичья с 1824 года были неувядаемым рассадником легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря» [6].

Возобновившаяся в Москве дружба Пушкина с Верой Федоровной отмечена в эту пору оттенком ухаживания, о чем свидетельствует письмо поэта к ней с дороги, спустя два дня после отъезда его из Москвы:

«Спешу, княгиня, послать вам поясы [7]. Вы видите, что мне представляется прекрасный случай написать вам мадригал по поводу пояса Венеры и т. п., но мадригал и чувства сделались одинаково смешны. Что сказать вам о моем путешествии? Оно продолжается при самых счастливых предзнаменованиях, за исключением отвратительной дороги и несносных ямщиков. Толчки, удары локтями и проч. очень беспокоят двух моих спутников, — я прошу у них извинения за вольность обращения, но когда приходится путешествовать

Voici, Mademoiselle, encore une lettre pour mon frère je vous supplie de la prendre sous votre protection. De grâce, les plumes que vous avez eu la magnanimité de me tailler et que j'ai eu l'insolence d'oublier! Ne m'en voulez pas

Записка А. С. Пушкина к А. Н. Вульф.

совместно, необходимо кое-что прощать друг другу. С. П.* — мой добрый гений, но **другая** — мой демон; это как нельзя более некстати смущает меня в моих поэтических и любовных размышлениях.

Прощайте, княгиня, — еду похоронить себя среди моих соседей. Молите бога за упокой моей души. Если вы удостоите прислать мне в Опочку небольшое письмо страницы в 4, — это будет с вашей стороны очень милым кокетством. — Вы, умеющая смастерить записочку лучше, чем покойная моя тетушка, — неужели же вы не проявите такой доброты? (NB Записка впредь будет синонимом музыки.) Итак, прощайте. Я у ваших ног и трясу вам руку на английский манер, поскольку вы ни за что не хотите, чтобы я вам ее целовал. Торжок. 3 ноября.

Достаточно ли обиняков? Ради бога не давайте ключа к ним вашему супругу. Решительно восстаю против этого» [8].

Вера Федоровна отвечала ему:

«...Все ли еще добрый гений и демон сопутствуют вам? Думаю, что вы давно уже от них отделались. Кстати, вы так часто меняли п р е д м е т, что я уже не знаю, кто эта д р у г а я. Муж уверяет меня, будто я надеюсь, что это я с а м а. Да сохранит небо нас обоих от этого, — прежде всего я никак не хочу путешествовать вместе с вами, я слишком слаба и слишком стара, чтобы пускаться в дальний путь; я стала бы в полном смысле слова вашим злым гением, но я притязаю на вашу дружбу, вы же, кажется, сбросили это ярмо, между тем вам совершенно необходимо ему подчиняться, дабы без возмущения выслушивать кое-какие истины» [9].

И действительно, тон кокетливой игры вскоре отошел, и между Пушкиным и Вяземской установилась настоящая крепкая дружба: ей писал он о размолвке с Гончаровыми, грозившей разрывом предстояв-

* Это само собою разумеется, не Сергей Пушкин. **(Прим. Пушкина)**. Он имел в виду Софью Федоровну Пушкину, свою однофамилицу, молодую девушку, в которую он влюбился в Москве и на которой хотел жениться.



Рисунки А. С. Пушкина 1826 г.: П. А. Вяземский, П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев, В. Ф. Вяземская.

шего брака, ее пригласил быть посаженой матерью на его свадьбе, ей поведал о готовившейся им дуэли с Дантесом.

Возвратимся к датированию новой записки Пушкина. Не поможет решению вопроса и рассмотрение бумаги, на которой она написана. (Бумага, которой пользовался Пушкин, детально изучена. Известны 258 сортов, бывших в его употреблении. Установлены хронологические границы пользования каждым сортом.)[10] Бумага новой записки лишена характерных признаков: нет на ней ни водяных знаков, ни вержировки — гладкая, простая, белая с желтым оттенком, лист неполный, так что и размер фабричного листа неясен.

Остается надежда, что прояснить датировку помогут особенности почерка нового автографа. Хотя принято считать, что почерк взрослого Пушкина не менялся, но ведь он никогда не изучался (кроме лицейского периода)[11].

В новом автографе обращает на себя внимание особенное начертание латинской прописной буквы Р, фигурное. Трижды в пяти строках.

Пересмотрев все автографы Пушкина на французском языке (их оказалось более двухсот), я встретила подобные Р лишь в семнадцати рукописях. Впервые появляются они в 1825 году, когда их особенно много[12], изредка попадаются они и позднее[13].

Не применяя этих прописных Р в черновиках, Пушкин употреблял их, снимая важные ему копии, в письмах к Бенкендорфу, к женщинам. Напрашивается вы-

вод, что эти фигурные Р свидетельствуют о старании, связанности, принужденности, желании нравиться.

Необычна и буква S. Эти своеобразные S появляются в почерке Пушкина также в 1825 году [14].

Сочетаются же эти Р и S в автографах Пушкина неоднократно в 1825 году [15], однажды в 1828 году, дважды в 1830 году и один раз в 1835 году [16].

При датировании неизвестной записки к Вяземской 1835 и 1830 годы отпадают сразу — таким тоном Пушкин ей уже не писал.

И характер почерка новой записки, даже помимо отмеченных особенностей отдельных букв, заставляет отнести ее к 1825 году. Сходство почерка этого автографа с запиской к Ан. Н. Вульф от марта — мая 1825 года разительно.

А если это 1825 год, то только первые месяцы: после 24 марта Пушкин не стал бы писать Вере Федоровне в таком легкомысленном тоне. В этот день он получил от нее письмо о смерти ее шестилетнего сына Николеньки, с которым он любил играть в Одессе и по которому — по словам матери мальчика — он в Одессе «с ума сходил» [17]. В том же письме сообщала она и о тяжелой болезни других детей и об опасном заболевании мужа. Пушкин отвечал ей сердечными, трогательными словами [18].

Единственной известной нам оказией из Михайловского в Москву в начале 1825 года был Иван Иванович Пущин, он провел у Пушкина 11 января. «Первый друг» Пушкина был и с Вяземскими в приятельских отношениях. Мы знаем, что он повез от Пушкина Вяземскому отрывки из «Цыган» и денежный долг Вере Федоровне [19] (он задолжал ей, когда неожиданно высылался из Одессы).

По-видимому, и письмо и записка посылались в тот же день.

Тогда понятно слово «Мужу» на обертке письма, на обертке денег стояло, очевидно, «Жене».

А потом, спохватившись, что Вера Федоровна будет искать записку от него, Пушкин набросал ей эти шутливые строки, зачеркнул слово «Мужу» и снял обертку с письма Петру Андреевичу.

Шаловливый тон записки к Вяземской объясняется приподнятым душевным состоянием, в которое привел Пушкина неожиданный приезд его старого друга в «поэта дом опальный» с тремя бутылками французского шампанского, которые Пущин взял ночью в Острове.

Письмо, о котором мы узнаем по надписи «Мужу», до нас не дошло, хотя письма Пушкина (и не только Пушкина) в архиве Вяземского бережно сохранены. Не пришлось ли ему уничтожить письмо после разгрома восстания 14 декабря? Не было ли оно крамольным?..

Вспомним, что день, проведенный у Пушкина Пущиным, был в жизни поэта особенным: впервые в деревенской ссылке мог он с распахнутой душой наговориться с близким другом, наслушаться рассказов о тайном обществе, познакомиться с ходящим в рукописи «Горем от ума», прочитать понимающему человеку своих «Цыган», «бездну» эпиграмм.

Тут в разговоре могла зародиться или укрепиться мысль о составлении из этих эпиграмм, высмеивающих виднейшие фигуры правительства и самого Александра I, рукописного сборника [20]. Друзья могли размечтаться о распространении потаенного сборника среди членов тайного общества. Или, в случае удачи со свержением царя,— о том, что пушкинский сборник политических эпиграмм и сатир мог бы стать первой книгой вольной русской печати...

В вечнопамятном дне 11 января нашла свое место и записка Пушкина к Вяземской. Так раскрылась и еще одна малозаметная деталь в медленно реставрируемой картине свидания двух друзей в ссылке в Михайловском.



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 3501 (письма неустановленных лиц к В. Ф. Вяземской), л. 35 (ныне среди писем Пушкина к В. Ф. Вяземской — оп. 1, ед. хр. 3422, л. 1).

[2] Княгиня, кланяюсь вам, божественная, от всего сердца.

[3] Княгиня, кланяюсь вам, божество моего сердца.

[4] Ж.-Б. Мольер, Собр. соч. в двух томах, т. II, М., ГИХЛ, 1957, стр. 415—416.

[5] Письмо от конца января 1825 г. (XIII, 139).

[6] Кн. П. П. Вяземский, Пушкин. По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям. В кн.: «А. С. Пушкин. Новонайденные его сочинения. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Биографические и критические статьи о нем», т. II, М., 1885, стр. 33.

[7] Это были сафьяновые изделия, вышитые золотом и серебром, которыми славился Торжок.

[8] Письмо написано по-французски (XIII, 301—302 и 561 — перевод).

[9] Письмо написано по-французски (XIII, 306 и 562 — перевод).

[10] См. «Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание». Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М. — Л., изд. АН СССР, 1937, стр. 295—344.

[11] Об эволюции лицейского почерка Пушкина см. в кн.: М. А. Цявловский, Статьи о Пушкине. М., Изд. АН СССР, 1962, стр. 82—85.

[12] В письмах к П. А. Осиповой от 25 июля, 8 августа, 11 августа, 28 августа (письмо, предназначенное для А. П. Керн), в письмах к А. П. Керн от 13 и 14 августа, 28 августа, 22 сентября 1825 года. Нашлось подобное начертание и в русском тексте — в письме к А. А. Бестужеву от конца мая — начала июня 1825 года.

[13] См. «Extrait de Bérald de Savoye» (июль 1826 г.), копию стихотворения А. Шенье «Près des bords où Venise...» (1827 г.?), письмо к Е. М. Хитрово, датированное в академическом издании 1828—1829 годами, письмо к Шимановской 1828—1829 годов, письмо к Н. И. Гончаровой от 5 апреля 1830 года, письмо к Н. Н. Гончаровой от 1—2 декабря 1830 года, «Abrégé chronologique des événements les plus remarquables du règne de Pierre I» (1832 г.), письмо к Бенкендорфу от 22 июля 1835 года и письмо к Н. Г. Репнину от 5 февраля 1836 года.

[14] См. письмо к Ан. Н. Вульф от марта — мая 1825 года, к ней же от 21 июля 1825 года, к А. П. Керн от 25 июля, от 13 и 14 августа, 28 августа и 22 сентября 1825 года, к П. А. Осиповой от 25 июля, 29 июля, 1 августа и 28 августа (предназначенное для А. П. Керн), эпиграф к первой главе «Евгения Онегина» (1825 г.) — ПД, № 153.

[15] В письмах к Осиповой от 25 июля, 8 августа и 28 августа, в письмах к Керн от 28 августа и 22 сентября 1825 года.

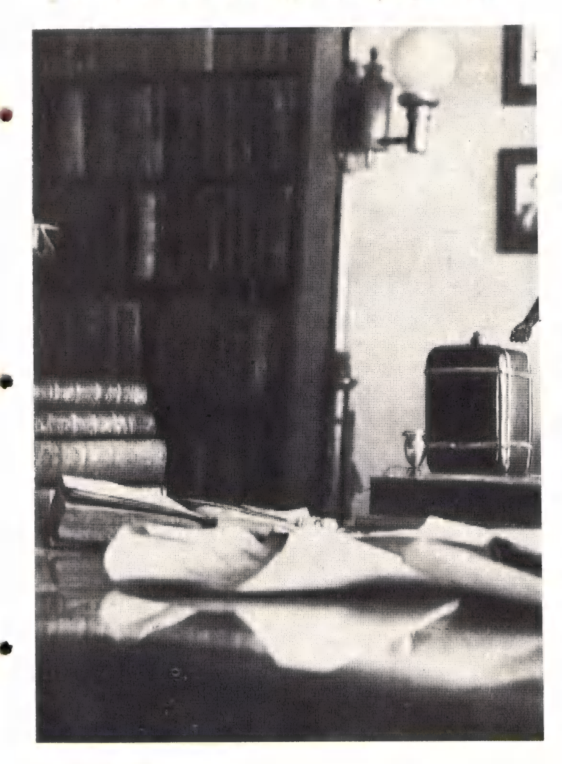
[16] В письме к Е. М. Хитрово 1828—1829 годов, к Н. И. Гончаровой от 5 апреля 1830 года, к Н. Н. Гончаровой от 1—2 декабря 1830 года, к Бенкендорфу от 22 июля 1835 года.

[17] См. «Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2, 1913, стр. 145—146.

[18] Письмо В. Ф. Вяземской не дошло до нас, но мы знаем о нем по ответному письму Пушкина.

[19] См. в статье «Воронцова в жизни и творчестве Пушкина» — в настоящем сборнике, а также письмо Пушкина к Вяземскому от 28 января 1825 года и письма из Москвы Пущина к Пушкину от 18 февраля и от 12 марта 1825 г. (XIII, 137, 144 и 151).

[20] См. Т. Г. Цявловская, «Муза пламенной сатиры» — в сборнике «Пушкин на юге». Труды Пушкинской конференции Одессы и Кишинева. Издательство «Штиинца» Молдавского филиала Академии наук СССР. Т. II. Кишинев, 1961, стр. 147—198.



Л. В. Крестова

«Она одна бы разумела...»

1. АЛЬБОМ

В филиале Государственного Центрального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки хранится старинный альбом в сафьяновом переплете, украшенном бронзовыми наугольниками с бирюзой и рисунками эмалью. Застежка альбома тоже бронзовая с бирюзой, пряжка золотая.

На 93-м листе альбома — автограф Пушкина:

Она одна бы разумела
Стихи неясные мои,
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Александр Пушкин
22 сентября 1826 года
Москва

Запись сделана в дни, когда поэт возвратился в Москву после шестилетней ссылки.

Кому же посвятил Пушкин такие значительные строки?

Листаем альбом.

Первые записи относятся к 1821 году. Они сделаны в Париже писателем А. Риго, историком Гизо, писателем и историком Барантом (впоследствии французским послом в России). В 1824 году оставили в альбоме свои автографы писатель Лемонте, Бенжамен Констан — автор популярного тогда психологического романа «Адольф», Ансло и другие французские литераторы.

Важное место занимают в альбоме нотные записи композиторов, сделанные в 1823—1824 годах. Тут и знаменитый Россини, и Мейербер, и Керубини, и Обер, и Буальдье, и Спонтини.

Автографы столь различных людей говорят о том, что обладатель альбома — разносторонний человек, равно интересовавшийся историей, литературой и музыкой, общавшийся со многими известными европейскими деятелями культуры, к которым присоединил свой автограф Пушкин.

Дальнейшие записи относятся к 1827 году. Они свидетельствуют о знакомстве владельца альбома с Н. И. Гнедичем («Отрывок из послания к И. А. Крылову») и с Крыловым, вписавшим в альбом басню «Туча».

Затем следует двенадцатилетний перерыв. В 1839 году среди нотных автографов появляется имя музыканта Тальберга, 16 января 1842 года вписал в альбом ноты своего «Preludio» Ференц Лист, гастролировавший тогда в Петербурге. Далее мы встречаем имена Гензельта, поэта В. А. Жуковского (1843 г., Баден-Баден) и подпись Мицкевича (на листке, вклеенном в альбом). В Париже в декабре 1843 года вписывает несколько слов Бальзак: «je suis comme l'hirondelle. Le froid me chasse» («Я как ласточка. Холод гонит меня»). Горестное признание сделано писателем после возвращения из России. «Пребывание в Петербурге оказалось для Бальзака рядом глубоких разочарований. Его надежды и ожидание рухнули сразу во всех направлениях — политическом, литературном, общественном и в самом главном для него — в плане личного счастья» [1]. Серия этих автографов завершается подписью поэта Теофиля Готье (Париж, январь 1844 г.).

«Она одна бы разумела....». Автограф А. С. Пушкина в альбоме Н. С. Голицыной.

В дальнейшем альбом пополняется только тремя автографами: знаменитой певицы Полины Виардо, восхитившей русскую публику (1846 г.), П. А. Вяземского (1858 г.) и Ф. И. Тютчева (послание «Князю А. М. Горчакову по разрешении черногорского вопроса») (1871 г.).

Перелистав альбом, мы убеждаемся, что полного имени владелицы его нет нигде, но есть два посвящения, в которых она названа по принятой в те времена манере именем мужа, «A madame la Princesse Serge Golitzine» (Княгине, супруге Сергея Голицына»).

Княгинь Голицыных, хорошо знакомых Пушкину, было немало, однако кажется только у одной из известных нам муж назывался Сергеем — у Евдокии (или Авдотьи) Ивановны, рожденной Измайловой, известной под именем «Princesse Nocturne» («Ночная княгиня»): она собирала гостей только ночью, а спала днем. Перевернула сутки, чтобы обмануть судьбу: гадалка предсказала ей, что она умрет ночью в своей постели.

Еще в юности, до ссылки, Пушкин был влюблен в Авдотью Ивановну, проводил у нее вечера, писал ей стихи и из ссылки не забывал слать поклоны. На первый взгляд может показаться, что четверостишие он вписал в альбом именно ей.

Но достаточно ли у нас оснований для этого предположения? Один ли Сергей Голицын жил в это время?

Продолжаем обследовать альбом. Обращаем внимание на то, что на его застежке имеются два герба. По геральдическим изданиям, в которых воспроизведены дворянские гербы, устанавливаем, что один принадлежал роду Голицыных, другой — Апраксиным.

Значит, владелица альбома носила сперва одну из этих фамилий, потом — другую.

Книги по генеалогии — истории дворянских родов — дают возможность установить, что таких женщин за всю историю

этих родов было две: княжна Екатерина Владимировна Голицына, бывшая замужем за Степаном Степановичем Апраксиным, и ее дочь — Наталья Степановна Апраксина, по мужу — княгиня Голицына, жена Сергея Сергеевича.

Разгадка найдена! Она-то, Наталья Степановна Голицына [2], и была той princesse Golitzine, альбом которой украшен автографом Пушкина [3].

Какое же отношение имеет Наталья Степановна Голицына к Пушкину? Сведений о знакомстве поэта с нею почти нет, и в то же время в альбом вписаны строки: «Она одна бы разумела...» Та, о которой сказаны такие слова, представляется исключительно чуткой, понимающей даже самое сокровенное в творчестве поэта.

Трудно допустить, чтобы эта характеристика была обращена к первой встречной, почти незнакомой. За этими словами чувствуются давние отношения.

Все, что мы расскажем, будет попыткой проникнуть в те скрытые от нас эпизоды, которые привели к этой необычной для Пушкина записи.

Биографию этой женщины удается восстановить, и не только по материалам, найденным в печати, но и по бумагам из неопубликованного архива Голицыных. И мы не раз убедимся, что ее жизненный путь пересекался с пушкинским.



Н. С. Апраксина, впоследствии Голицына.

2. НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА ГОЛИЦЫНА

Наталья Степановна Апраксина родилась 14 ноября 1794 года в Москве. Отец ее, Степан Степанович Апраксин, «был богат, молод, пригож, прекрасно воспитан, охотник до забав, щедр, роскошен, влюбчив, щеголял своими пышными разводами и всей Москве крутил голову. Дом его был Париж для молодых людей, школа образования и наилучшего тона <...>. В этом-то доме все радости света сливались вместе. Тут были беспрестанные игры, забавы, балы <...>. Завели у себя благородный театр <...>. Каждую неделю новое зрелище, и при всем городе: оперы, трагедии, комедии, все на нашем театре представлялось отборной московской публике, и все по-французски: свой язык был в загоне» [4].

Москвичи долго помнили апраксинский дом на углу Знаменки и Арбатской площади, «совершенный дворец», по свидетельству одной из современниц [5]. В этом доме у С. С. Апраксина был театр с ложами в несколько ярусов. Здесь ставились «благородные спектакли» с участием любителей из великосветского общества, выступали на этой сцене и крепостные актеры С. С. Апраксина, и приезжие знаменитости — трагическая актриса Жорж, прославленные певцы и певицы Каталани [6], Този, Анти.

Недалеко от Москвы, под Дмитровом, находилось одно из апраксинских имений — Льгово (как называют его все Апраксины, или Ольгово, как именуют его в литературе). Пышный дом был построен в последней четверти XVIII века итальянским архитектором Кампорези [7]. Дом стоял в большом английском парке, где было несколько прудов. «Чего только не бывало в Ольгове, — вспоминала соседка Апраксиных по имению Е. П. Янькова, — отдельный театр [8], свои актеры и музыканты, балы, фейерверки, охоты». Здесь ставились пьесы Мольера, Бомарше, Реньяра и других, по преимуществу французских драматургов. На сцене выступала сама хозяйка дома; вместе с ней — известный актер-любитель Алексей Михайлович Пушкин, другой Пушкин, Василий



Интерьер 20-х годов XIX века.

Львович, который учился декламации в Париже у знаменитого Тальма, дядя будущего поэта, московские театралы Гедеонов и Кокошкин, П. А. Вяземский.

В такой обстановке росла Наталья Степановна Апраксина. Воспитанием ее руководила мать, красивая, несколько надменная женщина, судя по портрету работы Виже-Лебрен. Обучали Наталью Апраксину гувернантки, преподаватели истории и литературы — французы. Истинным увлечением ее с отроческих лет стала музыка и театр. Наталья Степановна обладала прекрасным голосом, играла на арфе, на рояле. Позднее она вспоминала о своих выступлениях на домашних концертах, где исполняла соло на клавесине в сопровождении оркестра.

Сохранились детский портрет Натальи Апраксиной французского художника Друэ и ее ранние французские письма, обращенные большей частью к брату Владимиру, отданному на воспитание бабушке Наталье Петровне Голицыной в Петербург.



Н. С. Апраксина,
впоследствии Голицына.

Письма рассказывают о занятиях, прогулках, деревенских развлечениях, но более всего о музыке и театре. Наталья мечтает, что Владимир, вернувшись, соберет собственную труппу, где он будет главным режиссером, а она будет играть любые роли, даже старух.

В 1813—1815 годах Наталья Степановна живет в Петербурге у бабушки, Натальи Петровны Голицыной (за резко обозначенные усы прозванной в свете «princesse Moustache», то есть «княгиня Усатая», или — более фамильярно — «Moustachine», «Усачка», или, наконец, «fée Moustachine» — «Усатая фея»).

Дом Натальи Петровны на Малой Морской был одним из самых знатных домов. Голицына имела важное придворное звание статс-дамы. Сам царь с семьей приезжал к Голицыной ежегодно поздравить ее в день рождения, 17 января. Принимала она членов царской семьи, за исключением императора, «сидя, не трогаясь с места» [9].

Про Наталью Петровну рассказывали, что «она все фамилии бранила и выше

Голицыных никого не ставит и когда она пред внучкой своей шестилетней хвалила Иисуса Христа, то девочка спросила: «не из фамилии ль Голицыных И<исус> Х<ристос>?» [10].

Деспотичная, черствая, эгоистичная, Наталья Петровна была одной из тех старых барынь, черты которой послужили Пушкину для образа «пиковой дамы». Недовольство бабушкой порою проскальзывает в письмах внучки, унаследовавшей от отца счастливую способность быть всегда радостной и довольной.

Еще ребенком, с шести до одиннадцати лет, проводил Пушкин летние, а может быть, и зимние месяцы у бабушки своей, Марии Алексеевны Ганнибал. Она владела небольшим сельцом Захаровом под Москвою.

В двух верстах от Захарова находилось село Вяземы. Принадлежало оно дяде Натальи Степановны, князю Борису Владимировичу Голицыну. Здесь был похоронен летом 1807 года шестилетний брат Пушкина Николай.

Не могли Пушкины не встречаться со своими соседями — на прогулках или в праздничные дни в церкви в Вяземах. Вероятно, посещали они и дом Голицыных. Борис Владимирович был писателем; разумеется, он знал Василия Львовича Пушкина, отсюда возможны связи с семьей его брата, Сергея Львовича.

В 1811 году Пушкин был определен в Царскосельский лицей, где провел почти безвыездно шесть лет. И в то время мог он видеть Наталью Степановну, сопровождавшую императрицу в ландо или пешком: 1813, 1814 и почти весь 1815 год Наталья Степановна провела в Петербурге, бывала и в Царском Селе.

Летом 1817 года Пушкин окончил лицей, уехал в Михайловское, осенью вернулся в столицу; Наталья Степановна же 23 января 1817 года была пожалована в фрейлины, а осенью вышла в Петербурге замуж за князя Сергея Сергеевича Голицына (1783—1833) [11], отставного генерала, «с огненным взглядом и привлекательной улыбкой» [12]; сочинявшего музыку и исполнявшего романсы.

После свадьбы жизнь Натальи Голицыной кажется однообразно счастливой и безмятежной. Несколько лет проходят в столице.

В это время, в 1817—1820 годы, Пушкин мог также встречаться с Голицыной.

Историк литературы И. А. Шляпкин, воспитанник и душеприказчик Голицыной, хорошо знал жизнь Натальи Степановны не только непосредственно, но и по рассказам своей бабушки, Е. М. Ревви, которая провела много лет в доме Голицыной. Ревви (умершая в 1880 году) сообщила Шляпкину, что «княгиня представляла в молодости очень начитанную и красивую женщину, у которой в гостиной бывали А. С. Пушкин, И. А. Крылов, гр. В. А. Соллогуб и др.». Сама Ревви видела поэта и рассказывала внуку «о веселости и проказах Пушкина в девичьей, о Крылове, съедавшем по три блюда макарон и в грязных, чуть не смазных, сапогах засыпавшем на бархатных диванах княгини» [13].

Рассказ Е. М. Ревви не вызывает сомнений. Его правдоподобие подтверждают имена лиц, оставивших в альбоме Голицыной свои автографы. В частности, Крылов был секретарем ее свекра С. Ф. Голицына, а во время опалы последнего, в павловское время, жил в поместье Казацком, занимаясь русским языком с младшим из сыновей князя. С Н. И. Гнедичем Н. С. Голицына познакомилась в 1814 году на торжественном открытии Публичной библиотеки [14].

Непосредственно от самой Н. С. Голицыной И. А. Шляпкин узнал также, что у нее «имелись и письма вышеуказанных корифеев нашей литературы, но они пропали еще в 80-е годы» [15].

6 мая 1820 года поэт отправился в ссылку на юг, но в январе — феврале 1821 года могла произойти новая встреча. Судя по письму Н. С. Голицыной, она находилась тогда в Киеве, где, как сообщала, был «большой съезд на контракты» (ежегодную ярмарку). Как раз в то время совершенно неожиданно для всех в Киеве появился Пушкин, уже известный поэт, вместе с А. Л. и В. Л. Давыдовыми [16].

В начале апреля 1823 года чета Голицыных уезжает за границу [17]: Карлсбад, Эмс, Англия, Швейцария, Италия, Париж. Здесь Наталья Степановна, судя по записям в альбоме, встречается с Гизо, Вильменом, Бенжаменом Констаном, писательницами Жанлис, С. Гэ, посещает популярный в то время салон г-жи Ансло; берет уроки пения у композитора Паэра, некогда обучавшего Марию Антуанетту (его автограф имеется в ее альбоме); сообщает композитору Россини русский народный напев. Д. П. Свербеев вспоминает: «Лабланш, будучи еще молодым человеком, играл роль Буффа в новой пьесе Россини «Barbier de Séville», исполнял роль Фига-

ро. Наше русское ухо с удовольствием слушало финал этой оперы, взятый из русской песни: «Ах, на что было огород городить», подсказанной композитору Россини княгиней Натальей Степановной Голицыной, урожденной Апраксиной» [18].

В 1826 году Голицына вместе с мужем, получившим 13 августа звание егермейстера двора, была на коронационных торжествах в Москве.

В Москве-то и состоялась 22 сентября 1826 года встреча Натальи Степановны с Пушкиным, отразившаяся в замечательных строках.

В этот день в половине восьмого вечера на окраине Москвы, в Лефортове, происходили коронационные торжества. Царь и вся его свита любовались пышным фейерверком, который представлял «аллегорическое изображение Парнаса, Пинда и Геликона. Пегас на вершинах Парнаса выбивал копытами Иппокрену и рассыпал лавровые венки для увенчания царевых преднамерений» [19].

Встреча Голицыной и Пушкина могла быть либо днем, либо после фейерверка; Наталья Степановна рассказывала, вероятно, поэту о своих долгих путешествиях, Пушкин листал альбом. Он видел автографы знакомых «незнакомцев»: «Гизота», «ужасную книжку» которого он незадолго до этого прочитал, Бенжамена Констана, «упоительного Россини» и других. Среди имен европейских знаменитостей появилась отчетливая подпись: Александр Пушкин.

Каковы были взаимоотношения поэта и Голицыной в дальнейшем? Часто ли они встречались?

Известно, что в 1827 году Пушкин посещал итальянскую оперу, выступавшую в театре С. С. Апраксина: 4 февраля он слушал здесь оперу Россини «Сорока-воровка» и встретил Вигеля [20], но виделся ли с Натальей Степановной, — неизвестно.

В 1828 году в Петербурге Пушкин заносит в свою рабочую тетрадь несколько мелких записей дневникового характера. Среди них: «18 мая у княгини Голиц<ыной> etc.», «25 июня. Фанни. Няня + Elisa e Claudio» [21].

М. А. Цявловский полагал, что «кн. Голицына — или кн. Евдокия Ивановна, рожд. Измайлова (1780—1850), в которую Пушкин был влюблен в 1817—1818 годах, или кн. Мария Аркадьевна, рожденная княжна Суворова (1802—1870), тоже бывшая предметом увлечения поэта». Теперь можно с большим основанием прибавить к этим двум женским именам третье: Натальи Степановны. Все лето 1828 года она проводит в Петербурге, посещает театры, бывает у общих с Пушкиным знакомых Хитрово, Лавалей. Новая постановка оперы Меркаданте «Elisa e Claudio», приезд итальянцев, русские певцы — все живо ее интересует.

Далее в отношениях Н. С. Голицыной и Пушкина происходит явная, но нам пока непонятная перемена.

«В Петербурге, — сообщил А. О. Россет П. И. Бартеневу, — жила некая княгиня Наталья Степановна и собирала у себя la fine fleur de la société (высший свет. — *Л. К.);* но Пушкина не приглашала, находя его не совсем приличным. Пушкин об ней говорил: «Ведь она только так прикидывается, в сущности она русская **труперда** и **толпега;** но так как она все делает по-французски, то мы будем ее звать: «La princesse **Tolpège»** [22].

Имя Голицыной-Апраксиной не было позабыто Пушкиным.

В 1830—1831 годах Пушкин пишет сатирическую светскую повесть, направленную против новой аристократии, «На углу маленькой площади...». В вариантах чернового автографа повести героиня, названная впоследствии Зинаидой, спрашивает Володского, раздраженного тем, что он не получил приглашения на бал в светское общество:

«— Который это Горецкий, не князь ли Егор?

— Совсем нет. Кн<язь> Егор давно умер; это брат его князь Павел, мерзавец отъявленный».

Далее следовало: «Женатый на дочери генерала, бежавшего»; исправлено: «на дочери генерала, о котором сказано, что»; новое исправление: «на дочери генерала, славного своею трусостию». Однако эти варианты зачеркнуты, и характеристика тестя Павла Горецкого отнесена к нему самому:

«...это брат его, князь Павел, мерзавец отъявленный.

— А знаю, тот, которого тому лет 15 побили палками.

— Совсем нет, он просто получил пощечину и не дрался» (VIII, 727). В черновом наброске приписана и зачеркнута фамилия «Апраксина», и ниже стоит анаграмма с инициалом имени «Наскарпина», то есть Н. Апраксина.

Имеет ли приведенное язвительное замечание Пушкина отношение к отцу Натальи Степановны — генералу Апраксину,

у которого во время войны с Польшей «женщины выведали важные военные тайны», и «если б у него не было сильной протекции, то он не только был бы уволен со службы, но и подвергнут военному суду», — Апраксин должен был выйти в отставку [23]. Имел ли Пушкин в виду еще какие-либо факты из его биографии — неизвестно.

Мог Пушкин соединить в один образ черты из жизни разных представителей рода Апраксиных. Так, отец Степана Степановича бежал со всей русской армией от немцев (при Елизавете) и был отдан под суд [24].

Последние годы жизни Натальи Степановны были посвящены благотворительности. Умерла она в возрасте 95 лет (7 мая 1890 года).

Дошедшие до нас письма ее, несмотря на их обыденность, ясно обнаруживают оборотную сторону жизни аристократической семьи: непривлекательные будни, низменные чувства, домашние дрязги и ссоры.

Лишенная радости в личной жизни, Наталья Степановна жадно ищет ее в области искусства. Отсюда в ее письмах к матери так мало городских и светских новостей. Ее душа раскрывается только тогда, когда она говорит о музыке, артистах, опере, концертах. Благодаря живому интересу к искусству Голицына производила на современников впечатление незаурядной личности, пленяла их живым, общительным характером, добротой.

Такова Наталья Степановна Голицына по ее переписке и биографическим материалам: при нескольких оригинальных свойствах души, в общем, кажется, обычная великосветская дама, каких немало расцветало и увядало в столичных салонах.

Но запись Пушкина!..

Стихи, написанные Пушкиным в альбом Н. С. Голицыной, были созданы в Михайловской ссылке за два года до московской встречи с нею. Это фрагмент из большого стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом». Четверостишие входит в монолог поэта, отвечающего на вопрос книгопродавца:

Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей,
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Молчите вы?

Поэт
Зачем поэту
Тревожить сердца тяжкий сон?
Бесплодно память мучит он.
И что ж? какое дело свету?
Я всем чужой!.. душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?..
. . . .
И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
Ах, мысль о той душе завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!..
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!

Четверостишием «Она одна бы разумела стихи неясные мои...», записанным в альбом Голицыной, поэт выражает уверенность, что только она могла чутко понимать его поэзию: он знал любовь Наталии Степановны к музыке, к поэзии, к театру.

Однако ведь вслед за стихами, вписанными в альбом, в тексте «Разговора книгопродавца с поэтом» шло заключение:

Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей!..

Эти строки Голицына не могла не знать: «Разговор...», законченный 26 сентября 1824 года, был вскоре напечатан. Пушкин поместил его в виде вступления к «Евгению Онегину» — при первом издании первой главы романа. Книжка эта вышла в 1825 году (в феврале). Она была у всех в руках.

Не рассчитывал ли Пушкин на то, что Наталья Степановна вспомнит эти строки? Что, прочтя вписанные ей в альбом такие проникновенные признания, она поймет, что и последующие стихи относятся к ней?..

Не являются ли, в самом деле, и горькие слова («она отвергла заклинанья»), как и вообще речь поэта в «Разговоре книгопродавца с поэтом», личными признаниями Пушкина?

Не угадывается ли за записью в альбом Голицыной то глубокое чувство Пушкина, воспоминаниями о котором пронизана его поэзия первых месяцев южной ссылки?..[25]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Л. П. Гроссман, Бальзак в России. «Литературное наследство», т. 29—30, 1937, стр. 200.

[2] Краткие биографические сведения о Н. С. Апраксиной см. в изд.: В. кн. Николай Михайлович, Русские портреты. Спб., т. III, 1907—1909, № 120 (здесь воспроизведен ее портрет кисти французского художника Серснэ). Кроме того, важным источником для биографии Н. С. Апраксиной является неизданная обширная переписка ее, хранящаяся в Отделе рукописей ГБЛ, фонд 11 и фонд 64.

[3] О судьбе альбома сообщил нам историк Николай Владимирович Голицын. Наталья Степановна Голицына подарила его племяннику своему, князю С. А. Щербатову. Последний, как свидетельствует его запись, пополнил альбом двумя автографами: Н. Г. Рубинштейна (1870 г.) и А. Патти (1871 г.). Потом он находился у Н. С. Щербатова. В 1928 году его домоправительница продала альбом А. В. Гольденвейзеру, передавшему его в музей.

[4] И. М. Долгоруков, Повесть. Пг., 1916, стр. 53—54.

[5] «Рассказы бабушки, записанные Д. Благово». М., 1885, стр. 115.

[6] О выступлениях Каталани у Апраксиных в 1818 году сообщает А. Я. Булгаков брату. «Русский архив», 1900, № 9, стр. 128.

[7] Ю. Анисимов, Подмосковные музеи. Ред. Ив. Лазаревского и В. Згуры. Вып. 4. М., 1925, стр. 64.

[8] «Рассказы бабушки, записанные Д. Благово», стр. 113.

[9] «Русская старина», 1871, апрель, стр. 427—429.

[10] И. М. Снегирев, Дневник, Т. 1. М., 1904, стр. 157.

[11] В книге Н. Н. Голицына «Род князей Голицыных» (Спб., 1892, т. 1, стр. 56) неверно указано, что Сергей Сергеевич женат с 1821 года. Ту же ошибку повторяет Б. Л. Модзалевский в статье «В. П. Зубков и его записки». «Пушкин и его современники», вып. IV. Спб., 1906, стр. 102. Подробно о семье Голицыных рассказал в своих «Записках» Ф. Ф. Вигель, а также Л. Н. Толстой (см. С. Л. Толстой, Мать и дед Л. Н. Толстого. М., 1928, стр. 19—21).

[12] Ф. Ф. Вигель. Записки. Ч. VII. М., 1893, стр. 134.

[13] И. А. Шляпкин, Граф А. Аракчеев и князь С. С. Голицын. «Русская старина», 1900, январь, стр. 103.

[14] Описание торжественного открытия имп. Публичной библиотеки. Спб., 1814, стр. 97—106, 112.

[15] Уверенность в существовании такой переписки была настолько сильна, что в 1904 году И. А. Шляпкин предпринимает ее поиски. В протоколе заседания Пушкинской комиссии при Академии наук от 13 апреля 1904 года П. Е. Рейнбот «доложил, по поводу заявления И. А. Шляпкина в заседании комиссии 17 февраля о Гриневском архиве князей Голицыных, что он входил в сношение с присяжным поверенным Муромцовым, но что последний дал ему отрицательный ответ, ибо нынешнему владельцу Гринева, кн. Ф. С. Голицыну, ничего не известно относительно интересующих комиссию бумаг, которых в настоящее время в Гриневе не находится» («Пушкин и его современники», вып. VIII. Спб., 1908, стр. II).

[16] «Летопись», стр. 275.

[17] Прибавление к «С.-Петербургским ведомостям», 1826, 6 апреля.

[18] Д. Н. Свербеев, Записки. М., 1899, т. 1, стр. 348. Иначе представлен этот эпизод М. Д. Бутурлиным («Записки». «Русский архив», 1897, № 4, стр. 590).

[19] «Московские ведомости», 1826, № 78.

[20] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 134.

[21] «Рукою Пушкина», стр. 315—316.

[22] «Русский архив», 1882, № 2, стр. 246.

Труперда — толстая, неповоротливая, ленивая женщина; толпега — бестолковая, грубая, неотесанная женщина (обл.).

[23] «Рассказы бабушки, записанные Д. Благово», стр. 115.

[24] «Очерки истории СССР». М., 1956, стр. 329—332.

[25] Это чувство Пушкина выявлено и освещено в статье М. О. Гершензона «Северная любовь А. С. Пушкина» в его книге «Образы прошлого». М., 1912. Но автор относит эту любовь к другой женщине.





С. Ф. Пушкина. Акварель работы неизвестного художника.

К. И. Тюнькин

«Нет, не черкешенка она...»

Во второй части «Стихотворений Александра Пушкина», вышедшей в свет в 1829 году, помещено стихотворение, озаглавленное «Ответ Ф. Т. ***». Вот оно:

Нет, не черкешенка она;
Но в долы Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.

Нет, не агат в глазах у ней,
Но все сокровища Востока
Не стоят сладостных лучей
Ее полуденного ока.

Лирическое творчество Пушкина всегда имело свой непосредственный живой источник в событиях и людях, впечатлениях и встречах.

Глубоко волнуемые силой пушкинской мысли, красотой поэтических образов, мы часто не ощущаем нужды в скрупулезном биографическом комментарии к пушкинской лирике.

Но Пушкин не только оставил нам свои произведения, он совершил и другое чудо: он опоэтизировал и свое время, своих друзей, женщин, которых любил. Стремление увидеть, как происходит волшебное преображение, — вот что заставляет исследователей вновь и вновь искать в творчестве поэта отражения фактов его жизни.

Биографов издавна интересовало — кто героиня стихотворения «Нет, не черкешенка она...», эта дева с южными, «полуденными» очами, кто этот Ф. Т., которому поэт отвечает своим стихотворением [1].

[1] «По какому случаю написано <это> стихотворение Пушкина, неизвестно», — сказано было, например, в издании Сочинений Пушкина под ред. С. А. Венгерова (изд. Брокгауз — Ефрон, т. IV, 1910, стр. XX).

«Нет! не черкешенка она...».
Автограф А. С. Пушкина.

При первой публикации сам Пушкин датировал «Ответ Ф. Т. ***» 1826 годом. (В сохранившихся списках стихотворений, намечавшихся Пушкиным к изданию весной 1827 года, стихотворение не озаглавлено, обозначено первой строкой) [2].

Первые восемь месяцев 1826 года провел Пушкин в михайловском заточении. В одиночестве изгнания пережил поэт трагедию 14 декабря, а через полгода — казнь и ссылку декабристов. Многие месяцы мучился он тягостным неведением относительно своей судьбы: «Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге» [3]. Но из Михайловского Пушкину суждено было уехать не в Петербург, а в Москву — для встречи с царем.

Измученный одиночеством, Пушкин осенью 1826 года снова среди шумной толпы, в гостиных, на балах, в театре, среди друзей — старых и новых. Его тянет к людям, он хочет дружеской теплоты, участия, любви.

Среди домов, которые он часто посещает, — дом Василия Петровича Зубкова. Друг И. И. Пущина — В. П. Зубков был близок к московской, пущинской, управе тайного общества, привлекался к следствию, однако за недостаточностью улик от суда был освобожден. Наверное, эти обстоятельства сыграли свою роль в сближении Пушкина с Зубковым. Поэт, столь любивший И. И. Пущина, должен был живо интересоваться человеком, близким к его «первому и бесценному другу».

Но, очевидно, не только это влекло Пушкина в дом Зубкова. Здесь он встречался с сестрами Пушкиными, своими однофамилицами — Анной Федоровной, женой Зубкова, и Софьей Федоровной, его свояченицей [4]. Елизавета Петровна Янькова вспоминала: «...знавала я еще и других двух молодых девушек — Софью Федоровну и Анну Федоровну <Пушкиных>; обе они воспитывались у Екатерины Владимировны Апраксиной, и она выдавала их замуж. Первая была стройна и высока ростом, с прекрасным греческим профилем и черными, как смоль, глазами, и была очень умная и милая девушка; она вышла потом за Валериана Александровича Панина и имела трех сыновей и дочь. Меньшая [5], Анна Федоровна, маленькая и субтильная блондинка, точно саксонская куколка, была прехорошенькая, преживая и превеселая, и хотя не имела ни той поступи, ни осанки, как ее сестра Софья, но личиком была, кажется, еще милее. Она была за Васильем Петровичем Зубковым; у них было две или три дочери и сын» [6].

В некоторых воспоминаниях встречаются очень неопределенные глухие намеки на чувство поэта к жене его нового друга — А. Ф. Зубковой [7]. Если оно и было, то

---

[2] «Рукою Пушкина», стр. 238—240.

[3] Письмо к П. А. Плетневу от 3 марта 1826 года — XIII, 265.

[4] А. Ф. Пушкина вышла за Зубкова еще в 1823 году (Б. Л. Модзалевский, Василий Петрович Зубков и его записки. «Пушкин и его современники», вып. IV. Спб., 1906, стр. 103).

[5] Е. П. Янькова ошиблась — Анна Федоровна была старшей.

[6] «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово». Спб., 1885, стр. 460.

[7] Б. Л. Модзалевский, Пушкин. Л., 1929, стр. 341.

очень скоро сменилось внезапно вспыхнувшей любовью к другой сестре — Софье Федоровне. «Мерзкой этот Панин, — пишет Пушкин Зубкову 1 декабря 1826 года, — два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе — а я вижу раз ее в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь!» (XIII, 311). Чувства его в смятении. Покидая в начале ноября Москву, он пишет с дороги В. Ф. Вяземской: «С<офья> П<ушкина> — мой добрый ангел, но другая — мой демон; это как нельзя более не кстати смущает меня в моих поэтических и любовных размышлениях.

Прощайте, княгиня, — еду похоронить себя среди моих соседей. Молитесь богу за упокой моей души» (XIII, 301, 561). Незадолго до отъезда в деревню, может быть, накануне (уехал 1 или 2 ноября) Пушкин переписал свое стихотворение 1820 года «Зачем безвременную скуку...», теперь в нем — новое чувство, новая тоска перед разлукой [8].

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
В уныньи робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней!
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный! будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов (II, 144).

Чувство Пушкина сильно и глубоко. Ему мы обязаны шедевром пушкинской эпистолярной лирики, письмом к В. П. Зубкову от 1 декабря 1826 года: «Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, то есть познать счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не личное мое счастье заботит меня, могу ли я возле нее <С. Ф. Пушкиной> не быть счастливейшим из людей, — но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, быть может, ее ожидает, — содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой — неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно — вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. — Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером — судьбу создания столь нежного, столь прекрасного?» [9] (XIII, 311, 562). Как свидетельствуют близкие друзья поэта — П. В. Нащокин, К. К. Данзас, Софье Пушкиной было посвящено стихотворение «Нет, не черкешенка она...» [10].

Сватовство Пушкина оказалось неудачным. В конце 1826 года или начале 1827 года Софья Федоровна вышла замуж за В. А. Панина. В апреле 1827 года Пушкин просил М. П. Погодина, издававшего тогда журнал «Московский вестник», не печатать в его журнале «Черкешенку»: «...вы больно огорчите меня, если ее напечатаете» (XIII, 328). Пушкин мог говорить здесь, конечно, только о стихотворении «Ответ Ф. Т ***», ибо ни в каком другом его произведении этого времени нет образа «черкешенки». По-видимому, еще живы и мучительны были для поэта воспоминания о том эпизоде его жизни, который вызвал стихотворение, еще не умерло его чувство, и он, конечно, не хотел, чтобы Софья Пушкина (теперь уже Панина) видела в печати стихи, ей посвященные и, наверное, ей известные.

Но кому же отвечает в своем стихотворении Пушкин? Кто был «Ф. Т. ***», назвавший любимую им женщину черкешенкой?

Сохранившийся автограф стихотворения «Нет, не черкешенка она...» ничего не разъясняет: имя того, кому стихотворение адресовано, там еще более зашифровано: «Ответ Х + У».

Впервые инициалы Ф. Т. раскрыл П. В. Анненков в 1857 году: «Ответ Федору Туманскому» [11]. Уже давно известны факты, подкрепляющие утверждение Анненкова: с поэтом Федором Антоновичем Туманским Пушкин познакомился, вероятно,

---

[8] См.: А. Ф. Кони, Первое сватовство Пушкина. «Пушкин». Под ред. С. А. Венгерова, т. III, стр. 184. По-видимому, уезжая из Москвы, Пушкин передал автограф Зубкову (см. «Московский пушкинист», II, 1930, стр. 182, 183).

[9] Характерна реминисценция из этого письма Пушкина в тексте «Арапа Петра Великого» — в письме Ибрагима к графине: «Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?» (VIII, 9).

[10] «Рассказы о Пушкине», стр. 29 и 81.

[11] В указателе стихотворений, помещенном в 7-м томе Собрания сочинений Пушкина, изданного П. В. Анненковым. 1857, стр. 175 второй пагинации.

«Она черкешенка собою...».
Стихотворение
Ф. Туманского.

осенью 1826 года в Москве, т. е. именно тогда, когда было написано стихотворение «Ответ Ф. Т ***». Ранее Ф. Туманский встречался с братом Пушкина, своим сослуживцем по департаменту духовных дел, и был вхож в петербургский кружок Дельвига [12]. Жена Дельвига, Софья Михайловна, писала подруге 16 ноября 1825 года из Петербурга: «Один из наиболее приятных вечеров, которые я провела, был вечер у нас на прошлой неделе: у нас целый вечер были г. Плетнев, <Л. С.> Пушкин и <Ф. А.> Туманский» [13]. Двоюродного брата Федора Туманского — тоже поэта — Василия Ивановича Туманского Пушкин знал еще в годы южной ссылки: В. И. Туманский служил в 1823—1824 годах в канцелярии М. С. Воронцова в Одессе. Но при всем том пушкинисты сомневались в верности анненковской расшифровки «Ф. Т.» «Вопрос о том, почему под Ф. Т. заглавия стихотворения нужно разуметь Ф. А. Туманского, остается открытым, — писал в 1925 году М. А. Цявловский, — так как у Туманского нет такого стихотворения, на которое стихотворение Пушкина могло бы быть ответом» [14].

Действительно, среди опубликованных стихотворений Ф. А. Туманского такого стихотворения нет. Да и вообще он, по-видимому, не считая себя (и вполне справедливо!) сколько-нибудь значительным поэтом, сочинял, а тем более печатал очень мало [15]. Как сообщал в своих рукописных заметках знавший Ф. Туманского Н. В. Путята, «Туманский был так же молчалив, как и его муза» [16].

Сомнение М. А. Цявловского углубил Ю. Г. Оксман, прочитавший «Ф. Т.» в заголовке пушкинского стихотворения как «Федор Толстой»-Американец [17].

И все же стихотворение Туманского, на которое отвечал Пушкин, существует. Листок, на котором оно записано, по-видимому, так же как и листок с пушкинским «Зачем безвременную скуку...» [18], хранился у В. П. Зубкова и затем попал в Чертковскую библиотеку, а оттуда в Отдел письменных источников Исторического музея.

Вот это стихотворение:

Она черкешенка собою, —
Горит агат в ее очах,
И кудри черные волною
На белых лоснятся плечах. —

Любезна в ласковых приветах,
Она пленяет простотой,
И живостью в своих ответах
И милой резвой остротой.

В чертах лица ее восточных
Нет красоты — видна душа
Сквозь пламень взоров непорочных.
Она как радость хороша.

Феодор Туманский [19].

На этом же листке ниже другим почерком — карандашная запись: «Je ne me souviens pas qui a écrit ces vers de Toumansky» [20]. (Я не помню, кто записал эти стихи Туманского.)

П. В. Анненков узнал об адресате пушкинского стихотворения, вероятно, от приятелей Пушкина (может быть, С. А. Соболевского или П. В. Нащокина), что и позволило ему раскрыть инициалы Ф. Т.

Но вернемся к ответу Пушкина на стихотворение Туманского. Почему столь решительно отвергает Пушкин образ «черкешенки», предлагаемый ему Туманским для характеристики любимой женщины? Не сыграли ли тут известную роль психологические мотивы, глубокие личные переживания? Современники хорошо помнили романтический образ юной черкешенки, героини «Кавказского пленника». Современники знали и другое — они знали, что «идеалом», или, как мы сказали бы те-

---

[12] М. Цявловский, Тетрадь Всеволожского. «Летописи Гос. Лит. музея», кн. 1. М., 1936, стр. 77.

[13] Б. Л. Модзалевский, Пушкин. Л., 1929, стр. 182.

[14] «Рассказы о Пушкине», стр. 82.

[15] Ф. Туманский был воспитанником знаменитого Московского университетского пансиона и окончил курс в 1818 году («Русский архив», 1874, № 9, стб. 728—732); впоследствии постоянно служил; скончался он в 1853 году в Белграде, будучи русским консулом в Сербии.

[16] «Русский архив», 1863, № 4, стб. 350.

[17] «Литературное наследство», т. 16-18. 1934, стр. 678.

[18] Б. Л. Модзалевский, Василий Петрович Зубков и его записки, стр. 105.

[19] Фонд 445 (Чертковых), ед. хр. 230, л. 93.

[20] Судя по этой карандашной надписи, сделанной, по-видимому, кем-то из современников, рукопись стихотворения не является автографической. К сожалению, нам неизвестны автографы Ф. Туманского, если не считать его «мараний» на обложке так называемой «тетради Всеволожского».

перь, прототипом, черкешенки была Мария Николаевна Раевская. «Мария <Раевская>, — писал в 1823 году из Одессы В. И. Туманский, — идеал Пушкинской Черкешенки (собственное выражение поэта), дурна собой, но очень привлекательна остротою разговоров и нежностью обращения» [21]. Не трудно заметить, что черкешенка из стихотворения Ф. А. Туманского чем-то похожа на Марию Раевскую в описании В. И. Туманского, сделанном тремя годами ранее. По-видимому, это совпадение случайно, однако оно все же существует: черкешенка, да еще наделенная характерными чертами Марии Раевской! И в стихотворении, написанном в конце 1826 года (когда Мария Раевская-Волконская уже собиралась последовать за своим мужем-декабристом в Сибирь, Пушкин сразу же отвергает сравнение С. Ф. Пушкиной с «черкешенкой»), не должен возникнуть образ той, другой «черкешенки», «утаенной любви поэта».

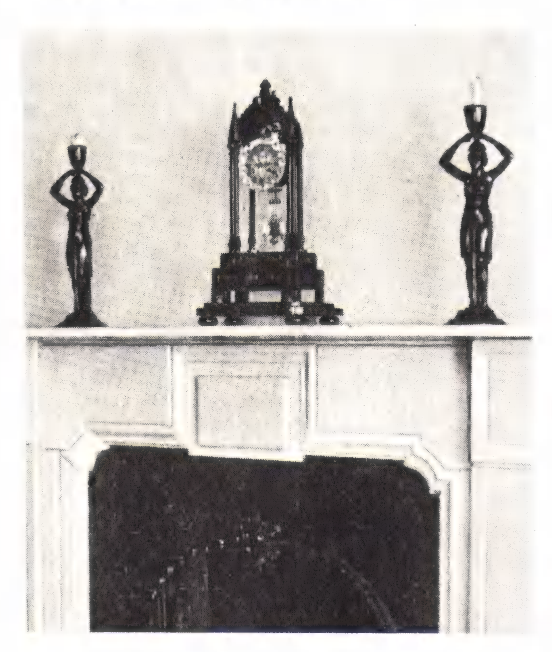
Но дело объясняется, конечно, не только обстоятельствами биографии Пушкина. Великий художник отвергает романтический образ «Черкешенки» Туманского, сотканный из привычных поэтических штампов.

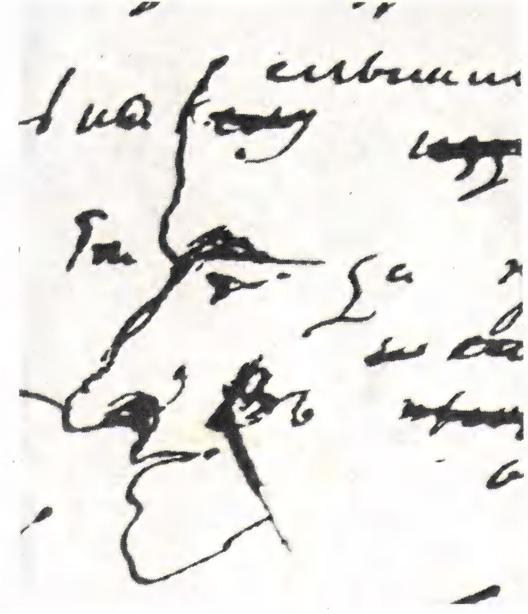
[21] Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов, 1891, стр. 54.



В. С. Лаврентьев

Портрет Мицкевича





А Мицкевич.
Рисунок А. С. Пушкина

В черновой рукописи пушкинского стихотворения «Он между нами жил...» (1834 г.) находится рисунок, изображающий мужской профиль. Рисунок был определен при публикации рукописи как изображение Вольтера [1]. Однако внимательное рассмотрение рисунка и сопоставление с другим иконографическим материалом, в том числе с выразительнейшими пушкинскими портретами Вольтера, позволяют сделать вывод о несостоятельности указанного определения.

Но кто же этот человек, изображенный Пушкиным?

История создания стихотворения «Он между нами жил...» всесторонне исследована в работе М. А. Цявловского «Пушкин и Мицкевич» [2]. Адам Мицкевич и Пушкин в годы 1826—1829 были друзьями:

Мы встретились, и были мы друзья,
Хоть наши племена и враждовали... (III, 942)

Дружба эта была не только значительнейшим фактом биографии обоих великих поэтов, но и важным событием в истории русско-польских отношений.

Образ «вдохновенного Мицкевича», его замечательный дар импровизации поразили Пушкина; были незабываемы и задушевные беседы двух великих славянских поэтов о будущем вечном мире, о временах, когда исчезнет на земле вражда между народами:

. . . . Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта... (III, 331)

[1] «Рукописи Пушкина». Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. М., 1939 (Г. Георгиевский, Пушкинский альбом 1833—1835 годов, тетрадь «Комментарии», стр. 9, 20).

[2] М. А. Цявловский, Статьи о Пушкине. М., АН СССР, 1962, стр. 174—202.



А. Мицкевич. Художник В. Ванькович, 1828 г.



Мицкевич. Рисунок Ц. Норвида, 1848 г.

В 1829 году Мицкевич покинул пределы России. Герцен писал о прощании Пушкина и Мицкевича: «Они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами грохотала гроза...» [3]

Вспыхнувшее в следующем году восстание в Польше и дальнейшие события еще более разделили поэтов. Пушкин приветствует победы русских войск и создает «Бородинскую годовщину» и «Клеветникам России»; его тревожит возможность интервенции западных держав; ему кажется, будто переживаемые события схожи с грозными событиями 1812 года, когда Россия подверглась нашествию «двунадесяти языков». Мицкевича же разгром польского восстания глубоко потряс. Под влиянием катастрофы 1830—1831 годов он создает цикл стихотворений «Петербург». Одно из этих стихотворений — «Русским друзьям» — особенно взволновало и задело Пушкина теми строками, в которых Мицкевич писал:

«...быть может, кто-нибудь из вас, чином, орденом обесславленный, вольную душу продал за царскую ласку и теперь у его порога отбивает поклоны. Быть может, продажным языком славит его торжество и радуется страданиям своих друзей...» [4]

На вызов Мицкевича Пушкин и ответил стихотворением «Он между нами жил...», которое при жизни русского поэта не публиковалось. Наиболее полемически заостренным местом в черновом тексте стихотворения являются следующие строки:

...чистый огнь небес
[Меняя как торгаш] и песни лиры
[В собачий лай безумно] обращая

[3] А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. VII. М., 1956, стр. 207.

[4] Вот стихотворный перевод этих строк, принадлежащий В. Левику:

Быть может, золотом иль чином ослеплен,
Иной из вас, друзья, наказан небом строже:
Быть может, разум, честь и совесть продал он
За ласку щедрую царя или вельможи.

Иль, деспота воспев подкупленным пером,
Позорно предает былых друзей злословью...



Польское восстание 1830 г., штурм тюрьмы в Варшаве. Акватинта работы Ф. Х. Дитриха.

Печально слышим издали его
И молим бога, да прольет он кротость
В озлобленную душу (III, 944).

Именно среди этих строк и появляется в пушкинской рукописи рисунок, который можно с полным основанием считать изображением Мицкевича. Можно предположить, что в этот истинно драматический момент перед «внутренним оком» Пушкина предстал образ Мицкевича. Но это был уже не тот «Мицкевич вдохновенный», каким поэт знал его когда-то в годы изгнания в России, а человек, на лицо которого наложили свою неизгладимую печать трагические события польской революции и последовавшее затем ее подавление.

Поражает дар Пушкина провидеть будущий образ человека.

Черты лица Мицкевича полны особой выразительности: здесь и вражда, и тот «яд», которым поэт «напояет стихи свои в угоду черни буйной», и вместе с тем «безнадежно-мрачное чувство любви к отечеству» [5].

Вывод о том, что перед нами портрет Мицкевича, подтверждается иконографически. Изображения Мицкевича в рисунках Пушкина уже находились в поле зрения исследователей (Н. О. Лернер, А. М. Эфрос [6], Т. Г. Цявловская [7]). Так, пушкинский рисунок 1829 года изображает «Мицкевича вдохновенного» и является свидетельством дружеского общения поэтов (рисунку 1829 года соответствует интерес-

[5] Письмо к Е. М. Хитрово от 9 декабря 1830 г. — XIV, 134 и 422 (перевод).

[6] А. Эфрос, Рисунки поэта, М., 1933, стр. 270 и 426.

[7] Т. Г. Цявловская, Портрет Мицкевича, набросанный Пушкиным. — «30 дней», 1940, № 11-12. стр. 49—50; Т. Цявловская, Рисунки Пушкина. М., 1970, стр. 100—102.

ный графический портрет Мицкевича, который был создан в том же году художником Шмеллером для Гёте).

Нарисованный пять лет спустя пушкинский «трагический» Мицкевич сильно отличается от «ничем не омраченного» поэта 1829 года. Однако изображение 1834 года замечательно подтверждается наброском поэтессы Каролины Яниш (Павловой), которая хорошо знала и любила польского поэта: те же черты, но усиленные печатью трагизма, находим мы и в рассматриваемом пушкинском рисунке. Сходство подчеркивают также изображения Мицкевича 1840-х годов: рисунок Э. Делакруа (1840—1841) и портрет работы Циприана Норвида (1848).

В беловом тексте стихотворения «Он между нами жил...» Пушкин снял резко полемические строки, соседствовавшие с изображением Мицкевича, и закончил стихотворение словами, исполненными благородства, умиротворенности и человечности:

. . . . . . божe! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром.





И. Трофимов

«Полководец»

Многие архивы до сих пор хранят немало удивительных сокровищ. Тысячи уникальных рукописей еще не выявлены. «Но даже и в тех архивохранилищах, где учтена и описана каждая незначительная бумажка, в тысячи тысяч листов никто еще не вникал, они еще ждут исследователя... Бездны исторических тайн, увлекательнейших, нежели самые напряженные рассказы о приключениях, хранятся в архивах, и волнует здесь сама правда» [1], — справедливо говорит И. Л. Андроников.

Только за последние годы найдено свыше двадцати рукописей А. Пушкина, свыше десяти автографов М. Лермонтова, шестнадцать писем Т. Шевченко, шесть рукописей В. Белинского, несколько сот писем И. Тургенева, редкие автографы И. Крылова, Л. Толстого, Н. Чернышевского, К. Батюшкова, Н. Гоголя, Ап. Григорьева, И. Аксакова, Д. Григоровича, Н. Златовратского, Ф. Тютчева, А. Бестужева, Ф. Глинки, В. Кюхельбекера, К. Рылеева, А. Дельвига, В. Жуковского, П. Вяземского, К. Станюковича, А. Фета, В. Короленко, 1500 страниц произведений И. Прыжова, десятки стихотворений И. Омулевского (Федорова) и многих других писателей.

Новые архивные материалы позволяют зачастую пересмотреть и уточнить отдельные литературные факты. Именно так случилось с пушкинским стихотворением «Полководец».

Творческая история этого стихотворения предстала теперь совершенно в новом свете. Мы читали о том, что «Полководец» — стихотворение, текст которого «не может быть с уверенностью установлен согласно «последней авторской воле» [2].

А теперь с полной уверенностью устанавливается последний авторский текст «Полководца».

В Центральном государственном архиве Октябрьской революции обнаружен самый поздний, отражающий последнюю волю поэта беловой автограф стихотворения Пушкина «Полководец». Стихотворение вписано в альбом великой княгини Елены Павловны на пяти страницах четким изящным почерком, без исправлений.

Подпись поэта отсутствует, но в рукописи содержится характерная пушкинская концовка. В конце автографа, на 5-й странице рукой владелицы альбома позднее сделана пометка по-французски: «Записано Пушкиным собственноручно».

В этом альбоме большого формата имеется четкий водяной знак 1835 года. Позднее, в 1849—1850 годах Елена Павловна внесла в альбом свои записи на немецком и французском языках.

Вписать «Полководца» в альбом Елены Павловны Пушкин мог не ранее 7 апреля 1835 года, когда оно было создано. Это могло произойти в один из визитов поэта к великой княгине и в 1836 году. Мы полностью разделяем предположение Т. Г. Цявловской о том, что Пушкин мог вписать стихотворение в альбом и незадолго до дуэли, в январе 1837 года. С Еленой Павловной он общался в течение нескольких последних лет жизни.

Наша находка — беловой автограф «Пол-

[1] И. Л. Андроников, Рукописи Ленинской библиотеки. «Наука и жизнь», 1969, № 11.

[2] «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М. — Л., «Наука», 1966, стр. 603.

Полководецъ

У Русскаго Царя въ чертогахъ есть палата:
Она не золотомъ, не бархатомъ богата;
Не въ ней алмазъ вѣнца хранится за стекломъ;
Но сверху до низу во всю длину, кругомъ,
Своею кистiю свободной и широкой
Ее разрисовалъ художникъ быстроокой.
Тутъ нѣтъ ни сельскихъ Нимфъ, ни дѣвственныхъ Мадонъ,
Ни фавновъ съ чашами, ни полногрудыхъ женъ,
Ни плясокъ, ни охотъ; а все плащи да шпаги,
Да лица полныя воинственной отваги.
Толпою тѣсною художникъ помѣстилъ
Сюда начальниковъ народныхъ нашихъ силъ,
Покрытыхъ славою чудеснаго похода,

Автограф стихотворения «Полководец» в альбоме в. кн. Елены Павловны.

и вѣчной памяти двенадцатаго года.
Нерѣдко медленно межъ ими я брожу
И на знакомые ихъ образы гляжу,
И мнится слышу ихъ воинственные клики.
Изъ нихъ ужъ многихъ нѣтъ: другiя коихъ лики
Еще такъ молоды на яркомъ полотнѣ,
Уже состарѣлись и никнутъ въ тишинѣ
Главою лавровой.
Но въ сей толпѣ суровой
Одинъ меня влечетъ всѣхъ больше. Съ думой новой
Всегда остановлюсь предъ нимъ, и не свожу
Съ него моихъ очей. Чѣмъ долѣе гляжу,
Тѣмъ болѣе томимъ я грустiю тяжелой.
Онъ писанъ во весь ростъ. Чело, какъ че-
-репъ голый,

2

Высоко лоснится, и мнится, залегла
Тамъ грусть великая. Кругомъ, густая мгла;
За нимъ, военный станъ. Спокойный и угрюмой,
Онъ кажется глядитъ съ презрительною думой.
Свою-ли точно мысль художникъ обнажилъ
Когда онъ таковымъ его изображилъ,
Или невольное то было вдохновенье
Но Доу далъ ему такое выраженье.
О вождь несчастливый! суровъ былъ жребiй
твой
Все въ жертву ты принесъ землѣ тебѣ чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
Въ молчаньи шелъ одинъ ты съ мыслiю
великой,
И въ имени твоемъ звукъ чуждый невзлюбя,
Своими криками преслѣдуя тебя,

Безсмысленный народъ, спасенный тобою,
Ругался надъ твоей священной сѣдиною.
И тотъ, чей острый умъ тебя и постигалъ,
Въ угоду имъ тебя лукаво порицалъ...
И долго, укрѣпленъ могущимъ убѣжденьемъ,
Ты былъ неколебимъ предъ общимъ заблу-
-жденьемъ;
И на полу-пути былъ долженъ наконецъ
Безмолвно уступить и лавровый вѣнецъ,
И власть, и замыселъ обдуманный глубоко,
И въ полковыхъ рядахъ сокрыться одиноко.
Тамъ, устарѣлый вождь, какъ ратникъ
молодой,
Искалъ ты умереть средь сѣчи боевой;
Вотще! Соперникъ твой стяжалъ
успѣхъ сокрытый

Въ главѣ чужой; а ты, оставленный, забытый,
Виновникъ торжества, почилъ — и въ смер-
-тный часъ,
Съ презрѣніемъ, можетъ быть, воспоминалъ
о насъ.

О люди! жалкій родъ, достойный слезъ
и смѣха!
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньи
Поэта приведетъ въ восторгъ и въ умиленье!

écrit par Pouchkin
lui-même —

ководца», которому предшествовали черновой и перебеленный со множеством исправлений (он приобрел вид черновой рукописи), а также несколько еще раз перебеленных рукописей, до нас не дошедших.

Вот текст нового автографа.

Полководец

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху до низу во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот; а все плащи да шпаги,
Да лица полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода,

И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет: другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарелись и никнут в тишине
Главою лавровой.
Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним, и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом, густая мгла;
За ним, военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он кажется глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье,
Но Доу дал ему такое выраженье.
О вождь несчастливый! суров был жребий твой.
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой.
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
Своими криками преследуя тебя,
Бессмысленный народ, спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем
И на полу-пути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко,
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Искал ты умереть средь сечи боевой;
Вотще! Соперник твой стяжал успех сокрытый
В главе твоей; а ты, оставленный, забытый,
Виновник торжества, почил — и в смертный час,
С презреньем, может быть, воспоминал о нас.
О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи
Поэта приведет в восторг и в умиленье! [3]

Как известно, это стихотворение (с пропуском целого четверостишия и рядом разночтений) было напечатано Пушкиным в «Современнике» (1836 год, № 3).

В новой рукописи автором восстановлено четверостишие с несколькими дополнениями. Текст автографа имеет ряд отличий от текста «Современника».

Здесь впервые Кутузов и Барклай — «соперники». Пушкин с особой остротой выделяет эту главную мысль; его стремление реабилитировать Барклая в этих строках достигает своего апогея:

Вотще! Соперник твой стяжал успех сокрытый
В главе твоей; а ты, оставленный, забытый,
Виновник торжества, почил — и в смертный час,
С презреньем, может быть, воспоминал о нас.

В альбомном автографе вместо печатного текста («Народ, таинственно спасаемый тобою...») Пушкин восстанавливает более ранний вариант: «Бессмысленный народ, спасаемый тобою...» В новонайденном автографе эпитет «оставленный» до сих пор не был известен. В дошедшем автографе, предшествовавшем печатному тексту, мы находим другой эпитет: «непризнанный».

Сопоставление текстов чернового и перебеленного автографов и журнального текста позволяет сделать вывод о том, что поэт

[3] ЦГАОР, ф. 647, великой княгини Елены Павловны, оп. 1, ед. хр. 26, лл. 1—3.



В. кн. Елена Павловна.

очень тщательно и напряженно обдумывал каждое слово.

Важнейший вопрос, на который должны ответить текстологи, — каковы же причины, побудившие поэта исключить из текста «Полководца» четыре стиха. Известно, что после обращения к Барклаю:

Там, устарелый вождь, как ратник молодой,
Искал ты умереть средь сечи боевой —

в перебеленной рукописи следовало сопоставление воинской судьбы Барклая и Кутузова:

Вотще! Преемник твой стяжал успех, сокрытый
В главе твоей. — А ты, непризнанный, забытый
Виновник торжества, почил — и в смертный час
С презреньем, может быть, воспоминал о нас!

Исключая эти четыре стиха, Пушкин переработал и предыдущие.

В последнем слое правки перебеленной рукописи поэт заменил первые два из цитированных стихов тремя:

Там, устарелый вождь! как ратник молодой,
Свинца веселый свист услышавший впервой,
Бросался ты вперед, ища желанной смерти.

В журнальном варианте вместо заключительного стиха:

Искал ты умереть средь сечи боевой,

который рифмовался с предыдущим:

Там, устарелый вождь! как ратник молодой,

Пушкин напечатал два новых стиха:

Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти.

Последний стих остался нерифмованным.

Из последующего четверостишия поэт оставил только восклицание: «Вотще! — ». В таком урезанном виде и появилось в «Современнике» стихотворение. После неоконченного стиха «Вотще! — » в журнальном варианте следовали два ряда отточий.

Изъятие цитированного четверостишия повлекло за собой изменение стихов 48—49, в которых первоначально также упоминался Кутузов. Вместо стихов перебеленного автографа

Но на полу-пути был другому наконец
Был должен уступить и лавровый венец...

в журнальном тексте появилось:

И на полу-пути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец...

Изменения Пушкин внес в окончательный печатный текст, желая «избегнуть какого-либо упоминания или намека на преемника Барклая де Толли — М. И. Кутузова» [4].

Пушкин был в приятельских отношениях с дочерью Кутузова Е. М. Хитрово, прекло-

---

[4] См. об этом: В. А. Мануйлов, Л. Б. Модзалевский, «Полководец» Пушкина. «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», IV—V. М.—Л., 1939, стр. 148—149. Недавно появилась интересная, но далеко не бесспорная публикация Н. Н. Петруниной «Новый автограф «Полководца» («Временник пушкинской комиссии. 1970». Л., «Наука», 1972, стр. 14—23). С некоторыми выводами Н. Н. Петруниной мы никак не можем согласиться, в частности, с ее утверждением о том, что новый автограф Пушкина «не может быть истолкован как дефинитивный, отменяющий печатный текст», как выражение «последней воли» автора.

Кроме того, Н. Н. Петрунина, по сути дела, безоговорочно принимает на веру весьма спорную точку зрения Ю. Н. Тынянова, который убежден в том, что Пушкин исключил фрагмент о Кутузове и Барклае не по цензурным, а по чисто художественным соображениям. Пробел и отточия, введенные Пушкиным в текст «Полководца», Тынянов, по словам Н. Н. Петруниной, «рассматривает как своеобразный графический «эквивалент текста», имеющий двойную функцию. Пушкин, таким образом: а) выделил отрезок «Вотще» и паузу, как бы заполняющую один стих, оставив пустое место; б) дал эквивалент строфы. Первое дало ему возможность с необычайной силой выделить отрезок, второе — факт конструкции».

Все эти рассуждения Ю. Н. Тынянова весьма неубедительны. Урезанный Пушкиным текст, исключение самого значительного четверостишия, раскрывающего магистральную идею всего произведения, вызывало у читателей закономерный вопрос: «А что же скрыто за отточиями?» Паузы, «эквиваленты», «пустые места» нарушали художественную целостность текста, не выражали подлинной воли автора. Пушкин исключил особо весомые стихи. Далеко не каждая купюра осуществляется в художественных целях. Кроме того, в журнальном варианте стих — «Бросался ты в огонь, ища желанной смерти» — остался нерифмованным. Неужели и этот безрифменный стих — доказательство осуществления художественных целей?

нявшейся перед гением поэта. Изъятое Пушкиным четверостишие, где говорилось, что Кутузов «стяжал» у Барклая де Толли «успех, сокрытый» в голове последнего, было бы совершенно неуместным и неприемлемым для печати.

Изъятые автором из тактических соображений стихи не были даже представлены в цензуру, ибо Пушкин прекрасно сознавал, что цензура их никогда не пропустит.

Но даже выправленный Пушкиным текст вызвал протест со стороны председателя Цензурного комитета князя М. Дондукова-Корсакова. 18 августа 1836 года он по докладу цензора А. Л. Крылова доносил Главному цензурному управлению о том, что «в числе статей, поступивших на рассмотрение цензуры <...>, стихотворение «Полководец» заключает в себе некоторые мысли о главнокомандующем российскими войсками в 1812 году Барклае де Толли, выраженные в таком виде, что Комитет почел себя не вправе допустить их к напечатанию без разрешения высшего начальства»[5]. Но усилия князя Дундука, как называл его Пушкин, оказались напрасными: министр народного просвещения С. С. Уваров разрешил стихотворение к печати. Стихотворение появилось в «Современнике» (1836, № 3) без подписи Пушкина.

В «Полководце» поэт выступил против официозной трактовки Отечественной войны 1812 года. В связи с этим заслуживает внимания вывод И. Л. Андроникова о том, что Пушкин умолчал о военных заслугах Александра I, и уже сам этот факт свидетельствует о полемической направленности «Полководца».

Ю. Н. Тынянов называл стихотворение «Полководец» резко полемическим, направленным против официальной истории с ее избранными, канонизированными героями 1812 г., «апологией теневой и полуопальной исторической фигуры».

Н. Н. Петрунина считает: «...новейшее исследование Г. М. Коки показало, что принятое в пушкиноведении мнение Н. О. Лернера о «реабилитации» Барклая, как цели пушкинского стихотворения, не имеет под собой исторической почвы. Устраненный от руководства русской армией в 1812 г., Барклай после перенесения военных действий за границу и кончины Кутузова вновь был призван к руководству войсками. Его заслуги в кампаниях 1813 и 1814 гг. были официально признаны и оценены» (Н. Н. Петрунина, Указ. соч., стр. 19).

Традиционную версию, по которой стихи, изъятые Пушкиным, были невозможны для печати, Н. Н. Петрунина ставит под сомнение. По ее убеждению, не было вообще необходимым ставить вопрос о «реабилитации» Барклая. Апология Пушкиным фигуры Барклая не имела якобы под собой исторической почвы, потому что в конце концов заслуги полководца все-таки были признаны. Действительно, заслуги Барклая были в известной мере оценены. Но этому финалу предшествовали многие (подчас закономерные и неизбежные, исторически оправданные) сложные события, которые не так-то просто объяснить. В хронике этих событий было немало и трагического: нежелание народа поддерживать Барклая, злобные и коварные интриги придворного фаворита Беннингсена, стремящегося занять место Барклая, конфликт с Багратионом, несправедливые обвинения в измене, недовольство многих представителей дворянских и армейских кругов в целом правильными действиями и военной тактикой Барклая, их вымышленные и предвзятые сообщения и наветы, увольнение Барклая с должности военного министра, столкновение с влиятельным недругом, великим князем Константином...

Все это и обусловило полемическую остроту «Полководца». Трагическая участь Барклая возбудила, по словам Белинского, «негодование в великом поэте». Для Белинского «Полководец» — «одно из величайших созданий гениального Пушкина».

«Мудрая воздержность Барклая-де-Толли не могла быть оценена в то время, — свидетельствует Ф. Н. Глинка. — Его война отступательная была собственно — война завлекательная. Но общий голос армии требовал иного... Народ... втайне чувствовал, что (хотя было все) недоставало еще кого-то — *недоставало полководца русского*».

И тем не менее подвиг полководца, по мнению Белинского, заслуживает благодарной памяти, несмотря на то, что отстранение его от руководства армиями было исторически оправданной, «разумной и непреложной необходимостью».

«...Подвиг Барклая де Толли велик, участь его трагически печальна и способна возбудить негодование в великом поэте, но мыслитель, благословляя память Барклая де Толли и благоговея перед его священным подвигом, не может обвинять и его современников, видя в этом явлении разумную и непреложную необходимость», — писал Белинский.

Барклай совершил поистине исторический

[5] В. А. Мануйлов, Л. Б. Модзалевский, Указ. соч., стр. 149.

подвиг: он сберег русскую армию, которая благодаря этому нанесла впоследствии мощный удар противнику. Смена Барклая стала исторической необходимостью. Это не ошибка и не произвол самодержца. Смена Барклая для самого полководца была глубокой личной трагедией человека, жестоко оскорбленного несправедливостью. И потому неслучайно смерть на поле брани казалась ему крайне желанной, о чем он сам не раз вспоминал. На Бородинском поле он ринулся в самую гущу неприятельских войск, ему грозило пленение, рядом с ним было убито два офицера и ранено девять воинов. Но судьба пощадила Барклая, искавшего смерти: он остался цел и невредим.

В условиях значительного превосходства сил противника Барклай де Толли проявил незаурядный талант полководца и успешно осуществил отход и соединение двух крупных русских армий. Однако отступление вызвало недовольство в дворянских кругах и в армии.

Осмотрительную тактику Барклая поддерживал Федор Глинка, искренне веривший полководцу. По его словам, мудрый главнокомандующий, проведший армию от Немана до Смоленщины, «не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потерял почти ни одного орудия, ни одного обоза, этот благоразумный вождь, конечно, увенчает предначатия своим желанным успехом».

Сам Кутузов одобрял эти действия Барклая и признавал их весьма благоразумными. «Я надеюсь... что беспристрастное потомство произнесет суд с бо́льшей справедливостью», — писал о себе Барклай де Толли. И действительно, история реабилитировала Барклая, потомки воздали должное его полководческому таланту.

И этому с позиций подлинного историзма в значительной мере способствовал Пушкин. Он проявил гражданское мужество, он первым возвысил голос в защиту полуопального, «язвимого злоречием» полководца. Стало быть, вопрос о «реабилитации» Барклая для Пушкина возник не случайно, а имел историческую почву.

И в то же время Пушкин не ставил основной целью оценить воинские заслуги Барклая, он весьма далек от стремления видеть причины удач Кутузова в одном лишь его следовании стратегическим планам Барклая, ибо поэт говорил и о «превосхо́дстве военного гения» Кутузова, о том, что он «один облечен был в народную доверенность, которую так чудно... оправдал» (XII, 133). Об этом же свидетельствуют и стихи Пушкина «К тени полководца». Тема «Барклай и Кутузов» получила свое логическое завершение в стихотворении Пушкина «Художнику» (1836):

«Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов...»

Итак, не случайно Пушкин не одобрял умаления роли Барклая де Толли в Отечественной войне 1812 года. Не случайно образ Барклая привлек внимание поэта в X главе «Евгения Онегина». Его план борьбы с полчищами Наполеона путем отступления внутрь страны признан, по словам Пушкина, «ныне ясным и необходимым».

Стихотворение «Полководец» написано под свежим впечатлением посещения Пушкиным Военной галереи Зимнего дворца, где были представлены портреты многих знакомых ему деятелей: Д. В. Давыдова, И. Н. Инзова, А. П. Ермолова, А. А. Закревского, Е. Ф. Керна, К. Ф. Ламберта, А. Ф. Ланжерона, В. В. Левашева, И. Ф. Паскевича-Эриванского и многих других. В этой галерее было представлено и немало портретов его врагов.

Самое пристальное внимание поэта привлек портрет Барклая, написанный знаменитым художником Доу.

Стихотворение Пушкина «Полководец» вызвало разнообразные оживленные отклики современников. Высоко оценили стихотворение А. И. Тургенев, Н. И. Греч, Н. В. Гоголь. «Барклай — прелесть!», — писал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому [6].

Н. И. Греч 12 октября 1836 года обратился к Пушкину с письмом: «...не могу удержаться от излияния пред вами от полноты сердца искренних чувств глубокого уважения и признательности к вашему таланту и благороднейшему его употреблению. Этим стихотворением, образцовым и по наружной отделке, вы доказали свету, что Россия имеет в вас истинного поэта, ревнителя чести, жреца правды...» (XVI, 163).

В ответном письме к Н. Гречу Пушкин повторил свой одобрительный отзыв о Барклае де Толли: «Искренне благодарю Вас за доброе слово о моем Полководце. Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства; но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения» (XVI, 164). Гоголь также восхищался «Полководцем»: «Где выберется у нас полугодие, в течение

[6] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. III, 1899, стр. 334.

которого явились бы разом две такие вещи, каковы «Полководец» и «Капитанская дочь». Видана ли была где-нибудь такая прелесть», — восклицал он в одном из своих писем [7].

Владелица альбома Елена Павловна была близким Пушкину человеком, которому он, гениальный поэт, мог доверительно сообщить даже полный текст своего «Полководца». Елена Павловна, урожденная Фредерика-Шарлотта-Мария, принцесса Вюртембергская (1806—1873), была человеком незаурядным, образованным, начитанным, поражавшим всех широтой и бойкостью своего ума. В 1823 году она вышла замуж за младшего сына Павла I — великого князя Михаила Павловича и при принятии православия была названа Еленой Павловной. Если ее муж, Михаил Павлович, по свидетельству Ф. Ф. Вигеля, «ничего ни письменного, ни печатного с малолетства не любил, из музыкальных инструментов признавал только барабан и презирал занятия искусствами», что характерно и для Николая I, то Елена Павловна была человеком пытливым и начитанным, находившим время пополнять свои знания. Еще в Париже, учась в пансионе, она познакомилась со знаменитым естествоиспытателем Жоржем Кювье, оказавшим на восприимчивую девушку самое благотворное влияние, и другими выдающимися деятелями науки и искусства. Вскоре по приезде в Россию ей был представлен писатель и историограф Н. М. Карамзин. «Прошу знать, — сказала ему Елена Павловна, — я уже читала Вашу «Историю» по-русски». Будучи парижанкой по воспитанию и характеру, она чувствовала себя чужой среди таких людей, какими были Николай I и Михаил Павлович. «С своей женой Еленой Павловной Михаил Павлович не сумел найти общих чувств и мыслей и причинил немало огорчений этой замечательной женщине». Она дружила с либеральными государственными деятелями, литераторами, музыкантами, артистами, учеными, которые собирались во флигеле Михайловского дворца, у княгини О. Одоевской и княгини Е. Львовой. Елена Павловна была хорошо знакома с В. Жуковским и П. А. Плетневым (которые обучали ее русскому языку), А. И. Тургеневым, В. Ф. Одоевским, П. А. Вяземским, А. Г. Рубинштейном, М. Ю. Виельгорским, Ф. И. Тютчевым, И. С. Тургеневым. Она стремилась быть в курсе всех важнейших общественно-политических событий, живо интересовалась литературой и искусством. Николай I выражал Елене Павловне особое внимание, называя ее la savante de notre famille (ученая из нашей семьи), нередко советовался с нею в семейных делах и при всей своей самостоятельности прислушивался к ее мнению. И все-таки подозрительно относился к либеральничанию великой княгини.

П. А. Вяземский в одном из писем к жене (2 января 1832 года) прямо заявлял, что Елена Павловна «здесь не заживется, ибо не уживется» и что «разногласие ее с прочими (членами царской семьи. — *И. Т.*) слишком резко».

Смелость и независимость суждений, прямота, образованность, необыкновенный такт в общении с окружающими — все это выделяло ее среди других членов царской семьи. Особенно высоко современники отзывались о ее уме, такте, умении вести беседу. Нет никакого сомнения, что она с неизменным интересом читала каждое новое произведение Пушкина.

Не без участия Елены Павловны Жуковский через Плетнева 7 марта 1826 года обращается к Пушкину с просьбой прислать «Бориса Годунова» для чтения на лекциях. Пушкин настороженно заявляет: «Какого вам «Бориса» и на какие лекции? В моем «Борисе» бранятся по-матерну на всех языках. Это трагедия не для прекрасного полу» (XIII, 266). Он решительно отказывается выслать Плетневу неопубликованную рукопись «Бориса Годунова».

По этому поводу 11 мая 1826 года П. А. Катенин писал Пушкину: «Меня недавно насмешил твой <якобы> ответ на желание одного известного человека прочесть твою трагедию Годунов: трагедия эта не для дам, и я ее не дам. — Скажи, правда ли это? Меня оно покуда несказанно тешит» (XIII, 277).

Пушкин, обличавший в трагедии самовластье и самодержавие, проявил большую осторожность. Он, видимо, в те годы почти ничего не знал о либерализме Елены Павловны. И только через несколько лет, 27 мая 1834 года, Пушкин представляется Елене Павловне.

В дневнике Пушкин подробно записал об этой встрече:

«26 мая [1834 года] был я на пароходе и провожал Мещерских, отправляющихся в Италию. На другой день представлялся великой княгине. Нас было человек 8; между прочим, Красовский (славный цензор). В. К. спросила его: «Вам, вероятно, очень скучно читать

---

[7] Письмо Н. Я. Прокоповичу от 13(25) января 1837 г. из Парижа. Н. В. Гоголь, Полн. собр соч., изд. АН СССР, т. XI, 1952, стр. 85.

по обязанности все, что выходит в свет».— «Да, ваше высочество, современная литература так отвратительна, что это пытка». Великая княгиня скорей от него отошла. — Говорила со мной о Пугачеве». (XII, 330). О том, что Пушкин придавал большое значение этой встрече, свидетельствует его письмо к жене от 3 июня 1834 года. В нем поэт сообщал: «В прошлое воскресение представлялся я к великой княгине. Я поехал к ее высочеству на Каменный остров в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчастную роль и досаду. Со мною вместе представлялся цензор Красовский. Великая княгина сказала ему: **«Вас, вероятно, очень утомляет обязанность читать все, что появляется». — «Да, ваше императорское высочество... — отвечал он ей, — тем более что в том, что теперь пишут, нет здравого смысла»** [8]. А я стою подле него. Она, как умная женщина, как-то его подправила» (XV, 155). Неоднократно встречался Пушкин с Еленой Павловной и позднее. Так, 26—27 июня 1834 года он сообщал жене: «Когда я представлялся великой княгине, дежурная была не Соллогуб [9], а моя прищипленная кузинка Чичерина, до которой я не охотник, да хоть бы и Соллогуб была в карауле, так уж если влюбляться...» [10].

У нас мало документальных данных, помогающих наиболее полно проследить историю взаимоотношений Пушкина и Елены Павловны. Но ясно одно: дневники Пушкина, его письма, письма Елены Павловны к мужу, мемуары, наконец, дружески вписанный в ее альбом автограф «Полководца» неопровержимо свидетельствуют о духовной близости этих двух замечательных людей, о неоднократных их встречах и беседах на самые разнообразные темы: о Пугачеве, об Отечественной войне 1812 года, об Америке, об искусстве и литературе, о проблемах воспитания, о царствовании Екатерины II и о многом другом.

Известно, что Пушкин неоднократно встречался с Еленой Павловной и в последующие годы. В дневнике поэт записал 8 января 1835 года: «Великая княгиня взяла у меня Записки Екатерины II и сходит от них с ума» (XII, 336). Известно, что мемуары Екатерины с ее едкими намеками на родословную династии Романовых в это время всячески преследовались Николаем. По его приказу сжигались все копии этих «Записок». О них не знал даже сам наследник — Александр Николаевич до самого вступления на престол в 1855 году. А Елена Павловна все-таки успела при содействии Пушкина ознакомиться с весьма опасными и злыми записками Екатерины II. 16 февраля 1836 года Пушкин снова был у Елены Павловны. В журнальной книге Михаила Павловича мы читаем: «18 февраля. Воскресенье... Обеденный стол имела ее <высочество> у себя, а его <высочество> кушал у государя. По вечеру были и гости у ее высочества, Опочинин и 2 дочери, сочинитель Пушкин, Жуковский, Хитрово».

Встречался Пушкин с Еленой Павловной и в конце 1836 года. 26 декабря 1836 года она сообщала мужу в Лозанну: «Я видаю иногда Вяземского, как и твоих протеже — семью его, и я приглашала два раза Пушкина, беседа которого кажется мне очень занимательной» [11]. О встрече Пушкина и Елены Павловны в узком кругу за несколько дней до дуэли свидетельствует В. И. Анненкова (урожденная Бухарина).

«В последний раз я видела Пушкина за несколько дней до его смерти на маленьком вечере у великой княгини Елены Павловны. Там было человек десять: графиня Разумовская, m-me Мейендорф урожденная Огэр, Пушкин и несколько мужчин.

Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом».

Это евангельское изречение в устах Пушкина, казалось, удивило великую княгиню; она улыбнулась, глядя на меня с понимающим видом. Я тоже улыбнулась, и, когда несколько минут спустя Пушкин подошел ко мне, я сказала ему, смеясь: «Как вы сегодня нравственны!..» [12]. Мемуары В. И. Анненковой отличаются удивительной точно-

---

[8] Подчеркнутые слова написаны по-французски. — **И. Т.**

[9] Надежда Львовна Соллогуб, графиня, в замужестве Свистунова (1815—1903), до замужества (1836) — фрейлина Елены Павловны. Пушкин был ею увлечен. Свое чувство к ней он выразил в стихотворении «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...».

[10] В последних словах — намек на Елену Павловну.

[11] «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 135.

[12] И. Андроников, Утраченные записки. В кн.: И. Андроников, Лермонтов. М., 1968, стр. 174—175.

стью и достоверностью. Она могла запамятовать какие-либо несущественные детали и факты, но эту последнюю в своей жизни встречу с Пушкиным, перед которым Анненкова буквально благоговела, она не могла забыть и не могла выдумать. Эта встреча могла состояться не только в Михайловском дворце, но и в другом месте, где вообще не велась регистрация посетителей и не было никаких журнальных книг.

В последний раз встретилась Елена Павловна с Пушкиным на балу у М. Г. Разумовской, накануне дуэли, вечером 26 января 1837 года. С. Н. Карамзина сообщает: «Великая княгиня Елена Павловна была тоже на этом балу, она не танцевала, но много беседовала с умными людьми, подобными Баранту, Виельгорскому, Либерману <...> Вечером на балу у гр. Разумовской я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил, он несколько судорожно пожал мне руку, но я не обратила внимания на это» [13].

Вечером на балу у М. Г. Разумовской кто-то обратил внимание П. А. Вяземского на необычайную беседу Пушкина и д'Аршиака. «Пойдите, посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с д'Аршиаком, тут что-нибудь недоброе», — сказали Вяземскому. Вяземский направился в сторону Пушкина и д'Аршиака, но при его приближении разговор прекратился» [14].

А на следующий день наступила роковая развязка. Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом. Случилось непоправимое.

Узнав о тяжелом ранении поэта, Елена Павловна писала Жуковскому записку за запиской, спрашивая о состоянии умирающего Пушкина [15].

В этих трех взволнованных и искренних записках выражается весьма серьезная и глубокая тревога по поводу ранения поэта. А четвертая записка Елены Павловны к Жуковскому представляет собой некролог. В ней вся невыразимая скорбь в связи с гибелью великого поэта.

В. А. Жуковский в письме к С. Л. Пушкину свидетельствует: «Великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни» [16]. Ответные записки Жуковского к Елене Павловне, к сожалению, до нас не дошли. Д. Д. Благой, комментируя вышеуказанное свидетельство Жуковского, заявляет: «Письмо Жуковского было проникнуто тенденциозным стремлением всячески идеализировать отношения между Пушкиным и царем, придать систематическим преследованиям поэта видимость «отеческого» о нем попечения. Поэтому и к его словам о «любви» к Пушкину со стороны Елены Павловны следует отнестись с немалой долей скептицизма» [17]. Вряд ли правомерен столь категоричный вывод исследователя. Вряд ли можно заподозрить дружески относившуюся к Пушкину Елену Павловну в неискренности. Ведь к ее либерализму сам царь относился весьма настороженно.

Приведем эти поистине скорбные записки Елены Павловны.

«27 января 1837 г.

Добрейший г. Жуковский!

Узнаю сейчас о несчастии с Пушкиным — известите меня, прошу Вас, о нем и скажите мне, есть ли надежда спасти его. Я подавлена этим ужасным событием, отнимающим у России такое прекрасное дарование, а у его друзей — такого выдающегося человека. Сообщите мне, что происходит и есть ли у Вас надежда, и, если можно, скажите ему от меня, что мои пожелания сливаются с Вашими.

Елена».

«27—28 января 1837 г.

Я еще не смею надеяться по тому, что Вы мне сообщаете, но я хочу спросить Вас, не согласились бы послать за Мандтом, который столь же искусный врач, как оператор. Если решатся на Мандта, то, ради бога, поспешите и располагайте ездовым, которого я Вам направляю, чтобы послать за ним. Может быть, он будет в состоянии принести пользу бедному больному; я уверена, что вы все решились ничем не пренебречь для него. Е.»

«27—28 января 1837 г.

Тысяча благодарностей за внимание, с которым Вы, мой добрый г. Жуковский, делитесь со мною Вашими надеждами, они становятся также моими, и я прошу Вас сообщить мне, хотя бы на словах, длится ли улучшение. Если бы это было угодно богу! Е.»

---

[13] «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837». М. — Л., АН СССР, 1960, стр. 165—167.

[14] См.: П. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина. М., — Л., 1928, стр. 180.

[15] «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 134—136.

[16] В. А. Жуковский, Сочинения, изд. 8-е, т. 6. Спб., 1885, стр. 17.

[17] Д. Д. Благой, Пушкин в неизданной переписке современников. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 25.

«29 января 1837 года.

Итак, свершилось, и мы потеряли прекраснейшую славу нашего отечества! Я так глубоко этим огорчена, что мне кажется, что во мне соединяются сожаления и его друзей, и поклонников его гения. Тысяча прочувствованных благодарностей Вам, мой добрый г. Жуковский, за заботливость, с которою вы приучали меня то надеяться, то страшиться. Как она тягостна, эта скорбь, которая нам осталась!

Когда сможете, Вы сообщите мне, как чувствует себя его бедная жена, о которой я не забываю и которую жалею от глубины души!

Е.».

Теперь совершенно по-новому нужно отнестись к этим четырем запискам Елены Павловны, посланным Жуковскому в связи с трагедией Пушкина. Нет никаких сомнений, что Елена Павловна, тяготившаяся своим одиночеством при дворе, искренно, с болью в сердце выражает свое сочувствие умирающему Пушкину, предлагает ему неотложную врачебную помощь и, наконец, потрясена трагической вестью о смерти поэта.

Вся последующая деятельность Елены Павловны также заслуживает внимания.

По ее почину во время Крымской войны была создана Община сестер милосердия, прошедших курс обучения под ее непосредственным руководством. Много групп сестер милосердия при ее участии было отправлено в осажденный Севастополь.

Широко известна ее переписка с хирургом Н. И. Пироговым.

За два года до реформы 1861 года Елена Павловна освободила на волю крестьян своего имения Карловка.

При ее содействии было основано Русское музыкальное общество, а учрежденную при нем консерваторию она на первое время приютила в своем дворце, поставив во главе ее композитора А. Г. Рубинштейна.

Автограф Пушкина после его смерти Елена Павловна берегла как реликвию. Она никому более не давала этого альбома для вписывания стихов и вырвала все предшествующие автографу Пушкина записи. И лишь после смерти мужа в конце 1849 года она стала заносить в этот альбом свои записи.

Стала известна еще одна страничка биографии великого поэта, но приток новых данных о нем этим не исчерпывается. Да и белых пятен и загадок, связанных с жизнью поэта, все еще немало. Еще не разысканы письма Наталии Николаевны Пушкиной. Не выяснена окончательно судьба тетради Капниста и тетради Милорадовича с записями пушкинских стихов. До сих пор неизвестно местонахождение очень многих автографов писем Пушкина к В. А. Жуковскому, В. К. Кюхельбекеру, М. А. Корфу, А. А. Фуксу, П. П. Каверину, Д. В. Давыдову, В. А. Соллогубу, С. Д. Нечаеву, Н. И. Ушакову, В. Д. Сухорукову, В. Ф. Одоевскому, П. А. Осиповой, Е. Ф. Канкрину, Е. П. Люценко, Д. И. Хвостову, М. А. Дондукову-Корсакову, И. И. Лажечникову, А. Х. Бенкендорфу, Д. К. Нессельроде, М. С. Воронцову, А. А. Жандру и многим другим. По-видимому, до нас не дошли также неизвестные письма Пушкина к поэту и композитору В. С. Голицыну. Не случайно М. А. Цявловский призывал исследователей искать утраченные рукописи произведений поэта. Нам неизвестны рукописи шестой главы «Евгения Онегина». Не найдены рукописи «Гавриилиады», «Моцарта и Сальери», «К Чаадаеву», автографы многих антиправительственных политических стихотворений, эпиграмм... «И вообще можно сказать, — писал М. А. Цявловский, — что мы не обладаем всеми рукописями больших произведений Пушкина» [18]. До нас не дошел окончательный рукописный текст «Графа Нулина», «Деревни», «Пиковой дамы», многих лирических стихотворений. Не разысканы до сих пор отдельные тетради знаменитой «Истории Петра». Этот перечень можно продолжить. Не дошло до нас и много стихотворений, вписанных в альбомы. «Альбомы с записями его стихов и прозы насчитывались, вероятно, десятками, но нам известны только 27» [19], — писал М. А. Цявловский. Сейчас найден еще один альбом. Но можно с полной уверенностью сказать, что будут обнаружены и еще новые альбомы с автографами Пушкина. Архивы — это кладовые несметных сокровищ. И кто знает, какие еще неожиданные открытия ожидают исследователей.

---

[18] М. А. Цявловский, Судьба рукописного наследия Пушкина. «Статьи о Пушкине». АН СССР. М., 1962, стр. 263. См. в этой статье обстоятельный перечень неразысканных рукописей Пушкина.

[19] Там же, стр. 261.





Н. Натанов

Законами, но не кровью

В Государственном архиве Смоленской области среди многочисленных бумаг, составляющих архив помещиков Пенских, имеется рукописный сборник, озаглавленный «Сочинения Василия Богдановича Пенского. 1821—1825 г.г.» [1]. Сборник состоит из листов разного формата, заполненных разными почерками. Очевидно, он составлялся в течение примерно полустолетия, потому что, кроме некоторых текстов, записанных, видимо, в 1820-х годах, здесь содержится и ряд стихотворений 40-х и 60-х годов XIX века. Самая поздняя дата — 1873 год.

В сборнике, между прочим, сохранился любопытный список пушкинской оды «Вольность» [2]. Судя по почерку и по характеру «соседних» рукописей, список может быть датирован 30-ми — 40-ми годами XIX столетия. В свое время редакция Полного академического собрания сочинений Пушкина учла все известные списки оды: ведь черновых автографов этого произведения не сохранилось, да и полных текстов, написанных рукой самого поэта, не существует. Ни в одном из многочисленных списков «Вольности», разошедшихся по России, не было подробности, характерной для Смоленского списка: последний озаглавлен «Свобода» и открывается эпиграфом «Des lois et non du sang» («Законами, но не кровью»).

Цитата эта, хорошо и кратко определяющая важнейшую мысль оды, взята из трагедии Мари-Жозефа Шенье «Кай Гракх», поставленной в Париже 9 февраля 1792 года в разгар революции [3].

По одному списку, сохранившемуся у людей, кажется, не знакомых с Пушкиным, нельзя, конечно, заключить, что эпиграф находился в одной из авторских рукописей «Вольности», но все же сам этот факт интересен... Мари-Жозеф Шенье был братом Андре Шенье; некоторые исследователи подозревали в авторе «Кая Гракха» «Возвышенного галла» из той же оды «Вольность...».

В том же архиве Пенских сохранилось также следующее стихотворение [4].

К вельможам

La liberté des peuples
est un decret des ciels [5]

Сыны фортуны дерзновенной,
Не Вас поет мой скромный глас,
Но власть на гибель обреченну,
Венчанным казнь... Свободы час!..

Тиран, в порфиру облеченный,
На троне с гордостью сидит.
Рабов толпами окруженный,
Себя царем земным он чтит.

Венец сияет на главе,
В руках его знак самовластья! *

---

[1] Государственный архив Смоленской области, ф. 107 (Пенских), св. 1, № 1.

[2] Там же, лл. 7—8.

[3] См. о том большую заметку в «Grand dictionnaire universel», Larousse, vol. 10, p. 635.

[4] Государственный архив Смоленской области, ф. 107, св. 1, № 1, лл. 9—10.

[5] Свобода народов — закон небес (франц.).

* Закон (примечание в рукописи).

Речет — готовность на челе,
На лицах всех подобострастье...

Готов друг друга поразить,
Презреть союз родства священный.
И мнят, тираном огражденны
Себя от гнева неба скрыть!..

Но он не в силах! Провиденье
Равно стремит на всех свой гнев:
Рабы, герой — цари Вселенной,
Равно узнают казни зев.

И ты падешь, самовластитель!
Падешь, увенчанный злодей!
И смерть твоя — нам возвеститель
Давно свободы жданных дней!..

Настанет торжество свободы,
Любимцы счастья ниц падут.
И оживленные народы
Покой и радость обретут.

Чинов, отличия не будет,
В отчизне будут все равны,
Вельможа первенство забудет.
Одни права нам всем даны.

Права, чтоб жизнью наслаждаться,
В свободе век свой проводить,
Трудами рук своих питаться
И дани рабской не платить!

А. Пушкин

Такое стихотворение Пушкина неизвестно, да и поэтические достоинства его не слишком высоки. Принадлежать Пушкину оно не может. Интересно другое — сам факт хождения подобных стихов. Столь дерзкие и оптимистические строки вряд ли могли бы появиться сразу после 14 декабря 1825 года. По политическому накалу, по положению в сборнике Пенских и почерку стихи принадлежат скорее всего 1860-м годам. Сразу бросается в глаза подражание пушкинской оде «Вольность» («И ты падешь, самовластитель! Падешь, увенчанный злодей!» и др.).

Приписанных Пушкину озорных или крамольных стихов ходило множество. Однако даже в самом полном, составленном М. А. Цявловским списке «Псевдопушкинианы» стихи «К вельможам» отсутствуют.

Пусть они не принадлежат Пушкину, но все же принадлежат XIX веку и пушкинской традиции...

В МОСКВЕ НЕ ЦАРЬ...

История запрещенных, ходивших в списках пушкинских стихов беспрерывно «угощает» исследователя всякими неожиданностями.

Знаменитое стихотворение «Наполеон» («Чудесный жребий совершился...») при жизни поэта было напечатано не полностью и впервые опубликовано без купюр в «Полярной звезде» Герцена и Огарева. Черновые и беловые рукописи стихотворения сохранились, и поэтому ожидать особых «новостей», связанных с самим текстом, как будто не приходилось...

Есть в стихотворении «Наполеон» строка «В Москве наш царь, в Москве Россия». Прежде чем так написать, Пушкин перепробовал много вариантов (см. II. 711, 715, 719). Среди них мелькает и строка «В Москве не царь, в Москве Россия».

В архиве Сергея Дмитриевича Полторацкого (ГБЛ, Рукописный отдел, ф. 233, к. 43, № 23) сохранилась следующая запись, сделанная неуемным библиографом спустя 12 лет после гибели Пушкина:

«Июнь 1821 г. Наполеон. Стихотворение написано в Кишиневе.

«В Москве не царь, в Москве Россия». Владимир Петрович Горчаков поправил Пушкина: «В Москве наш царь...» (От Горчакова Влад. Петр. Москва, 5 июня 1849 г.)».

Сведения, поступившие от кишиневского приятеля и почитателя Пушкина В. П. Горчакова, заслуживают доверия, его воспоминания о Пушкине основывались на дневнике, к сожалению, исчезнувшем...

Горчаков (и, вероятно, другие кишиневские приятели — Н. С. Алексеев, И. П. Липранди) настоял на своем: может быть, из желания оградить Пушкина от преследований за строку «В Москве не царь...», а может быть, по монархическому убеждению — что не следует умалять военных заслуг Александра I.

Так или иначе, но опасная мысль у Пушкина была, опасная строка была, а это для истории его мыслей и строк небезынтересно.

ЗАБОТЛИВОСТЬ ЖУКОВСКОГО

Хорошо известно, как из самых лучших побуждений В. А. Жуковский «улучшал»

стихи умершего Пушкина, старался поднять престиж поэта в глазах царской семьи [6].

Любопытно, что Пушкин еще за несколько лет до смерти словно предугадал всю эту историю. П. И. Бартенев записал следующий рассказ Т. Н. Грановского:

«Раз как-то у Плетнева, при Грановском, Пушкин смеялся над излишней заботливостью Жуковского о славе друзей своих и людей им почитаемых. Он со смехом рассказывал, как Жуковский поправлял даже какие-то стихи Ломоносова, именно из этой заботливости» [7].

КОРФ И КОНЧИНА ПУШКИНА

Среди документальных свидетельств о том, как встретили кончину Пушкина его лицейские друзья, как-то затерялся отклик Модеста Корфа (лицейского «Модиньки»).

17 февраля 1837 года Корф сообщил на Кавказ одному из лицеистов — В. Д. Вольховскому:

«При получении этого письма ты будешь уже, конечно, знать об нашей общей потере: мы лишились нашего Пушкина, и каким еще образом! Во время всего этого происшествия, во время его смерти и похорон, я сам томился еще в мучительной болезни, и кто видел его за несколько дней перед тем у моей постели, конечно, не подумал бы, что он, в цвете сил и здоровья, ляжет в могилу прежде меня. После него осталось, кроме вдовы, четверо сирот, почти безо всего; но общий наш гений-хранитель призрел и их щедрою своею рукою; по крайней мере в отношении и состояния и к средствам воспитания они имеют теперь более, чем при нем <...> Илличевский был в ужасной ипохондрии, теперь несколько оправился, но все-таки хочет оставить службу. Яковлев дирижирует своею типографией и грустит о Пушкине. Решение судеб бедного Данзаса еще неизвестно» [8].

Из публикуемого письма открывается прежде неизвестное обстоятельство: последнее свидание Пушкина с Корфом и, вероятно, с несколькими друзьями-лицеистами было всего за несколько дней до гибели поэта...

Позже Корф оставил по себе неплохую память тем, что, директорствуя в императорской публичной библиотеке, собрал единственную в своем роде богатейшую коллекцию книг о России на иностранных языках, но еще больше запомнился современникам и потомкам (по другим своим более важным должностям) как карьерист, давитель свободного слова, «любовник каждого министерского портфеля», клеветавший на декабристов и попавший под убийственную критику Герцена и Огарева. Известные Воспоминания его о Пушкине довольно недоброжелательны и написаны так, будто Корф все не отплатил поэту за какие-то обиды (хотя первая реакция его на гибель Пушкина была, как видно, иной).

Много лет спустя, 18 ноября 1888 года, С. Д. Шереметев записал начерно свои воспоминания о встречах с уже покойным к тому времени М. А. Корфом. Эпиграфом к записи послужила цитата из П. А. Вяземского: «он был чиновник огромного размера».

Впервые юный Шереметев посетил маститого Корфа в 1863-м: «После обеда <...> он пригласил нас в свой кабинет и распространялся о своих лицейских воспоминаниях, о Пушкине и др. Тут я заметил, что в этих рассказах было что-то напускное, что о Пушкине говорил он как-то странно: хвалил его, но чувствовалась фальшивая нота...» [9].

СОВРЕМЕННИКИ — ЧИТАТЕЛИ

Лишний отклик, свидетельство любви, признания или неприязни к Пушкину, кажется, не могут существенно переменить наши представления о поэте и его времени, но все же могут обогатить нас какимнибудь таким взглядом на вещи, который нам уже несвойствен и который делает

---

[6] См. «Труды Черниговской ученой архивной комиссии», вып. 2, 1899—1900, отд. 1, стр. 18. И статью «Девять строк Жуковского». Журнал «Знание — сила», 1965, № 5.

[7] ЦГАЛИ, ф. 46 (П. И. Бартенева), оп. 1, ед. хр. 5, л. 204.

[8] Письмо сохранилось в бумагах С. И. Шубинского. ПД, ф. 874, оп. 2. № 206, л. 2.

[9] ЦГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5347, л. 4.



нас на миг людьми пушкинского времени и тем приближает к поэту.

Вот запись, каких много:

«Я помню, что когда я не умел еще читать, то знал уже на память некоторые стихи из 1-й главы Ев. Онегина, так часто эту главу при мне читали. Лет тринадцати я мог уже без ошибки прочесть на память большинство мелких стихотворений, а знал, конечно, все напечатанное и многое, обращавшееся в рукописях. Мою страсть к Пушкину наследовали мои сыновья. У меня здесь есть внучка лет 9, которая многое знает из Пушкина не хуже меня — и даже иногда меня поправляет, если я ошибусь. Надеюсь, что и правнучки будут иметь такую же страсть к Пушкину» [10].

Это отрывок из письма Евгения Ивановича Якушкина к своему другу — пушкинисту и библиографу Петру Александровичу Ефремову (от 20 февраля 1887 года). Сын декабриста, родился в 1826-м, когда отец был уже в тюрьме. Его назвали Евгением в честь другого декабриста — Оболенского. «Когда я не умел еще читать» — это конец 1820-х годов; отец — на каторге, мальчика воспитывают мать и бабушка; частый гость и друг — П. Я. Чаадаев. «Лет тринадцати» — это время смерти Пушкина, — а затем Е. И. Якушкин заканчивает университет, участвует в общественном движении 60-х годов и делает в ту пору необычайно много для сохранения и публикации — в России и у Герцена — декабристских мемуаров и запретного, «потаенного» Пушкина.

А вот другая современница — Мария Муханова, молодая дама из обширного и влиятельного рода... Она регулярно пишет из Москвы, иногда из деревни в Петербург, своему прежнему учителю Михаилу Евстафьевичу Лобанову — литератору, переводчику, позже академику. Хотя Пушкин относился к Лобанову весьма неважно (а в 1836 году заслуженно высек его в статье «Мнение господина Лобанова об изящной словесности, особенно русской»), но между учителем и ученицей о пушкинских сочинениях идет живой обмен мнений [11]. Писем учителя мы не знаем, ученица же впервые называет имя Пушкина 9 ноября 1822 года:

«Очень много благодарю Вас за Кавказского пленника; прекрасное сочинение и прекрасный талант. Ни одного стиха ученического или вставного! Столько же мыслей, сколько слов! Это Гений величественный и дикий, как горы Кавказа, оригинальный в нашей литературе. Он имеет что-то азиатское, роскошное и, если смею сказать, свирепое. Воображение богатое, свободное и своевольное, избыток силы и таланта! Пусть обстоятельства благоприятствуют Пушкину, пусть дарования его образуются чтением и опытностью и он, конечно, станет наряду с лучшими поэтами. Видите, сколько я с Вами искренна; иначе я не смела бы так утвердительно своего мнения сказать».

31/XII 1823 года она сообщает, что довольна «Полярной звездой» А. Бестужева и Рылеева, но находит, что «Бестужев слишком много сочиняет слов». Перевод «Илиады» Гнедича ей кажется более важным литературным событием, чем «Горе от ума». 10 апреля 1824 года по поводу литературной полемики Вяземского с Каченовским вокруг пушкинского «Бахчисарайского фонтана» написано следующее:

«У нас заводится спор о классиках и романтиках, но, к счастью, война не кровопролитная...»

«Байрон, которого знаю только по слуху, и Пушкин, которого сочинения только отчасти мне известны, конечно, украшают школу, к которой принадлежат своими дарованиями, но бесчестят употреблением оных и, вместо того чтобы возвышать душу ко всем добродетельным чувствам, растравляют и страсти, опасные и мучительные, скрытые в человеческом сердце».

Проходит несколько лет; время бежит для Марии Мухановой вольно, счастливо, хотя чтение и раздумья сопутствуют ей все время.

Муханова очень религиозна; Пушкина интересуют искренние, чистые души, что бы они ни исповедовали, и однажды их интересы пересекаются.

4 февраля 1830 года написаны следующие любопытные строки:

«Недалеко от нашего дома, в улице, на-



---

[10] ЦГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), оп. 1, ед. хр. 451, л. 106.

[11] ЦГАЛИ, ф. 303 (М. Е. Лобанова), оп. 1, ед. хр. 19, письма Марии Мухановой с 30.VIII. 1820 года по 8.VI. 1837 года.

зываемой Арбат, есть довольно старинная церковь во имя св. Николая. Туда каждое воскресенье и каждый праздник уже несколько лет сряду сходится большое число людей слушать славного проповедника и плакать, слушая его; там видела я даже А. С. Пушкина.

В последний раз говорил <проповедник> о счастии умереть христианином, о сладостных чувствах, сопровождающих кончину добродетельного человека. Я желала, чтобы вы его послушали. Сей красноречивый священник, столь же почтенный своим поведением, сколько известный своим дарованием, есть духовный отец наш, и мысль, что собственные чувства его не противоречат наставлениям, укрепляет для меня силу их».

Из следующих писем мы узнаем, что Муханова читает «Литературную газету» Пушкина и Дельвига, находит, что «Московский телеграф» «упал после Вяземского», часто встречается с М. П. Погодиным, пытается завести школу, но мужики не идут:

«В крестьянах существует еще какая-то закоснелость; они чего-то страшатся. Мне советуют употребить принуждение и напоминают, что сим только способом свет воссиял в России, но я еще надеюсь на силу убеждения — этот способ мне лучше нравится».

М. Е. Лобанов, очевидно, раскритиковал в своем письме (февраль 1831-го) только что напечатанного пушкинского «Бориса Годунова» (позже он решил, видно, показать поэту, как следовало разработать эту тему, и написал довольно посредственную драму того же названия). Муханова не согласна с наставником и 25 февраля 1831 года отвечает:

«Борис Годунов кажется не нравится Вам — при больших и многих недостатках я нахожу большие красоты, о которых буду говорить с вами в другом месте».

25 декабря 1835 года Муханова тонко замечает, что язык философии в России беднее языка поэзии: «Правда, у нас нет ни Бэкона, ни Мильтона, ни Шекспира; но язык наш в поэзии и прозе почти установился: мы верим Карамзину, Дмитриеву, Жуковскому Батюшкову, Крылову, Пушкину, Филарету. И тем более верим нашим учителям, что их у нас мало».

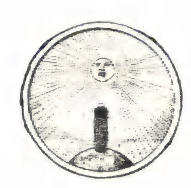
В письме от 13 февраля 1837 года мы находим отклик Марии Мухановой на гибель Пушкина:

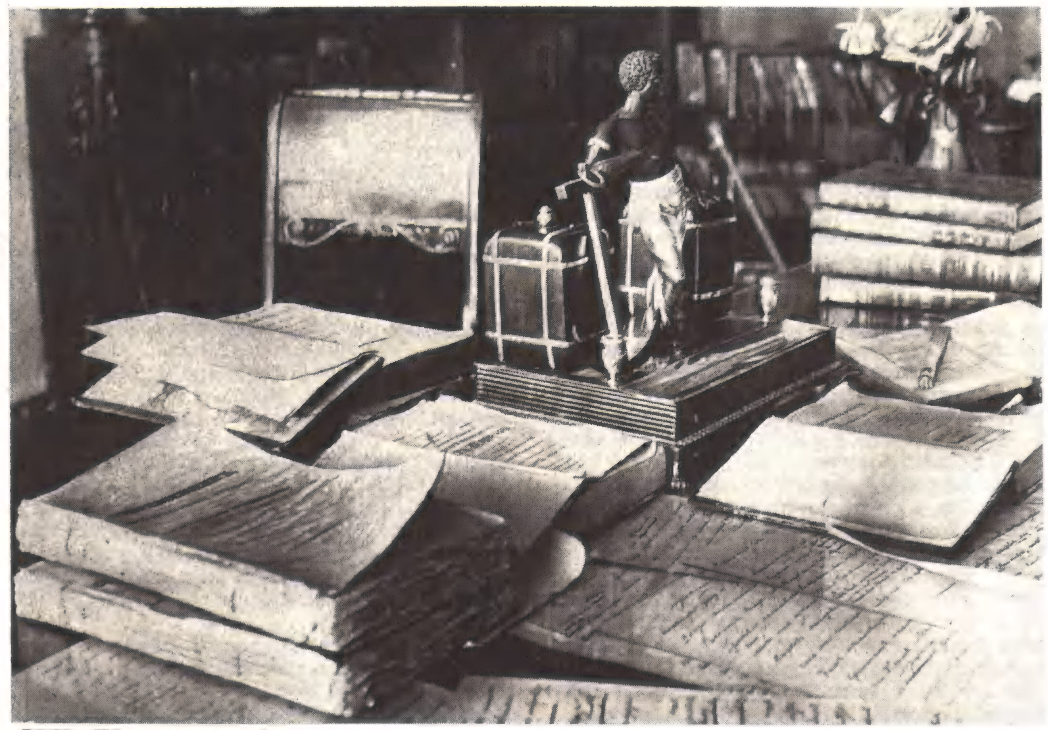
«Меня очень огорчила смерть Пушкина: от него можно было еще ожидать многого, а теперь жизнь и смерть его сделались сами предметом страшной, в новейшем вкусе, драмы. Жаль, что он еще при жизни был свидетелем умаления своей славы. Я еще живо помню эпоху фанатизма, когда Пушкин был настоящим идолом нашей непостоянной публики. Она восхищалась его поэмами, но не поняла Бориса Годунова! Что такое слава? Сколько во время краткой своей жизни пережила я разных мнений, теорий и репутаций! Но сама я оставалась почти во всем верною самым первым впечатлениям своим. Я многое, очень многое, давно понимала так, как теперь начинают понимать. Карамзина, любимого моего писателя и недоступного образца, хвалили, потом порицали, критиковали, унижали (и в то время смеялись над моим энтузиазмом, называя его обветшалым, старомодным); а теперь его опять превозносят, находят в нем все совершенства. Правда, чем более разрывают сокровища нашей страны, чем старательнее изучают памятники и хартии, тем более убеждаются в трудолюбии, глубоких сведениях и добросовестности великого историка <...>.

Прискорбно в смерти Пушкина еще то, что скверная, корыстолюбивая и безнравственная шайка литературная торжествует. Если не ей удалось убить поэта, то по крайней мере она отравила горечью многие из последних его дней... На сем слове получила я копию с письма к<нязя> Вяземского к Булгакову, невозможно без слез читать его. Но каким является тут великий монарх наш! Он достоин любви и благословений всех русских. Он, почтивший Карамзина и покровительствующий вдове и сиротам Пушкина!..»

Во мнениях Мухановой, как видно, нет крайностей: Пушкин для нее — фигура значительная, но не выше нескольких других; она скорбит о нем и увлечена монаршей милостью: в ее наблюдениях немало тонкости, но много неведения.

В общем, это один из образцов обычных, типичных мнений; тем они интересны, тем радуют и огорчают.





В. И. Порудоминский

«Я полюбил Пушкина еще больше...»

(Пушкин в „Библиографических записках". Из писем Афанасьева к Геннади)

1.

Журнал «Библиографические записки» начал выходить в 1858 году.

Главным действующим лицом в редакции журнала был Александр Николаевич Афанасьев.

Афанасьева к тому времени хорошо знали и литераторы и читатели. Уже десять лет как в журналах появлялись его статьи по русской истории, труды по славянской мифологии, многочисленные рецензии.

«Пишите больше. С следующего года я намерен расширить отдел критики и много надежд в этом отношении основываю на Вас...» — пишет в 1849 году издатель «Современника» Некрасов молодому Афанасьеву, лишь недавно окончившему курс в Московском университете.

Мифологические исследования Афанасьева, такие, как «Дедушка домовой» или «Ведун и ведьма», удивили читателей новизной и принесли автору немалый успех.

С 1855 года Афанасьев начал издавать «Народные русские сказки», возвращая народу и сохраняя для будущих поколений лучшие творения народной поэзии.

Вот уже сто лет сказки издаются под названием «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева», хотя Афанасьев не сочинял их, не записывал — лишь издал. Но не «Сказки, собранные...» и не «Сказки, изданные...» — имя его присвоено сказкам по тому же принципу, по которому присваивают имена открывателей новым землям или законам науки: «Остров Врангеля», «Закон Ома», «Сказки Афанасьева»...

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ

ЗАПИСКИ,

ПЕРІОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ

1858 ГОДА.

ТОМЪ 1.



А. Н. Афанасьев.

Этот труд — такое порой случается — затмил для потомков все остальное, что сделал Афанасьев. Для нас Афанасьев — сказочник.

Сейчас мало вспоминают работы Афанасьева о русской литературе восемнадцатого столетия. А ему принадлежат первые исследования, посвященные сатирическим журналам екатерининского времени. Книга Афанасьева «Русские сатирические журналы 1769—1774 годов. Эпизод из истории русской литературы прошлого века» (издана в Москве в 1859 г.) послужила поводом для создания известной статьи Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины». Архивные данные позволяют внести существенные уточнения и в биографию Афанасьева, и в традиционные представления о его взглядах. Можно, в частности, не сомневаться, что, приступая к изданию «Библиографических записок», Афанасьев использовал опыт меткой и хитрой журналистики восемнадцатого столетия.

2.

«Насчет сатирических журналов Новикова и некоторых других, — пишет Афанасьев известному библиографу Геннади, — ...решительно с Вами не согласен: это книги, которые дай Бог, чтобы теперь являлись, да лучше всего их рекомендует то, что «Трутня» цензура не пропустила, следовательно о «Живописце» и «Смеси» и думать нечего» [1].

Это в письме от 28 декабря 1857 года. Сдан в типографию первый номер «Библиографических записок». Афанасьев размышляет о характере журнала. Опасения Афанасьева скоро подтвердятся. Каждый номер «Библиографических записок» с трудом проходит «в

[1] Письма А. Н. Афанасьева к Г. Н. Геннади. ЦГАЛИ, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 5, л. 9 об. В дальнейшем при ссылке на письма Афанасьева к Геннади в скобках указывается только номер листа.

узкие райские врата православной цензуры» (л. 47). В «либеральное» время александровских реформ издавать журнал, пожалуй, посложнее, чем в век прабабки Екатерины.

Афанасьев, никогда не забывавший шутку, весело признается: «В наш век выше всего нравственность, и потому басни снова получают силу и значение, следует только дать им современное направление, о чем я пуще всего и хлопочу» (лл. 30—31).

«Библиографические записки» требуют внимательного чтения. Несколько строк в «Книжных известиях», «Дополнительная заметка», примечание оказываются подчас не менее важными и содержательными, чем открывающее номер обширное исследование. Впрочем, даже в самом «спокойном» материале, опубликованном в «Библиографических записках», современники вычитывали куда больше, чем мы.

Никитенко, читая в журнале записки «типографщика» Н. С. Селивановского, в которых идет речь о Радищеве, тотчас вспоминает издания герценовской Вольной типографии.

Н. Я. Эйдельман в книге «Тайные корреспонденты «Полярной звезды» замечает: «...Даже самый общий обзор открывает большое сходство тем и материалов (декабристы, Пушкин, Радищев) у подцензурных «Библиографических записок», а также бесцензурных «Полярной звезды» и «Исторических сборников Вольной русской типографии». Это сходство интересно и потому, что теми же авторами и издателями «Библиографических записок» многие очень ценные документы пересылались в Лондон, когда становилось ясно, что их не напечатать в Москве и Петербурге».

Вряд ли Никитенко что-либо знал о той весьма прочной связи между Герценом и литераторами «Библиографических записок» (Афанасьевым, Якушкиным, Касаткиным, Ефремовым), существование которой стало нам известно лишь недавно [2]. Характерна естественность сопоставления герценовского издания и журнального материала, сопоставления, непроизвольно возникающего в уме осведомленного литератора Никитенко.

Письма Афанасьева к Геннади помогают нам понять подтекст многих статей и публикаций «Библиографических записок».

3.

Пыпин через четверть века после смерти Афанасьева вспоминал: «...Он был один из первых собирателей рукописной литературы XVIII—XIX стол[етий]» [3]. Издание «Библиографических записок» Пыпин прямо связывал с этой страстью Афанасьева.

«Собирателями рукописной литературы» (и к тому же «поставщиками» известной части ее для герценовских изданий) были уже названные литераторы, группировавшиеся вокруг «Библиографических записок». К ним примыкали также Полторацкий, Гербель, Соболевский и некоторые другие писатели и ученые.

Замышляя журнал, Афанасьев подчеркивал, что его интересует публика «не библиографическая, а просто читающая» (л. 15). Афанасьев изыскивал способы открыть «просто читающей публике» доступ к припрятанным у частных лиц и ходившим по рукам произведениям потаенной литературы. «Материалов все прибывает и много интересных, — сообщает он тотчас после выхода в свет первого номера «Библиографических записок», — ...я не ожидал такого обилия скрытых доселе памятников» (л. 15 об.).

Читатели журнала вскоре познакомились с неизданными прежде сочинениями Пушкина, Лермонтова, декабристов, сатирами Кантемира, статьями Щербатова, узнали немало нового о Радищеве, Новикове, Фонвизине.

Афанасьев постоянно имел дело с цензурой, которая во многом была барометром правительственных настроений, может быть, поэтому в пору всеобщих надежд и ожиданий он смотрит в будущее весьма настороженно, не строя иллюзий. Он спешит воспользоваться всяким благоприятным моментом; номера журнала не равноценны по составу: Афанасьев не откладывает на завтра то, что можно напечатать сегодня, и, если завтра выпадает возможность опубликовать то, что не пропускали сегодня, он публикует.

4.

Трудно составить первый номер нового журнала более удачно, чем это сделали сотрудники «Библиографических записок». В первом номере за 1858 год появились до того не публиковавшиеся письма Пушкина к брату Льву Сергеевичу.

Афанасьев заранее предвкушал эффект: «В первые два номера войдут преинтересные, прелюбопытные письма Пушкина: этим останутся все довольны...» (л. 9).

Письма передал в «Библиографические записки» Соболевский.

---

[2] Наличие такой связи установлено и подробно аргументировано Н. Я. Эйдельманом в указанном исследовании (М., 1966).

[3] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 251.



Ф. В. Булгарин (за столом) и Н. И. Греч.

Письма действительно преинтересные — всего их тридцать четыре [4], двадцать девять относятся к 1820—1825 годам — это своеобразная картина жизни Пушкина на юге и в Михайловском.

Для изучения биографии Пушкина письма к брату Льву незаменимы. Множество фактов, раздумья, глубокие и шутливые, отношение к собственным произведениям и сочинениям других литераторов, история и характер взаимоотношений с разными людьми, ценнейшие бытовые детали — и все это написано неповторимым пушкинским пером, письма к брату сродни рисункам Пушкина, его автопортретам.

Афанасьев, однако, ошибся, полагая, что «этим останутся все довольны».

Тотчас после выхода в свет первого номера журнала сын поэта, Григорий Александрович, обратился с жалобой к министру народного просвещения А. С. Норову. 6 февраля 1858 года министр сделал замечание издателю журнала Н. М. Щепкину, сыну актера и приятелю Афанасьева, а также небезызвестному московскому цензору Н. Ф. фон Крузе за обнародование писем, «в коих многое не должно было являться в печать как оскорбляющее чувство приличия и самое чувство уважения к памяти великого поэта... и за оказавшиеся там же неуместные шутки и отзывы об отце и родственниках Пушкина, личности, неблагопристойности и многие другие неуместности».

Несмотря на быстрый отклик, министр все же опоздал: второй номер журнала с продолжением публикации писем к этому времени уже появился. В третьем номере были напечатаны письма Пушкина к Гоголю: видимо, сотрудникам журнала потребовалось время для улаживания дела и, видимо, старались они небезуспешно, потому что в четвертом номере за 1858 год публикация писем Пушкина к брату была завершена.

Но ряды противников журнала не ограничились членами семьи поэта и причастными к делу официальными лицами.

28 февраля 1858 года Афанасьев пишет Геннади: «Меня нисколько не удивляет, что Греч и Булгарин рассердились на письма Пушкина, не поздоровится им от его похвал, но зачем бывшие друзья Пушкина (а ныне, увы! люди, по правде, отсталые и не совсем достойные тех теплых сердечных отзывов, какие делает о них поэт) опасаются за его славу? Письма не только не бросают никакой на него тени, но, по-моему, раскрывают вполне его благородный и симпатичный характер: я полюбил Пушкина еще больше, узнавши его письма к брату. Пускай бы заботились эти господа о сохранении своего собственного достоинства, а Пушкин постоит и сам за себя... Кн. Вяземский изволил написать Шевыреву (от Пушкина до Шевырева это все равно, что от великого до смешного! [5]) письмо в следующем смысле: в «Библиографических записках» печатаются письма Пушкина, такое печатание преждевременно, передайте об этом Крузе, ибо еще живы родственники (жена и дети) поэта, им может это не понравиться. Шевырев ездил с этим письмом к Крузе и к Соболевскому;

[4] В № 13 «Библиографических записок» за 1861 год было опубликовано еще одно письмо Пушкина к брату, относящееся к концу января — первой половине февраля 1825 года.

[5] Остро критический отзыв о Шевыреве находим в воспоминаниях Афанасьева «Московский университет», опубликованных после смерти автора («Русская старина», 1886, № 8). Рецензия на книгу Шевырева «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь» («Современник», 1850, № 6) также написана Афанасьевым в весьма ироническом тоне.

последний сам хочет писать к Вяземскому по этому поводу и между прочим сказать ему, что нечего заботиться о родственниках Пушкина, ибо жена Сергея Львовича[6] сама позволила печатание означенных писем. Крузе в последнем нумере «Библиографических записок» выпустил везде фамилию Вяземского (чтоб гусей не дразнить) — и тем дело пока кончилось. В № 4 «Библиографических записок» письма Пушкина закончены; нумер этот выходит завтра» (лл. 46—46 об.).

Так против «Библиографических записок» объединились Булгарин и «бывшие друзья Пушкина (а ныне, увы!..)».

Вряд ли это надо объяснять только консерватизмом Вяземского в 50-е годы или осторожной умеренностью Плетнева. Тут, думается, другое: Пушкин к тому времени стал достоянием нового поколения — поколения Афанасьева, Якушкина и их товарищей по журналу. То, что для «бывших друзей» было «личностями», «неблагопристойностями» и «другими неуместностями», для Афанасьева, Якушкина и людей их круга стало неотъемлемой частью живого Пушкина, принадлежало истории.

5.

Афанасьев сообщал Геннади: «За письма Пушкина цензору и редакции был выговор, но, по-моему, весьма глупый: так и пахнет Вяземским пряником. Как, дескать, печатать такие неприличности, как Аглая и тому подобные. Какая девственная щекотливость! По-моему, проповедь Гоголя (если б только имела влияние на публику) в миллион раз вреднее для нравственности, чем все нескромные стихотворения Пушкина. Ну да Вы сами знаете, что в православной Руси грешно в пост облизать ложку, обмакнутую в молоко, и весьма праведно нажраться всякою дрянью так, чтобы пузо трещало» (л. 21).

Сотрудники «Библиографических записок», не убоявшись новых «вяземских пряников», ответили «бывшим друзьям Пушкина», ответили достойно, не унижаясь до журнальной склоки и всего того, что действительно было бы «личностями». Они взялись за восстановление искаженной, урезанной «бывшими друзьями» и врагами поэта биографии Пушкина, за восстановление его творений, искаженных и урезанных издателями и цензурой. Новое поколение поднимало своего Пушкина над теми, кто мнил себя единственными его наследниками.

В № 10—12 журнала за 1858 год появилась обширная статья «По поводу последнего издания сочинений А. С. Пушкина». Первая часть статьи подписана «Е. Я.»: Евгений Якушкин; две последующих части — псевдонимом «И. М-къ». Псевдоним расшифровывается в письме Афанасьева к Геннади от 3 июля 1858 года: «Таинственные буквы И. М-къ означают Вашего покорнейшего слугу, только держите это про себя, потому что под ними должно идти все задирательное» (л. 24).

Содержание статьи составляют дополнения и поправки к тексту изданных П. В. Анненковым стихотворных произведений Пушкина.

«Один из важных и ощутительных недостатков издания г. Анненкова есть неполнота текста, — говорится во вступлении к статье. — В недостатке этом, конечно, нельзя совершенно винить издателя. Многие из стихотворений и прозаических статей Пушкина не могут еще в настоящее время быть напечатаны вполне; текст же других может быть восстановлен только общими усилиями русских библиографов, а не трудом отдельного лица».

Здесь же указывается, что даже «самые незначительные библиографические заметки и поправки получат значение и для всей массы русских читателей, когда они будут приняты в соображение при новом издании сочинений Пушкина».

Разбирается издание Анненкова, которого «нельзя совершенно винить» в том, что пушкинские тексты неполны. Но стратегический удар гораздо глубже. Недостатки анненковского издания выросли из так называемого посмертного издания, подготовленного «бывшими друзьями» поэта, которые весьма вольно отбирали, прочитывали, а то и «обрабатывали» произведения Пушкина.

Афанасьев сердито пишет: «Текст посмертного издания оказывается обезображенным, и «Библиографические записки» за эту проделку намерены порядком кольнуть Плетнева, Вяземского (нашего старого приятеля по Пушкину) и покойного каммер-лакея (поэта тож) Жуковского» (л. 31 об.).

«Порядком кольнуть» долго не удавалось. В декабре 1858 года был отставлен цензор Н. Ф. фон Крузе. Поводом для отставки послужили общественные демонстрации, устроенные в честь цензора, когда он получил выговор за то, что пропустил статью о московском обеде 28 декабря 1857 года. Обед состоялся в связи с первыми сообщениями о возможной отмене крепостного права. Шум,

---

[6] Описка: «Льва Сергеевича». В подзаголовке к публикации указывалось: «...С дозволения опекунши Елизаветы Александровны Пушкиной».

поднятый вокруг фон Крузе, свидетельствовал не столько об отношении к нему, сколько об отношении к правительству. Отставка Н. Ф. фон Крузе была предрешена.

Афанасьев был участником обеда, с которого начались злоключения (или скорее торжество) фон Крузе [7], отношения с цензором у него были доброжелательные.

Отставка Крузе больно ударила по «Библиографическим запискам». Самый тяжелый период пришелся на конец 1858 — начало 1859 года, когда — к счастью, недолгое время — цензором журнала стал П. Капнист. Даже очень жизнерадостный Афанасьев в отчаянии: «...Негодяй Капнист ведет себя отвратительно, кромсает, марает и задерживает корректуры; а я решился не поддаваться и жаловаться, итак у нас с ценсором открытая война. Но вы очень хорошо знаете, что на Руси с чиновным людом не навоюешься, а правды на него нигде еще не обретало со времен блаженного Нестора: «идеже закон, тут и неправда» (л. 37).

Огорчение Афанасьева особенно велико из-за того, что получены «прекрасные пополнения к изданию Анненкова относительно прозы Пушкина» (л. 31 об.). Но «есть ли возможность выступить с Пушкиным, имея ценсором этого невежду? Грустно и тяжело видеть литературу в руках подобных бессмысленных господ, не ведающих что и ради чего творят» (л. 41 об.).

«Библиографические записки» «выступили с Пушкиным», едва полегчало: в №5 и 6 журнала за 1859 год появилась статья Е. Якушкина «Проза А. С. Пушкина». Внешне это лишь продолжение разбора анненковского издания. Даже подзаголовок поставлен: «Библиографические замечания по поводу последнего издания сочинений поэта». Но здесь уже бой ведется в открытую, «бывшим друзьям» поэта нанесен от имени нового поколения не «укол», а удар — тяжелый, обоснованный, неотразимый.

Евгений Якушкин пишет: «К сожалению, г. Анненков большую часть прозаических статей напечатал по редакции посмертного издания, часто весьма неправильной. Лица, распоряжавшиеся посмертным изданием, чрезвычайно странно понимали обязанности, лежавшие на них относительно поэта и публики. Они не только выпускали фразы и целые статьи, которые в цензурном отношении всегда могли быть напечатаны, но даже и переделывали, совершенно произвольно и без всякого основания, стихи и прозу Пушкина, с решимостью, непонятною ни для одного образованного человека. Во всех этих поправках и выпусках виден самый узкий взгляд на значение Пушкина, видны какие-то отжившие и отчасти произвольные требования относительно нравственности и языка литературных произведений. Ежели бы сочинения Пушкина были изданы таким образом, по небрежности или по расчету, каким-нибудь спекулянтом — это было бы еще понятно; но изданием заведовали лица, близкие поэту, литераторы [8], и от них читатели были вправе требовать большего уважения к гениальному писателю и к русской публике».

6.

Вяземский пишет Шевыреву, родственники поэта жалуются министру, цензура «кромсает» и «марает», «рассерженные» Булгарин и Греч воюют, как всегда, на страницах своей «Северной пчелы».

Первый номер «Библиографических записок» с письмами к Льву Сергеевичу вышел из печати; в «Северной пчеле» выжидают: что дальше. Пока же Фаддей Булгарин в номере от 25 января 1858 года помещает статью, в которой — не без назидания будущим издателям Пушкина — высказывает свои суждения о седьмом томе анненковского издания.

Якушкин и Афанасьев считают основным недостатком этого издания «неполноту» и всячески хлопочут, чтобы заполнить пробелы. Булгарин полагает, что седьмой том «без всякого сомнения, не есть украшение сочинений А. С. Пушкина» из-за того, что в нем слишком многое опубликовано. Якушкин и Афанасьев хотят Пушкина неприкрашенного и неурезанного — такого, какой был в жизни. Булгарин пишет о Пушкине: «...Человек и поэт в нравственном значении не одно и то же. В человеке действуют страсти, волнуемые раздражительностью, и это производит брызги неблагоуханные и на вид отвратительные... Но что позволено, или лучше сказать, терпимо в жизни поэтической, то непростительно посмертному издателю сочинений поэта, который должен представлять читателю одно изящное и высокое. Не так, однако ж, поступил П. В. Анненков, поместив

[7] «У нас сегодня обед во славу задуманной правительством реформы, т. е. по поводу циркуляра об эмансипации; но сколько было разладицы, неурядицы и мелочных самолюбий — просто из рук вон!» (л. 9).

[8] В объявлении об издании полных сочинений А. С. Пушкина в пользу его семейства напечатано: «Надзор за изданием приняли на себя В. А. Жуковский, кн. П. А. Вяземский и П. А. Плетнев...» (примечание Е. Якушкина).

в Полном собрании сочинений Пушкина страстные выходки против меня и еще некоторых лиц. Уж если и надлежало помещать пасквили и эпиграммы раздраженного поэта против двух-трех лиц, безопасных для него, то так же надлежало помещать стихотворения и против других людей, подвергшихся его неблаговолению. Недостатка в них нет... Но издатель сочинений Пушкина избрал только беспотомных покойников и парочку-другую современных журналистов, в том числе и меня, на которых брызнул гневом А. С. Пушкин. Я был журналистом в то самое время, когда А. С. Пушкин писал много и иногда необдуманно. Хвалил я его всегда, как первоклассного поэта, но позволял себе некоторые замечания. Имею собственноручные письма А. С. Пушкина, что он благосклонно ценил мои замечания, и, скажу более, даже дорожил моим мнением, но, прислушиваясь к литературным сплетням, часто гневался, что и доказывается пасквильными его выходками. Наконец могила все прикрыла, и туда же должны были слечь и все порывы его гневной раздражительности. Издателю вздумалось увековечить эти дрязги, и, как всякий благоразумный человек согласится, не к славе и не к чести таланта А. С. Пушкина...»

Но это как бы подготовка к «разговору» с «Библиографическими записками». Булгарин и Греч ждут окончания публикации писем к Льву Сергеевичу.

Едва письма напечатаны, в «Северной пчеле» от 10 марта 1858 года появляются «Газетные заметки» небезызвестной обозревательницы «Серафимы».

«Серафима» приветствует издание «Библиографических записок» и при этом расставляет опубликованные материалы согласно своей табели о рангах. «Самая важная статья» — «Неизданная сатира А. Д. Кантемира», затем «Сведения об авторе Ядра Российской Истории, А. И. Манкееве». Лишь в заключение, которое оказалось весьма обширным, «Серафима» заводит разговор о письмах Пушкина к брату.

Даже беглое сопоставление этого «заключения» со статьей Булгарина выявляет определенную «генеральную идею», существовавшую у деятелей «Северной пчелы» в отношении публикации новых текстов Пушкина.

Поговорив о важности обнародования переписки великих людей, «Серафима» предупреждает, что, печатая письма, «издатели должны наблюдать разборчивость и (извините иноязычное слово) *деликатность*. Мало ли чего человек (и притом автор, поэт, душа восприимчивая и раздражительная) не напишет в минуту увлечения, страсти, досады, нетерпения! И все это печатать, все это открывать нескромному взору профанов... С сожалением должны мы сказать, что почтенные и достойные всего нашего уважения издатели «Библиографических записок» в нынешнем случае выпустили из виду эти, по нашему мнению, справедливые требования сериозной публики... Просим читателей наших не думать, чтоб мы восставали против обнародования писем покойного Пушкина вообще. Мы любим и чтим его память, нам дорого всякое о нем воспоминание; мы искренне благодарны издателям «Библиографических записок» за напечатание этих писем, интересных и достойных внимания во многих отношениях, но желали бы видеть их *просеянными*». Затем следуют долгие рассуждения о том, надо ли было печатать составленный Пушкиным список вещей в дорогу или записку: «Да, пришли мне калоши с Михайлом».

Но эти рассуждения — маскировка. Главное запрятано в сноску: «Просим не думать, будто мы сетуем на обнародование некоторых эпиграмм его на тогдашних наших приятелей. Нимало! Эпиграмма, напечатанная через двадцать, тридцать лет по рождении ее, похожа на пулю, найденную на месте поединка, происходившего задолго пред сим. Тот, в кого она была направлена, смотрит на нее с равнодушием и даже с удовольствием: не убила-де! Только выпустивший ее из дула может чувствовать сожаление и даже угрызения совести».

Тут хуже, чем цинизм. Читать такое о Пушкине, погибшем на поединке, страшно.

Но «Северной пчеле» и того мало. Для тех, кто читает лишь крупный шрифт и оставляет без внимания сноски, газета по старой памяти приготовила донос на Пушкина. Поразмышляв насчет списка вещей в дорогу, «Серафима» вдруг заявляет: «Многие места этих писем могут набросить тень на образ мыслей и характер Пушкина».

В свое время Булгарин сам напечатал злую эпиграмму, которую написал на него Пушкин, и таким образом публично донес на поэта. И теперь «Серафима», идя тем же путем, «вступается» за Пушкина: «Говорит же он <Пушкин> в одном письме: «Что это со мной делают журналисты? Б<улгарин> хуже Воейкова — как можно печатать партикулярные письма — мало ли что мне приходит на ум в дружеской переписке — а им бы все и печатать — это разбой!» Пушкин был совершенно прав... Но если при жизни автора надлежит наблюдать это

правило скромности, неужели оно лишается силы по смерти его?..»

Все по-старому. И все приемы те же. Как четверть века назад, когда Пушкин был жив...

Конец статьи «Серафимы», где осуждается опубликование писем, содержащих слова Пушкина «о смерти своей тетки, отзыв его об отце» и т. п., настолько похож на выговор, объявленный министром народного просвещения цензору, что знакомство издателей «Северной пчелы» с этим документом не оставляет сомнений.

7.

«Стоит ли отвечать Гречу на его заметку о письмах Пушкина? — писал Афанасьев, ознакомившись с «упражнениями» «Серафимы». — Хорошо, если б это пришлось кстати и между прочим, а особо не хотелось бы начинать такую борьбу, в которой противник еще до начала боя побежден» (л. 22 об.).

«Серафима», как позже установили, это Евгения Ивановна Греч; долго считали, что под псевдонимом скрывается сам Николай Иванович.

Афанасьев «особо» не отвечал Гречу, однако вскоре в «Библиографических записках» появился материалец, вполне точно направленный против издателей «Северной пчелы».

Еще раньше, в первом же номере журнала, Афанасьев (И. М-къ) поместил библиографическую заметку о книге «Подарок ученым на 1834 год...». Это сборник пародий на речи «известных профессоров и деятелей». В заметке приведены «образцы» речей на тему «о царе Горохе».

Теперь, после статьи «Серафимы», Афанасьев публикует дополнение к заметке — выдержку из речи некоего θ/θ. Б. — обычная подпись Фаддея Булгарина. Легко разгадываемая «фита» произносит нечто, весьма мало связанное с царем Горохом, зато прямо относящееся к спору о праве печатать неурезанного Пушкина. «Говорить свое мнение позволяется не косичкину...» — заявляет «фита» (напомним: «Ф. Косичкин» — один из псевдонимов Пушкина). И далее (в журнале это набрано курсивом): «Я и Мой Товарищ, давно соединенные узами дружбы на оболочках и в предисловиях, в изданиях и критиках, в барышах и накладах, мы идем своею дорогою и не слушаем всех людских бредней... Я хвалю его, а он хвалит меня...»

Слова невольно воскрешают в памяти памфлет Феофилакта Косичкина — Пушкина «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов»: «Посреди полемики, раздирающей бедную нашу словесность, Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин более десяти лет подают утешительный пример согласия, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных» (XI, 204).

Заметим кстати, что споры «Библиографических записок» с «Северной пчелой» шли не только вокруг Пушкина, однако подчас странным образом возвращались в конечном счете к бою за поэта.

В том же сборнике пародий есть речь Н. Полевого, который говорит: «Я историк! Я знаю Русь и меня знает Русь!..» Ссылка на предисловие к первому тому его «Истории русского народа» указывает, что слова подлинные.

Рядом с публикацией речи «Фиты» под общим заголовком появилась заметка Михаила Лонгинова, восстановившего полностью слова Н. Полевого, сказавшего о себе не только, что он знает Русь и Русь его знает, но также, что он любит Русь и Русь его любит. «Полевой, — заключает Лонгинов, — выразился еще сильнее, чем думают, потому что печатно говорил не только о взаимном знакомстве своем с Россией, но и о любви ее к нему». Заметка имеет прямое отношение к полемике с «Северной пчелой», поскольку, отступив в конце 30-х годов из передовой журналистики в казенную, Н. Полевой стал сотрудником этой малопочтенной газеты («Печально было слышать имя Полевого рядом с именами Греча и Булгарина», — писал Герцен).

«Северная пчела» тут же вступилась за бывшего сотрудника. Брат покойного, Ксенофонт Полевой, опять расшаркавшись перед «Библиографическими записками» и оценив статьи «Неизданная сатира А. Д. Кантемира» и «Сведения об авторе Ядра Российской Истории...», доказывает, однако, что слова Н. Полевого скромны и соответствуют истине («да, он любил Русь, и она его любила»). В конце статьи К. Полевой полностью приводит стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг» и вопрошает: «Если г. Лонгинов находит неумеренным выражение «Русь любит меня», где нет никакого преувеличения, а одна прямо высказанная правда, то как назовет он выражения Пушкина? Неужели он станет говорить: «Но Пушкин и Н. Полевой — разница!»

Нет, сотрудники «Библиографических записок», должно быть, не нашли в себе сил говорить это. Афанасьев отозвался коротко и выразительно, сообщил, что в редакции имеется эпиграмма, направленная «против известного уже нашим читателям выражения

Н. Полевого... Но по чрезмерной резкости ее тона мы не решаемся напечатать ее на страницах «Библиографических записок».

8.

Через год Афанасьев поместил в журнале документ, которым давно стремился завладеть, — собственноручное и вполне откровенное письмо самого Ф. В. Булгарина.

За несколько месяцев перед тем в журнале были преданы гласности письма А. Ф. Воейкова к княгине Е. А. В-ой (Волконской). В предисловии отмечается, что в печатаемых письмах Воейков «является совершенно иным, нежели каким многие представляют его себе» по известной сатире «Дом сумасшедших».

Действительно, в письмах к «почтенной благодетельнице и покровительнице бедных и беспомощных», которой «малютки» его «целуют почтительно ручки», Воейков «расстегивает свою душу». «Знаю, что огорчу патриотическое сердце ваше неприятной для народной нашей гордости новостию», — пишет «неподкупный» сатирик и сообщает затем, что ...английские лошади выиграли скачку у донских.

Афанасьев как бы отвечает на упреки за публикацию писем Пушкина: неизданный Пушкин «раскрывает вполне» свой «благородный и симпатичный характер», неизданный Воейков откровенно «расстегивает свою душу».

«Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Зачем нам, скажите, письма Александра Федоровича Воейкова? Право, мы могли бы обойтись и без них... Мы видим маску, но человека не видим».

Афанасьев объясняет смысл публикации: «Недоволен фельетонист и письмами Воейкова... В них-де Воейков маскируется. А я так прямо думаю, что он п о д л и ч а е т, а не маскируется. ...А напечатать его письма все-таки нужно: пора нам знать изнанку наших литературных деятелей. Я бы с удовольствием напечатал не только переписку Воейкова, но и самого Фаддея Булгарина: в письмах своих он разоблачил бы себя полнее всякого другого разоблачения! Хоть голого Фаддея Венедиктовича видеть и омерзительно, но кто же станет отрицать поучительный смысл подобной картины» (лл. 34—34 об.).

Письмо, которое заполучили «Библиографические записки», по-своему великолепно. Булгарин рассказывает о «гнусных подозрениях», которыми «оскорбляет» его семья Грибоедова. «Фамилия покойного друга» подозревает, что он извлекает пользу для себя из комедии «Горе от ума», оставленной автором в его распоряжении. Булгарин отказывается «от всякого ходатайства о пропуске комедии к печати», «по делу об оставшихся у меня деньгах и расчетах Грибоедова я уже должен был прибегать к посредничеству генерала А. Х. Бенкендорфа». Булгарин, как свидетельствует письмо, взял 1200 рублей из денег Грибоедова, чтобы напечатать его гравированный портрет, но «если Мария Сергеевна[9] хочет иметь эти деньги, то я портрет и доски брошу в Неву и отдам ей деньги: а тогда удовольствие, которое доставило напечатание портрета моего друга, будет мне стоить вместо 1650 рублей 2850 рублей...»

Письмо Булгарина в «Библиографических записках» оказалось своего рода некрологом в связи с кончиной Фаддея Венедиктовича.

А Пушкин оставался живым.

Номер, в котором помещено письмо Булгарина, завершается заметками о новом издании сочинений поэта. «Библиографическим запискам» еще предстояло познакомить читателей с письмами Пушкина, сведениями для его биографии, новыми поправками к его стихам.

Даже в последнем — вообще последнем — номере журнала (№ 20 за 1861 год) были напечатаны дополнения к статьям «О сочинениях А. С. Пушкина». Через несколько страниц шло объявление «От редакции»: «Редакция «Библиографических записок» еще раз приостанавливает свое периодическое издание на год или на два, смотря по обстоятельствам. О возобновлении «Библиографических записок», п р и б о л е е б л а г о п р и я т н ы х у с л о в и я х, на которые можно рассчитывать в виду имеющегося преобразования цензуры, всем, интересующимся нашим изданием, своевременно будет заявлено».

9.

Обратимся к цифрам.

В шестидесяти четырех номерах «Библиографических записок»[10] помещен пятьдесят один материал, так или иначе связанный с жизнью и творчеством Пушкина. Особенно богат первый год издания — двадцать четыре статьи, публикации или заметки!

В комментариях к Полному собранию сочинений отмечено шестьдесят шесть стихотворений Пушкина, которые либо целиком,

---

[9] Сестра А. С. Грибоедова.

[10] В 1858 году вышло двадцать четыре номера, в 1859 и 1861 году по двадцать номеров; в 1860 году журнал не выходил.

либо частично, либо в неизвестных прежде редакциях, либо, наконец, с новыми вариантами строк и слов впервые опубликовали «Библиографические записки». Если учесть все варианты, число таких стихотворений приблизится к сотне.

На страницах журнала читатели встретились с такими произведениями Пушкина, как «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...», «Есть роза дивная: она...», стихи, написанные Ек. Н. Ушаковой, — «Когда бывало в старину...» и «В отдалении от вас...»; здесь же опубликованы отрывки из запретных «Царя Никиты и сорока его дочерей», «Ты и я», впервые после гибели поэта перепечатано его знаменитое подражание латинскому — «На выздоровление Лукулла».

Тут, впрочем, следует сделать оговорку — «впервые в России», так как за два года до «воскрешения» в «Библиографических записках» стихотворение «На выздоровление Лукулла» было напечатано Герценом в «Полярной звезде».

(Интересно: почти треть стихотворений Пушкина, опубликованных, дополненных и поправленных в «Библиографических записках», встречаем в предшествующих или последующих заграничных изданиях Герцена и Огарева. В «Полярной звезде» на 1861 год были напечатаны дополнения к впервые появившимся в «Библиографических записках» отрывкам из «Путешествия в Арзрум» и «Истории Пугачевского бунта».)

«Библиографические записки» опубликовали так называемые «Заметки по русской истории XVIII века», страницы «Путешествия из Москвы в Петербург». Кроме писем к брату, в журнале увидели свет письма Пушкина к Н. В. Гоголю, В. А. Жуковскому, М. Л. Яковлеву, трагические письма к Бенкендорфу, связанные с «необдуманным» прошением об отставке.

Дополнения и поправки — «библиографические заметки», как скромно именовали их сотрудники журнала, — стоят порой целой публикации. Таковы указания на отсутствующие в предыдущих изданиях строки «Деревни», «Послания к цензору», «Андрея Шенье», «К морю».

«И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? их и так иные прочитали», —
эти строки из «Послания к цензору» также напечатаны впервые в «Библиографических записках». Многие «библиографические заметки» рассчитаны на то, что Пушкина «и так иные прочитали»; это свидетельство огромной популярности бесцензурных, ходивших в списках произведений Пушкина.

В статье об издании Анненкова говорится, например, что из «Андрея Шенье» «выпущены сорок три превосходных стиха». Далее публикуется всего пять строк, затем поставлено «и проч.».

«И проч.» — это, в частности, «Убийцу с палачами// Избрали мы в цари...». Такого нельзя опубликовать и через двадцать лет после смерти Пушкина. Но об этих строках можно напомнить читателям. Один восстановит их в памяти, другой узнает, откуда они, третий поищет у знакомых полный список стихотворения.

Иногда напоминание еще более бегло: «К 1821 году относятся еще следующие стихотворения Пушкина: 1) «Христос воскрес», 2) «Кинжал», 3) эпиграмма, оканчивающаяся словами:

Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить
И в самой подлости осанку благородства...»

Или: «К 1827 году относится послание Пушкина, начинающееся стихами:

...Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд...»

Порой даже не строка, не заголовок — лишь намек: «ода, встречающаяся очень часто в рукописных сборниках стихотворений Пушкина» (имеется в виду, конечно, ода «Вольность»).

Часто исправленная строка целиком не приводится, указаны только отдельные слова, исключенные в прежних изданиях. Например, в заметках к стихотворению «Из Пиндемонти» говорится, что в пятой строке пропущено слово «царям», в пятнадцатой — «для власти, для ливреи». И того довольно.

В статье о прозе публикуется отрывок из Кишиневского дневника: «9 апреля, утро провел я с Пестелем...» Дневниковые записи и заметки по рукам ходят меньше, чем ненапечатанные стихи Пушкина, читателю труднее их расшифровать. Автор статьи отсылает читателей (если так не догадаются) к другому журналу. После первых слов отрывка — «9 апреля, утро провел я с П-ъ...» — сноска: «Это то самое лицо, о смерти которого Пушкин сделал заметку под одним из своих стихотворений. См. «Русский вестник», 1856, № 11».

К заметке о встрече с Кюхельбекером, который обозначен К*, также дана сноска: «Автор драматической шутки «Шекспировы Духи», напечатанной в Спб., в 1825 году».

Подчас удается сказать очень мало. Но «Библиографические записки» не пренебрегают и малым. Важно хоть слегка приоткрыть

завесу, хоть предупредить читателя: «К NN. Это превосходное послание написано к Чаадаеву. Оно напечатано с такими переделками и сокращениями, что совершенно утратило первоначальный смысл, а местами и смысл вообще».

Афанасьев дает уроки Геннади, приступившему к изданию сочинений Пушкина. О том же послании к Чаадаеву он пишет: «К NN (Чаадаеву) есть список полный, да нельзя печатать, а в печати оно так изуродовано, что Пушкина и следа не осталось: должно быть, это стряпня Жуковского и Вяземского. Я советую в новом издании сказать это и напечатать это изуродованное детище в примечаниях, а не в тексте, где должен быть чистый Пушкин» (л. 25).

10.

Ученые давно разобрались в автографах поэта, обнаружили основные рукописные копии, по которым печатали в журналах и сборниках потаенного Пушкина. Теперь не секрет, что хранителями многих важнейших списков были литераторы, сотрудничавшие в «Библиографических записках».

Недаром Афанасьев многозначительно предупреждает Геннади: «Известите, как идет издание Пушкина. Мы получили прекрасные пополнения к изданию Анненкова... Мотайте себе на ус» (л. 32).

Установлено, что интересным рукописным архивом владел Евгений Иванович Якушкин. Богатство его собрания осторожно подтверждает Афанасьев в письмах к Геннади: «На запросы Ваши о стихах Пушкина некоторые ответы найдете в «Библиографических записках» <...>, на другие ответить я не сумею, а потому передам их Якушкину <...> Когда Вы будете в Москву? Напишите-ка <...> я бы свел Вас с Якушкиным и Вы прямо узнали б от него все нужное; у него же и все справки навести легко, потому что есть нужные для того альманахи и журналы» (л. 27 об.).

Есть указания на то, что и сам Афанасьев владел некоторыми автографами поэта. Еще в 1854 году он опубликовал в «Москвитянине» сокращенный текст письма Пушкина к Дельвигу, того самого письма, которое начинается стихами «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...». В Академическом собрании сочинений это письмо печатается по копии, хранящейся в архиве Анненкова. Между тем 24 октября 1903 года Е. И. Якушкин писал своему сыну Вячеславу Евгеньевичу, также известному пушкинисту: «По поводу стихотворения «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...» я вспомнил, что подлинник письма Пушкина к Дельвигу был в руках у Афанасьева и он напечатал это стихотворение в «Москвитянине» (сколько мне помнится)...»[11].

В «Библиографических записках» по понятным причинам далеко не всегда сообщалось, из каких источников стал известен редакции полный текст того или иного произведения Пушкина. В статье «По поводу последнего издания сочинений А. С. Пушкина» лишь говорится: «При составлении нашей статьи мы пользовались несколькими рукописными сборниками...»

Объясняя педантичному Геннади причины такой анонимности, Афанасьев набросал нечто вроде небольшой программы отношения редакции к рукописным источникам: «Не указаны нами рукописные сборники Пушкина по уважительным причинам; самая форма заметок, может быть, сухая, нарочно придумана, чтоб удобнее проехать разные неудобно-цензурные места, эпитеты и фразы, а с другой, чтоб не придрались почтеннейшие родственники поэта, которые, хотя сами и ничего не способны сделать для него, хотя даже многого и очень многого <из> его произведений не имеют, утратив их или не потрудившись их собрать, а все-таки везде и во всем видят злой умысел и посягательство на их права. Видеть нашего великого поэта изданным как следует и возможно полно, этого им не понять! Варианты слов и эпитетов мы указывали или такие, которые известны нам как положительно пушкинские, или такие, которые почему-либо замечательны; во всяком случае, помните одно, что не все должно приписывать искажениям переписчиков; очень многое есть результат собственных постоянных переделок Пушкина, который не так, как теперешние пииты, — любил-таки потрудиться над своими стихотворениями, и в вариантах надо видеть следы разновременных поправок, что ясно подтверждается и подлинными автографами поэта и разновременностью составления сборников его стихотворений... Посылаю Вам непроехавшее в ценсурные врата четверостишие Пушкина: Вы оцените его прелесть...» (лл. 24—24 об.).

11.

Пушкин в «Библиографических записках» — это не только публикации «непроехавших в ценсурные врата» произведений.

---

[11] ЦГАЛИ, ф. 586, оп. 1, ед. хр. 66, лл. 7—8.

Афанасьев хлопочет и о библиографических сводках, списках, указателях. Журнал как мог подготавливал почву для появления настоящего полного собрания сочинений поэта, для создания Пушкинианы.

«Не худо бы составить также список напечатанным письмам Пушкина (т. е. к кому писаны, когда, откуда и где помещены) и список критических статей на различные его сочинения с самого появления их, — пишет Афанасьев к Геннади. — Я вовсе не думаю приписывать всем этим статьям большое литературное значение, знаю, что из множества таких рецензий не научишься пониманию искусства и даже ровно ничему не научишься, но для меня они интересны с другой стороны, как живые указания на литературные нравы различных эпох; в приемах старых критиков, в их брани и спорах, для меня прежде всего и больше всего любопытны сами люди [12]... Если подобные списки писем Пушкина и критических статей на его сочинения приложить к новому изданию поэта, это было бы куда как хорошо, а Вам ото всех большое спасибо. А еще лучше б, если б новые издатели попытались внести в свое издание отдел писем Пушкина, т. е. перепечатали бы те, которые уже были обнародованы. Ведь это необходимейшее дополнение к полному собранию сочинений известного автора» (лл. 26—27).

Все эти пожелания Афанасьева были выполнены. В «Библиографических записках» появились составленные Геннади аннотированные указатели «Что писано о Пушкине», «Переводы сочинений Пушкина» и подготовленный Ефремовым «Список опубликованных в различных журналах писем Пушкина».

Когда окидываешь взглядом Пушкиниану, открывающуюся на скромных полосах «Библиографических записок», невольно проникаешься уверенностью, что Пушкин был едва ли не первым из тех русских писателей, ради кого затевался сам журнал. «Польза «Библиографических записок» слишком очевидна, — писал Афанасьев, — а о барышах никто из нас не думает... Свой труд приносим мы бескорыстно русской науке в чаянии, что будет же время, когда сумеют оценить это по достоинству» (л. 20 об.).

[12] В одном из номеров «Библиографических записок» Афанасьев опубликовал «Образцы литературной полемики прошлого столетия» — отрывки из рукописей, содержащих стихотворные нападки друг на друга видных писателей XVIII века: Ломоносова, Тредиаковского и других.




Анна Ахматова.

Анна Ахматова

Пушкин и Невское взморье

Пушкин занимает особое место в поэтическом мире Анны Ахматовой. Читателям известны ее стихи, посвященные великому поэту или связанные с его произведениями. Внимание Ахматовой привлекали и научные проблемы творчества Пушкина. В 30-х годах она исследовала «Сказку о золотом петушке», обнаружила в ряде произведений Пушкина отклики на роман Бенжамена Констана «Адольф». В 40-х годах ею была написана статья о «Каменном госте», в которой исследовательская точность сочетается с интуицией поэта. Эти работы напечатаны в специальных изданиях и давно вошли в историко-литературную науку. «Пушкин и Невское взморье» одна из последних статей Ахматовой о Пушкине. Неровность стиля и невыверенность научного аппарата свидетельствуют о ее незавершенности. Но и в таком виде статья дает новый поворот для толкования загадочного отрывка Пушкина «Когда порой воспоминанье».

Б. В. Томашевский, впервые давший в начале двадцатых годов связный текст этого стихотворения, указывал на его политическую окраску: «Оно не разгадывается до конца, и все-таки оно красноречиво, едва ли не так же красноречиво, как известная строка «И я бы мог, как шут» над рисунком пяти повешенных» (См. в его книге «Пушкин», т. II. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 264). Томашевский предположил, что в стихотворении описаны Соловецкие острова. Он указывал на сходство пейзажа «Отрывка» с природой этого северного края, на обострившееся политическое положение Пушкина в 1830 году и на давнишние угрозы Александра I (в 1820 г.) заточить поэта в Соловецкий монастырь. К образу Соловков Пушкина привела сложная психологическая ассоциация. С тех пор догадка Томашевского не подвергалась сомнению в печати и принята во всех комментариях к стихотворению «Когда порой воспоминанье». Ахматова впервые рассматривает его в другой психологической связи. Ее гипотеза о Невском взморье заставляет нас еще раз проверить общепринятое толкование.

Как описывали современники Пушкина Соловецкие острова?

Архимандрит Досифей в книге, вышедшей в 1836 году (цензурное разрешение 1833 г.), писал, что «первый сградитель» Соловецкого монастыря «воспользовался... всеми выгодами местоположения, сколько красивого, столько же и удобного к продовольствию». Составитель книги говорит также о «занимательном возвышении и понижении монастырских зданий, воздвигнутых на неровной зеленеющейся поверхности». Речь идет здесь не только об искусстве строителей. «Весьма заметно, — подчеркивает Досифей, — что рука художника следовала не предначертанию архитектуры, но самой природе, везде являющейся произвольно действующей, и таким образом составила картину привлекательную». Благодаря монастырскому зданию Соловецкий остров представляется г о р о д о м, а «от моря до самых стен обители почти на две версты во внутренность материка простирается морская гавань или залив, загражденный с моря л у д а м и или маленькими островками» (Д о с и ф е й, Географическое, историческое и статистическое описание Соловецкого монастыря. Ч. 1. М., 1836, стр. 6 и 8).



Нева, вид на Стрелку Васильевского острова. Гравюра В. В. Матэ с картины работы Петерсена.

В повести Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин» (1834 г.) Соловецкий остров описан в диалоге архангельского моряка с крестьянским парнем:

«— Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложены стены монастырские! Вышины — взглянь, так шапка долой; толщины — десять колесниц рядом проскачут; и кажный камень больше избы...

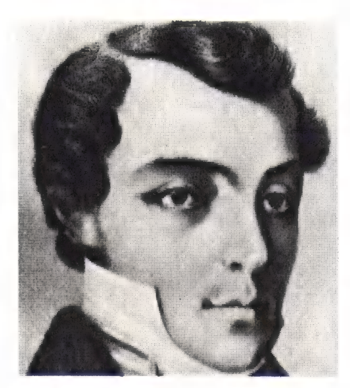
— Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков?

— В том-то и диво, что не утес. Берег как Двинский: песок, где-где с подводными валунами. А птицы-то, птицы что там!.. Гусей, лебедей, словно пены...» Последняя примета, может быть, и находит соответствие в пушкинской строке «Приют пустынный птиц морских», но о «бесчисленном множестве дичи» говорит и Башуцкий в «Панораме С. Петербурга» 1834 года.

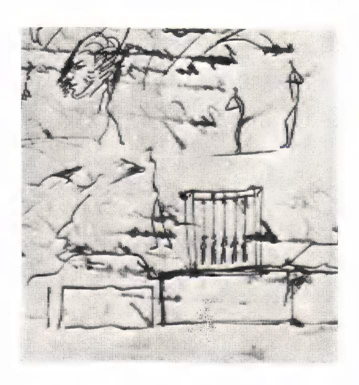
Все это нимало не похоже на абсолютно пустынный, лишенный строений пейзаж «Отрывка» Пушкина.

Находятся также новые данные о месте погребения казненных декабристов. В специальной литературе не учтен один печатный источник (указан мне Н. И. Харджиевым). Это воспоминания Льва Жемчужникова. Написаны они, правда, в девяностых годах, но в них говорится о событиях конца сороковых — времени еще близкого и к казни декабристов, и к жизни Пушкина. Мемуарист рассказывает о своих прогулках по Васильевскому острову с художниками П. Федотовым и А. Бейдеманом: «Вдали виднелось Смоленское кладбище в виде леса, за кладбищем был известный нам курганчик над телами казненных декабристов». В сноске автор добавляет: «На острове Голодае. На этом острове закапывалась павшая скотина. Теперь нет и признаков этого возвышения» (Л. Жемчужников, Мои воспоминания из прошлого. Вып. 1. М., 1926, стр. 133). Последняя деталь подчеркивает пустынность и заброшенность этого гиблого места.

Следует еще указать на разительное сходство четырех строк «Отрывка» с описанием «малого острова» в «Медном всаднике»:


К. Ф. Рылеев.


П. И. Пестель. Портрет работы неизвестного художника. Масло.


Виселица с пятью повешенными декабристами. Рисунок А. С. Пушкина.

Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.

«Когда порой воспоминанье»

Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит.

«Медный всадник»

Приведенные данные могут служить дополнительной аргументацией в пользу гипотезы Ахматовой о Пушкине и Невском взморье.

Статья печатается по авторизованной машинописи (Рукописный отдел Гос. Публич. Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, фонд А. А. Ахматовой) с привлечением чернового автографа, хранящегося в ЦГАЛИ (фонд А. А. Ахматовой). Цитаты и библиографические ссылки заново проверены, дополнены и даны по новейшим изданиям.

Предисловие, подготовка текста и примечания Э. Г. Герштейн

●

В титовской повести[1] «Уединенный домик на Васильевском» (1829) поражает подробность описания северной оконечности Васильевского острова.

«Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива *. По мере приближения к этой оконечности каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий противоположные берега Петровского острова, — все погребено в седые сугробы, как будто в могилу».

Для южной стороны Васильевского ост-

* То есть **остров Голодай. Остров Голодай** получил свое название не от слова «голод», а от английского слова holiday (праздник, каникулы), потому что английские купцы ездили туда по воскресеньям.

Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров.

(Примечания, помеченные звездочкой, принадлежат А. А. Ахматовой.)





П. Г. Каховский.



М. П. Бестужев-Рюмин.



С. И. Муравьев-Апостол.

рова, которую он ежедневно видит, автор не находит, однако, ни одного живого слова, а над северной, где вообще никогда никто не бывает, он почти плачет, угнетенный мрачным летним пейзажем, и представляет себе еще более унылый — зимний, сравнивая его с могилой. Мы узнаем, что́ — направо, что́ — налево, ощущаем под ногой топкость почвы. Все это увидено не из окна кареты и даже не с дрожек. Автор так занят северной оконечностью Васильевского острова, что даже моря не замечает. Петербург для него вовсе не существует. От звона часов на Думе вздрагиваешь как от неожиданности, потому что нет ни Невского, ни Гостиного двора, ни дворцов, ни набережных. К сюжету описание острова Голодая не имеет ровно никакого отношения, и ничто другое так подробно в повести не описано.

Б. В. Томашевский в книге «Пушкинский Петербург» сближает это место в повести с описанием Невского взморья в «Медном всаднике» [2].

Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхой. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.

(V, 149)

Сюда же, по нашему твердому убеждению, следует отнести и несколько загадочный отрывок 1830 года «Когда порой воспоминанье...».

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине,
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне;
Когда, людей повсюду видя,
В пустыню скрыться я хочу,
Их слабый глас возненавидя, —
Тогда забывшись я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
На пожелтелый мрамор плещет,
И лавр и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы.

Стремлюсь привычною мечтою *

---

* «Привычною мечтою» указывает на то, что эта картина постоянно восставала перед Пушкиным.



Ящичек с пятью щепками из Петропавловской крепости.

К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок.

. . . . . (III, 243—244 и 849—854)

В этом отрывке таинственно решительно все: и необычная для Пушкина порывистая обнаженная нетерпимость страдания (такой стон не характерен для зрелой пушкинской лирики, и его можно сравнить только с «Воспоминанием» 1828 года), и готовность в честь чего-то пожертвовать заветнейшей и любимейшей мечтой жизни — Италией, верней, мечтой об Италии, и подробность описания забытого богом и людьми уголка убогой северной природы, и все это в трагических тонах, а не в порядке реалистической полноты жизни (как в «Путешествии Онегина»):

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор...
. . . .
Фламандской школы пестрый сор!

(VI, 200, 201)

Следует сравнить отрывок «Когда порой воспоминанье...» с первой главой «Онегина», где происходит нечто диаметрально противоположное. Можно даже предположить, что автор имел в виду воспользоваться опрокинутой композицией. Там Пушкин отрекается от Петербурга, белых ночей и т. п. в честь Италии:

Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!

(VI, 25)

К описанию Невы и белой ночи Пушкин берет как примечание большой кусок из «Рыбаков» Гнедича, где фигурируют «невские тундры» («...повеяла свежесть на невские тундры...»). Это же слово повторяется в отрывке 1830 года («Увядшей тундрою покрыт...»).

Петербург для Пушкина всегда — север *. Когда он сочиняет стихи, то всегда

* См., например, о петербургских дамах: «О жены Севера».

как бы находится на каком-то отдаленном юге. Тем более «Отрывок» написан в Болдине (октябрь 1830 г.).

Что же произошло между первой главой «Онегина» (1823), где поэт так изящно готов променять Петербург на Италию, и трагическим порывом (1830), заставляющим его отказаться от этой заветной мечты?

И теперь нам точно неизвестно место погребения пяти казненных декабристов. Считается, что вдова Рылеева точно знала место могилы. Это остров Голодай, т. е. северная оконечность Васильевского острова, отрезанная от всего массива острова узкой речкой Смоленкой. В николаевское царствование приходилось питаться более или менее достоверными слухами, которые неизбежно должны были возникнуть сразу после казни. Мысли о декабристах, то есть об их судьбе и об их конце, неотступно преследовали Пушкина. Из его стихов следует, как он думал о тех из них, кто остался жив (см. переписку Пушкина, «Послание»: «И в мрачных пропастях земли!») [3]. Теперь более подробно рассмотрим вопрос о его отношении к тем, кто погиб.

Первое упоминание находится в 6-й главе «Онегина», немедленно после того как Пушкин узнал об этом трагическом событии (т. е. 26 июля 1826 г.). 6-я глава окончена 10 августа 1826 года. Там имя Рылеева стоит рядом с именами Кутузова и Нельсона. Ленский мог быть «повешен как Рылеев». Затем следуют рисунки виселиц — на черновиках «Полтавы» 1828 года [4] и в книжке «Айвенго» Вальтер Скотта, подаренной Пушкиным в имении у Полторацких Ал. Ал. Раменскому (вместе с цитатой из Десятой главы «Онегина») 8 марта 1829 года [5]. Словами «Иных уж нет, а те далече», — кончается «Онегин» (1830). Пушкину не надо было их вспоминать: он просто их не забывал, ни живых, ни мертвых.

Я не допускаю мысли, чтоб место их погребения было для него безразлично.

Из воспоминаний И. П. Липранди мы знаем, как Пушкин разыскивал могилу Мазепы и расспрашивал о ней 135-летнего казака Искру, который «не мог указать ему желаемую могилу или место»... Пушкин «не отставал... спрашивал, нет ли еще таких же стариков, как он» [6]. А из текста «Полтавы» мы знаем, как он жалеет, что не нашел ее («И тщетно там пришлец унылый Искал бы гетманской могилы»). <Пушкин> говорит о могиле Наполеона на острове Св. Елены и о могиле Кутузова в Казанском соборе. Что же касается могил казненных Кочубея и Искры, то по этому поводу придется еще раз вспомнить, что Пушкин систематически ставил Николаю I в пример его великого прадеда Петра I. Каждый читатель может с легкостью вспомнить: «Во всем будь пращуру подобен» («Стансы», 1826). И вот что мы читаем в пушкинском примечании к «Полтаве»: «Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись:

. . . .

«Року 1708, месяца июля 15 дня, посечены средь обозу войскового, за Белою Церковию на Борщаговце и Ковшевом, благородный Василий Кочубей, судия генеральный; Иоанн Искра, полковник полтавский. Привезены же тела их июля 17 в Киев и того ж дня в обители святой Печерской на сем месте погребены» (V, 67).

Этим Пушкин несомненно горько попрекает Николая I, который не только не вернул родным тела казненных декабристов, но велел закопать их на каком-то пустыре.

А там, то есть в «Полтаве»:

Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил:
Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила *.
(V, 64)

И это в «Полтаве», черновики которой испещрены рисунками повешенных. Пушкин нарочно приводит точные данные, когда тела были возвращены родным, чтобы еще раз напомнить царю, как в подобных случаях принято поступать: «Их мирно **церковь** приютила». И не только церковь как таковая, а центр православия и величайшая святыня России, чтобы поклониться которой сотни тысяч людей ежегодно проходили не одну сотню верст. Напоминаю, что Пушкин говорит о телах только что казненных государственных преступников [7].

И это пишет поэт, который через два года и, кстати сказать, просто рядом с отрывком «Когда порой воспоминанье...» утвердит культ могил в словах величавых

---

* Не забывает Пушкин и о дубах, «друзьями насажденных»:

Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят (V, 64).

Это Пушкин напоминает «нынешним» Кочубеям, что им не мешало бы гордиться так страшно погибшим предком.

и, как всегда у этого автора, не подлежащих отмене:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу *:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как   пустыня
И как алтарь без божества.
(1830; III, 242)

Н. В. Измайлов [8], отмечая отношение Пушкина к кладбищам, говорит только о родовых приусадебных могилах (тут можно еще прибавить «Дорожные жалобы»: «Не в наследственной берлоге, Не средь отческих могил...») [9]. Это, конечно, правильно. Но когда Татьяна говорит, что готова отдать все

за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей... ** (VI, 188)

а Дуня приезжает на могилу станционного смотрителя, а Марья Ивановна перед отъездом из крепости идет проститься с могилами родителей, похороненных у церкви (жертв Пугачева?!) — это уже не родовые могилы. Здесь Пушкин щедро отдает свои сокровеннейшие чувства и мысли своим избранницам.

Пушкин полностью разделяет высокое верование античности (см. Софокл, «Эдип в Колоне») о том, что могила праведника — сокровище страны и благословение богов [10].

Из того же загадочного отрывка «Когда порой воспоминанье...» мы узнаем, что Пушкин бежит от разговоров, связанных с чем-то очень ему дорогим, о чем люди говорят недолжным образом. Что это не что-то личное, показывает слово «свет» ***, то есть общество, потому что в свете личные дела в присутствии участника этих дел не обсуждались. Поэт готов бежать, но не куда глаза глядят и даже не в свою обожаемую Италию, а на какой-то покрытый тундрой северный островок, точь-в-точь похожий на тот, где он закопает «ради бога» через три года своего Евгения Езерского.

В дошедших до нас строфах десятой главы «Евгения Онегина» идет речь о декабристских делах — даны характеристики участников движения.

Органичны для «Онегина» переходы, переключения из плана в план: ирония сопровождает Ленского почти до последнего часа его жизни, но Пушкин с невероятной силой и скорбью оплакивает его и возвращается к этому в 7-й главе. В не вошедшей в 6-ю главу (1826) строфе он представляет его как возможного участника восстания на Сенатской площади: «Иль быть повешен, как Рылеев» (VI, 612). И можно быть уверенными, что и их могилы не остались там забытыми.

В своих мемуарах барон Розен пишет, как он ездил по взморью, чтобы найти могилы пяти казненных друзей [11]. Скорбный интерес, который проявляет к этому месту Пушкин, трижды описывая его («Домик», 1828, отрывок «Когда порой воспоминанье...», 1830 и «Медный всадник»), позволяет нам предположить, что и он искал безымянную могилу на Невском взморье.

Что перемаранный черновик может оказаться строфой «Онегина», мы знаем по тому случаю, когда «Женись. — На ком?..» считалось отдельным стихотворением, пока Т. Г. Цявловская (Зенгер) не догадалась, что это строфа из «Онегина» [12]. Такой же строфой, уже почти готовой, являются и следующие строки «Отрывка»:

Стремлюсь привычною мечтою (ж.)
К студеным северным волнам. (м.)
Меж белоглавой их толпою (ж.)
Открытый остров вижу там. (м.)
Печальный остров — берег дикой (ж.)
Усеян зимнею брусникой, (ж.)
Увядшей тундрою покрыт (м.)
И хладной пеною подмыт. (м.)

Надеюсь, спорить, что этот фрагмент написан по всем правилам онегинской строфы, никто не станет. В последнем четверостишии вместо онегинской охватной рифмы (авва) имеем опять перекрестную (авав).

---

* См. в черновике: «Находит сердце тайну пищу» (III, 847).

** Она, Татьяна, как раз вспоминает не родовую могилу отца («Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир»), а смиренный крест няни. Может быть, сам автор вздохнул о своей Арине Родионовне, которую похоронили на Охтенском кладбище, как кухарку в «Домике в Коломне» («и гроб на Охту отвезли»). См. также таинственную запись 1829 года: «Я посетил твою могилу — но там тесно; les morts m'en distraient...» (мертвые развлекают мое внимание...) <см. Prologue, III, 477>.

*** См. черновики, где слово «свет» написано три раза. Какие разговоры о декабристах можно было услышать в свете, мы знаем хотя бы по «бессмертному» высказыванию царицы лучшего петербургского салона гр. Нессельроде: «Какое несчастье иметь такого человека в своей семье».

Но ведь это перечерченный черновик, и что Пушкин сделал из него потом, мы не знаем. Вначале отрывок просто совсем не обработан и в него к тому же вставлено готовое стихотворение 1827 года («Кто знает край...»).

Над виселицами на черновиках «Полтавы» Пушкин пишет: «И я бы мог как шут», а в стихах к Ушаковой — «Вы ж вздохнете ль обо мне, если буду я повешен?» (1827; III, 56) *, как бы присоединяя себя к жертвам 14 декабря. А безымянная могила на Невском взморье должна была казаться ему почти его собственной могилой: туда «погода волновая заносит утлый мой челнок» [13].

23 января 1963 г.
Москва



* А через два года Полторацкой:

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен (III, 150).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Уединенный домик на Васильевском» перепечатан в виде «Приложения» в третьем издании десятитомного Полного собрания сочинений А. С. Пушкина (М., «Наука», 1965, т. IX). Это запись устного рассказа Пушкина, сделанная его знакомым В. П. Титовым. Впервые была напечатана с подписью «Тит Космократов» в альманахе «Северные цветы» за 1829 год. Ахматова дала этой повести новое толкование. — См.: «Неизданные заметки Анны Ахматовой о Пушкине» («Вопросы литературы», 1970, № 1, стр. 195—206).

[2] В статье «Петербург в творчестве Пушкина» («Пушкинский Петербург». Л., 1949, стр. 27). Б. В. Томашевский сближает приведенный Ахматовой пейзаж из «Уединенного домика на Васильевском» с «топографией того домика, в котором жила Параша из «Медного всадника», а не места, где был похоронен Евгений.

[3] Автор имеет в виду два стихотворения 1827 года: «Во глубине сибирских руд» и «19 октября 1827», откуда и приведена последняя строка.

[4] Последовательность появления записей и рисунков Пушкина прослежена Ахматовой не совсем точно: известие о казни дошло до Пушкина 24 июля 1826 года, 6-ю главу «Онегина» поэт дописывал еще в 1827 году, первые два рисунка виселицы были сделаны в ноябре 1826-го, а затем повторены в 1828 г. в черновиках «Полтавы».

[5] См.: Т. Г. Цявловская, «Новые автографы Пушкина на русском издании «Айвенго» Вальтера Скотта». Временник Пушкинской комиссии. 1963. М. — Л., «Наука», 1966, стр. 7.

[6] «Русский архив», 1866, стб. 1464.

[7] В черновых бумагах Ахматовой сохранилось несколько набросков изложения рассказа Н. О. Лернера («Каторга и ссылка», 1931, № 6, стр. 179—181), которым она предполагала дополнить данную заметку. Приводим важнейшие. «В подмосковной Вяземского Остафьеве сохранился небольшой черный ящичек, который П. А. Вяземский берег всю свою жизнь. Он был запечатан его печатью и снабжен ярлыком, на котором рукою Вяземского было написано: «Праздник Преполовения за Невою». Прогулка с Пушкиным 1828 года». В этом ящике оказалось только пять щепочек. 18 апреля, то есть в тот же день, в письме к жене Вяземский отчасти открывает загадку черного ящика. Там описана прогулка друзей по Петропавловской крепости... «Много странного и мрачно- и грозно-поэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах». Далее автор говорит, что письмо обращает легенду, связывающую щепочки с памятью пяти повешенных декабристов, в правдивую историю. Ясно, что щепочки были вынесены из крепости.

В другой черновой записи (в блокноте, хранящемся в ЦГАЛИ) Ахматова прямо называет целью этой поездки поиски места казни. «Это место Пушкин в 1836 году показывал Дуровой, когда вез ее к себе на дачу».

[8] См.: Н. В. Измайлов, «Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов». В кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. II. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 38.

[9] В третьем (неполном) машинописном экземпляре заметки «Пушкин и Невское взморье» после этих слов автором поставлен знак сноски, а на обороте предыдущего листа (6-го) сделана собственноручная запись карандашом, возможно, относящаяся к этому месту: «В том же 1828 году написана баллада «Утопленник». Надо думать, что так страшно наказанный отказ мужика дать могилу и крест погибшему в волнах человеку тоже не случайность в творчестве Пушкина. Пусть подзаголовок «Простонародная сказка» не вводит нас в заблуждение. И из сокровищницы народного творчества поэт берет только то, что ему близко и нужно».

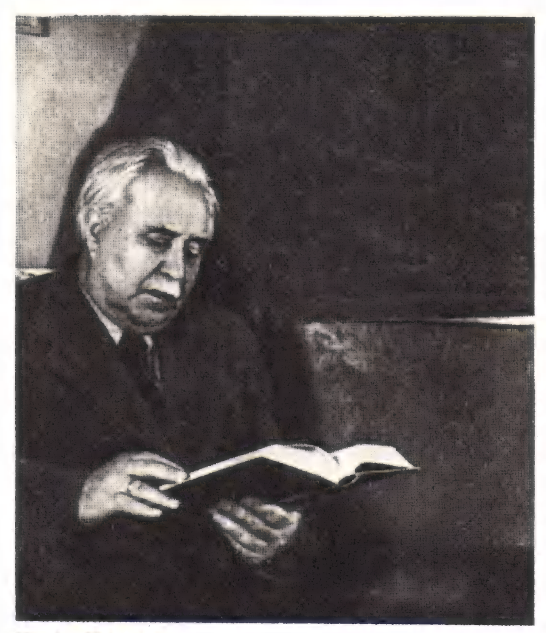
[10] В авторизованных машинописных экземплярах осталась неисправленной опечатка: «великое верование». Исправляем на «высокое...» по черновому автографу (ЦГАЛИ).

[11] Это указание ошибочно.

[12] «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». М. — Л., 1941, стр. 38.

[13] На обороте 4-го листа 1-го машинописн. экз. (ГПБ) имеется собственноручная запись Ахматовой о черновом варианте третьей строки «Отрывка»:

«Стих (в черн.): **И злое мрачное мечтанье**
мог бы служить подписью под рисунком виселиц».



И. А. Новиков.

Тот не знаком тебе, мы знаем почему—
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.
Барков шутливых од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали—
Что нужды? их и так иные прочитали.
Но ты свое несешь, и в наш премудрый век
Едва ли Шаликов не вредный человек.
Зачем себя и нас терзаешь без причины?
Скажи, читал ли ты „Наказ" Екатерины?
Прочти, пойми его, увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной,
Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два равные лица.
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачил кумиры;
Хемницер истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала—
И никому из них цензура не мешала.
Ты что-то хмуришься? Признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они.
Кто ж в этом виноват? Перед тобой зерцало—
Дней Александровых прекрасное начало.
Проведай, что в те дни произвела печать.
На поприще ума нельзя нам отступать.
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать,

Пометы И. А. Новикова на полях стихотворения А. С. Пушкина «Послание цензору».



Иван Новиков

За чтением Пушкина

(Публикация Марины Новиковой-Принц)

Иван Алексеевич Новиков — старейший советский писатель (1877—1959) — начал свою литературную деятельность в 1901 году.

Ко времени Октябрьской революции он был автором трех романов, многих повестей, рассказов, пьес, стихотворений и публицистических статей.

Послереволюционное творчество Новикова обогащается современной тематикой. В повести «Товарищ из Тулы» изображены острые эпизоды гражданской войны. Увлекает писателя и героическое прошлое России. В 1931 году выходит его книга, посвященная событиям 1905 года, «Город. Море. Деревня». Повесть «Феодосия», вошедшая в этот сборник — о восстании на броненосце «Потемкин», — первое произведение Новикова, написанное на основе подлинных исторических документов.

«Этот понятный интерес к ближайшему этапу широкого революционного движения органически вызвал, в свою очередь, — отмечает писатель, — пристальное внимание и к еще более глубоким истокам первого пробуждения революционного движения в старой России: эпоха декабристов, неразрывно связанная с именем Пушкина, и образ великого нашего поэта, преследуемого царским самодержавием, естественно, стал в центре моего творческого внимания» [1].

После своей первой поездки в Михайловское в 1924 году (когда нашей общественностью отмечалось столетие со дня прибытия Пушкина в ссылку) Новиков стал размышлять на тему о художественном вопло-

[1] И. Новиков, Жизнь писателя. «Орловский альманах», 1952, № 4, стр. 121.

щении образа поэта. В результате двенадцатилетнего упорного труда в 1936 году вышел роман «Пушкин в Михайловском», а в 1944-м — «Пушкин на юге». Позднее оба романа были объединены автором в книгу «Пушкин в изгнании» (1-е издание в 1947 г.). Она переиздавалась много раз и была переведена на украинский, эстонский, чешский, болгарский, польский и немецкий языки.

Изучение биографии поэта вдохновило Новикова на другие художественные произведения и литературоведческие статьи о Пушкине. «Пушкин не покидал меня во всех стадиях существования. Он был моим спутником», — говорил писатель, горячо любивший великого поэта с детских лет [2].

За период с 1936 по 1956 год Новиков написал и опубликовал: книгу «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» (Детгиз; три издания), очерк «Жизнь Пушкина», драматические сцены «Пушкин на юге», киноpьесу «Молодой Пушкин», рассказы о Пушкине и цикл стихов, а также ряд статей и исследование «Пушкин и «Слово о полку Игореве».

Отрывки из задуманной и незавершенной автором третьей части романа «Пушкин в Москве» были опубликованы посмертно и вошли в собрание его сочинений [3].

В 1951 году Иван Алексеевич уже мечтает о новой работе. Поздними вечерами открывает он томик пушкинской лирики и, читая стихи, делает пометки на полях. Утром ночные раздумья «за чтением Пушкина» выливаются в небольшие исследования. Новиков успел сделать заметки к четырнадцати стихотворениям Пушкина. Последние страницы, над которыми работал писатель, датированы 27 июля 1956 года. Приводим некоторые из них.

●

В этих заметках мы не будем касаться никаких чисто исследовательских сведений, обычных для «примечаний» к произведениям Пушкина. Все наше внимание будет сосредоточено на смысловой и поэтической выразительности, характерной для великого поэта.

Материалом для заметок, не претендующих на то, чтобы быть исчерпывающими, являются читательские впечатления на полях книг стихотворений Пушкина.

Таким образом, мы хотим поделиться нашими наблюдениями над произведениями Пушкина, а с другой стороны, как бы приглашаем читателя к внимательному чтению родной классической литературы.



1.
К другу стихотворцу
(1814 г.)

Пушкину еще не исполнилось и пятнадцати лет, когда он написал это стихотворение. По форме оно напоминает послания дяди Пушкина Василия Львовича; кое-где есть заметное влияние и в высказываниях Пушкина о Державине и Ломоносове, но в основном оно совершенно самостоятельно и, как увидим, открывает нам глубоко серьезное отношение к поэзии лицеиста Пушкина.

Обращаясь к другу стихотворцу, Пушкин говорит:

Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса.

О чем говорит эта строчка? Она говорит о больших трудностях поэтического творчества, которое не сразу поддается усилиям поэта. Пегаса надо **оседлать**, а это не такая простая вещь, ибо Пегас **упрям.**

Подтверждением этого отношения Пушкина к литературному труду является вся его последующая деятельность. Он мог иногда произнести блестящий экспромт, но достаточно взглянуть на черновики его произведений, чтобы убедиться в правильности его отроческого наблюдения над упрямством мифического Пегаса.

Строка:

В холодных песенках любовью не пылай —

говорит уже о другом — не о мастерстве стиха, а о содержании поэтического творения. Она гласит о том, что не следует писать стихи без истинного чувства, заменяя его лишь показным. Заметим, как четко отточена эта критическая фраза: песенки названы **холодными**, а лю-

---

[2] Беседа И. А. Новикова об историческом романе. И. Новиков, Собрание сочинений, т. 1. М., Гослитиздат, 1966, стр. 484.

[3] Собрание сочинений, т. 2, М., Госполитиздат, 1967.

бовь в них будто бы **пылает**. Таким образом один этот иронически заостренный совет уже говорит о том, что эта «любовь» никак не может быть истинной горячей любовью.

Здесь мы видим уже и внутренний мир поэта, не признающего никакой фальши в выражении искренних чувств; здесь в поэте мы видим Пушкина-человека.

Утверждение Пушкина:

Потомков поздних дань поэтам
справедлива —

как это ни неожиданно — напоминает уже одну из основных тем будущего пушкинского «Памятника»: потомки воздадут **должное** памяти поэта.

Мы увидим и далее, как взрослый Пушкин будет развивать мысли, высказанные им еще в юности. Это указывает на глубокую органичность мыслей и на их внутренний рост в духовном мире поэта.

Интересно, что и отдельные образы, высказанные юношей Пушкиным, также встречаются и у взрослого поэта.

В. Л. Пушкин. Гравюра С. Ф. Галактионова.



На Пинде лавры есть, но есть там и
крапива.
Страшись бесславия! — Что, если Аполлон,
Услышав, что и ты полез на Геликон,
С презреньем покачав кудрявой головою,
Твой гений наградит — спасительной
лозою?

Так в интересующем нас сейчас стихотворении он грозит «крапивой», называя ее еще и «спасительной лозою» бесславному другу, а через пятнадцать лет (1829 г.) пишет в эпиграмме:

Мальчишка Фебу гимн поднес.
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему, вопрос?» —
«Пятнадцать». — «Только-то? Эй, розгу!»
(III. 187)

Пушкин, несомненно, вспомнил отмеченное нами место в послании «К другу стихотворцу», ибо он точно называет возраст «мальчишки», сочинявшего стихи, — «лицейский возраст» тогдашнего Пушкина и его товарищей. Отсюда, кстати сказать, мы можем точно заключить, что это не просто совет любому начинающему стихотворцу, лишенному поэтического дарования, а кому-либо из круга его товарищей по лицею: скорее всего, конечно, Кюхельбекеру. Это подтверждается и следующими двумя строками:

Страшися участи бессмысленных певцов,
Нас убивающих громадою стихов!

Далее указывают, что и дядя Пушкина поминал в стихах Ломоносова и Державина. Но если В. Л. Пушкин говорит о Державине, имея в виду императрицу Екатерину:

Бессмертную в стихах бессмертных он
воспел, —

то у его племянника нечто совсем иное. Он воздает славу Дмитриеву, Державину, Ломоносову — за то, что они:

Питают здравый ум и вместе **учат нас.**

Таким образом, мы видим, что у Василия Львовича поэты «бессмертными» стихами воспевают «бессмертную» императрицу, а у Александра Сергеевича поэты пишут для простых «смертных»: они **учат** их и питают «здравый ум» своих читателей. Весьма любопытно, что здесь Пушкин говорит о высоком значении поэзии, не только

как выразительницы чувств, но и как о воспитывающем начале в области сознания, ума.

В этом чрезвычайно значительном для юноши Пушкина стихотворении есть еще и другие высказывания — не столько о внутреннем мире поэта, сколько, и притом очень определенно, о **судьбе** поэта в современном ему обществе. Строчки эти столь выразительны сами по себе и каждая из них так подкрепляет и обогащает одна другую, что это место из послания не следует рассматривать, приводя отдельные строки-афоризмы, а надлежит выписать целиком. Пушкин спрашивает у поэта, не думает ли он, что к нему «рекой уже текут» «несметные богатства»,

Что ты уже берешь на откуп государства,
В железных сундуках червонцы хоронишь
И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь
журналы... (I, 26)

Обратим прежде всего внимание на образ червонцев в железных сундуках, которые поэт может «хоронить», то есть прятать. Нельзя не вспомнить при этом «Скупого рыцаря»:

Счастливый день! Могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
(VII, 110)

Параллель между сундуками с червонцами в послании «К другу стихотворцу» и в «Скупом рыцаре» подчеркивается и еще одной деталью. В стихотворении второй раз говоря о «сундуках», Пушкин говорит, что они «чистым золотом **набиты**», а в «Скупом рыцаре» мы читаем, что еще неполон шестой сундук, следовательно, остальные пять сундуков полностью **набиты**.

До какой степени память Пушкина сохранила начальный образ, возникший в нем еще в юности.

Очень своеобразны и для того времени неожиданны размышления Пушкина о судьбе писателей, которых **питают** «лишь журналы». В ту пору мало кто думал о возможности жить на писательский гонорар, и вообще это считалось даже мало приличным. Пушкин же не раз в письмах говорил о продаже своих произведений как о единственной возможности существовать и дал этой своей мысли стихотворное выражение в виде афористически сжатого высказывания книгопродавца в известном его «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824 г.):

Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать (II, 330).

Юноша Пушкин еще был далек от того, чтобы создать эту точную формулу, но он уже предчувствовал и материальные тернии писательского пути. Он приводит в пример нищету таких писателей, как Руссо, Камоэнс, наш Костров. Картина эта и собственные перспективы так невеселы, что он законно вкладывает в уста своего собеседника вопрос о том, почему же он сам пишет стихи:

Что сделалось с тобой? В уме ли ты,
иль нет?

И. И. Пущин. Акварель работы Д. М. Соболевского, 1825 г. (фрагмент).



Все мы помним изумительно милый юмор, которым согрет шутливый ответ Пушкина. Он приравнял себя к пожилому священнику, сильно подвыпившему, в то время как в церкви он проповедовал трезвость. Его ответ гласил:

Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне — не подражайте.

Но что скрыто за этим юмором? Скрыто утверждение того, что сам Пушкин будет продолжать писать. Его не пугает возможный недостаток средств к существованию Пусть так, но он не может не писать, ибо чувствует свое дарование. Прямо и открыто заявить об этом своему собеседнику было бы, конечно, неудобно, но он дал это понять за дымкою шутки...

Еще раз возвращаясь к образу поэта, лишенного дара поэзии, он пускает в него прощальную, тонко отточенную стрелу:

И над экспромтами недели не сидит!

Так в отрицательной форме подразумевая, что его собеседник как раз способен выдать за экспромт длительную свою работу над несколькими строками стихов, Пушкин еще раз почти открыто смеется над ним.

Все это замечательное стихотворение столь же полноценно и заканчивается двумя последними строчками, про которые в Пушкиниане было высказано, что заклю-



Барская усадьба 1820-х годов.
Художник Ф. П. Толстой.

Михайловское.





чающуюся в них мысль молодой Пушкин взял у своего дяди. Приведем эти две строки из стихотворения Василия Львовича:

Пусть льются там стихи нелепые рекой,
Нет нужды, мне всего любезнее покой.

Сравним с этим заключительные строки молодого Пушкина:

Подумай обо всем и выбери любое:
Быть славным — хорошо, спокойным —
лучше вдвое (I, 28).

Ясно видна разница между тем, чему предпочитают покой Василий Львович и молодой Александр. Дядя откидывает прочь «стихи нелепые», а молодой Пушкин произносит очень глубокое суждение, относя его лишь формально к своему собеседнику. Собеседника ждет не слава, а «бесславие», и потому его собственное высказывание носит характер глубокого раздумья как бы уже о самом себе.

Подтверждением этому предположению служит известная строчка из знаменитого, также предсмертного стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора!..». Вот эта строка:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
(III, 330)

Пушкин, как мы видим, не только высказывал в этом своем стихотворении «К другу стихотворцу» значительные мысли о поэзии и о поэте, но порою как бы

Михайловское. Литография П. А. Александрова.





А. П. Керн.
Миниатюра 1840-х годов.

предвидел сложный и трудный — **беспокойный** — свой жизненный и писательский путь, и этому беспокойному пути противопоставлял покой.

Одно юношеское стихотворение Пушкина, но как много оно дает для его понимания, и притом в тот ранний период, когда он еще только формировался. Мы увидим и в дальнейшем, как отдельные стихотворения Пушкина, открываясь нам при внимательном чтении на большой глубине, входят живой составной частью в цельный образ пушкинского гения.



2.

К Пущину
(1815 г.)

Стихотворение написано как приветствие Пущину в день его именин. Крайне любопытно, что посещение поэтом своего друга, чему и посвящено это послание, во многих деталях напоминает собою, наоборот, приезд Пущина к Пушкину в Михайловское.

Пушкин называет себя «пустынником», как он и вообще любил именовать себя в лицейские годы. Но с особо глубоким ощущением значимости и весомости этого слова Пушкин применяет его к себе в ссылке, в частности в Михайловском («Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился»). И вот получилось так, что не пустынник к Пущину явился в гости, а Пущин к пустыннику.

Далее в стихах поэт обращается к своему другу с ласковым советом:

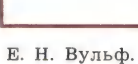
Встречать не суетися
С парадного крыльца (I, 119).

А сам Пушкин в Михайловском выбежал навстречу к своему другу именно с большою поспешностью и как раз «с парадного крыльца».

И в лицейских стихах, и в михайловской действительности, конечно, пирушка, а выражение «старинный собутыльник» как будто прямо родилось в Михайловском. Невольно также обращаешь внимание на строки: «Забудемся на час» и о времени, которое пускай «летит на почтовых». Так и в Михайловском оба друга отдавались этому забвению: Пущин сам приехал и уедет на почтовых, а пока пускай «на почтовых» летит время!

И наконец, и в стихах, и в действительности — десять лет спустя после написания этого послания — Пушкин говорит своему другу: «Ты вовсе не знаком... с нахмуренным попом», точно бы ссыльный поэт предвидел приход к нему святогорского игумена о. Ионы. Как было не вспомнить этих давних стихов во время свидания двух бывших лицеистов!





Е. Н. Вульф.



А. Н. Вульф.

Тригорское.
Гостиная в доме
Осиповых-Вульф.
Фотография, 1910 г.



3. «19 октября 1827»

Стихотворение это коротенькое, приведем его целиком:

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли! (III, 80)

Пушкин обращается к друзьям своим — товарищам по лицею в праздничный день его основания с пожеланиями, идущими из глубины сердца. Друзья эти и в жизни, и в стихотворении распадаются на две группы: как если б **справа** одни человеческие судьбы — благополучные и **слева** другие — далеко не благополучные. Но там и здесь — какой широкий охват жизни!

У одних (в первом четверостишии) есть, конечно, и свои житейские заботы, и заботы по службе; поэт еще и уточняет, по какой именно: это царская служба, но вместе с тем он и ограничивается одним этим строгим определением, не прибегая ни к каким добавочным эпитетам. Дружбу зато он характеризует как открыто себя проявляющую на совместных пирах и даже именует ее разгульною. Любовь, которая далее поминается, напротив того, дана в сокрытых ее, сладких — не просто даже тайнах, а по-церковнославянски — «в таинствах», каковы, например, таинство покаяния, таинство причастия и др.

Но в какой иной мир попадаем мы во втором четверостишии, начинающемся такою же строкой, как и первое:

Бог помочь вам, друзья мои...

Охват судеб второго круга друзей едва ли не еще более широк, чем тот, который мы только что видели. Здесь вместо дружбы и любви — бури и горе. «Житейское горе» — это уже не простые «заботы жизни», а бури также, несомненно, имеются в виду как жизненные, душевные бури. Оговорить это необходимо, ибо далее идут чужие края, где есть, конечно, и свои бури, но происходящие уже не в душе, а в природе. Пушкин, разумеется, чувствовал, что он имеет полное поэтическое право не давать какого-либо уточняющего характерного слова, которое подчеркивало бы, что он говорит о бурях внутри самого человека. Остановимся еще немного на этом, ибо тут затрагивается вопрос вообще о том, как внимательно надо читать стихи.

В самом деле, обратим внимание на союз «и», как он использован в данном стихотворении, но сделаем это на фоне другого стихотворения, где также повторяется союз «и», ну хотя бы на фоне знакомого нам:

Все в жертву памяти твоей...

Достаточно беглого взгляда, чтобы увидеть абсолютную оправданность здесь этого многократного повтора «и» и запятых между ними. В стихотворении же, которое мы разбираем сейчас, повторное «и» прерывается и начинается перечисление понятий иного — географического — порядка, к которым упомянутые ранее «бури» никакого «географического отношения» не имеют, кроме лишь того, что они испытываются друзьями действительно далеко, далеко...

Пушкин говорит о душевных бурях и житейском горе своих друзей, которые испытывают их... **где?** И сразу же отвечает:

В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли.

Перед этими последними двумя строками следовало бы поставить логически оправданное тире, и тогда все стало бы, вероятно, ясно и без такого указующего «перста понимания».

Полагая, что читатели и сами знают, кого вспоминал Пушкин из отсутствующих на празднике друзей своих, мы хотим в заключение обратить внимание еще и на то, как, говоря о других, Пушкин раскрывает в этих немногих строках и самого себя.

Вообще следует заметить, что писатели невольно говорят и сами о себе в прямой зависимости от того, **о ком** они говорят, **что̀** говорят и в особенности **как** говорят. Мы уже не останавливаемся на этих ярких противопоставлениях: пиров разгульной дружбы и сладких таинств любви — пус-

тынному морю и мрачным пропастям земли, все это говорит само за себя. Но какой же широкий охват в душе самого выступающего автора стихотворения — охват и географический, и психологический. И какие разнообразные и чувства, и настроения, и какие противоречивые политические судьбы поэт как бы накрыл единым своим голубым небосводом из восьми коротких строк!

Как это понять? Как чисто словесную радужную игру, которая пусть артистически блестит «и тем, и этим»? Но разве это хоть сколько-нибудь применимо к Пушкину?

Ответ простой: разумеется — нет!

Простые человеческие отношения возможны, конечно, по отношению к довольно большому числу людей, нас окружающих. Но здесь дело вовсе не в том.

У Пушкина в этот день, в этот вечер были свои **слушатели**, и, обращаясь в первую очередь к ним и давая такую резкую и потрясающую картину, он как бы говорил: «Так что же, вы равнодушны к судьбам **наших общих друзей**, которые не только путешествуют в трудных условиях, но и пребывают насильно заключенные в **мрачных пропастях земли**? Мыслимо ли это? Ведь ежели мы друзья, то в этом-то случае не должна ли вылиться эта дружба в нечто другое, чем разгульная дружба на пирах? Ведь ежели я открываю единое общее объятие, так разве это не обязывает и вас — всех вместе и каждого в отдельности — вернуть их, наших друзей, за наш общий праздничный стол?»

Пушкин не помянул среди всего другого о своей поэтической работе. Но он просто ее дал. Он еще верил в ту пору в возможность смягчения участи декабристов и этим коротким стихотворением и заключенным в нем пламенным призывом и сейчас встает перед нами его изумительный гений — и поэта и человека.

1951—1956





Н. Н. Раевский (старший).
Гравюра Карделли, 1812 г.




Н. Н. Раевский (младший). 1821 г.


Ек. Н. Раевская.

Т. П. Мазур, Н. Н. Малов

Новые материалы о Пушкине

1. ПУШКИН В АРХИВЕ Н. Н. РАЕВСКОГО-МЛАДШЕГО

Многозначительные слова писал Пушкин брату Льву о Н. Н. Раевском-младшем (из Кишинева 24 сентября 1820 г.): «Ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные...» (XIII, 17).

Переписка между младшим сыном Раевских и Пушкиным не дошла до нас (кроме двух черновых писем поэта к нему); до декабрьского восстания она была довольно оживленной [1], но, может быть, после 14 декабря Пушкин, опасаясь скомпрометировать друга, перестал ему писать.

В семейных письмах к Н. Н. Раевскому-младшему сохранилось несколько упоминаний о Пушкине [2].

11 октября Ек. Н. Орлова пишет брату Николаю в Тифлис из Милятина:

«...Я получила через Рубина [3] письмо от Вяземского, который сообщает мне о возвращении Пушкина в Москву. Он спрашивает у меня твой адрес, чтобы тебе написать. Он окончил свою трагедию Борис Го-

[1] Так, В. А. Глинка писал 20 сентября 1822 года Кюхельбекеру о Пушкине: «Он в переписке с сыном генерала Раевского, который служит адъютантом при генерале Дибиче и который показывал мне письмо г-на Пушкина, на сих днях им полученное» (Ю. Н. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер. «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 344).

[2] Это письмо к Н. Н. Раевскому-младшему, как и последующие, извлечено из фонда 339 (Раевских и Бороздиных, из коллекции П. И. Щукина) — Отдел письменных источников Гос. исторического музея. Письма Раевских в подлинниках на французском языке.

[3] Молодой человек, поступающий в полк, которым командовал Раевский.



С. Г. Волконский.
Миниатюра Ж.-Б. Изабе,
1814 г.



М. Н. Волконская.

дунов, о которой говорят, что это прекраснейшее поэтическое произведение. Государь принял Пушкина со всей возможной добротой и милостью и сказал ему, что сам будет цензором его сочинений...»

Письмо датируется 1826 годом по содержанию.

Пушкин был привезен в Москву из михайловской ссылки 8 сентября и, видимо, сразу же по приезде начал поиски Раевского.

20 января 1827 года мать Николая Николаевича, Софья Алексеевна, пишет ему в Тифлис из Болтышки — имения Раевских в Чигиринском уезде Киевской губернии, вблизи Каменки:

«...Не знаю, известно ли тебе, что во время коронации государь приказал вызвать Пушкина из его ссылки в Москву, сказал ему, что он свободен и что он сам будет цензором сочиненной им трагедии. Он (Пушкин. — *Т. М., Н. М.)* теперь в Москве, и Мария видела его там...»

Мария Николаевна Раевская-Волконская по дороге в Сибирь видела Пушкина в конце декабря 1826 года у княгини З. А. Волконской.

Раевские внимательно следили за литературой, и 13 января 1828 года Елена Николаевна Раевская пишет Николаю в Тифлис из Болтышки:

«...Вышли граф Нулин Пушкина и Наталья Долгорукая Козлова, которые я постараюсь тебе доставить, если ты останешься в стране (в Грузии. — *Т. М., Н. М.*)...»

«Граф Нулин» был опубликован впервые в «Северных цветах» на 1828 год — этот альманах, издававшийся другом Пушкина Дельвигом, вышел в свет в конце декабря 1827 года в Петербурге.

28 апреля 1829 года Ек. Н. Орлова пишет Николаю в Тифлис (видимо, из Милятина):

«...Пушкин, который увидит брата А. и который только что приехал из Петербурга в Москву, вероятно, расскажет тебе все то, что ты захочешь узнать. Он, конечно, привезет тебе литературные новинки, поэтому я ничего не посылаю тебе в этом роде, тем более что ты даже не поблагодарил меня за то, что я тебе посылала раньше...»



С. С. Уваров.



Г. А. Строганов.

Это письмо свидетельствует о предстоящей будто бы встрече Пушкина с «братом А.», то есть с Александром Раевским; последний в это время жил в Полтаве, высланный из Одессы по доносу М. С. Воронцова. Едва ли мог ссыльный Раевский выезжать из города, назначенного ему для жизни. Встреча могла состояться только в Полтаве. Значит ли это, что Пушкин действительно предполагал заехать к нему в Полтаву по дороге в Тифлис? Екатерина Николаевна могла слышать о таком намерении Пушкина от отца, который встречался с Пушкиным в феврале—марте 1829 года. Правдоподобно (зная доброе отношение Пушкина к Николаю Николаевичу Раевскому-старшему), что он чистосердечно пообещал ему заехать к Александру: он хотел утешить старика после неудачных хлопот его о старшем сыне. Генерал Раевский приезжал по его делу в Петербург и провел там, больной, в ожидании приема у царя бесплодный месяц.

Однако нет никаких оснований думать, что Пушкин действительно заехал в Полтаву. Расчет времени, проведенного им в дороге на Кавказ, показывает, что весь путь он проделал за две недели: выехал из Москвы 1 мая, прибыл в Георгиевск (возле Горячих Вод) 15 мая. При этом надо помнить его слова: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова» (VIII, 445). Пушкин провел в Орле ради встреч с опальным наместником Кавказа (и другом Н. Н. Раевского-старшего) даже не один день. На обратный путь — прямой — он истратил около 12 дней: выехал из Горячих Вод 8 сентября и вернулся в Москву, по-видимому, 20 сентября. Да и вряд ли приезд Пушкина в Полтаву прошел бы незамеченным.

11 октября Ек. Н. Орлова пишет из Москвы брату Николаю в Курск:

«Пушкин провел здесь две недели, я его не видела, он был у нас только один раз утром и больше не появлялся, он казался недовольным и словно избегал нас...»

Письмо датируется 1832 годом; в сентябре—октябре Пушкин бывал в Москве в 1826, 1829 и 1832 годах, но в 1826 году Орловы жили еще в Милятине, в 1829 году Николай Николаевич-младший был на Кав-

казе, а в 1832 году он был переведен в Курск. В это время Пушкин пробыл в Москве около трех недель — с 21 сентября по 10 октября.

2. С. Г. ВОЛКОНСКИЙ О СВОЕЙ ПОМОЛВКЕ С М. Н. РАЕВСКОЙ

Среди бумаг Н. Н. Раевского нашлось и приводимое ниже письмо декабриста Сергея Волконского, получившего согласие Марии Раевской стать его женой; Волконский, видимо, сразу же после помолвки извещает о ней Николая Раевского — брата Марии, с которым его связывала боевая дружба:

«Решение моей судьбы, произнесшей да и благословение родителей меня ввергло в неописанную радость и удостоверяют меня в вечном счастьи. В первых минутах оного весьма рад, что могу тебя, любезный друг, назвать будущим братом, и будь уверен, что в полной силе всегда буду исполнять обязанности новой моей степени родства с тобой. Извини, брат Николай, что пишу так лаконично и мало связно, но голова от счастия и хлопот идет кругом, и вскоре с тобой увижусь.

Сергей

5-го, Киев».

Очевидно, письмо относится к октябрю 1824 года: 18 октября Сергей Волконский известил о радостном для него событии Пушкина, находившегося в михайловской ссылке. Оставался всего год с небольшим до восстания, крепости и каторги, куда суждено было попасть Сергею Волконскому и куда последует за ним его жена Мария Волконская.

3. Г. А. СТРОГАНОВ О ПУШКИНЕ

Дипломат Григорий Александрович Строганов был двоюродным дядей жены Пушкина. Человек, мнение которого в вопросах чести было в высшем свете решающим, — он позже стал на сторону Дантеса. После смерти поэта он был членом опеки над его детьми. В фонде С. С. Уварова[4] хранится письмо к нему Г. А. Строганова.

Осенью 1831 года, когда западные державы начали проявлять повышенный интерес к польскому восстанию и ожидалось их вмешательство, Пушкин опубликовал послание «Клеветникам России».

С. С. Уваров, будущий министр народного просвещения и создатель теории «официальной народности», желая расширить круг читателей «Клеветникам России», сделал вольный перевод стихотворения на французский язык и 8 октября 1831 года прислал его Пушкину. Пушкин ответил светски-любезным письмом от 21 октября (см. XIV, 232—233 и 236).

В интерпретации Уварова распря между поляками и русскими должна была закончиться гибелью одного из этих народов (у Пушкина ничего подобного не было). Свой перевод Уваров прислал и Г. А. Строганову; письмо последнего является ответом на неизвестное нам письмо Уварова от 12 октября. Строганов пишет в шутливо-дружеском тоне, что Уваров «...осужден на потерю знаков отличия; замените их Лирой, которую Вы будете носить в петлице <...>

Но, как бы то ни было, я полностью одобряю вместе с Вами волнение этой жилки национального самосознания, разбудившее нашего поэта. Талант Пушкина (а он им одарен щедро) похож на обширные земли, где есть места плохо ухоженные и мало культивированные, так как на столь громадном пространстве не все может быть ухожено и обработано.

И так как в действительности среди людей горячность встречается гораздо чаще, чем вкус, то Вы — человек со вкусом — Вы даете все то, чего он не сумел туда вложить. Благодарю вас и за себя и за жену, которая уже страдала, что не могла понять и почувствовать благозвучия в том, что восхищало других вокруг».

Весьма характерно, что Г. А. Строганов, которому нельзя отказать в высокой культуре (недаром же Пушкин любил с ним беседовать), признавая талант Пушкина, снисходительно отзывается о нем и приписывает Уварову больше вкуса; чего же мог тогда ожидать Пушкин от других великосветских читателей, относившихся к нему с гораздо меньшей доброжелательностью?

---

[4] Ф. 17 (С. С. Уварова) — Отдел письменных источников Гос. исторического музея. За помощь в расшифровке этого письма авторы глубоко благодарны Т. Г. Цявловской.





Е. М. Хитрово.

Т. Г. Цявловская

Неизвестные письма к Пушкину — от Е. М. Хитрово

Однажды в Центральном Государственном архиве литературы и искусства я просматривала известные письма Е. М. Хитрово к Пушкину, которые хранятся в одной папке с ее письмами к Вяземскому [1]

И вдруг вижу новое, никому не известное письмо...

Оно адресовано Пушкину.

Письмо чрезвычайно волнующего содержания... Оно на французском языке, как велась вся переписка поэта с Хитрово и с другими женщинами. И Н. Гончаровой писал он по-французски до тех пор, пока она не стала его женой. Светское общество говорило тогда по-французски.

Помните в «Евгении Онегине»?

Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык (VI, 63).

Вскоре студенты, знакомившиеся с архивной работой и разбиравшие письма Н. А. Полевого, просят меня перевести одно из писем Полевого, написанное на французском языке.

— На французском?! Полевой?! Прозванный Вяземским Грипусье! — так перевел он слова gris poussière (пыльно-серого цвета) в подписи, сопровождавшей французские картинки мод (дело в том, что расчетливый Полевой, не надеясь на коммерческий успех предпринятого им «Московского телеграфа, журнала литературы, критики, наук и художеств», прилагал к нему «Летописи мод» на французском и русском языках, а также и самые картинки парижских мод).

Смотрю письмо.

— Почему же это Полевой? Что же общего в этих нервных каракулях с тонким выработанным почерком Полевого?! Это почерк Елизаветы Михайловны Хитрово! Смотрите сами!

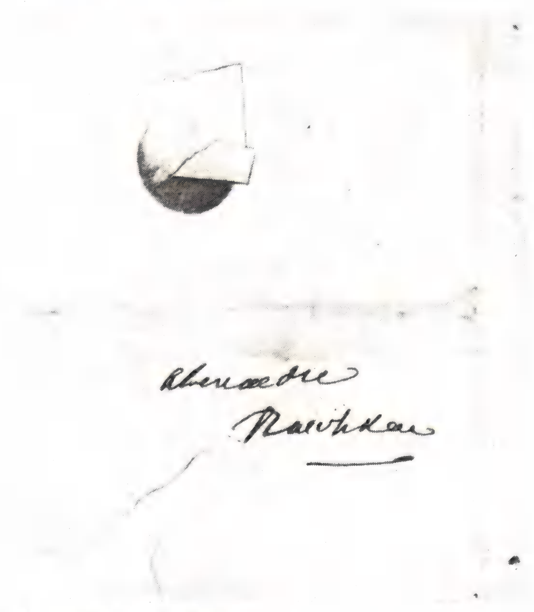
Читаем. Адреса на письме нет. Но по тону и по содержанию видно, что оно обращено к Пушкину. Случайно, при разборе огромного фонда Вяземских, письмо попало не в ту обложку.

Так, в один и тот же день, 18 апреля 1961 года, были обнаружены два неопубликованных письма к Пушкину. Оба от Хитрово.

Любимая дочь известного полководца Кутузова, Елизавета Михайловна родилась в 1783 году. Вышла замуж в 1802 году за флигель-адъютанта графа Федора Ивановича Тизенгаузена, скончавшегося в 1805 году от ран, полученных им под Аустерлицем.

От этого брака у Елизаветы Михайловны были две дочери-красавицы.

В 1811 году Елизавета Михайловна вышла замуж вторично — за Николая Федоровича Хитрово, бывшего в 1815—1817 годах русским поверенным в делах во Флоренции, где он и скончался в 1819 году.







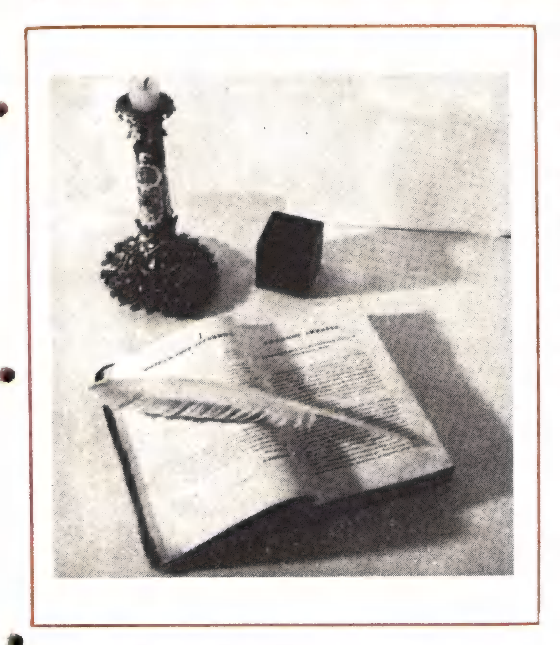
Записка Е. М. Хитрово А. С. Пушкину.

Старшая дочь ее, гр. Екатерина Федоровна Тизенгаузен (1803—1888), замуж не вышла. Младшая, Дарья Федоровна, или Долли, как ее называли (1804—1863), вышла семнадцати лет за дипломата, графа Карла-Людвига Фикельмона (1777—1857). Он был в это время австрийским посланником во Флоренции, а затем — с 1829 по 1839 год — в Петербурге.

Вернулась на родину Елизавета Михайловна в 1826 году во время коронационных торжеств[2]. В 1827 году она обосновывается в Петербурге. Когда же спустя два года зять ее Фикельмон приехал с женой в Петербург в качестве посланника, Хитрово со старшей дочерью поселяется вместе с ними. Дом их делается одним из первых в столице.

«В летописях Петербургского общежитья, — вспоминал об Елизавете Михайловне Вяземский, — имя ее осталось так же незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмонт, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастие в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут и обозрение текущих событий; был и premier Pétersbourg с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь»[3].

Пушкин познакомился с Елизаветой Михайловной Хитрово в 1826 году



В кабинете А. С. Пушкина.

в Москве или весной 1827 года в Петербурге.

Сорокачетырехлетняя вдова, полная, некрасивая, похожая на своего отца, любила оголять свои округлые плечи, которыми она гордилась. Эту анекдотическую черту постоянно высмеивали ее друзья.

Вот эпиграмма, которую приписывали Пушкину, однако никаких серьезных оснований к этому нет:

Лиза в городе жила
С дочкой Долинькой.
Лиза в городе слыла
Лизой голенькой.
Нынче Лиза en gala
У австрийского посла,
Не по-прежнему мила,
Но по-прежнему гола [4].

3 июня 1830 года Вяземский пишет жене из Петербурга: «Все на даче, и все уже здесь по-летнему, даже и плечи Ерминии, которые закрыты, как алебастровые вазы, чтобы мухи не загадили» [5].

И 2 марта 1837 года Вяземский пишет А. О. Смирновой: «Это — истина совсем голая, как плечи нашей приятельницы. Глядя на нее, Василий Перовский сказал однажды: пора бы уже давно набросить покрывало на прошедшее» [6] (Елизавете Михайловне было уже 54 года).

Совершенно по-своему говорит о том же Баратынский в замечательном — по неожиданному и трагическому повороту темы — стихотворении:

Филида с каждою зимою,
Зимою новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.
И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.

Первая записка Пушкина к ней относится к лету 1827 года. Он отвечает на несохранившееся ее письмо, присланное с человеком ему на дом.

«Не знаю, сударыня, как выразить вам свою благодарность за участие, которое вам угодно было проявить к моему здоровью; мне почти совестно чувствовать себя так хорошо. Одно крайне досадное обстоятельство лишает меня сегодня счастья быть у вас. Прошу принять мои сожаления и извинения, равно как и выражение моего глубокого уважения.

Пушкин

18 июля.

Госпоже Хитровой» (XIII, 332 и 563 — перевод).

Второе и третье письма Пушкина к Хитрово написаны в феврале 1828 года. Пушкин отзывается на ее письма. Так у них сложилось. Активна была она.

Письмо — без обращения.

«Как это мило с вашей стороны, что вы захотели рассеять скуку моего заточения своим вниманием! Разные заботы, огорчения, неприятности и т. д. более чем когда-либо удерживали меня вдали от света, и я узнал о несчастном случае с графиней [7] только уже будучи болен сам [8].

Арнт [9] был так добр, что дал мне сведения о ней и сообщил, что ей гораздо лучше.

Как только позволит состояние моего здоровья, я надеюсь немедленно засвиде-



А. А. Оленина.

тельствовать вам свое почтение. А покамест я скучаю, лишенный даже такого развлечения, как физическое страдание.

Пушкин

Понедельник.

Беру на себя смелость послать вам только что вышедшие 4 и 5 части Онегина[10]. От всего сердца желаю, чтобы они вызвали у Вас улыбку» (XIV, 1—2 и 384 — перевод).

Спустя четыре дня после этого письма Пушкин получает новое — она предлагает приехать за ним ухаживать.

«Такой скучный больной, как я, вовсе не заслуживает столь любезной сиделки как вы, сударыня. Но я весьма признателен вам за это, чисто христианское и поистине очаровательное милосердие.

Я в восхищении, что вы покровительствуете моему другу Онегину; ваше критическое замечание столь же справедливо как и тонко, как все, что вы говорите; я поспешил бы придти и выслушать все остальные, если бы не хромал еще немного и не боялся лестниц.

Пока что я разрешаю себе бывать только в нижних этажах.

Благоволите принять, сударыня, выражение моей благодарности и совершенного уважения.

Пушкин

Пятница» (XIV, 2 и 385).

«В числе сердечных качеств, отличавших Елизавету Михайловну Хитрову, — писал Вяземский, — едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено, но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого»[11].

Редкостная доброта Елизаветы Михайловны к любому из друзей, доброта, доходящая до самоотвержения, удесятерялась, когда дело касалось Пушкина. Перед ним она преклонялась и как перед поэтом, и как перед человеком. Она жаждала служить ему.

Вероятно, именно эти искренние пламенные чувства и побуждали Пушкина постоянно у нее бывать.

Дружба из благодарности, дружба вынужденная хороша, когда человек свободен. Но... Пушкин влюбляется в двадцатилетнюю девушку, веселую, пылкую, своенравную. Это — Оленина.

Он изливает свои чувства в поэзии.

Ты и Вы

Пустое *вы* сердечным *ты*
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: «Как *вы* милы!»
И мыслю: «Как *тебя* люблю!»

Об Олениной писал он тогда же и в стихотворении «Ее глаза»:

Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

(III, 108)

Это май 1828 года.

В рукописях появляются записи: Eninelo, Ettenna Eninelo — ее имя и фамилия, прочитанные с конца. Он окружает начертание милого имени виньеткой. Annette Olenine, пишет он и заменяет ее фамилию своей: Annette Pouchkine [12].

Запись выдает его мечту... Но в том же мае поэт создает мрачнейшие стихи — на свой день рождения.

26 мая 1828

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?..

(III, 104)

В бумагах Пушкина сохранился листок с этим стихотворением. Оно написано рукой Елизаветы Михайловны Хитрово.

А на полях пушкинский рисунок — первый набросок портрета Олениной [13], которую он будет рисовать и рисовать, задумываясь о ней.

Тут же, сбоку, несколько строк, мелко-мелко написанных поэтом. Первая строка непонятна [14]. А далее две строки, тут же зачеркнутые:

Забудь меня как забываешь
Томит<ельный> <?>

(III, 1056)

Это первый набросок к лирическому стихотворению, начатому и недописанному:

Но ты забудь меня, мой друг,
Забудь меня, как забывают
Томительный печальный сон,
Когда [поутру отлетают]
[И тень и]...

(III, 463)

Мучительно дать понять женщине, что она в тягость, что ее покидают. Пушкин испытал уже подобное положение.

Как бережно, с какой нежностью поведал он тогда оставляемой подруге наступившую неизбежность разлуки:

В твою светлицу, друг мой нежный,
Я прихожу в последний раз.
Любви счастливой, безмятежной
Делю с тобой последний час.
Вперед одна в надежде томной
Не жди меня средь ночи темной,
До первых утренних лучей
Не жги свечей.

(II, 230)

Как было, сейчас мы, кажется, угадываем.

Пушкин — у Елизаветы Михайловны. Она записывает с его слов новые стихи.

А он думает о любимой девушке... Он мучается — как дать понять своей приятельнице, что он отходит от нее. Не решается. Листок он уносит с собою: она может догадаться, что набросок прощальных стихов обращен к ней.

Летом приезжает в Петербург женщина, притягивающая всеобщее внимание своей эксцентричностью. Это Аграфена Федоровна Закревская, до замужества — Грушенька Толстая. Она жена финляндского генерал-губернатора, назначенного министром внутренних дел, ограниченного, скучного человека.

Уже известны стихи Баратынского, связывавшиеся с ее именем (Баратынский знал ее в Гельсингфорсе, отбывая военную службу в Финляндии):

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина плачешь ты,
И как русалка ты хохочешь!

А. С. Пушкин. Автопортрет.





Дом Хитрово на Арбате.

И трагическая фигура «несчастной Нины» в поэме Баратынского «Бал» отражает образ Закревской.

Эта презирающая светскую молву женщина сразу увлекает Пушкина.

Он пишет о ней стихи.

Портрет

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены Севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

(III, 112)

Наперсник

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!

(III, 113)

И еще:

Счастлив, кто избран своенравно
Твоей тоскливою мечтой,
При ком любовью млеешь явно,
Чьи взоры властвуют тобой;
Но жалок тот, кто молчаливо,
Сгорая пламенем любви,
Потупя голову, ревниво
Признанья слушает твои.

(III, 661 и XVII, 25)

Интерес Пушкина к внутреннему миру этой женщины не разрешается лирикой. Он чувствует потребность в более сильном освещении ее натуры. И находит его — в прозе. Закревская преломляется в образе Вольской, о которой говорят: «Страсти ее погубят» (повесть «Гости съезжались на дачу...»).

Вольская нравилась герою повести Минскому, который «не любил света», «нравилась за то, что она осмеливалась явно презирать ему ненавистные условия. Он подстрекал ее ободрением и советами, сделался ее наперсником и вскоре стал ей необходим». (Мы узнаем психологическую ситуацию стихов.) «Минский угадывал ее сердце; самолюбие его было тронуто; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь без всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если бы он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался б от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию» (VIII, 40).

К сожалению, повесть эта только начата и вскоре брошена. Это август — октябрь 1828 года.

Вновь возвращается Пушкин к светской повести с той же героиней, написанной еще более смело, спустя семь лет. Но и тут рассказ останавливается на полуслове.

Во время писания повести 1828 года Пушкин получает письмо от Хитрово, полное упреков (оно не дошло до нас). Он выходит из себя и, не подавляя своего раздражения, отвечает:

«Боже мой, сударыня, бросая слова на ветер, я был далек от мысли вкладывать в них какие-нибудь неподобающие намеки. Но все вы таковы, и вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее.

Я не прихожу к вам, потому что очень занят, могу выходить из дому лишь поздно вечером, и мне надо повидать тысячу людей, которых я все же не вижу.

Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я и изящен и благовоспитан

в моих писаниях, но сердце мое самое обычное и наклонности отменно мещанские.

Я сыт по горло интригами, чувствами, перепиской и т. д. и т. д. Я имею несчастие состоять в связи с умной, болезненной и страстной женщиной, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю ее всем сердцем. Всего этого слишком достаточно для моих забот, а главное — для моего темперамента.

Вы не будете на меня сердиться за откровенность? Не правда ли?

Простите же мне мои слова, лишенные смысла, а главное — не имеющие к вам никакого отношения» (XIV, 32 и 391).

И еще письмо от нее (тоже не сохранившееся) вызывает следующий ответ:

«Откуда, черт возьми, вы взяли, что я сержусь? У меня хлопот выше головы. Простите мой лаконизм и якобинский слог.

Среда» (XIV, 32 и 391).

Оба письма написаны, по-видимому, в августе 1828 года [15–16], когда Пушкин писал «Полтаву», едва поспевая записывать теснящиеся в голове стихи, когда, увлеченный Закревской, он писал ей стихи, писал повесть, когда его не раз вызывали на допросы, выясняя, он ли автор поэмы «Гавриилиада».

Окончательно ясной стала и невозможность брака с Олениной. По-видимому, воспротивился ее отец, знавший из официальных источников о том, что Пушкина допрашивали по делу об элегии «Андрей Шенье» и по делу о «Гавриилиаде» [17].

Страшная нервная раздраженность, вызванная всеми этими обстоятельствами, и отражена в тоне этих двух писем. Она усилена бестактными, назойливыми упреками, обидами этой уже еле Пушкиным терпимой женщины.

Среди черновиков повести «Гости съезжались на дачу...» и первой песни «Полтавы» возникает рисунок: «фигура какой-то полной барыни» — назвал изображенную исследователь, первый описывавший рукописи Пушкина [18]. Как установлено, это портрет Елизаветы Михайловны Хитрово [19].

Мы, кажется, догадываемся, почему перебивается течение повести, захватившей автора, мыслью об этой женщине.

Пушкин рисовал в своих черновиках чаще всего тогда, когда его преследовала какая-то неотвязная мысль об изображаемом. Он словно освобождал, облегчал этим свое сознание [20].

Роман с Хитрово изжил себя, он стал тягостен.

Тут наступает перерыв в обмене записками. Пушкин уезжает из Петербурга один раз, и другой, и третий.

Он едет в деревню к П. А. Осиповой и оттуда в Москву — Тифлис — Арзрум, в деревню к Осиповой, снова в Москву.

Вот этот третий отъезд Пушкина — в начале марта 1830 года в Москву — сопровождается письмом за письмом от Е. М. Хитрово. Одно из них дошло до нас.



А. Ф. Закревская.
Литография с портрета,
1828 г.

«18 марта.

Не успела я успокоиться относительно вашего пребывания в Москве, как мне приходится волноваться по поводу вашего здоровья — меня уверяют, что вы заболели в Торжке. Ваше бледное лицо — одно из последних впечатлений, оставшихся у меня в памяти. Я все время вижу вас, стоящим в дверях. Предполагая увидеть вас на следующий день, я глядела на вас с радостью, но вы, бледный, взволнованный, вероятно, болью, которая, как вы знали, отзовется во

мне в тот же вечер, уже тогда вы заставили меня трепетать за ваше здоровье. Не знаю, к кому обратиться, чтобы узнать правду, — я пишу вам уже четвертый раз. Завтра будет две недели с тех пор, как вы уехали: непостижимо, почему вы не написали ни слова. Вы слишком хорошо знаете мою беспокойную и раздирающую сердце нежность. При вашем благородном характере вам не следовало бы оставлять меня без известий о себе. Запретите мне говорить вам о себе, но не лишайте меня счастья быть вашим поверенным.

Я буду говорить вам о большом свете, об иностранной литературе — о возможности перемены министерства во Франции, я у самого источника всех сведений, но, увы, мне не хватает только счастья.

Однако скажу вам, что вчера вечером я испытала истинную радость. Великий князь Михаил Павлович провел с нами вечер. Увидав ваш портрет или ваши портреты, он сказал мне: «Знаете, я никогда не видел Пушкина вблизи. Я был очень предубежден против него, но по всему тому, что о нем слышу, мне очень хочется с ним познакомиться, а еще больше того — побеседовать с ним обстоятельно». В конце концов он попросил у меня «Полтаву»; — как приятно мне, когда вас любят!

Несмотря на мою кротость, безобидность и смирение по отношению к вам (что возбуждает ваше нерасположение), подтверждайте хотя бы изредка получение моих писем. Я буду ликовать при виде одного лишь вашего почерка. Хочу еще узнать от вас самого, мой милый Пушкин, неужели я осуждена на то, чтобы увидеть вас только через несколько месяцев.

Как много жестокого, [даже] раздирающего в одной этой мысли! А все-таки у меня есть внутреннее убеждение, что, если бы вы знали, до какой степени мне необходимо вас увидеть, вы пожалели бы меня и вернулись бы на несколько дней! Спокойной ночи — я ужасно устала.

20-го. Я сейчас вернулась от Филарета — он рассказал мне о происшествии, недавно случившемся в Москве, о котором ему только что доложили. Он прибавил: «Расскажите это Пушкину». Поэтому я изложила это своим скверным русским языком в том виде, как история была мне рассказана, и посылаю вам [21], не смея его ослушаться.

Слава богу, говорят, что вы благополучно прибыли в Москву. Лечитесь, будьте благоразумны — ну, можно ли швыряться такой прекрасной жизнью?

21-го. Вчера вечером на репетиции карусели много говорили о вашей седьмой песни [22] — она имела всеобщий успех. Государыня *не ездит больше верхом*.

Так напишите же мне правду, как бы горестна она ни была. Увижу ли я вас на Пасху?» (XIV, 70—71 и 402).

Нерадивый корреспондент отозвался на эти письма коротенькой запиской. В Петербург ехал его брат Лев, и Пушкин просил Хитрово «благоволить уделить ему частицу той благосклонности, которой она удостаивает его». Он предварял эту просьбу извинением в молчании, ссылался на свою леность и добавлял: «Почта для меня просто пытка» (XIV, 80 и 408).

Письма Хитрово досаждали Пушкину. «Письмо мое доставит тебе Гончаров, брат красавицы, — пишет он Вяземскому во второй половине марта. — Теперь ты угадаешь, что́ тревожит меня в Москве. Если ты можешь влюбить в себя Елизу, то сделай мне эту божескую милость, — полушутливо, полусерьезно умоляет он своего приятеля (тот был в Петербурге). — Я сохранил свою целомудренность, оставя в руках ее не плащ, а рубашку (справься у княгини Мещерской [23]), а она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефреихи» (XIV, 74).

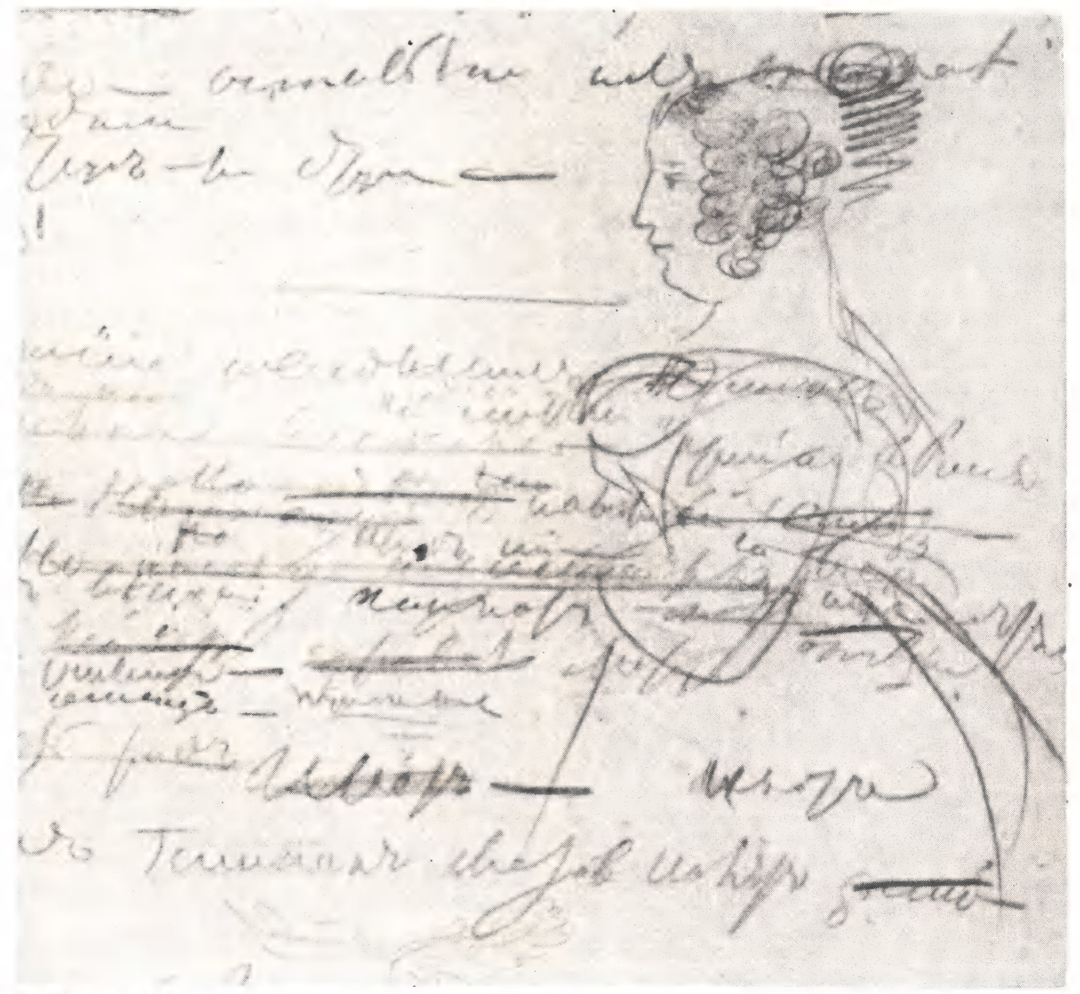
Пентефрий — фараонов царедворец. Его жена воспылала страстью к прекрасному юноше Иосифу, который спасся от ее покушений, оставив у нее в руках плащ.

Тем более неуместны были письма Хитрово в это время, так как решалась судьба Пушкина. Он отважился вторично обратиться к Н. И. Гончаровой с предложением о браке с ее младшей дочерью, юной Натальей Николаевной. В руке этой красавицы ему отказали год назад — ей было всего шестнадцать лет. Теперь ему ответили согласием. 6 апреля предложение было принято. 6 мая состоялась помолвка, о которой, как это было принято, знакомым разослали уведомления.

Не выдержав молчания Пушкина, кроткая Елизавета Михайловна восстала. 9 мая она написала ему: «Я считаю обязательным, чтобы вы написали мне о получении этого письма, — впредь у вас не будет более причин для отговорок.

Я не имею для вас никакого значения. Расскажите мне о своей женитьбе, о планах на будущее. Все разъезжаются, а хорошей погоды все нет.

Долли и Катрин просят передать вам, что вы можете рассчитывать на них, чтобы ввести вашу Натали в свет. Г-н Сомов дает



Е. М. Хитрово.
Рисунок А. С. Пушкина.

уроки посланнику и его жене, а я перевожу «Marriage in high Life» [24] на русский язык и буду продавать его в пользу бедных!

Элиза

9-го вечером» (XIV, 91 и 410).

Пушкин ответил тремя строками, сдержанно, светски любезно.

«Не знаю еще, приеду ли я в Петербург. Покровительницы, которых вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же, как и у ваших.

18 мая» (XIV, 92 и 411).

Еще не получив этого письма Пушкина, Хитрово послала ему только что полученную из Франции драму Виктора Гюго «Эрнани» и еще одно письмо:

«Я боюсь за вас: меня страшит прозаическая сторона брака!

Кроме того, я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость, и развитию его способствует ряд несчастий, что полное счастье, прочное, продолжительное и в конце концов довольно однообразное, убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта! И, может быть, именно это — после личной боли — поразило меня больше всего в первый момент...

...Я говорила вам, что бог дал мне сердце, чуждое всякого эгоизма. Я размышляла, боролась с собой, страдала — и вот я уже дошла до того, что желаю, чтобы вы скорее женились, поселились со своей прекрасной и очаровательной женой в деревянном, очень чистеньком домике, по вечерам ходили бы к тетушкам играть с ними в карты, возвращались домой счастливым, спокойным и исполненным благодарности к провидению за дарованное вам *сокровище,* чтобы вы забыли прошлое, а будущее ваше принадлежало всецело вашей жене и детям!

Судя по тому, что мне известно об образе мыслей государя относительно вас, я уверена, что, если бы вы пожелали получить какую-либо должность при нем, она была бы вам предоставлена. Быть может, этим не следует пренебрегать, это поставит вас в более независимое положение и в смысле состояния, и по отношению к правительству.

Государь настолько к вам расположен, что вам тут не нужна ничья помощь, но ваши *друзья,* конечно, сделают ради вас все возможное; родные вашей жены также могут оказаться вам тут полезны. Думаю, что вы уже получили мое коротенькое письмецо.

Ничто, в сущности, между нами не изменилось — я буду чаще видеть вас... (если бог приведет еще раз свидеться).

Отныне мое сердце, мои сокровенные мысли станут для вас непроницаемой тайной, а письма мои будут такими, какими им следует быть, — океан ляжет между вами и мною, — но *рано* или *поздно* вы всегда найдете во мне для себя, для вашей жены и ваших детей друга, подобного скале, о которую все будет разбиваться. Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть, располагайте мною во всем без стеснения. Обладая характером, готовым для других пойти на все, я драгоценный человек для своих друзей: я ни с чем не считаюсь, езжу разговаривать с высокопоставленными лицами, не падаю духом, еду опять, время, обстоятельства — ничто меня не пугает. Усталость сердца не отражается на моем теле — я ничего не боюсь, я многое понимаю, и моя готовность услужить другим является в такой же мере даром небес, как и следствием положения в свете моего отца и чувствительного воспитания, в котором все было основано на необходимости быть полезной другим!

Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я все же останусь тем же страстно любящим, кротким и безобидным существом, которое готово пойти за вас в огонь и в воду, ибо так я люблю даже тех, кого люблю мало!» (XIV, 91—92 и 410—411).

Пушкина изводили ламентации Хитрово, в особенности сейчас, когда он стал наконец женихом Гончаровой.

Раздражение свое изливал он старому другу своему В. Ф. Вяземской, а та рассказывала об этом в письмах к мужу.

Вяземский по-своему освещает события в письме жене в Москву. «Скажи Пушкину, что он плут. Тебе говорит о своей досаде, жалуется на Эрминию, а сам к ней пишет» [25].

Эрминией называли Хитрово в ближайшем к Пушкину окружении по имени героини «Освобожденного Иерусалима» Тасса, «верно и безнадежно влюбленной в Танкреда, к ней равнодушного и увлеченного другой: Эрминия все время страдает и волнуется за Танкреда, прибегает к хитрости, чтобы его увидеть, врачует его раны и проч.; все эти ассоциации из поэмы, хорошо в то время известной, могли получить еще особую актуальность благодаря двум только что (в 1828 году) вышедшим переводам ее — Мерзлякова и Раича» [26].

«Я на днях видел у нее письмо от него, — продолжает Вяземский рассказывать жене. — Не прочел, но прочел на лице ее, что она довольна. Неужели в самом деле пишет она ему про *Лубовь?* Или просто тут экзальтация, платоническая или филаретовская?»

Хитрово не была избалована письмами Пушкина, и большое серьезное письмо утешило ее бесконечно. Оно выражало благодарность, было дружески откровенно: и — как прежде — было оно без обращения и без подписи... Но она не могла не отметить в душе, что ее любовные излияния Пушкин оставляет без ответа.

Впрочем, едва ли она могла ждать отклика на них.

«Прежде всего позвольте, сударыня, поблагодарить вас за «Эрнани». Это одно из

современных произведений, которое я прочел с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бёв — бесспорно единственные французские поэты нашего времени, в особенности Сент-Бёв, и — к слову сказать, если в Петербурге можно достать его «Утешения», сделайте доброе дело и, ради бога, пришлите их мне.

Что касается моей женитьбы, то ваши соображения по этому поводу были бы совершенно справедливыми, если бы вы менее поэтически судили обо мне. На самом деле я просто добрый малый, который не хочет ничего иного, как заплыть жиром и быть счастливым.

Первое легче второго.

(Извините, сударыня: я заметил, что начал писать на разорванном листе, у меня нет терпения начать сызнова.) С вашей стороны очень любезно, сударыня, принимать участие в моем положении по отношению к хозяину. Но какое же место, по-вашему, я могу занять при нем? Не вижу ни одного подходящего.

Я питаю отвращение к делам и к бумагам («des boumagui»), как выражается граф Ланжерон. Быть камер-юнкером мне уже не по возрасту, да и что стал бы я делать при дворе? Мне не позволяют этого ни мои средства, ни мои занятия.

Родным моей жены очень мало дела и до нее и до меня. Я от всего сердца плачу им тем же.

Такие отношения очень приятны, и я никогда их не изменю» (XIV, 93—94 и 411—412).

Пушкин щадил эту стареющую женщину и, обходя ее чувство, поддерживал с ней дружеские отношения.

Но не всегда это ему удавалось. Об их отношениях знали ближайшие друзья, родные, она не в силах была скрыть своего обожания поэта, да и он был, по-видимому, не очень щепетилен по отношению к ней и жаловался друзьям на ее «преследования».

В июле 1830 года Пушкин приехал по делам в Петербург. И его мать отмечает в письме к дочери, О. С. Павлищевой, что «Александр не хочет ее <Хитрово> видеть» (22 июля).

Однако сострадание победило его нежелание видеть ее.

«Александр был у Эрминии, — пишет четыре дня спустя Надежда Осиповна дочери, — а вчера был у нее в ложе» [27].

10 августа 1830 года Пушкин уехал в Москву, и тотчас же Елизавета Михайловна пишет ему письмо.

Это оно обнаружено в архиве П. А. Вяземского среди писем к нему Полевого.

«С.-Петербург

Это письмо будет отправлено, только когда придет пароход. Вы сейчас настолько счастливы, что интерес к друзьям, конечно, сильно померк... но высокие материи всегда будут интересовать гения, в каких бы жизненных обстоятельствах он ни находился!

За это время прибыли газеты от 9-го [28]. Казимир Перье — председатель палаты [29]. «Тан» переходит в оппозицию [30]. Молодые люди Политехнической школы отказались и от ордена Почетного легиона и от повышения в чине [31]. Речь Шатобриана в защиту герцога Бордоского [32] — истинный образец красноречия! [33]

Лев [34] должен был бы мне сообщить известия о вас, вы, конечно, всецело заняты своей молодой и прекрасной мадонной? [35]

Вспомните ли вы хоть раз о фанатической старухе, которой суждено вскоре одряхлеть от душевного страдания, как старухе из «Марино Фальеро» [36] от мучительной пытки!

Пароход запоздал на три дня, только что узнали, что он должен был пристать в Ревеле. Из-за этого задержались и известия. В Париже играли «Тартюфа» [37], причем на всех актерах были трехцветные кокарды; на одном лишь Тартюфе кокарда была белая [38].

Кажется *некое* правительство [39] признало уже короля Франции на деле, хотя еще и не юридически.

Здесь есть несколько брошюр о всех этих событиях — мадам де Жанлис [40] превозносят до небес за то, что она воспитала короля-гражданина.

Кто-то сказал вчера в шутку, что надо было бы ее выдать замуж за *Лафайета!* [41]

Говорят, что 9-го было уничтожено несколько монастырей! Дай бог, чтобы этого не было, преследование священнослужителей привело бы к гонению религии!

Пришлите мне или поручите Льву прислать мне ваш адрес. Сущее наказание писать какому-то третьему лицу, когда сердце переполнено друзьями. У меня ужасный кашель, который начался в то время, когда вы пришли ко мне вчера. Я лелею его как драгоценное воспоминание! Зонтаг [42] очень аплодировали. Она вроде Фодор [43]. Она удивляет, но не трогает меня. Послушайте Петрорани, Паста [44], Рубини [45], Давида [46], и ваши нервы затрепещут и сердце стеснится, его охватит страх за тех, кого ты любишь, и, кажется, отдал бы жизнь, чтобы снова

оказаться вместе с ними. Голос Зонтаг напоминает слишком придворные салоны и «Упражнения» Маурера [47].

Вот пришли Долли и Катрин, обе передают вам сердечный привет. Поручаю вас, дорогой, святой деве и всем добрым ангелам!

Посланница [48] просит вас напомнить о ней князю Вяземскому.

Четверг, 14-го» [49].

Письмо, законченное 14 августа, писалось не один день. Начато оно на другой день после прощального визита к Хитрово Пушкина перед его отъездом («когда вы пришли ко мне вчера», — пишет она, то есть 10 августа), когда он уехал в Москву или, может быть, накануне его отъезда.

Елизавета Михайловна старается держать себя в руках. Пишет, что она понимает, как он счастлив сейчас и как поглощен своим счастьем... Она сообщает ему свежие политические новости из Франции, говорит о концерте модной певицы... Но — почти помимо ее воли — у нее вырываются отчаянные признания о «фанатической старухе» (как безжалостно она себя называет), которой суждено «одряхлеть от душевного страдания»; пишет она о том, что хорошее пенье вызывает у нее «страх за тех, кого ты любишь, и, кажется, отдал бы жизнь, чтобы снова оказаться вместе».

Она не может скрыть своей неизбывной любви к Пушкину и своего мучения при мысли о его женитьбе.

Пушкин отозвался на это письмо незамедлительно — дружеским и доверительным письмом.

«Как я вам признателен за ту доброту, с которой вы посвящаете меня в европейские события!

Здесь никто не получает французских газет, и в области политических мнений оценка всего происшедшего сводится к мнению Английского клуба, решившего, что князь Дмитрий Голицын [50] был неправ, запретив ордонансом экартэ [51]. И среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века! К довершению всех бед и затруднений умер мой бедный дядя Василий Львович [52]. Надо признать, что ни один дядя никогда не умирал более некстати. Моя женитьба откладывается еще недель на шесть [53], и, бог знает, когда я смогу вернуться в Петербург.

«Парижанка» [54] не стоит «Марсельезы» [55]. Это водевильные куплеты [56]. Мне смертельно хочется прочесть речь Шатобриана в защиту герцога Бордоского. Это были опять прекрасные минуты для него. Во всяком случае, он теперь снова в оппозиции. В чем оппозиция «Temps», хочет ли он республики? Те, которые ее только что хотели, ускорили коронацию Луи Филиппа [57]; он обязан им дать места камергеров и пенсии. Брак г-жи Жанлис с Лафайетом был бы вполне уместен, и венчать их должен был бы епископ Талейран [58]. Так была бы исчерпана революция [59].

Прошу вас повергнуть меня к ногам графинь, ваших дочерей, и принять уверение в моей преданности и высоком уважении.

Пушкин

21 августа. Москва» (XIV, 108 и 415).

Как характерен для Пушкина этот страстный интерес к европейским событиям! Равнодушные к политике люди для него орангутанги...

Горьким сарказмом окрашена фраза Пушкина, завершающая шутку о браке мадам Жанлис с Лафайетом и о венчании их епископом Талейраном: «Так была бы исчерпана революция!»

Дальнейшие ответы Пушкина на письма Елизаветы Михайловны Хитрово почти все написаны в 1831 и 1832 годах. Они окрашены тем же искренним дружеским тоном. Он пишет ей о волнующих его политических вопросах в ответ на французские газеты, которые от нее получает, о польских делах, о смерти Дельвига, о своем непонимании успеха «Бориса Годунова» в Петербурге, о равнодушии Москвы к политическим новостям, о выходящих французских и русских романах.

Высказывается Пушкин о романе Стендаля «Красное и черное», который он высоко оценил («умоляю вас, пришлите мне второй том «Красного и черного». Я от него в восторге» — XIV, 426) едва ли не первым из его читателей, и о некотором разочаровании в этом произведении в дальнейшем («Красное и черное» хороший роман, несмотря на фальшивую риторику в некоторых местах и на несколько замечаний дурного вкуса» — XIV, 172 и 427).

У Хитрово Пушкин просит новых французских книг, среди них и запрещенные в России, они нужны ему для предпринятой им истории Французской революции.

Он посылает Хитрово свои стихи, обращенные к Кутузову, ее покойному отцу.

Насколько дружеским, порой несколько церемонным был тон писем уже женатого Пушкина к Хитрово, настолько фривольны и ироничны были беглые упоминания о ней в письмах к Вяземскому. Пушкин поддерживал этим тоном стиль своего

N 5

Non, mon cher ami,
c'est bien une infamie
pour vous — je vous
répète que j'en suis
toute en larmes — j'ai
dû faire après de
vivre dans ce monde
— pour n'être pas mêlée
dans d'aussi terribles
calomnies! — Je
vous demande à
genoux de ne
parler à qui que
cela soit de ce
fait événement —
Je suis toute étonnée

Письмо Е. М. Хитрово
к А. С. Пушкину

J'avais un laquais
depuis méchant —
quand à votre feme
chez Pouschkin, c'est
un Ange et ne me
l'a avoué, que
pour se suicide
ma main, et me
V. S. Helper [illegible] au
Coeur!

Elise H—

корреспондента, а отчасти давал выход и своей любви к каламбурам, к красному словцу.

«Лиза голенькая пишет мне отчаянное, политическое письмо» (2 января 1831 г. — XIV, 140).

«Элиза приготовляется к смерти мученической и уже написала мне трогательное прощание» (письмо писалось во время эпидемии холеры, 3 июля 1831 г. — XIV, 187).

«Право, надобно нам начать журнал, да какой?.. В 3 месяца книжку, нет книжищу выдадим с помощью божией и Лизы голенькой. Кстати, Лиза написала было мне письмо вроде духовной: верьте нежности той, которая будет вас любить и за гробом[60] и проч., да и замолкла; я спокойно себе думаю, что она умерла. Что же узнаю? Элиза влюбилась в вояжера Mornay да с ним кокетничает! Каково? О женщина, женщина! созданье слабое и обманчивое...» (14 августа 1831 г. — XIV, 208 и 434.)

Еще одна цитата о Хитрово — из письма Пушкина к жене, 8 октября 1833 года: «Да кланяйся и всем моим прелестям: Хитровой первой. Как она перенесла мое отсутствие? Надеюсь, с твердостью, достойной дочери князя Кутузова?» (XV, 86.)

Опять, как видим, ирония!..

Всего писем Пушкина к Хитрово сохранилось двадцать шесть, столько, конечно, и было, она бережно хранила все, даже и те, в которых прорывается его раздражение против нее. Не уцелело или не обнаружено лишь одно. Об этом ниже.

Писем же Хитрово к Пушкину до сих пор было известно всего шесть.

Огромного количества ее писем не сохранилось, мы знаем о них из ответов Пушкина.

К тому же, рассказывали, что он будто бы, «смеясь, бросал в огонь, не читая, ее ежедневные записки». Так утверждал Н. М. Смирнов, который мог слышать что-то подобное от жены своей, Александры Осиповны, рожденной Россет, с которой Пушкин был достаточно откровенен, или, может быть, от Вяземского. Теперь к письмам Е. М. Хитрово, адресованным Пушкину, добавляются два новых письма — одно от 14 августа 1830 года и другое, к которому мы и обращаемся.

Напомним прежде всего текст воспоминаний графа В. А. Соллогуба, будущего писателя, а тогда двадцатилетнего молодого человека. У него с Пушкиным едва не дошло до дуэли в феврале 1836 года, когда, раздраженный мелкими и крупными неприятностями, Пушкин чуть ли не три дня подряд рвался стреляться по любому поводу: двоих он вызвал (Хлюстина и Соллогуба), третьему дал понять, что он готов к защите своей чести (Репнину). Со всеми ними отношения, впрочем, вскоре возобновились.

Вот страницы воспоминаний Соллогуба, предваряющие описание гибели Пушкина:

«Я жил тогда на Большой Морской, у тетки моей Васильчиковой[61]. В первых числах ноября (1836 г.) она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое, запечатанное письмо с надписью: «Александру Сергеевичу Пушкину». Что мне с этим делать?»

Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым лакейским почерком: «Александру Сергеичу Пушкину». Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне:

— Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елис. Михайловны Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой.

Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя узнал я, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, усыновленному, как известно, голландским посланником бароном Геккерном»[62].

Письмо к Елизавете Михайловне Хитрово, написанное Пушкиным в ответ на пересланный ему анонимный диплом рогоносца, до нас не дошло. Текст его неизвестен.

Письмо же Е. М. Хитрово к Пушкину, обнаруженное ныне в архиве Вяземского, со всей очевидностью является ответом на

письмо Пушкина, о котором рассказывает Соллогуб. Оно начинается с возражения «нет».

Письмо заклеено облаткой. Адрес, как и текст, на французском языке: Alexandre Pouchkine. Письмо должен был вручить Пушкину кто-то из знакомых, вероятно, тот же, кто привез его письмо Елизавете Михайловне.

Non, mon cher ami, c'est bien une Infamie pour moi — je vous assure, que j'en suis toute en pleurs — j'ai cru faire assez de bien dans ce monde pour n'être point mélée dans d'aussi horribles calomnies! — Je vous demande à genoux de ne parler à qui que cela soit de ce sot évènement —

Je suis toute étonnée d'avoir un ennemi aussi méchant — quand à votre femme cher Poushkin, c'est un ange et on ne l'a attaqué, que pour se servir de ma voix et me blesser jusqu'au coeur!

Elise H

Alexandre
Pouchkin» [63].

«Нет, дорогой друг мой, для меня это настоящий *позор* — уверяю вас, что я вся в слезах — мне казалось, что я достаточно сделала добра в жизни, чтобы не быть впутанной в столь ужасную *клевету*! На коленях прошу вас не говорить никому об этом глупом происшествии.

Я поражена, что у меня нашелся столь жестокий враг. Что до вашей жены, дорогой Пушкин, то она ангел, и на нее напали лишь для того, чтобы заставить меня сыграть роль посредника и этим ранить меня в самое сердце!

Элиза Х.

Адрес: Александру Пушкину» [64].

Попытаемся восстановить содержание не дошедшего до нас письма Пушкина, на которое она отвечает в найденном письме.

Пушкин должен был сообщить ей прежде всего, что̀ содержало пересланное ею письмо. Совершенно ясно из текста письма Хитрово, что она не вскрыла его (как поступили и все те, кто доставил ему аналогичные послания), и только сейчас узнала, что оно заключало.

Судя по рассказу Соллогуба, Пушкин прочитал ему письмо, написанное им Елизавете Михайловне, письмо «сообразное с его словами». Напомню их: «это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу» и т. д.

Как видим, Пушкин еще не выбит из колеи, как это случилось несколько часов спустя.

Вероятно, Пушкин и писал Хитрово, что он не придает значения анонимному письму.

Можно допустить, что, зная впечатлительность Елизаветы Михайловны и ожидая ее бурную реакцию, Пушкин со свойственным ему благородством советовал ей не принимать к сердцу этот неприятный инцидент, так же как и то, что подобная мерзость прислана ему через нее. Тогда становится понятным ее энергичное возражение в начале письма: «Нет, дорогой друг мой, это для меня настоящий позор».

Письмо к Хитрово было первым откликом Пушкина на полученный им из вторых рук анонимный пасквиль.

Когда же вслед за «дипломом», полученным от Хитрово, подобный же принес Соллогуб, почта доставила ему третий, а затем Пушкин узнал, что семь или восемь человек его знакомых получили такое же письмо под двойным конвертом [65], он увидел, что имя его публично предано осмеянию... Презрение сменилось раздражением, раздражение — гневом, и Пушкин разразился вызовом Дантесу.

Два впервые сообщаемые в печати письма Хитрово к Пушкину дополняют ее образ, сложившийся благодаря опубликованным ее письмам к поэту и воспоминаниям современников.

Экзальтированная, чувствительная, обожавшая Пушкина до поклонения, надоедавшая ему восторженным изъявлением своих чувств, — вот образ этой женщины, какой мы имели до сих пор.

Новое письмо — 1830 года — показывает уже не первый раз, что даже тогда, когда Пушкин стал счастливым женихом, Хитрово продолжала ему писать о своей любви.

Как мы видели, Пушкин ответил ей тотчас же. Пропуская все ее бестактные признания (как делал он и впредь), он из доброты не мог не ответить на ее жалобное письмо. Тем более что политические новости, передаваемые ею, живо его интересовали.

Во втором новом письме — 1836 года — волнение, охватившее Хитрово, вызвано не тем, что автор «диплома» оклеветал жену Пушкина и оскорбил его... Она взволнована тем, что замешали в это дело е е.

Она «на коленях просит» не говорить никому «об этом глупом происшествии». Что разумеет она под этими словами? То, что «диплом» послан через нее. Весь смысл ее письма в том, что е е обидели, что о н а

не заслужила того что Пушкин должен скрыть, что письмо прислано ему через нее!..

И оклеветали-то Наталью Николаевну лишь для того, чтобы «заставить ее сыграть роль посредника» Тут сказывается, может быть, щекотливое положение Елизаветы Михайловны: пересланное ею письмо порочит жену Пушкина, а ведь всем известна ее многолетняя влюбленность в него...

Она и вообразила, что, пересылая оскорбительное письмо Пушкину через нее, аноним рассчитывал, что ее сочтут автором пасквиля.

О чем думает она (преданнейший друг!), узнав содержание письма, пересланного ею Пушкину?!

Такой эгоцентризм оставляет тяжелое впечатление.

Мы знаем, как зубоскалила Софья Карамзина, наблюдая за Пушкиным, потерявшим всяческое самообладание во время преддуэльной истории [66].

Мы знаем, как заявил Вяземский, что он «закрывает лицо свое и отвращает его от дома Пушкиных», видя, что у них происходит что-то, ему не понравившееся... [67]

Знаем мы и о том, что Вера Федоровна Вяземская не предприняла никаких решительных действий для того, чтобы помешать дуэли Пушкина, о которой она узнала от него самого [68].

Мы узнаем, наконец, что Елизавета Михайловна Хитрово, прочитав его письмо об анонимном пасквиле, осталась к Пушкину безучастной.

Конечно, все они спохватились после гибели великого поэта, поняли, как близоруко судили они в свое время, воспринимая подлинную трагедию как комедию, поверхностно, легкомысленно. Перед судом истории они как бы оправдались...

Но так или иначе в роковые дни борьбы Пушкина с клеветой «лучшие друзья» отпадали от него один за другим.

Он пришел к смерти в совершеннейшем одиночестве.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832». Труды Пушкинского дома. Вып. XLVIII. Л., Изд. АН СССР, 1927.

Письма Пушкина к Хитрово — на французском языке и в переводе — напечатаны, кроме вышеуказанной книги, в академическом издании Собр. соч. Пушкина в семнадцати томах (1937—1959), в «малом академическом» издании в десяти томах (в трех изданиях — 1949, 1951, 1957 годов) и в Собр. соч. в десяти томах Гос. изд-ва художественной литературы (1949—1962).

Письма же Е. М. Хитрово к Пушкину вошли только в большое академическое издание.

[2] «Г-жа Хитрово (...) едет в Москву на коронацию», — пишет из Рима в 1826 году кн. Д. И. Долгоруков брату. «Русский архив», 1915, № 3, стр. 392.

[3] П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, стр. 493—494.

[4] en gala — парадно одетая (франц.). См.: «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», стр. 173 и 202; «Русская старина», 1880, июль, стр. 572.

[5] П. А. Вяземский, Письма к жене за 1830 год. «Звенья», VI, М. — Л., 1936, стр. 264.

[6] «Письма князя П. А. Вяземского из Петербурга в чужие края, к А. О. Смирновой». «Русский архив», 1888, № 7, стр. 300 и 302 (перевод).

[7] Графиня — дочь Е. М. Хитрово, графиня Е. Ф. Тизенгаузен.

[8] Пушкин растянул связки на ноге и лежал в постели.

[9] Арендт Николай Федорович (1785—1859) — известный врач, лейб-медик.

[10] Четвертая и пятая главы «Евгения Онегина» вышли в Петербурге в одной книжке между 31 января и 2 февраля 1828 года.

[11] П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 494.

[12] См.: «Рукою Пушкина», стр. 314, 317 и 318.

[13] ПД, ф. 244 (Пушкина), оп. 1, № 80.

[14] Это, во всяком случае, не «Вяземскому», как была прочитана в свое время эта строка (см. «Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание». Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М. — Л., 1937, стр. 34). Мужчинам Пушкин подобных стихов не писал.

[15-16] Оба эти письма к Хитрово датированы в акад. изд.: «Август — первая половина октября 1828 г. (?)» (XIV, 300). Однако, по-видимому, сентябрь и октябрь надо исключить: письма написаны черными чернилами, которыми в это время Пушкин не пользовался, тогда как в августе два автографа написаны черными чернилами. Это стихотворения «Счастлив, кто избран своенравно...» (ПД, № 96) и «Наперсник» (б. ГЛМ, ныне ПД, № 906), датированный тут Пушкиным: «12 авг. 1828».

[17] См.: Ф. Я. Прийма, Пушкин и кружок А. Н. Оленина. В кн. «Пушкин. Исследования и материалы», т. II. М. — Л., 1958, стр. 238—240.

[18] В. Е. Якушкин. Рукописи Александра Сергеевича Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве. «Русская старина», 1884, июль, стр. 46.

[19] Рисунок воспроизведен впервые в книге А. М. Эфроса «Рисунки поэта», М., «Academia», 1933, стр. 241. В комментариях (стр. 376—378) высказано предположение, что здесь изображена П. А. Осипова.
То, что это на самом деле портрет Е. М. Хитрово, определил М. Д. Беляев. См. его кандидатскую диссертацию, посвященную изучению рисунков Пушкина. Автор первой гипотезы А. М. Эфрос, бывший на защите диссертации оппонентом, совершенно согласился с бесспорной атрибуцией М. Д. Беляева.

[20] См.: Т. Цявловская, Рисунок и слово у Пушкина. «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», т. XXVIII, № 3, 1969, стр. 210.

[21] Текст этого рассказа Филарета до нас не дошел.

[22] Глава VII «Евгения Онегина» вышла 18 или 19 марта 1830 года.

[23] Екатерина Николаевна Мещерская, урожденная Карамзина (1809—1867), племянница Вяземского.

[24] «Брак в высшем свете» (англ.), роман Каролины Люси Скотт.

[25] «Пушкин в письмах П. А. Вяземского к жене (1830—1838)». Публикация В. Нечаевой. «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 806.

[26] Н. В. Измайлов, Пушкин и Е. М. Хитрово. В кн. «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», стр. 180—181.

[27] «Пушкин в переписке родственников». Публикация В. Враской. «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 776.

[28] То есть от 9 августа по новому стилю (28 июля по старому). Далее мы называем даты по новому стилю.

[29] Сообщения, передаваемые в этом письме, касаются четырнадцатого дня революции (восстание началось 27 июля).
Казимир Перье был представителем правого крыла либералов в «Муниципальной комиссии», образованной депутатами Думы 29 июля, затем — членом Временного правительства.

[30] Газета «Тан» («Temps») была одним из 11 оппозиционных органов, протестовавших против ограничений печати и других приказов короля Карла X («Шесть ордонансов»), опубликованных 26 июля — накануне революции. 9 августа во Франции была восстановлена монархия, герцог Орлеанский Луи-Филипп был провозглашен королем. Передовая газета вновь объявляла себя оппозиционной.

[31] Студенты Политехнической школы проявили себя еще на баррикадах, где они действовали в рядах восставших и даже командовали ими.

[32] Герцог Бордоский — десятилетний внук Карла X (впоследствии он был известен под именем графа Шамбора), которого низложенный король предлагал короновать под именем Генриха V.

[33] Речь Шатобриана — «одно из наиболее блестящих политических выступлений» его — была произнесена в палате пэров 7 августа при обсуждении вопроса об изменении конституционной Хартии, то есть о провозглашении герцога Орлеанского королем».
См. статью Б. В. Томашевского «Французские дела 1830—1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово» в названной книге, стр. 301—361. Все исторические комментарии к письму Хитрово от 14 августа вплоть до извлечений, заключенных в кавычки, заимствованы нами из этой замечательной работы покойного ученого (стр. 318, 319).
«Либеральные газеты, памятуя популярность Шатобриана как защитника свободы печати и как писателя, обошли молчанием политические аргументы и превозносили эту речь, как произведение ораторского искусства. «Le Temps» 9 августа писал: «Наши мнения замолкают перед таким чувством; наши убеждения лишь увеличивают наше уважение к такой преданности, вполне отдающей себе отчет во всем, и поэтому еще более героической». Напечатана речь была только 11 августа, характеристика ее в письме Хитрово повторяет высказывания газеты.

[34] Лев — брат Пушкина.

[35] Мадонной назвала Хитрово Н. Н. Гончарову под впечатлением рассказов Пушкина или же только что (30 июля), в Петербурге, написанного Пушкиным сонета «Мадонна», в котором поэт воспел свою невесту. В таком случае Пушкин читал Елизавете Михайловне это стихотворение.

[36] Марино Фальеро (1278—1354) — венецианский дож, обезглавленный за участие в заговоре.
Имеется в виду новелла Гофмана «Дож и догаресса».

[37] «Тартюф» — комедия Мольера.

[38] Трехцветная кокарда была внешним знаком восставших, истребивших королевское белое знамя и водрузивших знамя трехцветное — символ революционной Франции.

Тартюф был нарочно украшен белой кокардой как персонаж отрицательный.

[39] **Некое** правительство — Россия.

[40] Мадам де Жанлис — «известная писательница в области детской и педагогической литературы», была воспитательницей герцога Орлеанского (ставшего 9 августа королем Луи-Филиппом). «Последние годы (она умерла 31 декабря 1830 года) она печатала свои мемуары, проникнутые ненавистью к французской философии и революции. Эти мемуары подвергались осмеянию в либеральном «Le Globe» в 1825 году.

[41] Генерал Лафайет — «по происхождению маркиз, родился в 1757 году. В 1776-м отправился в Америку на снаряженном на собственные средства корабле и принял деятельное участие в федеральной армии в борьбе английских колоний за независимость. Был членом Assemblée Nationale, а с 15 июля 1789 года командующим националь-

ной гвардией. В 1792 году бежал во Фландрию и находился пять лет в австрийском плену. После реставрации был депутатом оппозиции». В июльскую революцию стал во главе революционных отрядов.

Надо было бы Жанлис выдать замуж за Лафайета — Жанлис было в это время 84 года, Лафайету — 78.

[42] Генриетта Зонтаг (1805—1854) — немецкая певица с мировым именем, выступавшая в Петербурге в 1830 году впервые.

[43] Фодор — Жозефина Менвиель-Фодор (род. 1793 г.) — известная итальянская певица, сошедшая со сцены в 1828 году.

[44] Джюдита Негри Паста (1798—1865) — итальянская оперная певица, прославившаяся еще более, чем своим виртуозным пением, редчайшим драматическим талантом.

[45] Джованни-Батиста Рубини (1795—1854) — знаменитый итальянский оперный певец, тенор.

[46] Джованни Давид (1789—1851) — итальянский тенор, исполнявший главные партии в ряде опер Россини.

Всех этих певцов Хитрово могла слышать в годы жизни в Италии (1815—1826).

[47] Людвиг Маурер (1789—1878) — немецкий скрипач-виртуоз и композитор, дирижер в Петербурге.

[48] Посланницей называли друзья младшую дочь Е. М. Хитрово, Д. Ф. Фикельмон, жену австрийского посланника в России.

[49] ЦГАЛИ, ф. 195 (князей Вяземских), оп. 1, ед. хр. 2562 (письма Н. А. Полевого к П. А. Вяземскому), лл. 6, 9, 9 об., 7, 7 об., 8, 8 об. Ныне: ф. 384 (Пушкина), оп. 2, ед. хр. 23, лл. 14—17.

Письмо публикуется впервые. Перевод принадлежит И. А. Лихачеву.

[50] Д. В. Голицын (1771—1844) — московский генерал-губернатор.

[51] «Экартэ» — салонная игра в карты. Словом «ордоннанс» Пушкин намекает на ложную значительность «ордоннансов» Карла X (см. примечание 30).

[52] В. Л. Пушкин (1766—1830) — брат отца Пушкина, поэт, сыгравший определенную роль в поэтических симпатиях Пушкина в юности. Он умер в Москве накануне этого письма, 20 августа.

[53] Женитьба Пушкина была отложена не на шесть недель; в силу разных сложностей свадьба состоялась лишь через шесть месяцев, 18 февраля 1831 года.

[54] «Парижанка» («La Parisienne») — «патриотические куплеты» Казимира Делавиня, положенные на музыку Обером, напечатанные во французских газетах 5 августа 1830 года.

[55] Такое же отношение к этим куплетам высказал и историк французской литературы А. Неттман: «От «Parisienne» до Марсельезы так же далеко, как от революции 1830 до 1793. Гимн Казимира Делавиня, у которого поэтическое чувство его «Messéniennes» ослабело, — официальный гимн, написанный поэтом, привыкшим вдохновляться обстоятельствами, и положенный на банальный мотив опереточным композитором. Марсельеза Руже де Лиля — это выражение страстей целой эпохи, воплощенных в крике, слетающем с уст человека, в сердце и уме которого дрожат стремления и отвращения, восторг и гнев целого поколения». См. об этом в названной статье Б. В. Томашевского, стр. 323.

[56] Сравнением песен, рожденных Великой французской революцией и июльской революцией 1830 года, Пушкин возражает мнению Хитрово, высказанному, очевидно, в другом письме, до нас не дошедшем.

[57] Пушкин имеет в виду в первую очередь «участие в событиях» республиканца Лафайета и его политическую программу. Вскоре после признания Луи-Филиппа со стороны революции, Лафайет имел с ним разговор о гарантиях. «Французскому народу необходим в настоящее время народный трон, окруженный республиканскими гарантиями». — заявил Лафайет.

[58] **Епископом** Талейран был с 1788 года. Затем был членом Национальной Ассамблеи в качестве сторонника революции, а с 15 июня 1789 года командующим национальной гвардией. В 1790 году сложил с себя сан. В 1792-м эмигрировал. По возвращении содействовал перевороту 18 брюмера. Впоследствии содействовал реставрации Бурбонов и был одним из главных участников Венского конгресса. В конце реставрации, будучи устраненным от дел, сблизился с Луи-Филиппом.

Епископ этот был под стать брачующимся: в 1830 году ему было 76 лет.

[59] Все трое, принимавшие в свое время участие в Великой революции, были связаны и с прошлым Луи-Филиппа, и с его настоящим.

[60] Слова Хитрово Пушкин приводит по-французски.

[61] Александра Ивановна Васильчикова, урожденная Архарова (1795—1855), — близкая знакомая родителей Пушкина.

[62] Граф В. А. Соллогуб, Воспоминания. Редакция, предисловие и примечания С. П. Шестерикова. Вступительная статья П. К. Губера. М. — Л., «Academia», 1931, стр. 357—358.

[63] ЦГАЛИ, ф. 384 (Пушкина), оп. 2, ед. хр. 23, лл. 7—8 об.

[64] Перевод И. А. Лихачева.

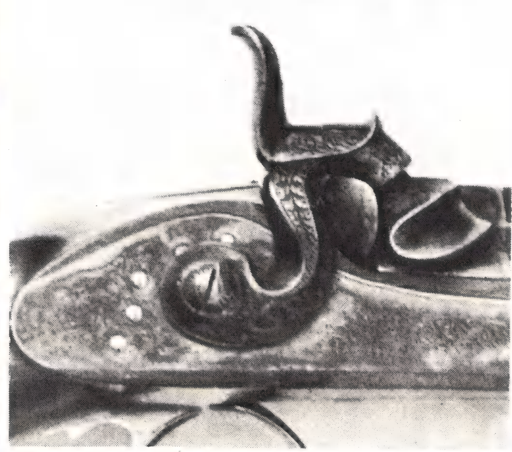
[65] См. письмо Пушкина к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года (XVI, 191 и 397).

[66] 27 января 1837 года С. Н. Карамзина пишет брату Андрею в Париж о «большом собрании» 24 января у их сестры Екатерины Мещерской: присутствовали «Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию, к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра» («Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов». М. — Л., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 165).

[67] Там же.

[68] См. письмо В. Ф. Вяземской к Е. Н. Орловой («Новый мир», 1931, № 12, стр. 188—189).





Н. Б. Востокова

Пушкин по архиву Бобринских

Первое упоминание о Бобринских в переписке Пушкина относится к 1832 году. Поэт напоминает жене о встрече с Александровым[1] у Бобринской.

Единственное дошедшее до нас письмо Пушкина, в сущности, записка, адресованная А. А. Бобринскому 6 января 1835 года, свидетельствует о приятельских взаимоотношениях поэта с этим «старым знакомым» (XV, 75).

Наконец известно, что члены этой семьи порой выручали поэта из неловкого положения, в которое он попадал на дворцовых приемах. В дневнике Пушкина имеется запись от 18 декабря 1834 года с описанием бала в Аничковом дворце.

«На лестнице встретил я старую г[рафиню] Бобр[инскую], которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в А[ничков] ездят с круглыми шляпами; но это еще не все). <...> Г[раф] Бобр[инский], заметя мою △[2] шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну, такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели» (XII, 333).

Итак, Пушкин посещал дом Бобринских, встречался с ними во дворце, однако это семейство не занимало особого места ни в жизни поэта, ни тем более в его сердце.

И тем не менее обширный архив Бобринских[3] обогащает нас представлениями о Пушкине и его времени. Познакомившись ближе с одним из первых семейств «большого света», мы заметим немало черт, вообще свойственных светскому окружению поэта.

Кроме того, Бобринские — люди весьма осведомленные, и в их бумагах встречаются важные подробности, в частности, о жизни и гибели Пушкина.

Попытаемся разобраться, кто такие Бобринские.

Крупные землевладельцы, они были близки ко двору по своему происхождению: родоначальник этой фамилии — Алексей Григорьевич Бобринский — был внебрачным сыном Екатерины II и графа Григория Орлова. Фамилию свою Бобринские по-

лучили от названия имения Бобрики в Тульской губернии, дарованного Екатериной сыну. Екатерина интересовалась судьбой сына, следила за его воспитанием и хорошо обеспечила его имущественное положение. Не оставлял Бобринского своими милостями и Павел I, который пожаловал брата своего в графы. К моменту знакомства с Пушкиным эта семья состояла из вдовы Алексея Григорьевича Бобринского — графини Анны Владимировны, рожденной Унгерн-Штернберг, ее сыновей — Алексея, Павла и Василия и дочери Марии (бывшей замужем за князем Николаем Сергеевичем Гагариным). Пушкин был знаком и общался главным образом со старой графиней Бобринской, ее старшим сыном Алексеем Алексеевичем и его женой Софьей Александровной Бобринской, рожденной графиней Самойловой. Софья Александровна приходилась двоюродной сестрой Николаю Николаевичу Раевскому-старшему, дружила с его дочерьми, в особенности с Екатериной, женой М. Ф. Орлова.

Алексей Алексеевич (1800—1868) — фигура сложная. Этот светский приятель Пушкина, по словам П. А. Вяземского, «не был тем, что обыкновенно называют царедворцем» [4].

Блестящая образованность, не характерные для его круга обширные познания в сельском хозяйстве, промышленности, математике, финансах, увлечение химией, механикой, фотографией, разными ремеслами, крупная — по сути, вполне буржуазная — предпринимательская деятельность (основание свеклосахарных заводов, участие в железнодорожном строительстве) — по словам Вяземского, «он положил первые железные рельсы на русской почве» [5]. При этом особое благоволение Николая I, высокие придворные чины и должности (камергер, церемониймейстер и управляющий двором великой княжны Ольги Николаевны и с 1845 года — шталмейстер).

Если попытаться дать оценку политическим взглядам Бобринского, то его можно назвать либералом, но его либерализм был скорее всего данью моде, отзвуком александровской эпохи.

Политические взгляды большинства в то время лучше всего проверялись отношением к восстанию декабристов.

Как известно, в дни восстания декабристов Кавалергардский полк, в котором служил Бобринский, оставался верен новому императору. 14 декабря 1825 года по приказу Николая I Бобринский вместе с полком находился на Адмиралтейской площади: Николай стягивал верные ему войска

Вот как описывает события этого дня со слов Бобринского его сын: «14 декабря, отправившись с другими офицерами во дворец к присяге в полной форме, он узнал, что полк вызван по тревоге в походной форме. Вернувшись скорее домой, он переоделся, надел латы, сел верхом и поспешил к полку, которому назначено было собраться на Адмиралтейской площади. Но так как Галерная была запружена народом и войсками, то он, объехав вокруг своего дома и сада, поскакал к площади вдоль по набережной Адмиралтейского канала. Рядом с ним бежали в беспорядке матросы гвардейского экипажа. На площади он нашел свой полк, выстроенный от угла бульвара до военного министерства (Лобанова дома, на углу Вознесенского проспекта) лицом к синоду и Конногвардейскому манежу. Мятежники, стоявшие спиной к сенату, стреляли. Вдруг сзади кавалергарды услыхали шум колес артиллерии, прискакавшей во весь опор и снимавшей орудия с передков назади полка. В первую минуту кавалергарды не знали, находится ли артиллерия на их стороне и не передалась ли она мятежникам. Но раздалась команда, эскадроны раздвинулись и дали место артиллерии, которая сделала несколько выстрелов по мятежникам, вскоре обратившимся в бегство. Кавалергарды ночевали у бивачных огней на Дворцовой площади и посылали разъезды по городу. Картечная пуля, пролетевши всю Галерную, завязла в штукатурке дома графа Бобринского и долго потом хранилась у него» [6]. Что и говорить, воспоминание весьма верноподданническое. Но при этом, не разделяя политических взглядов декабристов, супруги Бобринские отнюдь не одобряли жестокой расправы царя с восставшими (среди которых были родственники, друзья и знакомые). 10 октября 1827 года мать С. А. Бобринской, Екатерина Сергеевна Самойлова, писала дочери: «Письмо несчастной Катеньки Лих. я буду стараться, если возможно, переслать к мужу. Ей узнаю, как это делается и кто знает, где он?

Но как надеяться, что она от него может ответ иметь?

Как она тебе должна быть благодарна, мой друг Сонюшка, за те приятные минуты, что ты доставила ей, как она писала письмо к мужу. Надежда, что он получит его, уж это много в ее положении» [7]. Несомненно, здесь имеется в виду жена одного из «государственных преступников», ско-

Письмо С. А. Бобринской
к мужу.

рее всего жена декабриста Владимира Николаевича Лихарева — Екатерина Андреевна (рожденная Бороздина).

По-видимому, Софья Александровна решила помочь своей родственнице переправить письмо Лихаревой к мужу, который в то время уже находился на Нерчинских рудниках[8]. Из осторожности она поручила это дело матери.

Еще два обстоятельства опасно сблизили биографию Алексея Бобринского с людьми 14 декабря: случайный выстрел, произведенный из окна дома Бобринских[9], был истолкован как покушение на Николая I. Много лет спустя сын Бобринского Александр в воспоминаниях об отце сообщал, что «все это происходило не долго после 14 декабря 1825 г.; а это обстоятельство придавало всему делу особенную важность. <...> Его (А. А. Бобринского. — *Н. В.*) посадили на гауптвахту в Адмиралтейство. Так как в бунт 14 декабря были замешаны многие офицеры гвардейских полков, и в том числе и близко знакомые с графом Алексеем Алексеевичем, часто у него бывавшие, то дело это могло иметь для него довольно серьезные последствия»[10]. Вся эта история вскоре была предана забвению.

Другой эпизод был серьезнее: родные братья Алексея Бобринского, Василий и Павел, были непосредственно замешаны в декабристском движении. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции среди неопубликованных материалов о декабристах хранится дело «О графе Бобринском, отставленном из л.-г. Гусарского полка корнете»[11]. Имеется в виду Василий Бобринский. Следствие началось в апреле 1826 года и протянулось до июля. В деле имеются допросные пункты и показания свидетелей. Самого Василия Алексеевича не допрашивали, так как он в это время находился за границей.

По делу Бобринского были допрошены Свистунов, Толстой, Сабуров, Арбузов, Вадковский, Барятинский и Шервуд.

Несмотря на разноречивые показания свидетелей о причастности Бобринского к обществу, видно, что Василий Бобринский состоял в Северном обществе, куда был принят в 1824 году А. П. Барятинским. Из показаний мы узнаем, что Василий Бобринский совместно со своим братом Павлом хотел завести для общества тайную типографию, для чего просил принять того в общество и даже пожертвовал на типографию денежную сумму (по данным Шервуда и Вадковского, 10 тысяч рублей).



А. А. Бобринский.
Акварель работы
П. Ф. Соколова.

То ли помогло чье-то высокое вмешательство, то ли действительно Василий Бобринский не успел себя достаточно проявить в обществе, но следствие над ним закончилось сравнительно благополучно. Он не был подвергнут ни высылке, ни аресту, однако на полях следственного дела имеется запись: «Высочайше повелено учредить секретный надзор. Письмо г. управляющему Министерством иностранных дел 19 июля 1826 г. № 943»[12].

Жена Алексея Бобринского, Софья Александровна, была фигурой не менее сложной и противоречивой, чем ее муж. Ближайшая подруга императрицы, женщина, которую исследователи заподозрили в причастности к придворной интриге, направленной против Пушкина[13], заслуживает самого пристального внимания.

Почти все современники единодушно отмечают ее ум, приятную внешность, очарование, любезность и светскость. Французский политический деятель А. Фаллу находил, что Софья Александровна отличалась «умом проницательным и твердым и дер-

жала в своих руках жезл правления петербургскими салонами» [14]. Императрица Александра Федоровна в письмах к Бобринской восхищается ее умом, красотой и тонкими дипломатическими способностями [15]. Приятельница Пушкина А. О. Смирнова (Россет) в своих воспоминаниях лишь вскользь упоминает о Софье Александровне, утверждая, что в нее был безумно влюблен Василий Перовский, который, узнав о ее замужестве, даже стрелялся. На вопрос, кто же выдал Софью Александровну замуж за Бобринского, Смирнова довольно ехидно отвечала: «Мужики, восемь тысяч душ» [16]. Утверждение бесспорно злое и неверное, полностью опровергаемое перепиской супругов Бобринских.

Наиболее подробную и восторженную характеристику С. А. Бобринской оставил П. А. Вяземский, который в течение многих лет был постоянным посетителем ее петербургского салона.

«Графиня Софья Александровна Бобринская, урожденная графиня Самойлова, была женщина редкой любезности, спокойной, но неотразимой очаровательности. <...> Ей равно покорялись мужчины и женщины. Она была кроткой, миловидной, пленительной наружности. В глазах и улыбке ее были чувство, мысль и доброжелательная приветливость. Ясный, свежий, совершенно женственный ум ее был развит и освещен необыкновенною образованностью. Европейские литературы были ей знакомы, не исключая и русской. Жуковский <...> узнал ее, оценил, воспевал и остался с нею навсегда в самых дружеских сношениях [17]. Императрица Александра Федоровна угадала ее по сочувствию и сблизилась с нею. <...> Графиня мало показывалась в многолюдных обществах. Она среди общества, среди столиц жила какою-то отдельной жизнью — домашнею, келейною; занималась воспитанием сыновей своих, чтением, умственною деятельностью; она, так сказать, издали и заочно следила за движением общественной жизни, но следила с участием и проницательностью. Салон ее был ежедневно открыт по вечерам. Тут находились немногие, но избранные» [18].

Знакомясь с перепиской и другими документами Софьи Александровны, находящимися в фонде Бобринских, можно прийти к более полной и объективной оценке ее личности.

В практических, житейских вопросах Бобринская была намного умнее своего мужа, которым, кстати, и руководила. Светская жизнь была единственным возможным полем деятельности для ума Софьи Александровны и ее способностей. Однако она действительно редко выезжает в свет и предпочитает, оставаясь в тени, следить за происходящими событиями.

Софья Александровна блестяще владеет пером. Ее письма содержательны и остроумны. Среди разбора мелочей и сплетен большого света мелькают имена Жуковского, Козлова, Вяземского, Пушкина, Ростопчиной. Салон Софьи Александровны посещали, по словам Вяземского, «немногие, но избранные <...> молодые люди <...> дипломаты, просвещенные путешественники <...> государственные люди» [19]. «Между ними (посетителями. — *Н. В.*), — вспоминал Бобринский-сын, — выдавались гр. Нессельроде, гр. Гурьев, гр. Строгановы, В. А. Жуковский, Пушкин, кн. Вяземский, лорд Блоумфильд, гр. Фикельмон, Вьельгорский и др.» [20]. Таким образом, среди ближайших друзей хозяйки салона мы встречаем и врагов Пушкина.

«Граф Нессельрод занимал тут едва ли не первое место. <...> Салон графини Бобринской был любимым приютом его» [21]. Имена супругов Нессельроде непрерывно встречаются в письмах Бобринских. Алексей Алексеевич Бобринский говорит о М. Д. Нессельроде: «Эту женщину я больше всего люблю в Петербурге» [22]. Бывал в салоне Бобринской и Геккерн: в 1833 году Софья Александровна подробно описывает мужу, как в их доме Виельгорский, Вяземский, Нессельроде и Геккерн лили из сахара гербы [23].

Насколько близка была дружба между Бобринским и Геккерном («Экарном»), судить трудно, но имя последнего упоминается с 1827 года [24] и в переписке Бобринских, и в письмах к Софье Александровне, ее матери. «Я была недавно в театре, — пишет Е. С. Самойлова 29 июня 1827 года, — Экарн просил об нем тебе вспомнить» [25]. 6 сентября того же года подробно описывается роскошное празднество у Мамоновой: «Чужестранные были: голландский, французы, все тебе кланеются», — пишет Екатерина Сергеевна [26].

В письме от 23 декабря 1827 года та же Екатерина Сергеевна в виде курьеза сообщает о случае, связанном с Геккерном: «Третьего дни у Экарна был бал, и Валентин [27] приезжал к Ферзену [28], чтоб он сказал голландскому, чтоб позвали Черткова [29] с женою. Ферзен ездил, но Экарн не позвал, говорит, что Чертков ему не кланяется и что и ему до него дела нет» [30].

Из письма Софьи Александровны к му-



С. А. Бобринская.
Акварель работы
П. Ф. Соколова, 1827 г.

жу от 22 октября 1834 года мы узнаем о болезни Геккерна. «Геккерн поднялся со смертельной болезни. Трепетали за его жизнь. Мозговая горячка подвергла его жизнь опасности. Он поправился, что радует всех его друзей» [31]. Последняя фраза, несомненно, свидетельствует о том, что Софья Александровна относит и себя к числу этих друзей.

Любопытно, как, находясь в дружбе с врагами Пушкина, сама Софья Александровна относилась к поэту. Теперь мы располагаем документами, позволяющими судить об этом. 10 октября 1831 года Софья Александровна восторженно пишет мужу:

«...Я тебе говорила, что мадам Хитрово с дочерью Долли оказали мне честь, пригласив на литературный вечер. Был разговор только о Пушкине, о литературе и о новых произведениях» [32].

Бобринская предстает как человек, интересующийся литературой, ценящий Пушкина, следящий за его творчеством.

Но вот в безмятежную жизнь великосветского салона проникают странные слухи о событиях в доме Пушкина, о зловещей интриге вокруг поэта.

Бобринскую все это живо интересует, она многое знает и кое-что доверяет бумаге.

В истории дуэли Пушкина одним из наиболее загадочных обстоятельств является женитьба Дантеса на Екатерине Гончаровой. Весть о женитьбе Дантеса-Геккерна удивила всех и вызвала оживленные толки. Отклики на это событие отразились как в переписке современников, так и в мемуарной литературе. Еще одним живым свидетельством современницы служит письмо Софьи Александровны к мужу:

«Никогда еще с тех пор как стоит свет не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустную молву. Да, он женится, и мадам де Севинье [33] обрушила бы на него целый поток эпитетов, каким она удостоила некогда громкой памяти [Лемюзо] [34]! Да, это решенный брак сегодня, какой навряд ли состоится завтра. Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина.

Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героиче-

Барон Луи Геккерн.
Гравюра Карамзина. 1843 г.

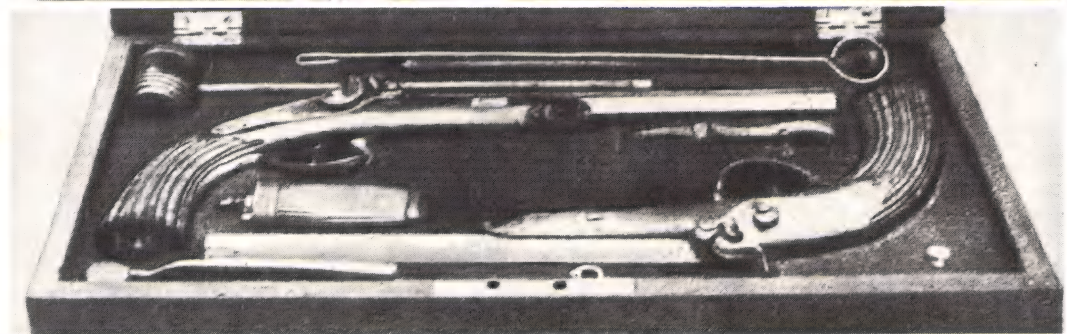
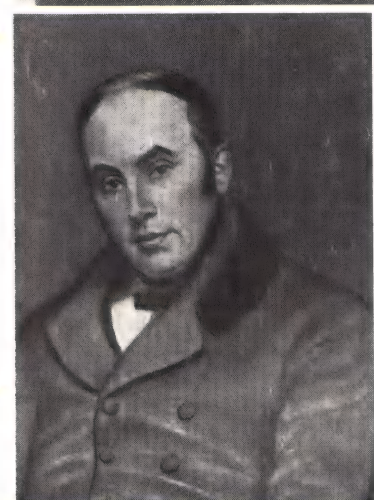
К. В. Нессельроде.
Гравюра
Гоффмейстера.

Дуэльные пистолеты первой
трети XIX века.

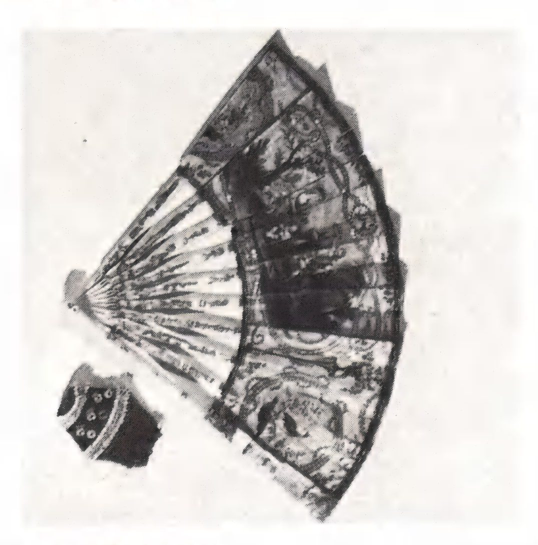
В. А. Жуковский.
Литография, 1820 г.

Е. И. Загряжская.
Акварель работы
А. П. Брюллова.







Веер 1830-х годов.

ского самопожертвования, это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно.

В свете встречают мужа, который усмехается, скрежеща зубами. Жену, прекрасную и бледную, которая вгоняет себя в гроб, танцуя целые вечера напролет. Молодого человека, бледного, худого, судорожно хохочущего; благородного отца, играющего свою роль, но потрясенная физиономия которого впервые отказывается повиноваться дипломату.

Под сенью мансарды Зимнего дворца тетушка плачет, делая приготовления к свадьбе. Среди глубокого траура по Карлу X видно одно лишь белое платье, и это непорочное одеяние невесты кажется обманом! Во всяком случае, ее вуаль прячет слезы, которых хватило бы, чтобы заполнить Балтийское море. Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни. Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина. Все остальное — месть, которую можно лишь сравнить со сценой, когда каменщик замуровывает стену [35]. Посмотрим, не откроется ли сзади какая-нибудь дверь, которая даст выход из этого запутанного положения. Посмотрим, допустят ли небеса столько жертв ради одного отомщенного!



Е. Н. Геккерн.

Вчера праздновали Катерин. Я бегала из дома в дом поздравлять всех именинниц. Мадам Сухозанет [36] была очень тронута моим вниманием, также княгиня Гогенлоэ [37] и особенно старая военная тетка [38]. Я выхожу так мало и бываю везде так





Ж. Дантес. Рисунок карандашом Т. Райта, 1835—1837 гг.

редко, что я смущаюсь тем вниманием, какое я вызываю своим появлением в гостиной. Все эти охи и ахи меня стесняют и приводят в замешательство. Все же мне надо понемножку вернуться к светской жизни, потому что я совсем заплесневела и не могу сказать ни слова ни с кем из тех, кого я не люблю или не знаю. <...>» [39]

Письмо датируется 25 ноября 1836 года (Катеринин день — 24 ноября).

Бобринская не была близким другом поэта и, естественно, не могла непосредственно наблюдать за его душевным состоянием. Поэтому письмо основано на великосветских слухах и сплетнях. Умная и наблюдательная, Софья Александровна почувствовала за этой женитьбой какую-то тайну. И она жаждет понять и распутать эту непонятную ей историю.

Как и многие ее современники, Бобринская поражена этим браком. Так же как и многие другие, видит в поступке Дантеса героическое самопожертвование по отношению к Наталье Николаевне Пушкиной, и вместе с тем всему этому она дает свою, неожиданную для нас оценку: «Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго — это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно».

Она хочет осознать смысл происходящих событий не только из праздного любопытства:

«Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что даже не допускает сплетен».

Находя этот брак глупостью со стороны Дантеса и даже сравнивая последнего с персонажем писем мадам де Севинье, Бобринская (так же, как и Пушкин) сомневается: «Да, это решенный брак сегодня, который навряд ли состоится завтра».

Живо и образно описывает Бобринская поведение каждого из участников разыгравшейся драмы.

Вспомним, что и С. Н. Карамзина в письме к брату от 20 ноября отмечает лихорадочную веселость и легкомыслие Дантеса.

«Вид у него такой, как будто он очень доволен, он даже словно обуреваем какой-то лихорадочной веселостью и легкомыслием» [40].

В другом письме, от 23 декабря (то есть на месяц позже письма Бобринской), С. Н. Карамзина описывает состояние поэта:

«Пушкин по-прежнему ведет себя до крайности глупо и нелепо. Выражение лица у него как у тигра. Он скрежещет зубами всякий раз, как заговаривает об этой свадьбе» [41].

Любопытно замечание Бобринской, касающееся Геккерна, который был, видимо, настолько потрясен и взволнован этой историей, что его физиономия «впервые отказывается слушаться дипломата».

Как известно, в деле улаживания «ноябрьского конфликта» Пушкина с Геккерном далеко не последнюю роль играла Е. И. Загряжская. Стремясь предотвратить дуэль, она вела активные переговоры с Геккернами, взяв к себе в помощники Жуковского. Ей необходимо было спасти репутацию любимой племянницы — Наталии Николаевны, оградить ее от скандала и сплетен и — главное — спасти честь второй племянницы — Екатерины.

Ведь не случайна фраза Бобринской о том, что «непорочное платье невесты производит впечатление обмана».

16 ноября у австрийского посланника Фикельмона был большой раут.

«На рауте, — вспоминает Соллогуб, — все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Наталии Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С ней любезничал Дантес-Геккерн. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как я узнал потом, самому Дантесу высказал несколько более чем грубых слов» [42].

Говоря о белом платье невесты, Бобринская, несомненно, имела в виду этот раут.

Почти все современники Пушкина отмечали большую радость Екатерины Гончаровой по случаю ее свадьбы с Дантесом.

«Екатерина себя не помнит от радости, по собственным ее словам, она не смеет поверить, что ее мечта осуществилась», — писала С. Н. Карамзина брату [43].

Бобринская видит другое: «Ее вуаль прикрывает слезы, — пишет она, — которыми можно было бы заполнить Балтийское море».

На правах близкого друга Пушкина деятельное участие в ноябрьских переговорах принимал Жуковский, выступая в качестве посредника между Пушкиным и Геккернами.

Как мы знаем, его посредничество окончилось полной неудачей, после чего в переговоры на правах родственницы вступает Екатерина Ивановна Загряжская. Жуковский уже только помогает ей.

Основным условием благополучного разрешения ноябрьского конфликта Жуковский считал сохранение в полной тайне как дуэльного вызова, так и проекта бракосочетания Дантеса с Екатериной Гончаровой.

Но Бобринская удивительно точно осведомлена о некоторых событиях этой предыстории. Она знает об анонимных письмах и их характере; знает она и о том, что «тетушка (Екатерина Ивановна Загряжская) плачет, делая приготовления к свадьбе». Ее рассуждения о мести и жертвах прямо перекликаются с высказыванием Пушкина о задуманной им «мести, единственной в своем роде» (XVI, 186 и 395), то есть полнейшей компрометации Геккерна как посланника европейской державы.

Вспомним, что написал Пушкин в письме к старому Геккерну: «Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делается у других и расстраивать их планы, вы отдадите мне справедливость и признаете, что были побиты по всем пунктам. <...> Дуэли мне уже не достаточно <...> и, каков бы ни был ее исход, я не сочту себя достаточно отмщенным...» (XVI, 190—191 и 397 — перевод).

Письмо было написано после 17 ноября и прочтено Пушкиным Соллогубу. Соллогуб вспоминает, как он испугался этого письма и сообщил его содержание Жуковскому на вечере у Одоевского. «На другой день у Кар<амзиных> Жук<овский> сказал мне, что письмо остановлено», — завершает Соллогуб [44].

Вере Федоровне Вяземской Пушкин сказал (21 ноября) более определенно: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать» (XVI, 186 и 395).

В своем письме Бобринская нигде прямо не упоминает о дуэли, но, судя по подтексту, она знает и о ней. По-видимому, у Бобринской был верный источник информации, скорее всего Жуковский, который хотя и хранил тайну, но не мог устоять перед расспросами «графини Прелесть Александровны».

Проходит два с небольшим месяца — и Пушкина уже нет... 16 февраля 1837 года С. А. Бобринская пишет своей родственнице, Софье Прокофьевне Бобринской:

«Говорят о танцевальных утрах, о вечерних катаньях с гор. Масленица заглушила шумом своих бубенчиков ужасный отголосок смерти нашего Пушкина. Я сообщила сестре все подробности этого трагического

конца. Расспросите ее об этом. Это нас привело в оцепенение в течение недели; но масленица закружила головы самым пылким и...[45] Такова жизнь»[46].

Что знала Бобринская о смерти Пушкина, какие подробности могла сообщить своей сестре Елене Александровне Захаржевской? К сожалению, такого письма обнаружить не удалось. Адресат письма Бобринской — Софья Прокофьевна — в то время находилась в Одессе, где жила и родная сестра Софьи Александровны. Из осторожности или по каким-либо другим соображениям Софья Александровна не хотела в данном письме описывать подробности «трагического конца» и советует подруге получить эти сведения от Е. А. Захаржевской при свидании...

Письмо Бобринской, посвященное «ноябрьскому конфликту», ценно тем, что, написанное в те же дни, оно свидетельствует о понимании этой умной современницей трагичности создавшегося положения, чего не видели даже и в январе ближайшие друзья Пушкина, Карамзины.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Александров Павел Константинович (1808—1857) — внебрачный сын вел. кн. Константина Павловича, офицер л.-г. Конного полка; по-видимому, один из поклонников Н. Н. Пушкиной.

2 Так заменил Пушкин в дневнике слово «треугольную».

3 ЦГАДА, ф. 1412.

4 П. А. Вяземский, Граф Алексей Алексеевич Бобринский. Полн. собр. соч., т. VII, СПб., 1882, стр. 220.

5 Там же, стр. 229.

6 ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 82, лл. 5 об. — 6.

7 ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 422, лл. 23об. — 24.

8 В. Н. Лихарев был доставлен на Нерчинские рудники 4 апреля 1827 года. «Несчастная Катенька» так и не последовала в Сибирь за мужем и в 1836 году вышла в Крыму вторично замуж за Льва Шостака.

9 Выстрел был произведен приятелем А. А. Бобринского секретарем английского посольства Малетом, который ради развлечения решил испробовать духовое ружье, изготовленное Бобринским.

10 ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 82, л. 7.

11 ЦГАОР, ф. 48, ед. хр. 131.

12 ЦГАОР, ф. 48, ед. хр. 131, л. 5.

13 Э. Г. Герштейн, Вокруг гибели Пушкина. «Новый мир», 1962, № 2, стр. 212, 218.

14 Там же, стр. 218.

15 Там же.

16 А. О. Смирнова-Россет, Автобиография. М., «Мир», 1931, стр. 192—193.

17 В. А. Жуковский познакомился с С. А., вероятно, в 1819—1820 годах и был тогда в нее влюблен. Он посвятил Софье Александровне ряд стихотворений; после замужества ее сохранил с ней дружбу, продолжал бывать в доме и называл в письмах «дорогой графиней Прелесть Александровной» (ЦГАДА, ф 1412, оп. 1, ед. хр. 379).

18 П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1882, стр. 224.

19 Там же.

20 ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 82, л. 10.

21 П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 224—225.

22 ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 215, л. 23 (на франц. яз.).

23 ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 119 (на франц. яз.).

24 Геккерн появился в России в 1823 году сперва в должности поверенного в делах при нидерландском посольстве. С 26 марта 1826 года стал нидерландским посланником, или полномочным министром.

25 ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 422, л. 3 об.

26 Там же, л. 13 об.

27 Валентин Григорьевич Строганов (ум. 1833 г.).

28 Павел Карлович Ферзен (1800—1884), кавалергард, затем егермейстер.

29 Иван Дмитриевич Чертков (1796—1865) — шталмейстер.

30 ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 422, л. 46 об.

[31] ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 120, л. 21 (на франц. яз.).

[32] ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 116, л. 44, об. (на франц. яз.).

[33] Мадам де Севинье (1626—1696) — французская писательница, прославившаяся своими письмами, главным образом к дочери, многократно изданными.

[34] Лемюзо — один из персонажей писем де Севинье.

[35] Имеется в виду сцена из комической оперы Обера «Каменщик» на текст Скриба и Делавиня, которая с успехом шла в Петербурге и Москве.

[36] Жена генерала И. О. Сухозанета — Екатерина Александровна, урожд. княжна Белосельская - Белозерская (1804—1861).

[37] По-видимому, русская, на которой женился вюртембергский принц Гогенлоэ; о нем см. «Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, вып. 2. СПб., 1913, стр. 244.

[38] «Военной теткой» («tante militaire») называли жену кн. Д. П. Волконского, Екатерину Александровну, рожд. Мельгунову (ум. в 1853 г.).

[39] ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 121, лл. 10—11 (на франц. яз.).

[40] И. Андроников. Я хочу рассказать вам... М., 1965, стр. 113.

[41] Там же, стр. 122.

[42] В. А. Соллогуб. Воспоминания. М. — Л., «Academia», 1931, стр. 363.

[43] И. Андроников, Указ. соч., стр. 113.

[44] В. А. Соллогуб, Указ. соч., стр. 370.

[45] Многоточие в подлиннике письма.

[46] ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, ед. хр. 480, л. 49 об. (на франц. яз.).

Послесловие составителя

Письмо С. А. Бобринской от 25 ноября 1836 года дает повод еще раз поднять один до сих пор не разрешенный вопрос в преддуэльной истории Пушкина.

Речь идет о причинах сватовства Дантеса к Екатерине Николаевне Гончаровой.

Удивлялись этому сватовству многие. «Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, — пишет Бобринская. — Это возвышенно и смехотворно». «Мне бы хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса, — писала императрица Александра Федоровна одной из своих фрейлин, Е. Ф. Тизенгаузен. — Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Что это — великодушие или жертва?»

И второе письмо Александры Федоровны к тому же адресату: «Мне жаль Дантеса, нужно было бы помешать этому браку — он будет несчастием для них обоих...» [1]

В наши дни, когда мы располагаем множеством документов того времени, нет оснований недоумевать, чем вызван этот нашумевший брак.

В публикуемом письме Бобринской обращает на себя внимание сообщение о слезах Екатерины Николаевны Гончаровой и о слезах ее тетки.

Если слезы невесты еще можно было бы объяснить тем, что она не верит в любовь жениха, то слезы Загряжской объясняются иначе.

Сведение об этом нельзя не сопоставить с ее письмом к Жуковскому, написанному, когда брак был уже решен: «Слава богу, кажется, все кончено. Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому счастию, за четверть часа пред ними приехал из Москвы старшой Гончаров, и он объявил им родительское согласие, итак, все концы в воду. <...> Теперь позвольте мне от всего моего сердца принести вам мою благодарность и простите все мучении, которые вы претерпели во все сие бурное время, я бы сама пришла к вам, чтоб отблагодарить, но, право, сил нету.

Честь имею быть с истинным почтением и с чувствительною благодарностию по гроб мой

К. Загряжская» [2].

Все письмо проникнуто успокоением — брак состоится, «итак, все концы в воду».

---

[1] Оба письма в подлиннике на французском языке. Напечатаны в книге: «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово». Л., 1927, стр. 200.

[2] Письмо без даты. В кн.: П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, 3-е изд., М. — Л., 1928, стр. 315.

Этому предшествовала изнурительная борьба за устройство судьбы племянницы. Борьба Загряжской отражена в заметках Жуковского о гибели Пушкина; «4 ноября. Les lettres anonymes[3]. 6 ноября. <...> Вечером письмо Загряжской. 7 ноября. Я поутру у Загряжской. От нее к Геккерну. <...> Открытия Геккерна. О любви к Катерине. <...> О предполагаемой свадьбе. Мое слово. Мысль [ду<эль>] все остановить. Возвращение к Пушкину. Les révélations[4]. Его бешенство. Свидание с Геккерном. <...> 8. Pourparlers[5]. Геккерн у Загряжской. Я у Пушкина. Большее спокойствие. Его слезы. <...> 9. Les révélations de Heckern[6]. Мое предложение посредничества»[7].

Слова «итак, все концы в воду» недвусмысленно намекают на последствия неосторожной любви.

О том же говорит и письмо Геккерна, написанное приемному сыну его, Геккерну-младшему (Дантесу). Письмо без даты, но написано оно, бесспорно, 20 марта 1837 года (на другой день после отъезда Дантеса из России, а выслан он был 19 марта): «<...> Твоей жене сегодня лучше, но доктор не позволяет ей встать; она должна пролежать еще два дня, чтобы не вызвать выкидыша; была минута в эту ночь, когда его опасались <...>»[8].

Письмо на французском языке. У П. Е. Щеголева неточный перевод: выкидыш; в оригинале — fausse-couche[9], что в данном случае означает преждевременные роды. Об этом можно судить по написанному в тот же день письму Екатерины Николаевны к мужу: «<...> Вчера, после твоего отъезда, графиня Строганова оставалась еще несколько времени с нами; как всегда, она была добра и нежна со мной; заставила меня раздеться, снять корсет и надеть капот; потом меня уложили на диван и послали за Раухом, который прописал мне какую-то гадость и велел сегодня еще не вставать, чтобы поберечь маленького: как и подобает почтительному и любящему сыну, он сильно капризничает, оттого что у него отняли его обожаемого папашу; все-таки сегодня я чувствую себя совсем хорошо, но не встану с дивана и не двинусь из дому...»[10]

Итак, через два месяца после свадьбы у Екатерины Николаевны едва не начались преждевременные роды.

Женитьбу Дантеса и следует объяснять беременностью Екатерины Гончаровой.

Всех этих щекотливых обстоятельств приходится касаться, потому что они имеют прямое отношение к трагедии, сведшей Пушкина в могилу.

Эту версию брака Дантеса выдвинул уже сорок лет назад Л. П. Гроссман в своей статье «Женитьба Дантеса»[11]. Приведенное автором письмо Екатерины Николаевны (см. его выше) и «целый ряд других указаний в письмах Геккерна и его новой невестки определенно указывают не на начальный, а на сильно подвинутый и даже, возможно, конечный период беременности»[12] в марте 1837 года.

Однако, несмотря на непреложность утверждения Л. П. Гроссмана, была сделана попытка отвести его. Опровержение М. И. Яшина было совершенно голословным: «Упоминания и заботы о здоровье Екатерины в мартовских письмах к Дантесу для этой версии достаточных оснований не дают»[13].

Вместо совершенно естественной и обоснованной версии женитьбы Дантеса, высказанной Л. П. Гроссманом, М. И. Яшин предложил свою: «Только «высочайшей волей» можно объяснить эту необходимость»[14]. Далее следует ряд «доказательств», якобы поддерживающих это построение.

Подробно разбирал вопрос о женитьбе Дантеса И. Л. Андроников. В последнее издание своей статьи «Тагильская находка» он ввел новый материал:

«В 1963 году в Париже вышла книга «Сон юности» — записки дочери Николая I,

---

[3] Анонимные письма.

[4] Откровения.

[5] Переговоры.

[6] Откровения Геккерна.

[7] И. Боричевский, Заметки Жуковского о гибели Пушкина. В кн.: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. 3. М. — Л., 1937, стр. 372—373.

[8] П. Е. Щеголев, Указ. соч., стр. 344.

[9] Точный перевод: ложные роды. Употребляется и в значении «выкидыш», и в значении «преждевременные роды».

[10] П. Е. Щеголев, Указ. соч., стр. 337.

[11] Леонид Гроссман, Цех пера. М., «Федерация», 1930, стр. 264—278.

[12] Там же, стр. 276.

[13] Михаил Яшин, Хроника преддуэльных дней. «Звезда», 1963, № 8. стр. 169.

[14] Там же, стр. 171

Ольги Николаевны, королевы вюртембергской, написанные ею на склоне лет по-французски. Изданы эти записки впервые на немецком языке в 1955 году. Теперь они появились во Франции в русском переводе М. Б. Беннинггаузен-Будберг» [15].

После того как по городу, — пишет дочь Николая, — «уже циркулировали анонимные письма, в которых обвиняли красавицу Пушкину, жену поэта, в том, что она позволяет Дантесу ухаживать за собой», и «горячая кровь Пушкина закипела», «папа <...> поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано жениться на младшей сестре Натали Пушкиной, довольно заурядной особе» [16].

Исследователь считает, что «сочинить эту версию, выдумать, что приказание Дантесу жениться исходило от императора, Ольга Николаевна не могла. <...> И мы понимаем теперь, что Николай приказал Дантесу жениться, дабы избегнуть скандала, которым угрожал Пушкин Дантесу и Геккерну с того самого дня, когда пришел к заключению, что анонимные письма исходят из голландского посольства на Невском. При этом следует помнить, что в лице Екатерины Гончаровой была посрамлена честь фрейлины императорского двора. И коль скоро повод к скандалу в обоих случаях подал Дантес, этот двойной скандал надо было замять самым решительным образом» [17].

Это очень серьезное и основательное заключение о вводимых ученым новых данных в изучение преддуэльной истории Пушкина претерпело у некоторых исследователей неожиданные метаморфозы. Так, «вмешательство царя» объясняется уже «своеобразной попыткой Николая I оградить Наталью Николаевну от притязаний Дантеса» [18]. Толкование это возникло в связи с необоснованным отрицанием факта беременности Екатерины Гончаровой в 1836 году [19].

Новый свет на воспоминания Ольги Николаевны проливают следующие обстоятельства. Г. М. Воронцов-Вельяминов, праправнук Пушкина, живущий в Париже, обратившись к оригинальному французскому тексту мемуаров вел. кн. Ольги Николаевны, убедился, что двойной перевод подлинного французского текста исказил авторский текст.

Он напечатал об этом статью, дав подлинный французский текст мемуаров (вместе с факсимиле) и перевод с него. Вот что там написано:

«Papa, qui s'intéressait à lui comme à une gloire Russe, et voulait du bien à sa femme, aussi bonne que belle, fit tous ses efforts pour le calmer. Benkendorff fut mis en campagne pour découvrir l'auteur des lettres. Les amis ne trouvèrent qu'un moyen de désarmer les soupçons. Dantès dut épouser la soeur cadette de Me Pouchkin, assez peu intéressante». («Папа́, который проявлял к нему интерес как к славе России и желал добра его жене, столь же доброй, как и красивой, приложил все усилия к тому, чтобы его успокоить. Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем. Друзья нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения. Дантес должен был жениться на младшей сестре г-жи Пушкиной, довольно мало интересной особе») [20].

Итак, вместо слов «Папа приказал Дантесу жениться» в подлиннике читается: «Друзья не нашли другого средства обезоружить подозрения. Дантес должен был жениться...»

Друзья, то есть поэт Жуковский и Е. И. Загряжская, которые активно устраивали этот брак.

Жуковским двигала в первую очередь любовь к Пушкину, отчаянное душевное состояние которого после анонимных писем он видел. Он присутствовал и при взрыве гнева поэта, когда тот узнал о связи Екатерины с Дантесом и о беременности ее.

Одновременно с заботой о спокойствии друга Жуковским при устройстве брака Дантеса руководила и его близость ко двору: надо было устранить скандальный слух в дворцовых сферах, который неминуемо должен был распространиться в связи с беременностью фрейлины от кавалергарда.

---

[15] Ираклий Андроников, Я хочу рассказать вам... 2-е изд., дополненное. М., 1965, стр. 118.

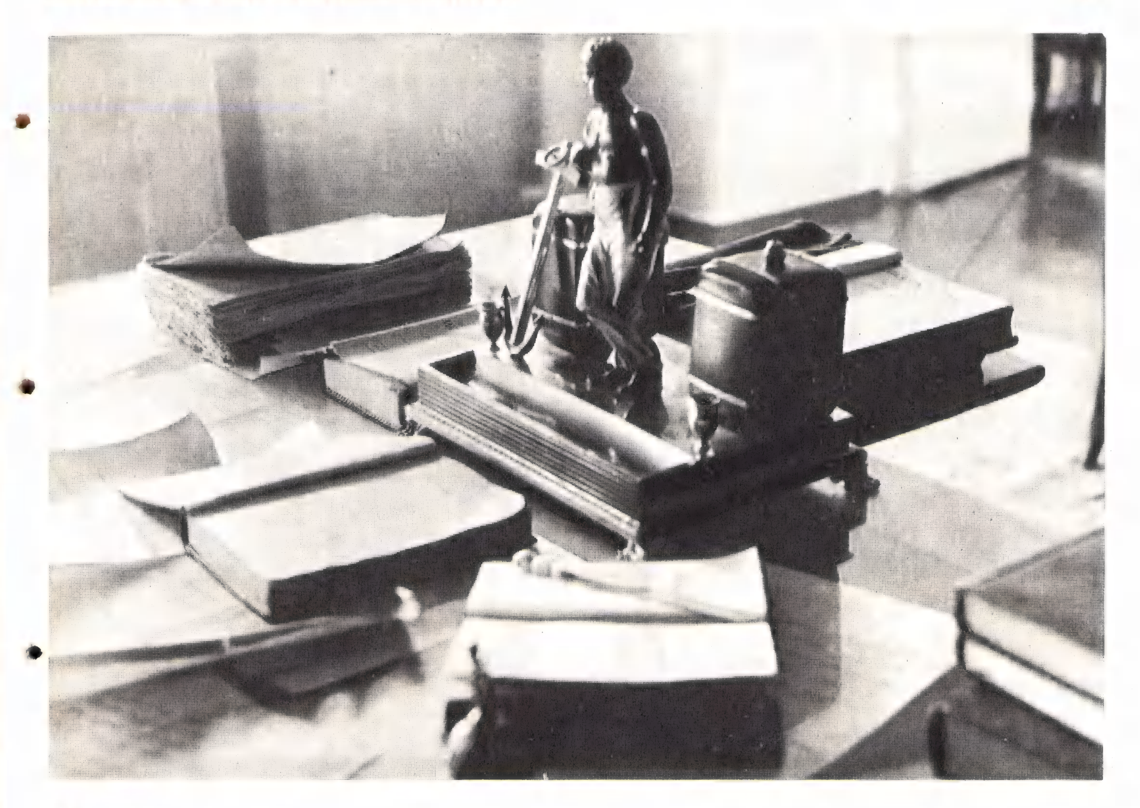
[16] Там же, стр. 118—119.

[17] Там же, стр. 119.

[18] Пушкин, Письма последних лет. Изд-во «Наука». Л., 1969, стр. 339.

[19] Михаил Яшин, Указ. соч., стр. 169; Пушкин. Письма последних лет, стр. 391.

[20] Г. М. Воронцов-Вельяминов, Пушкин в воспоминаниях дочери Николая I. «Временник Пушкинской комиссии. 1970». Изд-во «Наука», Л., 1972, стр. 25—26.

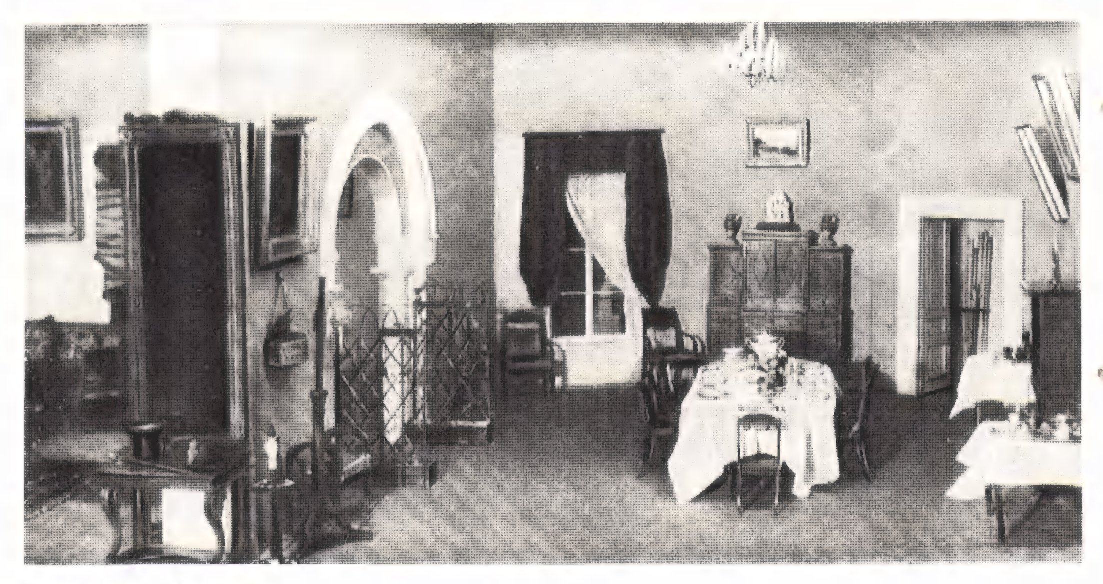


Воспоминания Павла Воиновича Нащокина, написанные в форме письма к А. С. Пушкину

(Публикация Н. Я. Эйдельмана)

Павел Воинович Нащокин не любил писать и жаловался на то своему лучшему другу, «удивительному Александру Сергеивичу» [1]: «Как жаль, что я тебе пишу — наговорил бы я тебе много забавного. <...> Я все мольчу — а иногда и отмальчиваюсь — и скоро разучусь говорить — а выучусь писать — дай бог, я бы очень этого желал» (XIV, 173).

Пушкин наслаждался «нащокинскими разговорами»: в одном письме признавался, что «забалтывается с Нащокиным», в другом, что «слушает Нащокина», в третьем, что «Нащокин мил до чрезвычайности <...> смешит меня до упаду». Во время холеры Пушкин просит передать Павлу Воиновичу, «чтоб он непременно был жив <...> что, если он умрет, не с кем мне



Гостиная в домике Нащокина.

будет в Москве молвить слова живого, то есть умного и дружеского» (XIV, 128). Нащокинскими разговорами и воспоминаниями начинались или обогащались пушкинские замыслы: «Дубровский» и «Домик в Коломне» были сначала «рассказаны» Нащокиным. Когда же сюжеты Павла Воиновича встречались в общей беседе с необыкновенными «байками» Михаила Семеновича Щепкина, то в этой «смеси» уж виднелись гоголевские силуэты [2].

Несравненному рассказчику, однако, не давали только рассказывать — его заставляли еще и писать, писать же было хлопотно: грамматика хромала, а безжалостный Пушкин взял вдобавок с Павла Воиновича слово — отправлять послания, как вышли из-под пера, без всяких подчисток, в первозданной прелести. «Письма мои, делай милость, рви, — просил однажды Нащокин, — ибо им можно будет со временем смеяться, этому <письму> тем более, ибо оно совершенно писано слогом нежной московской кузины, но этому виноват ты, не позволив мне писать начерно» (XIV, 167).

Как не понять Пушкина, читая письма «Войныча» — неграмотные и талантливые, наивные и глубокомысленные, — причем все названные свойства находились в столь тесной зависимости, что если бы прибавилась грамотность и убавилась наивность, то непременно уменьшились бы и талантливость и оригинальность. Вот, например, нащокинский дом, описанный хозяином:

«Народу у меня очень много собирается, со всякими надо заниматься, а для чего, так богу угодно: ни читать, ни писать время нет — только и разговору *здравствуйте, подай трупку, чаю. Прощайте* — очень редко — ибо у меня опять ночуют и поутру, не простясь, уходят» (XV, 41).

Про смерть от холеры князя Н. Б. Юсупова (пушкинского «Вельможи»): «Не знаю почему, а мне было его жаль — вреда, кажется, он никому не делал — ибо никто не жаловался, а про добро не знаю, — умер же умно и равнодушно, как мне рассказывали. <...> Ныне смерть поступает и решает жизнь человеческую уж не гражданским порядком, а военным судом, — т. е. скоро и просто» (XIV, 191—192).

Может быть, лучшая характеристика Чаадаева, сделанная его современником, принадлежит Павлу Воиновичу, который



П. В. Нащокин. 1839 г.

ученого и таинственного Чаадаева даже несколько опасался и вообще избегал о нем судить, зная, что Александр Сергеевич этих суждений не одобряет. Однако, когда Пушкин попросил Нащокина снестись с Чаадаевым по делу, то вскоре получил следующий отчет:

«Чедаев всякий день в клобе, всякий раз обедает, — в обхождении и в платье переменил фасон, и ты его не узнаешь, — я опять угадал — что все странное в нем было ни что иное, как фантазия, а не случайность и плод опытного равнодушия ко всему. Еще с позволения Вашего скажу (ибо ты не любишь, чтоб я о нем говорил), рука на сердце говорю правду, — что он еще блуждает, что еще он не нашел собственной своей точки, я с ним об многом говорил — основательности в идеях нет — себя <так!> часто противоречит. Но что я заметил — и это мне приятно — человек весьма добрый, способен к дружбе, привящив, честолюбив более чем я, себя совсем не знает, потому и часто себя будет нужно изменять, что ничего не доказывает — тебя очень любит — но менее, чем я...» (XIV, 230.)

В 23 сохранившихся письмах Нащокина к Пушкину неизменно проявляются ум и одаренность писавшего. В одном из посланий Павел Воинович сообщает о житье-бытье своего брата и родни:

«Жена <брата> в деревне и утешается свободно — ходит гулять с камердинером бывшим князя Грузинского: щеголь, в куртке, в плисовых шароварах, весь в бронзовых цепях и говорит басом. <...> Камердинер Петрушка все еще ничего, а от <кучера> Кириана житья нет никому. Вот главные лица, владельцы той усадьбы, откуда мой отец чванно выезжал, где он и похоронен. Если там, где он теперь, душа также чувствует и понимает, как и здесь — так вот Ад; наказание за суетность» (XIV, 251).

Эти строки имеют прямое отношение к «Запискам» Нащокина, в которых много рассказывается о «чванных выездах» покойного отца. К тому же «Записки» были составлены по настоянию Пушкина, который не остался равнодушным к «бронзовым цепям» басистого щеголя, и писал: «Письмо твое о твоем брате ужасно хорошо...»

Как видно, нащокинские воспоминания зарождались в разговорах и письмах; воспоминания, которых еще не представлял сам Павел Воинович, но — уже угадывал и требовал Пушкин [3].

«Удивительный Александр Сергеевич» любил принуждать друга или бывалого человека к писанию воспоминаний; поэт терзался от того, что так много замечательных людей и событий проходят бесследно, ибо мы «ленивы и нелюбопытны», и, кажется, применял три способа для превращения чужого рассказа в «меморию»; во-первых, писал заглавие, а иногда даже первые несколько строк чужих записок «для затравки»: так, пушкинской рукой были начаты записки М. С. Щепкина, А. О. Смирновой (Россет); во-вторых, сам записывал интересные рассказы собеседника: так появились «Разговоры Загряжской»; наконец, третий прием: заставить бывалого друга изложить свои воспоминания в письмах на имя «любезного Александра Сергеевича...».

Пушкин хорошо понимал, как трудно посадить за стол перед чистым лицом бумаги Павла Воиновича, и поэтому применил к нему сначала способ второй: записывал сам. Так появился первый эскиз будущих воспоминаний — «Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве, 1830».

Эти несколько листков были найдены в тетради Пушкина (позже названной «плет-

невско-гротовской») после его гибели и вскоре напечатаны под замаскированным заглавием: «Старинные русские странности. Отрывки биографии ***».

Записки рассказывали о детстве Нащокина и содержали колоритные подробности об отце Павла Воиновича, известном екатерининском генерале Воине Васильевиче Нащокине (1742—1806).

Вскоре после первой записи нащокинских «разговоров» Пушкин окончательно переселился в Петербург и уже не мог регулярно преследовать москвича Павла Воиновича «с пером в руке». Зато Нащокину пришлось писать письма (которые, как говорилось, вероятно, и навели Пушкина на мысль, что его корреспонденту следует писать мемуары самому). Очевидно, в сентябре 1832 года во время посещения Пушкиным Москвы с Павла Воиновича было взято слово: приступить к работе над «мемориями». В первом же письме по возвращении в столицу, 2 декабря 1832 года, Пушкин спрашивал, будто продолжая начатый разговор: «Что твои мемории? Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, да и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там поглядишь и другой» (XV, 37). 10 января 1833 года Нащокин отвечал, что «мемории не начинал, некогда» (XV, 40). Некогда было и в следующие несколько лет, когда в жизни Павла Воиновича случились крупные происшествия: он женился на Вере Александровне Нарской, для чего покинул красавицу цыганку Ольгу Андреевну и, опасаясь ее ревнивой мести, оставил дом со всем имуществом и надолго скрылся с молодой женой в Тульской губернии, там сидел без гроша и писал Пушкину:

«Не могу, силы нет описать тебе могущее быть унизительное мое положение, не то чтобы не умел, в мемориях я в своих опишу, но теперь какая-то русская амбиция мешает» (XV, 131). Впрочем, непрерывные просьбы о деньгах (вовремя не доходившие к Пушкину) и другие трудные обстоятельства не испортили «нащокинского стиля» (из Тулы, например, он пишет: «Жена моя брюхата — без причут (т. е. — причуд. — *Н. Э.*), только не любит табаку — знать, будет старовер» (XV, 135).

К 1835 году Нащокин наконец вернулся с женой в Москву, получил и тут же растратил какое-то очередное наследство и спокойно зажил — все такой же, как и был. Пушкин в то время написал ему: «Рад я, Павел Воинович, твоему письму, по которому я вижу, что твое удивительное добродушие и умная, терпеливая снисходительность не изменились ни от хлопот новой для тебя жизни, ни от виновности дружбы перед тобою» (XVI, 4). Слова «виновность дружбы» подразумевали сожаление поэта, что он не помог Павлу Воиновичу в его житейских передрягах...

В это время снова были вспомянуты «мемории», задуманные за три-четыре года до того. Нащокин, человек обязательный, про свое обещание помнил и при случае выполнил.

В мае 1836 года Пушкин в последний раз приехал в Москву и в последний раз «забалтывался с Нащокиным» (домой писал: «Нащекин здесь одна моя отрада», «любит меня один Нащекин»[4]. 27 мая, уже из Петербурга, Пушкин писал Павлу Воиновичу: «Я забыл взять с собою твои записки; перешли их, сделай милость, поскорее» (XVI, 121). Нащокин, разумеется, исполнил просьбу с той же точностью, с какой исполнял все другие поручения (добывал денег, приглашал В. Г. Белинского[5], встречался с Чаадаевым...).

Итак, летом 1836 года к Пушкину попал «второй вариант» нащокинских «мемории», на этот раз написанных самим автором. Пушкин начал редактировать полученный отрывок, вероятно подготавливая его для печати. Этот текст (как и «Записки 1830 года») хорошо известен и в свое время был проанализирован Л. Б. Модзалевским[6].

Главные вехи в истории «вторых записок» Нащокина таковы:

1. После 27 мая 1836 года Пушкин получил несколько страниц «Воспоминаний...», написанных в виде письма к «любезному Александру Сергеевичу» (на этот раз — именно «Сергеевичу», а не «Сергеивичу»).

2. После смерти Пушкина в его тетради находят эти странички, которые поэт начал редактировать, исправляя немало и в то же время сохраняя и усиливая все «неповторимо-нащокинское». Л. Б. Модзалевский, очевидно, был прав, утверждая, что Пушкин готовил «мемории» Нащокина для публикации в «Современнике». Это видно, между прочим, из того, как Пушкин торопил друга с окончанием и присылкой рукописи.

3. Записки Нащокина с поправками Пушкина оставил себе на память Василий Андреевич Жуковский, просматривавший бумаги умершего поэта (вероятно, Жуковский

испросил разрешение у Нащокина, а тот согласился, потому что после гибели Пушкина был подавлен горем и не видел уж никакого смысла в продолжении записок).

4. Сын Жуковского подарил пушкиниану своего отца известному коллекционеру и собирателю пушкинских автографов А. Ф. Отто (Онегину), обосновавшемуся в Париже.

5. Вместе со всем собранием Онегина рукопись Нащокина попала в конце 20-х годов в Пушкинский дом, а в 1935 году была опубликована [7].

Итак, до последнего времени были известны Воспоминания Нащокина, записанные Пушкиным в 1830 году (назовем их условно первой редакцией) и Воспоминания Нащокина, написанные им самим, но отредактированные Пушкиным (1836 г. — вторая редакция). Иных «меморий» Нащокина, казалось, не могло быть — ведь вторую редакцию Пушкин читал уже у «гробового входа»... Л. Б. Модзалевский догадывался, однако, что, может быть, не все нащокинские записки обнаружены. Между прочим, П. И. Бартенев, после посещения Нащокина 10 октября 1851 года, записал: «Отрывки биографии *** — самого Нащокина. Он показывал мне свои записки, которые Пушкин сократил и переделал в этих маленьких отрывках» [8].

Понятно, «Отрывки биографии ***» — это первая редакция записок Нащокина (1830 г.), опубликованная в 1841 году в XI томе посмертного издания сочинений Пушкина. Однако из сообщения Бартенева следует, что у Нащокина дома хранились еще какие-то его записки. М. А. Цявловский, комментируя это сообщение, писал: «Рукопись записок Нащокина, которую он показывал Бартеневу, теперь неизвестна» [9].

«Неизвестную рукопись», понятно, можно было считать пропавшей вместе с некоторыми другими нащокинскими бумагами, имевшими прямое или косвенное отношение к пушкинскому наследству. Известно, что Нащокин, свято почитая и оберегая память Пушкина, сочетал это бережение с характерным, чисто нащокинским небрежением. Павел Воинович относился к одной из двух категорий пушкинских современников, внутренне совершенно противоположных, но внешне парадоксально сходных: к категории людей, чье отношение к Пушкину было независимо или мало зависимо от его литературного таланта. Первая группа таких людей — ближайшие друзья; вторая — это верхи, свет. Там в Пушкине видели не столько гениального поэта, сколько «камер-юнкера», «светского человека», «мужа Натальи Николаевны», иным — симпатичного, другим — безразличного, третьим — неприятного.

Нащокин, конечно, знавший и тонко ценивший пушкинскую поэзию, в то же время несравненно больше знал и любил Александра Сергеевича «как такового». Может быть, Пушкину не хватало именно таких друзей, которые любили бы его книги, но еще больше — его самого...

Эти два полюса любви и нелюбви к великому поэту, разумеется, представлены здесь несколько упрощенно, но они существовали, а поскольку «наши недостатки — продолжение наших достоинств», то из особенного взгляда Нащокина на Пушкина вытекает и следующий его взгляд на пушкинские рукописи:

«Память Пушкина, — писал он М. П. Погодину, — мне дорога не по знаменитости его в литературном мире, а по тесной дружбе, которая нас связывала, и потому письма его, писанные ко мне с небрежностью, но со всей откровенностью дружбы, драгоценны мне, а в литературном отношении ценности никакой не имеют, но еще могут служить памяти его укоризною» [10].

Нащокин, дорожа дружбой ушедших лет, полагал, что его переписка с Пушкиным касается лишь их обоих. Другим, если они любопытствовали, он был готов показать, почитать письма, но все же их дело сторона... И вот случалось, что в нащокинском доме пушкинскими письмами обертывались свечи!

Рассуждая подобным образом об автографах Пушкина, Нащокин, понятно, еще меньше значения придавал собственным рукописям и воспоминаниям [11]. Многое исчезло безвозвратно за сто с лишним лет, минувших после смерти Нащокина, многое, но, к счастью, не все...

Публикуемая рукопись — важная часть того рассеянного и большей частью утраченного нащокинского наследства, значение которого недооценивалось самим Павлом Воиновичем. По всей видимости, это та самая рукопись, которую видел у Нащокина П. И. Бартенев, еще один, самый крупный, фрагмент нащокинских «мемориий».

Автору данной статьи подлинная рукопись Нащокина была любезно предоставлена для публикации научным сотрудником Института истории Академии наук СССР Еленой Петровной Подъяпольской [12]. К Елене Петровне рукопись случайно попала в Саратове, в конце 20-х годов. Где и у

кого находились публикуемые записки между 1850-ми и 1920-ми годами — пока неизвестно.

Рукопись представляет собою большую тетрадь (размером 23 × 37 см), в которой написанный чернилами текст занимает 24 страницы, а 20 страниц (уже разлинованных и занумерованных рукою Нащокина) остались чистыми. В тексте около 38 600 знаков (т. е. приблизительно печатный лист); на страницах тетради чередуются два почерка [13]: первый, основной, несомненно, П. В. Нащокина [14]; второй — почерк его жены — В. А. Нащокиной. Вся правка сделана рукою Нащокина. Нащокину, видимо, случалось не раз диктовать своей жене или отдавать ей свои черновики для переписки (М. П. Погодину он писал однажды: «Пишу Вам ответ не своею рукой, чтобы не ввести Вас в такое же затруднение, в какое Вы меня и многих других ставите Вашим почерком» [15]). Водяные знаки бумаги свидетельствуют, что записки составлялись не ранее 1833 года [16].

Наиболее интересный вопрос — каково соотношение «новых» записок Нащокина со «старыми», то есть известными прежде двумя редакциями.

Около 40 процентов текста (стр. I—XI) почти полностью совпадают со второй редакцией нащокинских «меморий» (т. е. сохранившейся в онегинском собрании). Начиная со стр. XI до стр. XXIV идет новый текст, однако несколько эпизодов из этой никогда не публиковавшейся части записок известны в пушкинском изложении, по первой редакции мемуаров («Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве, 1830»). Как будет показано ниже, последнее обстоятельство не уменьшает, а, наоборот, повышает значение нового текста.

Таким образом, в публикуемой рукописи есть немало общего с первой (пушкинской) редакцией записок и очень много общего со второй («нащокинско-пушкинской») редакцией [17].

История изучаемого текста, очевидно, такова. Сначала Нащокин написал в Москве в 1835—1836 годах в виде письма к Пушкину эту самую публикуемую рукопись. Написал в несколько приемов, с черновиками, которые затем перебелял сам, с помощью жены. С самого начала, вероятно, предполагалось, что эта тетрадь останется у Нащокина для продолжения работы, пока «незаметным образом вырастет том, а там поглядишь и другой». Но Пушкин ждал начала «меморий», напоминал о них, и Павел Воинович стал переписывать для друга уже готовые отрывки, а после мая 1836 года отправил в Петербург копию первых одиннадцати страниц своей тетради (из содержавшихся в ней 24-х); возможно, в письме больше не поместилось — и остальную часть предполагалось послать особо, а может быть, автор просто хотел еще поработать над нею.

Если положить рядом вторую редакцию записок Нащокина, попавшую к Пушкину, и соответствующие страницы публикуемой рукописи, то можно заметить, что Нащокин непрерывно изменял, исправлял, дополнял первоначальный текст. Так, в копии, ушедшей к Пушкину, кое-что переработано, а кое-что «ухудшено», появились новые ошибки, описки — так что черновая рукопись исправляет некоторые места той, которую читал Пушкин. Мало того: уже после отсылки Пушкину начала «меморий» Нащокин продолжал делать в тексте некоторые исправления [18].

Публикуемая рукопись обрывается почти на полуслове, среди воспоминаний о раннем детстве: «целого тома», а там и «другого», о которых мечтал Пушкин, не получилось, хотя рассказов и воспоминаний у Нащокина наверняка хватило бы...

В одном из последних писем к Павлу Воиновичу Пушкин писал:

«Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и смерти... (последнее слово Пушкиным зачеркнуто и заменено словом «старости»)... и старости нечего бояться». До смерти же оставалось в ту пору меньше года...

В нащокинской тетради ни слова о Пушкине (кроме обращения). Но пушкинское присутствие ощутимо. Здесь слышатся отзвуки последних разговоров, когда Александр Сергеевич «забалтывался» с Павлом Воиновичем за жжонкой (которую Пушкин — по словам Нащокина — «называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок»). За тетрадью Нащокина угадываются немногие счастливые минуты последнего года жизни Пушкина. Именно эти воспоминания поэт читал и слыхал от «Воиныча». Он хотел это напечатать, он видел в этом нечто несравненно большее, чем «еще один исторический документ», он был вдохновителем, чуть ли не соавтором этих записок, которые и родились-то в виде письма к «любезному Александру Сергеевичу...».

«Мемории» Нащокина не закончены — едва начаты. Вряд ли где-либо сохранился четвертый, более полный вариант...

Только что мы сравнивали новые страницы «Записок» с их неполной копией — «второй редакцией» 1836 года — и радовались, что в первых 11 страницах тетради есть кое-что новое и, кроме того, — еще 13 доселе неизвестных страниц. Но настала пора положить рядом с самыми объемистыми нащокинскими записками их самую краткую и самую раннюю, чисто пушкинскую редакцию — «Записки Нащокина, им диктованные в Москве, 1830».

Как уже говорилось, Пушкин успел в 1830 году записать со слов Павла Воиновича несколько эпизодов, которые находятся как раз в тринадцати «новых страницах»: кроме того, в «первой редакции» есть несколько эпизодов и фактов, которые сам Нащокин, несомненно, изложил бы, но просто не успел «подступиться».

Уже давно исследователи отметили, что не следует буквально понимать пушкинский заголовок «Записки П. В. Нащокина, им диктованные»; достаточно сопоставить стиль, язык двух редакций нащокинских записок. Слушая Нащокина, Пушкин, конечно, сохранил некоторые характерные для рассказчика обороты и последовательность повествования, но при этом получился истинно пушкинский отрывок со всеми чертами пушкинской прозы. В первых «Записках» Нащокина — быстрота, ясность, юмор напоминают «Повести Белкина»; колоритный генерал Нащокин с его борзыми, шутами и карлами явно сродни Кириллу Петровичу Троекурову из «Дубровского», незадачливый учитель-француз, которому Нащокин обязан «первым пьянством», — это почти мосье Бопре из «Капитанской дочки»: люди, нравы, анекдоты XVIII столетия «по Нащокину» кажутся заимствованными из повестей, анекдотов, исторической прозы Пушкина...

Теперь, располагая новой рукописью Павла Воиновича, мы получаем счастливую возможность, которой были прежде лишены: сравнить одни и те же эпизоды в записи Нащокина и в более ранней записи Пушкина. Сопоставление обоих текстов позволяет увидеть некоторые особенности работы Пушкина при записи интересного, живого рассказа чьих-либо воспоминаний. Первое, что легко заметить, это экономность, лаконичность пушкинского варианта. В объеме меньше печатного полулиста (около 16 600 знаков) Пушкин записал почти все эпизоды, которые в публикуемой рукописи Нащокина занимают около 38 600 знаков и сверх того еще несколько историй. Можно сказать, что Пушкин отобрал примерно треть того, что рассказал, а позже написал Павел Воинович.

Вот только один пример:

Нащокин

Теперь расскажу, каким запомню своего отца. Могу вспомнить с некоторой отчетливостью выезд батюшки из костромской его вотчины в Москву. Я тогда сидел у девичьего крыльца на большом камне, ожидая тройку запряженных мальчиков в маленькую мою коляску, окруженный мамками, няньками, я не видал суматохи, производимой у большого крыльца, как вдруг потребовали меня и потащили от одного крыльца к другому сквозь множество людей, экипажей, лошадей, коими наполнен был весь двор, весьма огромный, — впоследствии времени я не видывал больше ни в каких усадьбах, а тогда он мне казался беспредельный; меня подвели к лестнице, которая мне показалась лестницей, виденной во сне Яковом Израильским, виденного мною в картинках Священной Истории, но на ступеньях оной не ангелы просторно сидящие, но толпа разных народов, усеянных сверху донизу, как-то: арапов, карликов, бездна пудреных голов, красных галунов, обшитых камзолов, зеленых мундиров, в гусарских, казачьих и польских платьях, бездну женщин, и посредине отца моего, которого фигура мною уже была описана, на нем был зеленый плащ с красным подбоем и засаленный зеленый складной картуз; плащ и картуз еще существуют. Помню я, что меня приподняли к нему очень близко, он что-то спросил, я заплакал, он вскрикнул, и потом я был уж в детской комнате и из окошка видел, как тянулся обоз через мост и вверх по аллее и как завернулся вдоль винокуренного заводу и исчез. Потом я совсем почти его не помню.

Пушкин

Помню отца своего, и вот в каких обстоятельствах. Назначен отъезд в Петербург. На дворе собирается огромный обоз. Крыльцо усеяно народом, гусарами, егерями, ливрейными лакеями, карликами, арапами, отставными майорами в старинных мундирах и проч. Отец мой между ими в зеленом плаще. Одноколка подана. Меня приносят к отцу с ним проститься. Он хочет взять меня с собою. Я плачу: жаль расстаться с нянею... Отец с досадой меня

отталкивает, садится в одноколку, выезжает; за ним едет весь обоз; двор пустеет, челядь расходится, и с тех пор впечатления мои становятся слабы и неясны до 10-го года моего возраста...

Нелепо, разумеется, при сравнении текстов доказывать преимущества пушкинского — Нащокин никогда не был писателем. Интересна работа Пушкина над его рассказом, интересно, что массу прекрасных, выразительных описаний, подробностей, размышлений он отсекает, придавая мемуарам стройность и соразмерность (впрочем, также и добавляет кое-что упущенное Павлом Воиновичем, но сохранившееся в памяти после его рассказов).

Однако Пушкин при этом ясно видит, что беспорядочный и неторопливый рассказ Нащокина хорош и сам по себе, хорош по-другому; отсюда желание Пушкина видеть записки Нащокина не только в собственной обработке, но и в «первозданном виде».

Когда в 1836 году Нащокин прислал поэту свои «мемории», тот не стал их обрабатывать так, как он это сделал в 1830 году. Наоборот, достаточно посмотреть, как Пушкин правил присланную ему «вторую редакцию» рукописи, чтобы убедиться: весь склад нащокинского рассказа, большинство подробностей, весьма обильных, Пушкин бережет, сохраняет, устраняя лишь то, что, по его мнению, было чересчур даже для Нащокина.

Возвращаясь к первой, пушкинской, редакции «Записок», заметим еще раз, как Пушкин собирал, «сжимал» в одну фразу то, что Нащокин рассеивал порою в десятке предложений. Так, в публикуемой рукописи Нащокин сообщает парадоксальные, смешные, какие-то уже «гоголевские», даже «щедринские» подробности о поляке Куликовском, возглавлявшем обозы Нащокина-старшего. Пушкин уместил «Куликовского» в трех фразах:

«Впереди на рослой испанской лошади ехал поляк Куликовский с волторною. Прозван он был Куликовским по причине длинного своего носа; должность его в доме состояла в том, что в базарные дни обязан он был выезжать на верблюде и показывать мужикам lanterne-magique. В дороге же подавал он волторною сигнал привалу и походу».

В первой фразе возникает романтический образ из «рыцарских времен»: человек со звучной фамилией, на рослой испанской лошади, с волторной. Но вторая фраза спокойно, невозмутимо, как будто это само собою разумеется, опровергает впечатление от первой: звучная фамилия оказывается прозвищем (у кулика длинный нос). «Рыцарь», не имеющий собственного имени, нечто вроде крепостного Дон Кихота... Быстро обрисована и его должность: слово это как будто настраивает на серьезный административно-хозяйственный лад, а должность Куликовского всего лишь в том, чтобы выезжать на верблюде и показывать мужикам lanterne-magique, и написано об этом так, словно это самое обыденное дело, когда человек с длинным носом выезжает в базарный день в русском селе на верблюде и показывает волшебный фонарь...

Пора сказать о второй особенности, отличающей пушкинские записи от нащокинских. Пушкин в своем фрагменте воссоздал не только колоритные детали стародавнего барского житья, но также рассказы и анекдоты об исторических личностях — Суворове, Потемкине, Павле I.

Когда Нащокин принялся писать сам, то, возможно, опасался доверять бумаге слишком смелые «повести прошлого» или не желал вспоминать об отце ничего плохого: так или иначе, но Пушкину он сообщил несколько таких историй, которых в его собственной тетради мы не находим. Например, рассказ о том, как генерал Нащокин дал Суворову пощечину, так заинтересовал Пушкина, что он записал его очень подробно и тем выделил из всего очень насыщенного текста, где каждому эпизоду посвящены одна-две фразы, в крайнем случае — абзац.

Может быть, Нащокин и собирался поведать об этой истории в своей рукописи, но, во всяком случае, он не поместил ее на тех страницах, где описывал характер своего отца и где, казалось бы, эта история была наиболее уместна.

Также отсутствуют у Нащокина и присутствуют у Пушкина рассказы о захвате вспылившим генералом Нащокиным города Киева и киевского коменданта, а также строки о Потемкине, который заметил, что Нащокин (отец) «о боге отзывался, хотя и с уважением, но все как о нижнем по чину, так что когда он был генерал-майором, то на бога смотрел, как на бригадира».

О том, как отец покинул службу, сам Нащокин пишет лаконично: «Вышел в отставку при вступлении на престол государя императора Павла I». Пушкин же записал за Нащокиным следующее: «По восшествии

на престол государя Павла I отец мой вышел в отставку, объяснив царю на то причину: «Вы горячи, и я горяч, нам вместе не ужиться». Государь с ним согласился и подарил ему воронежскую деревню».

О шуте Иване Степановиче Нащокин написал, что «об нем будет особая статья, замечу только, что он был впоследствии взят ко двору государя императора Павла Петровича и во все царствование государя императора находился при особе его, по кончине же Павла Петровича был батюшке прислан обратно».

Пушкин записал об Иване Степановиче куда более интересные вещи:

«Иван Степаныч лицо историческое. Он был известен под именем Дурака нашей фамилии. Потемкин, не любивший шутов, слыша многое о затеях Ивана Степаныча, побился об заклад с моим отцом, что Дурак его не рассмешит. Иван Степаныч явился, Потемкин велел его привести под окошко и приказал себя смешить. Положение довольно затруднительное. Иван Степаныч стал передразнивать Суворова, угождая тайной неприязни Потемкина, который расхохотался, позвал его в свою комнату и с ним не расставался. Государь Павел Петрович очень его любил, и Иван Степаныч имел право при нем сидеть в его кабинете. Шутки его отменно нравились государю. Однажды царь спросил его, что родится от булочника. «Булки, мука, крендели, сухари и пр.», — отвечал дурак. «А что родится от гр. Кутайсова?» — «Бритва, мыло, ремни и проч.». — «А что родится от меня?» — «Милости, щедроты, чины, ленты, законы, счастие и проч.». Государю это очень полюбилось. Он вышел из кабинета и сказал окружающим его придворным: «Воздух двора заразителен; вообразите: уж и дурак мне льстит. Скажи, дурак, что от меня родится?» — «От тебя, государь, — отвечал, рассердившись, дурак, — родятся: бестолковые указы, кнуты, Сибирь и проч.». Государь вспыхнул и, полагая, что дурак был подучен на таковую дерзость, хотел узнать непременно кем. Иван Степаныч наименовал всех умерших вельмож, ему знакомых. Его схватили, посадили в кибитку и повезли в Сибирь. Воротили его уже в Рыбинске. При государе Александре был он также выслан из Петербурга за какую-то дерзость. Он умер лет 6 тому назад».

Рассказы об известных исторических фигурах, почти отсутствующие во второй редакции «Записок», занимают примерно половину первой, пушкинской, редакции. Пушкина, понятно, особо интересовали именно эпизоды, в которых фигурировали такие личности, как Суворов, Потемкин, Павел I. Интересовали не только и не столько как исторические факты или предания. В рассказах Нащокина и особенно в «исторических» эпизодах было нечто очень важное для умонастроений поэта в 30-е годы.

В этой связи весьма примечательна пушкинская попытка представить нащокинские записки царю: в «Истории Пугачевского бунта» (1833—1834) как бы между прочим упомянут отец Павла Воиновича: «Генерал-майор Кар <...> находился в Петербурге при приеме рекрут. Ему велено было сдать свою бригаду генерал-майору Нащокину и спешить к местам, угрожаемым опасностью» (IX, 474—475).

Пушкину, разумеется, совсем не обязательно было вспоминать в своей книге старшего Нащокина: речь шла ведь о войне с Пугачевым, в которой генерал Нащокин не участвовал: мало ли кто в ту пору заменял лиц, отправлявшихся воевать на Урал! Однако Пушкин назвал Нащокина неспроста: единичное, мимолетное упоминание этого имени позволило сопроводить его развернутым пояснением — в числе тех «Замечаний о бунте», что не вошли в печатный текст «Истории Пугачева», но были 26 января 1835 года представлены для ознакомления Николаю I. Вот какие строки читал царь в связи с именем Воина Васильевича Нащокина:

«Сей Нащокин был тот самый, который дал пощечину Суворову (после того Суворов, увидя его, всегда прятался и говорил: боюсь! боюсь! он дерется!). Нащокин был одним из самых странных людей того времени. Сын его написал его записки: отроду не читывал я ничего забавнее. Государь Павел Петрович любил его и при восшествии своем на престол звал его в службу. Нащокин отвечал государю: «Вы горячи, и я горяч; служба впрок мне не пойдет». Государь пожаловал ему деревню в Костромской [19] губернии, куда он и удалился. Он был крестником императрицы Елисаветы и умер в 1809 году» [20].

Похвала Пушкина «Запискам», «забавнее» которых он «отроду не читывал», была рассчитана, конечно, на то, что царь заинтересуется и пожелает ознакомиться с воспоминаниями Нащокина (которые уже были записаны рукою Пушкина и находились в его распоряжении).

Царь, однако, не заинтересовался...

Впоследствии Пушкин сумел все же озна-

комить высочайших особ с рассказами Нащокина об отце: отрывок, посвященный ссоре последнего с Суворовым, был преподнесен великому князю Михаилу Павловичу [21].

Для чего понадобилось Пушкину так «рекламировать» Записки Нащокина?

Возможно, что был тут умысел: как-то помочь Павлу Воиновичу, который как раз в то время женился, скрывался и бедствовал... Но были, конечно, и другие, более существенные соображения.

Нащокин-отец привлекал Пушкина теми же чертами, что и некоторые другие фигуры XVIII века — Потемкин, Орлов, М. Шванвич, о которых Пушкин много думал и писал именно в последнее десятилетие своей жизни. Замечая их крепостническое буйство, разврат и жестокость, Пушкин одновременно видел широту, размах, самобытность этих характеров.

В 30-х годах прошлого века такие мысли и разговоры были злободневны. В словах Нащокина-отца, сказавшего Павлу I: «Вы горячи, и я горяч, нам вместе не ужиться», — слышатся излюбленные пушкинские мотивы:

«Я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у царя небесного».

Предлагая Николаю I ознакомиться с Записками Нащокина, Пушкин, безусловно, лелеял тайную мысль о «воспитательном» воздействии на царя, все более окружавшего себя холопами и льстецами.

Личность, свободная личность, где бы она ни находилась — у трона, в имении, на службе, в каторжных работах, — вот один из главных пушкинских идеалов...

В Записках Павла Воиновича представлен Нащокин-отец, усаживающий супругу на пушку, не медлящий с расправой, спокойно вывозящий из Польши шляхтичей и евреев, чтобы превратить их в своих рабов: Пушкин все это видит. Но разве не таков и Павел Воинович — добрый, мудрый, независимый и тоже приобретающий и проигрывающий сотни крестьянских душ? Разумный, справедливый человек — и в то же время с обычным простодушным глубокомыслием пишущий чудовищные для нас слова:

«Поляков я всегда не жаловал, для меня радость будет, когда их не будет — ни одного поляка в Польше, да и только. Оставшихся в высылку, в степи, Польша от сего пуста не будет — фабриканты русские займут ее, право, мне кажется, что не мудрено ее обрусить...» (XIV, 179).

Высокое и низкое, свободное и жестокое, мысль, обгоняющая века и самые низкие предрассудки века,— и все это соседствует в одном человеке, в одном характере. Кто же изучил эту гамму лучше, чем Пушкин? Но в лабиринте противоположностей Пушкин знал: в конце концов не заплутается лишь тот, кто внутренне свободен, кто умеет быть самим собой и во всех взлетах и падениях все же не изменяет себе.

«Ты понял жизни цель, для жизни ты живешь», — обращался Пушкин к «вельможе» Николаю Юсупову, человеку во многом «нащокинской породы».

П. В. Анненков справедливо замечал, что «...Нащокин <...> отвечал намерению Пушкина олицетворить идею о человеке нравственно, так сказать, из чистого золота, который не теряет ценности, куда бы ни попал, где бы ни очутился. Редкие умели так сберечь человеческое достоинство, прямоту души, благородство характера, как этот друг Пушкина, в самых критических обстоятельствах жизни, на краю гибели, в омуте слепых страстей и увлечений и под ударами судьбы и несчастия, большей частью им самим накликанными на себя» [22].

Личность лучшего друга Пушкина, его рассказы и его записки отразились и в произведениях, и в замыслах, и в размышлениях поэта о самых важных вопросах...

<Воспоминания П. В. Нащокина>

Любезный Александр Сергеевич!

Потворствуя твоему желанию, я начал писать свои записки, от самого своего рождения. Кажется и мудрено помнить свое рождение, но я оправдываюсь следующим: ребенок, занимаясь к углу игрушками, или пересыпая из помадных банок песок * в кучу и обратно, не взирая на его наружное равнодушие ко всему постороннему, все слышит, внимание его не затмено воображением и рассказы, слышанные в лета детства, так сильно врезываются в память его, что в последствии времени нам представляется, что как будто мы были самовидцами слышанного. Оправдался еси!

Я был не один у своих родителей, а потому, исключая моей няни, были еще и другие, а толки нянюшек первые поражают ухо ребенка. Эти толки более или менее

---

* Примечание Нащокина на полях:

Надобно тебе сказать, что у меня была Английская так называемая болезнь, это болезнь почти общая всем дворянским детям — и сии дети валяются и играют в песке, что, говорят, для них очень здорово.

ограничиваются пересудами или сплетнями, разговорами страшными и разговорами о детях. Первые не оставляют в ребенке впечатлений. Впечатления разговоров страшных сильны. Несмотря на то, что мамушкам и нянюшкам нашим и всем окружающим строго запрещено было пугать нас ведьмами, лешими, домовыми, но иногда они все-таки рассказывали про них друг другу, это сильно подействовало на меня, и здесь-то, я полагаю, корень склонности моей к мистицизму и ко всему необычайному. Вот первое обстоятельство отвлеченного страха: я как теперь помню, что няня моя, желая заставить меня скорее заснуть, взамен всех леших, домовых, стращала всегда какою-то Ариною, которая и теперь осталась для меня каким-то фантастическим лицом. В жаркую лунную ночь бессонницы я, казалось, сквозь занавесы моей кровати видел ее, сидящую подле, и страх заставлял меня невольно смыкать глаза, и тем вынуждался столь желаемый нянюшкою сон дитяти. Последний разряд их толков оставляет в нас неизгладимое воспоминание рождения нашего со всеми слышанными подробностями и некоторое понятие, впрочем весьма нелепое, о расположении или предпочтении родителей наших к кому-нибудь из нас. Отец мой, кажется, любил меня очень; о расположении же ко мне матушки говорить теперь совсем не для чего: из записок моих оно будет лучше видно.

В 1800, 801, в 802 ли году я родился, утвердительно не знаю. Причина впоследствии сама откроется; но знаю верно то, что это было с 14-го на 15-е декабря за полночь[23]. Отец мой спросил вина, ему подали мадеры, и он выпил за мое здоровье с крепостным, домашним подлекарем, вывезенным из Польши жидком, — маленьким, худеньким, черненьким, со впалыми, сверкающими глазками, курносым и с впадиной на подбородке, в сертучке. Мадеру подавал буфетчик Севолда, толстый, румяный, белокурый, среднего роста, в голубом фраке, в красном камзоле, обшитым галунами, в чулках и башмаках. Это все я помню, ибо помню этих людей, и камзол и сертук того и другого. Во время моего появления на свет отец мой был, вероятно, в жупане, заменявшем у него нынешние наши халаты; но достоверными были плисовые сапоги, потому что, как и все баре того времени, он имел подагру. Об отце доскажу после. Севолду же описал в знак благодарности: он рассказывал мне с удовольствием о подробностях моего рождения. Он еще жив, но рассказы его помню с шести или семи лет. Разопревши от резвости в саду в деревне, прибегал в большую столовую освежиться и заставал его, в том же наряде сидящего у подъемного большого окна, заставленного бутылями с уксусом, с чулком в руках, с вопросом: скоро ли выйдет из саду маминька? довольно ли я набегался, скоро ли выросту? когда буду настоящим барином? а там, будто разговаривая с самим собою, рассказывал о том времени, когда я был еще меньше, когда и как родился.

Итак я родился в Москве в собственном доме на Полянке, в приходе Косьмы и Дамиана. Крестила меня старшая сестра с родным дядей по матушке Я. Я. М.[24] и с приехавшим в ту же ночь мелкопоместным соседом Н. П. О., которому вверен был присмотр ростовской вотчины, впоследствии доставшейся мне, теперь же мною проданной. Все эти упомянутые лица, кроме Н. П. О., имели значительное влияние на мою жизнь.

От появления моего на здешний белый свет до того времени, как я начну лепетать и помнить, займусь описанием происхождения нашего рода, некоторых предков и познакомлю тебя с моим отцом.

Виновником нашего бытия в России был какой-то выходец из Италии, дукс и владетельный князь, имя значится в Российском Гербовнике[25]; он прибыл в Россию весьма давно, вероятно, в гости к какому-нибудь удельному князю. Из потомков его, и из предков моих замечателен был при царе Алексее Михайловиче А<фанасий> Л<аврентьевич> О<рдын> - Н<ащокин>[26], царственныя большия печати и государственных великих посольских дел оберегатель *.

Родной дед[27] мой был человек также весьма значительный, сведения о нем теперь собираются и скоро, как слышно, выйдут в печать; я же сам об нем знаю мало, слышал только, что, когда императрица Ан. Иван. предложила окружающим ее вельможам арестовать Бестужева и ни у кого из них на то недостало твердости духа — так силен был Бестужев даже в

* «Знаменитый чиновник сей, чуждый своекорыстия, почестей и отличий, подвизался на поприще Государственного служения из одного только желания быть полезным, и для цели сей жертвовал всеми на то правами человеческого честолюбия, которое нередко увлекало даже умнейших мужей». Вот об нем одно из исторических известий! **(Примечание Нащокина.)**

предпоследние минуты своего владычества, — императрица возложила сию обязанность на деда моего, Воина Афанасьевича Нащокина, который исполнил оное с надлежащим успехом. Известно, что он был человек умный и честный, особенно отличался твердостью и быстротою в исполнениях.

Отец мой был человек истинно славный. Я люблю не только одного его, но и те мне всегда кажутся милы, которые знали и помнят его; таких людей осталось немного, но кто видел его раз, я ручаюсь, что помнит. Его давно нет на свете; я остался после него очень мал, думаю — не более пяти лет, однако ж он служит для меня и теперь большим утешением. Воспоминание об нем и мысль, что я сам сын хорошего отца, часто удерживали меня от дел такого рода, где с пылким сердцем моим, с раздражительным воображением, и при частых скверных обстоятельствах не мудрено было увлечься к весьма худому, страшно вымолвить — к подлому. В таких обстоятельствах и с таким характером, иногда со всею твердостию духа, я бывал не в силах довольствовать собою, и искал какого-нибудь сильного, нравственного пособия в другом существе, и довольно часто находил это пособие исключительно в одном моем отце; более вот каким образом: истощив без успеха все способы к преодолению какого-нибудь трудного обстоятельства, я выбивался из сил, ложился спать (ибо конец дня я полагаю некоторым образом концом всякого дела), и, засыпая в таком расположении духа, я всегда видал во сне его, чаще будто возвращающегося издалека, после долгого отсутствия в свое семейство каким-то неопределенным лицом — и тут же тягость забот с меня спадала, и, хотя во сне, но с чувством любви и покорности уже полагал себя под покровом существа сильнейшего, и этот душевный покой сновидения возобновлял во мне силы и надежды на самом деле. С самого малолетства до сих пор я не могу сознаться, чтобы в связях знакомства и родства или хотя в ком-нибудь я находил существенную помощь или истинно полезный совет. Из тысячи людей, вмешивающихся в мои обстоятельства и дела, я никогда ни от кого не слыхал чего-нибудь такого, над чем бы я уже сам не ломал головы, и где самым главным было не советовать, но действовать за меня, за что никто не брался, а если и брался, то за это я поплачивался и пользою, и терпением, и душевным беспокойством, а чаще всего деньгами и потому решительно могу сказать, что в сей жизни я никому и ничем не обязан. Получа от отца достояние и оставшись после него в таком возрасте, в котором только возможно помнить детское чувство привязанности, зависимости и ласку его, не мудрено, что я сохранил к нему одному несомненное чувство предпочтения моим способностям и силам.

Надеюсь, что ты извинишь меня за эту сантиментальную выходку. Теперь все в сторону; по силе возможности буду все припоминать про моего отца, и виденное и слышанное.

В. В. Н. родился в почести и богатстве. Крестили его во дворце; восприемницею его была императрица Анна Ивановна. Крестился он во имя Доримедонта, но императрица назвала его Воином, по причине чрезмерной малости и быстрого движения младенца, и тут же он был произведен в гвардии сержанты. Восемнадцати лет был он уже полковником, а на 21-м году от рождения — генерал-майором. Вначале служба его ограничивалась тем, что он находился при особе принца голштинского, потом уже императора Петра III, коим и послан был с поклоном к Фридриху II, которому, не знаю почему, он понравился и был им удержан при прусском дворе шесть месяцев. Отец мой вообще любил иностранцев, но немцев и их язык особенно, верно, потому, что ему там было хорошо. Следствием всего этого было то, что у меня, в помощь моей русской няньки, была еще немка. По смерти ли батюшки ей отказали, или после, не знаю, но ее пребывание было весьма недолгое, ибо я только помню, что она была, а какова она была и какая не помню; но следы ее пребывания долго не могли изгладиться в моем изломанном русско-немецком языке, и в малолетстве я произносил **т** вместо **д** и **ш** вместо **ж**, и теперь еще, хотя я так и не говорю, но в выговоре моем осталось еще некое препинание, особенное, когда говорю по-французски, и при рассеянности иногда и пишу, как говорил в малолетстве, но при всем том по-немецки я не знаю. Однако ж речь не об немецком языке. Формулярный список моего отца мне совсем неизвестен, кроме того, что тут написано. Служил он все в военной службе. В скольких и в каких сражениях он был, где, когда и что получал в награду, ничего не знаю. Окончил же он свое поприще службы в чине генерал-поручика, с именем храброго и хорошего генерала. Свидетельствовать это могут многие еще и теперь бывшие его

подчиненные и множество ран, которые незадолго до его смерти открылись и ускорили ее. Женился он тридцати лет слишком; вышел в отставку при вступлении на престол государя императора Павла I, а умер тоже в таком-то году, более 30 лет тому назад *. Жену он нашел в отъезжем поле, во время пребывания его в Курской губернии со вверенным ему войском. Любя страстно охоту всякого рода, он часто потешался ею в окрестностях Курска, со множеством дворян той губернии и с своими офицерами. Такие поездки продолжались иногда по две и по три недели, с музыкой, с цыганами, песенниками, плясунами и разного рода подобными забавами и с великим запасом вина. Во время одной из таких поездок застала их буря и непогода, от которой не устояли шатры отцовского стана, а дождь залил и кухонный огонь и провиант. В таком случае делать было нечего — отец мой послал в бывшую на виду усадьбу с спросом расположиться на некоторое время в обширной оранжерее, замеченной ими, с условием отнюдь не обременять и не обеспокоить ничем владетелей той усадьбы. Переночевав, поутру пошел он из оранжереи в господский дом благодарить за гостеприимство хозяина или хозяйку; но с первого взгляда трудно было решить, хозяйка ли то была или хозяин в женском платье; то была моя бабушка, сказывали мне, что она имела все ухватки мужские, росту была самого большого женского, собой сухая, лицом мужественна, с орлиным взглядом. Она встретила его повязанная черным платком на голове и в длинном капоте темного цвета (всегдашний ее наряд) **. Отец мой, думаю, не менее поразил ее. Я еще не говорил, каков он был собою — теперь кстати: росту он был очень малого, в плечах необыкновенно широк, такого рода сложения, как по-русски говорится, молотками сбит. Круглая голова, почти без шеи, лежала на могучих плечах, как на подносе; впрочем, исключая недостаток шеи и чрезмерно широких плеч, он был соразмерно статен. Лицом же был хорош. Волосы имел пепельного цвета, лоб открытый и прямой, брови выдавшиеся. Брови и глаза разделены были необыкновенными морщинами в виде пятиугольника, который вместе со взглядом определял его решительный, твердый и несколько суровый характер ***. Правильный прямой нос его в оконечности был несколько раздвоен. Глаза его были темнокарие величиною немного менее средних, светлые и в беспрестанном быстром движении. Короткие, правильные смеющиеся губы, несколько смягчавшие суровое выражение его лица, четырехугольный подбородок, внизу также раздвоенный, дорисовывает его физиономию. Голос у него был приятный; в разговоре и в движении был он скор и отрывист; задумчивости не знал и лицо его было мало изменчиво: на нем отражалось обыкновенное расположение его души, светлой и веселой, или бурной и вспыльчивой, каков он бывал часто. И первое отражение души его заставляло любить его, а второе бояться. Сам же он не знал, что такое страх, и несмотря на пылкий нрав его известно мне, не имел ни к кому особенной привязанности. Любовь его распространялась на всех. Запальчивость и краткий гнев обрушивались всегда на одном предмете, говорю предмет, потому что он мог вспылить не на одного человека, но и на животное, даже и на вещи неодушевленные — вообще вид его сходен был с его характером. Твердость и непреклонность. Бабка, невзирая на различие наружностей каждого в своем роде, сходствовала с ним характером и решительностью; последнее качество было в ней замечательно сильно. Один раз во время ее любимого занятия по саду вдруг ей вздумалось взглянуть на свою милую дочку, которая уже несколько лет была замужем и жила с моим отцом в жалованной воронежской деревне, отстоящей от ее сада верст 300; в подвязных карманах были деньги, в руках палочка, несколько схожая на дубинку, и, не заходя домой, прямо из сада пошла пешком и пришла к своей милой дочери погостить. Кажется, что для женщины довольно решительно, даже слишком смело, но это точно было. И там-то, рассказывали мне, носила она меня на руках, пела и прыгала, утешая меня. Фамилия ее Н. [28] и звали ее А. В. После этого представляю всякому **** вообразить себе и прием А. В-ны В. В-чу, но, как я думаю, не долго они церемонились и

---

* Ранее было: «Ровно 30 лет тому назад», затем Нащокин переделал на «более 30 лет...». Наконец зачеркнул все карандашом.

** Зачеркнуто: «Таковою она и на портрете».

*** Далее зачеркнуто: «Я уже раз сознался в пристрастии к моему отцу и потому прости меня великодушно, может быть, в излишней отчетливости в его описании <...>».

**** Вместо «представляю всякому» было прежде: «Ты можешь вообразить...»

скоро перешли от объяснения к короткому обращению, одна из дочерей А. В. вбежала будто нечаянно и тут осталась. Это была моя тетка, впоследствии М.; другую же дочь вызвали поневоле из внутренних комнат в гостиную и они обе представлены были моему отцу с сиими словами: «Вот тебе, батюшка, обе мои дочери, вот эта Клеопатра старшая, петербургская, тихая, умная, скромная, учена языкам и наукам. А вот эта моя вторая, прибавила она, указывая на вбежавшую прежде, Александра, деревенщина, я ее, батюшка, сама учила, и потому она такая же дура и сумасшедшая, как я, выбирай и бери себе любую». Говорят, что скоро сказка сказывается да не скоро дело делается, но тут скоро было сказано и скоро сделано, и отец мой, не допуская ни малейшего отлагательства, посадил их всех трех в карету, повез в Курск, сопутствуя им всем своим охотничьим штатом, верхами. А на другой день по приезде все было кончено и тихая, скромная Клеопатра [29] сделалась женою моего отца *. Я никогда не слыхивал от матушки никаких жалоб на покойника мужа ее, напротив, она всегда отзывалась о нем с самохвальным довольством и с некоторой гордостью о привязанности и любви его к ней, впрочем из слов его современных знакомых, он обращался с ней не слишком нежно, что по тогдашнему времени нисколько не противоречит привязанности и любви его к матушке; взял он ее за себя совершенно ребенком, ей не было пятнадцати лет. Первые годы супружества она сопутствовала во всех тогдашних походах, была даже при осадах Очакова и Бендер. Приучал ее к пушечным выстрелам, сажая ее на пушку и выстреливая из-под нее, приучал ее также и к воде, которую она всегда боялась, и вот каким образом: посадив ее с грудным ребенком в рыбачью худую лодку, сам греб веслами по Волге (на Волге у него деревня) — в бурное грозное время для предосторожности следовала за ними двенадцативесельная шлюпка с бубнами и с песельниками, пользы же от оного воспитания никакой не было, ибо двадцать лет спустя после смерти батюшки матушка все еще боялась воды и, когда случалось ездить в карете по Фанталке <так!> или по какой-нибудь набережной в Петербурге, матушка моя всегда прилегала к противолежащему углу кареты и с ужасом взглядывала на воду, крестилась, прочитывая спасительные молитвы. Стрельбы ж не перестала бояться тоже. При каждом выстреле в царский табельный день, на Литейной, где я с ней жил, я очень помню, как, сидя на диване, всегда вздрагивала и от страху складывала карты в коробочку и никак не могла доделать пасьянса, как себя ни принуждала. В постоянстве батюшка мой и в верности к супруге примером служить тоже не может. Собственно о матушке я теперь, как уже и выше сказано, говорить не буду, а если что сказал и что буду говорить — все будет относительно к отцу моему. В обращении его с матушкой он ни перед кем не оправдывался, а говорил просто, что эти сильные способы необходимы к приобретению бесстрашия, а что жене военного человека ничего бояться не должно и что она так еще молода, что от страха отучить ее еще можно, а что после будет уже поздно и проч. Был всегда внимателен и почтителен и любил, чтобы и другие все оказывали к жене его уважение, со всею вспыльчивостью он с нею редко таким бывал и вспыльчивость его в присутствии жены своей оказывалась в границах благопристойности **. Ни в чем ей никогда не отказывал, — в производстве ли кого, или в прощении за какую вину кого бы то ни было — при нем она одна могла ходатайствовать и выспрашивать все даже против его воли, о других же требованиях матушке моей и говорить нечего, ибо он был щедр — и даже прежде расточителен, одним словом, ничего не жалел и ни в чем ей не отказывал ***. До тех самых пор при дворе отца моего не было сильнее матушки, покуда не подросла старшая моя сестра Настасья Воиновна, которая, будучи 8-ми и девяти лет, вела себя со всеми окружающими батюшки и матушки, как совершеннолетняя барышня, и ее приказания были исполняемы точно так, как изустные именные повеления при императорском дворе дежурного генерала-адъютанта. Случалось нередко, что и матушка моя в сумнительных случаях, не надеясь на свою силу, подсылала сестру мою с просьбами к батюшке. У отца моего было всех двенадцать человек детей, из коих осталось только пятеро — два сына и три дочери. Сестра Настасья Воиновна была вторая из всех двенадцати, я же передпоследним, из чего заключить можно, что описываемое мною по сю пору все взято из рассказов домашних. Сам я еще ничего

* Отсюда начинается почерк Веры Александровны Нащокиной.

** Начиная отсюда — снова почерк П. В. Нащокина.

*** Отсюда — почерк В. А. Нащокиной.

не видел. Теперь расскажу, каким запомню своего отца. Самое истинное изображение родителя моего и могу вспомнить с некоторой отчетливостью выезд батюшки из костромской его вотчины в Москву. Я тогда сидел у девичьего крыльца на большом камне, ожидая тройку запряженных мальчиков в маленькую мою коляску, окруженный мамками, няньками, я не видел суматохи, производимой у большого крыльца, как вдруг потребовали меня и потащили от одного крыльца к другому сквозь множество людей, экипажей, лошадей, коими наполнен был весь двор, весьма огромный, в последствии времени я не видывал больше ни в каких усадьбах, а тогда он мне казался беспредельный; меня подвели к лестнице, которая мне показалась лестницей, виденной во сне Яковом Израильским, виденного мною в картинках Священной Истории, но на ступеньках оной не ангелы просторно сидящие, но толпа разных народов, усеянных сверху донизу, как-то: арапов, карликов, бездна пудреных голов, красных галунов, обшитых камзолов, зеленых мундиров, седых усов в гусарских, казачьих и польских платьях, бездну женщин, и посредине отца моего, которого фигура мною уже была описана, на нем был зеленый плащ с красным подбоем и засаленный зеленый складной картуз, плащ и картуз теперь еще существуют. Помню я, что меня приподняли к нему очень близко, он что-то спросил, я заплакал, он вскрикнул, и потом уж я был в детской комнате и из окошка видел, как тянулся обоз через мост и вверх по аллее и как завернулся вдоль винокуренного заводу и исчез *. Потом я уже совсем почти его нигде не помню. — Является он моему воображению как темная грустная тень с одним абрисом без оттенков — то в Воронежской деревне, где он и скончался, то в Москве — помню его взгляд, голос его мне очень знаком **. Кстати — чтобы не пропустить, выпишу я церемониал или порядок, каким образом шел его обоз и из чего он состоял ***. Предводительствовал всем обозом поляк Куликовский и шлях. Ехал он впереди верхом на большой буланой лошади с трубой с такой, какую в азбуке рисуют почтальона — этой трубой повещал он, чтобы трогались с места и чтобы останавливались. Этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил их к себе в собственность, между ними было несколько и жиденят, и его должность на постоянном месте состояла в том, чтобы приготовлять пищу и наблюдать чистоту у собак, птиц, зверьков и зверей разного рода за теми только, кои из множества попадали в случай к моему отцу. Исправив свою службу он потешал дворню, т. е. он был дворовым и крестьянским потешителем, люди забавлялись, мучили, тревожа его огромный нос щелчками, играли с ним в носки — одним словом за все отвечал его нос за то, что был непозволительно велик. В деревне же в базарные дни летом обязанностью его было выезжать на верблюде, а святками и зимою показывал бабам и мужикам в сарае lanterne-magique, объясняя им, как Адамушка и Евушка скушали яблочко, как Кузьма Иванович с Матреной Ивановной минуэт танцуют, как русские гренадеры на штыки идут и проч. и проч. Сверх того, он еще имел необыкновенный талант подражать барабанному бою тем отверстием, которое находится на том месте, которое не называют ****, а при необходимости рассказа только жестом указывают. Этим искусством он добывал себе нужные припасы, продаваемые на базаре, — безденежно, иногда и господа помещики потешались и платили за мелкую дробь или за десяток раз, как им вздумается, по условленной цене. Из сего я вывожу следующую приговорку — если про немца говорят, что он и на <...> хлеб достанет, почему не сказать и про поляка, что и он из своей з<...>цы выгоды наблюдать может?

Вслед за Куликовским ехала полосатая одноколка, полоса золотая, — одна, другая голубая — в нее пересаживались из двуместной кареты иногда отец мой, карета же, заложенная цуком, — в шорах и по бокам гусары верхом. Тут сидела матушка чаще одна, если ж с отцом моим, тогда одноколкой правил Семен писарь, мальчик лет восемнадцати, — оседланный его иноходец, привязанный бежал сзади. Семен, сказывают, похож был на батюшку и им очень был любим. Он умер горячкой. «Жаль Сеньку, был бы полковник», — говаривал мой отец. На козлах сидел также поляк, который тоже был великой мастер в своем роде — птицы близко к нему подвертываются — бичем захлестывал, убивал

* Снова почерк П. В. Нащокина.

** Затем зачеркнуто: «Напевал он мне, — говорит сестра Анна, — песню, утвердительно не могу сказать помню ли я, как он пел, или нет».

*** Снова почерк В. А. Нащокиной.

**** Снова почерк П. В. Нащокина.

их на лету ради шутки. Он был истинный бич на ворон и на галок *. Между козлами и наружной частью кареты выдавалось место в виде ящика, на котором сидел знаменитый дурак Иван Степанович: в красном кафтане, совсем плешивый, с волосами на одних висках; об них будет особая статья, скажу только, что он был впоследствии взят ко двору государя императора Павла Петровича и во все царствование государя императора находился при особе его, по кончине же Павла Петровича был батюшке прислан обратно. За сим следуют кареты, нагруженные детьми разных возрастов и принадлежащими к ним мадамами, няньками, учителями и дядьками, а там линейки: первая с воспитанницами или взятушками, как помню их всех вообще называли наши люди, они все или более частию были дочери бедных дворян или дети служащих некогда при моем отце, над ними смотрительница, вдова штаб-лекаря Елизавета Ивановна Рокль, старуха 70 лет, которая румянилась и сурмила брови, любила пить кофей и говорить о прежней своей красоте, по русски почти совсем не говорила, несмотря что безвыездно жила в России более 50 лет, с мужчинами употребляла называя их и с ними говоря слова женского рода, а с женщинами — в мужском роде, в остальных линейках ехали капельмейстеры с семействами, их было двое, один в особенности для роговой музыки, которую батюшка очень любил, иностранные повара с женами и с детьми, доморощенные архитектор, аптекарь и упомянутый старший буфетчик С. Ив., камердинер батюшкин Дмитрий Афанасьевич, который имел офицерский чин и был масон, немец егерь и протч. и протч., — всех их упомнить не могу, да и не для чего, одним словом — люди все очень важные; потом длинные и высокие брички, набитые бабами, девками, коробками, перинами, подушками, наверху же оных установлены клетки с перепелами, соловьями и с разными птицами; ястреба и сокола, привязанные на цепочках в красных колпаках, мелькают на верхах некоторых бричек, около которых идет пешком молодой народ, т. е. музыканты, официанты, во-первых, потому что веселее и, во-вторых, не так устанешь, беспрестанные задержки в обозе делали переходы очень маленькие, и не увидишь как придешь, говаривал мне Мисос, а если сядешь — то поясница заболит, тогда рессор<?> к запяткам не делали, — тем более, что с последним лучом солнца Куликовский трубил в свой рог и обоз останавливался, раскладывались палатки, выгружались экипажи, и располагались ночевать. Кроме других, не стоящих внимания повозок я должен необходимо описать буфет, которого тащили 16 лошадей, — видом он огромный, квадратный кованный сундук на колесах, главный его груз состоял в серебряном сервизе жалованный моему отцу императрицей Екатериной II, и, как сказано, на сорок персон, и лед, который занимал дно сундука с винами и с разными прохладительными напитками, еще длинный ящик с роговой музыкой. Два экипажа еще весьма замечательные, заключавшие шествие обоза, суть — две квадратные клетки с потолками, с задними дверцами; одна из этих клеток с лавочками, на которых сидели более десяти человек под общим названием дураков, кои суть: Алексей Федорович, карлик, который едал жареных галок и ворон, в степи сажали его на дикую лошадь ** и пускали на волю божию, он очень был силен в ногах, которые были необыкновенно кривы, и потому крепок на лошади, — травили его с козлом рогатым, которого он под ножку ронял, кидали его с балкону вниз на ковер и оттуда подкидывали вверх; еще какие штуки — не помню, только скажу, что, хотя пользы от него и не было, — но он не даром хлеб ел. Потом Мартын, китаец, куплен отцом моим за 1000 червонцев у купца, которой его привез в чемодане. Это была совершенная кукла, ничего не говорил, с трудом мог ходить, отца моего звал «бурррр», а матушку «ава»; всего боялся — а более смерти. Не любил, как хороним, а всякий покойник наводил на него ужас; еще какой-то Андрей Иванович — тем курьезен, что долбил булавкой крутой булыжник и в пятнадцать лет выдолбил табатерку — эти были самые важные. Остальные при случае вспомню, а теперь мне не до них, хочется скорей до места и на покой; Марья арапка для них была во время путешествия то же, что Марья Ивановна у воспитанниц — она с ними сидела и держала их в решпекте; она не как дура, а как только смотрительница — не только их, но и с отцом моим ладила, она всегда его одевала, и, если случится, ему на нее рассердиться и дать ей тычка, — она, наоборот, — и тем и скончится, что: «ой, Машка, ой черная кошка, спасибо». Он, как я уже говорил, был необыкновенно горяч и очень силен; и потому нередко его тычки

* Снова почерк В. А. Нащокиной.
** Снова начинается почерк П. В. Нащокина.

были опасны, но Марья арапка была сама здорова и ему не спускала, и вот почему она была его непременный подкамердинер» *. Вторая карета точно такая же, с тою только разницей, что вместо лавочек была постлана солома, покрыта войлоками, а вместо дураков — усталые или больные гончие или борзые собаки. Здоровые собаки шли в сворах у псарей, едущих верхами, а которые шли по воле. Последние два экипажа в дождик или ненастный задергивались парусиной **. Кухня на походе ничего не значит, она хороша на месте, уставлялась всегда вдоль по реке, несколько огней означали почти число блюд. Вертела играли в тогдашнее время большую роль, и около них всегда более народу — все обозные люди, бабы, девки толпились, просушиваясь около огней, ребятишки соседних мест сбегались смотреть на такое диво. Не знаю, говорил ли я, что отец мой дорогой преимущественно любил останавливаться на чистом воздухе в поле. Тут раскидывалась палатка в виде белого домика, с окнами с зелеными рамами, устилалась коврами, и уставливали складными столами, креслами, стульями. Около домика стояли, как стоги, несколько палаток, называемых калмычками — войлочные — без окон. В них, кроме той, в которой ложился спать батюшка (ибо в белом домике только сидели, кушали да слушали походную музыку), помещались все прочие, как-то: дети, мадам, учителя, барышни и т. д. В детской палатке ночью горел спирт в медных тазах, отчего было и светло и тепло, точно так, как в комнате. Мисос мой с восторгом вспоминает о полевых таких ночлегах: «то-то было весело, что вы еще были тогда не более (показывая аршин пространства от полу до своей ладони) еще не знаю, были ли вы еще на свете. — Барин с пенковой трубкой в зеленом картузе и епанче пойдет всех обхаживать — за ним народу, собак — датская, его любимая, кофейного цвета, Амур, уже никогда от него не отставала, — со всеми переговорит, девка если встретится, остановит и за щеку ущипнет — уж это непременно, а девки были наподбор, некоторые по-французски говорили, танцевать умели все. Жены моей сестра, говорит — все еще Мисос — отлично танцевала и по французски говорила — она была девушкой за Настасьей Воиновой. Раз как-то украла да и убежала и поминай как звали...

Первое подойдет барин к людскому котлу, хлебнет кашицу — и посмотрит как собак кормят — зайдет в палатку к детям, т. е. к Вам, с мамушкой поговорит — мамушкой была Елена Федотовна, над всеми нянюшками главная — почтенная старушка, она одна хаживала к господам сказать если что нужно для детей».

Походя, придет к маминьке в белый домик — тут изволют все чай кушать. Папенька и Мум Галин пуншу по стакану, — потом опять пойдет бродить, а сам велит музыке играть, и до ужина на месте не посидит. Поужинавши, маменька ваша, мадамы и весь женский пол пойдут почивать, а папенька остается в белом домике почти до рассвету, разговаривая с управляющим, с прикащиком, со всеми старыми людьми; тут всякий рапортует по своему делу. Сделав свои распоряжения на завтрашний день, батюшка отправляется суснуть. Он почивал очень мало, и у маменькиной палатке — отдав последние приказания — все раскланиваются и уходят, всякий в свою сторону. — У палатки Марья Ивановна, Орапка, встречает барина — как он за палатку, так все и утихнет до тех пор, пока не затрубит Куликовский к сбору. Пойдет опять суматоха, все убираются, палатки складываются, кто бежит на речку умыться, кто купаться, толкотня страшная, наконец уже лошадей впрягают и уж все готово, все поле чисто, один белый домик стоит — и он в миг разберется и уложится — лишь только С. Ив. Бур. покажется с полотенцем на плечах и с опорожненным кофейником и чайником и с опрокинутыми чашками, — карета и одноколка тронутся к домику — господа сядут, Куликовский опять затрубит к походу, и поехали таким же порядком, как и прежде. Не скоро ездил отец мой, — зато весело, никто его не гнал, он ездил сам, а мы езду или дорогу [три слова неразборчивы]. И говорят у нас: жили там-то, столько-то, а в дороге пробыл...

Когда я был в Ростове, жители, старики тамошние, говорили мне, что, бывало, за неделю весь Ростов печет калачи и хлебы, ожидая его. Сколько народу с ним ездило неизвестно, но лошадей под обозом никогда не было меньше ста пятидесяти, а иногда и более...

---

* Опять начинается почерк В. А. Нащокиной.

** Снова почерк П. В. Нащокина.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Самобытная орфография Нащокина (иногда — «Александр Сергеевич», чаще — «...Сергеивич» и т. п.) в этой статье по возможности сохранена.

[2] Н. В. Гоголь писал с Нащокина своего Хлобуева (второй том «Мертвых душ»). О Гоголе и Нащокине см.: М. О. Гершензон, Друг Пушкина Нащокин. «Мудрость Пушкина». М., 1919, стр. 222—229.

[3] М. О. Гершензон, кажется, первый заметил связь между «живой изобразительностью» нащокинских писем и стремлением Пушкина — получить записки («мемории») Нащокина. Однако М. О. Гершензон ошибался, утверждая, что «разумеется, мемории остались ненаписанными». См.: М. О. Гершензон, Мудрость Пушкина. М., 1919, стр. 219 и др.

[4] Пушкин писал то «Нащокин», то «Нащекин».

[5] П. В. Нащокин и после смерти Пушкина поддерживал отношения с В. Г. Белинским. 3 марта 1846 года Д. П. Иванов писал своему двоюродному дяде, В. Г. Белинскому, из Москвы в Петербург: «Поручения твои исполнены в точности <...> Боткину 700 р. Нащокину 200... <...> Сочинения графини Толстой переданы Нащокиным Константину С. Аксакову, следовательно, ты от него должен получить их. Нащокин на твои извинения о просрочке отзывался обыкновенно, что деньги эти не стоят твоего беспокойства и благодарил тебя за присылку» (ГБЛ, № 5184, № 14).

[6] См. «Рукою Пушкина», стр. 124—127. Л. Б. Модзалевский, комментировавший в сборнике «Рукою Пушкина» этот текст, ошибочно счел его написанным неизвестною рукою.

[7] «Рукою Пушкина», стр. 116—124; см. также: А. С. Пушкин, т. XII, стр. 287—292.

[8] «Рассказы о Пушкине», стр. 40.

[9] Там же, стр. 106. Запись Бартенева свидетельствует, что записки самого Нащокина Пушкин «сократил и передал в этих маленьких отрывках» (т. е. создал «первую редакцию» записок (1830 г.). Здесь ошибается либо Нащокин, либо Бартенев: ведь сначала появилась первая редакция, записанная Пушкиным, и лишь через несколько лет сам Нащокин стал составлять свои «мемории». Однако есть в этой путанице и доля истины, о чем будет сказано позже.

[10] Письмо от 4 декабря 1851 года (ГБЛ, ф. 231/II, п. 121, № 120).

[11] Рассказы Нащокина о Пушкине использованы П. В. Анненковым, П. И. Бартеневым и другими исследователями XIX века. Однако время от времени обнаруживались новые любопытные детали.

[12] По желанию Е. П. Подъяпольской рукопись П. В. Нащокина в настоящее время передана в рукописный отдел ГБЛ.

[13] В тексте и на полях много поправок чернилами и несколько раз карандашом. Наиболее существенные исправления оговорены в примечаниях.

[14] Кроме чисто авторских исправлений, в тексте за это говорят и характерные замены букв, свойственные письму Нащокина, — например, «черемонились» (на стр. X); «таже» исправлено на «даже» (стр. XIII), «груглая» на «круглая» (стр. XV), «дятьками» вместо «дядьками» (стр. XVII). Нащокин говаривал, что у него с детства в орфографии осталось «немецкое произношение».

[15] ГБЛ, ф. 231/II, п. 121, письмо № 8.

[16] На левой половине листа в дворянском щите «ЕБ», т. е. Е. Баташевой; на правой половине — «КУУФ». Внизу «1833». Бумага эта неизвестна специалистам (см. описание 271 сорта бумаги русского производства XVIII—XIX веков в работе С. А. Клепикова «Филиграни и штемпели бумаг русского производства XVIII—XX веков» в кн. «Записки отдела рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. 13. М., 1952, стр. 57—122).

[17] Закономерна поэтому ошибка Нащокина или Бартенева, перепутавшего последовательность редакции и ошибочно утверждавшего что Пушкин «сократил и переделал» (в 1830 г.) более полные записки Нащокина (1836 г.!).

[18] Наиболее важные отличия публикации рукописи и «второй редакции» нащокинских записок отмечены в примечаниях к самому тексту.

[19] Прежде, в 1830 году, Пушкин ошибочно писал, что Павел I подарил В. В. Нащокину деревню «в Воронежской губернии».

[20] Пушкин ошибся. В. В. Нащокин умер в 1806 году.

[21] В книге А. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов», т. III. Спб., 1884, стр. 427 сообщается: «По удостоверению редактора-издателя исторического сборника «Русский архив» П. И. Бартенева, существовала записка А. С. Пушкина, написанная им по поручению в. к. Михаила Павловича и излагавшая факт личного оскорбления Суворова генералом Нащокиным. Записка эта была составлена нашим великим поэтом со слов его друга Нащокина-сына и должна была находиться в бумагах в. к. Были приняты две различные дороги к отысканию записки, но обе они привели к полной неудаче: записка, если существовала, то пропала».

[22] «П. В. Анненков и его друзья». Спб., 1892, стр. 470.

[23] Согласно архивным документам П. В. Нащокин родился 8 декабря 1801 года (Н. Раевский, Нащокины. «Простор», 1969, № 3, стр. 90).

[24] При крещении восприемниками были «премьер-майор Яков Михайлович Маслов и сестра младенца Анастасия Воиновна» (Н. Раевский, Указ. соч., стр. 90).

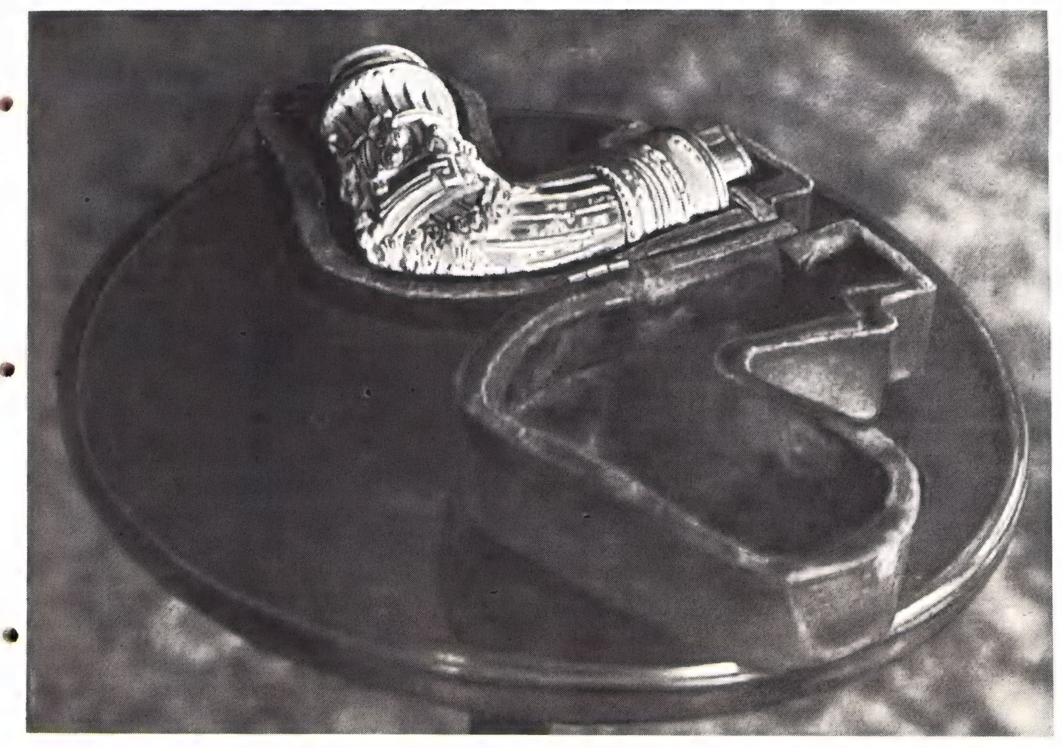
[25] Соображения о нем см. в цит. ст. Н. Раевского, стр. 89.

[26] В действительности род Ордын-Нащокиных отделился от Нащокиных еще в начале XV века.

[27] Василий Александрович Нащокин (1707—1760) — генерал-поручик, автор записок.

[28] Нелидова.

[29] Клеопатра Петровна Нелидова.



Пенковая курительная трубка.

Из воспоминаний о Пушкине в Кишиневе

(Публикация Т. Г. Цявловской)

Через три недели после смерти Пушкина — в качестве некролога — в парижской газете «Temps» (от 5 марта 1837 года по новому стилю) были опубликованы воспоминания[1] о жизни поэта в Кишиневе.

В русскую печать эти мемуары проникли в столетний юбилей со дня рождения Пушкина, но в переводе не с французского подлинника, а с немецких перепечаток[2].

В 1937 году статья из «Temps» 1837 года была перепечатана на русском языке в книге «Сто лет смерти Пушкина. Парижские отклики в 1837 году». Собрал Лоллий Львов. Издание Комитета по устройству Дня русской культуры во Франции. Париж, 1937. Здесь текст статьи (на стр. 30 и 42—44) перебивается комментариями публикатора.

Полный ли текст статьи из «Temps» представлен в позднейших публикациях, установить, не видя первоисточника, не представляется возможным.

Специальные поиски номера газеты «Temps» от 5 марта 1837 года, которые я предпринимала в библиотеках Ленинграда и Москвы, не привели ни к чему.

Но вот совершенно случайно, пересматривая вырезки из газет и журналов из



Окраина Кишинева. XIX век.

собрания С. Д. Полторацкого (в отделе рукописей Ленинской библиотеки), я неожиданно увидела вырезку из «Temps» с искомой мною статьей [3].

Вот ее полный текст в переводе [4].

Пушкин

Недавно газеты сообщили о смерти знаменитого Пушкина, который был в некотором роде создателем национальной поэзии своей страны. Путешественник, знававший поэта, сообщает нам о его личности и характере следующие подробности.

«Пушкин по своему рождению и в особенности по своим отношениям был связан с известнейшими именами России. Его занятия в Санкт-Петербургском университете [5] были отмечены исключительными успехами, рано развившими в нем недостатки, которым он обязан был всеми бурями своей беспокойной жизни. Высокомерный и резкий, он не терпел ни малейшего противоречия. И так как он опасался, что его перо или его слово не всегда доставят ему превосходство, к которому он стремился, то он рано научился владеть оружием всякого рода и достиг в этом совершенства. Это был опасный дуэлянт.

Первыми литературными опытами его были басни [6], имевшие необычайный успех. Лучшего пути для безнаказанного роста своего фрондерского духа Пушкин не нашел. Эта муза придала его произведениям очарование и прелесть, до того не знакомые славянскому языку.

Ему едва исполнилось двадцать лет в то время, когда Занд нанес удар Коцебу. Пушкин был в театре, когда известие об этом событии до него дошло. Застигнутый врасплох, баснописец не подумал о том, чтобы скрыть свою мысль за иносказанием; повернувшись к ложе государя, он воскликнул с непосредственной прямотой: «Нужно было в сердце северного деспота вонзить твой кинжал, глупый школяр».

На него донесли, и он был приговорен к ссылке в Сибирь. Однако Александр, во внимание к таланту, молодости Пушкина и мольбам семьи, избавил его от столь ненавистного ему Севера и послал в Бессарабию посетить пустыни Юга.

В качестве местожительства и заключения ему был назначен главный город этой



Дом Инзова в Кишиневе.



И. Н. Инзов.

губернии Кишинев, расположенный между Прутом и Днестром. Этот губернский город по своей площади меньше нашего села Пантэн[7]. Дома Кишинева имеют один лишь нижний этаж, и жители любуются дворцом губернатора как редкостным достижением архитектуры, потому что соломенная крыша его возвышается на целый этаж над другими крышами этого города.

Военный начальник этого пустынного края[8], друг семьи Пушкина, предложил ему стол и квартиру в своем особняке. Поэт близко сошелся с его помощником Крупенским[9], греком по происхождению, женившимся на русской[10]. У последнего мы и встречали и знавали этого странного писателя[11].

Пушкин был мал ростом. Короткие курчавые волосы обрамляли его лицо, неизменно искрящееся умом и озаренное гениальностью; однако преобладало в нем выражение иронии, иногда суровой и дикой. Это был человек просвещенный, но просвещенный русский, и русский прежде всего. Он никогда не покидал своей страны и знал другие страны Европы лишь по рассказам своих соотечественников, которые их объездили, или от иностранцев, родиной которых они были. Однако он говорил по-немецки и по-французски с редким совершенством[12]; все наши писатели были ему знакомы. Его знания были глубоки. Это-то соединение европейских наук с дикой энергией его страны и создало из него писателя России, наиболее ценимого его соотечественниками.

Он очень остроумно рисовал карикатуры. Каждый вечер[13] поэт, вооруженный кусочком мела, которым в России принято отмечать счет карточной игры, обходил столы и на каждом углу зарисовывал с совершенным сходством портреты-шаржи игроков. Дантан не достигал большего в своих гипсах. Это был неиссякаемый источник веселья для общества. Потом поэт садился за карты и оставлял их лишь для того, чтобы вновь играть после ужина, происходившего в десять часов, до утра. Это было у него страстью, которая вместе с дуэлями поглощала его жизнь.

Он прикидывался дерзким циником и принимал своих посетителей в постели, где его заставали прикрытым одни-

ми лишь простынями, раскиданными в беспорядке.

Одним из противоречий его ума было то, что этот русский, так сильно отмеченный национальным характером, начисто отказался от свойственного этому характеру суеверного благочестия и находил удовольствие в том, чтобы выставлять напоказ свой атеизм. По его мнению, Вольтер и Руссо были глупцами, ибо верили в бога. И, верный своей страсти убеждать, он, чтобы доказать свое мнение, привлекал в обилии парадоксы, так остроумно и своеобразно изложенные, что слушатели забывали обо всем, часами внимая его речам.

Из его многочисленных дуэлей нам особенно запомнились две, имевшие место одна вслед за другой. Первая — с французским эмигрантом, бароном де С..., который, имея право избрать оружие, предложил ружье, ввиду устрашающего превосходства, с которым его противник владел пистолетом. Благодаря веселью, которое этот новейшего рода поединок вызвал у секундантов и противников, примирение было достигнуто, ибо Пушкин любил посмеяться. На другой день, очевидно, чтобы вознаградить себя за неудачу, постигшую его накануне, он затеял дело с другим французом, находившимся на русской службе, полковником Л... После того как противники безуспешно обменялись четырьмя пулями, секунданты прекратили поединок, вопреки желанию обоих бойцов, и особенно Пушкина, удивленного и пристыженного своей неудачей и безутешного оттого, что он вторично упустил случай.

Несколько французов, находившихся тогда в Кишиневе, основали там масонскую ложу. Пушкин вступил в нее, и множество русских различного положения в обществе последовали его примеру. Правительство закрывало на это глаза, но однажды крестьяне заметили архимандрита (епископа) в тот момент, когда его вели в комнату для размышлений, они вообразили, что над ним совершается насилие, и стали звать на помощь, чтобы спасти своего любимого пастыря. Произошел своего рода бунт, и правительство, поставленное об этом в известность, приказало закрыть ложи на всем протяжении империи. Эта мера получила отклик в Европе, где не знали о вызвавшей ее причине.

Азия в те времена разорялась саранчой. Это несчастье достигло и Бессарабии, и губернатор, чтобы его предотвратить, привлек крестьян и солдат, вооруженных медной посудой и барабанами, шум которых должен был отгонять тучи насекомых. За ними должны были следовать свиньи, чтобы пожирать саранчу, которую не удалось отвратить шумом. Губернатор поручил Пушкину командовать экспедицией, но он отклонил эту честь, заявив, что не умеет ни сражаться с мухами, ни пасти свиней. Он использовал этот случай как тему для карикатур и забавлял ими весь край.

Несмотря на эти происшествия, новые произведения, которые он не переставал писать в своей ссылке, привели его к вызову в С.-Петербург. Но с этого времени мы его потеряли из виду» [14].

Автор публикации, подписавшийся сокращенно: «G. Lam...», воспроизводит рассказы «путешественника», встречавшего поэта в Кишиневе.

Вопрос о том, кто автор этих воспоминаний о Пушкине, обсуждался в печати. М. А. Веневитинов писал: «В каталоге Rossica Императорской публичной библиотеки мы не нашли подходящего указания для определения неизвестного автора, скрывшего свое имя под буквами G. Lam...» [15] Перечислив французов, которых Пушкин знал в Кишиневе, М. А. Веневитинов приходит к заключению, что данные для статьи сообщили, вероятно, Рипе, гувернер молодых князей Кантакузиных, и Фурнье, живший в семье Раевских [16].

Возражают Веневитинову румынские исследователи Георгий Бесвикони и Скарлат Каллимаки. Они утверждают: «В действительности автором был кишиневский приятель Пушкина, Георгий Лампо, просвещенный грек, родом из Рендины, поселившийся в конце концов в своем имении Шофрынканы Белецкого уезда...» [17] Авторы книги говорят о ценной библиотеке Лампо по искусству.

Судя по тому, что румынские исследователи называют автором воспоминаний Георгия Лампо, имя и фамилия которого начинаются с тех же букв, которые стоят под публикацией, они остановились на этом человеке именно на основании тождества этих букв. Между тем не могу не обратить внимания на то, что подпись эта, так же как и вводные строки к воспоминаниям, стоит за пределами текста воспоминаний, заключенных в газете в кавычки. Быть может, подпись эта принадлежит не автору воспоминаний, а автору вступительных строк, человеку, связанному с редакцией газеты и, возможно, доставившему туда эти воспоминания. Если это так, то

имя автора воспоминаний по-прежнему остается неизвестным.

Мемуарист судит о Пушкине поверхностно, повторяя перекочевывающее из статьи в статью (начиная с самых первых критических отзывов о Пушкине в Европе) утверждение о том, что ранние успехи испортили Пушкина.

Ссылку Пушкина мемуарист объясняет «недостатками его характера». Так может думать только человек, который не хочет видеть политической основы конфликта поэта с властью.

Особенно странно видеть такое толкование во Франции. Именно в печати этой страны Пушкин был показан как поэт независимый, сосланный за политические стихотворения, — в одной из самых первых статей о нем, в 1822 году, и в последней, вышедшей во Франции при его жизни.

В статье 1822 года, напечатанной в парижском журнале «Revue encyclopédique» («Энциклопедическое обозрение», т. 16, кн. 46, стр. 119—120), сказано: «Александр Пушкин, <...> автор поэмы «Руслан и Людмила», оды «Вольность», полной одушевления, поэзии и возвышенных идей, и стихотворения «Деревня», в котором <...> поэт скорбит о печальных следствиях рабства и варварства, высказывая в стихах, полных силы и энергии, светлую надежду на зарю свободы, которая воссияет для его родины. Два эти произведения, оставшиеся неизданными, были причиной преследования правительством молодого поэта, высланного в Бессарабию» [18].

За подписью под статьей — S. P — у скрывался девятнадцатилетний С. Д. Полторацкий, русский офицер, страстный пропагандист творчества Пушкина во Франции, «потерпевший» по службе за эту статью: строки эти «причинили много неприятностей и огорчений тому, кем они были написаны», — писал много позднее сам Полторацкий [19], в архиве которого мы обнаружили вырезку статьи из «Temps».

С Пушкиным Полторацкий был позднее в дружеских отношениях. О близости их можно судить по тону записки, посланной ему Пушкиным 25 марта 1829 года: «Ты совершенно забыл меня, мой милый. А. П.» (XIV, 40).

Известен Полторацкий и тем, что он был участником июльской революции 1830 года в Париже [20].

Последняя статья о Пушкине, напечатанная в Париже при его жизни, еще не замеченная в пушкиниане, — анонимная заметка во французском биографическом словаре 1836 года. В ней обращают на себя внимание следующие слова: «Он независим по природе; всякое принуждение тяготит его, талант его вырастает от препятствий и точно бросает вызов гонению. Чтобы хорошо понять его и оценить, нельзя забывать об абсолютистских формах правления в этой огромной империи, властолюбие которой, по-видимому, не умеряется завоеваниями цивилизации» [21].



А. С. Пушкин. Автопортрет.

Вернемся к воспоминаниям о Пушкине, напечатанным через несколько месяцев после указанной статьи. Статья 1836 года точно не существовала для мемуариста. Однако кое-что из рассказанного автором не вызывает сомнений. Эти факты подтверждаются аналогичными рассказами современников поэта.

Фраза автора воспоминаний о том, что Пушкин не терпел противоречия, полностью подтверждается хотя бы записями в дневнике 1822 года П. И. Долгорукова [22], сослуживца Пушкина по канцелярии И. Н. Инзова.

Что Пушкин систематически занимался стрельбой в цель — общеизвестно. Мы знаем по дневнику офицера Ф. Н. Лугинина [23], что поэт делал это ради определенного плана. Он считал себя обесчещенным сплетней, пущенной о нем Ф. И. Толстым,

и лелеял мечту, вернувшись из ссылки, стреляться с обидчиком. Как известно, в первый же день приезда в Москву из михайловской ссылки Пушкин поручил друзьям разыскать Толстого и вызвать его на дуэль. Но того не было в Москве, а затем вмешались друзья, и Пушкин, шесть лет вынашивавший мысль о дуэли с врагом, принял его в число своих приятелей.

Рассказ о реакции Пушкина на политическое убийство немецким студентом Карлом Зандом агента русского правительства, немецкого писателя Коцебу, появляется в пушкиниане впервые. И все же отбрасывать его полностью как апокриф нельзя.

Отношение Пушкина к Карлу Занду известно. «Юный праведник, избранник роковой» — в поэзии («Кинжал»), юноша с полудетскими чертами лица — в рисунке, замечательно передающем облик студента, самоотверженно выступившего против «Священного союза», порабощавшего его родину, — так представлен Карл Занд Пушкиным.

И «Кинжал» написан, и портрет Занда нарисован Пушкиным два года спустя после убийства Зандом Коцебу, уже в Кишиневе.

В мемуарах же неизвестного изображается первая реакция Пушкина на это политическое убийство. Слова, якобы вырвавшиеся у Пушкина при этом известии, очень вероятны. Вспомним стих Родзянки о Пушкине: «Гимн Занду на устах, в руках портрет Лувеля». Правдоподобно и то, что это произошло публично. Подобной же была реакция Пушкина на другое политическое убийство того времени — герцога Берри, совершенное Лувелем. Пушкин явился тогда в театр с литографированным портретом Лувеля, на котором им была сделана надпись: «Урок царям!»; он ходил по партеру, показывал знакомым этот портрет.

В эпизоде, рассказанном французским мемуаристом, если он действительно имел место, неправдоподобны акценты: «Он воскликнул», «повернувшись к ложе государя». Сказать эти слова Пушкин мог, но, конечно, находясь в окружении нескольких друзей.

Но может быть и то, что мемуарист перепутал политические убийства, совершенные Лувелем и Зандом. Надпись под портретом близка по тональности восклицанию Пушкина.

Поддерживает эту догадку сообщение мемуариста о том, что Пушкин был за этот инцидент сослан.

Убийство Коцебу Зандом было совершено весной 1819 года; убийство же герцога Беррийского Лувелем — в феврале 1820 года. Эпизод с угрожающей надписью произошел в те самые дни начала апреля 1820 года, когда будущий просветитель Каразин строчил министру внутренних дел донос на поэта, министр докладывал о нем царю, генерал-губернатор приказывал полиции достать копии оды «Вольность», политических эпиграмм и песен, ходивших под именем Пушкина в городе. Через несколько дней сыщик будет тщетно пытаться подкупить крепостного человека Пушкина, выманивая у него рукописные стихотворения поэта. Поэт бесстрашно запишет у генерал-губернатора Милорадовича свои политические стихотворения; над ним нависнет угроза заточения в Соловецкий монастырь или ссылки в Сибирь, а еще через три недели, изгнанный из столицы, Пушкин направится в ссылку в Екатеринослав.

Все эти события тесно переплетаются с реакцией Пушкина на политическое выступление не Занда, а Лувеля.

Не может мемуарист скрыть своего восхищения образованностью Пушкина, начитанностью его во французской литературе, остротой ума. Он очарован талантливостью его рисунков, его веселостью, увлекательностью и убедительностью его высказываний.

О манере Пушкина рисовать карикатуры на ломберных столиках писал и Липранди: «Пушкин имел особенный дар юмористически изображать физиономии и вообще всю фигуру. В. П. Горчаков, передавая это относительно Крупенской, попеременно переходящей в Пушкина и обратно, должен помнить, как Александр Сергеевич на ломберном столе мелом, а иногда и особо карандашом, изображал сестру Катакази, Тарсису, Мадонной, а на руках у нее младенцем генерала Шульмана, с оригинальной большой головой, в больших очках, с поднятыми руками и пр. Пушкин делал это вдруг, с поразительно-уморительным сходством» [24].

Очень любопытна оценка европейцем карикатур Пушкина: «Дантан не достигал большего».

Дантан-младший (1800—1869) — французский скульптор, прославившийся своими карикатурами, исполненными в гипсе. Он создал бесчисленные фигурки, в гротескном виде изображающие кардиналов, папу, Паганини, Россини, Виктора Гюго, Бальзака, Дюма, самого себя и многих других.

Страсть Пушкина к игре хорошо объяс-

нил его приятель по Кишиневу В. П. Горчаков: «Игру Пушкин любил, как удальство, заключая в ней что-то особенно привлекательное, и тем самым как бы оправдывая полноту свойства русского, для которого удальство вообще есть лучший элемент существования» [25].

О том, что Пушкин не стеснялся своих приятелей и вообще посторонних и в жару ходил дома полуголый, рассказывают и другие: Фурнье, Вельтман. Брюзжа, писал об этом в своих «Воспоминаниях» чиновник Фадеев, который останавливался в Кишиневе в комнате Пушкина: «Он целые ночи не спал, возился, декламировал и громко мне читал свои стихи. Летом он разоблачался совершенно и производил свои ночные эволюции в комнате, во всей наготе своего натурального образа» [26].

Эти замечания мемуаристов, подчеркивающие непринужденную манеру Пушкина, не желавшего стеснять себя дома, в жарком Кишиневе, рисуют не столько цинизм Пушкина — подлинный ли, деланный ли, — сколько чопорность его случайных знакомых.

Описанные европейским мемуаристом дуэли Пушкина с бароном де С... и с полковником Л. в пушкиниане неизвестны, так же как и имена этих противников Пушкина. Высказывалось справедливое предположение, что «подробности, именно четыре промаха, относятся, по-видимому, к поединку Пушкина с Старовым, а француз, полковник русской службы Л., вероятно, не кто иной, как И. П. Липранди, который участвовал в дуэли в качестве советника и распорядителя и которого, по его иностранной фамилии, Г. Лам... должно быть, принял за француза» [27].

В масонскую ложу «Овидий» Пушкин вступил в Кишиневе 4 мая 1821 года, как он сам записал в дневнике. Основатели ложи, из которых действительно половина состояла из французов, а из русских там было в то время только три человека — генерал П. С. Пущин (декабрист), который был главным мастером ложи, генерал С. А. Тучков и майор Михаил Максимович, лишь через два месяца после принятия Пушкина в общество, хлопотали о конституции новой ложи [28]. Позднее в ложу «Овидий» были приняты еще друзья Пушкина В. Ф. Раевский, Н. С. Алексеев, доктор Ф. М. Шуллер и др. [29].

Об эпизоде с архимандритом рассказано подробнее в записках И. П. Липранди: «В числе привлеченных <в ложу> был один болгарский архимандрит Ефрем. Дом Кацика (где была устроена ложа. — *Т. Ц.*) находился в нижней части города, недалеко от старого собора, на площади, где всегда толпилось много болгар и арнаутов, обративших внимание на то, что архимандрит, въехав на двор, огражденный решеткой, отправил свою коляску домой, что сделали и некоторые другие, вопреки существовавшему обычаю. Это привлекло любопытных к решетке тем более, что в народе прошла молва, что в доме этом происходит «судилище диавольское». Когда же увидели, что дверь одноэтажного длинного дома отворилась и в числе вышедших лиц был и архимандрит с завязанными глазами, ведомый двумя под руки, которые, спустившись с трех-четырех ступенек крыльца, тут же вошли в подвал, двери коего затворились, то болгарам вообразилось, что архимандриту их угрожает опасность. Подстрекнутые к сему арнаутами, коих тогда было много из числа бежавших гетеристов, болгары бросились толпой к двери подвала (арнауты не трогались), выломали дверь и чрез четверть часа с триумфом вывели, по мнению их, спасенного архимандрита, у которого наперерыв тут же каждый просил благословения. Это было до захода солнца, а вечером весь город знал о том. <...> Пушкин знал из первых, ибо он случился дома, когда Инзову донесли об этом» [30].

О том, что «за кишиневскую ложу были уничтожены в России все ложи», говорит и Пушкин в письме к Жуковскому от 20-х чисел января 1826 года, хотя документально это сведение не подтверждается [31]. Однако утверждение иностранца, что закрытие ложи «Овидий» произошло из-за эпизода с архимандритом, наивно. Кишиневская ложа была, по-видимому, политической организацией; об этом почти прозрачно говорит Пушкин в названном письме к Жуковскому; свое участие в масонской ложе Пушкин называет среди обстоятельств, которые могут компрометировать его в глазах правительства.

Рассказ мемуариста о командировке Пушкина на саранчу совершенно анекдотичен. Эпизод этот ошибочно отнесен к кишиневскому периоду жизни Пушкина. Между тем, как известно, командировка эта имела место в то время, когда поэт жил в Одессе. Пушкин был послан — в числе других чиновников канцелярии Воронцова — в мае 1824 года в Херсонский, Александрийский и Елисаветградский уезды. Сохранилась расписка Пушкина в получении 400 рублей «прогонных денег» за две почтовые лошади по случаю отправления

его «для собрания сведений о саранче». Датирована она 23 мая 1824 года — в этот день он, очевидно, и выехал. Вернулся Пушкин в Одессу 28 мая, проведя в командировке пять дней.

Известно, как возмущен был Пушкин этим поручением. Существует предание, что по возвращении он написал Воронцову вместо ответа стишки:

Саранча
Летела, летела,
И села;
Сидела, сидела,
Все съела,
И вновь улетела.

Доподлинно же известно, что вследствие этой командировки Пушкин подал в отставку.

Ясно, что рассказ автора французских мемуаров восходит к чужим рассказам.

Самым нелепым мифом является толкование о прекращении ссылки Пушкина.

Судя по построению последнего абзаца, мемуарист имел в виду, что какие-то произведения поэта, написанные в ссылке, перевесили дурную репутацию Пушкина, созданную его независимым и скандальным поведением. Понять следует так, что его хорошая литературная слава заставила правительство вызвать Пушкина из ссылки.

На самом же деле все было наоборот.

Как известно, Пушкин был вызван из ссылки (не в Петербург, а в Москву) в 1826 году, сразу после коронации Николая I. 22 августа 1826 года состоялась коронация, а 31 августа начальник Главного штаба Дибич направил псковскому губернатору Адеркасу предписание о доставке Пушкина в Москву. За ним был послан фельдъегерь. Распоряжение было такое: «Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба его величества» (XIII, 293).

Вызывал Пушкина Николай ради того, чтобы самому выяснить, что́ за человек этот поэт, сосланный его покойным братом, императором Александром I, каково умонастроение этого столь популярного поэта, стихи которого «На 14 декабря» ходят в рукописи.

Хоть и объяснил поэт царю, что эти стихи — отрывок из его элегии «Андрей Шенье», написанной до восстания, что в них говорится о событиях французской революции, Пушкина продолжали неоднократно вызывать для показаний и позднее (19 и 27 января 1827 года — в Москве, 3 июля и 24 ноября 1827 года — в Петербурге).

На вопрос, что бы он сделал, если бы он был 14 декабря в Петербурге, Пушкин ответил прямо, что был бы с восставшими. Николай говорил Пушкину, что он сам за изменения в государственном устройстве, но за постепенные. На предложение изменить образ мыслей поэт — после долгого колебания — протянул царю руку с обещанием сделаться иным. Со своей стороны, Николай I обещал Пушкину быть цензором его произведений.

Прекращая ссылку поэта, царь рассчитывал загладить тягостное впечатление, произведенное на общество смертной казнью пяти декабристов, которой было ознаменовано начало его царствования. Указ 1754 года об отмене смертной казни был нарушен один раз, когда в 1775 году четвертовали Пугачева.

Любопытен рассказ о страстном отрицании Пушкиным существования бога. Этот эпизод подтверждается аналогичными свидетельствами о воинствующем атеизме Пушкина в пору южной ссылки. Проявлялся он и в творчестве поэта — в поэме «Гавриилиада» (1821), в послании того же времени «В. Л. Давыдову», в письме к товарищу об атеизме (1824 года), и в жизни: изображение знакомого генерала в образе младенца Христа, а сестры губернатора в виде богоматери, смех в церкви, разговор с архиереем, в котором евангелие было названо «историей одной статуи», и т. д. и т. д.

Антирусская направленность мемуариста не помешала нам увидеть знакомые черты молодого Пушкина и познакомиться с еще неизвестными эпизодами его биографии.

Поэт предстает в воспоминаниях человеком независимым и бесстрашным и в условиях ссылки, под пристальным наблюдением агентов полиции, ниспровергающим религию, публично демонстрирующим свои антимонархические убеждения.



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Воспоминания эти я огласила впервые в докладе «Новые литературные материалы о Пушкине» на IV Всесоюзной пушкинской конференции в Ленинграде 5 июня 1952 года.

[2] Они вошли в статью М. А. Веневитинова «Некрологи Пушкина в немецких газетах 1837 года» («Русская старина», 1900, январь, стр. 88—91).

[3] ГБЛ, рукописный отдел; Полт. 42. 26.

[4] Перевод М. Г. Ашукиной.

[5] Грубая ошибка, для иностранца простительная.

[6] Баснописцем Пушкин не был никогда. Какие-то басни сочинял он в детстве, да в лицее написал он одну басню «о мужике, заставившем попа служить несколько панихид по отце, душа которого была сперва спокойна, но от излишнего усердия пошла по рукам всех чертей» (В. П. Гаевский, Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения. «Современник», 1863, т. 97, № 7, стр. 152. Текст дополнен по рукописи Гаевского см. «Летопись», стр. 90).

[7] Пантэн — центр кантона, самого меньшего из департаментов Франции.

[8] Генерал Иван Никитич Инзов (1763—1845) был временно исполняющим обязанности бессарабского наместника (с 1820 по 1823 год), кроме его основной должности — главного попечителя и председателя комитета о колонистах южного края России (с 1818 по 1828 год).

[9] Вице-губернатор кишиневский Матвей Егорович Крупенский (род. 1781) был из бояр Молдавского княжества; как выразился И. П. Липранди, он был «молдавано-грек», то есть, очевидно, греческого происхождения.

[10] Екатерина Христофоровна, урожденная Комнено.

[11] В доме Крупенских (по словам Липранди и Горчакова) всегда было множество гостей.

[12] Немецкий язык Пушкин знал плохо, а французским действительно владел с редким совершенством; достаточно напомнить мнение французского писателя Алексиса Сен-При: «Слог французских писем Пушкина сделал бы честь любому французскому писателю».

[13] Имеются в виду вечера у Крупенского, у которого была «на первом плане игра и неотменно с сим изрядный ужин» (из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. «Русский архив», 1866, № 8—9, стб. 1238).

[14] Текст публикации М. А. Веневитинова по сравнению с подлинным французским текстом мемуаров оказался неполным и неточным.

[15] М. А. Веневитинов, Указ. соч., стр. 84.

[16] Там же, стр. 85—86.

[17] George Besviconi si Scarlat Callimachi, Puskin in exil. Bucuresti, 1947, стр. 186—237.

[18] См. «Летопись», стр. 358.

[19] Ф. Я. Прийма, С. Д. Полторацкий как пропагандист творчества Пушкина во Франции. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 300—301.

[20] О. Орлик, Русские на баррикадах Парижа в 1830 году. «Прометей», т. 5, М., 1968, стр. 357—359.

[21] «Biographie universelle et portative des Contemporains ou Dictionnaire historique des hommes vivants et des hommes morts depuis 1788 jusqu'à nos jours, qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes; publié sous la direction de M. M. Rabbe Vieilh de Boisjolin et Sainte Preuve». V. IV. Paris, 1836, p. 1006—1007.

[22] «Дневник Долгорукова». Публикация и примечания М. А. Цявловского. «Звенья», IX, 1951, стр. 5—154.

[23] «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 666—778.

[24] Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. «Русский архив», 1866, № 10, стб. 1458.

[25] «Книга воспоминаний о Пушкине». М., 1931, стр. 71.

[26] «Воспоминания А. М. Фадеева. «Русский архив», 1891, № 3, стр. 399.

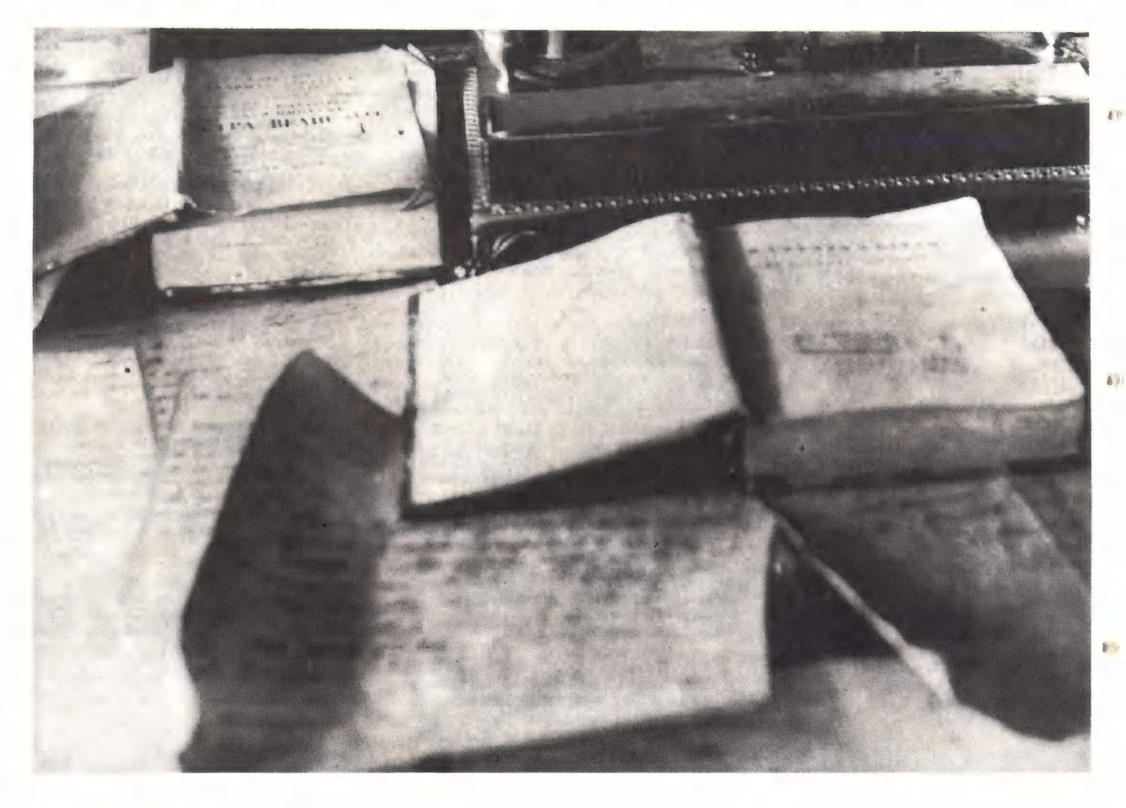
[27] М. А. Веневитинов, Указ. соч., стр. 90.

[28] «Летопись», стр. 306.

[29] Там же.

[30] И. П. Липранди, Указ. соч., стб. 1248—1249.

[31] См.: А. С. Пушкин, Письма. Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского. Т. II. М. — Л., 1928, стр. 133.



Н. Эйдельман

«По смерти Петра I...»

В 1910 году, по завещанию первейшего коллекционера Павла Яковлевича Дашкова, в Лицейский музей поступило больше двадцати автографов Пушкина. Еще через семь лет эти рукописи переехали с Каменноостровского проспекта, где находился музей, на Стрелку Васильевского острова, в Пушкинский дом Академии наук.

Среди листков с письмами и стихами поэта сохранились шесть больших, двойных листов[1], согнутых таким образом, что чистые поля занимают почти половину каждой страницы, в то время как другая половина заполнена летящим, свободным почерком Пушкина. Несколько чернильных пятен не скрывают ясного, набело переписанного текста Заглавия никакого, только на самом верху рукою Пушкина — «№ 1». Чуть ниже первые строки: «По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали...»

Последние строки на последнем листе: «Царствование Павла доказывает одно; что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники Самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation[2]. 2 авг<уста> 1822 г.».

В Полное собрание пушкинских сочинений эти страницы входят под условным названием «Заметки по русской истории XVIII века» и доныне остаются одними из самых необъясненных. Эта рукопись ведет в самые неведомые области пушкинского мира, где «по соседству» создаются поэмы и эпиграммы столь определенного свойства, что им еще почти столетие печати не видеть; где от целой главы самой большой поэмы остается лишь зашифрованный листок да черновик трех строф.

Если бы пушкинские «Заметки по русской истории...» не завершались точной датой — 2 августа 1822 года и если бы эта дата не подтверждалась «перекрестными» доказательствами, вряд ли бы кто-нибудь решился приписать эти страницы двадцатитрехлетнему. Гениальными юношескими стихами нас не удивить, но изумляет суровая, откровенная проза, да к тому же проза историческая, то есть требующая, кроме таланта, специальных знаний и зрелых мыслей.

Не знаем или только начинаем догадываться, зачем написаны эти размышления о российской истории, когда задуманы, отчего не распространялись, где сохранялись [3].

Ни на одной странице этой рукописи не видно красных жандармских чернил, пометивших каждую тетрадь, каждое письмо и каждый клочок бумаги, оставшиеся после кончины Пушкина в его кабинете. Найдя шесть таких листов, начальник штаба корпуса жандармов генерал-майор Леонтий Васильевич Дубельт непременно представил бы их царю как документ, оскорбительный для предков монарха — от отца до прапрадеда и прапрабабки включительно. Но в день смерти поэта не было в его кабинете этих страниц, и Дубельт мог бы их прочесть в одном московском журнале только через 22 года, уже на покое, в отставке.

Имя человека, который сохранил пушкинский текст от «злого глаза...», было осторожно названо уже много лет назад:

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ АЛЕКСЕЕВ.

I
Что дружба?..

«Скажи мне, кто твой друг?..» — и в сотнях знакомых, десятках приятелей и нескольких ближайших друзьях Пушкина ищем и находим — «кто он...».

В условной иерархии — знакомый, приятель, друг — Николай Степанович Алексеев занимал около четырех лет весьма высокое дружеское звание, потому что в Кишиневе возле Пушкина не было человека более преданного и любящего (к нему обращения — «мой милый», «радость моя»), друзья же первейшего ранга — Пущин, Дельвиг — находились в столицах, то есть на другом конце двухнедельной дороги.

Два известных письма сообщают о дружбе Пушкина с Алексеевым почти все (ниже приводится их текст с краткими комментариями).

Алексеев — Пушкину

30 октября 1826 г. г. Кишинев (XIII, 300—301): «Во время, когда я думал писать к тебе посторонними путями, любезный Пушкин, через посредство Крупенской, которая бралась доставить письмо к сестре своей Пещуровой, как узнаю, что ты в Москве. Радость овладела мной до такой степени, что я не в состоянии изъяснить тебе и представляю судить тебе самому, если разлука не уменьшила доверенности твоей к моей дружбе...»

Не виделись и, вероятно, не переписывались два года, с тех пор как Пушкина выслали из Одессы в Михайловское. Сквозь строй непременных читателей чужих писем Алексеев писать не желал и хотел передать послание через Крупенских — Пещуровым: Алексей Никитич Пещуров жил в Лямонове близ Михайловского, куда Пушкин ездил в августе 1825 года, чтобы встретиться с племянником Пещурова и своим лицейским приятелем Александром Горчаковым. Алексеев по «доверенности дружбы» хорошо знал, как не хотелось Пушкину уезжать с юга в новую ссылку, и степень товарищеского огорчения была, верно, тогда не меньшей, чем радость от хороших вестей, которая овладела Николаем Степановичем до «неизъяснимой» степени.

«С какою завистью воображаю я московских моих знакомых, имеющих случай часто тебя видеть; с каким удовольствием хотел бы я быть на их месте и с какою гордостью сказал бы им: мы некогда жили вместе; часто одно думали, одно делали и почти — одно любили; иногда ссорились, но расстались друзьями, или, по крайней мере, я так льстил себе. Как бы желал я позавтракать с тобою в одной из московских ресторацией и

«Некоторые исторические замечания». Черновой автограф А. С. Пушкина.

№ 1. Л3.

По смерти Петра I движеніе
переданное сильнымъ человѣкомъ
все еще продолжалось въ огром-
ныхъ составахъ Государства
преобразованнаго. Связи древняго
порядка вещей были прерваны
на вѣки; воспоминанія старины
мало по малу исчезали. Народъ
упорнымъ постоянствомъ удержавъ
бороду и русскій кафтанъ, дово-
ленъ былъ своей побѣдою и смо-
трѣлъ уже равнодушно на нѣ-
мецкій образъ жизни обритыхъ
своихъ бояръ. Новое поколѣніе
воспитанное подъ вліяніемъ Е-
-вропейскимъ часъ отъ часу боле
привыкало къ выгодамъ просвѣ-
щенія. Гражданскіе и военные
чиновники боле и боле умножа-
-лись; иностранцы, въ оное время
столь нужные, пользовались преж-
ними правами; схоластической
педантизмъ по прежнему прино-
силъ свою непримѣтную пользу.
Отечественные таланты стали...

«Некоторые исторические замечания». Беловой автограф А. С. Пушкина.

за стаканом Бургонского пройти трехлетнюю кишиневскую жизнь, весьма занимательную для нас разными происшествиями. Я имел многих приятелей, но в обществе с тобою я себя лучше чувствовал, и мы, кажется, оба понимали друг друга; несмотря на названия: лукавого соперника и черного друга, я могу сказать, что мы были друзья-соперники, — и жили приятно!»

Тут за каждым словом очень многое: Алексеев воображает «московских знакомых», потому что 8 лет прошло, как Николай Степанович «променял московские ломберные столы на кишиневские танцевальные паркеты», но все оставался типичным москвичом. Жили вместе — около года, не только в одном доме, но и в одной комнате, и, конечно, у Алексеева Пушкин останавливался, наезжая в Кишинев уже из Одессы!

О том, что «часто одно думали и делали», — речь впереди; «почти одно любили», «иногда ссорились», «лукавый соперник» — все это о полушутливом ухаживании Пушкина за госпожой Эйхфельдт, женой скучного статского генерала, прозванной «Еврейка» (за сходство с Ревеккой из «Айвенго»), — объектом страсти, и, кажется, небезответной, Николая Степановича Алексеева. Тогда образовалась ситуация, одна из самых благоприятных для мужской дружбы: двое влюблены в одну, но не слишком; ссорятся, мирятся, один уступает другому — и становятся друг другу дороже и ближе... Прозвище «черный друг» относилось не к душе Николая Степановича, но к его бакенбардам, смуглой коже и одновременно — пародировало модные наименования романтического соперника. «Лукавое соперничество» было увековечено не в одном стихотворении. Двадцатидвухлетний Пушкин с наслаждением поучал тридцатидвухлетнего Алексеева:

Люби, ласкай свои желанья,
Надежде и еврейке верь —
Как тень пройдут любви мечтанья,
И станешь тем, что я теперь [4].

Алексеев не напоминает Пушкину многих подробностей «приятной жизни»: не вспоминает о дуэли с полковником Старовым, где Алексеев был секундантом, и о ссоре с молдавским боярином Балшем, когда Алексеев удержал руку Пушкина с занесенным тяжелым подсвечником; не напоминает, что подарил Пушкину громадные приходо-расходные книги масонской ложи «Овидий», куда рукою поэта были занесены сотни черновых стихотворных строк...

Да Пушкин и сам все помнил.

«Теперь сцена кишиневская опустела, и я остался один на месте, чтоб, как очевидный свидетель всего былого, мог со временем передать потомству и мысли и дела наши. Все переменилось здесь со времени нашей разлуки: Сандулаки вышла замуж; Соловкина умерла; Пулхерия состарилась и в бедности; Калипсо в чахотке; одна Еврейка осталась на своем месте; но прежних дней уж не дождусь: их нет, как нет! Как часто по осушенным берегам Быка хожу я грустный и туманный и проч., вспоминая милого товарища, который умел вместе и сердить и смешить меня. Самая madame Вольф сильно действует на мое расположение, и если ты еще не забыл этот предмет, то легко поймешь меня...!»

Подчеркнутые Алексеевым имена и строки, будто условные масонские символы, молчат для непосвященных и не требуют пояснений для своих. Аника **Сандулаки**, едва известная пушкинистам [5], вероятно, хорошо известна Пушкину, если идет первой в списке красавиц, перед Соловкиной, о которой, как утверждает Липранди, поэт иногда «бредил», перед прекрасной Пулхерицей Варфоломей («Пулхерицей-легконожкой», которой Пушкин однажды просил «объявить за тайну, что влюблен в нее без памяти»); наконец, перед романтической гречанкой Калипсо Полихрони, которая прежде будто бы была возлюбленной Байрона. «Одна Еврейка осталась на своем месте», но ее, кажется, променяли на мадам Вольф, что Пушкин должен «легко понять».

Может быть, Алексеев применяет к своему житью-бытью те пушкинские строки, которые от него сам слышал, или хочет показать, что заметил в печати и «Братьев-разбойников» («Но прежних дней [6] уж не дождусь: их нет, как нет!») и «К морю» («как часто по брегам твоим бродил я грустный и туманный»). Оба эти произведения были впервые опубликованы в 1825 году, одно — в «Полярной звезде» Рылеева и Бестужева, второе — в «Мнемозине» Кюхельбекера; едва 3 месяца минуло, как один из этих пушкинских друзей-издателей

был повешен, а двое других до конца дней ушли в ссылку.

«Место Катакази занял Тимковской, ты его, верно, знаешь: он один своим умом и любезностью услаждает скуку. Ты, может быть, захочешь узнать, почему я живу здесь так долго, но я ничего тебе сказать не в состоянии; какая-то тягостная лень душою овладела! Счастие по службе ко мне было постоянно: за все поручения, мною выполненные с усердием, полу-милорд наградил меня благодарностью и несколько раз пожатием руки; чины же и кресты зависели от окружающих, коих нужно было просить, а я сохранил свою гордость и не подвинулся ни на шаг. Теперь его черт взял, он отправился в Англию...»

Снова в алексеевской прозе запрятаны пушкинские стихи «Тягостная лень душой овладела» из стихотворения «Война» (1821 г.); тут же — «полу-милорд, полукупец...». На полумилорда Воронцова они давно выработали общее воззрение: Алексеев, как видно, любил своего начальника не больше, чем прежде любил его Пушкин.

По службе Алексеев при Воронцове не преуспел; надеялся, правда, на могущественного родственника и покровителя П. Д. Киселева, однако Пушкин, по словам Липранди, «пророчил Алексееву разочарование в своем идоле, что действительно этот, в полном смысле достойный человек через тридцать лет испытал...» [7].

«Но я ожидаю способов возвратиться в Москву белокаменную и соединиться с друзьями, но:

«Сколь многих взор наш не найдет.
Меж нашими рядами!»

Меж тем я уверен, что ты меня вспомнишь: удостоенный некогда целого послания от тебя, я вправе надеяться получить несколько строк, а также, если можно, и чего-нибудь нового из твоего произведения. Я имел первую часть Онегина, но ее кто-то зачитал у меня; о второй слышал и жажду ее прочесть. Если вздумаешь писать ко мне, то надписывай прямо в Кишинев, а всего лучше пошли в дом Киселевых, кои ко мне доставят и таким образом будут нашим почтамтом».

Стихотворные строки Жуковского («Певец во стане русских воинов») относились ко многим из «наших рядов», погибших в 1812-м, но Алексеев, конечно, подразумевает декабристов. Многие осужденные члены тайного общества (как и нераскрытые кишиневские заговорщики) были задушевными друзьями и Алексеева и Пушкина [8]. Оба они почти одновременно вступили в полузаговорщическую масонскую ложу «Овидий». 26 мая 1821 года Пушкин отметил свое двадцатидвухлетие дневниковой записью: «Поутру был у меня Алексеев. Обедал у Инзова. После обеда приехали ко мне Пущин [9], Алексеев и Пестель...» Пестеля, Владимира Федосеевича Раевского и многих-многих других в 1826 году уж «взор наш не найдет меж нашими рядами...».

Столь откровенное послание Алексеев не может доверить почте, тем более что в первых же строках сообщает, как искал оказии, чтобы написать письмо в Михайловское. Обыкновенные «почтамты», имеющие непреодолимую привычку к распечатыванию чужих писем [10], Алексеев предлагает заменить московской квартирой Киселевых: туда, вероятно, и отправилось это письмо, врученное сначала на юге Павлу Киселеву. Начальник штаба 2-й армии, разумеется, переписывался со своими московскими родственниками без жандармско-шпекинского вмешательства. Однако не мог Алексеев предвидеть, что 9 февраля 1837 года в бумагах умершего Пушкина это письмо прочтет и пометит красным жандармским номером генерал-майор Дубельт. Однако «за давностью» ничего опасного в нем не заметит.

«Я часто говорю о тебе с Яковом Сабуровым, который вместе со мною в комиссии по делам Варфоломея, — он тебя очень любит и помнит.

Липранди тебе кланяется, живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, бог знает откуда берет деньги.

Прости, с нетерпением ожидаю удостоверения, что в твоей памяти живет еще

Алексеев.

30 октября».

И в последних, и в предшествующих строках находим: «Если разлука не уменьшила доверенности твоей...»; «Расстались друзьями, или, по крайней мере, я так льстил себе...»; «Если ты еще не забыл...»; «Меж тем я уверен, что ты меня вспомнишь»; «Ожидаю удостоверения, что в твоей памяти живет еще...».

Равенство дружбы... Но Алексеев не за-

бывает, что его друг — человек необыкновенный, который, конечно, не сможет забыть прежнего, но при этом — «прежних дней уж не дождаться...»; «удостоверение дружбы» — это, между прочим, «несколько стихотворных строк», которых ожидает Алексеев: ведь кроме послания к нему, которое печаталось («Мой милый, как несправедливы твои ревнивые мечты...»), к старой дружбе-соперничеству относятся, вероятно, еще несколько стихотворений — «Не притворяйся, милый друг...», «Мой друг уже три дня...», наконец, «Гавриилиада», где соперничество из-за прекрасной Еврейки возведено из «кишиневского масштаба» в космический...

В конце письма снова звучат знакомые обоим имена: Яков Сабуров, из старинных пушкинских гусарских приятелей; снова Варфоломей — отец Пульхерицы — при Пушкине богатый откупщик, но успевший уж разориться (по его делам «комиссия», а Пульхерица «в бедности»). Наконец, Липранди — загадочный, «дьявольский», как Сильвио из «Выстрела», как «другой Калиостро» — маг, фокусник, шарлатан, добывающий деньги «бог знает откуда» (деньги Липранди получал для организации разведки на турецкой территории).

Можно к этому всему только добавить, что письмо Алексеева написано хорошо и живо: «Русская и французская литература не были ему чужды, — вспоминал Липранди. — Он из гражданских чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишиневе подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть»[11].

Пушкин — Алексееву
1 декабря 1826 года
(XIII, 309)

«Приди, о друг, дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизнию повей!..»

На лету подхвачен стиль, предложенный Алексеевым, — в письмо вплетаются подходящие к случаю строки Жуковского.

Еще и трех месяцев не минуло, как Пушкина освободили. Уже свободным едет из Москвы в Михайловское, но на обратном пути опрокинут и помят ямщиками, отлеживается в псковской гостинице, «бесится, играет и проигрывает», а 1 декабря, кажется, взялся написать всем друзьям подряд, кому задолжал ответом: кроме Алексеева, пишет Вяземскому, Зубкову и Соболевскому. (Через несколько дней, накануне первой годовщины 14 декабря, напишет еще одному: «Мой первый друг, мой друг бесценный...»)

«Не могу изъяснить тебе моего чувства при получении твоего письма. Твой почерк опрятный и чопорный, кишиневские звуки, берег Быка, Еврейка, Соловкина, Калипсо. Милый мой: ты возвратил меня Бессарабии! я опять в своих развалинах — в моей темной комнате, перед решетчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой, чистой избушке, смазанной из молдавского <---->. Опять рейн-вейн, опять Champan, и Пущин, и Варфоломей, и всё...»

Бывало, хотелось из Кишинева бежать куда угодно («Проклятый город Кишинев! Тебя бранить язык устанет...»). А через 4 года — «Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии». Михайловское — тоже было «тюрьмой» («мраком заточенья»), но за несколько дней до этого письма отправилось послание Вяземскому: «Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму». Слух Пушкина ласкают кишиневские звуки. Таков поэт: и «берег Быка», и «Калипсо», и «Еврейка» — это прежде всего звучание Кишинева, недавнего прошлого. И Соловкина, по которой «бредил», не воспринята как реальная личность: не смерть ее, но имя взволновало Пушкина — «Соловкина... Бык, Еврейка, Варфоломей, рейн-вейн...»

«Как ты умен, что написал мне первый! Мне бы эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хоть и часто о тебе вспоминаю и жалею, что не могу ни бесить тебя, ни наблюдать твои маневры вокруг острога».

Пушкин уехал с юга, «по этикету» должен бы написать первым, да не догадался. Старая дружба легко может возобновиться при встрече, но три года и сотни верст разделяют, и, кроме как о прошлом, говорить почти не о чем. Да в письмах и нельзя откровенничать. Слова «вокруг острога» позже густо зачеркнуты. Может быть, самим Алексеевым или каким-то перепуганным потомком? Возможно, в этих словах скрывается какой-то особый, опасный смысл (между прочим, в той же дневниковой записи, где Пушкин отметил посещение Алексеева и Пестеля, дальше следовало: «Потом был я в здешнем остроге...»).

«Был я в Москве и думал: авось, бог

Нѣкоторыя Историческія замѣчанія.

По смерти Петра I. движеніе переданное сильнымъ человѣкомъ все еще продолжалось въ огромныхъ составахъ Государства преобразованнаго. Связи древняго порядка вещей были прерваны на вѣки; воспоминанія старины мало по малу исчезали. Народъ упорнымъ постоянствомъ удержавъ бороду и русской кафтанъ, доволенъ былъ своей побѣдою и смотрѣлъ уже равнодушно на нѣмецкій образъ жизни обритыхъ своихъ бояръ. Новое поколѣніе воспитанное подъ вліяніемъ Европейскимъ, часъ отъ часу болѣе привыкало къ выгодамъ просвѣщенія. Гражданскія и военныя чиновники болѣе и болѣе умножались; иностранцы, въ то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластической педантизмъ по прежнему приносилъ свою непримѣтную пользу. Отечественные таланты стали изрѣдка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наслѣдники Сѣвернаго исполина, изумленные блескомъ его величія, съ суевѣрной точностію подражали ему во всемъ что только не требовало новаго вдохновенія. Такимъ образомъ дѣйствія Правительства были выше собственной его образованности и добро производилось не нарочно, между тѣмъ какъ Азіатское невѣжество обитало при Дворѣ. (1)

Петръ I. не страшился народной свободы, неминуемаго дѣйствія просвѣщенія, ибо довѣрялъ своему могуществу и презиралъ человѣчество можетъ быть болѣе чѣмъ Наполеонъ. Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Аристократія послѣ его неоднократно замышляла ограничить самодержавіе, къ щастію хитрость Государей торжествовала надъ честолюбіемъ вельможъ и образъ правленія остался неприкосновеннымъ. Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія Дворянъ. Если бъ гордые замыслы Долгорукихъ и пр. совершились, то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами затруднили бъ или даже и вовсе уничтожили способы освобожденія людей крѣпостнаго состоянія, ограничили бъ число дворянъ и заградили бъ для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей Государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло бъ уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; нынѣ же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла, и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ на ряду съ просвѣщенными народами Европы. Памятниками неудачнаго бо-

«Некоторые исторические замечания». Копия Н. С. Алексеева.

милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего черного друга, или в креслах театральных, или в ресторации за бутылкой. Нет — так и уехал во Псков — так и теперь опять еду в белокаменную. Надежды нет иль очень мало. По крайней мере пиши же мне почаще, а я за новости кишиневские стану тебя потчевать новостями московскими. Буду тебе сводничать старых твоих любовниц... Я готов доныне идти по твоим следам, утешаясь мыслию, что орогачу друга».

Вероятно, в годы оны в Кишиневе много толковали о родной Москве и о прежних похождениях Николая Степановича, что дает Пушкину повод еще раз намекнуть на старое соперничество и госпожу Эйхфельдт и снова — скрытые стихи; «Надежды нет иль очень мало» — а в сказке «Царь Никита и сорок его дочерей», написанной в Кишиневе за четыре года до этого письма, — «ничего иль очень мало».

«Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на счет казенный и не соткнулись где-нибудь».

Письмо, посланное Вяземскому через Киселевых, прежде попадет на псковскую почту. Поэтому строки о Липранди самые смелые во всем тексте: «на счет казенный» Пушкин ездил в ссылку и из ссылки, Липранди же был взят под арест по делу 14 декабря, но сумел оправдаться.

«Прощай, отшельник бессарабской,
Лукавый друг души моей —
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей.

А. П. 1 дек.»

«Удостоверение дружбы» — несколько новых стихотворных строк. «Отшельник бессарабской» и «Лукавый друг» — понятны, последние же две строки, видимо, скрывают какой-то смысл. Если не усмирить вовремя фантазию, то легко вообразить: поскольку Алексеев знал Пестеля и посещал вместе с ним Пушкина, то «Русская правда» — возможно, Пестелева программа переустройства России... Но надо вовремя усмирять фантазию.

В тот же день, 1 декабря 1826 года, Пушкин запечатал письмо и на конверте написал: «Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В Москве, в Чернышевском переулке, в собственном доме». В том же конверте отправилось и послание к хозяину «собственного дома», начинавшееся со слов: «Ангел мой Вяземской... пряник мой Вяземской!» — и заканчивавшееся: «При сем письмо к Алексееву (род моего Сушкова), отдай для доставки Киселеву — вой, вым, как хошь».

Еще в начале нашего века Николай Осипович Лернер справедливо заметил, что последние строки хоть и не совсем понятны, но, кажется, содержат нечто обидное для кишиневского друга: о посредственном литераторе Сушкове Пушкин обычно отзывался иронически. Кишиневских приятелей еще соединяло прошлое, но уже разделяло настоящее...

Изгнание на юг некогда ослабило связи Пушкина с лицейскими и петербургскими друзьями; такое удаление от школьных воспоминаний очень часто завершается окончательным уходом в совершенно другую сферу отношений, откуда к прошлому нет никакого возвращения.

Но счастлив тот, кого жизнь после разлуки снова сводит с повзрослевшими однокашниками. И тогда им уж не разойтись: вторая дружба реставрирует, сохраняет и укрепляет первую со всей силою постоянства, приходящего с годами.

19 октября 1825 года Пушкин прощался или отрекался от южных привязанностей; все же оказалось, что, куда бы ни бросала судьбина и ни повело счастье,

...Нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское село...

Так уходила в прошлое кишиневская дружба-соперничество.

Встретились ли после хоть раз Алексеев с Пушкиным?

Сохранилось еще одно письмо Александра Сергеевича Николаю Степановичу (1831 год, из Петербурга в Молдавию) да три послания Николая Степановича Александру Сергеевичу: одно — 20 марта 1827 года из крепости Хотин, где Алексеев сидел под арестом за дуэль; другое — из дунайских княжеств в 1831 году, последнее — кажется, оттуда же, в 1835-м. Еще уцелела «История Пугачевского бунта» с посвящением «Любезному другу Алексееву от Пушкина в память было-ва» [12].

В тридцатых годах, судя по сохранившимся письмам, «черный друг» появлялся в Петербурге...

Сначала кишиневская близость, позже — теплота воспоминаний и отдаленность: кажется, тема «Пушкин и Алексеев» исчер-

пана... Николай Степанович пережил Пушкина, карьеры не сделал, всю жизнь оставался по доброте, лени и бескорыстию чисто московским барином и в конце концов возвратился в белокаменную, где коротал век со старыми кишиневскими москвичами — Александром Фомичом Вельтманом и Владимиром Петровичем Горчаковым. Несколько бессарабских, пушкинских, лет оставались, видно, лучшим временем его жизни; о смерти же Николая Степановича долгое время были известны только следующие строки престарелого Ивана Липранди:

«Во время отъезда моего в 1851 году за границу Н. С. Алексеев взял у меня и то и другое <тюремные стихи В. Ф. Раевского — «Певец в темнице» и послание Пушкину>, а равно и пять писем Пушкина: возвратясь, не нашел я его в Петербурге, и он вскоре умер в Москве. Здесь я слышал, что будто бы он кому-то отдал мне возвратить» [13].

Единственно по этой записи определен год смерти Николая Степановича: 1851-й или 1852-й (иногда писали осторожнее — 1850-е годы).

Итак, последнее сохранившееся известие об Алексееве представляет его читающим исчезнувшие позже пушкинские письма к Липранди, а также стихи старинного кишиневского друга, «первого декабриста» Владимира Федосеевича Раевского, отбывавшего в Сибири уж третье десятилетие.

II
Мой милый, как несправедливы...

Обыкновенность Алексеева и отношения с Пушкиным — «как у многих» — кажется, отпугнули исследователей. Почти никто этим человеком серьезно не интересовался — только между делом, «для комментария». Что можно было извлечь о Пушкине и Алексееве из стихов, писем, воспоминаний — давно извлекли. Но даже извлеченное, то есть давно и хорошо известное, видимо, никто не суммировал. Меж тем обыкновенное сложение ведет к несколько ошеломляющему итогу...

Итак, простая задача: какие были у Алексеева тексты, письма, воспоминания и другие материалы, имеющие прямое или косвенное отношение к биографии и творчеству, «трудам и дням» Пушкина?

Алексеевская пушкиниана:

«Заметки по русской истории XVIII века», с которых началось наше повествование и которые — главная цель его. Через 15—20 лет после смерти Пушкина этот текст впервые попадает к историкам и пушкинистам. В 1859 году наиболее безобидные отрывки пробивает сквозь цензуру и печатает в журнале «Библиографические записки» Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста, человек, сделавший очень много для сохранения декабристского и пушкинского наследства. В тетрадях Евгения Ивановича и его друзей отмечается, что сочинение это «писано в Кишиневе в 1821—22 гг.» и «сохранилось в сборнике Алексеева» [14].

«Гавриилиада». Пушкин написал поэму в 1821 году, но рукопись либо уничтожил, либо так спрятал, что почти полтора века найти ее не могут. А сложилась она на глазах кишиневских друзей и, по-видимому, начиналась с какого-то стихотворного посвящения, от которого уцелели только небольшие черновые наброски.

Изучавший текст «Гавриилиады» Борис Викторович Томашевский вместе с другими авторитетами видел здесь стихотворное посвящение Алексееву [15]. В списке «Гавриилиады», принадлежавшем В. П. Гаевскому (середина XIX века), против строк

Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает офицер

было написано «Алексеев» [16] (в той же степени, в какой статский советник Эйхфельдт мог считаться генералом, надворный советник Алексеев являлся офицером...).

У Алексеева была, конечно, лучшая копия (если не сама рукопись!): в 1827 году Николай Степанович вставляет в одно из своих писем к Пушкину:

— Какая честь, и что за наслажденье...

Это строчка из «Гавриилиады»...

Много лет спустя, уже после смерти Пушкина, его лицейский однокашник Сергей Дмитриевич Комовский узнает от Алексеева такие строки поэмы, которых больше ни у кого не было: Пушкин, вероятно, решил не называть своих друзей по именам в опасном, кощунственном тексте, но вот что находилось прежде — на месте нынешних 403—406 строк «Гавриилиады» (драка беса с архангелом из-за прекрасной еврейки):

Вы помните ль то розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,

Оставя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною борьбой?
Граф Брольо был отважнее, сильнее,
Комовский же — проворнее, хитрее;
Не скоро мог решиться жаркий бой.
Где вы, лета забавы молодой? (IV, 368).

Noël и альбом. Знаменитый Noël («Ура, в Россию скачет кочующий деспот!») в подлинной рукописи также неизвестен. Пушкинист прошлого века Петр Александрович Ефремов записал в своей тетради стихотворение с таким примечанием: «Исправлено по списку с рукописи Пушкина из альбома Н. С. Алексеева» [17]. Те же строки сохранились в сборнике Е. И. Якушкина и в тетради известного литератора и фольклориста Александра Николаевича Афанасьева [18].

Альбом или сборник Алексеева!.. Там же, вероятно, были «Заметки по русской истории XVIII века» и «Гавриилиада», а также стихи, посвященные Алексееву и «соперничеству»...

Приятель Пушкина и Алексеева писатель Александр Вельтман свидетельствовал: «Вероятно, никто не имеет такого сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям» [19]. То есть не могут быть изданы, потому что задевают власть, религию, высоких лиц и прочее, чего касаться нельзя, — «по отношениям...».

Уже перечисленного, конечно, достаточно, чтоб понять, какова была пушкиниана Алексеева. Но это еще далеко не все.

Вот строки из последнего сохранившегося письма Николая Степановича к Пушкину (23 января 1835 года): «В скором времени я обещаю тебе сообщить некоторую часть моих записок, то есть: эпоху кишиневской жизни; они сами по себе ничтожны; но с присоединением к твоим могут представить нечто занимательное, потому что волей или неволей, но наши имена не раз должны столкнуться на пути жизни. В заключение напомню тебе об обещанном экземпляре **Пугачева** с твоей подписью, которые не раз уж украшали полученные мною от тебя книги».

Вряд ли Алексеев отвечает на письмо — скорее была встреча: Пушкин обещал подарить «Пугачева...»; как и многих других, уговаривал приятеля составлять записки. Вероятно, «в назидание» познакомил Алексеева с тем своим замыслом, о котором свидетельствует так называемая «вторая программа записок» (1833 год), почти целиком посвященная кишиневскому времени (см. XII, 310).

Из письма видно, что, кроме «Пугачева», были **еще книги, надписанные Пушкиным** (и может быть, **письма, их сопровождающие**) [20] и что существовали **записки Алексеева,** в которых, конечно, очень много о Пушкине.

Записки, не дошедшие ни к нам, ни даже к Пушкину...

Прибавив к собранию Николая Степановича также и взятые им перед смертью **письма Пушкина к Липранди,** мы поймем, что не слыхали о более значительной из пропавших пушкинских коллекций.

Следы алексеевского собрания ведут к бумагам Павла Васильевича Анненкова.

III
И сохраненная судьбой, Быть может, в Лете не потонет...

Посмертное, одиннадцатитомное Собрание сочинений Пушкина было завершено в 1841 году. Нового издания дожидались 14 лет, пока за дело не принялись два блестящих генерала — Иван и Федор Анненковы, любившие и почитавшие Пушкина, вопреки положенному им генеральскому пренебрежению к памяти поэта.

Генералы были дружны с другим генералом, П. П. Ланским (вторым мужем Натальи Николаевны Пушкиной) и однажды сообщили ему и семье его о своем желании осуществить новое, настоящее издание Пушкина — неполнота и несовершенство посмертного одиннадцатитомника были слишком очевидны!

Получив согласие, братья-генералы заключили с Ланским формальный контракт, и вслед за тем к ним прибыл целый большой сундук, набитый пушкинскими тетрадями и бумагами.

Генералы Анненковы достаточно почитали Пушкина, чтобы понять, как мало у них знаний и опыта для подготовки образцового научного издания, но они сумели уговорить (не без труда!) своего младшего брата, 36-летнего литератора Павла Анненкова.

Павел Васильевич Анненков перевез к себе сундук с бумагами осенью 1850 года, поработал три года, еще год потратил на печатание и цензуру (связи старших братьев, конечно, помогли) и в 1855 году выпустил шесть томов (в 1857-м — дополнительный, 7-й том), в которых было много новых или исправленных текстов.

Первый том своего издания Анненков назвал «Материалы к биографии А. С. Пуш-

кина», и хотя уже больше столетия прошло, как вышел этот том и очень многое в нем устарело, но все же сегодня это одна из лучших, если не самая лучшая, биография поэта.

Тому виною два обстоятельства:

Первое — литературный талант и художественный вкус Анненкова; анненковский научный разбор не губит художественности, а художественность — не за счет науки.

Второе обстоятельство — богатство его источников.

Ни один исследователь — ни до, ни после Анненкова — не располагал столь полным собранием пушкинских рукописей (позже они «разбрелись»: сам Анненков не вернул Ланским несколько сот листов)[21].

Составляя первую научную биографию Пушкина, Анненков, разумеется, обратился к друзьям поэта, которые в 1850-х годах еще здравствовали, а многие даже не успели еще слишком состариться. Позже признавался, что «Биография Пушкина есть, может быть, единственный литературный труд, в котором гораздо больше разъездов и визитов, чем занятий и кабинетного сидения»[22].

В те же годы принялся записывать рассказы пушкинских друзей и молодой кандидат Московского университета Петр Иванович Бартенев. Хотя Анненков и Бартенев оказались в некоторой степени конкурентами и Анненков сердился, но 100 лет спустя имена этих людей сближают куда чаще, чем при жизни: они успели собрать такие рассказы о Пушкине, такие материалы к его биографии, которые уж лет через 10—20 не нашлись бы. Местонахождение некоторых документов, что были в руках Анненкова и Бартенева, сейчас неизвестно, так что их труды являются отчасти и первоисточниками.

Многое из собранного напечатать негде было и осталось в бумагах, дожидаясь «доброго цензора». И без того глава петербургской цензуры М. Н. Мусин-Пушкин был недоволен некоторыми из новоразрешенных текстов и жаловался, что «целое ведомство принесено в жертву одному человеку» (неясно только, Анненкову или Пушкину?).

Еще два десятилетия прошло; пореформенная цензура, даже зверствуя, была добрее самых мягких николаевских цензоров, и тогда 60-летний Анненков, уже знаменитый литератор и мемуарист, напечатал новый большой труд — «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху».

Эта книга, при многих несовершенствах, также остается одной из лучших, талантливейших биографических работ о Пушкине в детстве и лицее, на юге и в Михайловском... И снова в эту работу были вкраплены новые тексты и неизвестные прежде воспоминания.

Анненков скончался в 1887 году, его архив поступал в Академию наук по частям в течение десятилетий. Основную часть собрания П. П. Анненков, сын Павла Васильевича, продал Пушкинскому дому в 1925 году.

Изучал бумаги Анненкова Борис Львович Модзалевский (о котором говорили, что «все о Пушкине знают лишь Цявловский в Москве и Модзалевский в Ленинграде, а уж чего они не знают — того никто не ведает...»). Интереснейшая работа Б. Л. Модзалевского о неопубликованных пушкинских материалах, хранившихся в архиве Анненкова, появилась в 1929 году, а через несколько лет в Поволжье обнаружилась еще часть анненковского собрания, непосредственно относящаяся к Пушкину.

И все же многие важные рукописи из архива первого пушкиниста так и не достались нам...

Отступление об Анненкове и его бумагах — необходимое звено в рассказе об архиве Алексеева.

Дело в том, что во всех своих работах Павел Васильевич больше всего жаловался на недостаток материалов о кишиневских и одесских годах поэта. В столицах жили многие хорошо помнившие Пушкина: там можно было воспоминания родственников и друзей проверить рассказами других очевидцев, свидетельствами третьих, сплетнями четвертых... Труднее было найти южных друзей, достаточно близких к юному Пушкину и вовремя понявших, что о Пушкине надо побольше запомнить и записать.

Главным источником наших сведений о кишиневских годах Пушкина были и остаются воспоминания И. П. Липранди. Но открылись они, в сущности, случайно, в 1866 году, так что в 1850-х годах Анненков про них и не знал, а к самому Липранди не обращался (друг Герцена, Огарева, Белинского, Грановского, возможно, стеснялся иметь дело с одиозной фигурой «гениального сыщика», как Липранди аттестован в анненковских воспоминаниях о 40-х годах).

Не желая ограничиваться отдельными напечатанными воспоминаниями о пушкинском Кишиневе и Одессе (Ф. Ф. Вигеля, В. П. Горчакова), Анненков 5 декабря

1852 года известил историка М. П. Погодина, что писал «...к Вельтману и Полторацкому, прося их о сообщении историй их знакомства с Пушкиным, особенно касательно кишиневской и одесской ее эпох, но ответов еще не получил» [23].

А. Ф. Вельтман, по-видимому, тогда же показал Анненкову свои небольшие записки о Бессарабии. Когда составлялись эти записки, неясно, но сохранились они на бумаге с водяным знаком 1837 года [24], и в них встречается уже цитированная фраза: «Вероятно, никто не имеет такого собрания всех сочинений Пушкина, как Алексеев». Прочитав такие слова, Анненков обязан был найти Алексеева, если только не встретился с ним еще прежде.

Нашел ли?

Об этом как-то не думали, тем более что оставалась неясной дата смерти Николая Степановича: если 1851-й, то Анненков вряд ли успел бы его расспросить. Но, заметим, Вельтман говорит об Алексееве как о живом и здравствующем («никто **не имеет** такого собрания...»). Заметим также, что оба письма Пушкина к Алексееву Анненков знал: отрывки из письма от 1 декабря 1826 года вместе со стихами «Прощай, отшельник бессарабской...» впервые появились в печати на страницах анненковских «Материалов для биографии Пушкина» под заглавием «Послание к Н. С. А.......ву, товарищу своего бессарабского житья-бытья» [25].

В бумагах Анненкова сохранились точные копии обоих писем Пушкина к «черному другу», и притом отмечены разнообразные подробности: что одно из писем «без почтового штемпеля» (оказия!) и адресовано «Его высокоблагородию милостивому государю Николаю Степановичу Алексееву в Бухарест», и что «на другом листке этого письма есть приписка, сделанная С. Д. Киселевым», и, наконец, что письмо Пушкина «истыкано дырами» [26].

Больше полувека никто не знал, где находятся подлинники этих писем, и печатали их именно по анненковским копиям.

Но существование этих копий ведь доказывает, что Анненков и Алексеев либо переписывались, либо встречались...

Ссылок на Алексеева, даже полускрытых, в «Материалах» больше не встречается. Зато в книге «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» (1874 год) Анненков много откровеннее: в V главе находим следующие строки об Иване Никитиче Инзове, начальнике и доброжелателе Пушкина: «Инзов, между прочим, исповедовал — как и вся его партия — известное учение о **благодати,** способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была окончательно извращена. Вот почему, например, в распущенном, подчас даже безумном Пушкине Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине, с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе. По свидетельству покойного **Н. А. Алексеева** [27], он был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту» [28].

А вот что пишет Анненков о салонах Эйхфельдт и Варфоломей в кишиневских домах: «Обе героини, Эйхвельт и Варфоломей, имели еще по приятельнице, из которых каждая не уступала им самим ни в красоте, ни в жажде наслаждений, ни в способности к бойкому разговору [29]. Между этими молодыми женщинами Пушкин и тогдашний его поверенный по всем делам кишиневской жизни **Н. С. Алексеев**, к которому он скоро и переселился на житье из строгого дома генерала Инзова, и устроили перекрестную нить волокитства и любовных интриг. Все эти сведения нужны еще и для того, чтобы понимать намеки в некоторых стихотворениях и в последующей переписке Пушкина» [30].

О кишиневских похождениях Анненков знает многое: «Обыкновенно случалась беда для кого-нибудь, если при игре и самом ходе этих интриг встречался какой-нибудь непрошеный человек на пути, вроде неизвестного француза по имени Дегильи, которого Пушкин письменно вызывал на дуэль, вероятно, для отстранения его соперничества. Чтобы покончить с этим порядком фактов, приводим ответ Пушкина, когда Дегильи устранился от дуэли. Ответ сообщен нам **Н. С. Алексеевым**:

«К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера.

Недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую.

Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины; не компрометируют дважды своего секунданта [31].

Все то, что случилось, я предвидел заранее, и жалею, что не побился об заклад.

Теперь все кончено, но берегитесь.

Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами: очень естественно; они знали ее только по переписке ее с Вольтером, и по рассказам тех, коим она позволяла путешествовать.

Фарса нашего Депутатства, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие: наказ ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтоб поставить ее на ряду с Титами и Траянами; но перечитывая сей лицемерный наказ нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня не понятна.

Царствование Павла доказывает одно, что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том не согласны и принимают славную шутку Г-жи де Сталь за основание нашей конституции: En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation. — Правление в России есть самовластие ограниченное удавкою.

Мнение

о науке Естественного права. — Г-на Магницкого

Оставаясь при моем мнении против общего заключения Главного правления училищ, в рассуждении необходимости приостановить во всех наших Университетах преподавание Естественного Права, доколе рассмотрятся требуемые от них тетради оного, — и составится наука сия не на правилах разрушительных, но согласно с учением Евангельским, я почитаю себя обязанным объявить причины к сему упорству в моем мнении меня удерживающие; оне суть следующие:

1-е) Наука Естественного Права, без которой обходился древний Рим, будучи Королевством, Республикою и Империею, и оставивший нам не

«Некоторые исторические замечания» (конец статьи). Копия Н. С. Алексеева. Ниже копия статьи М. Л. Магницкого «Мнение о науке естественного права».

Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете.
6 июня 1821.

Пушкин.

Заметьте еще, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли»[32].

В дневнике Пушкина сохранилось только начало этого послания, Анненков же, очевидно, получил от Алексеева полный текст записки к Дегильи, завершившей одно из бесчисленных бреттерских приключений поэта.

Наконец, Алексеевым, по всей видимости, сообщен весь отрывок, предшествующий последнему упоминанию его имени в VI, «одесской» главе книги Анненкова:

«Другое отличие Одессы состояло в том, что узлы всех событий распутывались здесь уже гораздо труднее, чем в Кишиневе. Там легко и скоро сходили с рук Пушкину и такие проделки, которые могли разрешиться с настоящую жизненную беду; здесь он мог вызвать ее, и ничего не делая, а оставаясь только Пушкиным. Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения — наблюдать явление, не подходящее к общему строю жизни. Собственно врагов у него совсем не было на новом месте служения, а были только хладнокровные счетчики и помечатели всех проявлений его ума и юмора, употреблявшие собранный им материал для презрительных толков втихомолку. Пушкин просто терялся в этом мире приличия, вежливого, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем вспышкам, даже и подсказанным благородным движением сердца. Он только чувствовал, что живет в среде общества, усвоившего себе молчаливое отвращение ко всякого рода самостоятельности и оригинальности. Вот почему Пушкин осужден был волноваться, так сказать, в пустоте и мстить невидимым своим преследователям только тем, что оставался на прежнем своем пути. Он скоро прослыл потерянным человеком между «благоразумными» людьми эпохи, и это в то самое время, когда внутренний мир его постепенно преобразовывался, место неистовых возбуждений заняло строгое воспитание своей мысли, а умственный горизонт, как сейчас увидим, значительно расширился. Опасность его положения в Одессе не скрылась от глаз некоторых его друзей, как, например, от **Н. С.**[33] **Алексеева.** Пушкин был гораздо ближе к политической катастрофе, становясь серьезнее, чем в период своих увлечений. Эта ирония жизни или истории не новость на Руси.

Единодушные свидетельства всех друзей и знакомых Пушкина не оставляют никакого сомнения в том, что с первых же месяцев пребывания в Одессе существование поэта ознаменовывается глухой внутренней тревогой, мрачным, сосредоточенным в себе негодованием, которые могли разрешиться очень печально. На первых порах он спасался от них, уходя в свой рабочий кабинет и запираясь в нем на целые недели и месяцы»[34].

Встречался ли Анненков с престарелым «бессарабским отшельником», слушал ли его рассказы или копировал, читал его записки?

К сожалению, ни записей этих бесед, ни подготовительных материалов к книгам Анненкова не сохранилось. Но воспоминания Алексеева, без сомнения, один из его источников.

Кстати, можно привести еще несколько «южных рассказов» Анненкова, которые, кажется, не заимствованы ни из каких известных мемуаров о Пушкине и по духу самого рассказа могут быть хотя бы частично приписаны Николаю Степановичу.

Из **«Материалов для биографии Александра Сергеевича Пушкина»** (1855)[35].

«В Кишиневе <...> Пушкин жил в обществе своих военных соотечественников и, говорят, довольно забавно сердился на их военную прислугу, плохо слушавшую его приказания и обносившую его за обедами. Пестрота, шум, разнообразие тогдашнего Кишинева произвели довольно сильное впечатление на Пушкина: он полюбил город <...>. От пребывания его в Кишиневе осталось еще воспоминание в двух стихотворениях: «Гречанке» («Ты рождена воспламенять...») и «Иностранке» («На языке тебе невнятном...»). О первой Пушкин сберег заметку в записках своих, где назвал ее: «прелестной Гречанкой». Иностранка, имя которой тоже не сохранилось у нас на Руси, замечательна еще особенной характеристической подробностью, касающейся Пушкина. После двухлетнего знакомства она узнала, что Пушкин — поэт, только по стихотворению: «На языке тебе невнятном...», вписанному в ее альбом уже при расставании. «Что это значит?» — спросила она у Пушкина. «Покажите это за границей любому русскому, и он вам скажет!» — отвечал Пушкин.

<...> Шумная жизнь Кишинева не могла обойтись без хлопот. Природная живость Пушкина, быстрота и едкость его от-

ветов, откровенное удальство нажили ему много врагов и иногда, по справедливости, возбуждали жалобы. Генерал Иван Никитич Инзов отрывался от важных своих занятий, чтоб устроивать дела ветреного своего чиновника. Он разбирал его ссоры с молдаванами; взыскивал за излишне резвые проделки; наказывал домашним арестом, приставлял часовых к его комнате и посылал пленнику книги и журналы для развлечения. Пушкин любил Инзова как отца. О тогдашних шалостях кишиневской молодежи сохранилось в городе некоторое воспоминание и до сих пор <...>. Много и других анекдотов от этой эпохи можно было бы собрать. Раз, заметив привычку одной дамы сбрасывать с ног башмаки за столом, он осторожно похитил их и привел в большое замешательство красивую владелицу их, которая выпуталась из дела, однакож, с великим присутствием духа, и проч. и проч.».

Из книги «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» [36]**:**

«Замечательно, что он никогда не мог окончательно рассердить Инзова так, как и Карамзина прежде. Напротив, когда в 1823 году Инзов сдал должность начальника новороссийского края, которую исправлял с июля 1822 года, графу М. С. Воронцову, то всего более огорчен был добровольным переходом на службу к своему преемнику — бывшего своего чиновника, столько им любимого, — Пушкина. «Ведь он ко **мне** был послан», — жаловался добрый старик. <...>

Кишиневское общество, как и всякое другое, искало удовольствий и развлечений, но благодаря своему составу из помеси греко-молдаванских национальностей оно имело забавы и наклонности, ему одному принадлежащие. Многие из его фамилий сохраняли еще черты и предания турецкого обычая, что в соединении с национальными их пороками и с европейской испорченностию представляло такую смесь нравов, которая раздражала воображение и туманила рассудок, особенно у молодых людей, попадавших в эту атмосферу любовных интриг всякого рода. По внешности кишиневская жизнь ничем не отличалась от жизни губернских городов наших: те же рауты, балы, игрецкие дома, чопорные прогулки в известной части города по праздникам, беготня и поздравления начальников в торжественные дни и проч., но эта обстановка едва прикрывала своеобычные черты домашнего и нравственного быта жителей, не встречавшиеся нигде более, кроме этой местности. С первого раза бросалось в глаза повсеместное отсутствие в туземном обществе не только моральных правил, но и просто органа для их понимания. То, что повсюду принималось бы как извращение вкусов или как тайный порок, составляло здесь простую этнографическую черту, до того общую, что об ней никто и не говорил, подразумевая ее без дальнейших околичностей. Правда, что в некоторых домах все крупные этнографические черты подобного рода стояли открыто на виду, а в других таились глубоко в недрах семей, но отыскать их там находились всегда охотники, заранее уверенные в успехе. Люди заезжие из России употребляли на поиски этих редкостей много времени, и не очень давно встречались еще старожилы, которые признавали свою кишиневскую жизнь самым веселым временем своего существования. Пушкин не отставал от других. Душная, но сладострастная атмосфера города, малоэстетические, но своеобразные наклонности и привычки его обитателей действовали на него как вызов. Он шел навстречу ему, как бы из «point d'honneur» [37]. Картина Кишинева, которую здесь представляем, оправдывается всеми свидетельствами современников, несмотря на многочисленные их умолчания и вообще смягчающий тон. Мы не преувеличиваем ее выражения, а скорее еще не уловили вполне характера распущенности, каким отличался город в самом деле. Это подтверждается и фактами. <...>

Были минуты, и притом минуты, возвращавшиеся очень часто, когда весь байронизм Пушкина исчезал без остатка, как облако, разнесенное ветром по небу. Случалось это всякий раз, как он становился лицом к лицу к небольшому кругу друзей и хороших знакомых. Они имели постоянное счастье видеть простого Пушкина без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостию, с честным и добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда — хорошо обнаруживается и из множества глубоких, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всего свободнее раскрывал свою душу и сердце перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству. Сверх того, в Пушкине беспрестанно сказывалась еще другая замечательная черта характера: он никак не



Н. С. Алексеев. Рисунок Куазена, 1825 г.

мог пропустить мимо себя без внимания человека со скромным, но дельным трудом, забывая при этом все требования своего псевдобайронического кодекса, учившего презирать людей без послаблений и исключений. Всякое сближение с человеком серьезного характера, выбравшим себе род деятельности и честно проходящим его, имело силу уничтожать в Пушкине до корня все байронические замашки и превращать его опять в настоящего, неподдельного Пушкина. Он становился тогда способным понимать стремления и заветные надежды лица, как еще они ни были далеки от его собственных идеалов, и при случае давать советы, о которых люди, их получившие, вспоминали потом долго и не без признательности. Таким образом, душевная прямота, внутренняя честность и дельное занятие, встречаемые им на своем пути, уже имели силу отрезвлять его от наваждений страсти; но была и еще сила, которая делала то же самое, но еще с большей энергией — именно поэзия...».

Разумеется, нельзя ручаться, что все эти сведения получены только от одного Алексеева, хотя именно он принадлежал к «добрым, простым, честным людям», с которыми Пушкин «свободнее всего раскрывал свою душу и сердце...».

Однако Анненков получил от Алексеева не только исчезнувшие его «Записки» и сохранившиеся копии писем.

Чтó первый пушкинист не решился или не смог напечатать, то он частично роздал другим — уже упоминавшимся Е. И. Якушкину, А. Н. Афанасьеву и П. А. Ефремову. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов Е. И. Якушкин и его друзья сумели провести в печать немало «опасных текстов», а что не сумели — отправили в Лондон, где самые запретные страницы напечатали Герцен и Огарев в своей «Полярной звезде» и других изданиях [38].

Анненковская копия «Ноэля» («Ура, в Россию скачет...»), к сожалению, не сохранилась.

Зато уцелел список с «Заметок по русской истории XVIII века» (не устанем повторять, что название это условное, что у Анненкова было заглавие «Некоторые исторические замечания», а в сохранившейся рукописи Пушкина — никакого заглавия: только «№ 1»).

Кстати, копия эта снята рукою генерала Федора Васильевича Анненкова, который (как и другой брат, Иван Васильевич) не совсем устранился от громадных трудов Анненкова-младшего.

В конце рукописи следует пояснение уже почерком Павла Васильевича: «Написано в Кишиневе и списано со сборника Н. С. А...... ва» [39].

Документ столь опасен, что даже в «домашних бумагах» рискованно называть источник получения. Вероятно, лишь после смерти Николая Степановича Анненков перечеркнул «закодированную» фамилию и написал сверху: «Алексеев». Маленькая подробность: почерк Федора Васильевича позволяет заподозрить, что с Алексеевым непосредственно общался старший Анненков и передавал все добытое младшему (который с 1851 года сидел в деревне и разбирал кипы пушкинских бумаг). Но если так, то надо поискать еще какие-либо пушкинские копии, сделанные Ф. В. Анненковым и относящиеся к кишиневским и одесским временам.

В Пушкинском доме сохранился большой лист, на одной стороне которого рукою Федора Анненкова списано пушкинское послание «Вигелю»:

Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить не перестану...

6

рускимъ писателямъ былъ мнѣ не-понятно.

Царствованіе Павла доказываетъ одно: что и въ просвѣщенныя времена могутъ родиться Калигулы. Рускіе защитники Самовластія въ томъ несогласны и принимаютъ славную шутку Г-жи де Сталь за основаніе нашей конституціи <u>En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation.</u>[5]

2 авг. 1822

[5] правленіе въ Россіи есть самовластіе ограниченное удавкою.

«Некоторые исторические замечания». Беловой автограф конца статьи.

На обороте листа — известное стихотворение «Генералу Пущину»:

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога...

К последнему — примечание, рукою того же Федора Анненкова: «Он <П. С. Пущин> был председателем масонской ложи в Кишиневе. Стих написан експромтом» [40].

Вполне возможно, что это списано с «альбома» или «сборника» Алексеева:

Оба стихотворения — из Кишинева.

Оба скопированы Ф. Анненковым.

Оба никогда прежде не публиковались «по отношениям», и было бы странно, если б их не оказалось в собрании Николая Степановича.

Примечание ко второму стихотворению могло быть сообщено только кишиневским приятелем Пушкина — кто знал и про «експромт», и про масонскую ложу: Алексеев же как раз был казначеем ложи «Овидий», куда входил Пушкин и которую возглавлял генерал Пущин... [41]

Итак, первый пушкинист пользовался бумагами и сведениями первого кишиневского друга Пушкина.

Исчезнувшие части анненковского архива давно унесли с собою и важную часть алексеевского; разыскания уж кажутся безнадежными, и стоит ли тревожить свое и чужое воображение подлинной «Гавриилиадой», «Ноэлем» и другими, может быть, совсем неведомыми пушкинскими сочинениями, письмами, посвящениями, неизвестными воспоминаниями о Кишиневе, Одессе и т. п.?

IV
Вот почему, архивы роя...

Два довода как будто объясняют бесплодность поисков:

Первый: Столько блистательных находок сделали за столетие П. И. Бартенев, Е. И. и В. Е. Якушкины, П. А. Ефремов, Л. Н. Майков, П. О. Морозов, Б. Л. Модзалевский, М. А. Цявловский, Н. О. Лернер, П. Е. Щеголев, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов и многие другие несравненные искатели...

Однако ученые XIX и первых десятилетий XX столетия жили в эпоху великих открытий, когда сразу выявлялись целые пласты пушкинских материалов, и руки до всего не доходили...

Так что первый довод — не довод.

Второй: Прошло слишком много времени, больше столетия...

Довод был бы серьезен, если б весь архив Алексеева исчез бесследно.

Но ведь это не так, и архив Алексеева бесследно не исчезал.

Больше шестидесяти лет два письма Пушкина к Алексееву — два возвращения в кишиневскую юность из последнего десятилетия пушкинской жизни — печатались по копии Анненкова, автографы же считались навсегда утерянными.

И вдруг два подлинных письма появляются. Узнав, откуда взялись эти «обломки» алексеевского архива, можно было бы двинуться по следу, пусть остывшему...

В Ленинграде хранительница пушкинских рукописей Римма Ефремовна Теребенина подсказывает мне, где и как искать: издавна все поступавшие в Пушкинский дом рукописи фиксировались, заносились в толстые «книги поступлений», и при этом обязательно выражалась благодарность тем, кто передавал драгоценный текст. Но если благодарят, то и адрес указывают, и копию благодарственного письма оставляют; так можно отыскать сведения о потомках Алексеева, а много это или мало — видно будет.

В толстом томе деловых бумаг Пушкинского дома знакомлюсь с двумя документами (вернее, с их черновиками), написанными характерным твердым и изящным почерком Бориса Львовича Модзалевского:

«№ 2451
16 января 1916 г.

Петроград
Его высокородию Н. И. Алексееву

Милостивый государь Николай Иванович!

Получив от Вас, через М. Л. Гофмана, подлинники двух писем Пушкина к Вашему деду, Николаю Степановичу Алексееву, которые Вы жертвуете в собрание Пушкинского дома при Имп. Академии наук, имею честь принести Вам от имени Высочайше учрежденной комиссии по постройке Памятника Пушкина и от моего лично выражение искренней благодарности <...> и просьбу принять при сем бронзовую медаль, выбитую Имп. Академией наук в честь столетия со дня рождения Пушкина» [42].

«№ 2458
23 января 1916 г.

Ее превосходительству
Софье Ивановне Алексеевой; Петроград

Милостивая государыня Софья Ивановна!

Получив от Вас для Пушкинского дома, через посредство М. Л. Гофмана, экземпляр «Истории Пугачевского бунта» с посвятительной надписью Пушкина Н. С. Алексееву и автограф стихотворения Ф. Н. Глинки...» (Далее — благодарность и сообщение о вручении памятной медали, как в первом письме) [43].

По этим письмам можно было, казалось, легко заключить следующее:

1. Что в семье Алексеевых хранились пушкинские материалы — письма, книги с посвящениями.

2. Что существовал внук Н. С. Алексеева, Николай Иванович, и что, стало быть, сына Н. С. Алексеева звали Иван Николаевич (позже выяснилось, сколь обманчиво такое умозаключение: Николай Степанович всю жизнь оставался холост, гипотетический **Иван Николаевич** — такая же абстракция, как поручик Киже, а Николай Иванович Алексеев был в действительности внуком Александра Степановича Алексеева — родного брата «лукавого кишиневского друга»).

3. Чин и звание внука неясны: «Его высокородие» — типичное обращение к дворянину, независимо от чина.

4. Зато Софья Ивановна Алексеева — «ее превосходительство» — скорее всего жена генерала (статского либо военного).

5. Разумеется, и Николай Иванович и Софья Ивановна Алексеевы состоят в родстве. Конечно, не случайно то, что они примерно в одно время, через посредство одного человека, известного пушкиниста М. Л. Гофмана, передают в Пушкинский дом материалы, касающиеся Н. С. Алексеева и Пушкина. Проще всего представить, что Софья Ивановна — мать Николая Ивановича...

Огромные тома «Весь Петербург» — потом «Весь Петроград» и «Весь Ленинград» — содержали адреса и должности всех совершеннолетних жителей города и предместий. Среди более чем 500 петроградских Алексеевых — Николаев Ивановичей Алексеевых дворянского сословия оказалось, на удивление, немного, всего двое: полковник, который живет по адресу Миллионная улица, дом № 4, а также надворный советник, архитектор его императорского высочества великого князя Кирилла Владимировича, проживающий на Васильевском острове.

Зато с Софьей Ивановной Алексеевой мне больше повезло: «Софья Ивановна Алексеева, вдова генерал-майора, Крюков канал, дом 11». Это — «ее превосходительство», и, конечно, именно у нее хранилась книга «История Пугачевского бунта» с посвящением Пушкина ее родственнику. Но в книгах «Весь Ленинград» за 1925 год и позже С. И. Алексеевой нет (может быть, умерла или уехала?) — и вообще, как это ни удивительно, в том году в Ленинграде не было ни одной **Софьи Ивановны Алексеевой** (Николаев Ивановичей Алексеевых же — всего три: бухгалтер, помощник управляющего таможней и владелец мастерской).

Но стоит ли разыскивать? Ведь М. Л. Гофман, очевидно, бывал в этой семье и, конечно, не упустил бы альбома с автографами или других документов, относящихся к Пушкину... А впрочем, кто знает — может быть, Гофмана не познакомили со всеми бумагами? Это предположение показалось мне весьма вероятным после того, как, просматривая все тот же толстый том деловых документов Пушкинского дома, я обнаружил письмо Петра Петровича Вейнера, редактора-издателя журнала «Старые годы», от 19 сентября 1917 года: «Прошу <...> принять от меня в дар для Пушкинского дома прилагаемые девять писем Ф. Ф. Вигеля к Н. С. Алексееву и одно приложенное к ним стихотворение. Письма эти мне достались от потомка Н. С. Алексеева».

12 октября 1917 года (за 13 дней до Октябрьской революции) Борис Львович Модзалевский от имени Пушкинского дома благодарил за присылку. Зачеркнув начатое по инерции обращение — «Его превосходительству», он пишет: «Г-ну П. П. Вейнеру: «Получив от Вас в дар для собрания Пушк. дома 8 писем Ф. Ф. Вигеля к Н. С. Алексееву, считаю своим приятным долгом...» и т. д. [44].

Два пушкинских знакомца — Вигель и Алексеев — переписываются в пушкинские времена и из пушкинских мест. Письма дружеские, с приветами «Ивану Петровичу» Липранди и другим знакомым кишиневцам, со сплетнями о Воронцове и его окружении; с рассуждениями о записках Вигеля, которые автор потерял и боится, что их найдут и, не дай бог, прочтут...

Гофман не миновал бы таких бумаг, если б знал о них, но, видимо, ему не удалось подробно ознакомиться со всеми ма-

териалами. Если так, если ценные бумаги из алексеевского архива таинственно странствовали и до и после 1916 года, то, может быть, у родни или друзей родни Н. С. Алексеева и поныне **что-либо** хранится. Но как же еще искать потомков, к тому же обладающих столь распространенной фамилией — Алексеевы?

Принялся я расспрашивать. Расспрашивал московских и ленинградских пушкинистов, ленинградских и московских старожилов. Много удивительного узнал я про петербургскую старину и про людей, которые, если б застать их еще в живых, рассказали бы...

Наконец, уже в Москве еще раз перелистываю вышедшую в 1922 году «Гавриилиаду» Пушкина. Редактировавший книгу Б. В. Томашевский поместил в ней портрет Н. С. Алексеева и при этом благодарил за предоставление портрета — **Е. И. Алексееву.**

Е. И. Алексеева согласно дореволюционному «Всему Петербургу» оказалась «Екатериной Ивановной Алексеевой, дочерью генерал-майора», жила же она вместе с матерью, уже известной нам Софьей Ивановной Алексеевой, по адресу Крюков канал, 11. В справочнике за 1925 год я уже не нашел этого имени, однако Р. Е. Теребенина, знавшая о моих поисках, сообщила из Ленинграда, что тот самый портрет Николая Степановича Алексеева, за который Томашевский благодарил его внучку Екатерину Ивановну, находится сейчас в Пушкинском доме. Он был передан туда **в 1939 году Натальей Ипполитовной Алексеевой, проживавшей по адресу Васильевский остров, 10-я линия, дом 13, квартира 16.**

1939 год — дата уже близкая, по «эту сторону» от революции, но еще по «ту сторону» от войны и блокады.

Как только приезжаю в Ленинград, осторожно узнаю по справочнику, нет ли телефона на интересующей меня квартире. Телефон дают; звоню... Трубку берет молодая женщина, а я задаю длинный, запутанный вопрос:

— Простите, здесь до войны жила (не могу сообразить, каков женский род от слова «потомок»)... здесь жила внучка или правнучка одного пушкинского друга, Алексеева, Наталья Ипполитовна... Я понимаю, прошло 30 лет, война...

На том конце провода вежливо выслушивают мой монолог и сообщают:

— Наталья Ипполитовна Алексеева — это моя бабушка, ей 90 лет, ее муж, Николай Иванович, был внучатым племянником Николая Степановича Алексеева; меня зовут Марина Алексеевна Салмина... Я работаю в Пушкинском доме в отделе древнерусской литературы.

!!!

По закону парадокса, по закону счастливого случая столь безнадежные поиски должны либо совсем не удаться, либо привести к цели «в двух шагах...».

На другой день в Пушкинском доме знакомлюсь с Мариной Алексеевной, которая вскоре везет меня к бабушке, Наталье Ипполитовне.

Воспроизвожу мою запись о встрече с Н. И. Алексеевой, сделанную через час после окончания нашей беседы (по мере возможности опускаю собственные вопросы).

Наталье Ипполитовне Алексеевой 91-й год, почти не видит, но говорит образно, энергично, как все старики, хорошо помнит прошлое.

В конце XIX столетия вышла замуж за покойного Николая Ивановича Алексеева (он сдавал пушкинские письма в Пушкинский дом). Пережила три революции, блокаду; лишь в конце войны ее эвакуировали в Воткинск, на родину Чайковского.

Наталья Ипполитовна: Я дочь Ипполита Ильича Чайковского, Петр Ильич — мой дядя. Алексеевы не раз роднились с Чайковскими: еще Александр Степанович Алексеев, родной брат Николая Степановича и дед моего мужа, женился на Екатерине Ассиер, а сестра ее, Александра Ассиер, была матерью Петра Ильича Чайковского. Кроме того, Алексеевы состоят в родстве с Киселевыми и Волконскими. Но вас интересует Пушкин и двоюродный дед моего мужа. Вы, случайно, не были знакомы с Лернером, Гофманом или Модзалевским? Они меня посещали... (Сообщаю, что родился уже после смерти Модзалевского и незадолго до кончины Лернера.)

К сожалению, Николай Степанович умер бездетным. Не понимаю, почему год смерти его неизвестен пушкинистам... У меня хранится свидетельство о смерти: «Николай Степанович Алексеев **умер в Москве 26 февраля 1854 года,** 64-х лет, от разрыва легких, отпет в Ржевской церкви близ Пречистенских ворот и погребен 1 марта 1854 года на Ваганьковском кладбище...»

(До сей поры, значит, у Алексеева «отнимали» три года жизни, которая кончилась не в 1851-м, а в 1854-м. Вот почему

Анненков, работавший в 1850—1854 годах, успел задать ему вопросы и получить ответы!)

— У мужа моего, я помню, были какие-то старинные документы, и в их числе — пушкинские. Это наследство нашего деда Александра Степановича[45]. Дед Александр Степанович, офицер, в 1814-м брал Париж: наверное, брат Николай отдал ему свои бумаги.

Моя belle-mère, Софья Ивановна Алексеева также не раз при мне говорила о Пушкине и об его близости с Николаем Степановичем. К мужу моему часто собирались друзья — он служил в Павловском полку. («Миллионная, 4», — вспоминаю я адрес и нечаянно вызываю волнение и удивление Натальи Ипполитовны...)

Офицеры часто брали книги и рукописи, но не имели обыкновения их аккуратно возвращать. Мысль о передаче в Академию наук двух писем Пушкина, кажется, и появилась оттого, что мы опасались, как бы и эти письма случайно не ушли из нашего дома. Если бы лет 50—60 назад меня расспросить, возможно, вспомнилось бы еще, но прежде как-то не так интересовались...

— Не помнит ли Наталья Ипполитовна Петра Петровича Вейнера?

— Да, он был знаком с моим мужем и получил от него несколько писем, кажется, для Лицейского музея. (Вот откуда письма Алексеева к Вигелю!)

— Что же еще оставалось из вещей и бумаг дедушки, Николая Степановича? Была подорожная с эмблемой Константина Павловича и подписью Вигеля (от 1 декабря 1825 года!). Мы сдали ее в Пушкинский музей. Сохранился кубок, из которого, говорят, пили Пушкин и Алексеев.

Мне выносят темно-красный бокал, на каждой грани которого женские фигуры в старинных костюмах.

— По семейному преданию, Пушкина и Алексеева в Кишиневе шутливо именовали Орестом и Пиладом...

Любопытно, действительно ли это предание идет с пушкинских времен или родилось позже, под влиянием чернового стихотворения, вероятно обращенного к Алексееву:

Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом,
И не видался я
Давно с моим Орестом...

— Не слыхала ли Наталья Ипполитовна о рукописи «Гавриилиады», «Ноэля», пушкинских исторических заметках, книгах с пушкинскими посвящениями?

— Екатерина Ивановна, сестра моего мужа, скончавшаяся несколько лет назад, владела книгой Пушкина о Пугачеве и пожертвовала ее Пушкинскому дому. Екатерина Ивановна имела портрет, о котором вы знаете. Она умерла в блокаду, как и мой двенадцатилетний внук Дмитрий Алексеев... О «Гавриилиаде» или запрещенных сочинениях Пушкина ничего не помню. В годы революции многое из наших вещей и книг пропало, но я не слыхала даже от моей belle-mère, чтобы в семье было что-либо подобное. Может быть, Николай Степанович раздарил рукописи еще при жизни, или что-нибудь попало к сестре Николая Степановича и Александра Степановича — Варваре Степановне, в замужестве Холоповой...

Нет, об Анненкове и его встречах с Алексеевым никто не говорил...

Тут Наталья Ипполитовна припоминает, что муж ее еще лет 60 назад вспоминал о каких-то записках Николая Степановича, где рассказывалось, как он сопровождал Грибоедова в его первом персидском вояже. (В первый раз слышу о поездке Алексеева в Персию. Мне казалось, что он в 20-х годах не покидал Бессарабии.)

Наш разговор о семье Алексеевых движется по трем столетиям; начинается от жившего при Екатерине II Степана Алексеева и его супруги, урожденной Сытиной, у которых сын Николай родился в 1789 году, в том же городе, где через 10 лет у Пушкиных родился сын Александр; затем — XIX век: взятие Парижа, Пушкин, персидский поход — это как будто позавчерашний день; вчерашний — это Петр Ильич Чайковский, которого Наталья Ипполитовна, конечно, хорошо помнит. Наконец, революция и блокада — день сегодняшний.

Наталья Ипполитовна хочет помочь моим розыскам и сообщает, что письма Алексеева к Пушкину хранятся в Москве, в Румянцевском музее.

— Спасибо. Они поступили туда в 1903 году от сына Пушкина, а несколько лет назад перевезены в Ленинград, в Пушкинский дом... Но я вас утомил своими расспросами, мучаю разговорами о давно исчезнувших письмах, рукописях и тетрадках.

При слове «тетрадка» Наталья Ипполитовна задумывается и спрашивает, читал

ли я тетрадку, заполненную рукою Николая Степановича.

— Какую тетрадку?

— Да ту, которую мы с мужем когда-то читали: ее отдали в Пушкинский дом вместе с письмами в 1916 году.

Я не совсем понимаю, о чем речь, но уже тороплюсь в Пушкинский дом «за тетрадкою».

Наталья Ипполитовна: Прошу вас постоянно извещать меня о ходе ваших поисков, меня они очень интересуют...»

V
Прошло сто лет — и что ж осталось...?

От 10-й линии Васильевского острова до Пушкинского дома — всего несколько остановок.

В рукописном отделе прошу «тетрадку Алексеева».

— Что за тетрадка?

— Затрудняюсь объяснить, но должна быть тетрадка, ее пожертвовала в Пушкинский дом семья Алексеевых в 1916 году вместе с двумя письмами Пушкина и книгой «История Пугачевского бунта».

За письма и книгу Алексеевым были посланы благодарности и памятные медали, тетрадку же — как не столь ценное подношение — в благодарственных письмах не отметили...

Находят мне тетрадку и приносят [46].

«Официальное» название ее — не тетрадка, а «Сборник».

Сборник довольно велик по формату (215 × 340 мм), но состоит всего из пяти вложенных друг в друга двойных листов (что составляет 10 отдельных листов, или 20 страниц).

Вначале — несколько строк рукою Б. Л. Модзалевского с еще дореволюционной орфографией:

«От Алексеевой С[офьи] И[вановны]. Сборник писан одним почерком. Водяной знак «1818». Рукою Н. С. Алексеева в Кишиневе. 1821—1823 гг.».

Вспомнилось примечание П. В. Анненкова, сопровождавшее его копию «Исторических замечаний» Пушкина: «Писано в Кишиневе в 1821—1822 годах. Почерпнуто из сборника Н. С. Алексеева».

Открыв сборник, только что мне принесенный, вижу на первом же листе почерком Алексеева — «опрятным и чопорным» — **«Некоторые исторические замечания.**

По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось...».

Очевидно, передо мною лежал именно тот сборник, с которого снимал когда-то копию Федор Васильевич Анненков.

Кажется, за полвека, прошедших с того дня, как сборник поступил в Пушкинский дом, им специально не интересовались. Он «затерялся» в громадных описях главнейшего рукописного фонда № 244 (фонд Александра Сергеевича Пушкина), да и еще спокойно пролежал бы бог знает сколько, если бы случайно в разговоре с Натальей Ипполитовной не прозвучало слово «тетрадка».

Снова вернулись мы к тому, с чего начали.

«Хоть поздно, а вступление есть...».

И отношения кишиневских «друзей-соперников», и архив Алексеева, столь же замечательный, сколь недоступный, и труды Анненкова, и беседы с потомками, и появление «тетрадки-сборника» — все это понадобится для проникновения в загадочное и важное сочинение 23-летнего Пушкина, которое даже назвать непросто, потому что оно имеет два названия, но, в сущности, ни одного, в то время как название в этом случае может быть важнее, чем в любом другом. «Сборник» Алексеева будет рассмотрен ниже. А сейчас обратимся к пушкинскому автографу «Заметок...».

Немало пропутешествовав вслед за Николаем Степановичем Алексеевым, мы отправимся сейчас в еще более трудные и сложные странствия — за Александром Сергеевичем Пушкиным.

Снова пушкинский текст будет сопровожден комментариями, совершенно не претендующими на объяснение и освещение **всего;** даже, наоборот, это комментарии, в которых много важных сюжетов совсем не появится, например, почти не будет представлена тема об источниках, откуда Пушкин черпал свои исторические сведения (подтверждая тем известное изречение мадам де Сталь — «В России все тайна — и ничего не секрет!..» [47]). Цель комментариев — обратить внимание на **некоторые** не слишком очевидные оттенки пушкинской мысли.

Итак, пушкинские **заметки.**

Вместо заглавия над текстом рукою Пушкина — «№ 1» (скорее всего «№ 1» вписано позже, так как Пушкин никогда не начинал писать так высоко, почти у верхнего края страницы) [48]. Справа — «NB» и оставлены большие поля для до-

полнений. (Обычная его манера, когда предпринимался какой-нибудь большой труд!)

«По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали».

В первой же фразе первой исторической работы Пушкина главный герой — Петр I; и так во многих будущих трудах, вплоть до последнего, незавершенного. Начало — медленное, эпическое, предложения длинные в ритме истории Карамзина. Однако здесь — краткое обозрение «новейшей истории», в то время как «История государства Российского» должна была остановиться перед воцарением Романовых.

«По смерти Петра I»... «Огромные составы...», «прерванные связи...» вызывают в воображении читателя некий громадный организм, «Левиафан»: сильный человек мощным движением швырнул и вздернул его так, что захрустели **составы** и **связи** и отшибло «воспоминания старины...» Через 10 лет это будет «гордый конь», которого всадник «уздой железной... поднял на дыбы...».

Пушкин не пытается как-то объяснять появление самого Петра: «сильный человек», «северный исполин» (позже — «исполин судьбы») — во всем этом сочинении, в духе времени, сильные люди (или объединения людей) делают историю куда в большей степени, чем история творит их самих... Выражаясь языком современной науки, «субъективное начало» явно преобладает над «объективным».

«Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр».

Дальше один за другим обозреваются три главных «состава» государства преобразованного: сначала — народ. Фразу начинает историк, просвещенно иронизирующий («победа... бороды и кафтаны»), но заканчивает — «сам народ», насмехающийся над «историком» и ему подобными «обритыми боярами» (выражение чисто народное) [49]. Тут уже видно столь раскрывшееся в поздние годы особенное умение Пушкина смотреть на предмет то со своей стороны, то с чужой колокольни, то — на Пугачева, то — Пугачевым; только что принизив «бояр» народным мнением, в следующей фразе уж снова говорит в их пользу — «новое поколение... привыкало к выгодам просвещения».

«Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм попрежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы.

Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе» [50].

Народ с его мнением и «упорным постоянством» больше не появляется — о нем говорится, но он сам «безмолвствует»; нет ни Булавина, ни Пугачева.

Второму **составу** — «новому поколению, воспитанному под влиянием европейским», то есть «обществу»,— внимание куда большее, потому что Пушкин сам из этого состава. Тут впервые появляется один из главных мотивов работы — **«просвещение», «выгоды просвещения».**

Пушкин и в этих строках тонко меняет углы наблюдения: то с высоты XIX века на XVIII, то с «низин» XVIII — на самих себя: «чиновники, иностранцы, схоластический педантизм» — слова, произносившиеся в 1820-х годах с оттенком отрицания, здесь, наоборот, звучат одобрительно. Позже Герцен напишет о XVIII веке как о времени, когда «поэты воспевали своих царей; не будучи их рабами», и когда еще «великой революцией была реформа Петра» [51].

После народа и общества третий и последний «состав» — правительство. Кажется, Пушкин не жалеет красок, сближая уровень просвещения царского дворца и деревенской избы: в хижине упорное постоянство «суеверия», во дворце — «суеверная точность подражания», там — «бороды и русский кафтан», тут «азиатское невежество». Но так как исторический толчок уже дан, развитие продолжается, и новые случайности не могут отменить мощного движения, но могут лишь наложиться на него.

«Петр I не страшился народной Свобо-

ды, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

Центральная мысль всего сочинения и вообще для Пушкина одна из важнейших: просвещение — здесь не просто доза культуры, принятая обществом; это и экономика, и литература, и знания, и быт — это **уровень развития.**

Развитие, просвещение неминуемо ведет к свободе. Из дальнейшего видно, что Пушкин разумеет под «народной свободой» одновременно свободу политическую и освобождение крестьян. Петр не только вводил просвещение, но на примере Англии, Голландии и других стран мог видеть, что просвещение приводит к существенным переменам в управлении.

Однако это соображение нисколько не смущало Петра: «доверяя своему могуществу и презирая человечество», он был уверен, что не скоро **его** просвещение обратится против **его** самовластия. Но Пушкину — как это будет видно далее — кажется, что время, отпущенное потомкам Петра для просвещенного самовластья, кончается; что через 100 лет после Петра настал час свободы, «неминуемого следствия просвещения» [52].

«История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все состояния, окованные без разбора, были равны пред его **дубинкою.** Все дрожало, все безмолвно повиновалось» [53].

Четырехкратное «все» звенит, как рабские цепи («всеобщее рабство...», «**все** состояния, окованные без разбора...», «**все** дрожало, **все** безмолвно повиновалось...»). Пушкина не пугает противоречие этих строк с хвалою «северному исполину» в начале сочинения: он улавливает истинные переходы добра во зло и обратно — причудливые и легкие.

Такова же пушкинская мысль о несправедливом петровском указе, будто бы разорванном Яковом Долгоруким и полулегендарном письме Петра, предписывавшем сенату не исполнять царских приказаний, если будут посланы из турецкого плена. «Великая честь необыкновенной души самовластного государя», очевидно, в том, что Петр легко мог поступить нехорошо, самовластно, но поступил благородно... Мы не согласимся с Пушкиным, что и дворянин и крепостной «были равны» перед петровскою дубинкою, но самовластие Петра действительно оковывало даже высшие сословия много сильнее, чем абсолютизм Бурбонов, Тюдоров или Габсбургов. Пушкину надо подчеркнуть «всеобщее рабство» для дальнейших размышлений о **«всеобщем единодушии»** врагов рабства.

«Аристократия после его неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастию, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Памятниками неудачного борения Аристократии с Деспотизмом остались только два указа Петра III о **вольности дворян,** указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться».

Казалось бы, Пушкин внушил читателю, что самовластье давно следовало ограничить. Но нет! Хороша только свобода «как неминуемое следствие просвещения»; если бы вельможи, «верховники», взяли власть, то был бы сорван плод недозрелый. Для той поры, думает Пушкин, путь к будущей свободе пролегал только сквозь самодержавную несвободу. **Одна причина** — «правительство — главный европеец»; оно стимулирует просвещение — просвещение ведет к свободе... Для объяснения **другой, главной причины** Пушкин рассуждает, что было бы, «если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились»: крепостное право именем дворянства было бы «закоренелым», вошло бы в плоть и кровь. Кре-

постничество именем государства, сверхвластие царя — даже над дворянами — это совсем неплохо: крепостное право в этом случае можно отменить законом (укоренившуюся частную собственность — невозможно!). Поэтому закон о вольности дворянской без сопутствующего ему закона «о вольности крестьянской» — по Пушкину — вреден, и его «следует стыдиться». Только что было сказано: **«все состояния**, окованные без разбора...», теперь же — «желание лучшего соединяет **все состояния** противу общего зла»; объединенные рабством, естественно, объединяются желанием свободы. «Общее зло», против которого все соединятся, — это плохое правительство, горстка сановников, — Александр I, Аракчеев, Фотий и т. п. Но против **всех** им не только не устоять, но даже до крови **дело** не дойдет: нужно **«единодушие мирное»**, но чтобы довести дело до конца, также и «твердое...». Пушкин тогда настаивал, «что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России» [54].

Прав ли Пушкин? Он понимает особое положение русского дворянства, заменяющего «отсутствующее третье сословие»; вместе с Николаем Тургеневым справедливо

Предвидит в сей толпе дворян
Освободителей крестьян...

Он чувствует, знает ту русскую особенность, о которой так много начнут размышлять лет через 20—30: «преимущество отсталости», возможность привлечений значительных общественных сил к делу крестьянского освобождения (как и было близ 1861 года); после реформ эти силы будут непримиримы, но на необходимости освобождения временно сойдутся!..

Пушкина, как видим, пока что не заботит зловещая коллизия: только что «все состояния окованы... все дрожит, все повинуется», и вот от этих людей требуется «твердое, мирное единодушие», которое «может поставить нас наряду с просвещенными народами Европы». А вдруг застарелое рабство «сработает», помешает? Различие прошедшего — немалые свободы, хартии, парламенты в Англии, Франции и других землях в течение многих веков и слабость подобных институтов в России — все это Пушкина сейчас не занимает, потому что, в духе времени, он верит в большую свободу исторического выбора. Петр I, сильная личность, дал толчок; настало время новым личностям, «соединенным состояниям» придать новое движение российским «составам», «разорвать связи» и т. п.

Пушкин — «государственник». В 1822 году он отвергает, например, такие рассуждения.

— Указ о вольности дворянской способствовал освобождению личности, ограждению от всеобщей дубинки хотя бы части населения, дворян. Без такого освобождения не могли бы явиться в дворянстве такие свободные люди, как декабристы, как сам Пушкин.

После 1825 года Пушкин постепенно приближался к только что изложенной системе, много размышляя о нравственных, внутренних переменах в людях и «состояниях», необходимо предшествующих серьезным политическим переменам.

В одном из отрывков, условно называемых «О дворянстве» (30-е годы), Пушкин писал: «Чем кончится дворянство в республиках? [55] Аристократическим правлением. А в государствах? Рабством народа. а = в» (XII, 206). В 1822-м Пушкин еще полагал, что «в» лучше, чем «а», так как оставляет перспективу, «выход в будущем». В 1830-х годах — хотя и продолжает порицать «гордые замыслы Долгоруких», но уже рассматривает «уничтожение дворянства чинами», «падение постепенное дворянства» в связи с правлением Петра и Анны (XII, 206). В 1822-м почти вся вина возлагалась на Екатерину II.

«Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою Истории. Он разделит с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и

блестящими, хоть и бесплодными, победами в Северной Турции».

Большая часть пушкинского сочинения — о царствовании Екатерины II. Причина ясна: первое движение дал Петр; этого хватило до 1762 года; второе движение — Екатерина. Правительство перестает плыть по течению, творить добро (и зло) «ненарочно». Екатерина знает, что делает (ниже будет сказано: «имела свои виды....»). Пушкин не видит почти ничего положительного в этом царствовании, употребляя слова «унизила», «сластолюбие», «гнусное соревнование» — и лишь в конце первого «екатерининского» абзаца возникает «странный Потемкин» и «блестящие победы», о которых тут же оговорено — «бесплодные...». Здесь же, подозревая, что читатель вспомнит иные оценки Екатерины II, Пушкин объясняет, что «ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали».

Взгляд Пушкина понятен уж из того, что сказано в начале его сочинения: некоторые свободы, которые Екатерина дарит «непросвещенному дворянству», преждевременны. Это как бы заговор Долгоруких наизнанку: естественное движение от просвещения к свободе, начатое Петром и «ненарочно» продолженное его «ничтожными наследниками», теперь нарушено. «Гнусное соревнование высших состояний» («званые» самой Екатериной, «избранные», то есть выдвинутые сановниками) хуже, чем равенство в рабстве, так как вредит грядущему «соединению противу общего зла». Любопытно, что близость с М. Ф. Орловым не мешала, а может, и помогала Пушкину подразумевать среди «презренных» двух дядей Михаила Федоровича — Григория и Алексея Орловых.

Так и слышатся будущие строки:

Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый...

«Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского народа».

Вот как выглядел сначала этот отрывок в черновике Пушкина: «Уничтоженная Польша [униженная], усмиренная Турция».

Затем «Турция» вычеркивается: обстоятельства начала 1820-х годов не доказывали, что Турция усмирена и тем более унижена. Султан расправляется с восставшими греками, держит под ярмом много захваченных земель.

Вместо Турции появляется Швеция.

«Униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот права Екатерины на нашу благодарность».

Задумавшись над тем, что значит «наша благодарность», Пушкин уточняет: «на благодарность русского народа».

Затем еще сильнее:

«Вот истинные права Екатерины на благодарность русского народа».

Слово «истина» появляется и в начале следующего предложения, где возобновляется атака на систему Екатерины: «Но со временем Истина оценит...» — Пушкин тут же пробует другие варианты: «пройдет [время]», «время оценит», «настанет время». В окончательном варианте, как видим, нет «истинных прав на благодарность» (вместо этого — «великие права на благодарность»); вместо «Истина оценит» появилось — «История оценит».

В самом деле — что есть «истина»? Есть история, есть права на благодарность достаточно большие, «великие», но можно ли определить истинные, то есть «конечные», права?

Строки о Польше указывают на то, что Пушкин метит не только в бывшую царицу, но и в ее царствующего внука. В 1822 году Александр представлялся многим современникам восстановителем Польши в ущерб России (об этом еще речь впереди), и «комплимент» бабушке за уничтоженную Польшу звучал совсем не верноподданнически...

«Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России.

Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам, о славной расписке Потемкина, хранимой доныне в одном из присутственных мест государства, об обезьяне графа Зубова, о кофейнике князя Кутузова и проч. и проч.

Екатерина знала плутни и грабежи сво-

их любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом развратная государыня развратила и свое государство».

Осуждение екатерининского царствования, задержанное на мгновение краткой похвалой, продолжает усиливаться, превращаясь в злой памфлет. Но с каждой строкой все заметнее, что, собственно, дело не в Екатерине: так же как хвала Екатерине «за Польшу» задевала Александра, так и отрицание екатерининской системы было уничижением александровской...

Преемственность «Екатерина — Александр» (исключавшая Павла) считалась общепринятой. Традиции бабки считались сохраненными внуком.

Пушкин же находит в бабушкины времена те посевы, которые сорняком расцветают при внуке. Когда говорится, что «со временем История оценит...» и «тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной [56] памяти от проклятия России», то подразумевается, что оценит «не сейчас», но после будущих перемен, которые уничтожат ныне действующую и от Екатерины идущую систему.

Вчитываясь в этот отрывок, найдем:

«...влияние ее царствования на нравы...» (нравы не переменились, это нынешние нравы!).

«Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа...» (имения, отсутствие чести и честности — все действительно для 1820-х годов, и лишь началось с Екатерины).

«Таким образом развратная государыня развратила и свое государство...» (здесь столь же продленное прошедшее время, как и в предыдущей фразе).

Названо всего несколько фамилий, но сколько еще подразумевается (все временщики, их родня, между прочим, из настоящих и будущих знакомых и членов семьи Пушкина — Орловы, Гончаровы, Загряжские). Из тех, кто размещался между «канцлером» и «последним протоколистом», в 1822-м еще многие здравствовали или передали наследство сыновьям.

Не случайно Пушкин в этом месте совсем позабыл спокойный, эпический склад и докрасна раскаляет памфлетную ярость («ничтожность...», «отвратительное фиглярство...», «проклятие России...», «плутни», «грабежи...»). Язык все злее, афористичнее: «отсутствие чести и честности», «все крало, и все было продажно», «развратная государыня развратила государство». «Любимцы» появляются второй раз, после того, как о них уже с презрением сказано, второй раз в тексте появляется слово «бояре». Теперь это уже не тайная усмешка униженного крестьянина, а откровенная насмешка унижающего временщика: Орлову или Зубову лестно вспомнить про пощечину, отвешенную древнему потомку князей или бояр, про «хорошо причесанного генерала», который не смеет жаловаться на обезьяну временщика, пачкающую его волосы нечистотами, и про еще более важного генерала и дипломата М. И. Кутузова, несущего кофе развалившемуся в постели «Платоше» Зубову.

Мимоходом снова брошен упрек серьезному оппоненту — на этот раз он назван: «обольщенный Вольтер...» И. Л. Фейнберг, опубликовавший часть сохранившегося пушкинского черновика, отметил и другие крепкие выражения по адресу императрицы: мелькнуло слово «тиранство»; определяя, каковы были сношения с Вольтером, Пушкин выбирал между «мелочным шарлатанством» и «отвратительным фиглярством» (предпочел последнее) [57].

Гнев Пушкина против системы Екатерины — Александра, кажется, достиг апогея, но это еще не все: уже мелькнули слова «под личиной кротости и терпимости...». Следующий большой отрывок целиком посвящен этому «славному» двоедушию.

«Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского [58] в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась,

не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».

Каждая фраза — в одном ритме. Екатерина говорила то-то, — а на самом деле было вот что... В этой обвинительной речи «сталкиваемые» факты говорят сами за себя, и Пушкин убирает лишние подробности, раздробляющие мысль (например, фразу из черновика о публикациях Вольтера в России: «Знаю, что «Кандид» и «Белый бык» были напечатаны»). Сильные прилагательные, которые были в черновике, также исчезают в окончательном тексте: вместо «почтенного Новикова» — Новиков, вместо «кровавого Шешковского» — Шешковский: мысль стала жестче, проще, суровее.

И. Л. Фейнберг заметил, что у Пушкина в черновике было «около 200.000» (сначала — «300 000») раздаренных Екатериной крестьян.

Потом он уточнил число (любопытно бы знать, чьими сведениями воспользовался?) и написал более правильно: «около миллиона». Не зря Пушкин пояснил: «государственные крестьяне (т. е. свободные хлебопашцы)». В черновике сначала было — «свободные землепашцы». Свободные хлебопашцы — термин александровского царствования: в 1803 году был издан закон «о вольных хлебопашцах», мыслившийся как первый в серии раскрепощающих мер, но в том же царствовании дело заканчивается обращением свободных хлебопашцев в военных поселян. Разница между александровским словом и делом для Пушкина — продолжение начатого «Тартюфом в юбке и короне», Екатериной II. Легко заменить екатерининские «ситуации» соответствующими александровскими: Александр уничтожил пытку, но Аракчеев никогда ее не отменял; Александр поощрял просвещение, но Радищев, сосланный Екатериной, отравился именно в царствование ее внука.

Княжнин (как ошибочно полагает Пушкин, доверяя распространенному слуху) умер под розгами за смелую драму «Вадим», но ведь и о Пушкине был распущен слух, что его высекли; в Кишиневе примерно в одно время с «Историческими замечаниями» делаются наброски к драме «Вадим»; Радищев выслан, Новиков в крепости: но ведь и Пушкин выслан, и Пушкину грозила крепость...

В этом отрывке снова появляется тема **«просвещения»:** Екатерина любила «просвещение», но расправилась с Новиковым, «распространившим первые лучи его»: истинное просвещение атаковано фальшивым, внешним, порабощающим. Здесь для Пушкина пока не существует той важной мысли, что появляется в последние его годы, — о недостатках самих просветителей, о слабости «полупросвещения» XVIII века. Он с оптимизмом глядит на два главных исторических движения: **просвещение** — от Петра, через просвещенных людей XVIII века — к новым временам, когда вот-вот над отечеством «свободы просвещенной» взойдет «прекрасная заря...».

Мрак под видом **света** культивируется властью, особенно екатерининской и александровской...

«Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но, лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного. Жаль! Ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.

В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей Историею, следственно и просвещением. Екатерина знала все это и имела свои виды».

Почти в одно время Пушкин защищает духовенство и пишет «Гавриилиаду». Но одно дело — вопросы веры и церкви для себя и узкого просвещенного круга, другое дело — для народа. До сих пор Пушкин

показывал, как Екатерина унизила общество, сбивая его с путей истинного, освобождающего просвещения. Теперь — народ, о котором не упоминалось после первых строк о «бороде и русском кафтане»... Без учителей-священников не сократится разрыв образованных и необразованных слоев, который в послепетровской России сделался огромен.

Екатерина «угождает духу времени», то есть просвещенному XVIII веку, но Пушкин ничуть тому не радуется, потому что «угождение духу времени» – совсем не одно и то же, что «быть с веком наравне»; не случайно царица идет навстречу не только «времени», но и «неограниченному властолюбию». Сравнивая православие и католичество, Пушкин пользуется примерно той же логикой, что и при рассуждениях о «гордых замыслах Долгоруких»: достоинства русского духовенства (как и дворянства) — в его **несамостоятельности,** в том, что оно «оковано» вместе со всеми состояниями: благодаря этому, думает Пушкин, плохие его свойства — «суеверные преграды просвещению» (подобно «чудовищному феодализму» аристократии) — не смогли развиться, как это случилось «в землях римско-католических». Серьезные размышления о роли православного духовенства Пушкин разовьет и в 1829 году («Путешествие в Арзрум»), и незадолго до смерти (письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 года).

«Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами; очень естественно; они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать.

Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; «Наказ» ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами; но, перечитывая сей лицемерный «Наказ», нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна».

Снова — в третий и четвертый раз — Пушкин вспоминает о «современных иностранных писателях» и о «фернейском философе»: он понимает, что с их авторитетом следует считаться. Это не царедворцы, а высокие умы, и в их логике своя последовательность [59]. Если буквально следовать за мыслью Пушкина о развращающем царствовании Екатерины, то непонятно, откуда же появились в 1800—1820-х годах новые люди, свободный дух декабризма? Только как оппозиция к безобразиям крепостнического режима? Но безобразия были и прежде, а Пестеля, Муравьевых, Пушкина при «безграмотной Екатерине I» и «кровавом Бироне» не было? Значит, просвещение сделало свое дело... Но когда же оно успело это сделать? Все двоедушие Екатерины не противоречило тем успехам тогдашних дворян, без которых не развились бы их вольнолюбивые дети. «Фарса наших депутатов» была не только «фарсой»: кроме лживых и красивых слов, была и реальность, многое для будущей политики было услышано от дворянских депутатов, собранных в 1767-м для составления нового уложения. Вот что писал о екатерининском времени декабрист Михаил Фонвизин, племянник нелюбимого царицею писателя: «Она [Екатерина II] старалась смягчить почти азиатскую, суровую внешность русского деспотизма более благовидными европейскими формами. Небывалая в России до нее кротость и умеренность в действиях верховной власти и некоторое уважение к законности ознаменовали царствование Екатерины» [60]. Но ведь Пушкин все это знал и вот что говорит о екатерининском времени в «Послании цензору», сочинении столь же бесцензурном, как «Заметки...», и написанном в том же 1822 году [61].

Скажи, читал ли ты «Наказ» Екатерины?
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной,
Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два равные лица.
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер Истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала —
И никому из них цензура не мешала.
Ты что-то хмуришься; признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они?
Кто ж в этом виноват? перед тобой зерцало:
Дней Александровых прекрасное начало.

Противоречие двух пушкинских сочинений кажется очень большим...[62]

А на самом деле противоречия нет. Есть нарочитая односторонность — и в одном случае и в другом.

В «Послании цензору» сопоставлены «екатерининские свободы» и «дней Александровых прекрасное начало»; последнее родственно первым. Но, произнося **«прекрасное начало»,** поэт подразумевает отнюдь не **прекрасное продолжение** александровского правления. И продолжению этому так же легко находится «родственная» параллель в екатерининское время. Но о том — не в стихах, а в «Исторических замечаниях»: только явно задуманное сопоставление, «самовластье Екатерины — деспотизм Александра», может объяснить столь черный портрет царицы, выполненный художником, хорошо знавшим и другие краски...

Александр — «тень Екатерины».

«Фарса» депутатов (то есть депутаты, собранные Екатериной для обсуждения нового «уложения») напоминала о конституционных обещаниях Александра, о проектах Сперанского и т. п.; **Тит, Траян** — употребительные имена для прославления Александра, на что Пушкин намекал в своей известной надписи к портрету Дельвига:

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил,
Нерон же без него правдиву смерть узрит...[63]

Нерон — это, например, Павел, о котором заключительные строки сочинения. Но «Нероны», «Калигулы» — то есть Павел, Бирон... — не так занимают и пугают Пушкина и Дельвига, как «Титы» и «Траяны» — Екатерина, Александр. Тот тип властителя хотя и появляется и еще появится в «просвещенное время», но для Пушкина главная фигура современности — «властитель лукавый», развращающий свое государство. В литературе 1820-х годов, за редким исключением, почти никто уж не хвалит Тита и Траяна, и с этих завоеванных высот Пушкин смотрит на литераторов 1760-х — 1790-х годов... **«Подлость русских писателей[64] для меня непонятна»:** «подлость — на тогдашнем языке — пресмыкательство, самоуничижение. Пушкин говорит о столь близком, личном, что «забывается», в первый и последний раз прямо введя личность автора в повествование («подлость русских писателей для меня непонятна»): заметим — в начале работы, пока речь идет о временах далеких, повествование — в 3-м лице, но как только начинаются события, ближе задевающие пушкинские времена, появляются «мы», «нас»: «это спасло **нас** от чудовищного феодализма», «нынче же политическая **наша** свобода...» «может поставить **нас** наряду с просвещенными народами Европы», «предки **наши** столько гордились...», «беспокойное **наше** дворянство», «**мы** видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства», «фарса **наших** депутатов...»

И вот незадолго до финала — «подлость русских писателей для **меня** непонятна».

«Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: **«En Russie le gouvernement est un despotisme, mitigé par la strangulation».** (Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою. Примечание Пушкина.)

Известно, что Пушкин, может быть не имея под руками книги мадам де Сталь «Десять лет изгнания», вольно изложил ее «славную шутку», между прочим, заменив «l'assasinat du despote» (убийство деспота) более российским «strangulation» — удушение, удавка (Павел I!).

Присмотревшись к последним, только что процитированным строкам «...Замечаний», можно как будто заметить противоречие:

1) Защитники самовластья несогласны, что в просвещенные времена могут править Калигулы (на которых действует только удавка).

2) В то же время эти самые защитники самовластья считают, что «правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою». Кого же удавливать, если Калигулы невозможны?

Но противоречие мнимое. Пушкин цитирует «защитников самовластья...» несколько иронически: разве посмел бы, например, Карамзин произнести что-нибудь про удавку?

Это как бы за него говорится: то, что он не посмел сказать, за него скажет юный оппонент («оспоривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником» (XII, 306).

Так и слышится примерно такой диалог[65].

— «Россия имеет 40 миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он, как человек, ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением, которое служит нам вероятностию будущего исправления ошибок» (132).

— Но, если монарх — **изверг**, как Иван Грозный в несравненном описании Карамзина?

— «Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для монархий, что закон должен располагать троном, а один бог — жизнию царей» (45).

— Но, если деспот — Нерон, Калигула, Павел, — который сам себя считает и верой и мнением и народом? Что сделает с ним закон и что велит «мудрость веков»?

— «Снесем его, как бурю, землетрясение, язву — феномены страшные, но редкие: ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов. <...> Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!» (45).

— То есть, Вы хотите сказать, вслед за госпожой де Сталь, что «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою?»...

Действительно, Карамзин допускал «заговор» как крайнее средство, но «не допускал» цареубийства... В сущности, подавая «Записку о древней и новой России», он почтительно угрожал Александру заговором против реформ Сперанского. Пушкин «договаривает до конца»...

Поскольку сказано «За основание нашей конституции...», то возле «славной шутки госпожи де Сталь» как бы появляется другое ее изречение, не менее славное и Пушкину не менее известное:

«Государь, — сказал я ему [Александру I], — ваш характер служит вашей империи конституцией, а совесть ваша — ее гарантией». — «Если б это было так, — ответил он мне, — я был бы не чем иным, как счастливой случайностью»[66].

Сам Александр I «соглашается» с Пушкиным и с теми мнениями, которые исторгнуты у «защитников самовластья». Характер государя — неважная конституция. Парламент, настоящее народное представительство были бы более надежной гарантией, чтоб Калигула вдруг не появился и не затиранствовал... Но парламента нет — «царь-отец» только «рассказывает сказки». Никакого другого основания российской конституции не остается — только **угроза удавки.** Александр — «кочующий деспот» не делается еще худшим деспотом, потому что помнит об удавке...

В конце текста, разумеется, нет подписи, но есть дата: 2 августа 1822 года, и характерный пушкинский знак, обозначающий концовку.

Остаток последней страницы чист. Но в начале работы стояло — «№ 1». Значит, могли быть «№ 2, 3, 4»?..

В будущем, мы знаем, Пушкин нумеровал свои стихи, соединяя их в определенной последовательности («II Отцы пустынники и жены непорочны...», «VI «Из Пиндемонти» и т. д.).

Что такое «№ 1»?

В «Исторических замечаниях...» Пушкин подробно останавливается только на крупных событиях, которые определяли каждый новый период политического и нравственного состояния России: вся первая половина работы — о Петре I. Время с 1725 по 1762 год лишь продолжение «движения, переданного сильным человеком»; преемники Петра почти не рассматриваются по отдельности, и даже имена Екатерины I, Бирона, Елисаветы вынесены в примечание.

Вторая половина сочинения — об Екатерине II, чье правление уже нечто принципиально новое в политическом и нравственном состоянии России.

Павлу — внимание столь же мимолетное, как Анне, Елисавете. Это не новый период, а возвращение Калигулы в «просвещенные времена». Зато следующий период — «царствование Александра» — Пушкин, конечно, считал новым и значительным историческим этапом. Так и ожидаешь, заканчивая чтение «Замечаний», что вот-вот начнется разбор «дней Александровых прекрасного начала», войны 1812 года, похода в Европу, последующих ожиданий и разочарований.

И. Л. Фейнберг и Б. В. Томашевский стремились определить, какое место мог занимать этот отрывок в «Автобиографических записках», о которых точно известно, что Пушкин вел их на юге и в Михайловском, с 1821 по 1825 год, а «в конце 1825 года при открытии несчастного заговора... принужден был сжечь сии записки», так как «они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв».

Чрезвычайно соблазнительно было бы видеть в прекрасной, зрелой исторической прозе «Замечаний» начало автобиографии поэта, нечто вроде исторической экспози-

ции к ней[67], соблазнительно, но необязательно... Об этом еще речь впереди, после того, как «будет пройдена» история рукописи и текста.

VI
Быть может (лестная надежда), Укажет будущий невежда...

Говорилось, что жандармских чернил нет ни на одной странице «Исторических замечаний». Значит, в доме Пушкина этой рукописи не было ни в 1837-м, ни раньше: Пушкин сжег свои наиболее откровенные бумаги в начале 1826 года, когда ожидал обыска или ареста. Если б «Исторические замечания» были привезены с юга и сохранялись в Михайловском, то непременно бы погибли...

Значит, одно из двух: либо эти листы были привезены Пушкиным в Михайловское и кому-либо переданы на хранение (семье Вульфов? Приезжавшим друзьям?); либо летом 1824 года, отправляясь из Одессы, поэт при себе уж не имел рукописи.

Первая гипотеза кажется маловероятной: у «северных приятелей» Пушкин мог позже десятки раз получить свое сочинение обратно, до 14 декабря 1825 года с него непременно сделали бы списки, но, насколько известно, ни одной копии «Исторических замечаний» в декабристской среде не обращалось. Если же примем второй, «южный» вариант, то остаются два года — с августа 1822-го по июль 1824-го, когда эти шесть листов могли быть кому-то отданы.

Анненков, Е. Якушкин, Афанасьев и Ефремов ссылались, как известно, на «Сборник Н. С. Алексеева», из чего впоследствии заключили, что подлинная рукопись хранилась у Алексеева и благодаря этому избежала встречи с жандармским генералом Дубельтом[68].

Но вдруг в «тетрадке» Николая Степановича (о которой напомнила Наталья Ипполитовна Алексеева) обнаруживается копия с рукописи Пушкина, и тогда становится непонятным, зачем же Алексееву было снимать копию, если у него оставался автограф?

Наша статья началась с того, что пушкинская рукопись «Исторических замечаний» поступила в Лицейский музей в 1910 году из собрания Дашкова. Надо понять, откуда же Павел Яковлевич Дашков получил такой текст?

В Пушкинском доме хранится не только громадное собрание рукописей П. Я. Дашкова, но и несколько десятков переплетенных тетрадей, в которые Дашков почти 40 лет записывал все свои приобретения, вклеивал счета, деловые письма и т. п. На каждом шагу встречаются примерно такие записи: «Бумаги Н. И. Греча. 50 руб. В том числе стихи Гнедича, письма Полевого, Велио, Ф. Глинки, Дм. Языкова, Дубельта, Сербиновича, Ростовцева, Липранди, Лонгинова, Перовского, Даля, В. Одоевского, Корфа, Воронцова»[69].

Или такие:

«Добрейший Павел Яковлевич! Вы можете сделать мне большое одолжение, уступив мне какой-нибудь автограф Пушкина. Мне необходимо теперь услужить им одному господину; со временем я надеюсь достать несколько рукописей Пушкина, но в настоящую минуту мне остается только обратиться к Вашему великодушию и доброму расположению ко мне». Подпись: С. Н. Шубинский (издатель журнала «Древняя и новая Россия», позже — «Исторического вестника»). На письме рукою П. Я. Дашкова отмечен сделанный подарок: «Письмо Пушкина Н. И. Гречу с шуткой насчет гонорара»[70].

Уже в третьей тетради («Разные документы, касающиеся покупки автографов разных лиц, счета, письма с предложениями и т. п. за 1878—1881 годы») удается найти то, что нужно.

Вот какие приобретения поступили к Дашкову 2 апреля 1878 года:

«Пушкин — письмо — 5 (руб.)
Пушкин — второе послание к цензору[71] — 5 (руб.)
Пушкин — Русская история — 7 (руб.)».

Рядом — запись, относящаяся ко всем этим приобретениям: «(бумаги Лобанова) от Константинова»[72].

«Русская история» — это приблизительное название интересующей нас рукописи: просматривая список Пушкинианы Дашкова, не найдем никакого другого текста, к которому еще могло бы относиться такое название. Ту же мысль подкрепляет следующее сопоставление дат: в 1878 году Дашков приобретает рукопись, а в 1880 году в «Русской старине» появляется почти весь ее текст. (Либеральная цензура Лорис-Меликова, вероятно, усмотрела политический намек в строках о «фарсе депутатов» при Екатерине II и не пропустила их в печать. Режимы менялись, но Пушкин еще в 1822 году рассчитал, как им всем не угодить.) Публикации предшествовало следующее редакционное введение: **«Александр**

Сергеевич Пушкин. Взгляд на царствование Петра I и Екатерины II. Под этим заглавием, нами данным, печатаем здесь собственноручную рукопись А. С. Пушкина, не имеющую заглавия, но, очевидно, составляющую отрывок его записок. Подлинник принадлежит собранию автографов русских деятелей **П. Я. Дашкова** и сообщен нам П. А. Ефремовым. Отрывок этот был уже напечатан в «Библиографических записках» в 1859 году, но не вполне и не совсем исправно...» [73].

Итак, в 1878 году Дашков приобретает бумаги Лобанова «от Константинова».

Художник Андрей Константинов еще появляется в делопроизводственных бумагах Дашкова, напоминая 22 декабря 1881 года, что приходил и прежде «с автографами и гравюрами по поручению г. Лобанова», и прося помочь ему «в бедственном положении» [74].

Дашков, видимо, поддержал посредника, и тот дважды еще просил о вспомоществовании (между прочим сообщив, что не приобретенные прежде бумаги и портреты Лобанова находятся «в Александровском рынке у купца Смирнова») [75].

Константинов — ясен. Теперь — **Лобановы.** Скончавшийся в 1881 году Леонид Михайлович Лобанов [76], сын академика Михаила Евстафьевича Лобанова, продал Дашкову архив, собранный отцом: все приобретенные бумаги относятся только к концу XVIII и первой половине XIX столетия [77].

Трудно представить более неподходящую фигуру для хранения крамольных «Исторических замечаний», нежели Михаил Евстафьевич Лобанов. Плохой переводчик, посредственный поэт, печатавшийся там и сям в 1820—1840-х годах, он выпустил в 1835-м драму под названием «Борис Годунов» (через 4 года после появления пушкинской!) и 31 августа того же года удостоился за нее специальной премии от академии (в чем заключался, разумеется, «укол» Пушкину, никакой награды не получившему).

В 1836 году Пушкин выступил против Лобанова в известной статье журнала «Современник» — «Мнение г. Лобанова о нашей словесности, и в особенности русской». Отвечая на речь Лобанова, доказывавшего «безнравие и нелепость всех французских литературных течений» и призывавшего академию принять участие в цензуровании книг, Пушкин заключал статью «искренним желанием, чтобы Российская академия <...> ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных — наказывая одним ей приличным оружием: невниманием» (XII, 74).

Вспоминая главные события жизни и творчества М. Е. Лобанова, прочно забытого к началу XX века, Н. Янчук назвал его «литературным врагом или даже соперником Пушкина» и забавлялся тем обстоятельством, что, по воле случая, два несопоставимых имени — Пушкин и Лобанов — частенько оказываются в какой-то связи: некий виленский гимназист, узнав о смерти Пушкина, пишет прочувствованную статью с эпиграфом из Лобанова; на выставке 1827 года Кипренский выставляет знаменитый портрет Пушкина, а также портрет Лобанова [78].

И вот, наконец, неожиданное сочетание имени верноподданного Лобанова и свободных пушкинских «Замечаний».

Впрочем, для справедливости следует привести и доводы в пользу Лобанова, которые как-то «сближают» владельца рукописи с самой рукописью. Михаил Евстафьевич был коллекционер, и этим уже многое сказано. (Дашков ведь приобрел только часть его бумаг!) Страсть коллекционирования может затопить и растворить многие другие страсти. (Между прочим, в небольшом фонде М. Е. Лобанова в Архиве литературы и искусства сохранилась полная подборка вырезок из газет и других печатных изданий о деле 14 декабря и процессе над декабристами [79]. Где-нибудь в таком собрании могли поместиться также «Исторические замечания» Пушкина [80].)

Возможностей для пополнения своей коллекции Лобанов имел немало; между прочим был связан с двумя крупнейшими хранилищами рукописей: много лет служил под началом известного ученого и сановника А. Н. Оленина в императорской Публичной библиотеке, а незадолго до смерти управлял Румянцевским музеем [81]. Был он также близким приятелем И. А. Крылова и Н. И. Гнедича, собрал немало их работ и в 1840-х годах написал о каждом по книжке с похожим названием:

«Жизнь и сочинения Николая Ивановича Гнедича».

«Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова».

Скончался М. Е. Лобанов в 1846 году, на 70-м году жизни. Н. С. Алексеев пережил Лобанова на 8 лет, что еще раз опровергает предположение, будто рукопись хранилась у кишиневского друга. Если б мы знали, у кого — между Пушкиным и Лобановым — были «Исторические заме-

чания», мы могли бы утверждать, что у того человека был тайник пушкинских материалов, в котором прятались не одни «Исторические замечания». Если б мы знали, мы бы попробовали пуститься по следу...

История беловой рукописи Пушкина, однако, затерялась в неизвестности; обращаемся к пушкинским черновикам.

VII
Одна черта руки моей...

В 1880 году, к открытию памятника Пушкину в Москве, старший сын поэта, Александр Александрович, решил пожертвовать хранившиеся у него рукописи отца московскому Румянцевскому музею. Петр Иванович Бартенев отправился в тамбовское имение Пушкиных и вывез оттуда много тетрадей, а также отдельных листов, некогда взятых и возвращенных П. В. Анненковым.

Через четыре года историк литературы, внук декабриста Вячеслав Евгеньевич Якушкин описал пушкинские бумаги, лист за листом, и обнаружил при этом множество пушкинских строк, не вошедших еще ни в одно издание.

Внимательно изучил Якушкин, а позже и другие пушкинисты, 72 голубоватых листа «в четвертку», так называемой первой кишиневской тетради, которая в Румянцевском музее числилась под номером 2365, а после переезда в Пушкинский дом стала называться «фонд 244, опись 1, № 831» [82]. Красные жандармские чернила, обозначающие номер каждой страницы, свидетельствуют, что тетрадь в час кончины Пушкина находилась в его кабинете, попала в «посмертный обыск», и Дубельт был ее первым исследователем. Впрочем, образ грядущего Дубельта, очевидно, входил в число предвидений Пушкина, что доказывают корешки от многих листов, вырванных из тетрадей. Из «первой кишиневской», как думал М. А. Цявловский, Пушкин, вероятно, изъял опасные фрагменты «Гавриилиады» [83].

Тетрадь начинается «Кавказским пленником», затем идут черновики, наброски, отдельные заметки, рисунки, вносившиеся с конца 1820 до начала 1822 года (параллельно Пушкин писал и в других тетрадях).

На 61-м листе появляется строка: «Самовластие, утвержденное Петром». Строка зачеркнута — за нею: «Петр I не страшился народной свободы».

Это начались черновики «Исторических замечаний». Затем они еще несколько раз возникают и исчезают на страницах тетради, перемежаясь с другими сочинениями.

Черновики Пушкина опубликованы [84], но еще недостаточно изучены. Между прочим, в печати никогда, кажется, не обосновывалась последовательность появления черновых «Замечаний» среди других набросков и планов поэта.

С этой целью, от интересующих нас шестидесятых листов тетради отступим назад листов на 15 и будем потихоньку двигаться вперед...

На обороте 45-го листа Пушкин записал по-французски:

«18 июля 1821. Известие о смерти Наполеона. Бал у армянского архиепископа...» Сообщение о том, что Наполеона уже нет, за 3 месяца, с 23 апреля / 5 мая по 18 июля, покрывшее расстояние от острова Святой Елены до Кишинева, взволновало Пушкина, вызвало размышления о целой исторической эпохе, как бы окончательно отрезанной этим событием.

Анализируя чернила, которыми заполнялась первая кишиневская тетрадь, Т. Г. Цявловская выделила четыре ясно различающихся сорта (условно обозначив их «а», «в», «с» и «d»); запись о смерти Наполеона сделана чернилами «в» (желтыми или светло-коричневыми) на полях листа, где — стихотворение «Гроб юноши»); однако год — 1821 (после 18 июля) вписан позднее (чернилами «а»).

После записи о «Наполеоне» идут наброски стихов, мыслей, писем (план «Братьев-разбойников», «Песни о вещем Олеге», портреты Марата, Занда [85], Ипсиланти [86] и Лувеля [87], причем первые два, на листе 46, подписаны. Среди записей на лл. 45—49 мелькают поставленные Пушкиным даты: «26 июля», «23 августа 1821 года». Светлые чернила «в» сменяются черными («с»); и, кажется, страницы, следующие за 45-м листом, заполнялись последовательно, в хронологическом порядке летом и осенью 1821 года (что для Пушкина отнюдь не обязательно: нисколько не заботясь о грядущих исследователях, поэт часто писал в разных местах своих тетрадей, потом одни замыслы «сталкивались» с другими, перескакивали через исписанные страницы, двигались дальше, а порою тетрадь переворачивалась и заполнялась с конца к началу — до чернильной встречи посредине).

В 50-х листах тетради чернила меняются

(те самые более поздние чернила «а», которыми к записи о Наполеоне добавлен «1821 год»). Это идут заметки, относящиеся к концу 1821 и началу 1822 года.

На обороте 53-го листа в первый раз появляются черновые стихи «К Овидию»:

Овидий я живу близ тихих берегов...

Стихи эти родились в поездке Пушкина (вместе с И. П. Липранди) в Аккерман и Измаил с 13 по 23 декабря 1821 года. Под перебеленным текстом «К Овидию» Пушкин поставил дату «26 декабря 1821 г.».

Вслед за черновиками «К Овидию», на листе 55 — дата «Генварь», то есть, очевидно, январь 1822 года; тут же, однако, строки послания к В. Ф. Раевскому, считающиеся более ранними (июль — октябрь 1821 года). Среди них:

Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
Тиран . . . . льстец
Иль предрассудков раб послушный...

Еще после нескольких набросков 1821—1822 годов — 53-й лист, где лицевая сторона чиста, а на обороте план: «Стрелец, влюбленный в боярскую дочь, — отказ, приходит к другу-заговорщику — вступает в заговор».

Как видим, русские исторические темы (Олег, стрельцы...) возникают в то время регулярно. Исторические сюжеты, вероятно, присутствовали и на следующих семи листах (от которых остались только корешки), потому что на 60-м листе (первом после пропавших) — черновые замечания и план исторической драмы «Вадим».

Наконец, на 61-м листе черновик «Исторических замечаний» начинается со слов «Петр I не страшился народной свободы» (в окончательном тексте этой фразе, как известно, предшествует длинный первый абзац, который, судя по черновику, сначала намечался «на втором месте»).

Когда же были занесены на 61-й лист тетради интересующие нас черновые строки? По заключению В. В. Гиппиуса и Б. М. Эйхенбаума, сделанному в 1938 году, черновик «Замечаний» датируется «осенью 1821 года по положению в тетради 2365»[88]. Однако, зная, как причудливо заполнялись пушкинские тетради, попытаемся более точно обосновать дату рождения рукописи. Чернила — те, что уже много страниц не встречались, — светло-желтые («в»), которыми сделана запись о смерти Наполеона. Пушкин мог, конечно, попеременно писать разными чернилами — и так оно было с чернилами «а» и «d», но не с чернилами «с» и «в». Последними Пушкин пользовался в июне — июле 1821 года (но уже 26 июля пошли в ход черные чернила «с»).

Разумеется, только по цвету чернил нельзя уверенно объявлять, что первые строки «Исторических замечаний» были созданы в первой половине лета 1821 года (то есть за год с лишним до завершающей даты «2 августа 1822 года»). Черновик «Исторических замечаний» на 61-м листе невелик и обрывается на словах «образ русского правления остается неприкосновенным до несчастного Петра III».

На обороте 61-го листа теми же чернилами «в» (то есть, очевидно, в те же дни) составлена программа поэмы «Братья-разбойники», и тут же много рисунков — головы, какой-то конверт, стол. Рисунки сделаны карандашом, а также чернилами «в» и «с»; желтые чернила «в» сменились черными «с» между 18 и 26 июля 1821 года; но программа «Братьев-разбойников» в этой тетради появляется не один раз. Еще на 46-м листе находится план, явно родственный, близкий, связанный с тем, который упоминался только что. Там, на 46-м листе, план (чернилами «с», то есть после 18—26 июля 1821 года) перебивает черновик стихотворения «Гроб юноши» (июль 1821 года, чернила «в»).

В общем, соседство «Исторических замечаний» с программой «Братьев-разбойников», соседство одного из планов «Разбойников» с «Гробом юноши», чернила — все ведет к тому, что **летом 1821 года, примерно в одно время с известием о смерти Наполеона, Пушкин уже писал «Некоторые исторические замечания».**

Начало сохранившегося черновика показывает, как много работал над ним Пушкин: несколько слоев поправок, мучительное удаление и возвращение к словам, которые наиболее точно определили бы Петра:

«Самовластие, утвержденное Петром»,— пишет Пушкин и зачеркивает: эта мысль ему пока не нужна.

«Петр I не страшился народной свободы...» — написав эту строчку, Пушкин продолжает: «Может быть, доверял». Потом еще раз «может быть», и зачеркивает... «Он искренно любил просвещение» — зачеркнуто. «Неминуемое следствие просве-

щения» — зачеркнуто... (Просвещение, «которое вовлекало...».

Пушкин шел к важной мысли, но она, видимо, не давалась сразу: «Любовь Петра к просвещению» — уводила от уже осознанной главной линии (деспотизм — просвещение — свобода): дело было не в любви... О презрении Петра к человечеству Пушкин пишет сначала условно, не желая угадывать истинных побудительных мотивов царя: **«Может быть, доверял»** (своему могуществу) и **оттого презирал...»** Затем Пушкин укрепится в своей мысли — и **«может быть»** исчезнет. Эти две поправки усиливали беспощадную оценку петровского самовластья (никаких скидок на «любовь к просвещению»: презрение к человечеству!..). Но тут Пушкин удерживает свое перо уже от противоположной страсти.

«После смерти деспота», — записывает он, но зачеркивает и заменяет: «После смерти Великого человека...»

В беловике мы читаем великолепную, точную фразу, лишенную расплывчатости и ненужных подробностей: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

В пушкинском черновике нет имени Наполеона. Это еще, понятно, не доказывает, будто «Исторические замечания» начались раньше 18 июля 1821 года (известие о смерти Наполеона), но, видно, мысль о сходстве Наполеона с Петром была сначала Пушкину неясна. Однако уже со следующего, 62-го листа первой кишиневской тетради начинается «поэтическая победа» над полководцем-императором.

Сначала — «томясь — [в угрюмом], [в своем], [в унылом] [89] заточенье».

Затем — эпиграф «Ingrata patria...» [90] и стихи:

Чудесный жребий совершился,
Угас великий человек...

Только что в черновике «Исторических замечаний» мы видели — **«После смерти Великого человека...»**. Позже, в беловике, находим **«сильный человек», «северный исполин»...**

Возникает важнейшая тема — великий человек, то есть великий своими возможностями, передающий движение «огромным составам» и «прерывающий связи»...

Между строками, начинавшими стихотворение «Наполеон», на 62-м листе, врезался еще один черновой отрывок «Исторических замечаний». На этот раз — примечание о победах Потемкина в Турции: «...воинские наши предприятия... а изнуренная Турция не могла им противиться. Оно избавило бы нас от будущих хлопот. Этот вопрос может далеко завести [91]. А Молдавия и Валахия [сделались бы] русскими губерниями» (см. XI, 289).

В черновых строках планы расширения России за счет Турции сформулированы более откровенно, чем в окончательном тексте. Но между двумя черновыми отрывками «Замечаний», расположенными на соседних страницах, мы не видим ни строчки из того немалого текста, который должен помещаться между ними (от заговоров «аристократии» против самодержавия до строк про Екатерину и Потемкина). Ясно, что отсутствующий отрывок Пушкин начинал на какой-то другой странице, потом исчезнувшей... Но черновой отрывок «Исторических замечаний» (на л. 61) и второй отрывок (на л. 62) разделены не только отсутствующим текстом, но и немалым временем. Второй писан уже не «ранними» чернилами «в» или следующими — «с», но еще более «молодыми» чернилами «а» (теми, что добавлен «1821» к записи о смерти Наполеона). Этими же чернилами «а» (с вторжением еще более поздних поправок чернилами «d») написан и черновик стихотворения «Наполеон». Поскольку же второй сохранившийся черновик «Замечаний» расположился между первыми набросками «Наполеона», ясно, что с определенного момента работа над «Историческими замечаниями» и «Наполеоном» шла параллельно. «Наполеона» Пушкин задумывает вскоре после поразившего его известия со Святой Елены (18 июля!), черновик создавался в сентябре — ноябре 1821 года. В это же время Пушкин, работая над «Историческими замечаниями», уже разбирает екатерининское правление и, вероятно, вносит в текст сравнение Петра с Наполеоном. Черновые строки «Наполеона» занимают 62, 63, 64, 65-й листы тетради (чернила «а» и «d»); в конце 65-го листа «Наполеон» закончен, а на 66-м — строки из письма Пушкина к арзамасцам («В лето 5 от Липецкого потопа»), которое датируется, во всяком случае, не позднее 1821 года. На обороте того же, 66-го листа — несколько зачеркнутых строк ранней редакции стихотворения «К Овидию»:

Овидий, я брожу по тем же берегам,
Которым некогда ты пепел свой оставил...
и др.

Чернила «а» — те же, что в «Наполеоне» и в других черновиках «К Овидию». Уже говорилось, что стихи об Овидии были написаны в декабре 1821 года, и, когда вслед за ними, на той же оборотной стороне 66-го листа мы находим третий черновой отрывок «Исторических замечаний», очень хочется и его отнести к тому же времени. Первые строки этого черновика:

«Униженная Швеция, уничтоженная Польша...» и т. д.

«Черновик 3» «Исторических замечаний», таким образом, продолжает «черновик 2» (с л. 62), где было о «воинских наших предприятиях» и «изнуренной Турции», и как будто все сходится: ведь черновик «2» только что был отнесен к концу лета — осени 1821 года (вместе с «Наполеоном»), его продолжение естественно видеть рядом с «Овидием» — конец 1821 года, а в августе 1822-го уж завершен беловик... Но усложняют картину черные чернила «с», которыми написан третий черновик: ведь Пушкин писал ими в июле — августе 1821 года, и кажется, всегда раньше, чем чернилами «а»?

Одни чернила — не слишком сильный, но и не слишком слабый аргумент: возможно, пушкинские «Замечания» вовсе и не создавались в той последовательности, в какой они в конце концов разместились. В первом черновике исправлений, как говорят математики, на порядок больше, чем в других отрывках: не исключается, что более «чистые» черновики — это второй вариант, вторая редакция рукописи...

Третий черновик занимает весь оборот 66-го листа. Следовавший лист из тетради вырван, но на нем, без сомнения, находился черновой текст об Екатерине II, потому что на сохранившемся 67-м листе «Исторические замечания» все еще продолжаются (чернила «с») — со слов «Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства...» до слов о Фонвизине, с которым Екатерина побоялась расправиться «из-за немалой его известности». Затем пушкинский черновик «столкнулся» со стихами и рисунками, которые еще прежде появились в конце 60-х листов; писать в этой части тетради было негде, и Пушкин, вероятно, закончил черновик на каких-нибудь других листах, которые позже из тетради исчезли.

Соседние пушкинские тексты (особенно «Наполеон» и «К Овидию»), цвет чернил, какими написаны разные отрывки, содержание сохранившихся черновых фрагментов «Исторических замечаний» — все это подтверждает датировку В. В. Гиппиуса и Б. М. Эйхенбаума и позволяет несколько уточнить ее: **начало работы относится к июлю — сентябрю 1821 года; возможно, тогда уже был создан первый черновой вариант.**

П. В. Анненков, очевидно, со слов Н. С. Алексеева знал, что «Замечания» Пушкина «писаны в Кишиневе в 1821—1822 годах». Именно в то время, когда Пушкин начинал свое первое историческое сочинение, он был близок со многими выдающимися декабристами: 9 апреля и 26 мая 1821 года — встречи с Пестелем, с 5 августа — общение и дружба с В. Ф. Раевским, тогда же он рисует Занда, Лувеля, Марата и Ипсиланти. Главными событиями тех месяцев была революция и контрреволюция в Италии, Испании, греческое восстание, смерть Наполеона.

Стихотворение «Наполеон» с «Историческими замечаниями» в ближайшем родстве. «Наполеон» посвящен человеку, подобному Петру, — «великий человек» совершает свой «чудесный жребий», меняет ход исторических судеб.

Великий переворот порождает надежды:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал...

Однако госпожа де Сталь, услышав, что Наполеон — «дитя революции», возразит: «Да, дитя, но отцеубийца». Пушкин позже скажет: «Мятежной вольности наследник и убийца». В стихотворении «Наполеон» находим важные для нашей темы слова:

Тогда в волненье бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.

«Петр I **презирал человечество,** может быть более, чем Наполеон».

Наполеон — **«человечество презрел».**

Но Пушкина не удовлетворяют одни слова осуждения того, кто «...обновленного народа» «буйность юную смирил». Он угадывает новое движение мировой и русской истории:

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал

И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Такова внутренняя близость стихотворения и исторических заметок, сочиненных в одно время, «на границе с Азией», в кишиневском захолустье двадцатидвухлетним поэтом и мыслителем...

VIII

**Уж давно без строк приветных
Залежался твой альбом...**

Мы пытались извлечь максимум сведений об «Исторических замечаниях», сначала из их белового, окончательного текста, затем — из сохранившихся черновиков. Теперь обратимся к копиям из сборника Николая Степановича Алексеева.

В «Сборнике» Алексеева точно такие же большие листы, как в беловой пушкинской рукописи: тот же размер — 215 × 340 мм, водяной знак Хлюстиных — «1818» и лев с мечом в овале. У Пушкина — три двойных листа, вложенных один в другой, у Алексеева — пять таких листов. Вероятно, и те и другие листы куплены в одной лавке, в одно время: скорее всего друзья, жившие на одной квартире, пользовались одной пачкой бумаги «фабрики господ Хлюстиных» (а поскольку Пушкин на такой бумаге обычно не писал, то, вероятно, просто взял для беловика «Исторических замечаний» несколько листов со стола Николая Степановича). По наблюдениям специалистов, время, когда делаются записи, обычно всего на несколько — редко на 10 лет — позже возраста бумаги: Пушкин на бумаге «1818» написал текст, помеченный «2 августа 1822 года»; Алексеев, очевидно, составлял свой сборник примерно в то же время. В этом еще более убеждает сравнение пушкинского автографа и алексеевской копии.

На первом листе своего сборника, сверху, Алексеев написал заголовок:

«Некоторые исторические замечания».

Затем, на обеих сторонах 1-го и 2-го листов воспроизведен пушкинский текст (у самого Пушкина ушло 6 таких листов, но он оставлял большие поля да писал почерком легким и свободным; у Алексеева же полей нет, а почерк «опрятный и чопорный...»). Сходство подлинника и копии в общем математически точное: те же абзацы, те же запятые и точки с запятой; Пушкин пишет фамилию «домашнего палача кроткой Екатерины» Шешковского через «и» — Шишковский, Алексеев повторяет то же написание.

Написав «бедность этих людей» (духовенства), Пушкин после слова «бедность» вписал над строкою «и невежество». Алексеев учел.

О католическом духовенстве Пушкин заметил, что оно «составляло особое[92] общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению».

Алексеев внес в копию слово «вечно», вписанное Пушкиным позднее.

Слова и выражения, замененные Пушкиным уже в беловике, Алексеев дает в самой поздней, верной редакции[93].

В первом абзаце было: «Ничтожные наследники северного исполина, ослепленные блеском его величия».

Пушкин затем заменил слово «ослепленные» на «изумленные».

В 4-м абзаце вместо «самый разврат сей хитрой женщины» Пушкин написал «самое сластолюбие» (и при этом не заметил несогласованности, оставшейся от первого варианта, и не переменил слова «он» (разврат) на «оно» (сластолюбие), которое «возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях» (у Алексеева все согласовано).

В том же абзаце было: «В длинном списке ее любимцев, обреченных ненависти потомства...», Пушкин заменил слово «ненависти» на более точное и уничижительное — «презрению»; поскольку Алексеев учел все эти поправки, ясно, что он снимал свою копию уже после многих исправлений Пушкина.

Мало того, можно доказать, что Алексеев копировал именно этот сохранившийся пушкинский автограф, а не какой-либо другой... Это подтверждается двумя случаями, когда тексты разнятся: Пушкин употребляет выражение — «гнусное соревнование в высших состояниях».

Другое отличие: после слов «Петр I... презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон» в беловом автографе Пушкина сначала следовало: «История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все состояния, основанные без разбора, были равны пред его **дубинкою.** Все дрожало, все безмолвно повиновалось».

Позже Пушкин, очевидно, нашел, что эти рассуждения отвлекают читателя, разрывая последовательное изложение главных мыс-

лей о российском деспотизме. Тогда он перечеркнул эти строки и написал на полях Note, то есть «примечание». В соответствии с волей Пушкина, только что приведенный отрывок ныне помещают в примечаниях к словам «Петр I... презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Однако волнистая линия, которой Пушкин эти строки «разжаловал» из основного текста в примечание, лишь слегка задела последние слова — «Все дрожало, все безмолвно повиновалось».

Алексеев, копируя рукопись, в этом тексте ошибся дважды: не понял пушкинского «Note», заключив, что перечеркнутые строки вообще исключаются из текста, и, кроме того, не отнес пушкинского зачеркивания к словам «Все дрожало...». Поэтому в тетради Алексеева после слов о Петре I и Наполеоне следует сразу: «Все дрожало, все безмолвно повиновалось»[94].

Как видно, оба приведенных примера, особенно второй, подтверждают, что Алексеев снимал копию именно с сохранившегося пушкинского беловика. В Пушкинском доме оба текста можно положить сегодня рядом, точно так же как некогда они лежали на столе в комнатке Алексеева. Как видно, не только полное сходство двух рукописей, но даже и различие их, показывает, как точно и **опрятно** стремился Алексеев переписать сочиненное его ближайшим другом. Эта точность заставляет нас с особенным интересом обратиться к некоторым другим различиям двух текстов.

Заглавие. У Пушкина — ничего, кроме «№ 1». У Алексеева ясно написано то название, которое тридцать лет спустя заимствует из его сборника П. В. Анненков, а за ним — Е. И. Якушкин и другие пушкинисты: **«Некоторые исторические замечания».**

Не мог Алексеев вдруг сам придумать такой заголовок. Не в его это было характере, да и Пушкин находился рядом, в той же комнате... И не стал бы Николай Степанович предлагать Анненкову им сочиненное название.

Заглавие, несомненно, пушкинского происхождения. Быть может, рукопись имела отдельное заглавие «на титульном листе», и тогда возможны разные объяснения пушкинского «№ 1»:

1. Множественное число, употребляемое в заглавии — «Некоторые... замечания», — требует нескольких, многих замечаний. «№ 1» — первая группа «замечаний», затем должны идти «№ 2» и т. д. Однако заметим, что Алексеев, воспроизводя пушкинскую рукопись, не списал «№ 1» (когда он копировал, цифры, наверное, еще не было).

2. У Пушкина мог быть листок со списком разных заглавий. Под № 1 стояло: «Некоторые исторические замечания», Алексеев же просто расшифровал пушкинскую нумерацию.

Позже будут предложены и другие объяснения...

Так или иначе, но название «Некоторые исторические замечания» — самое достоверное и должно заменить принятое в изданиях редакторское — «Заметки по русской истории XVIII века».

Заметим, что утверждение весьма обыкновенного, безликого названия заставляет задуматься о его происхождении: естественно было бы видеть такой заголовок у введения или одной из глав в книге, уже имеющей более выразительное имя.

Возможно, тут была какая-то нам пока непонятная связь с другими пушкинскими замыслами: раздел под таким заголовком мог быть уместен именно в начале какого-то большого сочинения, в основном посвященного «сегодняшним обстоятельствам» (для объяснения которых требуются, однако, **«некоторые исторические замечания»).**

Различия двух рукописей не ограничиваются одним заголовком.

Пушкин продолжал работать над текстом в том направлении, которое ясно определилось уже в черновике. Он совсем изымает из текста или переносит в примечания все, что вредит краткости, ясности, стройности изложения; что угрожает рассыпать важную мысль в подробностях.

Некоторые примечания попали в копию, снятую Алексеевым, другие были внесены Пушкиным позже (может быть, по совету Николая Степановича?)[95].

Примечание I о безграмотной Екатерине, кровавом Бироне и сладострастной Елисавете появилось рано, и Алексеев его воспроизвел.

О **Примечании,** помеченном у Пушкина не цифрой, а надписью на полях «Note», уже говорилось.

Цифрой «2» Пушкин сопровождает слова о «блестящих, хоть и бесплодных победах в северной Турции». Этого примечания у Алексеева нет. Значит, оно написано уже после того, как Алексеев снял копию (возможно, в ответ на недоуменный вопрос — почему блестящие екатерининские победы названы «бесплодными»?).

Впрочем, это примечание намечено уже

в черновике, и, может быть, Пушкин просто внес его в текст позже?

Не исключено, конечно, что Алексеев почему-то не пожелал или забыл внести это примечание в свою копию. Однако точность и аккуратность Алексеева, кажется, опровергают такую возможность; никогда бы не опустил Николай Степанович и колоритное примечание, помеченное Пушкиным как «3-е» (по существу — 4-е) «о славной расписке Потемкина, хранимой доныне в одном из присутственных мест государства». Возможно, это примечание явилось в ответ на вопрос читателей (Алексеева?) — «Что за расписка?».

Отсутствует у Алексеева и 4-е (по счету Пушкина) примечание о том, кто такой Шешковский (хотя и оно появляется уже в черновике).

Может быть, Алексеев не стал копировать это примечание, потому что знал, кто такой «Шишковский», или Пушкин колебался, вносить или не вносить его в свое сочинение?

Русский перевод «славной шутки госпожи де Сталь» (у Пушкина — примечание № 5) Алексеев вводит прямо в текст (после окончания французской фразы у него следует: «то есть правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою»).

Наконец, в тексте отсутствует дата, которой Пушкин завершил свою рукопись.

Вероятно, дата появилась после того, как была внесена последняя поправка.

Очевидно, Алексеев вносил в свою тетрадь пушкинский текст летом 1822 года, совсем незадолго до 2 августа.

Копия Алексеева как бы фиксирует определенный момент в причудливой жизни пушкинской рукописи: только что она была еще совсем не такой (черновики, исправления, дополнения...), вот она, ненадолго такова, какой ее читает и переписывает Алексеев, — это уж беловая рукопись; но Пушкин продолжает над нею работать и после того, как Алексеев закончил переписку. В частности, вносит в текст некоторые примечания, которые прежде либо совсем отсутствовали, либо возникали уже в черновике, но вызывали сомнение — нужны ли?

Итак, первые два листа алексеевского сборника — современники пушкинских «Замечаний», их кишиневские «соседи».

Продолжая чтение той же рукописи, мы по-прежнему — в пушкинском Кишиневе и можем вслед за поэтом воскликнуть:

«Опять рейнвейн, опять champan, и Пущин, и Варфоломей, и все...»

IX
В сгущенной мгле предрассуждений...

Закончив переписку пушкинской рукописи, Алексеев тут же, на обороте 2-го листа, начал копировать «Мнение о науке Естественного права. Г-на Магницкого». Однако от этой копии осталось всего несколько строк, потому что на 3-м из сохранившихся листов тетради уже находится копия совсем других документов. Поскольку Алексеев пользовался большими двойными листами (несшитыми, но вложенными друг в друга), то отсутствие, по крайней мере, одного (а может быть, и не одного) листа между сохранившимися 2-м и 3-м листами от начала означает, что в сборнике не хватает, по крайней мере, одного (а может быть, и не одного) листа, между 2-м и 3-м листами от конца (то есть между нынешними 8-м и 9-м). На неведомо когда и куда девавшемся листе продолжалось «Мнение г-на Магницкого...», документ хорошо известный, хотя во времена Пушкина еще не публиковавшийся [96].

Важный чиновник министерства духовных дел, а затем попечитель Казанского университета Леонтий Магницкий был таким мракобесом и доносчиком, что вызывал удивление даже у сотоварищей по ремеслу и убеждениям.

Отчего же «Мнение Магницкого» внесено в секретную тетрадь Алексеева прямо вслед за «Историческими замечаниями» Пушкина и даже начинается на той странице, где пушкинский текст кончается?

В рассуждениях Магницкого, которые Пушкин, разумеется, читал и, вероятно, обсуждал с Алексеевым и другими, говорилось о тех же предметах, что и в пушкинских «Замечаниях».

Наука естественного права, проникшая в русские университеты с начала XIX столетия, видела в истории, как в жизни и природе, естественный процесс, а не божественное откровение, освящающее верховную власть. Теории естественного развития мира, государства, права принимают и Пушкин, и его друзья — все, кто в просвещеньи «с веком наравне» [97]. Магницкий о том хорошо знал и в своей записке, представленной другим могущественным мракобесом, Руничем, обрушился на науку, «которая сделалась умозрительною и полною системою всего того, что мы видели в революции французской на самом деле».

«Я трепещу, — восклицал Магницкий, — перед всяким систематическим неверием философии, сколько по непобеди-

мому внутреннему к нему отвращению, столько и особенно потому, что в истории XVII и XVIII столетий ясно и кровавыми литерами читаю, что с начала поколебалась и исчезла вера, потом взволновались мнения, изменился образ мыслей только переменою значения и подменою слов, и от сего неприметного, и как бы литературного подкопа, алтарь Христов и тысячелетний трон древних государей взорваны, кровавая шапка свободы оскверняет главу помазанника божия и вскоре повергает ее на плаху. Вот ход того, что называли тогда только философия и литература и что называется уже ныне либерализм!» [98]

Этот «черный манифест» должен был особенно заинтересовать Пушкина, потому что Магницкий не ограничивался абстрактными заявлениями, но требовал «рассмотрения и осуждения разрушительной системы профессора Куницына и самого лица его» [99]. Любимый лицейский профессор — «кто создал нас, кто воспитал наш пламень» — был как раз автором книги «Право естественное». («Поставлен им краеугольный камень...») После атаки Магницкого Главное управление училищ 5 марта 1821 года запретило преподавание по этой книге, а самого Куницына удалило от службы по министерству народного просвещения [100]. Это была расправа, похожая на ту, которую за год до того учинили над Пушкиным.

И Пушкин отозвался в 1822 году в «Послании цензору», разошедшемуся в списках:

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.

Интересно было бы узнать, от кого заимствовал Алексеев текст «Мнения» Леонтия Магницкого? Не от Пушкина ли, которого этот документ и его последствия особенно интересовали и который в Кишиневе мог раньше других, по своим петербургским связям, получать известия о новом наступлении властей, о судьбе Куницына.

Не на записках ли Алексеева основывался П. В. Анненков, когда писал: «Пушкин уже около месяца жил в Кишиневе, когда книга Куницына, по которой он учился — «Право естественное», — подверглась запрещению и конфискации по определению ученого комитета министерства народного просвещения, в октябре 1820 года, согласившегося с мнением о ней Магницкого и Рунича. Через год нагнала его весть в том же Кишиневе о полном торжестве мистической обскурантной партии, об исключении четырех профессоров из стен Петербургского университета и проч. Известия эти, из которых последнее совпало еще с возбужденным состоянием умов в Кишиневе, видевшем, так сказать, зародыш греческой революции в своих стенах, и затем дальнейшее ее развитие в соседней Молдавии, открыли двухгодичный период настоящего «Sturm und Drang» в жизни Пушкина» [101].

Во всяком случае, второе место, которое «Мнение» Магницкого занимает в «Сборнике» Алексеева, весьма знаменательно. Может быть, на пропавших листах вслед за первым «Мнением» Магницкого помещалось и второе, выраженное в письме министру духовных дел от 9 мая 1823 года, где Магницкий торжествовал, что его мысли находят подтверждение в новых европейских революциях и что «прошло уже то время, когда рассматривали мы учения сии как вредные только теории вольнодумствующих профессоров» [102].

На 3-м листе алексеевского сборника возникает целый новый пласт кишиневских мыслей, идей, бесед — Восточный вопрос, занимавший в ту пору Пушкина и его друзей ничуть не меньше московских и петербургских событий. Желание воевать с Турцией, национально-патриотические мотивы были особенно сильны на границе, у края балканских восстаний 1820-х годов (с весны и лета 1821 года восстания в Греции и Дунайских княжествах).

Известно, сколь щекотливым оказалось положение правительства Александра I в связи с греческим восстанием: грекам не помочь — значит утратить выгодные позиции на Балканах; помочь — то есть поддержать подданных, восставших против своего монарха, турецкого султана, — значит нарушить провозглашенный Священным союзом принцип легитимизма. В российском обществе мысль о поддержке греков была сильна. У Пушкина и будущих декабристов русский патриотизм в ту пору хотя и сливался с освободительными идеями, но часто готов был и противопоставить русское дело турецкому, польскому, шведскому.

Те же мотивы, которые побуждали Пушкина в «Исторических замечаниях» привет-

ствовать «унижение Швеции», «уничтожение Польши» и сетовать, что граница России и Турции еще не проходит по Дунаю, мы находим в его стихотворениях «Война», «Чугун кагульский, ты священ...». Но получалось так, что даже обычный патриотизм, с немалым великодержавным оттенком, был едва ли не преступлением, так как «властитель слабый и лукавый» до самой смерти был с греками двоедушен и движение их, поддерживая, не поддерживал, «к противочувствиям привычен».

Среди разных документов о Востоке, питавших мысли и настроения кишиневских вольнодумцев, не последнее место должны были занять письма Александра I (разумеется, неопубликованные) к адмиралу П. В. Чичагову, написанные (на французском языке) одно — 2 мая, а другое 7 июня 1812 года. Первое письмо занимает в сборнике Н. С. Алексеева весь 3-й и половину 4-го листа, второе — с оборота 4-го до середины 6-го листа [103].

Письма доказывали, что незадолго до войны с Наполеоном царь совсем иначе смотрел на восточные дела, нежели в 1822 году, — ни о каком «легитимизме» не думал, а сколачивал на Балканах прорусский блок. Вовсе не беспокоясь, что усиление русского влияния на Востоке ослабит «законного турецкого монарха», он требовал «вооружения жителей в этих странах, которые бы могли поддержать наши военные действия» [104].

В письмах упоминались лица, продолжавшие службу на юге и во времена Пушкина (в частности, И. В. Сабанеев). Послания Чичагову позволяли противопоставить царя «довоенного» царю 1820-х годов (все то же — «Россия присмирела снова...» и «дней Александровых прекрасное начало...»).

Следующие листы в сборнике Алексеева (оборот 6-го и почти весь 7-й) еще более «горячи», хотя там помещен всего лишь официальный и отнюдь не секретный документ — «Декларация дворов российского, австрийского и прусского», подписанная в Лайбахе 30 апреля (12 мая) 1821 г. [105].

Над страницами этими (так же как и над предыдущими — о Греции, Востоке) витали настроения и чувства, позже сохраненные в X главе «Евгения Онегина».

Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал...,

а затем:

Я всех уйму с моим народом,
Наш царь в конгрессе говорил...

Революции в Неаполе, Пьемонте и Испании вызывали серьезные размышления на разных общественных полюсах. В свою записную книжку Пушкин тогда занес строки, которые в переводе с французского звучат так: «О... [106] говорил в 1820 году: «Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там. Господа государи, вы поступили глупо, свергнув с престола Наполеона» (XII, 304 и 486 — перевод).

«Господа государи» вынуждены были сформулировать свою теорию происходящего [107]. В «Декларации» так и было сказано: «Государи союзники, при заключении переговоров в Лайбахе, решились объявить свету о правилах, коими они руководствовались, положив твердо никогда не отступать от оных. Для сего их императорские и королевские величества повелели своим полномоченным подписать и обнародовать сию декларацию».

Лайбахское объяснение мятежей, заявление, будто мятежники, заговорщики не выражают народных стремлений, — все это вызывало у Пушкина, и, разумеется, не у одного Пушкина, желание отвечать, представить свой взгляд на события.

«Некоторые исторические замечания» в такой же степени вызваны европейскими событиями и Лайбахской декларацией, как стихотворение «Наполеон», как портреты Марата, Занда, Лувеля, Ипсиланти в черновиках, как только что цитированные строки из записной книжки и многие другие вольные пушкинские мысли...

27 мая 1822 года (за 2 месяца до завершения «Исторических замечаний») за обедом у Инзова мы слышим следующие рассуждения Пушкина:

«Пушкин <...> рассказывал по обыкновению разные анекдоты, потом начал рассуждать о Наполеонове походе, о тогдашних политических переворотах в Европе и, переходя от одного обстоятельства к другому, вдруг отпустил нам следующий силлогизм: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гишпанский — тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут, и Инзов перервал его, повернув разговор на другие предметы» [108].

20 июля (за две недели до окончания «Замечаний») раздаются еще более радикальные речи, хотя и во гневе сказанные:

«Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя в просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большею частию, один класс земледельцев — почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли» [109].

Черновик «Исторических замечаний» тем временем перерастает в беловик, 2 августа работа закончена, в ней сказано, что «народная свобода — неминумое следствие просвещения», и предсказано, что Россия может скоро оказаться «наряду с просвещенными народами Европы».

Но в дни ожиданий и веры Пушкин не мог не заметить справедливых во многом строк Лайбахской декларации о легких победах Священного союза над неаполитанскими инсургентами:

«Войска государей союзных, коих назначением единственным было усмирение бунтующих, а не приобретение или охранение каких-либо особенных выгод, пришли на помощь народу, порабощенному мятежниками. Он в сих воинах увидел защитников свободы его, а не врагов его независимости...» [110].

Позже, в стихах «Недвижный страж дремал...», прозвучит та же мысль, вложенная в уста Александра I:

Давно ль — и где же вы, зиждители
Свободы?
Ну что ж? Витийствуйте, ищите прав
Природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот кесарь — где же Брут? О грозные
витии,
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу.

Лайбахская декларация, слова, раздавшиеся сверху, были сильным аргументом одной из сторон.

Пушкин пишет: «Твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы». **«Может скоро...»**, но не обязательно «поставит скоро».

В годы своих самых непримиримых настроений, 1821-м, 1822-м, Пушкин не забывает, что степень зрелости, степень просвещения еще не измерены... Отсюда начинается его путь к иным мыслям и иным песням, когда он ответит наконец самому себе на вопрос — «может скоро...» или «может не скоро...».

Все о том же — доросла или не доросла Россия — и следующий документ, на обороте 7-го и на 8-м листе алексеевского сборника.

«Речь, говоренная императором Александром I в Варшаве при открытии сейма в 1818 году». Она была опубликована в русской печати.

Основной мыслью царя было утверждение, что Польша уже давно созрела для конституционных учреждений (которые и сам царь считает полезными, которые — «непрестанный предмет его помышлений»), Россия же до конституции еще не дозрела. Царь призывал поляков «явить на опыте» благотворность «законносвободных учреждений». «Вы мне подали средство, — говорил он, — явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важнейшего дела достигнут надлежащей зрелости».

Кажется, в русском образованном обществе никто не остался равнодушен к речи Александра, хотя чувства возникали самые противоположные [111]. Н. М. Карамзин находил, что «Варшавские новости сильно действуют на умы молодые», которые «спят и видят конституцию», и что в России многие поняли речь царя как приближающееся освобождение крестьян (так как при крепостничестве невозможен созыв действительно народных представителей).

Самые разные читатели — от консерваторов до завтрашних декабристов — нашли в речи Александра немало оскорбительного для русского самолюбия (Польша — «дозрела», Россия — нет!).

Большую тревогу дворянства вызвало предположение о том, что восстановление Польши будет означать возвращение ей территорий в границах 1772 года [112].

Как известно, Карамзин в 1819 году вручил Александру I протест против чрезмерных «авансов» как Польше, так и рус-

скому либерализму. Зато «у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи» резко витийствовали об Аракчееве, военных поселениях, Магницком и обещания Александра будущей России воспринимались иронически.

Пушкинский «Ноэль» был одним из насмешливых откликов на речь «царя-отца», который «рассказывает сказки». Е. И. Якушкин — очевидно, вслед за П. В. Анненковым — видел «Ноэль» в «Сборнике» Алексеева (может быть, на одном из пропавших листов?).

Речь царя и споры вокруг нее — конечно, все это было важным петербургским воспоминанием Пушкина. Еще в столице и позже, в Кишиневе, он многократно отвечал себе и другим, в стихах и прозе, на царские слова о пользе конституции для просвещенных народов. Отзвуки хорошо слышны в «Исторических замечаниях»: Пушкин пишет о «политической нашей свободе», которая «неразлучна с освобождением крестьян», но ведь об этом-то говорили, прочитав Варшавскую речь Александра, — этим был недоволен Карамзин. Кажутся вынесенными с одной из сходок «Зеленой лампы» слова о том, что «желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы». Это последовательный логический вывод из царской речи: если Россия еще не догнала просвещенные народы (Польшу и других), то это потому, что у «просвещенных народов» (в частности, и у Польши) крепостного рабства уже нет, а в России есть. Значит, надо всем объединиться, не только мирно, но твердо.

Александр I расплывчато изъяснялся о времени, когда «дозреет» Россия. Долго ли дозревать? Пушкин отвечает, и не раз: если отменить рабство, то «с к о р о».

После 8-го листа в «Сборнике» Алексеева, как говорилось, отсутствует по меньшей мере один лист. Затем на последних страницах (листы 9—10) — очень интересный документ на французском языке, озаглавленный «Du successeur d'Alexandre» — «О преемнике Александра». Первая же фраза «Alexandre n'est plus» (Александра больше нет) показывает, что текст мог быть внесен Алексеевым в тетрадку не раньше чем через полтора года после расставания с Пушкиным. Подробный разбор этого сочинения явится предметом отдельного исследования. Это, несомненно, противоправительственная, продекабристская работа (возможно, впрочем, написанная каким-то иностранцем).

Здесь же отметим только одно обстоятельство: в сборнике, кроме пушкинских «Исторических замечаний» и статьи «Du successeur...», все прочие документы исходят из вражеского стана (Магницкий, Александр I, деятели Священного союза); однако открывают и завершают тетрадь сочинения противоправительственные.

Перелистывая алексеевский «сборник», мы будто слышим звуки давно умолкнувших речей, раздававшихся в маленькой «глиняной избушке», или на обедах Инзова, или между картами у Липранди, в философских и литературных спорах у Орлова, среди стихов — у Владимира Раевского; в разговоре с Пестелем «метафизическом, политическом, нравственном...».

Исключая последний документ, все шесть предыдущих датируются временем от 1812-го до 1822-го, поскольку же «Исторические замечания» 1822-го стоят на первом месте, значит, все прочие тексты были списаны Алексеевым тогда же или немного позже (разумеется, после 1825 года Лайбахская декларация, речь и письма Александра потеряли интерес). Весь «Сборник», таким образом, посвящен истории царствования Александра I, и — случайно или нет? — пушкинские «Замечания» составляют к остальным документам род исторического введения, пролога, а заключительная статья — эпилог, где о царствовании и политической системе Александра говорится уже в прошедшем времени. Кроме речи Александра I и декларации Священного союза, ни один из документов не мог быть взят Алексеевым из печати.

О происхождении сборника можно только гадать, к чему и приступим.

Одна версия: когда Пушкин поселился вместе с Алексеевым, «друг-соперник» решил пополнить свое политическое образование и переписал у Пушкина «Исторические замечания», затем у Пушкина же или других приятелей заимствовал следующие пять документов. Не исключено, что письма и речь Александра, «Мнение» Магницкого и Лайбахская декларация были в бумагах Пушкина, потому что «Исторические замечания» во многом «отталкиваются» от текстов, следующих за ними.

Другая версия: Пушкин составил себе нечто вроде «исторического сборника» подготовительных материалов для исторической работы о России либо с 1801, либо с 1812—1815 годов. Возможно, Пушкин считал уже одно собрание таких документов

достаточно значительным. К этим же подготовительным материалам для «современной летописи» могут быть отнесены и некоторые другие документы, сохранившиеся в бумагах поэта: «Заметка о революции Ипсиланти» и «Заметка о Пенда-Деке», которые Анненков охарактеризовал, как «журнал» «греческого восстания» [113]. Таково же большое письмо (возможно, к В. Давыдову; см. XIII, 22—24).

«№ 1» на рукописи «Исторических замечаний» обозначал, что с этого вступления должно начинаться собрание документов или будущая историческая работа. Алексеев все эти планы хорошо знал и, решив скопировать пушкинские исторические бумаги, начал с «№ 1», а затем, в порядке, указанном Пушкиным, или произвольно, расположил остальные материалы, так что получился сборник документов о последнем десятилетии александровского царствования. Хотя многих важных текстов тут не было, но те, что были, так или иначе касались самых главных и волнующих проблем.

Как легко заметить, последняя версия держится на трех доводах:

1. **№ 1** — на рукописи Пушкина и первое место, которое это сочинение занимает в тетради Алексеева.

2. Пушкинские «Замечания» кончаются смертью Павла I, а последующие документы посвящены истории Александра.

3. Главные мысли вступительных «Исторических замечаний» о соотношении просвещения и свободы, о деспотических правительствах и просыпающихся народах хорошо иллюстрируются для более позднего времени документами «№ 2—6» из алексеевского сборника.

Если Алексеев живет с Пушкиным в одной комнате, если в этой комнате Пушкин пишет «Замечания», а Алексеев их копирует, если в этой же комнате с большой вероятностью хранятся документы, собранные Пушкиным для его работы, документы, из которых он отчасти исходит, — право же, можно предположить, что Алексеев скопирует эти бумаги не у дальнего, но у самого ближнего!

Какую именно работу замыслил Пушкин и в каком соотношении находилась она с его автобиографическими записками, сказать нелегко. Ю. Г. Оксман видит в пушкинских «Заметках» памфлет, предназначавшийся для нелегального распространения [114].

И. Л. Фейнберг полагает, что Е. И. Якушкин правильно оценил характер пушкинской рукописи, когда в 1859 году представил в «Библиографических записках» отрывки из «Исторических замечаний» как выдержки из записок Пушкина [115].

Однако Якушкин высказал больше, чем простую догадку: он пользовался сведениями Анненкова, полученными от Н. С. Алексеева.

Можно допустить, что Якушкин называл пушкинскую рукопись «частью записок» для того, чтобы провести цензуру, но этому мешает утверждение другого пушкиниста, П. А. Ефремова (ближайшего друга Якушкина, также черпавшего сведения от П. В. Анненкова). Ведь в 1880 году при публикации белового автографа в «Русской старине» таких предосторожностей, как в 1859 году, не требовалось, но редакция журнала, явно со слов Ефремова, сообщала о публикации «отрывка из записок» Пушкина [116].

Предложенная гипотеза не слишком уяснила проблему, что такое пушкинские «Замечания»: она отнюдь не настаивает (хотя и не исключает совсем), что это именно вступление к автобиографическим запискам Пушкина, как то представляется И. Л. Фейнбергу. Еще Б. В. Томашевский предположил, что «Записки», уничтоженные Пушкиным, представляли собою не просто автобиографию, но и «Историю того времени» [117]. «Замечания» Пушкина — это скорее всего вступление, «быстрое введение» в историко-биографический труд Пушкина [118]. Однако не исключается, что, независимо от «Записок», замышлялась большая работа «О новой России», с вступлением «О России древней». Через 9 лет в письме к Бенкендорфу (около 21 июля 1831 года) Пушкин сообщал о своем «давнишнем желании» «написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III» (XIV, 256). Не отзвук ли это былых замыслов, не желание ли расширить прежнее «вступление» до большого исторического труда?

X
Зависеть от властей, зависеть от народа...

Работая над «Историческими замечаниями», Пушкин, без сомнения, хотел создать документ, понятный многим людям.

Так отчего же он не пустил по рукам списки, как часто делал? Ведь примерно в те же месяцы 1822-го Пушкин писал «цензору»:

Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы
Осмеивать Закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему;
Тот не знаком тебе, мы знаем почему —
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.
Барков шутливых од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? их и так иные прочитали.

Отчего ни в одном декабристском или «около-декабристском» архиве (Алексеев — не в счет!) не встречалось хотя бы отрывка, строчки, следа первой пушкинской исторической прозы? А ведь она произвела бы сильное впечатление на многих людей 14 декабря. Но, кроме Алексеева (и, может быть, М. Е. Лобанова?), мы не знаем других читателей этого текста при жизни Пушкина. Лишь несколько седовласых декабристов, переживших ссылку, смогли прочесть в конце 1850-х годов молодые пушкинские строки.

Попробуем понять.

Пушкин не стал бы пускать в списках произведение незаконченное. По всем признакам он предполагал — в какой-то форме — включить в свое повествование более близкие, «александровские времена...».

Такое объяснение, конечно, неполно. Надо еще понять, отчего Пушкин не заканчивал работу и, возможно, рано избавился от уже написанных страниц. Тот же, кто не согласится, будто «Исторические замечания» были частью какого-то задуманного труда, встретит еще больше препятствий, объясняя, почему эта работа почти никому не была известна.

Чем бы ни было это сочинение, частью или целым, на его судьбе, очевидно, отразились те изменения, которые стали заметны во взглядах Пушкина через несколько месяцев после 2 августа 1822 года, — даты, сопровождающей беловую рукопись. Явление это слишком сложно и в этой статье неизбежно будет обрисовано в самых общих чертах.

«Исторические замечания» по духу оптимистичны. Пусть общая панорама мрачна — петровское просвещение, не только не ослабляющее, но даже укрепляющее рабство, развращенное государство Екатерины, Калигула — Павел... — и все-таки Пушкин верит, что просвещение несет близкую свободу, что в России благодаря отсутствию «чудовищного феодализма» нету «закоренелого рабства», что «твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами...».

Но политический оптимизм Пушкина уже тогда подвергается испытанию.

Торжествующая Лайбахская декларация, сравнительно легкие победы монархов над народами, народы, легко отступившиеся от мятежников, крестьяне, выдающие властям Риэго, — все это склоняет к пессимистическим выводам: ведь Испания и Италия считались не менее «просвещенными», чем Россия, и если там народ не созрел для свободы, то дело плохо... Правда, есть Занды, Лувели, есть кинжалы, но в конце концов торжествуют Меттернихи, Бурбоны, Магницкие. Конечно, сохраняет силу мысль, записанная Долгоруковым: «Нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх, монархи или народы?»; но **когда** народы возьмут верх? Через 5 лет? 50? 100?

1823 год был тяжелым. Декабрист Каховский писал в ту пору, что «некая тишина лежит теперь на пространстве твердой земли просвещенной Европы».

Накапливавшийся пессимизм усиливался греческими впечатлениями: единственное освободительное движение, которое начиналось у Пушкина на глазах, сначала вызвало энтузиазм, сочувствие, затем — все большее разочарование. 2 апреля 1821 года Пушкин еще «между пятью греками <...> один говорил, как грек: все отчаивались в успехе предприятии Этерии...» (XIII, 302).

Позже Пушкин увидел слабость, жестокость, корыстность вождей, темноту и неразвитость народа. Через три года он пишет Вяземскому: «Греция мне огадила <...> чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это непростительное ребячество. <...> Ты скажешь, что я переменил свое мнение, приехал бы ты к нам в Одессу посмотреть на соотечественников Мильтиада и ты бы со мною согласился» (XIII, 99). Невеселые вести из родных столиц дополняли картину — аракчеевщина, мистика, отсутствие даже намека на перемены и реформы, казалось бы, обещанные в Варшавской речи 1818 года, Михаил Орлов смещен, Владимир Раевский — в тюрьме; о тайных обществах Пушкин знал немало («кто не знал, кроме полиции?»), но, видно, интуитивно не слишком верил в успех: неудачных образцов кругом хватало (в 1823-м пала последняя революция — испанская, а Риэго был казнен).

«Свобода — неминуемое следствие про-

свещения» — на этом Пушкин будет стоять всю жизнь. Но, кажется, незрелый плод принят за созревший. В 1822-м он еще пишет:

Нет, нет! оно прошло губительное время,
Когда Невежества несла Россия бремя (II, 270);

но позже Пушкину все яснее, что просвещение не столь еще сильно, и свобода — еще не столь близка.

Одно за другим создаются стихотворения, в которых звучит разочарование. Начиная с послания заключенному в крепости В. Ф. Раевскому —

Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным? (II, 293).

Прежде — «волны... бег могучий». Ныне —

Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную и младость
Дремотой лени усыпил? (II, 288).

Еще в раннем оптимистическом послании В. Давыдову (апрель 1821 года) звучит сомнение (мы слышим его и в «Исторических замечаниях»): в Каменке осенью 1820 года ведь пили за здоровье **тех** (карбонариев) и **той** (конституции или свободы)...

Но **те** в Неаполе шалят,
А **та** едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет (II, 179).

Но сомнение еще не утвердилось:

Ужель надежды луч исчез?
Но нет! мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся,
И я скажу: Христос воскрес (II, 179).

Еще надежды на «кровавую чашу», но уже — «тишина», «ярем».

Нетрескающийся ярем «странствует» по пушкинским стихам 1821—1824 годов, появляясь в послании к В. Раевскому («Везде ярем секира иль венец») и окончательно утверждаясь в знаменитых строках:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич (II, 302).

Стихотворение это — в письме Пушкина к Александру Тургеневу от 1 декабря 1823 года. **В том же письме Пушкин между прочим цитировал и строфу из «Наполеона», особенно созвучную «Историческим замечаниям»:**

Хвала! Ты русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал...

Процитировав, Пушкин замечает: «Эта строфа ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года [ошибка или описка — надо «в конце 1821» или «в начале 1822»], впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся» (XIII, 79).

За год с небольшим, минувший после «Исторических замечаний», Пушкин многое пересматривает. «2 августа 1822 года» еще была вера, что посев просвещения вскоре обратится в плоды свободы, хотя уж и тогда подступали сомнения... Сама работа, завершенная 2 августа 1822 года, — это были «живительные семена», бросаемые в «порабощенные бразды».

Но в конце 1823-го —

В порабощенные бразды
Бросал живительное семя,
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

В 1824-м горьким эпилогом к «Историческим замечаниям» звучат слова:

Судьба людей повсюду та же,
Где капля блага, там на страже,
Уж просвещенье, иль тиран...[119]

Иные скажут: если б Пушкин был ближе с декабристами, не было бы пессимизма. Трудно угадать несбывшееся, хотя подобный кризис 1823 года коснулся и неко-

торых будущих деятелей 14 декабря (Пестель, Матвей Муравьев-Апостол). Однако вернее было бы задуматься о глубочайшей интуиции, прозорливости Пушкина, который уже в 1823 году увидел сон народов и безнадежность быстрых заговорщических попыток — разбудить спящих «кличем чести». В конце 1823 года Пушкин, в сущности, предчувствует поражение 14 декабря: душою, дружбой, целями, идеалами он был и будет с Рылеевым, Бестужевым, Пущиным, Пестелем. Но то, что чувствовал Рылеев, уже целиком ушедший в заговор («Известно мне, погибель ждет того, кто первым восстает...»), то же, но и по-другому, чувствовал Пушкин.

Для Рылеева не было выбора — сознавая, что погибнет, он продолжал.

У Пушкина выбор был. В те месяцы, когда было произнесено — «паситесь, мирные народы...», был начат «Евгений Онегин».

Громадный перелом в жизни Пушкина, начавшийся с весны 1823 года, завершается в михайловской ссылке.

...Я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
. . . .
Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой (III, 996).

Этот перелом означал пересмотр многого; менялся взгляд на свое место в обществе, на политику, историю. Романтическое искусство уступало место совсем иному...

«Исторические замечания» для Пушкина стали «вчерашними»; не были продолжены, потому что взгляд поэта на историю, на свободу и просвещение изменился и усложнился. Новый взгляд требовал «Бориса Годунова», «Пугачева», «Медного всадника»...

«Исторические замечания» не были продолжены, но в них уже заложено движение к «Борису Годунову», «Пугачеву» и «Медному всаднику».

Однако и в пройденном для Пушкина всегда остается «часть его большая», отчего сочинениям его нет ни старости, ни смерти, отчего они никогда не пройдены для нас.

Необходимы краткие выводы.

Оказалось, что друг Пушкина Николай Степанович Алексеев прожил до 1854 года.

Из этого следует, что Алексеев общался с первым пушкинистом Анненковым и передал ему списки некоторых запретных пушкинских сочинений, а также свои собственные воспоминания.

В Пушкинском доме нашлась «тетрадь», или «сборник» Алексеева, где сохранилась единственная копия «Некоторых исторических замечаний» пушкинского труда, сочинявшегося с лета 1821 по 2 августа 1822 года.

Возможно, Пушкин подготавливал большую историко-политическую работу о своем времени, к которой «Замечания» служили как бы вступлением.

Размышления о просвещении, понимание того, что ожидавшиеся близкие перемены в жизни страны — неблизки: все это вызвало с 1823 года переоценку ценностей, перемену во многих мыслях Пушкина. Поэтому работа, начатая «Историческими замечаниями», Пушкиным прекращена. Беловая рукопись их кому-то передана, затем попадает к М. Е. Лобанову, а позже — в собрание П. Я. Дашкова.

«Некоторые исторические замечания» — шесть пушкинских листов — читаются уже больше столетия и все же не прочитаны, и много еще чтения впереди...



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Размер 215×340 мм, водяной знак — «гг. Хлюстиных 1818 год» и лев с мечом в овале.

[2] Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою (перевод Пушкина).

[3] Этой пушкинской работе, напечатанной в XI томе Полного собрания сочинений, посвящен раздел в книге Б. В. Томашевского «Пушкин», кн. I (1813—1824). М. — Л., 1956, стр. 566—585, обстоятельные комментарии Ю. Г. Оксмана в 7-м томе Собрания сочинений Пушкина. ГИХЛ, 1962, а также многие страницы в книге И. Л. Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина».

[4] Из первой редакции стихотворения «Алексееву» (II, 734).

[5] Липранди, оставивший лучшие мемуары о тогдашней кишиневской жизни Пушкина, пишет, что «Пушкин любил ее за резвость и, как говорил, за смуглость лица, которому он придавал какое-то особенное значение» («Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников», ред. С. Я. Гессен, ГИХЛ, 1936, стр. 198).

[6] У Пушкина — «прежних лет...».

[7] Липранди вспоминал: «В сороковых (и в 1851-м) годах, видевшись почти ежедневно с Алексеевым, когда он после последней поездки своей в Саратовскую губернию, по частному делу К[иселе]ва, оконченному самым удовлетворительным образом, не видя поощрения ни по служебным занятиям, ни за оказываемые по частным делам удовлетворения, вынужден был оставить службу при Киселеве и искать другого ведомства, он как-то в разговоре со мной с горькой улыбкой припомнил прорицание Пушкина».

[8] В Молдавии, без сомнения, были близки к тайным обществам, кроме схваченных властями В. Ф. Раевского и М. Ф. Орлова, также Охотников, братья Липранди, В. П. Горчаков и другие офицеры.

[9] Генерал Павел Сергеевич Пущин, близкий к декабристам и пострадавший в связи с делом М. Ф. Орлова.

[10] Любопытно, что в 1823 году было издано тайное распоряжение, запрещающее почтамтам вскрывать письма или не принимать чужую корреспонденцию (без высочайшего распоряжения относительно тех лиц, к коим «целесообразно применять перлюстрацию»).

[11] «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников...», стр. 193.

[12] «Рукою Пушкина», стр. 721.

[13] «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников...», стр. 249.

[14] См. об этом в тетради литературных и исторических материалов А. Н. Афанасьева: ЦГАОР, ф. 279 (Якушкина), № 1066.

[15] Полное чтение этого отрывка (начинающегося со слов «Вот муза резвая болтунья...») впервые дал С. М. Бонди («Новые страницы Пушкина». М., 1931, стр. 92—103). В то время С. М. Бонди соглашался с тем, что это черновое посвящение к «Гавриилиаде», однако позже (комментируя стихи в академическом собрании Пушкина) он писал, что «этот набросок <...>, вероятно черновик послания к кн. П. А. Вяземскому» (II, 1099; текст послания см. II, 203).

[16] А. С. Пушкин, Гавриилиада, ред. Б. В. Томашевского. П. 1922, стр. 26.

[17] См. II, 1040 (примечания).

[18] ПД, ф. 244, оп. 8, № 104, л. 27. ЦГАОР, ф. 279, № 1066.

[19] Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана в книге Л. Майкова «Пушкин». СПб., 1899, стр. 125.

[20] На сохранившемся экземпляре «Истории Пугачевского бунта», принадлежавшем Н. С. Алексееву, имеется exlibris: «Библиотека Н. Алексеева» № ..., полка... том №...». Но библиотека не сохранилась.

[21] См. М. А. Цявловский, Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 271.

[22] Б. Л. Модзалевский, Пушкин. Л., 1929, стр. 295.

[23] Там же.

[24] ЛБ, ф. 47 (А. Ф. Вельтмана), п. 28, № 17, «Воспоминания о Бессарабии». Черновой автограф.

[25] П. В. Анненков, Материалы для биографии Пушкина. 1855, стр. 173.

[26] Средство борьбы с холерой: боялись, что зараза распространится через посредство писем.

[27] **«Н. А.»** — очевидная опечатка. Здесь и далее каждое упоминание Н. С. Алексеева набрано жирным шрифтом.

[28] П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху. 1874, стр. 168—169.

[29] Может быть, таинственная Майгин N и ее подруга, которым адресовано одно из пушкинских писем (см. XIII, 76—77).

[30] П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 191.

[31] Ни генерала, который удостаивает принимать негодяя у себя в доме (примечание Пушкина).

[32] П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 192. Перевод с франц. Послание к Дегильи, см. XIII, 30 и 522—523 (перевод).

[33] В книге вновь ошибочно: «Н. А.».

[34] П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 217—218.

[35] П. В. Анненков, Материалы для биографии Пушкина, стр. 84—87.

[36] П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 170, 188—190, 210—211.

[37] Из чувства чести (франц.).

[38] См. Н. Я. Эйдельман, Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966, гл. VIII и IX.

[39] ПД, ф. 244, оп. 6, № 18.

[40] Там же, оп. 4, № 142.

[41] Сохранившийся черно-

вик стихотворения «Пущину» не противоречит тому, что это «експромт», только сочиненный не мгновенно, а за краткое время. (Кстати, черновой автограф Пушкина помещается не в тетради, а на отдельном листке!)

[42] ПД, ф. 244, оп. 26, № 348, л. 112.

[43] Там же, л. 117.

[44] Архив Академии наук СССР, ф. 150 (канцелярия Пушкинского дома), оп. 1, 1899 г., № 1, лл. 113, 120. П. П. Вейнер ошибочно разделил одно из писем, отчего и разница в счете с Б. Л. Модзалевским.

[45] Об Александре Степановиче Алексееве известно, что он служил около 1820 года в лейб-гвардии конно-егерском полку и одновременно с братом Николаем Степановичем был масоном (в Петербургской ложе «Соединенных братьев»). См. «Русская старина», 1907, август, стр. 418.

[46] ПД, ф. 244, оп. 6, № 24.

[47] Об источниках пушкинских «Замечаний...» см.: Б. В. Томашевский, Пушкин, кн. I, стр. 570—572.

[48] Отмечено Т. Г. Цявловской.

[49] В 1831 году в «Рославлеве»: «Народ, который тому сто лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову».

[50] Доказательства тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы (примечание Пушкина).

[51] А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. VII, стр. 189.

[52] Герцен в «Былом и думах»:
«Четырнадцатого декабря <...> пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи; жаль, что картечь не расстреляла медного Петра» (А. И. Герцен, т. IX, стр. 48).

[53] Этот отрывок, первоначально внесенный в основной текст, Пушкин затем перенес в примечания.

[54] М. А. Цявловский, Дневник П. И. Долгорукова, «Звенья», IX, 1951, стр. 27.

[55] Под «республиками» Пушкин здесь подразумевает разные типы представительных правлений; под «государством» — абсолютную монархию.

[56] Пушкин употреблял здесь (и во многих иных случаях) это слово в значении — «восславленный», «прославленный».

[57] И. Л. Фейнберг, Неизданный черновик Пушкина, «Вестник АН СССР», 1956, № 3, стр. 118—121.

[58] «Домашний палач кроткой Екатерины» (примечание Пушкина). Это примечание, как и некоторые другие, заставляет думать, что Пушкин собирался широко распространять свое сочинение: ведь не Вяземскому же, не Тургеневым, не лицеистам следовало объяснять, кто такой Шешковский?

[59] Впрочем, оценки западных мыслителей были отнюдь не столь единодушны, как думал тогда Пушкин. Г. Рейналь и Д. Дидро писали в 1780 году о екатерининской России: «Великим несчастьем для страны был бы справедливый, непреклонный, просвещенный деспот; еще хуже два или три подобных благодетеля подряд. Народы, не разрешайте вашим так называемым владыкам делать против вашей общей воли даже добро <...>».
(Цит. по книге Ю. Ф. Карякина и Е. Г. Плимака «Запретная мысль обретает свободу». М., 1967, стр. 112.)

[60] «Общественные движения в России в первую половину XIX века». СПб., 1905, стр. 123.

[61] О датировке «Послания цензору» — между апрелем и 15 октября 1822 года, см. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 37.

[62] О взгляде Пушкина на деятельность Екатерины II см. статью В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона «Пушкин и книга Вяземского о Фонвизине» в кн.: «Новонайденный автограф Пушкина». Л., 1968, стр. 87—97.

[63] Об этом стихотворении и о сравнении Александра с римскими императорами см. М. А. Цявловский, «Статьи о Пушкине», стр. 47—50.

[64] В первую очередь подразумевается, конечно, автор «Фелицы», а также немало других имен...

[65] В следующем диалоге все слова Карамзина взяты из его «Записки о древней и новой России». СПб., 1914 (в скобках — страницы этого издания).

[66] Приведенные строки Пушкин нашел в только что вышедших «Oeuvres complètes de m-me Staël. Publiés par son fils», v. XV, 1821, p. 313—314.

[67] Б. В. Томашевский, Пушкин. М. — Л., 1956, кн. I, гл. IV, раздел 29.

[68] См. И. Л. Фейнберг, Незавершенные работы Пушкина. М., 1969, стр. 314.

[69] ПД, ф. 93 (собрание П. Я. Дашкова), оп. 1, № 2, л. 44.

[70] Там же, л. 117. Письмо Пушкина, см. XIII, 427.

[71] На самом деле — копия пушкинского послания рукою брата, Л. С. Пушкина (см. II, 1152; примечания).

[72] ПД, ф. 93, оп. 1, № 3, л. 20.

[73] «Русская старина», 1880 г., декабрь, стр. 1043. П. Я. Дашков в течение многих лет был дружен с П. А. Ефремовым и, очевидно, передал тому право публикации нового пушкинского автографа.

[74] ПД, ф. 93, оп. 1, № 9 (1881—1884), л. 76.

[75] Там же, л. 94.

[76] П. Я. Дашкова приглашали на похороны сестра и братья покойного.

[77] Кроме пушкинских документов, П. Я. Дашков в несколько приемов с 23 февраля до 24 июля 1878 года приобрел у Лобановых старинные рисунки, а также рукописи и письма к разным лицам Крылова, Гнедича, Козлова, Хвостова, Батюшкова, Ф. Глинки, Плетнева, Державина, Загоскина, Карамзина, Милонова, Баратынского, И. Дмитриева, С. Аксакова, Жуковского, А. Бестужева, Шишкова,

Шаховского и др., а также письма Загоскина, Гнедича и других, адресованные М. Е. Лобанову. См. ПД, ф. 93, оп. 1, № 3, л. 20 и сл.

[78] Н. Янчук, Литературные заметки. «Известия отдела русского языка и словесности Имп. Академии наук», 1901, кн. IV, СПб., 1908, стр. 214 и сл.

[79] ЦГАЛИ. Архив Лобанова (ф. 303), оп. 1, № 34. В этом архиве, а также среди бумаг Лобанова, сохранившихся в Ленинградской публичной библиотеке (в собрании П. Н. Тиханова), к сожалению, не удалось найти каких-либо материалов, прямо относящихся к «Историческим замечаниям».

[80] Интересно, откуда дети Лобанова знали, что анонимная рукопись «о русской истории» — пушкинская: из частичной ее публикации в «Библиографических записках» 1859 года или от своего отца?

[81] Н. Янчук, Указ. соч.

[82] М. А. Цявловский, Статьи о Пушкине, стр. 260—353. О первой кишиневской тетради см. «Русская старина», 1884, апрель, стр. 87—110. Т. Г. Цявловская любезно ознакомила меня с рукописью подготовленного ею описания той же пушкинской тетради.

[83] Черновой план поэмы сохранился именно в этой тетради.

[84] См. XI. 288. И. Л. Фейнберг, Неизданный черновик Пушкина. «Вестник АН СССР», 1956, № 3, стр. 118—121.

[85] Карл Занд — немецкий студент, убивший в 1819 году агента русского правительства, реакционного писателя Августа Коцебу.

[86] Александр Ипсиланти — князь, один из вождей греческого восстания 1821 года.

[87] Пьер Лувель — убийца члена французской королевской семьи герцога Беррийского (1820 год).

[88] В. В. Гиппиус, Б. М. Эйхенбаум. Датировка произведений, входящих в XI том академического собрания сочинений А. С. Пушкина, машинопись. стр. 1, по экземпляру, который хранится у Т. Г. Цявловской.

[89] В квадратных скобках — написанное и затем зачеркнутое Пушкиным.

[90] Неблагодарная отчизна (латин.).

[91] То есть, вероятно, увести от главной темы к обсуждению восточной политики России.

[92] Алексеев сделал тут описку: «новое». Также он пропустил слово «самовластье» в последней фразе («Защитники самовластья в том несогласны...»).

[93] В книге Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского «Рукописи Пушкина в Пушкинском доме» (Л., 1937) высказано мнение, что в беловой рукописи три поправки над строкою сделаны не Пушкиным. Однако позже Б. В. Томашевский, очевидно, пришел к иному мнению, так как в вышедшем под его редакцией академическом издании (десятитомнике) Пушкина все эти слова введены в тексты без оговорок. По просьбе автора статьи Т. Г. Цявловская изучила «подозреваемые слова» и считает несомненным, что они написаны Пушкиным.

[94] Впрочем, Пушкин не поставил порядкового номера у своей «Note», как это сделал в других случаях, и, возможно, хотел еще подумать и над текстом примечания, и над его расположением.

[95] Пушкин, видимо, ценил Алексеева как читателя своих сочинений, может быть, проверял на нем воздействие того или иного отрывка. В рукописи стихотворения «Таврида» (1822 г.) — к стиху «Лобзать уста младых Цирцей» — Пушкин сделал примечание: «Цирцей — замечание Алексеева» (см. II, 761), то есть, вероятно, по поводу этого слова Алексеев сделал замечание, которое Пушкин захотел использовать при работе над «Тавридой». При переработке этих стихов для «Евгения Онегина» (строфа XXIII главы первой) Пушкин заменил гомеровских «цирцей» на «армид» (Армида — одна из самых соблазнительных героинь «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо).

[96] Первая публикация в «Чтениях общества истории и древностей российских», 1861, кн. 4, стр. 153—155 и «Русском архиве», 1864, стр. 321—329.

[97] Любопытно, что в лицейском дневнике Пушкина «Естественное право» упоминается в таком контексте: «Вчера написал я третью главу «Фатама, или Разума человеческого: право естественное». (От юношеского романа «Фатам» сохранилось лишь одно четверостишие.)

[98] «Русский архив», 1864, стб. 323—325.

[99] В 1822 году Магницкий и Рунич расправились еще с несколькими петербургскими профессорами и в их числе с другим лицейским наставником Пушкина — Галичем.

[100] И. Селезнев. Исторический очерк императорского, б. Царскосельского, ныне Александровского лицея. СПб., 1861, стр. 125—126.

[101] П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 145.

[102] «Русский архив», 1864, стб. 326.

[103] Заглавия писем у Алексеева: первое письмо — «Lettre de l'Empereur Alexandre à l'amiral Tchitchagow. Ecrite de Wilna au mois de mai 1812». Второе письмо — «Au même. Le 7 juin 1812. Vilna. Первое письмо (подлинник и перевод) опубликовано М. Богдановичем в «Сборнике русского исторического общества», т. VI. Спб., 1871, стр. 67—73.

[104] Об этой переписке см. «Из записок адмирала Чичагова. Дела Турции в 1812 году. Проект диверсии против Наполеона». «Русский архив», 1870, № 8 и 9, стб. 1522—1551.

[105] У Н. С. Алексеева документ озаглавлен «Déclaration». Текст «Декларации» и перевод с французского в Полн. собр. законов, № 28619 и в книге «Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами», сост. Ф. Мартенс, т. IV, ч. I, трактаты с Австрией, 1818—

1848. СПб., 1878, стр. 282—292.

[106] Очевидно, генерал М. Ф. Орлов.

[107] Под декларацией стоят подписи: от Австрии — Меттерниха и барона Венсана, от Пруссии — Круземарка, от России — Нессельроде, Каподистрия, Поццо-ди-Борго. Между прочим, от графа Каподистрия зависело многое в судьбе Пушкина. Кажется, сановник был склонен смягчить судьбу ссыльного (см. П. В. Анненков, А С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 148—149), однако на Лайбахском конгрессе окончательно выявились расхождения Александра I с Каподистрия по греческому вопросу, и вскоре последний покинул Россию. Все это было для Пушкина и кишиневских его приятелей далеко не безразлично.

[108] М. Цявловский, Дневник П. И. Долгорукова. «Звенья», кн. IX, 1951, стр. 88.

[109] Там же, стр. 99—100.

[110] Ф. Мартенс, Сборник трактатов и конвенций..., т. IV, ч. I. СПб., 1878, стр. 291.

[111] Русские отклики собраны в книге Н. К. Шильдера «Император Александр I. Его жизнь и царствование», т. IV. СПб., 1898, стр. 92—98.

[112] Адам Чарторыйский говорил, что Александр I в беседах с ним тогда все больше утверждался в мысли «присоединения забранных провинций к королевству» (Шильдер, Указ. соч., IV, стр. 98).

[113] П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 202—204.

[114] А. С. Пушкин, Собр. соч., т. VII. М., Гослитиздат, 1962, стр. 391 (комментарии). А. Н. Шебунин не видел в «Заметках» «что-либо иное, кроме чисто публицистического произведения» («Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 2. М. — Л., 1936, стр. 438).

[115] И. Л. Фейнберг, Незавершенные работы Пушкина, стр. 304.

[116] «Русская старина», 1880, декабрь, стр. 1043.

[117] Б. В. Томашевский, Пушкин, кн. I, 1956, стр. 569.

[118] «Быстрое введение» — пушкинские слова, относящиеся к первой главе Онегина, — применил к «Историческим замечаниям» Б. В. Томашевский. Указ. соч., там же.

[119] Мысль о том, что существенный перелом в воззрениях Пушкина начался до 14 декабря, появляется, но все как-то не утверждается в литературе... Любопытную, но характерную ошибку допускает Герцен в «Былом и думах». Сравнивая два послания Пушкина к Чаадаеву («Товарищ, верь...» и «К чему холодные сомненья?»), Герцен находит, что «между ними прошла <...> целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждой ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад». Именно потому будто бы, что «заря не взошла, а взошел Николай на трон», Пушкин пишет во втором послании:

Но в сердце бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

(см. А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах. Т. IX. М., 1956, стр. 146).
Между тем второе послание к Чаадаеву было написано до Николая I, в 1824 году.

М. Максимов

По страницам дневников и писем А. И. Тургенева

(Пушкин и А. И. Тургенев)





А. И. Тургенев.
Литография Энгельмана,
1830 г.

Волею судеб фигура Александра Ивановича Тургенева возникает и на первых страницах биографии Пушкина, и в конце его жизни: в 1811 году А. И. Тургенев помог устроить племянника Василия Львовича Пушкина в Царскосельский лицей; в 1837 году он сопровождал в Святогорский монастырь тело убитого поэта.

Александр Иванович Тургенев (1784—1845) был одним из четырех сыновей И. П. Тургенева, директора Московского университета. С 1797 по 1800 год А. И. Тургенев учился в Московском университетском пансионе, а в 1802 году уехал в Германию и поступил в Геттингенский университет. Позднее там учились его младшие братья — Николай, будущий декабрист, и Сергей. Там же обучался его друг Андрей Кайсаров, автор труда об освобождении крестьян, и А. П. Куницын, любимый лицейский учитель Пушкина. Их, питомцев Геттингена, вспоминал Пушкин, когда писал портрет Ленского:

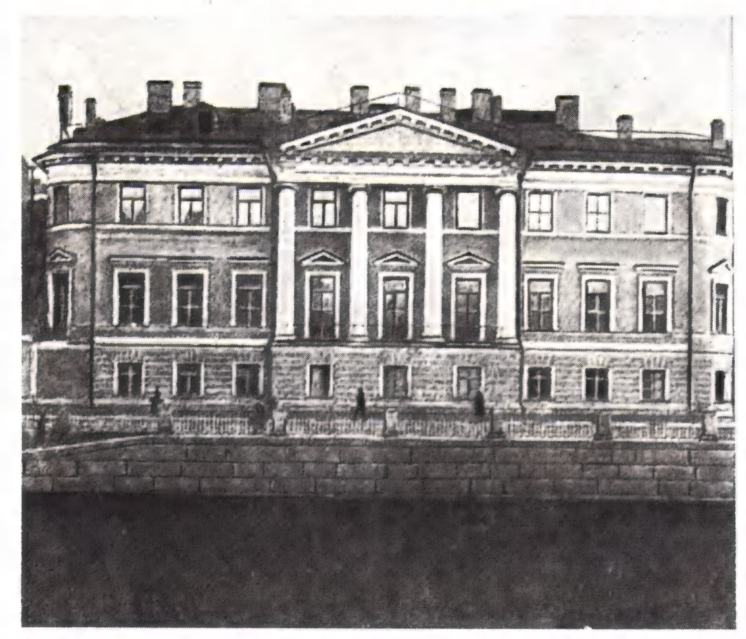
С душою прямо геттингенской
. . . .

Он из Германии туманной
Привез учености плоды,
Вольнолюбивые мечты... (VI, 33)

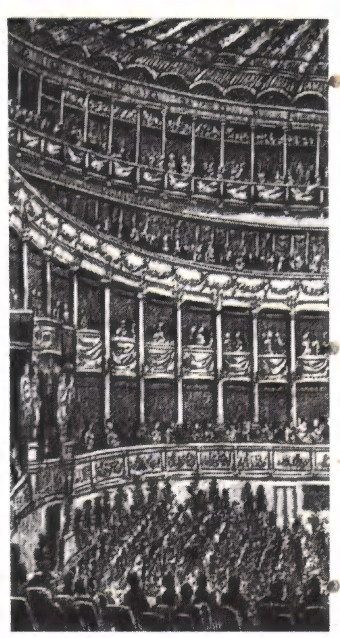
Окончив университет, Александр Иванович вернулся в Россию и вскоре добился успехов по службе: с 1810 года он директор Главного управления духовных дел иностранных исповеданий, в 1812 году его назначают также членом Комиссии составления законов. Он жил стремительно, жадно впитывая «все впечатленья бытия». влиянием разговоров о государственном неустройстве России он написал оду «Вольность».

Александр Иванович часто корил поэта за «площадное волокитство» и нерадение о своем таланте. Пушкин ответил ему дружеским посланием; оно кончалось гедонистическим афоризмом:

Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст (II, 41).



Дом А. Н. Голицына на Фонтанке, на третьем этаже была квартира братьев Тургеневых.



В январе 1815 года А. И. Тургенев присутствовал на публичном экзамене лицеистов и слышал, как Пушкин читал в присутствии Державина «Воспоминания в Царском Селе». В те годы он встречался с молодым поэтом в доме Карамзина, в Царском Селе, в кругу арзамасцев. В этом литературном содружестве Александра Ивановича звали Эоловой арфой, Пушкина — Сверчком.

По окончании лицея Пушкин поселился в Петербурге и стал посещать квартиру братьев Тургеневых на Фонтанке; там под

Общение Пушкина и Александра Ивановича оборвалось ссылкой поэта на юг. Они стали обмениваться письмами, не частыми, но откровенными и дружелюбными. 1 декабря 1823 года Пушкин был признателен А. И. Тургеневу за хлопоты, благодаря которым он получил разрешение переехать из Кишинева в Одессу, посылал ему наиболее острые строфы «Наполеона», стихотворение «Свободы сеятель пустынный», сообщал ему, одному из первых, что пишет «Евгения Онегина».

В 1824 году грянул гром и над Але-

ксандром Ивановичем. В апреле — вынужденный отъезд на лечение в чужие края брата Николая; в середине мая — отрешение его самого от всех должностей. Летом 1825 года Александр Иванович вместе с братом Сергеем уехал за границу.

Известие о восстании декабристов застало Н. И. и А. И. Тургеневых в Париже. Николай Тургенев был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением; он не вернулся в Россию. Гибель друзей и вольнолюбивых надежд потрясла Сергея Тургенева; его хрупкая психика не выдержала испытаний: он умер на чужбине в 1827 году.

Осуждение Николая Тургенева по делу декабристов окончательно привело Александра Ивановича в ряды «протестантов». После 14 декабря независимость суждений сохранила небольшая горстка передовых писателей. И среди них А. И. Тургенев. Последующие два десятилетия он годами жил за границей. Его увлекательные письма из чужих краев знакомили Пушкина и его друзей с интеллектуальной жизнью Западной Европы, позволяли им вопреки цензуре быть в курсе европейской политики.

Письма Александр Иванович писал по следам дневников, в которые он ежедневно заносил свои встречи со знакомыми, свои мнения о прочитанном, свои впечатления о виденном и слышанном. Извлечем же из его дневников и писем упоминания о Пушкине.



Зал Петербургского Большого театра.



Е. И. Колосова.
Миниатюра на кости,
художник Д. Сэп, 1809 г.

13 ноября 1825 года А. И. Тургенев смотрел в Париже балет Россини «Золушка»; придя домой, он записал: «Не раз вспомнил я прекрасные стихи Пушкина о Колосовой!»[1] Александра Михайловна Колосова (1802—1880) была звездой петербургского театра. Пушкин ценил ее игру, но однажды в порыве раздражения написал на нее злую эпиграмму. Затем Пушкин остыл, гнев его прошел, и в апреле 1821 года он послал П. А. Катенину отречение от своей эпиграммы:

Погибни злобы миг единый,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Моиной.
Так легкомысленной душой,
О боги! смертный вас поносит;
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит (II, 181).

Впервые это стихотворение было напечатано в 1826 году, спустя несколько месяцев после записи А. И. Тургенева. Вероятно, Александр Иванович знал его еще в рукописи. Обстоятельства разметали Пушкина и А. И. Тургенева в разные стороны. Но и разделенные сотнями верст, они сообщали друг другу свои мысли, планы, свершения.



Ж. Рекамье.

В Париже А. И. Тургенев познакомился с хозяйкой знаменитого литературного салона мадам Рекамье. В конце 1825 года он отметил в дневнике, что на вечере у мадам Рекамье говорили «много о поэте Пушкине, коего дядю, Василия Львовича, мадам Рекамье знавала» [2]. Весьма знаменательная запись! Представитель передовой России, А. И. Тургенев еще в 1825 году знакомил литературный Париж с беспокойной судьбой и творческими дерзаниями Пушкина; в речах А. И. Тургенева французская интеллигенция увидела за казарменным фасадом Российской империи истинную, вольнолюбивую Россию, узрела крепнущую мощь русской литературы.

Мадам Рекамье познакомилась с Василием Львовичем в 1803 году, во время его посещения Парижа. Пушкин, конечно, знал о заграничном вояже своего дяди от него самого; Василий Львович, надо думать, не раз потчевал племянника рассказами о своей поездке. К тому же этот эпизод его жизни стал литературным событием. И. И. Дмитриев сочинил шутливую поэму «Путешествие NN в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия». Эта озорная шутка начиналась стихами:

Друзья! сестрицы! я в Париже!!
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе
Мой маленький журнал читать...

Далее, проницательно предвосхищая события, И. И. Дмитриев писал от имени Василия Львовича:

Вчера меня князь Долгоруков
Представил милой Рекамье [3].

В 1808 году шаловливое чадо музы И. И. Дмитриева было напечатано в количестве 50 экземпляров и роздано приятелям автора; в 1836 году Пушкин и Вяземский собирались перепечатать поэму. Пушкин даже написал вступительную заметку; представляя читателям этот «образец игривой легкости и шутки живой и незлобной», он чистосердечно признавался: «Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств, и в Ювеналовом негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа...» (XII, 93).

Верноподданнической морали булгариных, чопорной морали великосветских гостиных Пушкин противопоставлял светлое, эпикурейское отношение к жизни, отстаивал право поэта на любой литературный жанр, который ему в данный момент по

душе. От него требовали восхвалять мудрое правительство, он отвечал шаловливым «Домиком в Коломне», собирался печатать озорную поэму И. И. Дмитриева.

Пушкин и сам любил веселую шутку, остроумный разговор. 31 октября 1826 года А. И. Тургенев вспомнил о вечере 1817 года, когда он «сближал пасторов протестантских и реформатских и поэт Пушкин угощал их у меня пуншем и ужином, а под конец и бичевал веселым умом своим — вином разогретого пастора» [4].

Как же отнесся Александр Иванович к озорной выходке Пушкина? А. И. Тургенев был верующим человеком, но никогда не принадлежал ни к ханжам, ни к выспренним моралистам. Ему хватало ума ценить по достоинству остроумные суждения даже тогда, когда они не совпадали с его собственными. Свойственная ему широта взглядов отразилась в тоне записи, явно благожелательной к «веселому уму» Пушкина. Какой необычный и точный эпитет, как метко характеризует он Пушкина!

Читая беглые записи Александра Ивановича о Пушкине, не знаешь, чему больше удивляться: частным ли замечаниям, точности, с которой он заносил на бумагу душевные и умственные движения поэта, или же общему верному взгляду на его творчество. 25 февраля 1828 года А. И. Тургенев записал в дневнике о встрече в Лондоне с англичанином-банщиком: «Он был долго в России камердинером графа А. К. Разумовского и цитует ругательные стихи Ломоносова над митрополитом: признак и отпечаток того времени в России. Теперь бы он вывез Пушкина...» [5].

Достойно удивления, что в двадцатые годы прошлого столетия, когда творческий путь Пушкина еще не был свершен, когда вокруг него раздавались голоса недоброжелателей и хулителей, нашелся человек, который понял, что творчество Пушкина уже стало мерилом национальной культуры.

«14 марта <...> Обедал у маркиза Лансдовна. Приехал с Вильсоном в $7\frac{1}{2}$ часов и скоро пошли за стол. Маркиз познакомил меня с другими конвивами, в числе коих был и знакомый брата Томсон, член парламента и банкир-либерал. Жена Лансдовна любезна, и за столом мне очень ловко и весело было болтать с нею. Когда дамы нас оставили, разговор о полит<ической> экономии, о истории, о поэте Пушкине, о брате сделался общим. Томсон знавал Пушк<ина> в Одессе, а брата в анг<лийском> клобе и здесь. Говорил Лансдовну, что книга его вряд ли не единственная о сем предмете и не в одной России и пр<очее>» [6].

Эта запись вводит нас в гостиную английского политического деятеля маркиза Лансдоуна (1780—1863), одного из лидеров партии вигов. Скупые строки скитальца-летописца не поясняют, что именно он рассказывал своим английским друзьям. Однако залогом того, что разговор о Пушкине был весомым, служит общее направление застольной беседы. Говорили о политической экономии, о книге Николая Тургенева «Опыт теории налогов» (этот труд о финансах был начинен антикрепостническим динамитом!), о Пушкине. Неожиданно оказалось, что член парламента Чарльз Томсон лично знал Пушкина. Этот одесский знакомый Пушкина общался, помимо Н. И. Тургенева, и с другими передовыми людьми русского общества; в записке Ф. В. Булгарина о связях декабристов с иностранцами сказано: «Корнилович и Муханов (Петр) были в связи с богатым английским купцом Томсоном, который снабжал их запрещенными либеральными газетами и брошюрами. Сам Томсон учился по-русски и путешествовал по России» .

Естественно предположить, что Томсон доставлял и Пушкину книжную «контрабанду».

Сегодня Александр Иванович горячо говорил о Пушкине в обществе, завтра брал в руки томик его стихов.

«25 апреля. <...> Я заглянул случайно в экземпляр Пушкина стихов, который я прислал брату, и во всей книжке нашел только следующие стихи — в «Уединении», отмеченные карандашом:

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе» [8].

«Уединение» — это «Деревня»; по цензурным соображениям она была напечатана в 1826 году с измененным названием и в урезанном виде. Однако братья Тургеневы, конечно, знали полный текст «Деревни», написанной в 1819 году, в пору их близости с поэтом. Вскоре Александр Иванович разыскал окончание стихотворения среди своих бумаг; 15 августа 1830 года в его дневнике появляются строки:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает,
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.

И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря? [9]

Перечитывая «Деревню», Тургеневы вспоминали беседы с поэтом на Фонтанке, когда в стихах Пушкина и тирадах Николая Ивановича гремела анафема российскому хамству — крепостничеству.

Теперь они жили на чужбине и с нетерпением ожидали вестей из далекой России. Друзья не отступились от них; с каждой почтой шли к ним письма от Жуковского и Вяземского. И не только письма, но и книжные новинки! 18 апреля 1828 года Вяземский сообщал А. И. Тургеневу: «Пушкин посылает тебе с Ломоноссиком шесть частей Онегина и новые издания Руслана и Бахчисарайского фонтана» [10]. Полтора месяца спустя оказия прибыла в Лондон; 7 июня 1828 года Александр Иванович отметил в дневнике, что он получил «русские книжки и прочел все 6 песен Онегина, кн. Долгор<укую> и часть Бахч<исарайского> фонтана. Так и обдало Русью! Но не без наслаждения читал поэтов-приятелей, вспомнивших меня в отдалении и почти в ссылке» [11].

Первоначально главы «Евгения Онегина» выпускались отдельными книжками, по мере того как поэт заканчивал их. Шестая глава «Евгения Онегина» вышла в свет в конце марта 1828 года, и Пушкин при первой же возможности переслал ее вместе с предыдущими главами А. И. Тургеневу в Лондон.

Чтение «Евгения Онегина» А. И. Тургенев начал с «Разговора поэта с книгопродавцем», который предварял первую главу. Читал и заносил в дневник строки, привлекшие его внимание.

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья,
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья.

Печальная сентенция Пушкина оказалась близка странствователю поневоле.

Поэт казнит — поэт венчает.

Первоклассный литератор, один из самобытнейших представителей эпистолярного жанра, арзамасец А. И. Тургенев был другом многих писателей, и естественно, что афористическая строка о высоком назначении искусства была созвучна его раздумьям.

Наш век торгаш. В сей век железный
Без денег и свободы нет.

Живя в чужих краях, Александр Иванович видел, как быстро шла посленаполеоновская Европа по торной дороге капиталистического развития, как крушил «сей век железный» старые, веками освященные установления. И недаром он подчеркнул слова «Наш век торгаш»: эта пророческая для России формула стала уже беспощадным девизом западноевропейского общества.

Но вреден север для меня.

Пора надежд и грусти нежной.

И о былом воспоминать.

Выписывая автобиографическое признание Пушкина «Но вреден север для меня», Александр Иванович думал о себе и о своем брате-декабристе; так расширялось звучание пушкинской строки: теперь это был эпиграф к скитальческой судьбе братьев Тургеневых.

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный.

Вскоре по приезде в Англию А. И. Тургенев посетил лондонские доки и воочию видел, как загружаются трюмы кораблей, во все части света идущие, видел, как бойко торгует Великобритания изделиями своих умельцев; читая «Евгения Онегина» в столице Англии, мудрено было не выписать эти строки.

К чему бесплодно спорить с веком
Я все грущу, но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет.

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит [12].

Этот минорный триптих заключает

выписки А. И. Тургенева из романа в стихах Пушкина. Под пером Александра Ивановича строки «Евгения Онегина» становятся летописью его собственных переживаний.

Неделю спустя, 13 июня, он записал в дневнике:

«Одна из дам описывала мне с некоторою живостью деревенскую жизнь свою и взаимные посещения знакомых, родных на неделю и часто более в замках их; из слов ее и многих других я заметил, что мужчины, особливо мужья, еще менее любезны в сельских кущах своих, чем в городе: там утро проводят они, рыская на охоте или толкуя о политике; усталые возвращаются домой к позднему обеду, пьют чай, говорят мало и спешат в объятия Морфея, оставляя дам с надеждою увидеть мужей за завтраком с новым аппетитом и с новыми планами — провести утро с верной собакой и с ружьем, и с новым аппетитом возвратиться к верной жене и к верному ростбифу.

Пусть здешний Пушкин опишет здешних Онегиных и здешнюю Таню» [13].

Возможно, что эта мысль вновь мелькнула в его голове в январе 1829 года, когда он посетил поместие уже знакомого нам маркиза Лансдоуна; там снова зашел разговор о Пушкине — на этот раз с поэтом Томасом Муром. Последний завершал в это время биографию Байрона и попросил А. И. Тургенева ознакомить его с русскими переводчиками английского поэта. Александр Иванович охотно отозвался на эту просьбу. В записке, переданной Томасу Муру, он писал: «Пушкин, образовавшийся на Байроне и талант которого пробовал себя почти во всех жанрах поэзии, — среди них есть шедевры, подражал ему в <стихотворении> «К морю», в своем «Наполеоне» и в других произведениях, кои будут жить до тех пор, пока будут говорить на нашем языке».



Лондон.

Записку о русских переводчиках Байрона (А. И. Тургенев писал еще о переводах Жуковского, Козлова и Вяземского) он передал Т. Муру 21 февраля, а 2 апреля отправил ему письмо, в котором писал: «Беру на себя смелость, милостивый государь, доставить вам два слабых перевода

отрывка из Пушкина, находящегося в одном из лучших его стихотворений и озаглавленном «Океан» <«К морю»>. Так как в нем говорится о Байроне, я счел, что оно может представить некоторый интерес для его биографа. Я уже имел честь в заметке о русских переводчиках Байрона указать вам на этого самого Пушкина, который испробовал все звуки лиры и был мастером в каждом, по выражению поэта, имя которого я вам не назову. Мне пишут, что он только что написал новую поэму «Мазепа» в трех песнях, которая заканчивается Полтавской битвой! — Пушкин всегда жаловался, что Байрон до него завершил своего «Мазепу» [14].

Всюду и везде, при любом удобном случае А. И. Тургенев обращал внимание своих чужестранных друзей и знакомых на творчество Пушкина.

В августе 1829 года Александр Иванович едет в Брюссель, а оттуда спешит в Париж, где снова погружается в стремительный водоворот политической и литературной жизни французской столицы.

Неисчерпаем поток его писем — в Россию к петербургским друзьям, в Англию к брату. 30 ноября 1829 года А. И. Тургенев сообщал Жуковскому: «Брат читает теперь Полтаву Пушкина и 12-й том Карамзина: желал бы сообщить и тебе и Вяземскому то, что он пишет о сих 2-х книгах; но лучше на словах...» [15] Николай Иванович жил в это время в Чельтенгаме в обществе «неистощимого и всеобъемлющего» П. Б. Козловского, того самого, который несколько лет спустя станет сотрудником пушкинского «Современника». Письма Н. И. Тургенева из Чельтенгама сохранились, и вот что он писал 18 ноября брату в Париж: «Сегодня я получил от Mrs. H. XII т. Карамзина и Полтаву. Сию последнюю читали ходя поутру у колодца. Множество стихов совершенно похожих на стихи Хвостова. Окончание 1-й песни, где он описывает Марию с Мазепою, только по сию пору нам понравилось. После завтрака прочел вслух несколько страниц из Истории. Плавно, но водяно. Замечание историка «о **добродетелях** государей и народов», в сравнении Шуйского с Годуновым, совершенно ребяческое, и не основательное, и не философическое. <...> Я начал читать К<арамзи>на XII т., и горько, и печально, и часто гадко!» [16].

Беспощадны слова Н. И. Тургенева о двенадцатом томе «Истории государства Российского». Суров его отзыв о «Полтаве». И не только суров, но ироничен. Стихи одописца, графомана Д. И. Хвостова были предметом постоянных шуток арзамасцев. Большего оскорбления, чем сравнить чьи-либо стихи со стихами Хвостова, трудно себе представить. И тем не менее отзыв Н. И. Тургенева вполне объясним. Прошло лишь четыре года со дня поражения декабристов на Сенатской площади. Правление Николая I не вызывало у Н. И. Тургенева надежд на обновление социального строя России. Книжные новинки, получавшиеся из Петербурга, он читал пристрастными глазами участника политической катастрофы. Он жаждал услышать слово хотя бы косвенного осуждения российских порядков. Такого слова он не слышал. Прославление самодержавия в двенадцатом томе «Истории государства Российского» вызвало осуждение им труда Карамзина. Апофеоз Петра I в «Полтаве» он воспринял в остропублицистическом ключе. Тактическая линия Пушкина, пытавшегося историческим примером Петра I воздействовать на Николая I, чтобы добиться амнистии декабристов и проведения



Портрет Байрона, принадлежавший А. С. Пушкину. Автолитография Жюльена.

кардинальных реформ, была чужда Николаю Тургеневу. Пройдет несколько лет — и Пушкин поймет несбыточность своих иллюзий. Весной 1834 года он запишет в дневнике чье-то (а скорее всего свое собственное) мнение о Николае I: «В нем много от прапорщика, и немного от Петра Великого» (XII, 330; подлинник по-французски).

В начале 1830 года при ближайшем участии Пушкина и Вяземского в Петербурге стала выходить «Литературная газета» Дельвига. Издатели ее просили А. И. Тургенева быть их корреспондентом. Александр Иванович готов был принять это предложение; он писал Вяземскому: «Поблагодари Дельвига за журнал. Право, давно не читал такой занимательной газеты. В ней столько оригинальных статей: твои, Пушкина, Дельвига и другие можно прочесть и перечесть, хотя во многом я и не согласен с тобою. Как много знаете вы о нас, европейцах! <...> Не успею кончить письма, в котором хотелось дать тебе понятие о некоторых авторах и авторшах, и книгах, и проектах, кои теперь занимают меня, и отблагодарить Дельвига за «Газету» отчетом о всем том, что вижу, слышу я в Париже» [17].

Политические события во Франции опрокинули расчеты на сотрудничество А. И. Тургенева в «Литературной газете»; вскоре началась Июльская революция, и печатать корреспонденции из Парижа стало немыслимо.

С декабря 1830 года Александр Иванович снова в Лондоне, где становится завсегдатаем клуба «Атеней»; там, в тишине полутемных кабинетов, он проводит многие часы за чтением газет, журналов, книжных новинок; его дневник пестрит то краткими, то пространными выписками из прочитанного. Появляются извлечения из книги Роберта Саути об английской литературе. Вслед за строками о том, что время между творениями Драйдена и Попа (конец XVII и начало XVIII века) было темным веком английской поэзии, размышление Александра Ивановича: «В этой характеристике мрачной эпохи английской поэзии едва ли нет большего сходства с нашею эпохою в русской литературе, если исключить Жук<овского>, Пуш<кина> — истинных поэтов» [18].

Теперь из исторического отдаления, когда канули в Лету булгарины и гречи, нам, потомкам, это время представляется эпохой Пушкина. Но не такой она была в сознании современников, даже наиболее проницательных. Александр Иванович ясно видел, что Пушкин и его соратники окружены плотным кольцом рептильных литераторов.

Тем радостнее были дни, когда посылки с книгами приходили из России, убеждая в том, что вопреки враждебной осаде мелкой посредственности и продажных душ твердо стоят Пушкин, Жуковский, Козлов, Вяземский, Баратынский, что они пишут и печатают свои произведения. Один из таких счастливых дней пришелся на февраль 1831 года — на столе Александра Ивановича появилась стопа русских книг: «Борис Годунов», стихотворения Пушкина, альманахи «Северные цветы» и «Альциона». Александр Иванович погрузился в чтение.

Не бесстрастным ценителем изящного, а человеком, вовлеченным в бурные события своего времени, предстает перед нами А. И. Тургенев, читающий произведения Пушкина. Прочтем же глазами Александра Ивановича монолог Пимена:

Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
. . . .
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведуют потомки православных
Земли родной минувшую судьбу;
. . . .
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся как море-окиян?

Сравните эти строки с полным текстом монолога, обратите внимание на то, что опущено, и вы поймете, как личностно воспринимал лондонский «летописец» признания Пимена. Это он, Александр Иванович, а не давно почивший монах, повторял от своего имени пушкинские строки, думая о горестных событиях последних лет. Недаром сразу же за приведенными стихами он выписал строку из ответа Пимена Григорию:

Кромешники в тафьях и власяницах.

О «кромешниках» XIX века мыслил Александр Иванович за чтением «Бориса Годунова». Перед ним сцена «Царская дума»; прочел и снова к дневнику:

«Кн. Шуйский о перевозке тела Дим<итрия> из Углича в Москву

Не скажут ли, что мы святыню дерзко
В делах мирских орудием творим?

Не скажут ли сего о манифестах — с Русским богом, о минист<ерстве> Франц<ии> во время Карла X:

. . . . они святыню дерзко
В делах мирских орудием творят»[19].

Возмущением кипит ответ Александра Ивановича на риторический вопрос Шуйского. Там, в трагедии, — уловка лукавого царедворца, здесь, на страницах лондонского дневника, — обвинение в святотатстве двух монархов: Николая I, божиею милостию (этими словами начинались все царские манифесты) утвердившего приговор по делу декабристов, и Карла X, освящавшего именем бога нарушения французской конституции.

Вот и прочитан до конца «Борис Годунов». Александр Иванович взял в руки «Северные цветы». Проникновенное лирическое стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла» не привлекло его внимания. Зато из остальных трех стихотворений Пушкина он сделал характерные выписки:

Поэту
Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум.
Пушкин.
Анониму, Пушкин
К доброжелательству досель я не привык.
Монастырь на Казбеке, Пушкин
Высоко над семьею гор,
. . . .
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине,
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне[20].

Как выразительна эта пристрастная, субъективная «мозаика». Строки из различных стихотворений составляют стройную гамму переживаний. Эта «мозаика» является объективным документом читательской психологии, позволяющим судить, какие ответные токи возбуждала поэзия Пушкина у его современников.

Отложив в сторону «Северные цветы», А. И. Тургенев принялся читать стихотворения Пушкина — и снова выписки:

«Пушкин, часть II, **Шенье.**
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет.
. . . .
Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло.
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

в **октябре 1825?** года пророк Пушкин писал:

Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я.
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам.

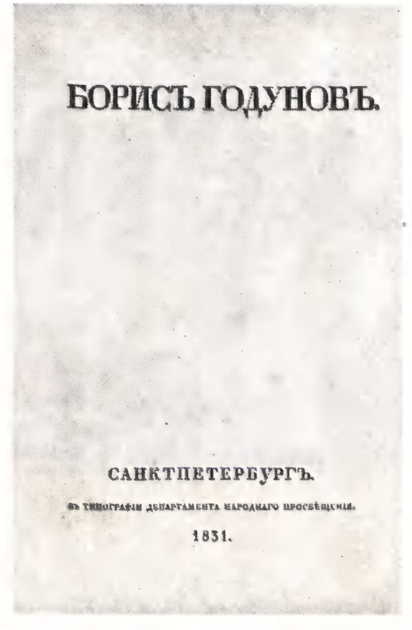
И в самом деле явился к друзьям своим, в числе коих не нашел Пущина.

Но и Пушкин написал **Стансы** в 1827 году! В нем они видят Петра Великого? Зачем сравнивать бывших друзей сибирских с стрельцами? Стрельцы были запоздалые в веке Петра: эта ли черта отличает бунт П<етер>бургский?»[21]

В отзыве Александра Ивановича на «Стансы» обнажается трагизм положения Пушкина; даже такой его доброжелательный друг, у которого не было и тени сомнения в чистоте его нравственного облика, считал это стихотворное обращение ошибкой. Тот, чья рука не дрогнула благословить приговор декабристам — передовым людям своего поколения, — не станет вровень с Петром I — таково было твердое убеждение Александра Ивановича. Многому его научили и неудачные хлопоты за брата; он понял, что надеяться на великодушие Николая I бессмысленно, что судьба брата и его соратников решена бесповоротно на долгие годы. Что же было делать? Помогать пострадавшим и опровергать официальную лживую версию, очищать от наветов доброе имя патриотов, дерзнувших выступить против абсолютизма. Четверть века спустя Герцен гневным печатным опровержением доклада следственной комиссии по делу декабристов завершит многолетнюю устную пропаганду А. И. Тургенева в европейских салонах. Александру Ивановичу не довелось дожить до блестящей отповеди Герцена царским «законникам»; как бы он ликовал, если его радовали даже краткие упоминания о декабристах. 24 января 1831 года во французской газете «Constitutionnel» было напечатано письмо из Польши. Автор письма (оно опубликовано анонимно) от имени поляков предлагал русским совместно бороться с Николаем I: «Окровавленные тени Пестеля, Рылеева и Муравьева взывают к вам»[22], — восклицал автор письма. И вот газета в руках у Александра Ивановича:

в его дневнике появляется запись о том, что «начинают уже славить имена наших — погибших...» [23].

Закрываем заграничные дневники А. И. Тургенева. Много раз на их страницах появлялось имя Пушкина и мелькали строки его стихов. Поэзия его сопутствовала Александру Ивановичу в скитаниях по Европе, помогала переносить тяжелые удары судьбы. Случалось ему и спорить с поэтом. Но разве настоящая дружба исключает споры?



БОРИСЪ ГОДУНОВЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1831.

«Борис Годунов»
А. С. Пушкина.
Титульный лист первого издания.

Долгих одиннадцать лет длилась разлука Пушкина и А. И. Тургенева. Бездомным скитальцем приехал на родину Александр Иванович. Это было в начале июня 1831 года; проездом в Москву он ненадолго задержался в столице. Тут и увиделся он с Пушкиным. Встреча была краткой, где-то на людях, поговорить по душам не удалось. Передавая Пушкину поклон, он писал Жуковскому 4 сентября 1831 года: «Мне иногда очень грустно, что в деятельную, решительную эпоху его жизни мы не встретились и даже в эпоху моего душевного и интеллектуального возраста — виделись мы только на час, ночью, не успели ни высказать себя, ни проститься... Где он будет зимовать? В Царском или в П<етер>б<урге>? Здесь перестали морить его. Скажи ему, что я все еще оправдываю стих его — «и сплю» — есть ли не у графа де Лаваль, то в театре за переиначенным Потье. Недавно всхрапнул и рассмешил дам, лучше французских шуток актера» [24].

А. И. Тургенев вспоминает послание 1817 года, в котором Пушкин писал ему:

Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де Лаваль (II, 41).

Встреча с Пушкиным взбудоражила А. И. Тургенева, вовлекла его в творческие замыслы поэта: 14 сентября 1831 года Александр Иванович просил Жуковского: «Обними историографа Петра I-го, так прошел здесь о нем слух, но только слух. Скажи ему, что одна из рукописей о Петре I (на немецком), о коей Карамзин так выгодно отзывался, есть у меня; что не худо иметь и сербскую его биографию, в Венеции в двух частях вышедшую, и кое-что другое, о чем нужно справиться с моим архивом и с журналами. Все к его услугам; но как выбрать из громады, которую теперь начинают приводить в порядок?» [25]

Сербская биография Петра I — это «Житие и славные дела государя императора Петра Великого... Ныне первее на славенском языке списана и издана. В Венеции. В Типографии Димитрия Феодозия. 1772». Пушкин воспользовался советом — в его личной библиотеке сохранился второй том этой биографии Петра I.

Проходят два дня, и А. И. Тургенев сообщает Жуковскому: «Для биографа Пушкина нужен и журнал Шотландца, служившего у нас с младенчества и вряд ли не до кончины. У меня копия с него в Лондоне, здесь, в Архиве оригинал и в Петербурге у меня оглавление оного» [26].

Пушкина заинтересовал этот источник. Он получил выписку из немецкого рукописного перевода дневника Гордона, а также встречался позднее с Д. Е. Келлером, который переводил в 1836 году этот дневник с английского оригинала на русский.

Замысел Пушкина-историка живо интересовал А. И. Тургенева; 23 октября 1831 года он занес в дневник: «Разговор о Пушкине и Петре I с Уваровым, с

к<нязем> Голиц<ыным> и внимание других к словам нашим»[27]. Вскоре А. И. Тургеневу довелось разговаривать об этом замысле уже с самим Пушкиным.

6 декабря 1831 года Пушкин приехал в Москву и остановился у своего друга П. В. Нащокина. На следующий день Пушкин навестил старейшего русского писателя И. И. Дмитриева и встретил у него Александра Ивановича. От Дмитриева Пушкин и А. И. Тургенев отправились к Вяземскому, а затем к Петру Ивановичу Ивановичу о своих первых шагах на поприще исторической науки. Запись предельно кратка; впрочем, кое о чем мы можем догадываться; ведь несколько недель спустя, 25 января 1832 года, А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Кланяйся Пушкину; он обещал написать ко мне с оказией: напомни ему. Скажи, что я слушал в Истор<ическом> обществе — вступление в историю Петра I Свиньина и Архивские замечания на оное Малиновского и прагматические Антона Антонского. Жалею, что и я сде-



Москва. Акварель Бронина. 1840-е годы.

Мещерскому, женатому с апреля 1828 года на Екатерине Николаевне Карамзиной. С хозяйкой дома у Пушкина были дружеские отношения; в 1827 году он посвятил шутливый акафист ей, «сияющей так мило для наших набожных очес».

С 7 по 24 декабря 1831 года в дневнике А. И. Тургенева отмечено восемь встреч с Пушкиным; пять из них падают на первые пять дней пребывания Пушкина в Москве; им надо было наговориться после долгой разлуки, заново обрести друг друга; ведь за истекшие одиннадцать лет они оба во многом изменились; надо было поделиться пережитым, передуманным, перечувствованным.

«8 декабря. <...> Был у Пушкина и разговаривал о Петре I».

Итак, Пушкин рассказывал Александру лал одно: о **мужественном** виде младенца-Петра. — Исправлять не должно Гения-писателя»[28].

В последних фразах речь идет о вступлении в историю Петра I, прочитанном или рассказанном Пушкиным при его встрече с Александром Ивановичем в декабре 1831 года. Во время беседы А. И. Тургенев позволил себе сделать замечание и теперь винил себя за необдуманный критицизм; он надеялся, что Вяземский передаст Пушкину его сожаление, и скорее всего оно дошло по адресу.

Вспоминать о некстати сказанных словах было тем обиднее, что Александр Иванович твердо верил в «гения-писателя», в его грядущий успех историка; три года спустя он занес в дневник свой разговор с немецким ученым Геереном о преподавании исто-

рии наследнику русского престола: «Напр. сначала взять Историю Петра Великого, хорошо написанную (т. е. когда напишет ее Пушкин, подумал я)» [29].

Продолжим чтение записи 8 декабря 1831 года: «Вечер у Вяз<емского> с Пушк<иным>. Разговор с ним и с Вяз<емским> об Англии, Франции, их авторах, их интеллектуальной жизни и пр.: и они моею жизнию на минуту оживились...»

В Париже Александр Иванович посещал ми Минье, Сисмонди, Сент-Олером, Баланшем, с ориенталистами Жомаром, Ремюза, со многими литераторами, учеными, политическими деятелями; обширный круг английских знакомых — писатели Вальтер Скотт, Томас Мур, Роберт Саути; политические деятели маркиз Лансдоун, Генри Брум, Роберт Вильсон, историк и публицист Джеймс Макинтош, филантропы Маколей и Вильберфорс и многие, многие другие — было о чем вспомнить Александру Ивановичу. Он присутствовал на бур-





Шатобриан.



Мериме.



Стендаль.

многие литературные и политические салоны. С патриархом французской литературы Шатобрианом он много раз встречался в салоне мадам Рекамье; их беседы были живыми и увлекательными. Теперь, в Москве, Александр Иванович «с чувством, с толком, с расстановкой» рассказывал о знаменитом старце. Когда позднее Пушкин писал статью «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая», он, конечно, знал о «первом из современных французских писателей» много больше того, что мог прочитать из книг; в импровизациях Александра Ивановича перед ним вставал живой Шатобриан.

Разговоры с Мериме и Стендалем, приемы у Альбертины Бройль (дочери мадам де Сталь); посещение лекций Кювье по истории точных наук; беседы с историками ных заседаниях английского парламента, посещал научные общества. В пестром калейдоскопе его воспоминаний мелькали десятки лиц, книги по различным отраслям знаний, брошюры политические и религиозные, журналы, газеты... Обо всем этом он рассказывал Пушкину и Вяземскому. Благодарные и отзывчивые слушатели понимали его с полуслова, сочувствовали его интеллектуальным влечениям, бескорыстно завидовали его блестящей памяти.

«10 декабря. <...> Солдан зовет меня и Пушкина на спектакль и на вечер: день рождения Марии! Поеду!!. Вечер в спектакле и на бале у Солдан и до 6-го часа утра! Ужинал с Шереметевой, слушал Пушкина и радовался отрывкам 8-й песни Онегина! — Когда я ему сказал à propos танцев моих, по отъезде им<пера>т<ора>,

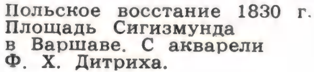
стих его: «Я не рожден царей забавить» — Пушкин прибавил: «Парижской легкостью своей!»

Какая удача для немецкой литературы, что рядом с Гёте был Эккерман, записывавший его беседы; как досадно, что не случился русский Эккерман рядом с Пушкиным. Тем ценнее отрывки разговоров, которые сохранили нам письма, дневники и воспоминания современников. Ответ Пушкина А. И. Тургеневу на балу у Сольдейн — истинная находка для потомства.

Я не рожден царей забавить
Стыдливой Музою моей (II, 65).

Это стихотворение Пушкина вспомнил Александр Иванович на балу у Сольдейн. И вспомнил не случайно. Он был в полуопальном положении; его тяготило присутствие на балу Николая I, и только по отъезде царя он стал танцевать. Александр Иванович привнес горький автобиографический подтекст в стих Пушкина. Поэт понял его состояние и, желая развеселить, ответил комплиментарной шуткой:




Польское восстание 1830 г. Площадь Сигизмунда в Варшаве. С акварели Ф. Х. Дитриха.


Лафайет.

В 1818 году передовое русское общество до конца поняло лицемерие Александра I; курс на Священный союз и возвышение Аракчеева воздвигли стену непонимания и отчуждения между царем и свободолюбивой молодежью. Возник план государственного переворота в пользу императрицы Елизаветы Алексеевны. Пушкин написал ей восторженное стихотворение, воспевая «на троне добродетель с ее приветною красой». В 1819 году Федор Глинка напечатал это стихотворение в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». Цензура не рискнула запретить стихотворение, прославлявшее императрицу. А стихи были смелые и независимые:

Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Парижской легкостью своей.

«Парижская легкость» Александра Ивановича означала его подвижность, его острый интерес ко всем проявлениям умственной жизни. За годы пребывания в Париже он приобрел нечто от французского национального характера. Он не приобрел одного — «легкости» на модном паркете. Александр Иванович был все так же тучен, как и прежде; танцуя, он мог «забавить царя», сам того не желая.

«11 декабря. <...> Обедал у кн<язя> Вяз<емского> с гр. Потемк<иной>, с к<нягиней> Гол<ицыно>й (Ланской) [30], с Пушк<иным>, Давыд<овым> (Денис<ом>), гр<афом> Толстым и пр<очими>».

Графиня Елизавета Петровна Потемкина, сестра декабриста С. П. Трубецкого, жена графа С. П. Потемкина, была посаженой матерью на свадьбе Пушкина; в ее доме на Пречистенке поэт не раз бывал.

Среди гостей Александр Иванович упоминает поэта-партизана Дениса Давыдова; с ним у Пушкина были дружеские отношения. Посылая ему «Историю Пугачева», Пушкин писал:



Домашний спектакль. С гравюры начала XIX века.

Вот мой Пугач — при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой (III, 415).

Граф Толстой, по всей вероятности Федор Иванович, по прозвищу Американец, дуэлянт, картежник («на руку нечист», по выражению Грибоедова), путешественник, авантюрист, одаренная натура, незаурядный человек,

Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист;
Под бурей рока — твердый камень!
В волненьях страсти — легкий лист![31]

Последние две строки восхитили Пушкина. Он хотел взять их эпиграфом к «Кавказскому пленнику». Но это были строки из послания Вяземского к Ф. И. Толстому, с которым Пушкин в 1820 году заочно рассорился из-за сплетни, пущенной им про поэта. Однако с тех пор прошло одиннадцать лет, они успели помириться и охотно встречались в обществе.

И вот за обеденным столом собрались чета Вяземских (Веру Федоровну А. И. Тургенев не упомянул, так как она хозяйка дома и ее присутствие оговаривать не было



Встреча Нового, 1822 года.

необходимости), Пушкин, Денис Давыдов, Александр Иванович, Е. П. Потемкина, А. В. Голицына и другие. Обедали, беседовали. О чем? Дневник молчит. Поскупился Александр Иванович, ни единым словом не обмолвился о разговоре за столом.

15 декабря Пушкин звал А. И. Тургенева на цыган, но он не поехал. На следующий день Пушкин писал жене: «Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит» (XIV, 249).

«18 декабря... Заезжал к Пушк<ину> и разбирал библиотеку.

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал,

И плети рабства ненавидя,
Предвидя в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Поэт угадал: одну мысль брат имел: одно и видел, но и поэт увеличил: где видел брат эту толпу? пять, шесть — и только!»

«24 декабря. Проводил П<ушкина>, слышал из 9-й песни Онегина и заключение: прелестно».

А. И. Тургенев смог сообщить эти крамольные строки Пушкина своему брату лишь по выезде за границу; 11 августа 1832 года он писал из Мюнхена в Париж: «Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России и упоминает, между прочим, и о тебе. <...> В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки» [32].

Сведения о творческой истории последних глав «Евгения Онегина» крайне скудны. Каждый новый документ на вес золота; поэтому дневниковые записи А. И. Тургенева представляют первостепенный интерес.

По цензурным соображениям, Пушкин исключил для печати восьмую главу «Евгения Онегина»; девятая стала восьмой. В кругу же друзей он читал последние главы в первоначальной последовательности; для него «Евгений Онегин» продолжал состоять из девяти глав.

Однако свидетельство А. И. Тургенева, в свою очередь, вызывает вопросы. Что он именует заключением романа? Десятую сожженную главу? Но из его письма к брату видно, что декабристские строфы входили в «Путешествие Онегина», то есть в бывшую восьмую главу. Налицо противоречие; объяснить его можно только тем, что впоследствии Пушкин решил перенести политические строфы «Путешествия Онегина» в декабристскую хронику десятой главы. Это предположение подтверждается и бумагами Пушкина: одна из первых строф «Путешествия» («Наскуча щеголять Мельмотом») в рукописи зачеркнута, и сбоку приписано: «в X песнь».

Стихи Пушкина о брате вызвали возражения А. И. Тургенева. Где увидел поэт «толпу дворян, освободителей крестьян», недоумевал Александр Иванович; ведь их было «пять, шесть — и только». Это прямая полемика с формулировкой Пушкина: А. И. Тургенев считал, что поэт преувеличил размах декабристского движения.

Сообщая стихи брату в Париж, Александр Иванович против строки «Хромой Тургенев им внимал» приписал: «т. е. заговорщикам; я сказал ему, что ты и не внимал им и не знавал их». Александр Иванович был искренне уверен, что его брат, уехавший за границу в 1824 году, юридически не ответствен за выступление декабристов на Сенатской площади.

С неудовольствием прочел Николай Тургенев стихи Пушкина о себе; по его мнению, поэт поступил неосмотрительно, включив в роман строфы о декабристах: «Если те, кои были несчастливее меня и погибли, не имели лучших прав на сивилизацию, нежели Пушкин, то они приобрели иные права пожертвованиями и страданиями, кои и их ставят выше суждений их соотечественников» [33]. Декабрист Н. И. Тургенев считал Пушкина некомпетентным вершить суд истории.



Ф. И. Толстой («Американец»). Портрет работы Рейхеля.

Н. И. Тургенев ошибся. Он недооценил гигантского возмужания Пушкина за время их разлуки. Даже в том виде, в каком до

нас дошли декабристские строфы романа, они изобличают глубокий и верный взгляд на подвижников 14 декабря, на значение их мужественного подвига для исторических судеб России. Поэт, считавший декабристов своими братьями, друзьями и товарищами, воздвиг им бессмертный памятник и в послании «Во глубине сибирских руд», и в декабристских строфах романа в стихах.

Чтением «Евгения Онегина» закончились московские встречи 1831 года



Д. Давыдов. Литография К. Гампельна, 1830-е годы.

А. И. Тургенева с Пушкиным. Их беседы возобновились весной 1832 года, когда А. И. Тургенев проездом за границу три месяца пробыл в столице.

Большинство записей о встречах с Пушкиным в Петербурге крайне лаконичны — дата, место встречи, имена лиц, присутствовавших при свидании: Жуковский, Вяземский, Карамзины, А. О. Смирнова, Фикельмоны... Но в двух записях Александр Иванович расщедрился. Обратимся к ним.

«4 июня. <...> У Жук<овского> с Пушк<иным> о журнале».

Пушкин в это время добивался разрешения издавать газету «Дневник». Об этом замысле он и поведал А. И. Тургеневу. Прошел месяц, и Александр Иванович прислал Пушкину альманах «Album Littéraire»; там были перепечатаны статьи из французских журналов. Он полагал, что материалы этого сборника могут пригодиться Пушкину для его издания; об этом свидетельствует надпись на обложке:

«Журналисту — Пушкину от гремушки-пилигрима. Любек. 6 июля 1832».

Газета «Дневник» так и не родилась на свет. Лишь четыре года спустя Пушкин стал издателем «Современника», а «гремушка-пилигрим» — сотрудником пушкинского журнала.

«18 июня. <...> В час сели на первый пароход. Велгурский, Мюральт, Федоров с сыном провожали нас[34]. <...> В час тронулся пароход. Я сидел на палубе, смотря на удаляющуюся набережную, и никого, кроме могил, не оставляя в П<етер>бурге, ибо Жук<овский> был со мною. Он оперся на минуту на меня и вздохнул за меня по отечестве: он один чувствовал, что мне нельзя возвратиться. <...> П<етер>бург. окрестности были далеко; я позвал Пушкина, Энгельгарда[35], Вяземского, Жук<овского>, Викулина[36] на завтрак и на шампанское в каюту — и там оживился грустию и самым моим одиночеством в мире. <...> Брат был далеко. <...> Пушк<ин> напомнил мне, что я еще не за Кронштатом, куда в 4 часа мы приехали. Пересели на другой пароход: **Николай I,** на коем за год прибыл я в Россию; дурно обедали, но хорошо пили, в 7 час<ов> расстался с Энгельгар<дом> и Пушкиным; они возвратились в П<етер>бург; Вяземс<кий> остался с нами, завидовал нашей участи».

Читая эту запись, мы переносимся в прошлое, видим пароходик, медленно идущий к Кронштадту, ощущаем непринужденную атмосферу дружеских проводов... Пробка ударила в потолок каюты, Пушкин и его друзья провозгласили тост за счастливое путешествие. Шампанское разгорячило умы, и А. И. Тургенев сказал что-то такое, о чем не положено было говорить в северной Пальмире. Пушкин напомнил Александру Ивановичу, что в России и стены имеют уши. Непривычно и странно было слышать такие слова от Пушкина; когда-то в конце 1810-х годов роли были иными — в то время Тургенев предостерегал не знавшего удержу поэта от эпиграмматических выходок противу властей. Как все изменилось! И залогом перемен было то, что остерегающие слова Пушкина



Петербург.

должны были быть сказаны: ведь они все были на подозрении у правительства; можно ли было поручиться, что их не сопровождает тайный соглядатай? Непрочно, очень непрочно чувствовал себя Александр Иванович; за отказ отступиться от брата-декабриста он заслужил открытую неприязнь двора. Заграничный паспорт был ему выдан не сразу и лишь по личному распоряжению Николая I. А. И. Тургенев предложил Жуковскому ехать порознь; он опасался, что его общество повредит другу в глазах правительства. Но Жуковский настоял на своем: они ехали на одном пароходе, а Пушкин и Вяземский провожали их до Кронштадта.

Посетив Ганновер, Геттинген и Мюнхен, Александр Иванович уехал в Италию. Там, на чужбине, он не раз вспоминал Пушкина. «Уверяют, что один из остроумнейших авторов и по жизни своей **старого** Александра Пушкина и неизменного Вяземского напоминающий, есть поэт Giraud, коего эпиграммы на все и на всех всем здесь известны» [37], — писал он 2 января 1833 года из Рима Вяземскому. Как точно подмечено душевное состояние Пушкина! Не стало веселого, жизнерадостного Сверчка...

В Италии и Швейцарии А. И. Тургенев провел полтора года, в конце мая 1834 года вернулся в Москву и вскоре уехал в Симбирск, в свое имение.

«1 июля. <...> О брат! отсутствие твое не мешает мне действовать здесь по сердцу твоему».

Это о брате Николае, который летом

1818 года, невзирая на протесты их матери, ярой крепостницы, перевел крестьян с барщины на оброк. Пушкин, конечно, знал о поступке Николая Тургенева, не единичном в те годы, и он был одним из тех, кого вспоминал поэт, когда писал в «Евгении Онегине»:

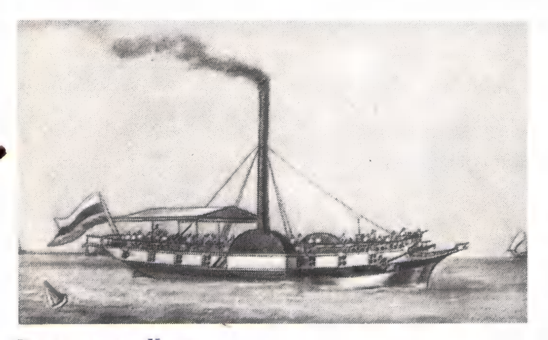
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил.

В начале сентября 1834 года Александр Иванович был уже в Москве; туда же приехал Пушкин с женой и свояченицами.

8 сентября Александр Иванович был в театре в ложе у Пушкина, а на следующий день навестил его. Пушкин прочел ему отрывки из «Истории Пугачева». Вечером Тургенев получил записку от Пушкина: «Само по себе разумеется, что Пугачев явится к вам первому, как скоро выйдет из печати. Симбирск осажден был не им, а одним из его сообщников, по прозвищу Фирска. <...> Симбирск в 1671 году устоял противу Стеньки Разина, Пугачева того времени» (XV, 189). Записка продолжала беседу.

В тот же день А. И. Тургенев занес в дневник свои впечатления о встрече с Пушкиным. Лист этот частично истлел, и некоторые слова прочесть невозможно. Между тем записка Пушкина позволяет почти полностью восстановить текст:

«9 сентября. <...> к Пушкину. <Слушал не>сколько страниц Пугачева. Много любопытного и оригинального. (Текст поврежден.) сказав, что П<ушкин> расшевелил душу мою, заснувшую в степях Башкирии. <Симбирск> всегда имел для меня историческую прелесть. <Он устоял> против Пуг<ачева> и Разина».



Пароход на Неве.



Кронштадт.

А. И. Тургенев припомнил, что у него имеются материалы по истории Пугачева, и известил об этом Пушкина; поэт-историк ответил ему: «Это все у меня уже есть — будет напечатано в приложении. <...> Сейчас еду, лошади уже заложены» (XV, 190).

Месяц спустя, в начале октября 1834 года, Александр Иванович приехал в столицу и прожил там до середины декабря.

«15 октября. <...> Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о П<етер>бургском потопе. Превосходно. Другие отрывки...»

Несколько дней спустя Александр Иванович писал Вяземскому: «Пушкин вчера навестил меня. Поэма его о наводнении превосходна, но исчерчена и потому не печатается. Пугачевщина уже напечатана и выходит» [38].

Поэму о Петербургском потопе — «Медный всадник» — Пушкин закончил еще в октябре 1833 года. Поэма была представлена на высочайшую цензуру. Николай I зачеркнул четыре строки и, кроме того, отметил ряд мест, подлежащих перемене. Пушкин не стал печатать поэму. По-видимому, год спустя он вновь вернулся к работе над поэмой; в это-то время он прочел ее Александру Ивановичу и вскоре, 9 декабря, записал ему перечеркнутые царем строки:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

«16 октября. <...> Вечер в Михайловском театре: давали **Родольфа** и **La dame blanche** [39]. Театрик — прелестная игрушка <...> Оттуда к Карамз<иным> и к Смирновой: с Пушкиными — о Чадаеве».

По всей вероятности, Пушкин и А. И. Тургенев беседовали о «Философических письмах» Чаадаева. Еще в 1831 году они читали в рукописи части этого историко-философского цикла. Позднее, в декабре 1836 года, после появления в печати первого «Философического письма», Пушкин и Александр Иванович вернутся к обсуждению этой работы.

«25 октября. <...> Писал к Пушкину и послал Песнь о полку Игор<еве> с примечаниями Италинского» [40].

Этот экземпляр первого издания «Слова о полку Игореве» (1800) долго хранился у Пушкина. После его смерти, 28 марта 1837 года А. И. Тургенев писал Жуковскому, принимавшему участие в разборе бумаг поэта: «Может быть, найдется у вас и Песнь о Полку Игореву, in 4, в бумажке, с отметками карандашом Италинского. Я ссудил ею Пушкина для его издания этой Песни. Пожалоста, поищите. Пропадет, и никто не узнает, что рука единственного русского археолога объясняла певца древнейшего; да и объяснения — по восточным языкам — важны» [41].

«1 ноября. <...> У меня сидели Пушкин и Соболевский [42]. Первый о Вольтере, о Ермолове: одного со мною о нем мнения. — О Ериванском Ермолове: все перед ним ниц падает; лучше назвать Ерихонским».

От дней лицея до конца жизни творчество Вольтера привлекало внимание Пушкина. Имя фернейского философа много раз мелькает на страницах сочинений Пушкина. В 1834 году в статье «О ничтожестве литературы русской» Пушкин, критикуя художественный метод Вольтера, тем не менее называет его великаном XVIII века. В 1836 году Пушкин анонимно опубликовал статью «Вольтер». Эта статья, напечатанная в третьем томе «Современника», была написана по только что опубликованной в Париже переписке Вольтера с историком, президентом бур-



Венеция.

гундского парламента де Броссом и прусским королем Фридрихом II. Эта книжная новинка попала к Пушкину благодаря неустанным заботам А. И. Тургенева. Находясь в Париже, Александр Иванович приобрел этот том, надписал на нем: «к<нязю> Вяземскому», и отослал в Россию. Вяземский передал его Пушкину — и до сего времени он хранится среди книг Пушкина.

С генералом Алексеем Петровичем Ермоловым (1777—1861), имя которого



Симбирск.

снова всплывет в беседах поэта с А. И. Тургеневым незадолго до дуэли, Пушкин познакомился в 1829 году. Во время своего путешествия на Кавказ он сделал лишних двести верст, чтобы заехать в Орел, где жил в то время в опале Ермолов. Два часа оживленно беседовали Пушкин и Ермолов. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин писал:

«Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. <...> Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским» (VIII, 445).

Итак, Пушкин пересказал А. И. Тургеневу и С. А. Соболевскому остроту Ермолова. Ериванский Ермолов — это Иван Федорович Паскевич, сменивший в 1827 году Ермолова на посту управляющего Кавказским краем; он имел титул графа Ериванского.

Эту часть «Путешествия в Арзрум» Пушкин напечатал еще в «Литературной



Емельян Пугачев.
Гравюра работы
Л. А. Серякова.

газете» в 1830 году; страницы о Ермолове там отсутствовали — ни похвалы фрондирующему генералу, ни тем более порицания всесильному Паскевичу в печать не допускались.

Александр Иванович записал, что он сошелся с Пушкиным в мнении о Ермолове; каково же было их мнение? Безусловно, положительное, — это следует из сочувственной характеристики Ермолова в «Путешествии в Арзрум». К тому же Пушкин высказывал желание быть историографом генерала.

«6 ноября. День смерти Екатерины.

<...> Обедал и кончил вечер у Смирновых, с Жуков<ским>, Искулем [43] и Пушкиным. Много о прошедшем в России, о Петре, Екатерине».

Начиная с «Заметок по русской истории XVIII века» (1822), царствования Петра I и Екатерины II становятся предметом постоянных размышлений Пушкина. К 1827 году относится его замысел написать историю Петра I; с 1831 года он работал в архивах; на его рабочем столе, «на ферстаке», как говорил известный шутник граф Канкрин, остался незавершенный труд «История Петра»; среди его помет на монографии Вяземского о Фонвизине — помета о деятельности Екатерины II. Естественно, что в беседах с Александром Ивановичем Пушкин неоднократно возвращался к волновавшей его теме. Пять дней спустя, 11 ноября, А. И. Тургенев снова записал: «У Пушкина о Екатерине».

9 ноября А. И. Тургенев был вместе с Пушкиным и Жуковским на обеде у литератора-переводчика, чиновника министерства финансов П. П. Гетца (1793—1880). Когда-то А. И. Тургенев служил вместе с ним в министерстве народного просвещения под началом князя А. Н. Голицына. Гетц занимался фольклором; он издал в своем переводе на немецкий сборники русских и сербских песен. На обеде также присутствовали сослуживец хозяина дома Я. А. Дружинин (1771—1849), бывший, как Гетц, членом Российской академии; барон П. Л. Шиллинг (1786—1837), ученый и дипломат; журналист и переводчик Г. М. Яценко; Штакельберг, возможно, Густав Оттонович (1776—1850), граф, дипломат.

Остается лишь посетовать на лаконичность записи А. И. Тургенева — о чем шел разговор на обеде, неизвестно.

«13 ноября. <...> После обеда два раза у Карамзиных и в театре, в ложе Пушкиных, Фикельмон; играли изрядно: Les enfans d'Edouard. — Пушкин напомнил мои bon-mots [44]: по чтении Карамзина в русской Академии: «Вперед не будет». Еще что-то — снова забытое».

5 декабря 1818 года Карамзин, почетный член «Арзамаса», автор «Истории государства Российского», литературный противник А. С. Шишкова, произнес в торжественном собрании Российской академии речь, которая имела шумный успех среди передовой общественности. В письме к Вяземскому А. И. Тургенев писал 11 декабря 1818 года: «Это было торжество не Академии, но Арзамаса, ибо почетный гусь наш, казалось, отделялся от лесных собратий своих, как век Периклов и Александров отделяется от века Лудвига Благочестивого и Батыева» [45].

Полтора десятилетия спустя Пушкин напомнил Александру Ивановичу его остроту, произнесенную в дни триумфа Карамзина, — «Вперед не будет» относилось к А. С. Шишкову, который неосмотрительно послал историографу приглашение сказать речь в академии.



Зал Петербургского Большого театра. С акварели

«16 ноября. <...> Обедал у новорожденной Карамзиной [46] с Жук<овским>, Пушк<иным>, Кушников<ым>. Последний о Суворове говорил интересно. Проврался о гр. Аракчееве по суду Жеребцова, «лежачего не бьют», и казнивший беременных женщин спасен от казни, а сидевшие в крепости — казнены».

Эта запись скрывает разговор на остро-политическую тему. Сергей Сергеевич Кушников (1765—1839), племянник Ка-

рамзина, адъютант Суворова во время итальянского похода 1799 года, рассказал («проврался», то есть проговорился) о заступничестве Аракчеева за новгородского губернатора Д. С. Жеребцова, который бесчеловечно вел следствие над лицами, заподозренными в убийстве Минкиной, любовницы Аракчеева. Вот как об этом писал Герцен, отбывавший ссылку в Новгороде и знавший подробности этого дела от очевидцев:

«Губернатор превратил свой дом в застенок, с утра до ночи возле его кабинета пытали людей. Старорусский исправник, человек, привычный к ужасам, наконец изнемог, и, когда ему велели допрашивать под розгами молодую женщину, беременную во второй половине, у него недостало сил. Он взошел к губернатору — это было при старике Попове, который мне рассказывал, — и сказал ему, что эту женщину невозможно сечь, что это прямо противно закону; губернатор вскочил с своего места и, бешеный от злобы, бросился на исправника с **поднятым кулаком:** «Я вас сейчас велю арестовать, я вас отдам под суд, вы — **изменник!»** Исправник был арестован и подал в отставку. <...> Женщину пытали, она ничего не знала о деле..., однако ж умерла. <...> Губернатора велено судить сенату, оправдать его даже там нельзя было. Но Николай издал милостивый манифест после коронации, под него не подошли друзья Пестеля и Муравьева — под его подошел этот мерзавец» [47].



Наводнение в Петербурге.

«17 ноября, <...> Обедал у Смирновой с Пушк<иным>, Жук<овским>, <текст испорчен> и Полетика [48]. Пушкин о татарах: умнее Наполеона».

«19 ноября. <...> встретил Пушкина. С ним в англ<ийский> маг<азин>».

«21 ноября. <...> с Пушкиным осмотрел его библиотеку <...> Обедал у Смирн<овой> с Жук<овским> и Пушк<иным> и Скалоном» [49].

Снова раздумья Пушкина над историческими судьбами России, от татарского ига до нашествия Наполеона. Эта привержен-

ность к истории проистекала из настойчивого желания Пушкина светильником прошлого осветить настоящее и будущее своей родины.

Богатая библиотека Пушкина не могла не разжечь любопытства книголюба А. И. Тургенева. Хотя эта библиотека дошла до нас не в полном составе, опись ее, любовно составленная Б. Л. Модзалевским, поражает разносторонностью интересов Пушкина. Можно себе представить, с каким увлечением рассматривал Александр Иванович книжные сокровища Пушкина. Свою дружескую «лепту» в накопление этих сокровищ внес и он. Помимо «Album Littéraire», о котором мы упоминали, в библиотеке Пушкина было еще несколько книг, полученных от А. И. Тургенева. Вот томик латинских поэтов Катулла, Тибулла и Проперция. На синей печатной обложке надпись чернилами «Поэту Пушкину А. Тургенев». Вот итальянская книга «Диалоги о событиях, происшедших в 1831 году»; на ее обложке сверху написано чернилами рукой А. И. Тургенева «Рим. 1833 1/13...»

Два тома сочинений Вашингтона Ирвинга во французском переводе; на шмуцтитуле первого тома карандашная надпись: «Hôtel d'Autriche, Tourgueneff» [50]. Наконец, французская книга Луи Пари «История России». Как видно из надписи на ней, автор подарил ее А. И. Тургеневу.

«24 ноября. <...> Вечер с Жук<овским>, Пушк<иным>, и Смирнов<ой>, угощал Кар<амзин>у у ней самой концертом Эйхгорнов [51]; любезничал с Пушк<иной>, и Смирн<овой>, и Гончар<овой>. Но под конец ужасы Сухозанетские, рассказанные Шевичевой [52], возмутили всю мою душу».

«Ужасы Сухозанетские» — рассказ о противоестественных наклонностях генерал-майора Ивана Онуфриевича Сухозанета (1788—1861), назначенного осенью 1833 года главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов. 29 ноября 1833 года Пушкин записал в дневнике, что в обществе осуждается «выбор Сухозанета, человека запятнанного, вошедшего в люди через Яшвиля — педераста и отъявленного игрока, товарища Мартынова и Никитина. Государь видел в нем только изувеченного воина и назначил ему важнейший пост в государстве, как спокойное местечко в доме инвалидов» (XII, 315). Что и говорить, человеку с подобными наклонностями было в самую пору доверить воспитание юношества. Впрочем, это был не единственный случай при Николае I — в те годы на посту министра народного просвещения находился С. С. Уваров, запятнанный подобной же репутацией. Когда Пушкин написал стихотворный памфлет на Уварова «На выздоровление Лукулла» и для отвода глаз цензуры дал подзаголовок «подражание латинскому», то А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Спасибо переводчику с **латинского.** (Жаль, что не с **греческого!)** Биографическая строфа будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его бессмертным «поношением» [53].

29 ноября Александр Иванович, Пушкин, Жуковский и братья Виельгорские были в гостях у их общего приятеля Алексея Алексеевича Бобринского, графа, церемониймейстера двора, внука Екатерины II. «Обед Лукулла и три блюда с трюфелями отягчили меня», — записал А. И. Тургенев. В этот день гурман взял верх над мыслителем: отягощенный роскошным обедом, Александр Иванович поленился рассказать нам о разговоре за столом; он лишь отметил, что «любезничал умом и воспоминаниями с милой и умной хозяйкой» Софьей Александровной Бобринской. Беседа с такой женщиной всегда возбуждала ум и чувства неисправимого холостяка — А. И. Тургенева.

«1 декабря. <...> Оттуда к Пушкин<у>. В театре Михайловском государь и гос<ударын>я, а с ними Фридр. [54] с дочерью. — И Пушкины не пригласили меня в ложу... Итак, простите, друзья-сервилисты и друзья-либералы. — «Я в лес хочу!»

Горькая, трагическая запись! Она завершается пушкинскими словами из «Братьев-разбойников»; они подчеркивают одинокость, неприкаянность Александра Ивановича. «Неотразимые обиды» наносят ему не только друзья-сервилисты, экс-арзамасцы Д. Н. Блудов и С. С. Уваров, но и друзья-либералы: Пушкин, Жуковский, Вяземский...

Болезненная реакция А. И. Тургенева на нежелание пригласить его в ложу во время присутствия в театре Николая I понятна; ведь и наиболее проницательные общие знакомые заметили неловкость его положения; 4 декабря он записал в дневнике: «...Смирнова догадалась, что я догадался в театре».

Александру Ивановичу было тяжело. Не легче было и Пушкину. Порой он вынужден был идти наперекор собственным желаниям. Положение его при дворе было

исключительно сложным. После пожалования в камер-юнкеры в конце декабря 1833 года поэт стал особенно тяготиться жизнью в Петербурге. 22 июля 1834 года он записал в дневнике: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором — но все перемололось. — Однако это мне не пройдет» (XII, 331). В но-



А. П. Ермолов.

ябре 1834 года Пушкин нарочно уезжал из столицы в Москву, чтобы не присутствовать вместе с другими камер-юнкерами на торжественном открытии Александровской колонны. По его собственному признанию, поэт до кончины Александра I «подсвистывал» ему; не захотел он воздавать и посмертные почести царю при открытии колонны. Анонимная эпиграмма на ее открытие:

В России дышит все военным ремеслом,
И ангел делает на караул крестом, —

слишком холодна и спокойна, чтобы можно было заподозрить в ее авторстве Пушкина. Напиши он эпиграмму на этот сюжет, она была бы жгучей и язвительной.

После своего самовольного отъезда в Москву Пушкин не встречал Николая I; тот вернулся в столицу из поездки по Пруссии лишь 28 ноября. Надвигалась новая неприятность: вскоре предстояло явиться на прием во дворец вместе с другими камер-юнкерами; Пушкин заранее решил уклониться от этого унизительного шага — стоять в одной почтительной шеренге с «молокососами 18-летними».

Мог ли Пушкин при этих обстоятельствах пригласить в ложу А. И. Тургенева, к которому Николай I относился крайне неприязненно? Подобное соседство было бы расценено царем как непочтительность, как демонстративное выражение независимости и строптивости. За несколько дней до своего отказа явиться во дворец Пушкин решил не обострять отношений с Николаем I. Было неловко перед Александром Ивановичем, было противно перед самим собою, но другого выхода не нашлось.

Досадный эпизод в театре ненадолго омрачил их дружбу; А. И. Тургенев смог понять поступок Пушкина, а понять значит простить, как гласит французская пословица.

«2 декабря. <...> У Хитрово [55] с час проболтал с Тол<стой> [56], мило уговаривала меня не давать воли языку. <...> Маркиз Дуро допрашивал, почему государь не пропустил стихов Пушкина. <...> «tes pourquoi, marquis, ne finiraient jamais...» [57].

Александр Иванович перефразировал слова Вольтера «Из рассуждения в стихах о человеке»; там это крылатое выражение звучит так: «Твоим «почему», сказал бог, никогда не будет конца». Парируя вопросы недоброжелательных критиков, Пушкин в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы» вспомнил это изречение Вольтера. Теперь оно снова столкнулось с Пушкиным; острота Вольтера пришла на память Александру Ивановичу во время разговора о пометах Николая I на «Медном всаднике».

Пушкин не скрыл от своих друзей, как придирчиво отнесся Николай I к поэме о петербургском потопе; через салон австрийского посла графа Фикельмона, где поэт часто бывал, его слова стали известны в дипломатическом мире Петербурга. Узнал о них и посетивший в те дни Россию маркиз Дуро, сын английского политического деятеля герцога Веллингтона, узнал — и пришел в недоумение. Где было ему, человеку, приехавшему из страны политической свободы, уразуметь те незримые путы, которые тяготели над рус-

ской литературой? Как бы он удивился, если б узнал, что министр народного просвещения С. С. Уваров предлагал воздвигать «умственные плотины» против просвещения.

«9 декабря. <...> Пушк<ин> <...> читал примечания письменные на Пугачева, представленные им государю. — N3. Прислать ему из Москвы слав<янские> книги».

Примечания письменные на Пугачева —



Н. И. Тургенев.
Литография Зинфельдера.

это «Замечания о бунте»; они были официально переданы царю через Бенкендорфа, с письмом к последнему от 26 января 1835 года. Запись А. И. Тургенева заставляет предположить, что сначала они были показаны Николаю I в частном порядке через кого-либо из влиятельных друзей Пушкина. Эта запись вскрывает перед нами закулисную сторону цензурных мытарств Пушкина.

«10 декабря. <...> вечер у Жуков<ского> до 3-го часа: Пушкин, Веулгорский, Чернышев-Кругликов [58], Гоголь. <пропуск> напомнил о шутке брата. Кн<язь> Адуев<ский> [59]. Пили за здоровье **Ивана Ник.**».

Кто же этот Иван Николаевич, за здоровье которого пили Пушкин и его друзья? Перебираем в памяти знакомых пушкинского круга, — так звали лишь брата Наталии Николаевны — Ивана Николаевича Гончарова (1810—1881), корнета лейб-гвардии Гусарского полка. В таком избранном обществе пили за этого юнца? Невероятно! И второе недоумение: почему Александр Иванович подчеркнул слова «Ивана Ник.»? Между тем упоминание о «шутке брата», а также недавние именины Николая (6 декабря) наводят на мысль, что тост в квартире Жуковского был провозглашен за Николая Тургенева. Опасаясь, что дневник может попасть в руки чиновников III отделения и скомпрометировать его друзей, пивших за здоровье декабриста-изгнанника, А. И. Тургенев зашифровал запись: вместо Николая Ивановича он написал: Ивана Николаевича, — и подчеркнул эти слова.

Вскоре А. И. Тургенев уехал в Москву.

«17 декабря. <...> У Орловых: о Уварове, о стихах Пушк<ина>. Тут и Чадаев».

В доме видного деятеля декабристского движения Михаила Федоровича Орлова (1788—1842), проживавшего в то время в Москве под тайным надзором, Александр Иванович рассказывал обществу о последних произведениях Пушкина, которые поэт читал ему при их встрече в столице. Откликом этой беседы у Орлова явилось письмо А. И. Тургенева к Жуковскому, написанное в тот же день, 17 декабря: «Скажи Пушкину, что ожидают здесь все его Пугачевщины, а я со всеми. Мне нужно иметь ее прежде отъезда, а 3-го генваря надеюсь или страшусь уже не быть здесь...» [60].

А. И. Тургенев вновь уезжал за границу. 19 января 1835 года он просил Жуковского: «Пушкину скажи, что я долго ожидал от него Пугачева и беру с собою для Орл<ова> [61] чужой экз<емпляр>.—Здесь все разобраны. Нет ни одного в лавках. Если желает послать ко мне, то пусть отдаст в канцелярию гр<афа> Нессельр<оде>, отошлют на Вену. Напр<имер> пусть отдаст сыну директора канц<елярии> гр<афа> Нес<сельроде> Кудрявскому; он меня знает, но поскорее; может и это сделать чрез Смирнова. N3 с своим

автографом — на память старины священной!» [62].

Как непосредственно и трогательно звучит последняя фраза! Забыта горечь на друзей-либералов, унеслось облачко минутной неприязни, нерушимой нежностью к Пушкину веет от этих слов А. И. Тургенева.

Не дождавшись в Москве желанного подарка, А. И. Тургенев писал Жуковскому



М. Ф. Орлов. Портрет работы Г. Ризенера, 1814 г.

27 февраля 1835 года, на этот раз из Вены: «Экз<емпляр> Орлова, Пугачевщины, читал посол [63], и переходит из русских рук в руки. Я ожидал здесь получить другой экз<емпляр> для себя. Скажи поэту-историку, что его помнит соименитая графиня (урожд. Урус<ова>). Посылаю в Москву множество указаний о новых явлениях в славянской литературе, и полное собрание песен народных, едва изданное. Пушкиным, Гончаровым поклон» [64].

Соименитая графиня — это Мария Александровна Мусина-Пушкина (урожд. Урусова, 1801—1853). Ее отец был женат на Екатерине Павловне Татищевой, сестре русского посла в Вене, в доме которого и видел ее Александр Иванович. По свидетельству Вяземского, Пушкин был влюблен в Марию Александровну и посвятил ей стихотворение «Кто знает край, где небо блещет». Как установил М. А. Цявловский, оно относится к концу 1827 или к началу 1828 года, когда М. А. Мусина-Пушкина и поэт встречались в петербургском свете [65]. Покоренный ее красотой, Пушкин писал, что «рай полуденной природы» и «чудеса немых искусств» бледнеют перед ней.

Небезынтересна строка А. И. Тургенева о том, что он посылает в Москву, то есть для самого себя (по адресу своей двоюродной сестры А. И. Нефедьевой он обычно пересылал бумаги в свой московский архив) известия о славянской литературе. Мы помним, что в декабре 1834 года Пушкин просил А. И. Тургенева выслать ему славянские книги. Следовательно, и эта фраза письма предназначалась для Пушкина. А так как материалы в Москву А. И. Тургенев, как правило, посылал через Петербург, то возможно, что Пушкин ознакомился с этой посылкой.

В марте 1835 года А. И. Тургенев приехал в Италию и занялся разысканием и изучением исторических бумаг в Ватиканском архиве.

9 апреля он писал Жуковскому: «Посылаю тебе и Пушкину по черепаховой лире из-под неба Виргилия, от Эоловой арфы» [66]. Посылая изящный подарок, А. И. Тургенев вспомнил свое арзамасское прозвище, которым он не раз подписывал в журналах свои заграничные корреспонденции.

В июне — июле 1835 года А. И. Тургенев жил в Париже, в августе — в Лондоне, в сентябре вернулся во французскую столицу и зарылся с головой в архивы. О своих находках он сообщал в письмах; они были известны Пушкину; став издателем «Современника», он решил их опубликовать; 16 января 1837 года Пушкин писал А. И. Тургеневу: «Вот Вам Ваши письма. Должно будет вымарать казенные официальные фразы и также некоторые искренние, душевные слова, ибо не мечите etc. Что вы вставите, то постарайтесь написать почетче. Думаю дать этому всему вот какое заглавие: труды, изыскания, **такого-то** или **А. И. Т.** в Римских и Парижских архивах. Статья глубоко занимательная» (XVI, 218). Пушкину не довелось увидеть в печати эту статью: корреспонденция А. И. Тургенева появилась в

пятом томе «Современника», выпущенном друзьями после гибели его издателя.

В декабре 1835 года А. И. Тургенев писал Вяземскому, что «наконец добился я здесь Пушкина «Пугачева»: его читает теперь мой сожитель. Где автор, и не высидел ли чего на псковском пепелище?» [67].

Сожителем, по-видимому, назван Н. И. Тургенев. Далее Александр Иванович просил передать Пушкину, что у княгини Анны Александровны Голицыной должны находиться материалы по истории Пугачева; А. И. Тургенев явно знал, что Пушкин собирался выпустить второе издание своего труда, и хотел обогатить его новыми документами.

Пространные письма-корреспонденции А. И. Тургенева непрестанно шли из Парижа в Петербург. Они отправлялись с надежной оказией или с дипломатической почтой: это давало возможность писать свободно, то есть не опасаясь перлюстрации, о наиболее злободневных политических, общественных и литературных событиях. Эти письма читались и оживленно обсуждались в пушкинском кругу. 29 декабря 1835 года Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я читал твое письмо в субботу у Жуковского, который сзывает по субботам литературную братью на свой олимпический чердак. Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc, etc. Все в один голос закричали: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из живо-трепещущей утробы настоящего!» [68].

Письма А. И. Тургенева были сущей находкой для Пушкина-журналиста. 19 января 1836 года Вяземский писал А. И. Тургеневу в Париж: «Пушкину дано разрешение издавать журнал, род «Quarterly review». Прошу принять это не только к сведению, но и к исполнению и писать свои субботние письма почище и получше; только с тем, что ты не последуешь русскому обычаю вышереченному, то есть «тех же щей, да пожиже»; нет, «тех же щей, да побольше», потому что мы намерены расходовать тебя на здоровье журналу и читателям. Пушкин надеется на тебя» [69].

Письмо Вяземского задержалось. О журнале Пушкина Александр Иванович узнал стороной. 5 марта он писал Вяземскому и Жуковскому: «Последнее письмо мое с д'Андре [70] было от 29 февраля. Ему отдали его, когда уже он садился в коляску; другое было писано с ним же накануне. Если бы я знал тогда, что Пушкин сделался журналистом, то уладил бы письмо так, чтобы он мог выбрать из него несколько животрепещущих крох с богатой трапезы европейской» [71].

Пока шел обмен письмами, Пушкин и Вяземский уже «кроили» корреспонденции А. И. Тургенева для первого тома «Современника». Переписаны каллиграфическим почерком последние февральские «донесения» Александра Ивановича; им присваивается название «Париж (Хроника русского)». Три месяца спустя А. И. Тургенев, получив первый том пушкинского журнала, посылает в Петербург отчаянное письмо: «Сию минуту прочел я «Современник»: я еще весь в жару и в бешенстве. Никогда я не ожидал от вас такой легкости, едва ли не преступной, и неосмотрительности — разве я позволял вам печатать все ничтожности и личности? <...> Теперь ваша обязанность, обязанность Пушкина и Вяземского, спасти меня от дальнейших неприятностей, сказав, что это я посылал к себе

СОВРЕМЕННИКЪ,

ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ГУТТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФІИ.

1836.

мой дневник, не скрывая ни дел, ни мнений от друзей, но никогда не желая о других мыслить вслух с публикой. <...> Подумайте об исправлении сколько возможно вашей обидной для меня ветрености. Повторяю запрещение печатать что-либо во второй книжке, кроме объяснения в мою пользу» [72].

Упреки А. И. Тургенева справедливы лишь отчасти: он не подумал о том, что цензурные изъятия обеднили текст «Хроники русского» и второстепенные события невольно выдвинулись на передний план. Между тем Пушкин и Вяземский охотно исполнили просьбу Александра Ивановича — во втором номере «Современника» появилось редакционное объяснение; защищая автора «Хроники русского» от возможных нареканий, оно в то же время с разительной верностью характеризовало неповторимый «почерк» его корреспонденций:

«Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражений, служат лучшим доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом **про себя,** когда следовало бы ему писать про других. Мы имели случай стороною подслушать этот à part [73], подсмотреть эти ежедневные, ежеминутные отметки, и торопились, как водится ныне в эпоху разоблачения всех тайн, поделиться удовольствием и свежими современными новинками с читателями «Современника». Можно было бы, и по некоторым отношениям следовало бы для порядка, дать этим разбросанным чертам стройное единство, облачить в литературную форму. Но мы предпочли сохранить в нем живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, бульварных, академических, салонных, кабинетных движений, — так сказать стенографировать эти горячие следы, эту лихорадку парижской жизни» [74].

Редакционное объяснение удовлетворило А. И. Тургенева. В четвертом томе «Современника» было опубликовано продолжение «Хроники русского».

Пушкин отбирал корреспонденции и для следующих номеров «Современника». Смерть Пушкина нанесла непоправимый урон печатанию «Хроники русского». 4(16) февраля 1838 года А. И. Тургенев жаловался Вяземскому: «Спасибо за письма и за книги, но досадно, что ты, продержав у себя мои некогда интересные письма, ни слова прежде не сказал мне, что они не годятся для «Современника». Пушкин не так думал, и одна тетрадь была им самим приготовлена к изданию. Какое же право имели издатели отбросить ее?» [75] Было несказанно обидно, и два дня спустя Александр Иванович заносит в дневник: «Теперь все приутихло в уме, как и в сердце, особливо с тех пор, как журнал Пушкина предпочитает статьи о **тамбовском патриотизме** письмам, коих строки Пушкин хотел вырезать на меди — золотыми буквами!» [76]

Однако мы невольно забежали вперед. Вернемся к 1836 году. 29 февраля А. И. Тургенев сообщал Вяземскому: «Вчера провел я первый вечер у Ламартина. Он просит у меня стихов Пушкина в прозе; стихов переводных не хочет. Я заказал сегодня графу Шувалову перевести, но еще не остановился на выборе пиесы» [77]. Пушкин, вероятно, знал об интересе Ламартина к его творчеству; ведь месяцем раньше Вяземский писал А. И. Тургеневу, чтобы тот «в ожидании стихов Пушкина» перевел и передал Ламартину какое-нибудь стихотворение Кольцова [78]. Впрочем, сам Пушкин не был поклонником Ламартина. Если в 1823 году в черновике письма к Вяземскому были строки о том, что «первые **думы** Ламарт<ина> в св<оем> роде едва ли не лучше Дум Рыл<еева>» (XIII, 381), то с середины 1820-х годов его отзывы о французском поэте становятся все холоднее. В одной из заметок 1830-х годов Пушкин вспоминал о том, «как сладкозвучный, но однообразный Ламартин готовил новые благочестивые Размышления» (XI, 175). В глазах Пушкина благочестие отнюдь не было проявлением глубокого ума и искреннего чувства. «Благочестивому» Ламартину Пушкин противопоставлял «любезного повесу» Альфреда де Мюссе: «Сладострастные картины, коими наполнены его стихотворения, превосходят, может быть, своею живостию самые обнаженные описания покойного Парни» (т а м ж е).

Об этом «любезном повесе» Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Альфред Мюссе решительно головою выше в современной фаланге французских литераторов. Познакомься с ним и скажи ему, что мы с Пушкиным угадали в нем великого поэта, когда он еще шалил...» [79].

Совет Вяземского пришелся по душе Александру Ивановичу; он вскоре познакомился с Альфредом де Мюссе и, надо

думать, передал ему лестный отзыв своих петербургских друзей.

В середине июня 1836 года Александр Иванович выехал из Парижа на родину. Посетив по дороге осиротевший Веймар и поклонившись праху Гёте, он приехал в Москву. Затем он совершил двухмесячную поездку в Симбирск и Тургенево и вернулся в Москву в начале октября.

20 ноября 1836 года Александр Иванович выехал в Петербург. Наступили месяцы самых тесных его отношений с Пушкиным. В письме к И. С. Аржевитинову, своему двоюродному брату, А. И. Тургенев писал 30 января 1837 года: «Последнее время мы часто видались с ним и очень сблизились; он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие...» [80].



Дом в Стратфорде, в котором родился Шекспир.

В 1928 году П. Е. Щеголев опубликовал выдержки из дневника А. И. Тургенева с 25 ноября 1836 года по 19 марта 1837 года [81]. Исследователь привлек для своей работы лишь те записи, которые относились к дуэли и смерти поэта. Наиболее содержательные, насыщенные идейной информацией записи А. И. Тургенева о его беседах с Пушкиным остались без пояснения. Позднее только небольшая часть их привлекла внимание пушкинистов (М. П. Алексеев, И. Л. Фейнберг). Попытаемся же не торопясь прочесть эти записи.

«15 декабря. <...> вечер у Пушкиных до полуночи. Дал песнь о полку Игореве для брата с надписью. О стихах его, Р. и Б. [82]. Портрет его в подражании Державину: «весь я не умру!» О М. Орл<ове>, о Кисел<еве>, Ермол<ове> и к. Менш<икове>. Знали и ожидали, «без нас не обойдутся». Читал письмо к Чадаеву, не посланное».

Начало этой записи прокомментировано самим А. И. Тургеневым в его письме к брату в Париж: **«О песне о Полку Игор<еве>** переговорю с Пушкин<ым>, который ею давно занимается и издает с примечаниями. <...> Полночь. Я зашел к Пушкину справиться о песне о Полку Игореве, коей он приготовляет критическое издание. Он посылает тебе прилагаемое у сего издание оной на древнем русском (в оригинале) латинскими буквами и переводы Богемский и Польский; и в конце написал и свое мнение о сих переводах. У него случилось два экз<емпляра> этой книжки. Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецерова Нестора и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий слав<янских> и языка русского» [83].

Смерть прервала работу Пушкина над «Песней...» — статья его не была дописана; не удалось ему довести до конца и редактирование перевода «Песни...», сделанного Жуковским.

После «Песни...» разговор зашел о современной поэзии. Пушкин прочел «Памятник» — «портрет его в подражании Державину», как записано в дневнике. М. П. Алексеев, посвятивший обширный труд этому стихотворению [84], установил, что сохранилось лишь два достоверных свидетельства о «Памятнике», относящихся к 1836 году, то есть ко времени его создания, — это письмо Александра Карамзина к брату Андрею, датированное 31 августа 1836 года, в котором сообщалось, что Пушкин читал это стихотворение Н. А. Муханову, и дневниковая запись А. И. Тургенева.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил
я свободу
И милость к падшим призывал (III, 424).

Обсуждение «Памятника», естественно, перешло в разговор о декабристском движении. Речь зашла об А. С. Меншикове, участвовавшем вместе с М. Ф. Орловым в преддекабристском Ордене Русских рыцарей, о генерале Ермолове, о начальнике штаба 2-й армии П. Д. Киселеве. Все эти лица составляли негласный резерв декабристов; недаром кому-то из них принадлежит фраза, записанная А. И. Тургеневым: «без нас не обойдутся».

Разговор о событиях 14 декабря, о судьбах России подвел собеседников к «Философическому письму» Чаадаева. За этот глас вопиющего в пустыне автор, по приказу царя, объявлен был сумасшедшим, журнал «Телескоп» запрещен, Н. И. Надеждин, редактор его, сослан в Усть-Сысольск под надзор полиции. При обыске у Чаадаева изъяли брюлловский портрет Александра Ивановича с подписью «Без боязни обличаху»; это был старинный девиз рода Тургеневых.

За неделю до репрессий, обрушившихся на Чаадаева, А. И. Тургенев писал Жуковскому: «Я и сам не на шутку напал на Ч<аадаева>, как скоро узнал, что письмо его напечатано, да и он за мое нападение тогда не на шутку на меня рассердился, но с тех пор, как вся Москва, от мала до велика, от глупца до умника, от к<нязя> Г<олицына> до Баратынского, опрокинулась на него и он сам пришел в какую-то робость, мне уж его и жаль стало» [85].

Пушкин не остался в стороне от общих толков. 19 октября он писал Чаадаеву подробное письмо; написал, но не отправил. Серьезная полемика была немыслима и к тому же небезопасна.

Пушкин был согласен с мрачной оценкой современного состояния России; но он решительно отверг чаадаевский тезис о том, что у России нет прошлого; он напоминал Чаадаеву о многих славных страницах русской истории.

До чего же близким единомышленником считал Пушкин Александра Ивановича, если именно ему прочел положенное под спуд письмо. А прочесть было необходимо; письмо жгло; оно не давало покоя; хотелось проверить силу аргументации, внутреннюю логику доводов. Для нас, знающих исторические и общественные взгляды А. И. Тургенева, несомненно, что в споре с Чаадаевым он взял сторону Пушкина.

Какой разнообразный круг вопросов подвергался суду Пушкина и А. И. Тургенева! Под влиянием затянувшейся до полночи беседы Александр Иванович вскоре писал своей знакомой, хозяйке московского литературного салона Екатерине Александровне Свербеевой: «Пушкин мой сосед. Он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое прежде было столь значительным. Я не из их числа, и мы с трудом кончаем разговор, в сущности, не заканчивая его, то есть никогда не исчерпывая начатой темы» [86].

Перед нами возникают два образа Пушкина: один — камер-юнкера двора его императорского величества, затравленного постыдными дипломами и злыми языками, ожесточенного до предела; другой — поэта, оживленного и словоохотливого в обществе Александра Ивановича.

«21 декабря. <...> Пушкину обещал о Шотландии. После обеда у князя Вяз<емского> с Пушкиным и пр<очими>».

Александр Иванович исполнил свое обещание 9 января; под этой датой отмечено, что передал Пушкину «выписки из моего журнала о Шотландии и Веймаре».

Выписки А. И. Тургенева о Веймаре Пушкин сразу же стал готовить к печати; под названием «Отрывок из записной книжки путешественника (Веймар. Тифурт. Дом и кабинет Гёте. Письмо к нему В. Скотта)» они появились в пятом томе «Современника», вышедшем в свет после смерти Пушкина.

Выписки о Шотландии до сего времени неизвестны. Однако сюжет их ясен: Александр Иванович передал Пушкину описание своей поездки из Лондона в Абботсфорд летом 1828 года. Посещение шекспировских мест, Оксфорда, Вудстока и Кенильворта, знакомство с Робертом Саути, трехдневное пребывание в гостях у Вальтера Скотта — вот о чем рассказывалось в «выписках» А. И. Тургенева.

На основании заметок Пушкина и других материалов выявлен целый ряд работ, которые издатель «Современника» собирался включить в ближайшие номера журнала. Теперь к этому списку следует добавить шотландский «цикл» А. И. Тургенева, представляющий занимательную мемуарную хронику; этот жанр особенно привлекал внимание Пушкина.

24 декабря Александр Иванович был в гостях у графини Эмилии Карловны Мусиной-Пушкиной. «Я сидел подле Пушкина и долго и много разговаривал. Вяземский порадовал действием, произведенным

моей **Хроникою**. Пуш<кин> о Мейендорфе: притворяется сердитым на меня за то, что я хотел спасти его. Пушк<ин> зазвал к себе. <...> Читал роман Пушкина».

В эти дни вышел в свет четвертый том «Современника»; в нем было напечатано продолжение парижской «Хроники русского» — о благоприятных отзывах на нее сообщил Вяземский. В этом же номере «Современника» появилась «Капитанская дочка», которую вечером, вернувшись от Пушкина, читал А. И. Тургенев.



Вальтер Скотт.

Слова Пушкина о бароне Мейендорфе расшифровать не удалось. Ясно лишь одно: последний вел себя недостойно; 17 января Александр Иванович записал: «Подлы движения Мейендорфа». По-видимому, он отплатил неблагодарностью за хлопоты о нем А. И. Тургенева.

«25 декабря. <...> к Карам<зиным>. С Пушкиным выговаривал ему за словцо о Жуков<ском> в IV № Соврем<енника> (Забыл Барклая)».

Стихотворение Пушкина «Полководец», посвященное Барклаю де Толли, вызвало полемику. Л. И. Голенищев-Кутузов, племянник Кутузова, в своей брошюре упрекал Пушкина в желании умалить заслуги великого полководца. Пушкин вынужден был напечатать объяснение [87], в котором писал: «...не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру...» (XII, 134). Действительно, в стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов» Барклай де Толли не упомянут среди героев Отечественной войны 1812 года.

Этот частный случай имел для Пушкина более широкое значение. В эти годы мысль о забвении заслуг исторического лица, будь то полководец или писатель, часто всплывала в его сознании. Вполне вероятно, что, упрекая неблагодарных современников, Пушкин мог думать и о собственной судьбе.

В последние дни года на страницах дневника А. И. Тургенева начинает мелькать имя Гизо. 26 декабря он беседовал с французским послом Барантом о какой-то речи Гизо, 27 декабря Барант прислал ему эту речь. Наконец, 30 декабря он записал: «Жук<овский>, Пушк<ин>, Блуд<ов>, Уваров о Гизо».

Имя Гизо, французского историка и политического деятеля, было отлично известно Пушкину. Еще в «Графе Нулине» (1825) Пушкин, иронизируя над своим героем, писал, что он вернулся из чужих краев «с ужасной книжкою Гизота» — намек на его политические памфлеты либерального толка. В начале 1830-х годов, задумав писать труд о французской революции, Пушкин читал исторические сочинения Гизо; в библиотеке Пушкина сохранились книги Гизо, в переписке не раз упоминаются его работы. Чем же был вызван повышенный интерес к Гизо в декабре 1836 года?

10(22) декабря в Париже при большом стечении публики на место умершего философа, экономиста, члена Конвента во времена Великой французской революции Дестю де Траси был избран Гизо; в этот день он стал одним из сорока «бессмертных» Французской академии. По установленному ритуалу Гизо произнес речь — надгробное слово своему предшественнику. Именно эта речь и обсуждалась в петербургских салонах.

Гизо запечатлел жизненный путь Дестю де Траси на грозовом небосклоне французской истории. Его речь была величественным дифирамбом «великому столетию, ко-

торое завоевало мир», восхвалением «великого философа, последнего из поколения великих философов»[88]. Гизо прославлял титанов мысли XVIII века — Монтескье и Руссо, Вольтера и Бюффона, Кондильяка и Гельвеция, Дидро и Дестю де Траси.

В его речи попеременно слышались два голоса: то уверенный голос самого Гизо, представителя нового времени, нового поколения, принявшего эстафету прогресса и просвещения от великих энциклопедистов; то голос Дестю де Траси, разочарованного тем, что не удалось установить на земле царство разума. Якобинская диктатура и наполеоновское самовластие сокрушили его веру в человечество. Правда, он дожил до возрождения популярности своих учителей, дождался и собственного успеха. Но «настоящее его не удовлетворяло, к будущему он не питал доверия»[89].

А. И. Тургенев не поделился с нами мнением Пушкина о речи Гизо. Но, зная высказывания Пушкина о современной ему Франции, можно предполагать, что ему был ближе скепсис Дестю де Траси, нежели оптимизм Гизо.

«6 генваря <...> (1837 г. — **М. М.**) в 10 час. вечера отправился к Фикельмону: там любопытный разговор наш с Пушкин<ым>, Барантом, кн. Вязем<ски>м. Хитрово одна слушала, англичанин после вмешался. Барант рассказывал о записках Талейрана, кои он читал, с глазу на глаз с Тал<ейраном>, о первой его молодости и детстве. Много нежного, прекрасного, напоминающего les Confessions de J. J. Rousseau[90]. В статье о Шуазеле, коего не любит Тал<ейран>, много против Шуазеля. Шуазель дурно принял Талейрана и не любил его. Бакур будет издателем записок его. О Лудвиге XVIII, как редакторе писем и записок. Письмо к дофину, отданное Деказу. О записках Екатер<ины>, о Потемкине. Письмо Монтескье по смерти Орлеанского. После Монтескье осталось много бумаг, они были у Лене, для разборки и издания: вероятно, возвращены внуку Монтескье, недавно умершему в Англии, и пропали. С Фикельмоном: о книге Лундмана. У него есть шведская рукопись Бока, шведа, пленного, сосланного в Сибирь, откуда он прислал рапорт о войне в Штокгольм, обвиняя во многом Карла XII. С Либерманом о Минье; с Хитровой и Аршияком — о плотской любви. Вечер хоть бы в Париже! Барант предлагал Пушкину перевести Капитанскую дочь».

Эта запись позволяет нам понять мир умственных интересов Пушкина; показывает, что предчувствие неумолимо надвигавшейся трагической развязки не опустошило его деятельный ум, не лишило его восприимчивости к интеллектуальным впечатлениям бытия.

Подробности об этом вечере содержатся в письме А. И. Тургенева к А. Я. Булгакову: «...мы провели очаровательный вечер у австрийского посла: этот вечер напомнил мне самые интимные салоны Парижа. Составился кружок из Баранта, Пушкина, Вяземского, прусского министра[91] и вашего покорнейшего слуги. Мы беседовали, что очень редко в настоящее время. Беседа была разнообразной, блестящей и очень интересной, так как Барант рассказывал нам пикантные вещи о Талейране и его мемуарах, первые части которых он прочел; Вяземский вносил свою часть, говоря свои острые словечки, достойные его оригинального ума. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины II, и на этот раз я тоже был на высоте этих корифеев литературных салонов...»[92].

Беседа имела явно «мемуарный» характер. Французский посол Проспер Барант и, как будет видно далее, А. И. Тургенев рассказывали о неизданных мемуарах Талейрана. Пушкин, крайне интересовавшийся в 1830-е годы мемуарами, воспоминаниями, хрониками — словом, документальными литературными жанрами, откликался рассказами, почерпнутыми из мемуарных источников, из засекреченных, но тем не менее известных Пушкину записок Екатерины II, из свидетельств современников ее царствования. Разговор шел откровенный: историки Пушкин и Барант, разыскатель исторических бумаг А. И. Тургенев не славословили сильных мира сего, а судили их непредвзятым просвещенным судом, отдавали должное их заслугам, порицали их пороки.

Слова Александра Ивановича о том, что на этот раз он «тоже был на высоте этих корифеев литературных салонов», можно легко расшифровать, если прочесть его заграничные дневники.

Александр Иванович лично знал Талейрана по Парижу и Лондону, бывал в салоне герцогини Талейран-Перигор, супруги племянника Талейрана. Теперь было самое время блеснуть перед слушателями искрометной импровизацией о первейшем французском дипломате. Вдобавок А. И. Тургенев был наслышан о мемуарах Талейрана; он мог рассказать — и конечно рассказал — о них кое-что примечательное. Вот его записи за 1828 год.

«31 марта. **Полночь.** Обедал у Лансдовна с Дюмоном <...> и с другими. Дюмон говорил много о Каподистрии, о Бонштетине, о Талейране и пр. Сказывал черту Капод<истрии>, отказавшегося от пенсии, которую предлагал ему имп<ератор> Ник<олай>, сказав, что когда будет иметь в оной нужду, то к нему первому обратится.

Дюмон читал многое из записок Талейрана в Женеве, где Талейран провел с неделю. Примечательнейшее есть конгресс Эрфуртский, коего подробности и тайны никому еще доселе неизвестны. — Я пересказал Николаю все, что слышал, а он пересказал мне то, что знал о предложении государя, чрез б<арона> Штейна, посылавшего с письмами о сем Николая из Нанси в Женеву к Пиктету — французам Бурбонов. Только Штейн и Поцци были за них из русских. Несельроде и другие толковали о мире с Наполеоном»[93].

Речь шла о закулисной дипломатической борьбе: вынужденный после заключения Тильзитского мира (1807) пойти на сближение с Наполеоном и подписать в октябре 1808 года Эрфуртскую конвенцию, Александр I предпринимал первые тайные шаги, направленные к реставрации династии Бурбонов.

«25 апреля. <...> Дюмон сидел у меня и говорил о записках Талейрана, кои он читал ему. Желая убедить его в достоверности своих записок, Талейран прочел ему те части повествования, в коих происшествия известны Дюмону, как свидетелю, очевидцу оных. Он нашел одну истину и рассказ верный и оригинальный. Тал<ейран>, по мнению Дюмона, более нежели кто-нибудь знает историю своего времени; начинает оную с своего детства, с вступления в духовное звание — и тотчас переходит к революции. Ум его и разговор необыкновенно блистательный: madame Stahl признавалась Дюмону, что она определила для себя почти все роды умов, но Талейранова ума по сию пору постигнуть, или по крайней мере определить, не может. Дюмон отвечал ей, что его разговор отличается тем, что он обыкновенно перескакивает две или три идеи inter medias res[94] и заставляет слушающего отгадывать их и находить развязку в той мысли, которую содержит сказанное слово Талейрана. В пример сего Дюмон привел ответ Талейрана, когда его спросили о герцоге Ришелье: «C'est l'homme du monde qui connait le mieux l'administration d'Odessa»[95]. Слушателю приятно самому придумать все то, что нужно первому министру Франции вдобавок к познанию — Одессы!!»[96].

Рассказы Баранта и А. И. Тургенева о Талейране не могли не заинтересовать Пушкина. Талейран был слишком заметной фигурой европейской истории за последние полвека, чтобы можно было оставаться безучастным к нему. Но интерес не означал одобрения. Пушкин порицал правление Луи Филиппа, и он переносил свое осуждение на тех политических деятелей, которые помогали упрочению нового режима. 21 августа 1830 года Пушкин с убийственной иронией писал Е. М. Хитрово: «Брак г-жи де Жанлис с Лафайетом был бы вполне уместен; а венчать их должен был бы епископ Талейран. Так была бы завершена революция» (XIV, 415; подлинник по-французски).



Гизо. Портрет работы П. Делароша.

«9 генваря. <...> Я зашел к Пушкину: он читал мне свой pastiche[97] на Вольтера и на потомка Jeanne d'Arc[98]. Потом он был у меня и мы рассматривали франц<узские> бумаги и заболтались до 4-х час<ов>. Ермол<ов>, Орл<ов>, Кисел<ев> все знали и ожидали: без нас дело

не обойдется. Ермол<ов>, желая спасти себя, спас Грибоедова. Узнав, предварил его за два часа. Обедал у Татар<инова>. Зашел опять к Пушкину. Прочел ему письмо мое о Жольвекуре <...> Дал Пушкину мои письма, переписку Бонштеттена с m-me Stahl, его мелкие сочинения; выписки из моего журнала о Шотландии и о Веймаре».

По этой записи можно судить, как стремительно шло сближение Пушкина с А. И. Тургеневым. Они буквально не могут обойтись друг без друга, встречаясь по нескольку раз в день. Сначала Александр Иванович зашел к Пушкину и тот прочел ему только что написанное произведение «Последний из свойственников Иоанны д'Арк». Затем Пушкин посетил А. И. Тургенева и рассматривал вместе с ним копии документов по истории России, извлеченные из парижских архивов. Вслед за осмотром исторических бумаг разговор обратился к делу о декабристах. Как и во время их беседы 15 декабря, вновь стали мелькать имена Ермолова, М. Ф. Орлова, П. Д. Киселева; всплыло и имя Грибоедова, которого спас Ермолов: генерал предупредил его о предстоящем аресте по делу восстания на Сенатской площади — Грибоедов успел уничтожить компрометирующие его самого и Ермолова документы [99].

И, наконец, третий раз в этот день встречаются Пушкин и Александр Иванович. Последний снова зашел к Пушкину с ворохом бумаг. Он передал Пушкину очередную пачку писем-корреспонденций, выписки из своего дневника о Шотландии и Веймаре, сочинения швейцарского писателя Карла Виктора Бонштеттена и его переписку с мадам де Сталь. Со скончавшимся в 1832 году Бонштеттеном А. И. Тургенев был лично знаком, мог рассказывать Пушкину о нем по своим встречам в Швейцарии. Кроме того, А. И. Тургенев прочел Пушкину свое письмо о французском писателе Поле де Жюльвекуре.

Один перечень тем показывает, какими насыщенными до предела были три свидания Пушкина с А. И. Тургеневым в этот короткий январский день.

Многое сближало их в эти дни: подготовка «Хроники русского» для «Современника», обозрение архивных сокровищ А. И. Тургенева, библиотеки Пушкина, собеседования по широкому кругу исторических и злободневных вопросов — словом, общность умственных интересов.

Сближала их и забота А. И. Тургенева о журнальных делах Пушкина. В эти дни Александр Иванович писал в Париж:

«1837 13/25 Janvier
<..> J'aurai bien desiré de recevoir une lettre de Mr. Marmier, avec quelques détails sur son voyage. Dites le lui de ma part. Cette lettre retentirait dans le **Современник — Contemporain,** journal écrit Poushkin, notre premier poète. Tachez s'en obtenir une de Mr. Marmier et rappellez lui sa promesse. Elle peut être courte, mais elle sera tous près bonne» [100].

(Перевод: «1837 13/25 января
<...> Я хотел бы получить от Мармье письмо с некоторыми подробностями его путешествия. Скажите ему об этом от меня. Это письмо появилось бы в «Современнике», журнале Пушкина, нашего первого поэта. Возьмите на себя труд заполучить письмо от Мармье и напомнить ему о его обещании. Письмо может быть коротким, но оно должно быть довольно искусным».)

Ксавье Мармье (1809—1882) — французский литератор; в середине 1830-х годов он принимал участие в экспедиции, снаряженной Французской академией в Скандинавские страны; в 1837 году в журнале «Московский наблюдатель» были напечатаны его путевой очерк «Природа в Дании» и литературное эссе «Жизнь поэтов». После смерти Пушкина он побывал в России и издал в 1843 году «Письма о России, Финляндии и Польше». Позднее Ксавье Мармье перевел на французский язык повести Пушкина и написал о нем статью. Вот этого-то французского писателя приглашал Александр Иванович участвовать в «Современнике».

Было еще одно обстоятельство, из-за которого так сильно, хотя, по всей вероятности, безотчетно, стремились друг к другу Пушкин и Александр Иванович. О положении Пушкина в дни надвигавшейся катастрофы писалось много, оно хорошо известно, и нет нужды повторяться. Отверженным чувствовал себя и А. И. Тургенев. 14 января он записал: «Опять от меня многие отворачивались, но и я от многих»; поколебалась уверенность даже в дружбе Жуковского: .

«Нужны ли мы друг другу?» — с горечью писал он в тот же день.

«15 генваря. <...> Зашел к Пушкину; стихи к Морю о брате. <...> Стихи Пушкина к гр. Закр<евско>й».

Подробнее об этом свидании Александр Иванович писал И. С. Аржевитинову: «...прочел он мне наизусть много стихов, коих я не знал, ибо они не были напеча-

таны. Одни более других мне понравились и тем уже, что написаны давно по случаю распространившегося слуха, что будто брат Н<иколай> выдан англичанами; стихи адресованы к другому поэту, который написал стихи **К морю** и славил его»[101].

Другой поэт — Вяземский. Летом 1826 года он жил в Ревеле, где, узнав о расправе над декабристами, написал стихотворение «Море»; поэт противопоставлял запятнанной преступлениями земле чистую морскую стихию, воспевал «светлые, вечно юные» волны. Свое стихотворение Вяземский послал в Михайловское. Вскоре он получил ответ Пушкина:

«Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне каждый порыв из вещественности — драгоценен для души. Критику отложим до другого раза. Правда ли, что Николая Т<ургенева> привезли на корабле в П<етер>Б<ург>? Вот каково море наше хваленое!» (XIII, 290—291).

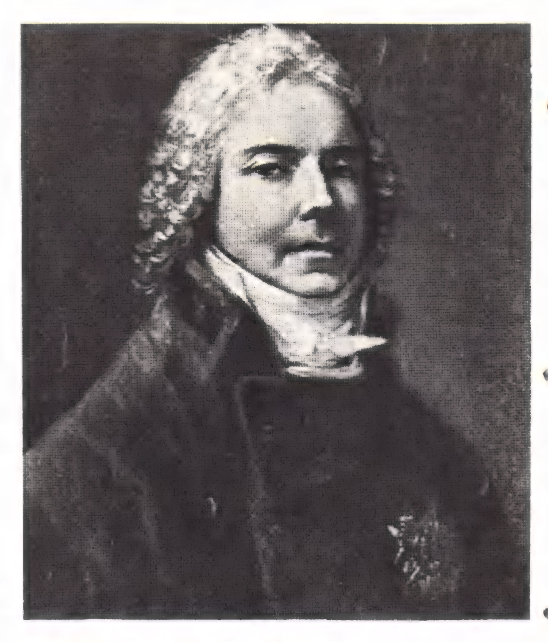
Слух оказался ложным.

Не случайно в тяжелые преддуэльные дни в памяти Пушкина всплыли эти строки: пессимистический афоризм, завершающий философическое раздумие, с особой силой звучал для него в это время. Сочувственный отзыв нашло оно и в душе Александра Ивановича; он попросил список стихов; на следующий день поэт исполнил его просьбу; 21 января А. И. Тургенев отослал их в Париж брату, нечаянному виновнику пушкинского шедевра.

15 января Пушкин читал Александру Ивановичу также и другие неопубликованные стихи; в дневнике они не обозначены; лишь несколькими строками ниже сказано о стихах Пушкина к Аграфене Федоровне Закревской. Пушкин посвятил ей три стихотворения. Какое из них имеет в виду А. И. Тургенев? Стихотворения «Портрет» и «Наперсник» были напечатаны в «Северных цветах» на 1829 год; следовательно, речь идет о третьем, которое при жизни Пушкина не публиковалось:

Счастлив, кто избран своенравно
Твоей тоскливою мечтой,
При ком любовью млеешь явно,
Чьи взоры властвуют тобой;
Но жалок тот, кто молчаливо,
Сгорая пламенем любви,
Потупя голову, ревниво
Признанья слушает твои (III, 661).

Читая Александру Ивановичу эти строки, Пушкин мог мысленно переадресовывать их Наталии Николаевне. Но это уже область догадок и предположений, которые нельзя ни опровергнуть, ни доказать.



Талейран. Портрет работы П. Прюдана.

«21 генваря. <...> Зашел к Пушкину: о Шатобриане и о Гете, о моем письме из Симбирска — о пароходе, коего дым проест глаза нашей татарщине».

Это смелое, образное выражение сорвалось с пера А. И. Тургенева 7 сентября 1836 года в письме к Вяземскому: «Как мое Европейство обрадовалось, увидев у Симбирска пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахань. Хотя на нем сидели татары и киргизы! Отчизна

Вальтера-Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма Шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся» [102].

Многое видел Александр Иванович во время своих заграничных странствий, о многом он мог рассказать Пушкину. Вплотную столкнулся он с промышленной Европой летом 1828 года при известной уже нам поездке из Лондона в Аббротсфорд и Эдинбург. По всей вероятности, он не скупился знакомить своих друзей с картинами, столь непривычными русскому глазу.

А. И. Тургенев не был «залетным путешественником». Он понял, что в окутанных дымом фабричных корпусах, мимо которых неслась почтовая карета, рождалась Европа завтрашнего дня.

Перед Пушкиным был собеседник, хорошо осведомленный о ходе промышленного перевоплощения Англии. А ведь мы знаем, что Пушкин интересовался коренной перестройкой английской экономики, тем социальным антагонизмом, который, подобно раковой опухоли, неумолимо разрастался в дыму заводских корпусов. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» он писал:

«Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы станут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Джаксона» (XI, 257).

21 января Александр Иванович еще раз встретился с Пушкиным: «Обедал у Лубяновского с Пушкиным, Стогом, Свиньиным, Багреевым и пр. Анекдоты о Платоне, <1 нрзб.>, Репнине, Безбородке, Тутолмине и Державине. Донос его на Тутолмина и поступок императрицы».

Обед был у Федора Петровича Лубяновского (1777—1869), сенатора, переводчика, в молодости служившего адъютантом у генерал-фельдмаршала Николая Васильевича Репнина. Лубяновский жил на Мойке, в одном доме с Пушкиным. Среди гостей были Александр Алексеевич Фролов-Багреев, зять М. М. Сперанского, управляющий государственным заемным банком; Павел Петрович Свиньин, литератор, издатель «Отечественных записок», в которых он печатал материалы по истории России; Стог Алексей Данилович, сенатор, член Английского клуба, литератор.

Предметом общего разговора было царствование Екатерины II. Говорили о московском митрополите, церковном ораторе, авторе богословских книг Платоне (Левшине, 1737—1812), о дипломате, секретаре Екатерины II, князе Александре Андреевиче Безбородко и о некоторых других государственных деятелях того времени. Беседовали и о ссоре Олонецкого наместника Тимофея Ивановича Тутолмина с Державиным, назначенным туда губернатором в конце 1784 года. Тутолмин поехал в столицу с жалобой на Державина. Последний послал вдогонку донесение о беспорядках в тех частях управления, которые были подведомственны наместнику. Тутолмин был вызван к Екатерине II и на коленях просил милости. Биограф Державина, академик Я. К. Грот писал об этом: «О том, что Тутолмин в кабинете императрицы бросился ей в ноги, ходили действительно слухи, но тому были различные толкования. Противная Державину партия рассказывала, что Тутолмин, по приезде из Петрозаводска, несколько раз был приглашаем к столу императрицы, чтоб в первый раз, после обеда, она дала ему прочесть донесение Державина, а через несколько времени потребовала у него отзыва об этой бумаге, и на замечание о ее неосновательности будто бы сказала, что и сама ничего не находит в ней кроме поэзии; будто бы Тутолмин, откланиваясь, заявил, что просит одной милости: стал на колени и, поцеловав руку государыни, ходатайствовал о пожаловании Державину ордена Владимира 2-й степени, что она и одобрила, похвалив Тутолмина за благородный поступок» [103].

Далее Я. К. Грот высказывает сомнение в этой версии, указав, что Державин получил орден Владимира не 2-й, а 3-й степени, и то не в Петрозаводске, а уже в Тамбовской губернии в 1787 году. Но нас в данном случае интересует не достоверность этого рассказа, а источник информации биографа Державина; в примечании к этому месту он писал: «Это рассказывал мне покойный Ф. П. Лубяновский, некогда адъютант Репнина, очень не благоволивший к поэту. <...>. Он уверял, что слышал этот рассказ от самого Тутолмина в бытность его московским генерал-губернатором и передавал его с разными прикрасами, прибавляя в заключение, что бывший наместник не удовольствовался упомянутою просьбой, но при вторичной,

прощальной аудиенции просил еще последней милости: чтоб ему дозволено было самому надеть на Державина пожалованный орден» [104].

Итак, круг замкнулся: оказалось, что тот самый Лубяновский, который рассказывал анекдоты екатерининского царствования Пушкину и его друзьям, осведомлял Я. К. Грота. Мы можем быть уверены, что в обоих случаях он передавал одни и те же красочные подробности о распре Державина с Тутолминым.



Г. Р. Державин.

«23 генваря. Кончил переписку **Веймарского дня**, прибавил письмо 15 англичан к Гете и ответ его в стихах и после обеда отдал и прочел бумагу Вяземскому, а до обеда зашли ко мне Пушкин и Плетнев и читали ее и хвалили. Пушкин хотел только выкинуть стих<отворение> Лобанова».

Эта корреспонденция А. И. Тургенева появилась в пятом томе «Современника» без стихотворения Лобанова. Но отсутствует в ней и стихотворный ответ Гёте, вместо которого напечатано письмо Вальтера Скотта к Гёте.

«24 генваря. Воскресенье. Кончил чтение Шатобриана Англ<ийской> литер<атуры>. Сколько прекрасных страниц, гармонических и трогательных; но где англ<ийская> литература? Везде он, а Мильтон редко выглядывает из-под Шатобриана...»

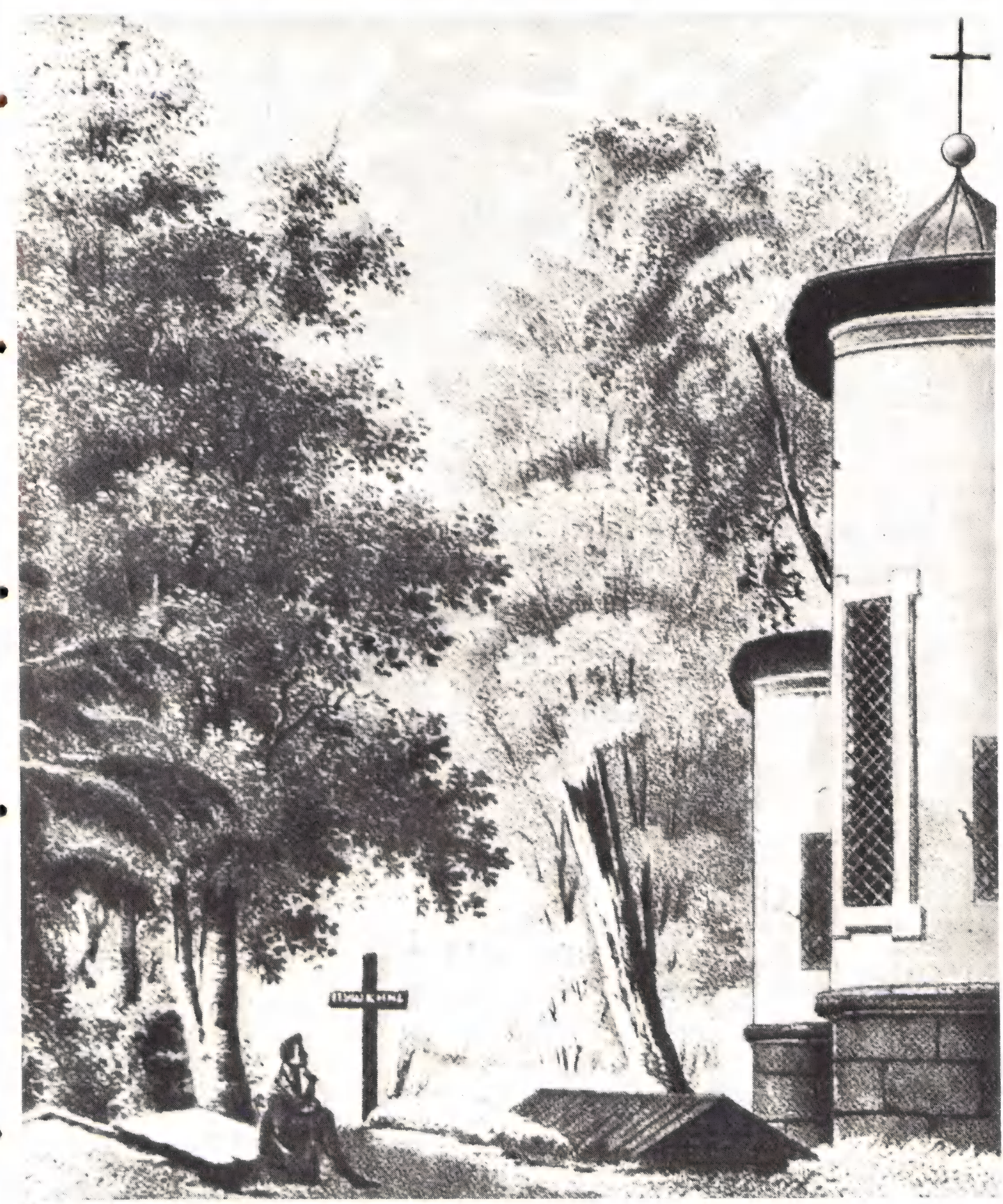
Пусть в этой записи нет прямого упоминания Пушкина; обойти ее было бы непростительной ошибкой. Вспомним, что в конце 1836 года Пушкин в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая» писал о той же книге французского писателя: «В ученой критике Шатобриан не тверд, робок, и сам не свой; он говорит о писателях, которых не читал; судит о них вскользь и понаслышке и кое-как отделывается от скучной должности библиографа; но поминутно из-под пера его вылетают вдохновенные страницы; он поминутно забывает критические изыскания и на свободе развивает свои мысли о великих исторических эпохах, которые сближает с теми, коим сам он был свидетель. Много искренности, много сердечного красноречия, много простодушия (иногда детского, но всегда привлекательного) в сих отрывках, чуждых истории английской литературы, но которые и составляют истинное достоинство **Опыта»** (XII, 145).

Сравним оценку Пушкина с суждением А. И. Тургенева: невольно возникает мысль. что дневниковая запись является конспектом того, что развернуто в статье Пушкина. А на самом деле эти оценки принадлежат разным людям. Нужно ли говорить, что подобное совпадение в мыслях предопределено чертами интеллектуальной близости Пушкина и А. И. Тургенева.

«26 генваря. Я сидел до 4-го часа, перечитывал мои письма; успел только прочесть Пушкину выписку из пар<ижских> бумаг». Эти выписки содержали донесения французских послов из Петербурга времен Петра I [105]. Для Пушкина они были «хлебом насущным»; в его творческом воображении строки французских дипломатов уже вклинивались в «Историю Петра». Пушкин хотел вторично в этот день навестить Александра Ивановича, еще и еще почитать эти донесения. Но события захлестнули его, и он второпях пишет записку А. И. Тургеневу:

«Не могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов».

И на том же клочке бумаги рукой А. И. Тургенева: «Последняя записка ко мне Пушкина накануне дуэля».



Могила А. С. Пушкина.
Литография Клюквина
с рисунка Соколова.

В последние дни жизни Пушкина Александр Иванович провел многие часы на квартире поэта. «28 генваря <...> опять у Пушкина, простился с ним. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою».

Печальные события, связанные с гибелью Пушкина, рассказаны А. И. Тургеневым в его письмах к друзьям и близким. Повествуя о народном горе, о трогательных проявлениях симпатии простого народа к погибшему поэту, Александр Иванович с горечью писал А. И. Нефедьевой: «Одна так называемая **знать** наша или высшая аристократия не отдала последней почести Гению Русскому: она толкует, следуя моде, о народности и пр., а почти никто из высших чинов двора, из генерал-адъют<антов> и пр., не пришел ко гробу П<ушкина>. Но она, болтая по-французски, по своей русской безграмотности, и не вправе печалиться о такой потере, которой оценить не могут» [106].

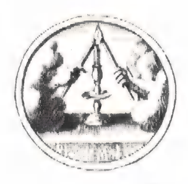
Полуопальному статскому советнику камергеру А. И. Тургеневу Николай I повелел сопровождать в последний путь опального поэта.

«5 февраля. Отправился сперва в Остров, за 56 верст, откуда за 50 верст к Осиповой — в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. За нами прискакал и гроб в 7-м часу вечера; почталиона оставил я на последней станции с моей кибиткой. Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу; вскоре и мы туда поехали с жандармом; зашли к архимандриту; он дал мне описание монастыря; рыли могилу; между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду, здания. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Напились чаю; я уложил спать жандарма и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками; читал альбум со стихами Пушкина, Языкова и пр. Нашел Пушкина нигде не напечатанные. Дочь пленяла меня; мы подружились. В 11 часов я лег спать. На другой день, 6 февраля, в 6 часов утра, отправились мы — я и жандарм! — опять в монастырь, — все еще рыли могилу; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу — немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу; выронил несколько слез — вспомнил о Сереже, — и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал с милой дочерью, несмотря на желание и на убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь.

Дорогой Мария Ивановна объяснила мне Пушкина в деревенской жизни его, показывала урочища, места <вырвано> любимые сосны, два озера, покрытых снегом, и мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали. Я искал вещь, которую бы мог унести из дома; две крошечные вазы на печках оставил я для сирот. Спросил старого, исписанного пера: мне принесли новое, неочиненное; насмотревшись, мы опять сели в кибитку-коляску и, дружно разговаривая, возвратились в Тригорское. Отзавтракав, простились. Хозяйка дала мне нем<ецкий> keep-sake [107] на память; я обещал ей стихи Лермонтова, Онегина и мой портрет. Мы нежно прощались, особливо с Марией Ивановной, уселись в кибитку и на лошадях хозяйки по реке Великой менее нежели в три часа достигли до 1-й станции. Заплатил за упадшую под гробом лошадь — и поехал дальше».

Ранее Александр Иванович не был знаком с Осиповой и ее семейством. Они встретились и сблизились у гроба Пушкина.

Записью А. И. Тургенева об этой внезапно возникшей, но по-человечески понятной дружбе между истинными друзьями Пушкина мы и закончим наше повествование.



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники... М. — Л., изд-во «Наука», 1964, стр. 351. Даты заграничных дневников даны по новому стилю, даты записей в России — по старому стилю.

[2] А. И. Тургенев. Указ. соч., стр. 363.

[3] И. И. Дмитриев. Полн. собр. стихотворений. Л., «Советский писатель», 1967, стр. 348.

[4] А. И. Тургенев. Указ. соч., стр. 434. На этом ужине присутствовали: Иоанн Генрих Буссе — пастор, адъюнкт Академии наук; Мюральт — пастор реформатской церкви, содержатель пансиона, Ласозе — тоже, по-видимому, пастор.

[5] ПД, ф. 309, № 9, л. 7.

[6] Там же, л. 33. Томсон Карл (Чарлз) был членом Английского клуба в Петербурге с 1822 по 1824 год (Столетие Санкт-Петербургского Английского собрания. 1770—1870. СПб., 1870, стр. 98).

[7] П. Е. Щеголев. Декабристы. М. — Л., ГИЗ, 1926, стр. 303.

[8] ПД, ф. 309, № 10, л. 17.

[9] Там же, № 308, л. 122.

[10] Архив братьев Тургеневых, вып. 6, Пг., 1921, стр. 65. Ломоноссик — Ломоносов Сергей Григорьевич (1799—1857), лицейский товарищ Пушкина, дипломат.

[11] ПД, ф. 309, № 10, л. 53 об. Кн. Долгорукая — поэма И. И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», изданная в 1828 году.

[12] Там же, л. 54.

[13] Там же, л. 58 об.

[14] Подробнее об этом см. статью М. П. Алексеева «Томас Мур, его русские собеседники и корреспонденты», где впервые опубликованы приведенные нами архивные сведения о знакомстве А. И. Тургенева с Т. Муром («Международные связи русской литературы». Сб. статей под ред. акад. М. П. Алексеева. М. — Л., изд. АН СССР, 1963, стр. 243—272).

[15] ПД, ф. 309, № 307, л. 178.

[16] Там же, № 232, лл. 56—57.

[17] Остафьевский архив, т. III, стр. 202—207.

[18] ПД, ф. 309, № 325, л. 13.

[19] Там же, л. 39 об. Тафья — маленькая круглая шапочка, род ермолки, плотно закрывающая маковку головы.

[20] Там же, л. 40.

[21] Там же, л. 40 об.

[22] Constituonnel, 1831, 24 janvier.

[23] ПД, ф. 309, № 325 л. 20 об. Запись от 28 января.

[24] ПД, ф. 309, № 4714.

[25] Там же.

[26] Там же. А. И. Тургенев имеет в виду московский архив Коллегии иностранных дел.

[27] Дневниковые записи за 1831—1834 годы взяты из статьи («Русская литература», 1964, № 1, стр. 125—134).

[28] Архив братьев Тургеневых, вып. 6, стр. 89.

[29] ПД, ф. 309, № 305, л. 57. Запись от 21 июля 1834 года.

[30] Голицына Анна Васильевна (урожденная Ланская. 1793—1868) — жена князя А. Б. Голицына.

[31] П. А. Вяземский. Стихотворения. Л., «Советский писатель», 1958, стр. 114—115.

[32] Журнал министерства народного просвещения, 1913, новая серия, ч. XLIV, март, отд. 2, стр. 17.

[33] Там же, стр. 18.

[34] Велгурский — Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856) — хозяин музыкально-литературного салон Федоров Борис Михайлови (1794—1875) — литератор, помогавший А. И. Тургеневу в переписке исторических документов из иностранных архивов.

[35] По-видимому, Энгельгардт Василий Васильевич (1785—1837) — полковник в отставке, член литературного кружка «Зеленая лампа».

[36] Викулин Сергей Алексеевич (1800—1848) — попутчик А. И. Тургенева и Жуковского в поездке за границу.

[37] Архив братьев Тургеневых, вып. 6, стр. 134. Жиро Джованни (1776—1834) — итальянский драматург.

[38] Остафьевский архив, т. III, стр. 262.

[39] «Белая дама» — опера французского композитора Ф.-А. Буальдье (1775—1834), бывшего в 1804—1811 годах капельмейстером французской оперной труппы в Петербурге.

[40] Италинский Андрей Яковлевич (1743—1827), камергер, чрезвычайный посланник и полномочный министр при папском дворе.

[41] «Русский библиофил», 1916, № 4.

[42] Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — эпиграмматист, друг Пушкина

[43] Икскуль Александр Карлович (1805—1880) — камер-юнкер, переводчик в канцелярии начальника Главного морского штаба князя А. С. Меншикова.

[44] Острые словечки (франц.).

[45] Остафьевский архив, т. I, стр. 167.

[46] Новорожденная Карамзина — Екатерина Андреевна, родившаяся 16 ноября 1780 года, вдова историографа.

[47] А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. IX, М., 1956, стр. 88—89.

[48] Полетика Петр Иванович (1778—1849) — дипломат, член «Арзамаса».

[49] Скалон Николай Александрович (1809—1857) — поручик Финляндского полка, приятель сыновей Н. М. Карамзина.

[50] Гостиница «Австрия». Тургенев (франц.).

[51] Эйхгорны — Эрнест (11 лет) и Эдуард (9 лет), братья-скрипачи, выступавшие с концертами в Петербурге.

[52] Шевичева — Мария Христофоровна Шевич (1784—1841), сестра А. X. Бенкендорфа, приятельница семейства Карамзиных.

[53] «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 120.

[54] По-видимому, Цецилия Владиславовна Фридерикс (ум. 1851), приближенная императрицы.

[55] Хитрово Елизавета Михайловна (1783—1839).

[56] Толстая Анна Матвеевна (1809—1897) — племянница Е. М. Хитрово.

[57] Твоим «почему», маркиз, никогда не будет конца **(франц.).**

[58] Чернышев-Кругликов Иван Гаврилович (1787—1847) — граф, муж С. Г. Чернышевой, сестры декабриста З. Г. Чернышева.

[59] Одоевский Владимир Федорович (1803—1869) — писатель, двоюродный брат декабриста А. И. Одоевского.

[60] ПД, ф. 309, № 4714. Приведено частично: «Литературное наследство», т. 58, стр. 110.

[61] Орлов Алексей Федорович (1788—1861) — генерал-адъютант, брат М. Ф. Орлова.

[62] ПД, ф. 309, № 4714.

[63] Татищев Дмитрий Павлович (1767—1845) — русский посол в Вене.

[64] ПД, ф. 309, № 4714. Частично и с искажением слова «соименитая» приведено в кн.: «Литературное наследство», т. 58, стр. 116.

[65] М. А. Цявловский, Статьи о Пушкине. М., изд. АН СССР, 1962, стр. 369—378.

[66] ПД, ф. 309, № 4714.

[67] «Литературное наследство», т. 58, стр. 118.

[68] Остафьевский архив, т. III, стр. 281.

[69] Там же, стр. 286.

[70] Д'Андре — секретарь французского посольства в Петербурге.

[71] «Литературное наследство», т. 58, стр. 119.

[72] Там же, стр. 128—129.

[73] Про себя (франц.).

[74] «Современник», т. 2, 1836, стр. 311—312.

[75] «Литературное наследство», т. 58, стр. 119—120.

[76] ПД, ф. 309, № 318, л. 26.

[77] Остафьевский архив, т. III, стр. 301. Шувалов Григорий Петрович (1804—1861) — сотрудник русского посольства в Париже.

[78] Там же, стр. 289. А. И. Тургенев пытался, правда безуспешно, получить от Ламартина материалы для «Современника»: «Ламартин обещал мне прислать экземпляр своей речи для Пушкина», — писал он Вяземскому 24 апреля 1836 года («Литературное наследство», т. 58, стр. 120).

[79] Там же, стр. 289. Письмо от 23 января 1836 года.

[80] «Русский архив», 1903, кн. 1, стр. 143.

[81] П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М. — Л., ГИЗ, 1928, стр. 274—300. В дальнейшем цитаты из дневника А. И. Тургенева, сверенные с рукописью, даны по этому изданию.

[82] По-видимому, Р. — Ростопчина Е. И. (1811—1858) — поэтесса, Б. — Бенедиктов В. Г. (1807—1873) — поэт.

[83] П. Е. Щеголев, Указ. соч., стр. 278.

[84] М. П. Алексеев. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». Л., «Наука», 1967.

[85] ПД, ф. 309, № 4714. Письмо от 24 октября 1836 года. Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844) — московский генерал-губернатор.

[86] «Московский пушкинист», вып. 1. М., 1927, стр. 23—24. Подлинник по-французски.

[87] Об этом см.: Г. Кока, Пушкин о полководцах двенадцатого года. «Прометей», № 7, 1969, стр. 17—37.

[88] Moniteur universel, 1836, № 358 (23.XII), p. 2261.

[89] Там же, p. 2262.

[90] «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо (франц.).

[91] Барон Либерман — прусский посол в Петербурге с ноября 1835 по июнь 1845 года.

[92] Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., Соцэкгиз, 1939, стр. 204; подлинник по-французски.

[93] ПД, ф. 309, № 9, л. 54.

[94] В существо дела (латин.).

[95] Это великосветский человек, который лучше всего знал административные дела Одессы (франц.). Герцог Арман Ришелье (1766—1822) — французский государственный деятель, более 20 лет находился на русской службе; в 1803 году был назначен градоначальником Одессы. После падения Наполеона Ришелье вернулся во Францию и в 1815—1818, а затем в 1820—1821 годах возглавлял французское правительство.

[96] ПД, ф. 309, № 10, л. 17.

[97] Пастиш, то есть подделка под стиль Вольтера.

[98] Жанна д'Арк (франц.).

[99] Подробнее об этом см.: М. В. Нечкина, А. С. Грибоедов и декабристы. Изд. 2-е. М., изд. АН СССР, 1951, стр. 482—490.

[100] ПД, ф. 309, № 950.

[101] «Русский архив», 1903, кн. 1, стр. 144.

[102] «Литературный архив», т. 1, М. — Л., изд. АН СССР, 1938, стр. 85.

[103] Г. Р. Державин, Сочинения, т. VIII. СПб., 1880, стр. 376.

[104] Там же, стр. 376—377.

[105] Об этом см.: Илья Фейнберг, Незавершенные работы Пушкина. Изд. 4-е. М., «Советский писатель», 1964, стр. 162—187.

[106] «Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, стр. 66. Письмо от 1 февраля.

[107] Альбом со стихами и иллюстрациями (англ.).



К. П. Богаевская

Из забытых книг

1. БУЛГАРИН О ПУШКИНЕ

Фаддей Булгарин — продажный журналист, популярный в свое время автор, впоследствии сотрудник III отделения. Все отвратительно в нем и вызывает чувство брезгливости — его биография, его натура, его внешность.

Но странная вещь — он был другом таких чистых людей, как Грибоедов и декабристы Рылеев и Александр Бестужев. Чем объяснить это? Очевидно, не существует ни одной «навозной кучи» без своего «жемчужного зерна». «Жемчужное зерно» Булгарина сыграло немалую роль в истории нашей литературы. Двадцать три письма Грибоедова адресовано Булгарину. «Любезный друг», «брат», обращается к Фаддею поэт и подписывается: «Верный твой друг», «Верный твой Грибоедов».

Находясь под арестом по делу 14 декабря, Грибоедов засыпает Булгарина записками с просьбами прислать книги и даже деньги, и его просьбы тотчас же исполняются. Уезжая на Восток в июне 1828 года, Грибоедов поручает Булгарину издание «Горя от ума», оставляет ему рукопись с дружеской надписью.

После разгрома восстания на Сенатской площади вождь Северного общества Рылеев за несколько часов до ареста успел передать прибежавшему к нему на квартиру Булгарину свои революционные стихотворения. Булгарин сохранил бумаги казненного декабриста. Спустя много лет (в 1870 году) его наследники передали в редакцию журнала «Русская старина» несколько десятков автографов Рылеева.

Взаимоотношения Пушкина с Булгариным были гораздо сложнее. Пушкин никогда не дружил с «Видоком Фигляриным»; в 1830-х годах они стали врагами. Но по возвращении из ссылки поэт еще спокойно встречался с издателем «Северной пчелы» и даже, как известно, был с Дельвигом у него на обеде.

Перелистывая комплект газеты «Северная пчела» за 1840-е годы, я обратила внимание на имя Пушкина. Вот что вспоминает Булгарин в одном из своих фельетонов, «Журнальная всякая всячина» (за подписью: Ф Б.):

«Ничего нет несноснее, смешнее и притом ничего нет вреднее, как camaraderie, т. е. **кампания взаимного восхваления** в литературе и népotisme, т. е. **племянничество** в общественной жизни! При этих очагах греется и питается всевозможная бездарность, лень и чванство. Журналы в литературе то же, что дядюшки и тетушки в свете. У некоторых журналов все сотрудники его, все приятели, даже все знакомые, люди с необыкновенными талантами, а у некоторых дядюшек и тетушек все племянннички одарены удивительными способностями к занятию видных мест, и стоят всех наград! За то и артисты, и литераторы, и издатели книг, и племянники выжимают лимон порядком!

Покойный А. С. Пушкин (знаменитый поэт), негодуя на то, что мы не хотели признавать поэтом одного из его приятелей, рифмоплетов, писал к нам:

«Публика не стоит того, чтоб для нее ссориться с приятелями». Мы отвечали: «Приятель, требующий несправедливости, не стоит того, чтоб для него лгать перед публикой». При этом правиле мы остались, останемся и навсегда!»

(1845, № 43, 22 февраля)

Ни подобное письмо Пушкина, ни ответ Булгарина не сохранились. Возможно, что они были связаны с письмом Булгарина к поэту из Петербурга в Михайловское от 25 апреля 1825 года. Булгарин писал: «На нас ополчились в Москве, что мы ничего не сказали об Онегине. Бог видит душу мою, знает, как я ценю ваш талант. <...> Не верьте, что вам будут писать вра-

ги мои <...> верьте образцам чести — Бестужеву и Рылееву — они знают, как я вас ценю, а Жуковского всегда буду почитать как человека, а поэтом плохим — подражателем Сутея[1]. Вяземского добрым, умным, благородным — не поэтом. — А вас — **Поэтом»** (XIII, 168).

Вероятно, в фельетоне Булгарина под «приятелем-рифмоплетом» и имеется в виду поэт Вяземский.



2. ПУШКИН И ПОЭТ Е. Ф. РОЗЕН

Имя барона Егора Федоровича Розена, поэта и драматурга первой половины XIX века, ничего не говорит современному читателю. Немногие, вероятно, обращали внимание на то, что ему принадлежит текст либретто знаменитой оперы Глинки «Иван Сусанин».

Розен познакомился с Пушкиным в середине февраля 1829 года. Его привел в «трактир» (гостиницу) Демута, где Пушкин останавливался в Петербурге, С. П. Шевырев. С тех пор Розен, страстный поклонник Пушкина, вошел в окружение поэта. Он оставил небольшие воспоминания о Пушкине в статье «Ссылка на мертвых»[2].

Розен перевел на немецкий язык «Бориса Годунова» с рукописи автора. Перевод этот, по словам Розена, заслужил «восторженную благодарность» Пушкина и «хвалу Жуковского». Опубликован перевод почему-то не был.

Розен писал Шевыреву: «Вышел «Борис Годунов» Пушкина, и никто из критиков-самозванцев не умел оценить этого прекрасного творения! Кривые толки, косые взгляды, шиканье, дурацкий смех — вот чем приветствовали «Годунова», творец коего, во времена Петрарки и Тасса, был бы удостоен торжественного в Капитолии коронования».

И далее: «Мы с ним довольно сблизились. Его лестные обо мне отзывы сторицею воздают мне за несправедливость некоторых критиков...»[3]

Известно великодушное отношение великого поэта к своим младшим собратьям по перу. Ему от души хотелось видеть в каждом большое дарование. Розен вспоминает, что Пушкин ценил его лирический талант и «неоднократно вызывался метать свои меткие стрелы в тех, кто не признавал литературного достоинства» произведений Розена[4].

Впечатлениями от разговоров с Пушкиным Розен делился со своим постоянным корреспондентом Шевыревым: «Пушкину в особенности нравится моя пиеса: «Зеркало старушки». Он меня встретил восторженным восклицанием: «Ваша Серафима — прелесть!» Но я с ним ссорился за «Князей Горбатых-Шуйских»: он отдает преимущество пред ними моим «Трем символам», говоря, что я живо напоминаю Шиллера, не будучи подражателем, и что сия пиеса есть венец в этом роде»[5].

«Пушкин ко мне слишком благосклонен»[6], — замечает Розен в следующем письме.

Искренность этих отзывов Пушкина о творчестве Розена не вызывает сомнений; «прелесть» — его любимое словечко. Характерна и запись в его дневнике 2 апреля 1834 года о драматургах Н. В. Кукольнике и А. С. Хомякове: «Ни тот, ни другой не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта» (XII, 323).

Товарищеская симпатия не мешала Пушкину добродушно подсмеиваться над манерой Розена читать стихи. А. П. Керн вспоминает, как Пушкин однажды «повторял беспрестанно стих барона Розена:

Неумолимая, ты не хотела жить,

передразнивая его и голос и выговор»[7].

Летом 1831 года Розен обратился к Пушкину с просьбой украсить своими стихотворениями издаваемый им альманах «Альциона» на 1832 год (XIV, 183). Осенью Пуш-

---

[1] Роберт Саути (Соути; 1774—1843) — известный английский поэт.

[2] «Сын отечества», 1847, № 6, отд. III, стр. 10—29.

[3] Письмо к С. П. Шевыреву от 19 июля 1831 года. — «Русский архив», 1878, № 5, стр. 47.

[4] «Сын отечества», 1847, № 6, отд. III, стр. 10, 12.

[5] Письмо от 7 января 1833 года. — «Русский архив», 1878, № 5, стр. 48.

[6] Письмо от 17 марта 1833 года. — Там же.

[7] А. П. Керн. Воспоминания. Л., «Academia», 1929, стр. 278.

кин послал ему одну из своих «маленьких трагедий» — «Пир во время чумы» (XIV, 240). Кроме того, он дал еще Розену двустишие на перевод «Илиады» Гнедича: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...»

Об этом эпизоде вспоминает Розен в одной из своих рецензий в 1848 году[8]. Эти строки остались за пределами литературы о Пушкине, никто из исследователей и библиографов их не заметил. Вот они:

«Нам всегда казалось одним из горьких знамений несовершенства человеческого, что гениальный писатель не может быть справедливым судьею собственных детищ своих, лучшему часто предпочитает слабейшее, одним словом: иногда не видит того, что тотчас заметит первый взгляд **простого** постороннего ума. <...> пример авторского ослепления находим мы у нашего гениального Пушкина: в одной из лучших песен своих он не исключил слабого, ничтожного конца ее — в песни Мери, в «Пиру во время чумы»:

Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь божия полна, и проч.

В продолжение трех осьмистишных куплетов, песня эта дивным образом возвышается; третий куплет кончается тем, что во время чумы:

Поминутно мертвых носят
И стенания живых
Боязливо бога просят
Упокоить души их.
Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой.

И после этого дивного уподобления следуют еще два слабейшие куплета, уничтожающие все очарование поэтическое. Пишущий эти строки, которому Пушкин дал в альманах этот «Пир во время чумы», осмелился, по отпечатании альманаха, спросить самого Пушкина: ужели не видит он, что два последние куплета отнюдь не достойны первых трех? И получил от него чистосердечный ответ: «Зачем же вы не исключили этих куплетов?» **Не** для себя, а для **Пушкина** приводим эти слова, если они дойдут до сведения будущего биографа его».

Приводим «слабейшие», по определению Розена, куплеты:

Если ранняя могила
Суждена моей весне —
Ты, кого я так любила,
Чья любовь отрада мне, —
Я молю: не приближайся
К телу Дженни ты своей;
Уст умерших не касайся,
Следуй издали за ней.

И потом оставь селенье.
Уходи куда-нибудь,
Где б ты мог души мученье
Усладить и отдохнуть.
И когда зараза минет,
Посети мой бедный прах;
А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!

Прав ли Розен в своей оценке? Конечно, эти два куплета слабее первых; но, если бы Пушкин их уничтожил, «песня Мери» оказалась бы беднее.

3. ВОСПОМИНАНИЯ В. С. МЕЖЕВИЧА

Маленькая книжечка в 16-ю долю листа. Всего 54 страницы. На обложке напечатано: «Колосья. В. М. Сноп первый. С. Петербург. 1842 (сентябрь)». На титульном листе несколько претенциозное предуведомление: «Анекдоты — остроты — мысли — изречения — выдержки — заметки — воспоминания — впечатления — наблюдения — опыты — прежнее — современное».

Знали ли современники автора, кто скрывается под инициалами В. М., — сказать трудно. Но впоследствии это стало известно — Василий Степанович Межевич (1814—1849), писатель и журналист, сотрудник «Отечественных записок» до эпохи Белинского.

Межевич не был лично знаком с Пушкиным, в произведениях и письмах поэта имя Межевича не упоминается ни разу.

Но в книжке «Колосья» Пушкину посвящено пять страниц. Первый этюд начинается так: «В одном из неоконченных отрывков своих незабвенный Пушкин изображает характер какого-то стихотворца следующим образом»: «Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек...» (следует цитата второго абзаца из отрывка

[8] «Русский песенник... изд. К. Авдеевою. 1848». — «Сын отечества», 1848, № 4, отд. VI, стр. 2—3.

«Несмотря на великие преимущества...»). «Говорят, — заключает не без основания Межевич, — что этот портрет Пушкин списал с самого себя». Образ «приятеля» поэта вдохновил Межевича на сравнение творческой манеры Пушкина с байроновской.

И наконец, он переходит к самому интересному:

«Я имел счастие видеть Пушкина только один раз, но никогда его не забуду. Это было в 1832 году. Один достопочтенный сановник сделал питомцам Московского университета самый приятный сюрприз — привез к ним Пушкина. Во время лекции профессора И. И. Давыдова вдруг в залу аудитории отворяется дверь: входит этот сановник и ведет с собою **кого-то**, человека невысокого роста, с арабским профилем, с черными курчавыми волосами.

— Здесь преподается теория искусства (И. И. Давыдов читал в то время лекции о **теории поэзии**), а я привез вам само искусство, — сказал достопочтенный сановник. К этим словам не надо было ничего прибавлять: все поняли, что это — Пушкин.

Восторг студентов был неизобразим: с жадностию все устремили взоры на поэта, так неожиданно явившегося посреди их...

После лекции И. И. Давыдова должен был читать М. Т. Каченовский. Он вошел в аудиторию за несколько минут до окончания лекции И. И. Давыдова. Его познакомили с Пушкиным. В то время «Вестник Европы» уже прекратился, но еще у всех в памяти были, с одной стороны, грозные филиппики «Вестника» **против Пушкина**, а с другой — злые и бойкие эпиграммы Пушкина... Поэт и его грозный Аристарх, не вспоминая прошедшего, завели между собою, по поводу читанной профессором Давыдовым лекции, разговор о поэзии славянских народов и в особенности о «Песни о полку Игореву». Этот спор, живой и одушевленный с обеих сторон, продолжался около часа... Литературные противники расстались с полным друг к другу уважением. И тот и другой теперь уже в могиле. Но думал ли в то время почтенный старец, что он переживет юношу?..»

О посещении Пушкиным в сентябре 1832 года Московского университета с министром народного просвещения С. С. Уваровым существует несколько кратких воспоминаний, в том числе И. А. Гончарова. Но каждое из них, так же как и страницы Межевича, вносит новые штрихи в живой облик поэта.

Сам Пушкин писал жене из Москвы в Петербург (около 30 сентября 1832 года): «На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на Вшивом рынке). А тут разговорились <с> ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления» (XV, 33).

«Колосья» Межевича вызвали яростный гнев Булгарина. Вероятно, издателя «Северной пчелы» задел помещенный в книге анекдот, построенный на созвучии слова «булгарин» (то есть болгарин) с его фамилией. Мог он припомнить также заметку Пушкина «Кстати о грамматике», опубликованную в XI томе посмертного издания сочинений поэта, которая заканчивалась утверждением: «**Единственное исключение:** имена собственные. Потомки г-на Булгарина будут гг. Булгарины, а не Булгаре» (XI, 147).

В октябрьском фельетоне «Журнальная всякая всячина» Булгарин набросился на Межевича, грубо обвиняя его в пошлости, лжи и плагиате, и, между прочим, писал:

«Но вот странность: автор рассказывает (стр. 17), как и где увидел он впервые поэта Пушкина, и говорит, что Пушкин имел **черные курчавые** волосы! Откуда это взялось? У Пушкина волосы были **каштанового** цвета, а не **черные**, и кто знал Пушкина, тот вспомнит, что он говаривал иногда в шутку, что намерен выкрасить волосы черною краскою, чтоб быть более похожим на араба!» [9]

[9] «Северная пчела», 1842, № 221, 3 октября.





Л. А. Черейский

Забытые знакомые Пушкина

I. ФАНТОН ДЕ ВЕРРАЙОН

В бытность Пушкина в Кишиневе в городе квартировали офицеры Генерального штаба, или Квартирмейстерской части, как их тогда называли. Занимались они детальной топографической съемкой Бессарабии, камеральной обработкой ранее снятых планшетов, а также сбором статистических данных по Бессарабии [1].

Комиссия по военно-топографической съемке Бессарабии была учреждена в 1816 году и возглавлялась полковником С. И. Корниловичем, дядей декабриста А. О. Корниловича. Большой знаток Бессарабии, И. Халиппа считает, что «Корниловичу Кишинев и вся Бессарабия обязаны прелестным, идеально точным выполнением работ по съемке новоприобретенного края, доныне приводящих в восторг наших профессиональных инженеров и землемеров — таксаторов» [2].

Имена девятнадцати участников съемки сохранил в своих воспоминаниях кишиневский знакомый Пушкина — полковник И. П. Липранди.

Это Владимир Тимофеевич Андреевский (1796–1860), Александр Фомич Вельтман (1800–1870), Павел Антонович Гастфер (ум. в 1830 году), Владимир Петрович Горчаков (1800—1867), Зубовы: Александр Николаевич и Кирилл Николаевич (ум. в 1867 году), Валерий Тимофеевич Кек (1801 — после 1862), Степан Иванович Корнилович (1772—1824), Василий (Вильгельм) Карлович Ливен (1800—1870), Федор Николаевич Лугинин (1805—1884), Полторацкие: Алексей Павлович (1802—1868) и Михаил Александрович (1801—1836), князь Прозоровский, Михаил Мартынович Роговской (1802—1881), Карл-Эмилий Викторович Руге (1790-е годы — после 1857), Александр Клеоникович Ушаков (1803—1877), Михаил Львович Фантон де Веррайон (1804—1887), Егор Христофорович и Христофор Христофорович (1794—1890) Ховены [3]. О двадцатом офицере — Федоре Давыдовиче Метлеркампфе (род. 1797) рассказывает в своем дневнике один из участников съемки — прапорщик Ф. Н. Лугинин [4].

Эти офицеры (за исключением Гастфера, Метлеркампфа, Прозоровского, Руге и бра-

тьев Ховенов) были питомцами известного Муравьевского училища для колонновожатых в Москве. Основатель его, генерал Н. Н. Муравьев, принадлежал к передовым и просвещенным людям своего времени. Училище содержалось за его счет и готовило офицеров для генерального штаба. Зимние месяцы посвящались теоретическим занятиям, а летом к теории присоединялась практика — топографическая съемка и фронтовое учение под Москвой в имении Н. Н. Муравьева — Осташево. Н. В. Путята и декабрист Н. В. Басаргин рассказали в своих воспоминаниях о системе обучения в училище, его наставниках и питомцах [5], что дало право новейшему исследователю отметить: «примечательные черты училища: широкий диапазон культурных интересов, высокий культ товарищества, поощрение самостоятельности и чувство равенства» [6]. Разумеется, не случайно из Муравьевского училища вышло 24 декабриста и члена ранних тайных обществ: подобно «лицейскому духу», отмеченному Булгариным, присущему выпускникам Царскосельского лицея, принадлежность к училищу колонновожатых, по словам официозного историка генерального штаба, «служит как бы вывескою вольнодумства, какого-то антиправительственного настроения» [7].

По неопубликованному свидетельству А. Ф. Вельтмана, Пушкин во время своего пребывания в Кишиневе «почти **каждый вечер** (подчеркнуто нами. — *Л. Ч.*) проводил в кругу офицеров генерального штаба» [8]. Поэт встречался с молодыми офицерами и у генерала М. Ф. Орлова. «Чтобы являться (в его дом. — *Л. Ч.*), — по словам мемуариста Ф. Ф. Вигеля, — надобно было более или менее разделять мнение хозяина». Здесь «с жаром витийствовали» декабристы К. А. Охотников и В. Ф. Раевский. «Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий, воспитанников московской муравьевской школы, которые находились тут для снятия планов по всей области, с чадолюбием были восприняты» [9].

Большой интерес представляет утверждение одного из участников съемки, Х. Х. Ховена, что «все офицеры свиты, его императорского величества по Квартирмейстерской части главного штаба 2-й армии, будучи замешаны в заговоре против правительства, были отправлены в С.-Петербургскую уголовную комиссию, а топографы под руководством Ховена проводили безостановочно все съемки и занятия отсутствующих офицеров» [10].

В этом-то кругу просвещенных и свободолюбивых офицеров Пушкин встретился с Фантоном де Веррайоном, более других, как мы увидим, заинтересовавшим поэта.

Именно о нем, единственном из офицеров генерального штаба, с которыми общался Пушкин в Кишиневе, думал он впоследствии рассказать в своих «Записках». Вот план этого ненаписанного произведения, как он сложился осенью 1833 года в Болдине:

«Кишинев — Приезд мой из Кавказа и Крыму — Орлов — Ипсиланти — Каменка — Фант<он> — Греч<еская> рев<олюция> — Липр<анди> — 12 год — mort de sa femme — le rénégat — Паша Арзрумской» (XII, 310).

Мысль о том, что в сокращении «Фант» нужно иметь в виду не «Бахчисарайский фонтан», а Фантона де Веррайона, была высказана несколько лет назад в печати [11]. Чем мог привлечь поэта юный офицер, чем отличался он от своих сверстников?

Судя по тому, что Фантон де Веррайон [12] назван Пушкиным среди имен Орлова, Ипсиланти и обитателей Каменки, по-видимому, и он принадлежал к этому кругу деятельных и мыслящих передовых людей.

Фантон де Веррайон — старинный французский род. Родные Михаила Львовича эмигрировали в Россию во время революции 1789 года. Муравьевское училище для колонновожатых он окончил в 1821 году.

«...Приехал Фонтон, которого не видал я уже с год, — записывает 18 июня 1822 года в свой кишиневский дневник прапорщик Лугинин. — Очень обрадовался и почти целое утро провели в спросах и расспросах. <...> С Фонтоном были мы у полковника <Корниловича>, который его любит. <...> В Фонтоне нашел я перемену. Он вырос, сперва быв колонновожатым, был он шалун, а теперь с офицер<ства> сделался тих. В Кишинев приезжал он, чтобы посоветоваться об грудной болезни, полученной от съемки. Он уже много знает по-молдавански. Следуя примеру его, купил я грамматику и буду учиться... После обеда он пошел к доктору, а я, написав журнал, отправился в сад, где нашел и Фонтона. Было ветрено, играла музыка. Ходили, разговаривали, смеялись часу до 9-го, в который пошел я к Симфераки. Сбирались к Стамати, но М. Стамо, Марифи и М-е Стамо не было, Метлеркампфа также. Пушкин, Катаржи и я пошли, потанцевали не более 2 часов только мазурку и вальсы, после чего я распрощался со всеми, ибо еду завтра — танцевали мы под фортепиано. Катаржи едет нынче же в Бендеры. Пришед

домой, я с час еще читал с Фонтоном комедию «Не любо, не слушай» вслух»[13].

Интерес Фантона де Веррайона к литературе и молдавскому языку не мог не сблизить его с Пушкиным. Сам поэт записывал молдавские песни и сказания. Позднее Фантон считался знатоком истории и культуры Молдавии. В 1836 году его обстоятельные статьи о Бессарабии были напечатаны в «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара, и Пушкин, вероятно, с ними ознакомился. Современники отмечали остроумие Фантона, его любовь к каламбурам, что также могло нравиться Пушкину.

По собственному признанию, Пушкин сжег после декабрьского восстания свои «Записки», в которых говорил «о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства» (XII, 310). Среди них мог быть и М. Л. Фантон де Веррайон. И в 1833 году, как мы говорили выше, Пушкин думал о нем писать в своих «Записках».

После отъезда Пушкина из Кишинева Фантон де Веррайон продолжал служить во 2-й армии, отличился в русско-турецкой кампании 1828—1829 годов, выполнял различные поручения генерала П. Д. Киселева в Бухаресте. Румынский исследователь Г. Безвикони придает большое значение роли Фантона де Веррайона в развитии румыно-русских культурных отношений[14].

В середине 30-х годов Фантон служил в Петербурге начальником отделения департамента генерального штаба, ведающего военно-историческими, топографическими и статистическими работами. Он мог бы встретиться с Пушкиным 16 марта 1834 года на учредительном собрании «Энциклопедического лексикона» Плюшара.

В 1840-х годах, находясь в бессрочном отпуске, Фантон состоял рославльским предводителем дворянства и решительно высказал свое мнение Николаю I во время приема депутатов смоленского дворянства 17 мая 1847 года.

По словам В. Г. Белинского (с большой точностью описавшего аудиенцию в письме к П. В. Анненкову от 1—10 декабря 1847 года из Петербурга), через несколько времени по возвращении депутатов в их губернию министр внутренних дел В. А. Перовский получил от смоленского губернатора Ф. Н. Шкляревича донесение, что «двое из дворян смущают губернию, распространяя гибельные либеральные мысли»[15]. Одним из этих двух дворян, на которых должна была обратить внимание полиция, был Фантон де Веррайон[16].

Сохранилось письмо Фантона, написанное незадолго до реформы 1861 года. Оно отличается смелостью суждений и трезвостью оценок: «Крестьянин должен быть освобожден в такой степени, чтобы и труд его был совершенно свободный. Для сего крестьянин должен был поставлен в безусловную независимость от землевладельца. Крестьянин не должен быть безземельным... Если вопрос, возбужденный в целой России, будет вновь отложен без окончательного решения или устроен только в половину, т. е. полумерами для избежания резкого перехода, то это неминуемо повлечет за собой печальные последствия, которых размер и предел угадать нельзя» (письмо к рославльскому предводителю дворянства Е. Ф. Мицкому от 7 апреля 1858 года)[17].

В 1849—1854 годах генерал-майор Фантон де Веррайон исполнял должность начальника штаба Отдельного Оренбургского корпуса. Здесь судьба столкнула его со ссыльным Тарасом Григорьевичем Шевченко.

7 января 1854 года к Фантону де Веррайону обратился комендант Новопетровского укрепления майор Усков с просьбой разрешить рядовому Шевченко «нарисовать масляными красками запрестольный образ на свой счет» для одной из церквей. Дело было в том, что «строжайший надзор» требовал не только чтобы от Шевченко «ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений», но и чтобы ему было запрещено «писать и рисовать»[18].

Очевидно, Фантон де Веррайон поддержал ходатайство начальника Шевченко, так как доложил его корпусному командиру В. А. Перовскому.

Человек, который общался в ссылке с Пушкиным, понимал, что поэтов надо беречь, подходить к ним с особыми мерками, не считать их политическими преступниками за правдивые произведения. Однако 16 апреля 1854 года Фантон должен был передать Ускову, что «его высокопрев-ство не изволил изъявить согласия...»[19].

Так, гуманная поддержка скромной просьбы ссыльного художника разбилась о «строгость» верноподданного генерала.

В 1856 году Фантон де Веррайон участвовал в комиссии по разграничению отошедшей по Парижскому договору части Бессарабии, после чего 5 лет (с 1857 по 1862 год) был губернатором этого края. При Фантоне в Кишиневе была открыта Публичная библиотека. Заслуживает внимания намерение губернатора издавать на молдавском и русском языках литератур-

План «Записок». Автограф, 1833 г.

ный журнал «Звездочка р. Прута» (1858 год) со следующими отделами:

1. История, статистика, топография. 2. Беллетристика, повести, рассказы, стихотворения. 3. Критика и библиография. 4. Смесь.

Издание журнала не было разрешено Александром II; новороссийский и бессарабский генерал-губернатор граф Строганов, министры народного просвещения и иностранных дел Е. П. Ковалевский и А. М. Горчаков отрицательно отнеслись к «просвещенной заботливости генерала Фантона де Веррайона» из боязни осложнить отношения с соседними странами [20].

Михаил Львович Фантон де Веррайон умер в Петербурге 23 ноября 1887 года.

Теперь, узнав, что и в поздние годы, годы тяжелой реакции, когда иные из друзей молодости Пушкина отступали от своих прежних идеалов, Фантон был поборником элементарных прав человека, ратовавшим за освобождение крестьян, бесстрашно высказывавшим свои мнения царю, хлопотавшим об уважении личности «рядового из политических преступников», мы понимаем, чем он в юности мог заинтересовать поэта.

П. ТАРДАН

16 декабря 1821 года Пушкин посетил швейцарскую колонию Шабо (в 6 верстах от Аккермана) и ее учредителя — естествоиспытателя Тардана. По свидетельству Липранди, сопровождавшего поэта, «Тардан очень ему понравился, а Пушкин Тардану, удовлетворявшему бесчисленным вопросам моего спутника. Мы пробыли часа два и взяли Тардана с собой обедать к Непенину» [1] — полковому командиру, впоследствии декабристу.

В ноябре 1821 года начальник главного штаба П. М. Волконский запрашивал наместника Инзова о масонских ложах Бессарабии и лицах, причастных к ним. Он предлагал Инзову не позволять им «учреждать какие-либо ложи, или тайные скопища» [2].

В ответе Инзова наряду с благожелательным отзывом о Пушкине сообщается о Тар-

дане: «Тардан тот самый швейцарец, который ходатайствует о поселении швейцарской колонии близ Аккермана и ожидает утверждения плана сего поселения, представленного от меня г. министру внутренних дел. Он временно был в Кишиневе у меня на весьма короткое время по своему делу и, следуя совету моему, живет с самого прибытия в Аккермане для узнания качества произрастающего там винограда, выделкою из оного вина по их методе и открытия трав, в тех местах растущих, чем он и занимался» [3].

Пушкин был, по-видимому, знаком с Тарданом еще до посещения Аккермана. Они должны были встречаться у Инзова в Кишиневе и в масонской ложе «Овидий».

О чем беседовал поэт с естествоиспытателем, какие «бесчисленные вопросы» задавал ему? Луи Венсен Тардан (1787—1836), известный на родине своими опытами по разведению винограда, приехал в Кишинев осенью 1820 года из Швейцарии. Отсюда он писал своим соотечественникам, убеждая их «не искать счастья в пустынях и лесах Северной Америки, а спешить на плодоносные земли Новой России, где виноградные лозы, персики и шелковица поспевают и рано, и с большим успехом» [4].

Вскоре по его вызову (в конце 1822 года) приехало еще несколько семей. Сам Тардан свидетельствует об этом в своем письме к неизвестному адресату от 17 февраля 1823 года: «По приезде нашем в Кишинев, столицу Бессарабии, губернатор, почтенный Инзов, принял нас как своих детей. Он пожелал побеседовать с самыми незначительными из нас и проявил ко всем живой интерес, а так как тогда был конец года, то он отдал приказание, чтобы нас устроили на квартирах у частных лиц, в Аккермане, где мы и провели ту суровую зиму» [5].

Колонистов наделили землей — до 10 гектаров на семью.

Иван Карлович Тардан (как стал именоваться в Бессарабии Луи Венсен Тардан), а позднее его сын К. И. Тардан много и упорно трудились — они были строителями и землемерами, механиками, виноградарями, садовниками, виноделами.

Ни одно из вин, добываемых в Южной России (кроме вин Южного берега Крыма), не соединяло так в себе все желаемые качества, как аккерманское. Недаром оно было названо по фамилии виноделов «Тарданом». Известное «Общество сельского хозяйства Южной России», издававшее ежегодно свои труды, избрало И. К. Тардана в 1829 году своим действительным членом.

Все это было уже после отъезда Пушкина из Бессарабии. Но можно с уверенностью сказать, что И. К. Тардан не мог не поделиться с Пушкиным во время долгого разговора своими замыслами о новых способах разведения винограда и «выделки из оного вина по новой методе».

Надо полагать, что этим двухчасовая беседа не ограничилась. Просвещенный естествоиспытатель, недавно приехавший из Швейцарии, мог рассказать поэту о родной стране и политической обстановке в ней. Волна революций, прокатившаяся в первой четверти XIX века по югу Европы (в Греции, Италии, Испании и Португалии), не прошла мимо Швейцарии, которая была также втянута в водоворот политических событий. Пушкина могла интересовать также и культура Швейцарии, и ее выдающиеся представители — педагог Песталоцци, писатели Мюллер, Цшокке, государственный деятель и воспитатель Александра I Лагарп и другие.



ПРИМЕЧАНИЯ

I. Фантон де Веррайон

[1] Сводка этих работ опубликована в редкой анонимной книге «Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой, или Буджака с приложением генерального плана его края, составленное при гражданской съемке Бессарабии, произведшей по высочайшему повелению размежевание земель оной на участки с 1822 по 1828 год». Аккерман, 1899, 523 стр.

[2] «Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии», т. 1. Кишинев, 1900, стр. 149.

[3] Инициалы большинства офицеров и даты рождения и смерти впервые раскрыты по архивным материалам и изданиям военного ведомства.

[4] «Пушкин в ссылке. Из дневника прапорщика Ф. Н. Лугинина». «Литературное наследство», т. 16-18, 1934, стр. 667—674.

[5] Н. В. Путята, Генерал-майор Н. Н. Муравьев. СПб., 1852. <Н. В. Басаргин>. «Воспоминания об учебном заведении для колонновожатых и об учредителе его генерал-майоре Николае Николаевиче Муравьеве». В книге: «Записки Н. В. Басаргина». Ред. и вступ. статья П. Е. Щеголева. П., 1917, стр. 245—276.

[6] М. В. Нечкина, Движение декабристов. М., Изд-во АН СССР, 1955, т. 1, стр. 102—103, 443.

[7] Н. П. Глиноецкий, История русского генерального штаба, т. II. СПб., 1894, стр. 5.

[8] Запись Н. А. Дубровским рассказа А. Ф. Вельтмана от 21 октября 1866 года. ГБЛ, ф. 94 (Н. А. Дубровского), картон 2, ед. хр. 24.

[9] Ф. Ф. Вигель, Записки. Редакция С. Я. Штрайха, т. II. М., 1928, стр. 211—212.

[10] «Записки сенатора барона Христиана Христиановича Ховена». ПД, ф. 265, архив «Русской старины», оп. 2, № 299, л. 5 об.

[11] Т. Г. Цявловская, Неясные места биографии Пушкина. «Пушкин. Исследования и материалы», т. IV. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 36. Исследовательница читала по традиции «Фонтон» вместо «Фантон».

[12] В ряде документальных источников, включая воспоминания И. П. Липранди и Ф. Н. Лугинина, фамилия его написана «Фонтон». Между тем письмо к министру народного просвещения от 12 февраля 1858 года имеет подлинную подпись — «генерал Фантон де Веррайон». Через «а» эта фамилия напечатана и в объявлении о смерти Михаила Львовича, сделанном его дочерью («Новое время», 1887, 26 ноября).

[13] «Литературное наследство», т. 16-18, 1934, стр. 674. «Не любо, не слушай, а лгать не мешай», комедия в 1-м действии, в стихах, сочинение Александра Шаховского.

[14] Г. Безвикони, Исследование по истории румыно-русских отношений (с древнейших времен до середины XIX века). Бухарест, 1962, стр. 226 (на румынском языке). См. также «Вопросы истории», 1963, № 9, стр. 149—151.

[15] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII. Изд-во АН СССР, 1956, стр. 438.

[16] «Крестьянское движение в России», под ред. А. В. Предтеченского. М., 1961, стр. 599—601.

[17] Смоленский областной архив, ф. № 567, оп. 1, д. 9, л. 38. Фантон де Веррайон был в списках дворян Смоленской губернии, «изъявивших готовность устроить быт своих крестьян» в 1858 году, то есть за три года до освобождения. См.: «Журнал Министерства внутренних дел», 1858, июль, стр. 106. Позднее Фантон де Веррайон был награжден золотой медалью за «Труды по освобождению крестьян».

[18] Формулярный список Т. Г. Шевченко от 24 февраля 1854 г. См.: «Русская старина», 1891, май, стр. 438.

[19] Там же, стр. 440.

[20] ЦГИАЛ, ф. 772 (Главного управления цензуры), оп. 1, д. 4386, лл. 1 об., 3 об., 6 и 31. Указанием на этот источник мы обязаны Г. Ф. Богачу.

II. Тардан

[1] Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. «Русский архив», 1866, № 8, стб. 1272.

[2] «Русская старина», 1883, декабрь, стр. 655.

[3] Письмо от 1 декабря 1821 года. Там же, стр. 656.

[4] «Бессарабия». Под ред. П. Крушевана. М., 1903, стр. 183.

[5] История колонии подробно рассказана в редкой книге одного из колонистов, написанной по архивным данным: A. Anselme, La colonie suisse de Chabag, Аккерман, 1925 (письмо Тардана на стр. 28).



К. П. Богаевская

Н. С. Лесков о Пушкине

В январе 1887 года в России праздновался первый юбилей — вернее, печальная годовщина — пятидесятилетие со дня смерти великого поэта. Группа журналистов решила отметить этот день писательским обедом. «Обед» был тогда, в мрачные дни реакции правительства Александра III, единственной возможностью общения для литераторов и деятелей искусства.

Лесков, не любивший вообще юбилейных торжеств, выразил протест в письме к журналисту и видному сотруднику петербургской газеты «Новости» В. О. Михневичу[1]:

27 генв<аря 18>87 г. Спб.
Сергиевская 56 кв. 4

Уважаемый Владимир Осипович!

Пререкания о том, как позволяется отправить поминовение Пушкина, исполнили беспокойства и смущения всякую душу человеческую, уважающую покой и мир, довлеющий священной памяти усопшего. Я чувствую по поводу всего этого столь мучительные терзания, что не в силах ни соборне молиться, преклоньше колена, ни представлять собою данную единицу в числе желающих составить торжествующую группу. Простите меня, пожалуста, но я ни в собор не пойду, ни на обед 31-го генваря не поеду. Все это совсем несогласно с тем, что было бы уместно по характеру личности так неудачно поминаемой русскими, у которых сам покойный поэт отмечал их отвратительное «недоброжелательство».

Когда впервые высказана была мысль о «праздновании» памяти Пушкина «обедом», — я тогда же, будучи Вашим сосе-

[1] ПД, ф. В. О. Михневича, № 183, оп. 1, ед. хр. 203.

дом за столом Нотовича[2], сказал Вам мое скромное замечание, которое Вы отчасти и передали собранию. Я **чувствовал**, что дело ставится неверно и грубо, и потому добра из него не выйдет. К несчастию, все так вышло, как я ожидал, ибо «посол не бывает более пославшего его».

Теперь я еще раз скажу Вам с товарищеским чистосердечием: обед Ваш едва ли произведет на лучших людей страны то впечатление, какое отвечало бы трагическому величию припоминаемого события. Есть нечто острейшее ума, — есть какое-то скромное, но сильное чувство, которое говорит, что это при нынешнем положении литературы совсем неуместно и что лучше бы почтить покой могилы тишиною, а не умножать распри.

Всегда Вам преданный

Н. Лесков».

На следующий день в письме к В. Г. Черткову Лесков вновь с раздражением упомянул о своем нежелании идти на «обеденное бахвальство по Пушкине» и «на молитвенную комедию о нем»[3].

Говоря о «недоброжелательстве» русских, отмеченном Пушкиным, Лесков, вероятно, имеет в виду начало незаконченного романа «Гости съезжались на дачу...», в котором путешествующий испанец делится с русским Минским своими впечатлениями о холодности русского светского общества и спрашивает: «Перед чем же я робею? — Перед недоброжелательством, — отвечал русский, — это черта нашего нрава. В народе выражается она насмешливостию — в высшем кругу невниманием и холодностию» (VIII, 41).

Лесков, по-видимому, с особым вниманием относился к этому замечанию Пушкина: еще летом 1875 года в разговоре с И. С. Гагариным в Париже он, по собственному свидетельству, напомнил своему собеседнику цитированный отзыв Пушкина: «Не могу теперь точно вспомнить, что именно навело нас на разговор о русских великосветских характерах, о зложелательстве, злорадстве и легкомыслии, которые царят и преобладают там, по замечанию Пушкина. При сем я именно был виноват в том, что вспомнил это замечание...»[4]

---

[2] Иосиф (Осип) Константинович Нотович (1849—1914) — писатель, журналист; с 1876 года — издатель газеты «Новости». 1 января 1887 года сотрудниками праздновалось десятилетие со дня издания и редактирования им газеты.

[3] Н. С. Лесков, Собр. соч. в одиннадцати томах. Т. XI. М., Гослитиздат, 1958, стр. 327—328.

[4] Н. С. Лесков, Иезуит Гагарин в деле Пушкина. «Исторический вестник», 1886, № 8, стр. 270; также: Н. С. Лесков, Избранные произведения. Ред. Л. П. Гроссмана. Изд. 2-е. М. — Л., 1934, стр. 359.





М. С. Альтман

Пушкинские эпитеты

В арсенале художественных средств и приемов Пушкина эпитеты занимают выдающееся место. Они и разнообразны и своеобразны: эпитеты, общие у Пушкина с другими поэтами, и эпитеты оригинальные; зрительные и слуховые; аллитерационные и оксюморонные; соответствующие данной ситуации и постоянные, прикрепленные. Каждая из этих групп, а порою и отдельный эпитет заслуживает специального рассмотрения. Но я остановлюсь лишь на некоторых эпитетах, наиболее характерных и показательных.

Веселые брега. Проезжая Симферополь, приютившийся на берегах Салгира, Фет вспомнил стихи Пушкина из «Бахчисарайского фонтана»:

О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира! —

и подумал: «Вот как игриво-весела эта невзрачная речонка в волшебных стихах поэта» [1].

Почему такая разница, почему для Фета Салгир — «невзрачная речонка», а у Пушкина эта река так «игриво-весела»? Да потому, что Фет на Салгир **смотрел** и писал о нем не в стихах, а в сугубо прозаических «Воспоминаниях», а Пушкин Салгир, точнее его наименование, **слышал** и писал о нем в действительно волшебных стихах, где по свойственной Пушкину любви к аллитерациям само звучание **Салгира,** все его согласные звуки: с, л, г, р — дублированы в **«веселых брегах»** (с, л, р, г).

Дальний берег. Это словосочетание встречается у Пушкина неоднократно:

[1] А. Фет. Мои воспоминания (1848—1889). М., 1890, т. II, стр. 373.

...Волны, плеснувшей в **берег дальный.**
(«Что в имени тебе моем?..»)

...Иную жизнь и **берег дальный.**
(«Не пой, красавица...»)

...Для берегов отчизны **дальной.**
(«Для берегов...»)

В последнем примере эпитет «дальний», собственно, относится к «отчизне», но «берега» и здесь соседствуют.

Интересно, что тот же эпитет «дальний» к «берегу» и в стихотворении «Незнакомка» Александра Блока:

И очи синие бездонные
Цветут на **дальнем берегу.**

Что у Блока здесь, вероятно, реминисценция из Пушкина, подкрепляется тем, что в этом же стихотворении Блока имеется еще одно пушкинское словосочетание — «очарованная даль».

У Пушкина —

И от мира уводила
В очарованную даль.
(«Рифма, звучная подруга...»)

У Блока —

И вижу берег очарованный
И **очарованную даль.**
(«Незнакомка»)

В «Тарусских страницах» К. Г. Паустовский среди стихов Блока, которые «очень крепнут от времени и томят людей своими образами», указывает на стихи «И вижу берег очарованный и очарованную даль...» и «Очи синие бездонные цветут на дальнем берегу...» [2], а ведь и «дальний берег» и «очарованная даль» — образы исконно пушкинские...

Очень часты у Пушкина эпитеты постоянные или прикрепленные, характерные для фольклорных жанров (былин, народных песен, сказок). Эти эпитеты являются скорее общими, чем индивидуализированными определениями. Таков, например, эпитет «кичливый» в отношении к «врагу». Еще Ломоносов о врагах России писал, что у них «сердца кичливы» и «кичливый нрав» («Ода памяти Анны Иоанновны», 1739 г. и «Ода на рождение Иоанна III», 1741 г.). Этот эпитет к врагам России применяет и Пушкин неоднократно, безотносительно, кем бы враг ни был:

турок — Опять **кичливый** враг («Опять увенчаны мы славой»);

швед — ...и легкомыслен и **кичлив** («Полтава»);

француз — Русь обняла **кичливого** врага («Была пора...»);

поляк — **кичливый лях** («Клеветникам России»).

Таким образом, эпитет здесь не выявляет специфической особенности врага, не служит указанием на особенности его национального характера, а является общим определением для любого врага, эпитетом, раз навсегда к нему прикрепленным [3].

Таковы же у Пушкина его эпитеты: «величавый» — к создателям трагедий, и «колкий» — к комедиографам.

Младой Катенин воскресит
Эсхила гений величавый.
(«Все так же ль осеняют своды...»)

Так наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый.
(«Евгений Онегин»)

Оба двустишия почти тождественны. Одинаковый эпитет — «величавый» — и для Эсхила и для Корнеля показывает, что это явно не индивидуальный для определенного поэта эпитет, а общий для любого трагика, будь они даже столь различны, как Эсхил и Корнель.

Еще менее, чем Эсхил и Корнель, схожи Бомарше и Шаховской, но и они Пушкиным наделены одинаковым эпитетом: «колкий Бомарше» («К вельможе»), «колкий Шаховской» («Евгений Онегин»). Видимо, эпитет «колкий» для комедиографов у Пушкина столь же не индивидуализирован, как «величавый» для трагиков.

Аналогично у Пушкина и определение «певец любви», которым он наделяет и Овидия («К Овидию», «Цыганы»), и Вольтера («Монах»), и Шенье («Андрей Шенье»), и Батюшкова («К Батюшкову»), и Великопольского («С тобой мне вновь...»), и, наконец, просто соловья («Слыхали ль вы...»). Ясно, что названные поэты столь различны, что общее для них «соловьиное» определение («певец любви») никак не раскрывает индивидуальных особенностей поэзии каждого из них.

---

[1] «Тарусские страницы», Калуга, 1961, стр. 40.

[2] Ср. у Некрасова:
В кичливой гордости своей,
Быть может, враг высокомерный
(«Несчастные»).

Порой, однако, тяготение Пушкина к постоянным эпитетам помогает нам раскрыть смысл некоторых стихов, как, например:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины.
(«Птичка»)

К чему здесь относится эпитет «родной»: к обычаю или к старине? И то и другое правомерно. Вопрос этот решается сопоставлением с другими стихами Пушкина:

Наши здесь язык свой позабыли,
Позабыли и наш родной обычай.
(«Влах в Венеции» — «Песни западных славян»)

Постоянных, или прикрепленных, эпитетов у Пушкина очень много. Некоторые из них являются своеобразными автоцитатами поэта.

Пушкин описывает последние минуты умирающего разбойника:

Потухший **взор изобразил**
Одолевающую **муку.**
(«Братья разбойники»)

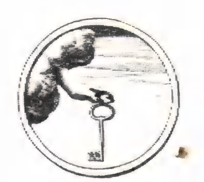
и умирающего Ленского:

Туманный **взор**
Изображает смерть, не **муку.**
(«Евгений Онегин»)

Описание в обоих случаях как будто сходное, и тут и там умирающего «взор изобразил...», но описание в «Евгении Онегине» словно полемизирует с описанием в «Братьях разбойниках», Пушкин как бы себя поправляет: взор не потухший, а туманный, и изображает смерть, а не муку. Описание в «Евгении Онегине» принадлежит уже зрелому мастеру и более реалистично и выразительно, чем в «Братьях разбойниках».

Подобного рода вариациями, которыми пушкинская фразеология изобилует, поэт придает постоянным эпитетам каждый раз новый смысл: звуча одинаково или почти одинаково, они означают разное. И в этом характерная особенность этих пушкинских эпитетов, их отличие от постоянных эпитетов в фольклоре, где, употребленные в одинаковом значении и не всегда связанные с героем и ситуацией, они являются порой лишь поэтическим украшением. Различие между постоянными эпитетами у Пушкина и в фольклоре примерно такое же, как (если говорить терминами драматургии) между активно действующими лицами в драме и пассивными статистами [4].

[4] Так, например, в гомеровском эпосе «небо» обычно сопровождается эпитетом «звездное»; этот эпитет сохраняется и тогда, когда речь идет о дневном небе.





С. Гейченко

Поклонник Пушкина

Так уж повелось со время оно — старое хочет, чтобы молодое жило по-старому, а молодое не хочет старого и ищет нового. Как ни старался опочецкий купец Игнатий Григорьевич Лапин образумить свое единственное чадо Ивана, как ни учил его жить жизнью отцов и дедов — ничего не получалось. В конце концов он махнул на сына рукой в надежде, что придет время и все образуется само собой. Старик дорожил своим родом и своим делом. Имя Лапиных было записано в древней книге Крестовоздвиженской церкви Опочки еще в 1686 году. Купеческий дом, построенный далеко за сто лет тому назад, был сущей крепостью. Маленькие щелевидные окна были вразбежку, ворота дубовые, с железными заклепками, цепями, хитроумными замками, на окнах глухие ставни и кованые решетки... Дом строился еще тогда, когда польский рубеж был недалек от Опочки и враг часто погуливал по окрестностям.

Имел Игнатий известную всему уезду большую лавку, в которой было все, что нужно людям: кумач и шелк, шерсть и меха, полотно и китайка. Здесь можно было купить соль, сахар, ножи, кушаки, платки, свечи, хомуты, картины, печатные книги, пряники, бумагу, рюмки, помаду, чубуки, вина заморские, подковы лошадиные и даже апельсины. Продавались здесь и разные марамляшки, ленты-банты, плошки и ложки. Хозяин торговал конфетами собственного изобретения. Они напоминали свадебные свечи, покрытые серебряной канителью. На каждой конфетине — «билет», на котором были написаны добрые пожелания, сочиненные самим Игнатием Григорьевичем: «Пол сердца в радости, пол сердца в утешении, и оба принесут вам равное мученье...», «Утолить вас нету мочи, коль пленили черны очи...».

Такие лавки, как лапинская в Опочке, были в то время во всех уездных и заштатных городах. За товаром ездили на лошадях в Псков, Москву, Петербург, Ригу, Ревель. В Пскове у Лапиных находился большой магазин — склад, куда свозили привезенную издалека всякую всячину. О поступлении свежего товара и новинок окрестное население оповещалось особыми «билетами», рассылаемыми «гг. помещикам и их приказчикам».

За нужными в доме припасами ездили в Опочку и Пушкины. Кроме лавки, Лапин содержал питейный дом, «ренсковый погреб» с заморскими винами и трактир с двумя большими горницами — одной для «лиц подлого состояния», то есть мужиков и солдат, и другой для гг. помещиков и офицеров. Для последних были и отдельные номера.

Пока старик был крепок, вся торговля была в его руках и купчихи — жены его Матрены Гавриловны. Сын рос в барстве. Его лелеяли и баловали. Мальчишка, родившийся весною 1799 года, был от природы живым, любознательным и довольно миловидным. Одевали его по самой последней моде, по-модному стригли ему волосы у цирюльника, долго служившего в Петербурге в государевой гвардии. Для обучения сына разным наукам отец нанял трех учителей — старого, бывшего уже не у дел чиновника Варькина, дьякона соборной церкви отца Гервасия и француженку мамзель Веронику. Чиновник и дьякон учили молодца истории российской и древней, географии, латыни, числительству и красноречию, а француженка научила молодого Жана щебетать по-французски и читать веселые французские книжки, а также приятным манерам и модным танцам «экосес-кадриль, алагрек и вальсè». Эта француженка случайно залетела из Франции в Опочку в 1816 году с каким-то лихим уланом, который, поиграв с нею в любовь, оставил в псковской глухомани, а сам перебрался не то в Тамбов, не то в Тулу. Когда мамзель скончалась от неустроенной

жизни, бед и обид, старик Лапин похоронил ее на окраине городского кладбища, поставив над ее могилой камень с надписью: «Здесь покоитца нещастная Вераника Лалантъ, потерявшая Родину и скончавшаяся от печали по Ней».

Молодой Лапин неплохо усвоил все преподанные ему науки. Умел к месту употребить изречения древних — Горация и Овидия, много читал, завел собственную библиотеку, в которой было все, что в то время встречалось в обычной помещичьей библиотеке. Тут и Вольтер, и Ломоносов, Державин, и Дмитриев, и древняя римская история, сочинения мадам Жанлис, и знаменитая «Кларисса» — роман отменно длинный, длинный... Он зачитал до дыр «Письмовник» Курганова и «Сельскую энциклопедию». Научился переплетать свои книги, и первое, что переплел, был комплект журнала «Вестник Европы»...

Начитавшись французских и английских романов, он стал жить в каком-то своем вымышленном мире, среди рыцарей, прекрасных дам, замков и их таинственных обитателей. Освобождал от тиранов разных прелестниц. Совершал воображаемые путешествия в неведомые страны. Завел себе шпагу, шляпу с перьями, пистолет. Одевался то рыцарем, то разбойником, то кавказцем. Мнил себя смелым дуэлянтом. Был немного художником. Рисовал «натуру» и «прелести природы». С 15 лет стал вести дневник, в котором писал не только по-русски, но и по-латыни и даже «масонскою азбукою», которой научил его проживавший порядочное время в лапинском трактире какой-то гвардейский корнет.

Ему всюду мерещились нимфы, зефиры, бахусы, бореи и морфеи. Любил музыку. Научился играть на флейте и ходил с оною на вечеринки, городское гульбище, изображая собою Орфея, потерявшего Эвридику.

На одной из дуэлей, возникшей на почве оскорбления уездным писарем любезной Лапину «нимфы», нашему Жану был поврежден левый глаз, и он навсегда окривел. Будучи веселого нрава, скоро свыкся с этим недостатком и даже воспевал свою дуэль в стихах.

Стихи вообще были его страстью. В его альбомах были переписаны стихи Державина, Панаева, Гнедича, Жуковского, Воейкова, Батюшкова. Здесь были стихи и доморощенных сельских пиитов, и даже стихи игумена Святогорского монастыря, которые ему напел один загулявший на ярмарке в Святых Горах монах:

— Певец прекрасный, милый,
Приятный соловей!
Утешь мой дух унылый
Ты песенкой своей.
Ведь ты, мой друг, на воле,
Не в клеточке сидишь,
Почто ж так медлишь доле
И к милой не летишь?..

Были в альбомах и стихи собственного сочинения. Он по-своему отдал дань «дедушке классицизму». Писал их по-русски и по-немецки. Потом многие из них зачеркнул, оставив только названия:

«Храни меня ты в памяти своей»,
«Люблю тебя, но тщетно...»,
«Не презирай моей ты клятвы...»,
«Гер брудер, их виль мит дир этвас шпрехен...»

В те времена в Опочке в общественном сарае близ магистрата был открытый театр, в котором ставили комедии «Отец по случаю» и «Новый век» господина Коцебу. Изредка здесь ставилась «Тальянская опера» — и во оном представлении были действия королевы Дидоны, князя Енея — любовника Дидонья, и Жоржа Дидор — короля арапского». Здесь можно было увидеть выступления некоего солдата, «который представлял чудесную маску игумена во всем виде и пел разные шуточные ирмосы, и представленье двух кукол, которые, выскочив из подобия гроба, плясали весело...». Бывали здесь и фокусники — «один из них ел серу горящую, а также сургуч, брал в руки раскаленное железо и мыл ноги растопленным оловом». Наш Жан не пропускал ни одного представления и после каждого спектакля сидел по ночам перед своим дневником. Только ему доверял все свои тайны, радости и печали.

Он рано постиг «науку страсти нежной», стремился беспрерывно ухаживать за опочецкими «нимфочками» и «венерками». Влюбленность он считал естественным состоянием человека, стремясь пребывать в нем постоянно, меняя лишь предметы своего обожания.

В этом сказались в нашем Жане типичные черты провинциального молодого человека. Тятька и мамка не понимали его, прощали ему шалости, надеясь, что со временем дурь эта пройдет и сын возьмется за ум...

В один из сентябрьских дней 1824 года у дома Лапиных остановились две большие запыленные кареты. Из карет слышался девичий смех и визг. Подогнав лошадей к ко-

новязи, ездовые открыли дверцы, и из карет выскочил целый выводок молодых дев под командованием Пушкина.

«Эй, малой! — крикнул Пушкин Жану, кормившему голубей у крыльца. — Эй, ты, как тебя, места в «Надежде» есть? — продолжал кричать Пушкин, указывая тростью на большую вывеску, висящую над крыльцом, — «Трактир Приятная Надежда». — Кому я говорю! — Есть места для путешествующих и страждущих или нет?!!»

Лапин молчал, словно воды в рот набрал.

«Да ты что, глухой, что ли?»

Разглядывая молодого Лапина, Пушкин увидел на нем приличное городское платье. Лапин пристально смотрел на него...

«Этот голубок окаменел, увидев такой роскошный букет прелестных дам», — сказал Пушкин по-французски, обращаясь к своим спутницам.

«Хм, голубок... да он просто чучело гороховое», — ответила самая молоденькая тоже по-французски.

«Не чучело, а псковитянин... А вы — дерзкая девчонка, не умеющая себя вести!» — вдруг крикнул ей тоже по-французски Лапин. Дева закраснелась и отвернулась...

«Каково! Вот так конфуз!.. — сказал Жану Пушкин уже по-русски. — С кем имеем честь говорить, милостивый государь?»

«Я — Лапин. Жан Лапин... Это наш дом. Мы будем рады видеть в нем вас, господин Пушкин, и ваших дам». — Жан сделал поклон девам.

«Хм, а откуда вы меня знаете?» — продолжал заинтересованный Пушкин.

«Да я вас однажды уже видел. Это было месяца полтора-два тому назад, когда вы, едучи к себе в Михайловское откуда-то издалека, остановились в нашей «Надежде» в ожидании, когда ваши родные пришлют сюда лошадей для дальнейшего следования в Святые Горы. Вы тогда расписались в книге приезжих. Обедали у нас. Смотрели мою библиотеку, даже подарили свою книжку «Бахчисарайский фонтан», который я выучил наизусть... Вы меня забыли, а я помню и не забуду никогда...»

«О, о, тогда здравствуй, мой старый знакомец, — и Пушкин протянул руку Лапину, крепко пожал ее и спросил: — Дорогой, нам нужна комната. Места в отеле есть?»

«Для вас всегда и все в этом доме есть и будет!»

Гости вошли в дом. Потом Пушкин и приехавшие с ним его соседки по имению Осиповы из Тригорского долго гуляли по Опочке. Были на городском валу. Собирали цветы. Кидали в речку шляпы и венки. Купались. Лапин сбегал в лавку за фейерверками-бураками. Жгли их, и они хлопали, как пистолетные выстрелы. Потом пели хором «Ленок» и «Золото». Водили хоровод. Катались на качелях. На базаре купили корзину яблок и кидались ими, как мячиками. Возвратясь в дом, зашли в лавку, где Пушкин купил всем подарки: книгу «Товарищ разумный и замысловатый» — Лапину. Золоченые сережки — Аннет, портрет Витгенштейна с саблей наголо — Нетти. Коробку из слоновой кости с чернильницей — Евпраксии и назидательную картинку «Странствующий пилигрим с посохом «Надежды» подарил себе самому. И всем, всем, всем — по кульку кедровых орехов, изюму, миндалю и по конфетине-свечечке. На прощанье Жан вынес шампанского. Пушкин крикнул: «За славный город Опочку, за милых дам, за вас, господин Жан!..» После отъезда гостей Лапин долго был как во сне.

День девятой пятницы по пасхе Лапин любил особенно. К девятнику готовились загодя. Это был не простой, а уездный праздник, и проводился он в Святых Горах вместе с ярмаркою. В Святые Горы обычно устремлялись все, и прежде всего торговцы. Возглавлял лапинский выезд обычно Жан, он и торговал в Святых Горах. Отец с удовольствием поручал ему это дело, в надежде, что это приведет к осуществлению его заветной мечты и Иван полюбит торговое дело. Выезжали из Опочки на неделю, а то и две, смотря по погоде. Июнь в здешних местах обычно мокрый бывает. В Святых Горах жили цыганским порядком — в шатрах, на сене, при кострах. Ярмарки были шумны. Народу — тысячи, и все развеселые и все пьяным пьяно. Веселился и наш Жан. Если другие торговцы в ярмарку эту наторговывали кто тысячу, а кто и две тысячи рублей, то Жан больше 200 рублей домой не привозил, а то и совсем возвращался с мелочью, как это было, например, в 1823 году. Ему не сиделось за прилавком, тянуло все необычное, новое, невиданное. Если на ярмарке появлялся какой-нибудь заезжий и показывал редких зверей, Жан был тут как тут. Он торчал там, где располагались цыгане, слепцы, кудесники, балагуры, раешники. В своем дневнике он потом подробно записывал все виденное и слышанное: «Яр-

марка была величественная. Колес, лык, дровень, решет, марамляшек разных изобильно и неописуемо. Встретясь со своею опочецкою приятельницею Анною Лаврентьевной, проходил с ней ярмарку от края в край. Накупил всякой всячины: кадильницу, трость ольховую искусной работы, книжечку по истории святогорской обители, сочиненную преосвященным псковским Евгением. В продолжении нашего путешествия по столь обширной картине встретил взором своим много забавных сцен между черного народа. Анна Лаврентьевна увидала старца, поющего гимны божеству. Сжалясь над ним, дали мы ему несколько копеек».

На святогорской ярмарке 1825 года судьба свела его вновь с Пушкиным. Только странной была эта встреча. Он сразу даже не узнал Александра Сергеевича. Так изменилось его лицо и внешность. В своем дневнике он записал об этом событии так: «Был я вновь в Святых Горах о девятой пятнице и ехал довольно счастливо, потому что еще в Свешниковом бору дожидалась меня Аннушка М..., с коей я почти не разлучаясь доехал до Рождественского погоста. Торговал на ярмарке 200 с небольшим. И тут я имел счастье вновь видеть Александра Сергеевича, господина Пушкина, который некоторым образом удивил меня странною своею одеждою, например: у него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубахе, опоясавши голубою ленточкой. С предлинными черными бакенбардами, которые более походят на бороду; с предлинными ногтями, которыми он очищал шкорлупу с апельсинов и ел их с большим аппетитом, я думаю около полдюжины...»

Лапин увидел, как Пушкин сделал какое-то замечание толкнувшему его полицейскому чину, тот взнегодовал на Пушкина, полагая по его костюму, что это какой-нибудь цыган. Полицейский вызвал караул, и Пушкина повели в кордегардию. Страха ради иудейска Иван Лапин не пошел вослед арестованному, чтобы увидеть, что дальше будет, хотя ему очень хотелось. Страха ради об этом он и в дневник свой не записал сего происшествия. Только долго ломал голову, что бы это значило. Почему Пушкин был не брит, не стрижен и в эдаком странном виде?.. Что случилось? А может быть, это и не Пушкин вовсе, а какой-нибудь действительно цыган?..

И в следующем, 1826-м, и в последующем, 1827 году, отправляясь на очередную ярмарку, Лапин надеялся вновь увидеть поэта, но Пушкин на ярмарке больше не появлялся.

Все прояснилось осенью 1827 года. Совершенно случайно. Однажды в лапинском трактире остановились какие-то дворовые люди, которые везли в Петербург из Михайловского древнюю старуху. Эта старуха оказалась нянькой Александра Сергеевича. Она отправлялась на постоянное проживание в Петербург. Ехала в обычной телеге, уставленной разными ящиками, мешками и узлами. В дороге ее сильно подрастрясло, и она целый день отлеживалась в «мужичьей комнате» трактира. Лапин долго вертелся возле Родионовны, не решаясь ее расспрашивать про Пушкина. Потом все-таки решился. «Мой кормилец теперь в Москве живет, — отвечала она ему. — Его вызвал сам царь. К себе приблизил, в большом чине теперь. Важные книги пишет. А меня не забывает. Письма присылает и деньги и гостинцы. Намедни 50 рублей прислал. И я ему пишу... Все думала, что вернется мой соколик. Только видно, нет. Теперь еду жить к евонной сестрице Ольге Сергеевне...»

«Ты уж извини меня, бабка, — перебил ее Лапин, — а почему он в эдаком странном виде на ярмарке разгуливал? Все думаю про это, да никак ума не приложу к истине».

«А про то только он сам знает. У него нрав не простой. И не все мне, старой, в нем понятно...»

Так и не удалось постичь эту тайну Пушкина Лапину.

Больше о нем он ничего не слыхал до самого 1837 года, когда Лапина как-то весною вызвал к себе опочецкий предводитель и спросил, знал ли он Пушкина и читал ли что из его книг. Лапин смутился, но сказал всю правду про свою благоговейную любовь к поэту. Тогда предводитель сказал ему, что Пушкин скончался, и российская словесность лишилась одного из замечательных талантов, ее украшавших. Оставил он после себя сирот — жену и детей и что государь милостиво разрешил издать книги его сочинений за государственный счет, а деньги за продажу отдать сиротам. И что надо бы и ему, Лапину, купить билет на собрание сочинений Александра Сергеевича в шести томах ценою 36 рублей с пересылкою, — что Лапин и совершил, подписавшись со всем почтением к Александру Сергеевичу.

Да и то сказать, во всем Опочецком уезде, по сведениям, поступившим к псковско-

му губернатору, нашлось только два человека, подписавшихся на это издание, одним из них был купец Иван Лапин.

В 1828 году тяжело заболел старый Игнат Лапин. Чуя свой скорый конец, он решил женить сына. Что вскорости и произошло. После этого важного события и смерти родителя жизнь Ивана переменилась. Поэтическая полоса его бытия кончилась. Дневник превратился в простую лавочную книгу, в которой он обозначал уже только одни торговые обороты.

В 50-х годах Лапин переехал в Псков, где у него было торговое подворье. Там он жил до конца своих дней, а умер он в 1859 году, завещая перед смертью свою библиотеку, бумаги и дневник своему сыну Александру.

В центре Богословского кладбища Пскова находится фамильный склеп Лапиных. В нем похоронены Иван Лапин, его сын Александр и дети последнего. Над склепом мраморное надгробие. Странно видеть его в здешнем месте. Оно повторяет черты надгробия Пушкина в Святогорском монастыре — тот же мраморный обелиск, акротерий, цокольный камень, гранитные ступени...

«Странные бывают сближения», — говорил когда-то Пушкин.

От составителя

Семен Степанович Гейченко — директор Пушкинского заповедника, человек, сделавший очень много для восстановления и сохранения Михайловского, Тригорского и других пушкинских мест на Псковщине. В последние годы он вместе со своими сотрудниками ведет работу по составлению словаря деревенских друзей, соседей, знакомых поэта. Работа эта решает задачи научные и в то же время художественные, представляя собою свод новых сведений о характере, быте, причудах, колоритном языке множества персонажей — от святогорских иноков до родственников поэта — Ганнибалов, от известного «попа Шкоды» до никогда ранее не упоминавшихся странников, крепостных, цыган.

Герой рассказа «Поклонник Пушкина» — купец Лапин — существовал на самом деле и действительно встречался с поэтом. Извлечения из его записок были опубликованы еще много лет назад. Но С. С. Гейченко узнает об этом человеке новые, любопытные подробности: Лапин был одним из двух лиц, подписавшихся в своем краю на посмертное издание сочинений Пушкина; после смерти Лапина на его могиле был воздвигнут такой же памятник, как на могиле поэта.



С. А. Коплан-Шахматова

О знакомстве Пушкина с А. Н. Струговщиковым

Просматривая еще не опубликованные записки известного переводчика Гёте и Шиллера — Александра Николаевича Струговщикова [1], мы нашли одну страницу с упоминанием о Пушкине. Правда, упоминание связано с фактом, по существу, малозначительным, но достаточно характерным для великого поэта; к тому же сообщаемые подробности относятся по времени к весьма знаменательному периоду жизни Пушкина.

Б. Л. Модзалевский предложил мне опубликовать эти строки и тогда же дал, как всегда, весьма полезные ориентирующие указания. С чувством особого уважения к памяти ныне покойного Бориса Львовича благодарно упоминаем здесь его имя.

Знакомство Пушкина с А. Н. Струговщиковым возникло не в литературных кругах и не на почве литературных интересов; Струговщиков тогда не начинал еще своей литературной деятельности [2]. Столкнулись они, очевидно, за зеленым сукном, в среде страстных и завзятых игроков, куда Струговщиков был введен целой компанией «финляндских» и «преображенских» офицеров.

Вот что мы читаем в «Записках» А. Н. Струговщикова после сообщения о его женитьбе на Анне Алексеевне Качаловой 11 октября 1831 года [3]: «В это время я все делал на авось, и сам не понимаю, как прожил первый год; я продолжал играть, счастье мне благоприятствовало, и я первый год женитьбы прожил до 33 тысяч; а откуда взялись — сам не знаю; разумеется, выиграл в карты, но как же это? Странно, когда у нас есть деньги, большую частию мы их проигрываем; когда нет — выигрываем; нужда лучший учитель. Жил в Миллионной в доме с колоннами направо от дворца; квартира прелесть; к этому времени принадлежит мое знакомство с Пушкиным; он был у меня раза три по утру и на нескольких вечерах; кроме того, я бывал у него и сохранил о нем, как о человеке, самые лучшие впечатления; но сам я много виноват перед ним тем, что, пригласив его раз на вечер, повел его к одному из живших в доме офицеров Рындину [4], у которого также был вечер; Пушкин, как светский человек, не показал виду неприятности; но как общество было довольно грязненькое, то он, поставив карты две и заплатив деньги, поспешно ушел. С тех пор, хотя я с ним виделся у него и у других, он у меня не бывал; я сделал неловкость, охотно в ней сознаюсь, и совершенно оправдываю поведение Пушкина в отношении ко мне. Пред тем я несколько раз играл с ним в довольно большую игру, и в расчетах наших (хотя он часто оставался должен, но всегда на другой день приносил обратно деньги) царствовала та джентльменская простота, вежливость и деликатность, какой лучше желать нельзя.

Автор заметки — Софья Алексеевна Коплан-Шахматова, дочь великого русского филолога Алексея Александровича Шахматова, погибшая в Ленинграде во время блокады.

Заметка, написанная более 40 лет назад, сохранилась среди бумаг литературоведа Б. И. Коплана, мужа С. А. Коплан-Шахматовой в ЦГАЛИ (ф. 244, оп. 1, ед. хр. 18, лл. 1—6) и предназначалась, как видно из пояснений автора, для неосуществившегося сборника памяти Бориса Львовича Модзалевского, крупнейшего пушкиниста, одного из основателей Пушкинского дома.

[1] А. Н. Струговщиков (1809—1878) оставил после себя «Записки», к сожалению не законченные. Копия этих «Записок», снятая с оригинала М. В. Муравьевым и снабженная его предисловием, хранится в Пушкинском доме.

[2] Первый перевод Струговщикова из Гёте — баллада «Певец» — был напечатан с его подписью в том же томе, где повесть Пушкина «Кирджали», — в «Библиотеке для чтения». 1834, т. VII, стр. 124—125 (первой пагинации).



А. С. Пушкин на смертном одре. Рисунок с натуры А. Н. Струговщикова, 29 января 1837 г.

Родственник его, известный игрок князь Оболенский[5], кажется питал неудовольствие Пушкина на мой с ним поступок, а недоброжелательство Оболенского происходило от того, что я его, как заявленного шулера и игрока, никогда не приглашал. Он, однако же, являлся иногда незваный».

На этом Струговщиков и заканчивает свой рассказ о знакомстве с Пушкиным и переходит к изложению дальнейших событий своей жизни.

Относительно начала знакомства его с Пушкиным можно высказать несколько предположений. Струговщиков указывает на то, что оно произошло после его свадьбы, когда он жил на Миллионной улице, то есть после 11 октября 1831 года, Пуш-

[3] Струговщиков в это время (с начала 1828 года) служил в канцелярии министерства народного просвещения, как явствует из его «Записок».

[4] Петр Дементьевич Рындин — подпоручик Преображенского полка. Впоследствии, с 1836 по 1853 год, он числился членом Петербургского английского собрания.

[5] Очевидно, здесь имеется в виду брат Анны Николаевны Оболенской, в замужестве Веневитиновой, — Николай Николаевич Оболенский (1792—1857). О родстве Пушкина с Веневитиновыми см. заметку Л. Г. Комаровской в сб. «Пушкин и его современники» (вып. XI. СПб., 1909, стр. 120). Среди долгов Пушкина, оплаченных после его смерти, значится его счет Николаю Николаевичу Оболенскому (см.: «Пушкин и его современники», вып. XIII. СПб., 1910, стр. 96 и 103).

кин же с молодой женой приехал в Петербург в половине октября (из Царского Села, где прожил с ней все лето), и, следовательно, они могли встретиться в конце октября или в ноябре 1831 года.

Вероятнее всего, встреча Пушкина со Струговщиковым произошла у князя Оболенского, жившего также на Миллионной: Струговщиков часто игрывал с ним в карты, а Пушкин, по-видимому, бывал у него как у родственника. Приведенному сообщению Струговщикова несколько противоречат строки Пушкина, написанные им 15 января 1832 года в письме к М. О. Судиенке: «Надобно тебе сказать, что я женат около года и что вследствие сего образ жизни моей совершенно переменился, к неописанному огорчению Софьи Остафьевны[6] и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я более двух лет; на беду мою я забастовал будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатой карточных долгов, расстроили дела мои» (XV, 4).

Быть может, это признание не надо понимать буквально: Пушкин мог, не предаваясь большой игре, все же изредка участвовать в карточных вечерах у своих приятелей.

Струговщиков на всем протяжении своих «Записок» далее нигде не упоминает имени Пушкина. Очевидно, они больше не встречались, хотя именно в последующие годы, когда Струговщиков сблизился с А. В. Никитенко, М. И. Глинкой, К. П. Брюлловым, Н. В. Кукольником, он, казалось бы, мог продолжить знакомство с великим современником, уже в связи с иными интересами, нежели карточными. Однако никаких данных о новых встречах Струговщикова с Пушкиным мы не имеем, за исключением свидетельства о том, что Струговщиков был в последней квартире Пушкина 29 января 1837 года, когда Пушкина уже не было в живых: мы имеем в виду карандашный рисунок Струговщикова, изображающий Пушкина на смертном одре, с надписью: «Пушкин. 29 Генв. 1837»[7].

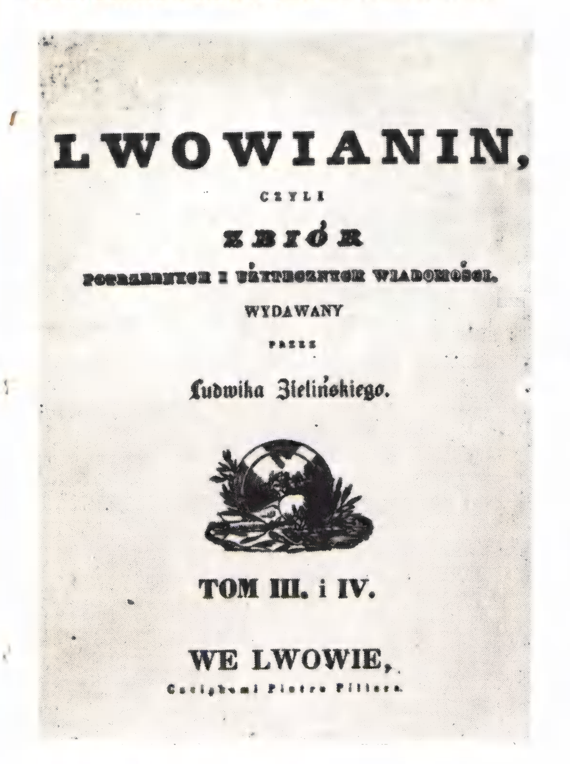
Июнь 1928 г.

---

[6] Софья Остафьевна — содержательница известного в Петербурге в 1820—1840-х годах увеселительного заведения для холостых людей (см. «Письма Пушкина», под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II. Л., 1928, стр. 313).

[7] Этот рисунок Струговщикова впервые воспроизведен в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд. Л., 1928, стр. 151.





LWOWIANIN,

CZYLI

ZBIÓR

POTRZEBNYCH I UŻYTECZNYCH WIADOMOŚCI.

WYDAWANY

PRZEZ

Ludwika Zielińskiego.

TOM III. i IV.

WE LWOWIE,

Czcionkami Piotra Pillera.

Титульный лист журнала «Lwowianin».

— 21 —

DAMA PIKOWA

POWIEŚĆ.

(Pikowa Dama znaczy, skrytą nieszczęśliwość)
(Kartowa kabała.)

A w jesiennej dobie,
Schodzili się sobie,
Często,
I karty łamali
Parole stawiali
Gęsto.
Czasem wygrywali;
Wtenczas używali
Biedy,
Taką sobie wsławą
Znaleźli robotę,
Z biedy.

(Dalekie naśladowanie oryginalnego godła.)

I.

Jednego razu grano w karty u oficera konnej gwardyi Narumowa. Długa noc zimowa zeszła nie postrzeżenie; goście o czwartej z rana, zasiedli do wieczerzy. Wygrani jedli smacznie, inni w zamyśleniu siedzieli nad próżnemi talerzami. Ale zawitał szampan, rozmowa się ożywiła i wszyscy wzięli w niej udział.

» Jakże skończyłeś, Surin? spytał gospodarz. » Przegrałem, jak zwyczajnie. Musicie wyznać żem nieszczęśliwy; gram na mirandole, nigdy się nie palę, nie tracę głowy, a zawsze zgram się.

» Prawda żeś ani razu nie dał się skusić, ani razu nie postawił route. Dziwię się twej stałości!

— » A Hermann! rzekł jeden z gości, pokazując na młodego oficera od inżenierów. Oto człowiek! Od urodzenia niewziął kart w ręce, nie załamał parola, a jednak do piątej godzi i patrzy jak grają.

— » Jaczno mię zajmuje, odpowiedział Hermann, ale nie jestem w stanie mienić pewne poświęcić się za niepotrzebnem z narażeniem potrzebnego.

Hermann niemiec rachunkowicz, nie w tém dziwnego, rzekł Tomski. Lecz kogo nie rozumiem, mojéj babki, hrabiny Teodotownéj.

Jak to? zapytali goście.

Nie mogę pojąć czemu moja babka nie po-

J cóż w tem dziwnego, rzekł Narumow, że ośmdziesięcioletnia babina nie ponieruje?

A więc nic nie wiecie?

Nie na honor!

No, słuchajcież: Macie wiedzieć, że babunia, przed sześćdziesięcio laty, jeździła do Paryża i była tam w wielkiej modzie. Pospólstwo biegało za nią, żeby widzieć tę Moskiewską Wenerę; Richelieu do niéj się umizgał i babunia dowodzi, że o włos co w łeb sobie nie wypalił, zpowodu jéj nieczułości. W owym czasie, damy grywały w faraona. Raz jakoś, u dworu, przegrała do księcia Orleanu bardzo znaczną sumę.

Wróciwszy do domu, babunia, zdejmując muszki i odpinając rogówkę, oznajmiła o swéj przegranéj dziadunowi i rozkazała zapłacić.

Nieboszczyk dziad mój, ile pamiętam, był najniższym sługą babuni, bał się jéj jak ognia, wszakże, posłyszawszy o tak ogromnéj przegranéj, stracił zwykłą cierpliwość, wziął ołówek i dowiódł na papierze, że wpółroku zjedli przeszło półmiliona, że pod Paryżem nie mają ani Moskiewskiéj, ani Saratowskiéj wioski, i nakoniec w ręcz oświadczył iż płacić nie myśli. Babunia wycięła mu policzek i poszła spać sama jedna, na znak nieukontentowania.

Nazajutrz kazała zawołać męża mniemając, że wczorajsze małżeńskie upomnienie pankue

Начало «Пиковой дамы» опубликованной в журнале «Lwowianin».

А. В. Волков-Нахшин

Ошибка или плагиат?

Сто тридцать восемь лет тому назад жители города Львова, тогда столицы одной из провинций Австро-Венгерской империи, были оповещены: в их городе появится иллюстрированный журнал. Некий Людвик Зелинский известил о своем намерении издать в семи томах подготовленный им сборник «необходимых и полезных сведений» и краеведческих известий под названием «Львовянин». «Ограниченное количество полезных изданий, — писал Л. Зелинский, — побудило меня к собранию вещей исторических, а также к опубликованию разных известий, которые подходили бы каждому возрасту, сословию и образу мыслей...»

И вот много лет спустя мы перелистываем страницы «Львовянина». Журнал, точнее альманах, сохранился в Научной библиотеке города Львова. Страницы его с рисунками в виде гравюр в хорошем состоянии.

В III—IV томе за 1836 год мы обнаруживаем на 21-й странице польский перевод пушкинской повести «Пиковая дама», напечатанной, как известно, в Петербурге в 1834 году. Озаглавленный «Dama pikowa», перевод довольно точен: за исключением опущенного эпиграфа к главе 5 (из Шведенборга), переведены все эпиграфы к повести и к отдельным главам, никаких купюр в тексте мы не обнаружили.

— 40 —

Herman, doczekawszy się nowej talii, postawił kartę, położywszy na nię swoje 47,000 i nadto wczorajszą wygranę.

Czekaliński zaczął ciągnąć. Wąlet padł na prawo, siodemka na lewo.

Herman odkrył siodemkę.

Wszyscy krzyknęli. Czekaliński zmięszał się. Odliczył 94,000 i oddał Hermanowi, Herman z zimną krwią je odebrał i natychmiast wyszedł.

Następnego wieczora Herman zjawił się znowu. Wszyscy już go czekali, Jenerałowie i Radzcy taini zawiesili swój wist chcąc widzieć grę tak nadzwyczajną. Młodzi oficerowie powstali z kanap i cała służba nawet zebrała się w bawialnej sali. Wszyscy otoczyli Hermana. Jnni ponterowie nie stawili kart, niecierpliwie oczekując konca. Herman stał przy stole, gotując się znowu ponterować do bladego, zawsze uśmiechającego się Czekalinskiego. Obaj rozpieczętowali karty. Czekalinski skartował. Herman zdjął i postawił swoję zakrywszy ją stosem bankowych biletów. Było to coś na kształt śmiertelnego pojedynku. Do koła panowała głęboka cichość. Czekaliński zaczął taliję. Ręce mu się trzęsły. Na prawo padła Dama, na lewo as.

As wygrał! rzekł Herman, i odkrył kartę

Przepraszam, Panska Dama ubita, powiedział grzecznie Czekaliński. Herman wzdrygnął się; w rzeczy samej, zamiast asa, stała u niego Dama Pikowa. Nie chciał swym oczom wierzyć, nie pojmując jakim sposobem mógł się omylić. Tu mu się zdało, że pikowa dama przymrużyła jedno oko i szydersko uśmiechnęła się. Nadzwyczajne podobieństwo uderzyło go....

Stary! krzyknął z przerażeniem. Czekalinski zagarnął przegrane bilety. Herman stał jak wryty. Kiedy odszedł od stołu, zaczęła się głośna rozmowa. Dzielnie grał mówili gracze. — Czekaliński skartował na nowo, i gra poszła zwykłym porządkiem.

KONIEC.

Herman utracił rozum. Siedzi on teraz w Obuchowskim spitalu, w 17tym numerze: na żadne pytania nieodpowiada, mruczy tylko nadzwyczajnie prędko: trójka, siodemka, as!

Trójka siodemka dama!...

Elżbieta Jwanowna wyszła za bardzo porządnego młodego człowieka, który gdzieś urzęduje; ma przyzwoitą fortunę. Jest to syn byłego Rządzcy dóbr starej hrabiny.

Elżbieta ma na wychowaniu biedną kuzynkę.

Tomski został Rotmistrzem i ożenił się z księżniczką Pauliną.

RŻĘKA DZWINA.

Dzwina rzéka płynie na granicy Moskwy, z jeziora Lobicz, przez Litwę i Jnflanty, przyjmując w siebie więcéj niż 20cia rzek różnemi miejscami. Na tej rzece spływają galary aż do Rygi, ładowane, przenicą, siemieniem konopnym i lnianym, przędziwem, miodem, woskiem, żywicą, łojem, skurą bydlęcą i potażem, który farbiarze i mydlarze w znacznej ilości zakupują. W pewnych czasach roku, gdy ta rzeka wyleje, piaszczyste grunta podobnie, jak rzéka Nil, zalewa i tak sprawia, że po opadnięciu wody, pola zbożem zasiane znaczny plon przynoszą. Łososie i łiswiny bardzo są zachwalane. Rzeka ta wpada niżej Rygi do Baltyckiego morza.

TRAFIŁA KOSA NA KAMIEŃ.

Konarski jadąc do Krakowa, gdy już się zbliżał ku Prądnikowi, rzekł do osiedzącego królewskiego pazia. Patrz, a dobrze — na zamkowéj wieży chodzi omar. Tak dobrego wzroku nie posiadałem w całe odpowiedział paź królewski. Ale zato obdarzyła mnie natura dobrym słuchem. — Pan widzisz, ale proszę słuchać, ja słyszę jak komar chodzi. Oto bęc — bęc — bęc czy słyszałeś pan? bo ja słyszę, — Rozśmiał się Konarski, i rzekł — nie moja rzecz stać przy drwiach

Конец «Пиковой дамы».

Rābiger str. 17.

*) Buszcz, kościoł i twierdza, przez księdza S. Smigielskiego rytował A. Tomaszewski. str. 68.

*) Buczackiego Michała grobowiec, przez wyd. — ryt. A. Tomaszewski. str. 81.

*) Ciskarnia czyli drukarska prasa — ryt. A. Tomaszewski. str. 32.

*) Czarniecki Stefan pod Przemyślem, przez wyd. — kopijował ze starego olejno malowanego obrazu i ryt. A. Tomaszewski. str. 81.

*) Czorsztyn, — ryto. A. Tomaszewski. str. 121.

*) Dziedoszycki Jerzy i Maryanna Zamojska, — przez M. H. D. — ryt. z nagrobku w kościele Jezuickim A. Tomaszewski str 41.

Dama pikowa, powieść Bułharyna. str. 21, 29, 36.

*) Doroszeńko Assawuł z kozactwem w Rusi czerwonéj; powieść przez wyd. — rys. ze zbioru rycin JW. Pawlikowskiego — ryt. A. Tomaszewski. str. 69, 79, 86, 95, 98.

*) Dobromilski zamek r. 1698. z akt kor. Warsz. — ryt. A. Tomaszewski str. 116.

Оглавление журнала «Lwowianin», где Булгарин представлен как автор «Пиковой дамы».

При жизни А. С. Пушкина публикаций его произведений за границей известно немного. Настоящий перевод, о котором прежде нам не приходилось читать, расширяет наши представления о географии распространения творений великого писателя при его жизни.

Однако детальное ознакомление с опубликованной во Львове «Пиковой дамой» вызывает некоторое недоумение.

Перед заглавием публикации имени автора нет. Быть может, оно отнесено в конец? Там его тоже нет. В чем же дело? Неужели повесть появилась анонимно?

Повесть «Dama pikowa» значится в оглавлении как произведение... Булгарина!

Удивительная публикация!

Что же это такое? Ошибка издателя или нечистоплотный поступок того, кого с презрением называл Пушкин Видоком?.. Сегодня, спустя 138 лет, трудно ответить на этот вопрос. Нам также неизвестно, знал ли когда-либо сам Александр Сергеевич об этом случае, стал ли он известен его друзьям.

На все эти вопросы ответа пока нет.

Но как бы ни оценили значение этого факта специалисты-библиографы или биографы, он, как говорится, налицо. В который раз подтвердилась древняя истина: нет тайны, которая со временем не всплывет наружу...



П81 **Прометей.** (Ист.-биогр. альманах серии «Жизнь замечательных людей»). Т. 10. М., «Молодая гвардия», 1974.

424 с. с ил. 100 000 экз.

Редактор-сост.: Т. Цявловская.

В качестве заставок использованы фотографии кабинета А. С. Пушкина.

Очередной выпуск историко-биографического альманаха «Прометей» посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. В книгу вошли очерки, рассказывающие о жизненном пути великого поэта, об истории возникновения некоторых его стихотворений. Среди авторов альманаха выступают известные советские пушкинисты.

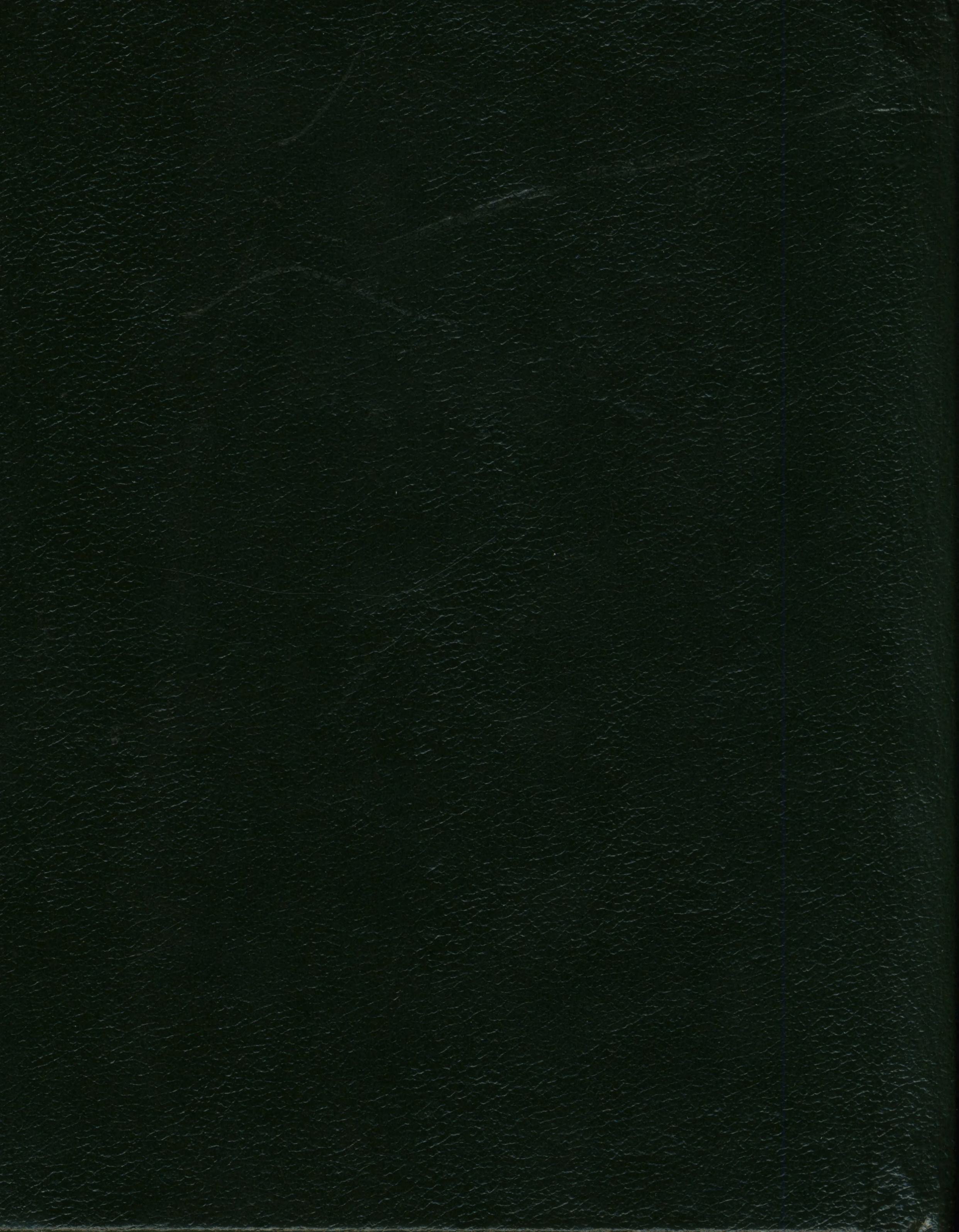
А $\frac{70302-195}{078(02)-74}$ 359—73 001

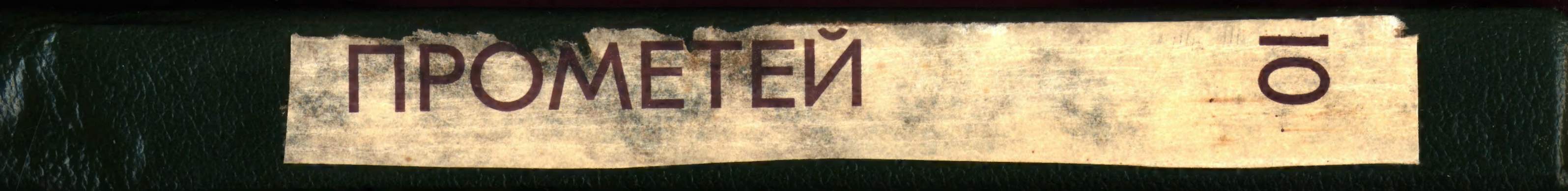
ПРОМЕТЕЙ. Т. 10.

Редактор **А. Ефимов**
Оформление и макет **Ю. Нолева-Соболева**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технические редакторы **Л. Курлыкова, Е. Брауде**

Сдано в набор 12/III 1971 г. Подписано к печати 9/VII 1974 г. А01419. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага № 1. Печ. л. 26,5 (усл. 31,0). Уч.-изд. л. 41,5. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 42 к. Т. П. 1973 г., № 359. Заказ 456.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.




ПРОМЕТЕЙ
10